

О.И. Рёснес

Корни вереска

Роман



ISBN: 978-82-996952-5-1

Посвящается Харри Рёснесу

1

От торопливого лета ничего уже не осталось, да и кто вспоминает о лете в середине октября. Продрогшие от утренних заморозков камни, иней на мху, неохотно продирающееся сквозь гущу леса солнце. Солнце теперь не в силе, оно едва дотягивается до середины стоящей за домом сосны и тут же соскальзывает на дорогу, петлей обводящую засеянное озимыми поле с каменными, поросшими березами островками. Стая серых гусей, поднявшихся с фьорда, вспарывает мерзлый воздух сердитым, нетерпеливым

гоготом, лодки вытащены на берег, деревянные мостки сняты с причала, и волны напрасно бьются о просмоленные столбы: сюда никто уже не придет.

Около восьми утра заморосил мелкий дождик, зашелестел, застучал, засуетился, прогоняя с кустов снежной ягоды запоздалых шмелей, прибывая к пожухлой траве сосновую хвою. С занавески, просунутой узлом между оконными рамами, капает на постель, и Хельге, не просыпаясь, протягивает к шпингалету руку, дергает крючок, зевает, бормочет ругательства. Вставать нет никакого смысла, разве что по нужде, разве что заварить чашку кофе и снова под одеяло, в бормочущие об одиночестве сновидения. Почти всю жизнь, а это пятьдесят три года, Хельге спал один, ну, конечно, с перерывами: кто-то приходит и уходит. Те, что живут за поворотом дороги, а это в большинстве своем просто люди, не знают, зачем человеку одиночество. Они приветливо кивают, порой смотрят на Хельге с любопытством, порой с завистью: весь *из себя*.

Не просыпаясь, Хельге замечает, что стало совсем темно, так темно и тихо, как случается у природы в миг ее изнеможенья: дальше один только холод. "Снег..." - думает Хельге, повисая между сновидением и явью, прислушиваясь к далеким, легким, знакомым звукам, к шороху и скрипу лыж... Сколько раз он все это видел: снег, обернувшиеся вековыми елями тролли... Холод, которому нет конца, лес, в котором нет дороги. Открыв наконец глаза, Хельге ищет на стене картину, вставленную им в растрескавшуюся дубовую раму. Собственно, это только бумага, засунутая под стекло. Теперь, в темноте, ничего не разглядишь, но он изучил эту картину во всех деталях, будто сам все это нарисовал: двое вооруженных викингов на лыжах, за щитом у одного ребенок. Эти лица кажутся Хельге чудовищно знакомыми: он сам кажется себе одним из них, и это... его щит! Картина, впрочем, слишком известна, чтобы отыскивать в ней таинственное; ее можно обнаружить на коробках с печеньем, на обертках от колбасы, на дешевых керамических кружках. Ею питается реклама, к ней прилагаются скучные ученые комментарии искусствоведов и краеведов: она есть тот продукт, который всегда можно сбыть. Хельге знал того, кто эту картину написал, знал и его дочь... к сожалению, знал.

Снег, первый снег в этом году, не обещает ничего хорошего: заносит спина, одолеет бессонница, в мастерскую, где сохнет дерево, войдешь только в резиновых сапогах. И кроме того, эта снежная меланхолия, это нежелание двигаться, на что-то смотреть... Только сидеть в продавленном кресле возле чугунной печки, с пивом и мрачными мыслями о недостаточной интеллигентности этой проклятой планеты.

Пройдя босиком по некрашенному полу, Хельге ставит на плиту чайник, мимоходом оглядывает себя в зеркало, стоящее на старом сосновом комод, подходит ближе, приближает к овальной бронзовой раме лицо. Он редко так на себя смотрит, ему это незачем. На него всегда смотрят дети, часто смотрят женщины. Хельге Нордли, индустриальный рабочий, привычный к тяжелому, не престижному, не обещающему никакого статуса труду. Ему охота вот так, даже бесплатно, трудиться, без всякой со стороны других похвалы или зависти, а тем более, понимания. Ему достаточно знать, что трудится он над своей свободой.

Хельге знает свою свободу в лицо: оно сродни меняющему цвет морю. И крылья у нее тоже есть: синие, красные, оранжевые. Порой они занимают полнеба, эти величественные знаки его индивидуальности. Ради этой свободы, думает Хельге, человек столько на земле претерпевает, и сама земля столько из-за этого мучается.

Голубые, на загорелом лице, глаза, прямой львиный нос, растрепанные пшеничные волосы. Волосы Хельге не стрижет уже лет пятнадцать, они изнашиваются на затылке от подушки. Бывает, изредка и наспех пройдясь по волосам собачьей щеткой, Хельге вертит головой, присматривается, но седины пока нет, только овсяное, песочное, золотое. Но борода у него совсем белая. С этого лета Хельге перестал бриться, и борода закрыла уже выступающий подбородок, подбираясь к крутизне скул, оставляя загару высокий, гладкий лоб и суховатую впалость щек. Сексуальная такая небритость, теперь это в моде. Подумав об этом, Хельге берет с комода старые ножницы, лязгает, не глядя, бросает в печку

обрезки седых волос. У викинга на картине борода намного длиннее, в ней ветер и снег, в ней хватает места всяким воспоминаниям. О чем может мужчина в свои пятьдесят три года помнить? О том, что не все еще в его жизни наступило?

С седой бородой Хельге кажется себе гораздо старше, хотя это пока еще не возраст *его* планеты. Родившись в 1946 году, на исходе декабря, на застланном домотканой дорожкой полу, не дожидаясь расторопной акушерки, он хотел было тут же и улизнуть обратно, загодя избавившись от обязательств перед родителями, школой и государством, но обнаружил в своем требовательном крике... крик другого, пока еще не родившегося, пока еще даже не определившегося с местом назначения и временем прихода. Этот *другой* был, видно, тем самым "почему" и "потому что", в связи с которыми Хельге и угодил в полярную декабрьскую ночь, в окрестности заледенелого Лофотена, в хлопотливое, скучное, мусорное выживание многодетной семьи, с видом на сладкий транс десертного поколения хиппи, с его цветочной тоской об оторвавшемся от земли мотыльке...

Хельге знает кое-что о своей родне: половину своей жизни они проводили в море, и никто из них не считал смерть несчастьем. Они уходили, один за другим, особенно к этому не готовясь, наверняка зная, что это не в первый и не в последний раз. Они-то знали... да и как не знать, если ты заодно с этими волнами и звездами. Все они играли с природой в одну и ту же игру, меняющую местами жизнь и смерть, и некогда было им о чем-то ином тосковать. И это должно быть о них: старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу.

Многие из них встречали хульдру, и это было хорошим знаком: хульдра не приходит к кому попало, но только к *своим*. То есть, к тем, кто все еще *видит*. Они и были тем последним племенем на земле, у кого глаза смотрели не только на вещи. И Хельге был самым из них последним.

Раз, возвращаясь на лыжах из школы, чуть за полдень, в почти полной уже полярной темноте, то и дело вспарываемой лилово-зеленым салютом северного сияния, Хельге почувствовал за спиной чье-то присутствие. Кто-то гнался за ним с самой вершины холма, в облаке снежной пыли, в свисте встречного ветра, кто-то хотел его остановить. Крепко схватив, в толстых вязаных рукавицах, лыжные палки, Хельге рывком обернулся, рыкнул, как мог, как позволяло морозное дыхание, в преследующую его темноту: "Кто-о-о?" И темнота, видно, имела уважение к самостоятельности этого его поворота, к ярости и злобе его снежного крика: "Кто-о-о???" Лиловые нити северного сияния налились фиолетовым и алым, взметнувшаяся от лыж поземка засеребрилась в морозном воздухе тихим, еле слышным, едва отличимым от вздохов и сопенья смехом, по лыжне скользнул коньком загнутый кверху мохнатый хвост... Хельге мог бы, пожалуй, схватить хульдру за полу длинной юбки, стащить с нее эту юбку, как он сдергивал юбки с девчонок, получая за это оплеухи, мог бы, хотя ему не было еще и десяти лет, повалить ее в снег, по крайней мере, погнаться за нею вверх по склону, но лыжня вела обратно к школе, а туда ему не хотелось. Школа, по мнению Хельге, была хороша только тем, что там давали горячие булки, в остальном же все шло как нельзя хуже: учеников старались сделать умными. Этот ученический, зависимый, горделивый ум Хельге ценил не больше, чем испачканные им самим пеленки. Этот ум никуда не годился, разве что для счета денег. И были, конечно, хорошие ученики, убитые расчетливостью родителей еще до рождения, эти подрастающие трупы, серые тени и борцы за идею, проштампованные, все как один, печатью власти: "Годен". Хельге сидел с одним из таких за одной партой, так хотела учительница, а на переменах делал то, чего она как раз не хотела: лупил соседа, валил его во дворе школы на землю и... мочился на него. То же самое делал живший в доме кобель, крупная лайка с зелено-голубыми волчьими глазами: мочился через железную сетку на гремящего цепью соседского волкодава и забрасывал его комьями земли. Так поступает сильный, свободный, презирающий неволю. И никто еще на это не жаловался, потому что нет такого Бога, который не был бы обязан своими полномочиями *тебе*.

Встреча на лыжне с хульдрой оказалась вовсе не безобидной: у Хельге появилась тоска о *форме*. Круглое, овальное, яйцевидное, спиралеподобное, все это претендовало на ту универсальную законченность, да, *конечность*, с которой никак не вязались школьные сведения об устройстве прилегающего к Лофотену мира. Мир рвался в уносящееся прочь от Хельге ничто, в ледяную абстракцию оторванной от Хельге необходимости, с ее удушающим "так нужно", не оставляя никакой надежды на признание своим абсолютным смыслом его, Хельге, конкретность. Конкретность бегущей по лыжне хульдры.

Виной этого "отклонения" был, по мнению учительницы, стремительный, без услуг акушерки, приход Хельге в мир: ну кто так сюда приходит? Сюда приходят в основном нехотя, с опаской обходя ловушки аборта, воровато и вслепую нащупывая оброненную смертью мелочь. Хельге пришел, чтобы испытать себя на прочность: сколько он сможет, собственно, вынести. И если бы заботливый ангел распорядился насчет более теплых мест и более богатых родителей, Хельге вряд ли бы на это пошел: он хотел именно сюда, на обледенелый берег Лофотен-фьорда.

Его мать доила коров, когда услышала во дворе тарактение работающего вхолостую мотора, и то, что она увидела минутой позже, осталось с ней на всю жизнь: перевернувшийся на подходе к амбару трактор придавил насмерть ее мужа. Рычащий мотор, вертящиеся в воздухе колеса, кровь на покато деревянном настиле... В тот день ее шестеро детей стали бедняками. Коров пришлось продать, и они, расставаясь с хозяйкой, плакали, все как одна, сентиментально и по-коровьи, и Хельге долго потом душили эти слезы, бессловесно выплаканные в школьный мир бесконечных, отрицательных и мнимых величин. Зная больше от коров, чем от учителя математики, что всякая мнимость рано или поздно обернется реальным чувством, что пережить отрицательное на пути к *своей* планете не составляет никакого труда, и что хваленая учителем бесконечность обязательно упрется в скалу, став снежным смехом хульдры, Хельге нарисовал круглый, с окнами на все стороны, дом и тайком переселился в него. Дом стоял на вершине горы, на каменной замшелой плите, окруженный приплюснутыми ветром березами и вереском. Порой туда наведывалась хульдра, садилась на камень над самым обрывом, распускала длинные, до кончика хвоста, косы, расчесывала волосы... Ах, эти льняные, пахнущие мохом космы! Она разувалась, снимала толстые вязаные носки, разглядывала свои босые ступни. Такие красивые ступни были, пожалуй, только у Хельге, весь мир мог бы ими, при желании, любоваться. Но мир предпочитал любоваться бесконечностью.

От круглого дома, нарисованного в детстве, у Хельге осталось, в его пятьдесят три года, переживание своей в мире единственности. В доме его родителей, правда, не было ни одной книги, даже Библии, где можно было бы справиться о причинах этой единственности. Да и кому она, единственность, теперь нужна? В Лофотен рано приходит зима и убирается восвояси лишь в мае, уступая торопливым дождям и лижущему ледники солнцу, и море, отдохнув от штормов, делается прозрачным до самого дна, и ты обнаруживаешь лежащую на песке, под толщей соленой воды, синеватую раковину... много-много любующихся собой отдельностей, в каждой из которых что-то есть... Что есть в *тебе*? Ты окружен миром, воздухом и морем, формой и веществом своего тела, и ты есть, бесспорно, центр всего этого. Ты, в раковине твоей отдельности.

Хельге понадобилось пятнадцать лет, чтобы подготовиться к уходу из дома. Ни с кем не простившись, он просто сел на корабль, отплывающий из Лофотена в Берген.

Он подметал на корабле полы, мыл на кухне посуду, пёк блины на огромных сковородках, жарил рыбу и тресковые языки, и много было вокруг него такого, чему он не желал вовсе учиться. В каюте, где он спал вместе с другими рабочими, пили крепкий самогон и лежали по очереди с поварами, но он ничего этого не хотел. Он, навсегда прельщенный хульдрой. Только она одна и могла его надолго приманить, завлечь в облако снежной пыли, посадить в санки, пригреть в каменной хижине у огня. Он мог бы, пожалуй, на этой хульдре жениться, почему бы и нет. Обзавестись длинным хвостом и длиннохвостыми детишками, завести овец, коз, кур... Дома, в Лофотене, ему нравились

замужние женщины, такие, что еще не выгорели дотла, и как-то раз женатый приятель всадил ему в бедро вилы, основательно, со всего размаху. Хельге и сам не прочь был теми же вилами пригвоздить приятеля к деревянному сараю, чтобы тот немного остыл и просох, но передумал и ушел ни с чем, только наследил возле дома кровью. Хельге подумал тогда: "В той, прошлой моей жизни я многих дуралеев угомонил, да, многих, но они, к сожалению понародились снова, проклятые!" Он не хотел больше никого убивать, он так решил. В детстве он как-то пришиб камнем лягушку, и все, что было у нее внутри, оказалось снаружи. Он долго смотрел на изуродованное им животное, потом завалил труп камнями. Нет, он больше не этого не хочет.

Первую книгу он прочитал, когда ему исполнилось тридцать. Прочитал основательно, пристрастно, исписав две толстые тетради собственными комментариями. Эта книга предназначалась немногим, хотя читали ее все. Может, одному ему она только и предназначалась. Он взял ее у мормона, работавшего вместе с ним на фабрике стекла в Моссе, и оказалось, что есть еще много других не менее занятных книг, хотя мормон сказал, что ключи к пониманию всего этого давно уже утеряны. Насчет ключей Хельге всегда сомневался, и если какая-то дверь и оставалась, вопреки его желанию войти, запертой, он попросту снимал ее с петель. "Я сам, - не раз думал он, - и есть ключ".

На фабрике он научился *видеть* стекло, оживленное неровностями и неправильностями старое и стерильно ровное новое, научился смотреть *сквозь*. К стеклу прилагались формы, в формах расцветало воображение. Вообрази, что в этом зелено-голубом шаре, живет человеческий зародыш, в этом космическом равновесии между центром и сферической периферией, и трудится над ним вся вселенная, включая отдаленные созвездия Зодиака, весь мир волит к этой единичной, единственной, жизни. Мормон, выдувавший из расплавленного стекла банки для варенья и бутылки для сидра, так не думал, его интересовало только количество, на котором и строилось будущее благоденствие исполнительного и дисциплинированного мира. Количественное, статистически прогнозируемое счастье. С этим Хельге меньше всего хотел иметь дело. Болтовня о счастье нужна тому, кто не готов к испытаниям. У счастья всегда есть групповой привкус. Испытанию нужен ты сам.

Выдувая из стекла круглые и цилиндрические формы, отыскивая в них следы спиралей и лемнискат, Хельге попросту удирал из жестко количественного, помогающего дурной бесконечности мира, да, покидал представления о физическом пространстве. "Где-то, - думал он, - должен быть переход в мнимость, в отрицательность, в реальность иных измерений". Он подозревал, что Бог, каким его видит церковь, это всего лишь псевдоним того, кто ищет в мире смысл и при этом сам уваливает от ответственности. "Бог, - думал он, - не может быть от меня независим! Бог дал мне то и это, оторвал от себя, снабдил меня запасами, снарядил в дорогу, и я должен все это вернуть на исходе экспедиции... вернуть в виде любви и свободы!"

Он узнал это от прохладных белых ночей с распускающейся черемухой, от переливающихся северным светом зимних дней, от снятой им с крючка и выпущенной в море трески, от пасущихся среди коровьего стада диких гусей и вскрикивающих среди клевера чибисов... узнал в самой форме своих мыслей: свобода есть выстраданная тобою благодарность этому прекрасному физическому миру, и она не обретается сообща, но вырастает из тебя самого. Это мера твоей глубины.

Шеф фабрики высмотрел Хельге среди других рабочих: высмотрел гения.

Он зовет Хельге к себе в кабинет, наливает кофе, предлагает шоколад. Он уже довольно стар, и он помнит, как встретил на Карл Йохан великого Гамсуна... да, да, поднадзорный арестант-писатель шел сквозь улыбающуюся ему толпу, не слыша ни брани, ни комплиментов, он был, слава Богу, уже совсем глухим. С гениями всегда так: при жизни их забивает сорная трава. Гений ни за что не борется, он только горит. Горит один, в темноте. Вопрос только в том, насколько его хватит. И можно ведь немного ему подсобить, смягчить условия, сэкономив тем самым топливо... Короче, дирекция фабрики

предлагает Хельге стать главным технологом. С таким, как у него, пониманием форм и линий, с таким *видением* материала можно удвоить и утроить количество производимых банок для варенья и бутылок для сидра, можно превратить весь мир в склад стеклотары!

Старик говорит еще, правда, в приватном порядке, что готов в ближайшие годы уступить Хельге этот свой кабинет, директорский кабинет. И он может поклясться своим опытом и возрастом, что никто никому за всю историю фабрики таких предложений не делал. На это Хельге только усмехается: "Но ты, возможно, станешь первым, кого бы я уволил". Старик смеется, он не обижен. И Хельге просит у него отпуск... нет, не две недели, ему нужно... полгода. Полгода суверенной незанятости. Старик понимает, эх, что все это означает, и отпускает Хельге на все четыре стороны.

Дать деру хотя бы в лес, среди зимы, взяв с собой только спальник. Топить на костре снег для кофе, спать, зарывшись в сугроб. Никто не потащится за ним следом, даже Хиллари... при мысли о ней Хельге самодовольно усмехается: эта индейская скво! Хиллари живет с ним уже несколько месяцев в дешевой двухкомнатной квартире с видом на городскую мусорную свалку. Место это совсем не плохое: над присыпанными землей горами мусора кружат тысячи чаек, напоминая своими криками о близости моря, и если присмотреться, можно разглядеть вдали полосу фьорда. Хиллари курит самокрутки на огороженном пластиком балконе, сушит белье, жарит кукурузу и вафли, скучает о Техасе. Она тоже ходит на фабрику, встает в четыре утра, несмотря на свой высокий статус *психолога*. Психолог, он же чья-то рука, необходим в производстве наряду с электричеством и сырьем, и если что-то где-то не так, и если это к тому же не ваше дело, психолог аккуратно вынет у вас мозги, положит на блюде с королевским голубым узором, и вам же эти ваши мозги скормит: жрите, друзья!

Хиллари недаром маялась три с лишним года в американском университете: ее диплом бакалавра сияет наподобие втиснутого в золотую оправу солнца, и нет ни одного на фабрике турка-вьетнамца-пакистанца, которому не хотелось бы на фоне этого диплома ну что ли... воссиять. Правда, стекло, даже зеленое бутылочное, с четко выдавленным фабричным знаком, могло бы поставить свою прозрачность против мутности психологических доводов Хиллари, но это же стекло... Психология, это спрос, сиюминутность, это прежде всего *дозволенность*. Это к тому же удобства: доступность-доходчивость-достаточность. Скажем, заходит кто-то в цеховой душ, а там, на сверкающем кафельном полу... куча говна. Говно свежее, сегодняшнее, и это наводит психолога на мысль об *актуальности* происшедшего события: тут насрал какой-то турок. Да он, глядите-ка, насрал еще и тут... и там... и это притом, что в душе имеется замечательный, сверкающий кафелем и зеркалами туалет! Почему, задается вопросом психолог, турок предпочитает срать на пол?!

Не на все, конечно, вопросы у Хиллари есть достойный ответ, достойный ее американского диплома. И бывают минуты, ах, когда ей приходится брать у Хельге займы... ну что ли приворовывать. Хельге не бережлив, он ничего не копит, и завтрашний день интересует его не больше, чем день вчерашний. Он ценит, пожалуй, только *свою планету*, и никого он туда с собой не зовет. Хельге известно кое-что о *таинственном*... и откуда только ему это известно! Школы, университеты, *ложки*, они больше не нуждаются в истине. Бывает, добирается туда, спотыкаясь и ковыляя, замученная до смерти полуправда, косая, кривая, косноязычная, и ее тут же *возносят* до самого высокого, какой есть в ложе-университете-школе, градуса: пусть там, сердечная, кипит! Кипит, выпаривается, выпадает в осадок, ржавеет. "Кухня", - скажет ученый, "лаборатория", - поправит повар, "сортир", - уточнит голодающий.

Хиллари вызнала у Хельге, что он собирается на... Юпитер. Под кроватью у него полно пустых чемоданов, он подбирает их на городской свалке: он намерен увезти с собой полмира. Вот куда следует заглянуть психологу: под кровать! Продуктивная психология тем и отличается от психологии *вообще*, что не гонит прочь таинственное: она к нему приценивается и... сует под прилавок. Не только втридорога продать, взяв даром, нет:

ускакать на этом таинственном дальше, куда никакая психология своим ходом не доберется. Кто владеет таинственным, тот владеет миром.

Хиллари не сомневается в том, что Хельге с нею *особенно* счастлив. Других он просто катал на мотоцикле, приводил на ночь, но с ней... Он живет с ней без всякого расчета: она для него испытание. Сколько едкого психологического дыма и чувственной ненасытности сможет он вынести? Он знает, что это война, и притом затяжная, в которой воюет только одна сторона, не замечая, что бьет по своим. "Бей, - усмехается он про себя, - бей эту стену своей же индейской мордой!" Впрочем, Хиллари чертовски красива: черные сияющие глаза, смуглая кожа, смоляные, до пояса, волосы, кошачье тело. Он мог бы сказать, пожалуй, что любит это тело, да, этот взрывоопасный жар, проникающий до самых его костей. Он лежит с Хиллари каждую ночь, и ночь не может их обоих насытить.

Но теперь он желает для себя... незанятости.

Он едет с работы на велосипеде, в пятнадцатиградусный мороз, он перед этим вымылся в душе, и некогда было вытереть волосы: они звенят на затылке сосульками. Над пеленой снежного тумана, плотно лежащего над белой равниной поля, видны головы трех всадников, скачущих в сторону заросших лесом холмов. Он различает среди них женщину с развевающимися рыжими волосами, и когда туман отпускает на миг спрятанные в нем тела, он узнает ее, он видел ее не раз: в длинной вышитой юбке и лисьем полушубке, ее не спутаешь с другими. Дочь известного в этой местности художника. Он слышит, хотя всадники далеко, стук копыт по мерзлой земле, чувствует диковатый аллюр одетого в черный балахон коня. По этим пустым зимним полям пробегают изредка косули, дразня нетронутую белизну игривыми следами копыт и катышками помета, и лыжник, бывает, петляет среди разделяющих поля канав с незамерзающими ручьями, ища короткий к лесу путь. Там, на заросшем елями и березами холме, навалены груды камней, когда-то принадлежавших морю, и вся эта равнина была когда-то морским дном, недаром бонды, собирая осенью картофель, свозят отсюда каменную мелочь, год за годом, и камней не становится от этого меньше. Почти три тысячи лет лежат морские валуны на вершине холма, и в те времена, когда море подступало ближе, на холме хоронили всех, кто тут жил, без каких-либо различий на знатность или бедность. И многим, конечно, доводилось тут снова рождаться и снова быть погребенным на холме, снова и снова, так что места эти вполне обжитые. Втиснувшийся между побережьем фьорда и железной дорогой Харпестад: церковь, кладбище, поля. Здесь можно отыскать пустой возле леса дом, заброшенный крестьянский двор, можно жить почти бесплатно. Хотя, конечно, здесь скучно, почти как в ссылке, здесь ты никому не нужен.

Именно такое место, совершенно не привлекательное для других, Хельге давно искал. Это прямо-таки королевская привилегия, когда ты один владеешь окружающим тебя пейзажем, одному тебе неспешно рассказывает о прожитом дне черный дрозд, одним тобой наполняются величественные фиолетово-алые зимние закаты. Харпестад никакой не город, это скорее дорога, вдоль которой стоят на зеленых лужайках виллы вперемежку со старыми крестьянскими дворами. Здесь по-прежнему разводят овец и коров, сажают ячмень, овес, пшеницу и картофель, по-прежнему вырубают лес. И время здесь особенно не спешит за последними из газет новостями, оно здесь отдыхает.

Но прежде чем перебраться в Харпестад, надо на время... исчезнуть. Так, чтобы никто не увязался следом, не схватил за руку, не отговорил. Нужен долгий и совершенно особенный отпуск. Заметающее следы отсутствие. Можно, конечно, поселиться на парусной лодке, спать в любую погоду под брезентовым навесом, ловить рыбу... Нет, рыбу Хельге сам никогда не ловит, только выпускает, бывает, из сети обратно в море, тем самым содействуя деловитости природы: рыба дает смысл воде. Его верткий ялик, Осло-йолле, с самодельным четырехугольным парусом, вполне годится для бездомных вдоль побережья странствий, безадресных остановок на безымянных островах, голубого солнечного дрейфа в подернутых дымкой далях. Лежать на дне лодки и слушать. Слушать, слушать... Слушать и быть заодно с неустанной, навязчивой болтовней волн, с

их плеском и шепотом, с их дразнящей ветер беспечностью. Тяжелые серо-голубые облака над синей неровностью обступающих фьорд берегов, холодная нагота скал. Эта немногословная красота вовсе не является для Хельге самоочевидной: что стало бы с фьордом и морем без него? Он знает, что все это есть в нем самом, этот холод и мощь, эта молчаливая неприступность, не ожидающая для себя ни оправданий, ни похвал. Природа показывает ему лишь частности, тогда как общим ее случаем является он сам, Хельге Нордли, и это с его прежних обличий природа снимает свои бесчисленные копии... Лежать на дне лодки и пытаться вспомнить *себя*. Но можно уйти дальше изрезанного фьордами побережья, уйти так далеко, что никто даже и не помыслит себе эту отдаленность. Даже Хиллари, алчущая *его* планеты. Она примеряется к его расстояниям, вгрызается в его время, она хочет этим владеть. Разве может кто-то *владеть* его свободой?

Он купит билет на датский пароход до Фредриксхавна, а дальше... только газетные ищейки и могут пронюхать эту в общем-то новость: какой-то придурок едет на велосипеде от Скагена до Сахары. Вот он, Хельге, в единственных дорожных штанах и с маленьким рюкзаком, и в рюкзаке у него десяток запасных покрышек. Таким его проглотит история, и нет ей, собственно, никакого дела до причины его бегства. Пока будильник не взорвался еще требовательным воем, пока Хиллари досматривает утренние клубничные сны, он встанет и тихо закроет за собой дверь.

В овальном зеркале умещается по меньшей мере половина его жизни: натруженность, обветренность, усталость. И если отойти чуть подальше, к самой границе детства, откуда так отчетливо слышны призывы судьбы, можно разглядеть едва проступающие сквозь стеклянную толщу лет знаки: скоро, теперь уже скоро... Да разве Хельге, в свои пятьдесят три, чего-то еще ждет?

Дрова, брошенные в чугунную печку накануне вечером, подсохли и прогрелись за ночь, осталось сунуть туда скомканную газету, брызнуть на нее керосином. Оторвав кусок газеты, Хельге неспеша читает теснящие друг друга объявления: кто-то кого-то ищет. Он и сам, бывало, такие объявления писал, бывало, его кто-то находил, скорее всего по ошибке, какая-нибудь умирающая от скуки осенняя дама, и следом за прохладным, вкрадчивым любопытством гналась уже зима, с ее бескомпромиссно холодным "нет". Но здесь, на этом газетном клочке... Хельге снова читает объявление: вот оно, ни с кем еще не разделенное лето! Лето к тому же русское, не гарантирующее никакой погоды. Одно, может, сплошное ненастье, кто знает. Но это все-таки лето! Золотые подсолнуховые дали, полуденный над степью зной, распаханность колокольного, над рекой, неба... Это и есть тот самый Восток, откуда приходят пока еще не укрощенные благоденствием мысли. Мысли о важном, о главном.

Но что же с этим неизвестным русским летом делать теперь, накануне зимы? Догнать! Поймать! Схватить! Пережить жар чужой свободы! Обнять другую, устремленную именно сюда судьбу! И не спрашивать себя, не домогаться, не выяснять, откуда он, Хельге, это знает: что эта чужая судьба устремлена именно к нему.

Такие объявления пишет либо тот, кто совсем уже умер от скуки, либо тот, кто отчаялся. От скуки можно забрести в лес, отчаянию нужны высоты. Таки высоты, с которых не грех и сорваться. "Вот он, - скажут, - и покорил эту высоту". То есть свел с собою счет. Да вот, кстати, и сам этот счет: дети, университетская карьера, болезни. Сорок семь килограммов живого пока еще веса.

Серафима.

Взяв с полки ножницы, Хельге аккуратно вырезает объявление, снова читает, хотя уже помнит его наизусть, мысленно озвучивая слова тем, чужим, голосом. Разве не слышал он уже когда-то этот голос? Давно, так давно это было... Так давно, что невозможно уже припомнить, как тебя самого тогда звали. Только смотреть в глубину схваченного бронзой зеркального овала, только пытаться увидеть... пытаться пережить обращенное к тебе ожидание... Сколько, должно быть, пришлось этой женщине ждать! Почти столько же, сколько ему самому. В этой овальной пропасти судьбы горят и другие ориентиры, как

отсвет позолоты на старой бронзе, в этой сумеречной глубине слабо мерцает удивленное "Ты?..", рискуя быть съеденным алчным и вечно голодающим "Я!" Не ты ли это написал самому себе письмо? Ты долго ждал этого письма и наконец решился... наконец-то! Ты знаешь его наизусть, ты сам же его и выдумал. Ведь только самому себе и можно такое написать. Это короткое, в несколько строк, объявление, висит должно быть в пространстве уже не один год, довольствуясь холодом голубых высей: кончится жизнь, уйдут в никуда слова, останутся только переживания... как они горячи! "Я хочу переживать все это с тобой, хочу переживать *тебя!*"

Взяв с комода вставленный в оловянную оправу спичечный коробок, Хельге смотрит некоторое время на свою седую, в зеркале, бороду, неспеша зажигает толстую, сидящую на грубом деревянном подсвечнике, свечу. Так, со свечой, теплее. Свеча, чугунная печка, дрова... мыши. Сколько он уже так зимует... или он просто ждет? Ждет, что кто-то напишет ему что-нибудь стоящее. Борода поседела, но тело, эти кости и мышцы, годятся еще на многое.

Он выходит босиком на террасу, бросает птицам на снег ломти вчерашнего хлеба, замечает возле самой двери мышшь, возвращается на кухню, отрезает ломтик сыра. Он не имеет ничего против птиц и мышей, а также ос и диких пчел, занявших в доме все щели, не говоря уже о длинноногих пауках, зимующих за занавесками, этих невесомых "математических точках", *переживающих* путь и время. Снег на террасе и на газоне перед домом к полудню тает, выпуская из мимолетного плена пригнувшиеся к земле ветки кустарника с последними, едва заметными блекло-розовыми цветками, полусонный шмель ошалело стучается о стекло, валится на подоконник, карабкается по ветке к цветку... По снегу бежит, от сосны до сосны пересекая лужайку, белка, она знает, что Хельге теперь на нее смотрит, и поэтому то и дело останавливается, становится столбиком, оглядывается. Его седая борода, как и голубоватая беличья шкурка, надежный знак зимы. Что может быть надежнее холода?

Сунув в печку березовое полено, Хельге наливает в медный кофейник кипяток, дает кофе настояться, пьет. Пить кофе умеют только на севере, гораздо севернее этих мест, в ненастную, штормовую погоду, неделями не выходя с рыболовного катера на сушу. И то, что Хельге родом оттуда, дает его холоду власть над соблазном отогреться: так выживает в одиночестве тоска и мечта, так врывается в лед опора.

Он снова, перед тем как собраться на работу, смотрит на вырезанный из газеты клочок бумаги: неужели *это* и есть конец его ожидания? Странно, так странно, так требовательно говорят к нему эти несколько строк. Надев залитые краской и машинным маслом джинсы и растянутый в рукавах свитер, он закрывает печную заслонку, задувает свечу. Он выбрал эту работу неспроста: тут он один и вся ответственность только на нем, тут не играет никакой роли авторитет или статус, и нет ему никаких помощников. Он сам, с учетом своей силы и своей скорости, сделал этот пескодувный аппарат, такой нигде не купишь. Много железа прошло через его руки: корпуса грузовиков и тракторов, моторных лодок и нефтяных барж, портовых подъемных кранов и всякой бытовой мелочи, от чугунной сковородки до заржавевших гаражных ворот. В адской пыли и оглушительном грохоте, в длинных, до локтя, рукавицах из толстой свиной кожи, в стальном шлеме с противогазом и непробиваемом комбинезоне, он сводит счет с недолговечностью всякой ржавчины, всякой, какая ни на есть, краски, возвращая металлу его сверкающую суть. Он израсходовал горы песка, и он любит эту свою Сахару, возвращаясь к ней день за днем, год за годом: песок сидит у него в волосах, вытряхивается из карманов, набивается в ботинки. Хороший песок, ровный и мелкий, почти как в пустыне.

Он сбивал ржавчину со старых корпусов судов, один, без помощников, ползая по вертикали с альпинистской страховкой, и за это ему хорошо платили. Достаточно хорошо, чтобы вызывать у других зависть. К зависти прилагается, как правило, подозрительность: "Сам?.. Один..?", следом за которой неизменно спешит ненависть: "Он один это и может!"

Франк, он же Лестничный Франк, завидует Хельге во всем, что бы тот не делал: Франк по-своему его любит. Эта зависть-любовь с годами только сплетает теснее их судьбы, делая из неудовольствия привычку: "Опять ты, паскуда, здесь..." Хельге никогда не зовет Франка по имени, обращаясь к нему с одним и тем же, из года в год, приветствием: "Ты, я вижу, уже на ногах?" И Франк, конечно же, на ногах: его ставит на ноги умение казаться полезным. Какой только пользы он не приносил окружающим! Он собирает и перепродает старые вещи: тяжелую дубовую мебель из крестьянских усадеб, отправленные на свалку американские автомобили, рыбацкие лодки, велосипеды, не говоря уже о таких мелочах, как компьютеры и мобильные телефоны. Франк охотно получает подарки, в том числе и от женщин: постельное белье, мыло, свечи, туалетную бумагу... От Хельге он тоже получил кое-что, и все благодаря своей зависти: просторную мастерскую вместе с машинами и оборудованием. Хельге отдал это бесплатно и насовсем, отдал в момент своего процветания: ему надоело, вызывая у многих зависть, делать деньги. Никто в Моссе так бы не поступил, разве что сумасшедший, никто не мог бы позволить себе такой свободы. Но Хельге мог. Он только попросил у Франка место под навесом, где можно, ни с кем уже не конкурируя, потихоньку управляться со своим "адам": пылить и грохотать. И Франк, подумав, отдал Хельге свободный угол.

Хорошо, что в этот его "ад" не ломятся другие.

В дровяной сарай намело снега, и, опуская брезентовый полог, Хельге замечает на распиленной доске нацарапанную ножом надпись: "Я была здесь. Твоя". Он сразу понял, что это Монти, только она одна себя так называет: Твоя. Сметя ладонью с доски снег, он долго смотрит на крупные, заметные издали буквы, и внутри у него отчаянно жжет, и он понимает, что плачет без слез. Он знает, чего стоит эта *скорбь любви*, эта невозможность любовь с кем-то разделить. Разделить можно постель, стол, машину. Но чтобы кто-то нес твою жизнь в своей жизни, как редкую морскую раковину в ладони, такое Хельге никогда не встречал. Еще раз прочитав нацарапанные ножом слова, он ломает доску об колено: дрова! Садится в машину, включает снегоочистители, медленно выезжает на дорогу. И из подернутых снежным туманом полей бежит по следу колес продрогшая весть: "Твоя!.. Твоя!.. Твоя!.."

2

Монтсеррат.

Имя горной вершины, укрытой облаками и пылью лавин. Имя недоступной, пугающе явной красоты, манящей иллюзией близости. Это имя дал ей отец, Гейр Сивертсен, известный в Харпестаде художник, и эта известность кое-что значит и после его смерти. Во всяком случае, свою единственную дочь он заранее избавил от скуки и маяты трудоустройства, оставив ей и ее матери неиссякаемую акционерную ренту, спрятанное в лесу поместье и две дачи, в Испании и на маленьком островке в Осло-фьорде, где в бревенчатой, хорошо протопленной мастерской Монтсеррат и появилась на свет в конце ноября, тридцать шесть лет назад.

В свои цветущие шестнадцать Монтсеррат не казалась Хельге интересной: одна из тех, кому не лень быть у всех на виду и водить за собой в лес мальчишек. Он сам бы с ней тогда не пошел, не о чем было с ней говорить. Позже, поселившись на заброшенной даче в окрестностях Харпестада, он услышал о ней странные вещи: Монтсеррат умеет смотреть в прошлое. Что она там, в прошлом, ищет, никто не знает, но она туда *смотрит*. В мастерской Гейра Сивертсена до сих пор валяются рисунки, наводящие на след ее странных рассказов: тут пьяная свадьба на речной переправе, там казнь на снегу... Даже свою известную, с двумя викингами, картину Гейр Сивертсен написал со слов Монтсеррат, откуда только она все это узнала... Она словно водила его рукой, вдыхая непринужденность в напряженные позы идущих по снегу викингов: она знала то, что знали они.

Гейр Сивертсен был почти ровесником Хельге, оба часто обедали в кафе на бензоколонке, заказывая один и тот же перочный бифштекс с вареной картошкой, и газетные новости были для обоих одним и тем же: старой политической блевотиной одних и тех же обожравшихся властью недоумков. Оба не сомневались в том, что политик должен непременно хотя бы в чем-то быть инвалидом, иначе ему с собой не сладить. Раздавить, растоптать и по возможности вывести из употребления свою от других *отдельность*, заменив ее на безвкусно-тошнотворное "мы, вы, они". Куда интереснее было говорить о старых, преисполненных глубокого смысла вещах, все еще попадающихся в пропахших плесенью и пылью магазинчиках: о чугунных печках, медных ведрах, свинцовых оконных рамах с цветными витражными стеклами, да просто о старых гвоздях... Говорили они и о крови викингов, особенно, впрочем, не веря в генетику, поскольку этой науке ровным счетом ничего не известно о странствующей из жизни в жизнь вечной человеческой основе. Ген, это такая же абстрактная бессмыслица, что и атом: сколько ни болтай о его "сложном строении", сколько ни находи зримых доказательств его "структуры", все равно что-то незримое ускользает... Что..? Куда..? Гейр Сивертсен был уверен, что к тебе: чем бесстрашнее ты к себе приближаешься, тем больше ты знаешь о мире. Старая в общем-то песня. Старые вещи гораздо прочнее новых.

Старый бревенчатый дом на маленьком острове, он простоит еще сотни лет. Сбивая со стен струей песка растрескавшуюся краску, Хельге проводит рукой по шершавой, с выдолбленными прожилками, деревянной обшивке, пробует ногтем твердость дерева. Он покрасит дом заново, возьмет, не считая, деньги... нет, деньги его вовсе не интересуют. Он любит бывать в мастерской Гейра один: смотреть, как приливает к рисункам и эскизам спрятанная от нормального глаза жизнь цвета. Он видит, что Гейр ушел достаточно далеко, дальше тех мест, откуда еще можно вернуться, да, шлепнуться в скуку известности и успеха. Он видит, с каким невероятным трудом Гейр добирается до своего, среди солнца и льда, одиночества: Гейр вовсе не родился таким, но... дорос до этого. Так вырастает на каменистом острове прижатая ветром к скале сосна. У этого роста есть свой вдохновитель: препятствия. Пробраться сквозь щель, проломить камень. Тяжелая, без выходных и отпусков, работа. Часто бесплатная, никем не замеченная. Об этом Хельге никогда не говорил с Гейром, и оба знали, что так оно и должно быть: одинокому одиночество. Хельге и сам часто рисует: куполообразные, яйцевидные крыши, лемнискаты-колонны... И хотя это для него только забава, способ коротать одинокие вечера, он не прочь узнать мнение Гейра. Иногда ведь и самому одинокому нужна компания, да, ненадолго.

Он пришел к Гейру домой, в лесное поместье на окраине Харпестада, и его встретила одетая в черное дама, и трехцветный флаг перед домом был приспущен, а в высокой, отделанной глазурью вазе увядали белые лилии. И Хельге понял, что опоздал. Он знал, что так оно даже лучше, когда появляется возможность из этой жизни уйти, и он улыбнулся одетой в черное вдове. В конце концов все мы пришли *оттуда*. Больше ему нечего было ей сказать, он только молча взял у нее пакет, в котором лежали недавно купленные ботинки: Гейру Сивертсену они уже не нужны. С этим пакетом и папкой своих рисунков он пошел обратно к оставленному возле конюшни вольво, мельком глянул на лошадей на огороженном проволокой пастбище, заметил одетого в балахон коня. Этот конь явно был тут вожаком, необычайно рослый, со смоляной гривой и густым, до земли, хвостом: он тарасил на Хельге диковатые глаза, подозрительно втягивая ноздрями воздух. Скорее всего, этот конь был безумен, из тех, кого загоняют насмерть паника и страх. Но для Хельге это ничего не значило, он мог говорить и с сумасшедшим, мог дать ему хлеба, мог крикнуть, ударить ногой в зубы... Он не позволит животному иметь над собою власть. Подумав так, Хельге улыбнулся коню, и тот, еще больше тарася из щелей балахона глаза, заржал. Из конюшни вышла Монтсеррат.

Она не была, как мать, в трауре. Высокая, она казалась еще тоньше и легче в длинной темно-зеленой, расшитой розовыми цветами юбке и белой рубашке с серебряными

пуговицами. У Хельге перехватило дух, он не ожидал такое увидеть: эту зрелую, требовательную, самодостаточную красоту. Туго стянутые хвостом рыжие волосы, густые светлые брови над смеющимися синими глазами. Она смотрит на Хельге без малейшего смущения, словно он был тут частым гостем, смотрит и оценивает. И он, не раздумывая, идет ей навстречу, идет своей легкой, каждый миг готовый обратиться в прыжок, походкой, настороженный и распахнутый настежь, подходит почти вплотную и тут же отходит назад, и снова подходит... Так знакомятся крупные хищники.

- Монтсеррат, это я, - вливая в его прохладный голубой взгляд тягучую синеву, начинает она и тут же берет его за руку, бегло гладит его мозолистую ладонь, смеется. Дерзкая! Она изучает его, приценивается. И он позволяет ей это делать. Он принимает как должное ласкающую его мысль: "Ты старше меня на семнадцать лет, но сколько в твоём теле силы!" Он и сам это знает: такое, как у него, тело не дается просто так, оно ничем не обязано ни глупейшим тренажерам и еще более глупым диетам, это тело *выстрадано трудом*. Эти мозоли и твердые, как камень, мышцы, это дорого стоит. Смеясь, она как бы случайно касается лбом его плеча, и он только молча следит за этой ее игрой, и каждый миг в нем раскрываются бездны и пропасти, - Покажи, что у тебя в папке!

Фыркнув и пристально глянув ей в глаза, Хельге достает рисунки, раскладывает их на подстриженной траве: шаровидные дома с раковинообразными балконами, причудливо округлыми дверными и оконными наличниками, расходящимися веером ступенями, нарядными башенками над печными трубами, похожими на распускающиеся бутоны террасами... Такие дома неминуемо посрамили бы благоденствующую Икею, поэтому никто их и не строит, нет, никто о таких формах ничего не слышал.

- Ты можешь продать эти рисунки в Осло, тебе хорошо заплатят.

Хельге снова фыркает, он и сам это знает. Знает, что он один только и может такое придумать. Его вовсе не интересует строительство, разве что сооружение наружного, из толстых бревен, сортира... Кстати, это единственная его недвижимость.

- Ты *так* беден?

Он не отвечает. Зачем она его об этом спрашивает? Ей вряд ли будет интересно узнать, что он в этой жизни всего лишь гость. Пришел, посидел, ушел. Вот так, держа в руках уже ненужные другому ботинки.

- Я не *так* беден, - наконец отвечает он и собирается уже садиться в машину.

- Я поеду с тобой, - негромко, но решительно говорит она, и конь в балахоне тычется ей в спину мордой, - Поедем?

- Ты можешь ехать, куда тебе угодно, - безразлично отвечает он уже из кабины, - Пока.

Он едет по лесной дороге быстрее обычного, словно Монтсеррат догоняет его на своем одетом в балахон страшном коне. Он знает, что она для него опасна: он уже любит ее. Любит так, будто давно уже ее знает. Она не похожа на Гейра Сивертсена, да, пожалуй, и на свою мать. Она в своем роде, особенная. Каждый ведь волен лепить себя в соответствии со *своим* идеалом, даже если материал родительский. Каждый наследует в конечном счете *себе*. Монтсеррат, смотрящая в прошлое.

Дома он перво-наперво вымылся, долго стоял под душем, словно желая смыть с себя застигнувшее его врасплох чувство. Причесал, что он делал редко, торчащие над ушами волосы, заварил крепкий кофе. Был конец мая, с мягким серебристым светом белых ночей, белыми облаками цветущей спиреи и черемухи, с прохладной невинностью ландышей. Хельге любит цветы, их терпеливое стремление к свету, их невинное сожительство с бабочками. Эти навсегда привязанные к земле пленники, тоскующие о своем родстве со звездами! Впрочем, сам он цветы не разводит, ему достаточно диких. Поставив на край чугунной печки кофейник с горячим еще кофе, он думает сходить к ручью, разделяющему поле и лес: там ландыши покрывают сплошь каменистый пригорок. Это совсем рядом, кофе не успеет остыть.

С чем можно сравнить эти светлые майские ночи?

В полях так тихо и свежо, три старых черемуховых дерева стоят в полном цвету, как три готовые на бал сестры, и тонкий, горьковатый, волнующий запах таится в прохладном воздухе как весть о не познаваемой до конца красоте. Дрозды на верхушках высоких елей вплетают в безветренность вечера свои неспешные, об одном и том же, рассказы: о том, что короткая ночь завершится рассветом, а потом будет день, а потом придет вечер... Можно жить в этих местах тысячу лет и ни разу не пресытиться майскими таинствами, переживая это вновь и вновь: свою совершенную среди совершенства природы единственность.

Подождав, пока дорогу перебежит косуля, Хельге идет напрямик через поле, мимо свободных от пашни каменных островков с березами и можжевельником, мимо кряжистой столетней липы и груды замшелых, покрытых птичьим пометом валунов, идет прямо к ручью. Его натренированное одиночеством слух уже улавливает шепот и мелодичное журчанье сбегающей с пригорка воды. Эта лесная, собирающаяся из-под хвои и мха вода никогда не стоит на месте, прокладывая среди корней деревьев свое постоянное русло. Даже зимой, под толстым слоем льда, ручей продолжает жить своей жизнью, вплетая в снежную тишину серебристое журчанье и бульканье. Не будь природа художником, разве она была бы способна на такое?

Теперь, в мае, ручей довольно глубок, через него, пожалуй, не перепрыгнешь. Крепко взявшись рукой за толстую ветку дуба, Хельге ставит ногу на плоский, посреди ручья, камень, пробует опору, упирается другой ногой в торчащий над водой корень сосны, теперь он на пригорке. Натыкаясь на камни, вода образует небольшие водопады, снося вниз песок и гальку, собирается среди перегородивших ручей стволов в запруды. Сюда приходят пить косули и лоси, зимой Хельге видел возле ручья следы рыси.

На пригорке, как он и думал, полно ландышей. Лечь на теплый еще мох, лицом в эти листья, и постепенно отключить мысли... только чувствовать, только переживать этот творческий, ткущий, деятельный покой. Хельге прислушивается: по дороге мимо дома проехала машина, остановилась. Он никогда не запирает дверь, красть у него нечего. Ближайший сосед, он же домовладелец, живет в пятистах метрах и за двенадцать лет был у Хельге дважды, когда ломался водяной насос. Он снова прислушивается, встает, поднимается на пригорок, откуда видны поле и дорога. Мимо старой липы и груды валунов в его сторону идет Монтсеррат. Как она узнала, что он здесь?

Она идет неспеша, будто просто прогуливается, останавливается и смотрит по сторонам, держа руки в карманах куртки, запрокидывает голову к тонкому, едва заметному месяцу, смеется. Наверняка она знает, чего хочет. Она идет прямо к тому месту, где Хельге переправился через ручей, подходит, останавливается. Самой ей, пожалуй, не перебраться на пригорок, разве что перелезть через коряги вброд. Усмехнувшись, Хельге спускается с пригорка, останавливается возле водоворота.

- Ну?

Она стоит всего в нескольких метрах от него, и она достаточно самоуверенна, чтобы никак не объяснять свой приход.

- Хочешь сюда?

Она хватается за ветку дуба, дотягивается ногой до камня, и Хельге вытаскивает ее за руку на пригорок. Он крепко стоит на этих камнях, тяжелый, широкоплечий, и другим вовсе незачем знать о его безднах и обвалах. Она может на него, пожалуй, опереться.

- Ты всегда тут один?

Он молча пожимает плечами, на это он никогда не обращал внимания. Его не интересует, куда ходят другие. Кстати, для других существуют дороги.

Монтсеррат это знает, она ведь сама... бездорожье. Бездорожье лесных, горных тропинок: в лесу не всякому видна красота, хотя охотников туда ходит много.

- Я не охотник, - говорит он и отходит чуть в сторону, садится на замшелый камень. Он мог бы, пожалуй, рассказать ей о перепуганных насмерть косулях, поднятых среди ночи лаем собак и хлопаньем выстрелов, об этих прижимающихся к стенам его дома

обреченных. Рано или поздно их, конечно, пристрелят, но дать животному истинное о человеке представление, это куда важнее: животное сотворено ведь *из* человека. И все, что только есть в животном мире, вернется в конце концов к человеку.

Сев рядом с ним на камень, Монтсеррат проводит пальцами по его торчащим над воротом свитера светлым волосам, дерзко забирается за шиворот, гладит шею, подбородок, высокие скулы, брови. И Хельге все это молча выносит, и другим вовсе не нужно знать, куда он в это время уносится... проваливается... Знает ли об этом Монтсеррат?

Она знает, пожалуй, все закоулки любовных храмов, где она сама алчная и требовательная жрица. И это благодаря ей, ее выделанным из золота наследственности формам, любовь становится жертвоприношением: видишь, как *Я* в этом огне сгораю?

Оттолкнув ее от себя, Хельге порывисто дышит, желая ей что-то сказать... но ничего теперь уже не скажешь. Он знает, что это испытание, к которому никогда не бываешь готов. Вот так, застигнутый врасплох, ты и узнаешь, чего ты сам стоишь. Ты стоишь, может быть, только этой телесной игры, оставляющей после себя одну лишь пустоту.

Распустив тугой узел ее рыжих волос, он вдыхает их запах, находит ее губы. Он ляжет с ней на этот мох, ощущая под одеждой ее золотые формы, ощущая в себе вопль и крик до неба взметнувшейся свободы.

Свободы, *овладевающей* тобой.

Черный дрозд поет до самой темноты и внезапно пропадает, напоследок торопливо пообещав, что до рассвета осталось всего три часа. Темнеющая среди поля громада старой липы, ползучая пелена тумана... Держа Монтсеррат за руку, Хельге идет, не считаясь с ее шагом, и ей приходится почти бежать по засеянному озимыми полю. Куда он так спешит? Там, возле дома, сонно дожидается ее "Феррари", она успеет вернуться домой до рассвета, хотя никому до этого нет дела. Она вольна, в свои тридцать шесть, возвращаться домой или не возвращаться. И то, чем она только что владела, значит в ее жизни гораздо больше привычек и правил: чувственность и страсть другого человека. Из этого взрывоопасного горячего построены вершины и пики ее молодости, и каждая из этих высот ею *взята*. Она взяла, быть может, и Хельге, кто знает... Он крепко держит ее за руку, и ночь еще впереди.

В доме темно, ни лампочки, ни свечи. Можно споткнуться о лежащий у входа камень, натолкнуться на край массивного дубового стола, войти по ошибке в ванную. Но вот наконец и свеча, толстая, оплывшая, в закопченном чугунном подсвечнике. Хельге ставит свечу на подоконник перед узким, как щель, окном, раздевается. Она, если хочет, может спать здесь, на этих нарах. На этих прочно вбитых в стену досках. По ним можно проехать на тракторе, и ничего. Под нарами теснятся старые чемоданы, и что в них, Хельге даже и не помнит. Лежа на толстом поролоне под стеганным одеялом, можно не беспокоиться о качестве снов, в том числе и страшных: здесь все как наяву. И чтобы сны никуда потом не пропадали, Хельге кладет под подушку мешочек с кусочками отшлифованной яшмы: эти пестрые, как бабушкин ситец, камешки. Ему часто снится дорога: он лежит на самой середине и на него вот-вот наедет грузовик, и нет никаких сил подняться, уползти прочь, остается только кричать: "А-а-а-а-а-а-а!!!"

- И это помогает? - запрыгнув на высокие нары, интересуется Монтсеррат.

Хельге кивает. Он кричит не потому, что так уж ему страшно, а только из-за уверенности в том, что его слово очень много значит. Поэтому он, кстати, и немногословен.

Какие сны снятся Монтсеррат?

Она стесняется раздеваться при мужчинах, и далеко не все, кто когда-либо был с ней, видели ее нагой. Обычно она носит болтающиеся на бедрах джинсы и просторную охотничью куртку, становясь почти незаметной в этой одежде. Но Хельге разглядел бы формы ее тела под любым балахоном. Золотые, солнечные формы! Сколько стараний потребовалось природе, чтобы дать этим формам ожить! Ствол выросшей среди камней сосны, неописуемо изящный, неповторимо красноречивый в своей гибкой округлости, в

дерзости своей необычности. Красота, которой многие желали бы поклоняться. Красота, ставшая вровень с небом и солнцем. Красота недоступных тебе вершин. Но разве эта ее недоступность не есть ее чуждость тебе?

Еще работая на фабрике стекла, Хельге научился видеть опасность своего со своим же восторгом соития: его суверенное *само* подвергалось неслыханно жесткому испытанию, да, рисковало быть стертым и растоптанным натиском восхищения. В прозрачной толще стекла он находил ведь только то, что было в нем самом, свои переливы и краски, но как-то неловко было соглашаться с тем, что ты сам и есть конечный предмет выражения искусства. Тогда Хельге понял, как далеко отстоят употребляемые людьми понятия от промысла истины. Он понял, что истина в понятиях вовсе и не нуждается: она *переживается*.

Он мог бы смотреть на Монтсеррат сколько угодно, изучать ее, осознавать. При свете свечи ее нагота напоминает сверкающее в ночи озеро: броситься с головой, захлебнуться, утонуть... Многие наверняка тонули, те, у кого ни паруса, ни ветра. Он проводит ладонью по ее впалому животу, огибает, едва касаясь, маленькие твердые груди, трогает пальцами раковины ключиц и выступающие на прямых плечах бугорки, перебирает закрывающие шею волосы, чувствуя ее учащенный пульс... Никто так пристрастно ее не изучал. Другие, может, вовсе и не желали ее знать, слепцы, довольствуясь привычной тьмой чувства. Обняв его шею рукой, она притягивает к себе его голову и, упираясь затылком в подушку, ловит его губы, шепчет ему в лицо:

- Ты хочешь меня узнать, и ты это можешь. Ты ищешь в хаосе любви себя, это твоя за твои усилия плата, твой выигрыш. Но ты находишь меня! Твое стремление к себе, это всего лишь иллюзия, и я разорву ее в клочья! Я дам тебе свободу от твоего эгоизма!

Он готов играть с ней в эту игру, и он знает, что это охота, смахивающая на самоубийство. Он никогда не искал секс ради секса, он мог годами обходиться без женщин, даже если те приходили к нему сами. Но он желает теперь Монтсеррат. Желает соответствия ее золотых округлых линий своему знанию о себе: он сам есть мерило этих округлостей. Погружаясь в ее горячее лоно, он кричит о своем приходе... Но туда ли он приходит?

Он проснулся на рассвете, когда запел дрозд. Сначала неуверенно, путаясь и запинаясь, потом вдруг в полную силу, рьяно. "Солнце", - думает Хельге и поворачивается к спящей на самом краю постели Монтсеррат. Она спит почти не дыша, и ему кажется, что она умерла, вот так, никого не предупредив. Наклонившись над ней, он пристально, напряженно на нее смотрит, он хочет узнать о ней все, хочет запомнить эти формы. Лицо ее, пожалуй, слишком бледно, и кожа на висках так тонка, что виден пульс, и эти тонкие запястья, эти неповторимо изящные ушные раковины... Внезапно она открывает глаза, смотрит на него в упор.

- Я была далеко, - хриловатым, странно постаревшим голосом говорит она, - И я видела тебя.

Хельге кивает, другим он тоже снится. Сам он записывает в толстую тетрадь увиденные им накануне сны, по горячим следам, иногда ночью в постели, записывает во всех деталях, запоминая с каждым разом все больше и больше. Во сне он многому учится, да, оттуда к нему притекает что-то важное, он думает, что это ангел пробирается к нему сквозь неразбериху жизни: ангел учит его бодрствовать. Если бы кто-то занес над ним, спящим с закрытыми глазами, меч, он бы немедленно вскочил. Он бодрствует, конечно, и днем, смотрит сквозь людские настроения, и большая часть этих картин ему неприятна: он натывается повсюду на один и тот же человеческий мусор. Все хотят *признания*, у каждого наготове авторитет. Никто не выносит к тому же тишины.

- Я видела тебя, - продолжает, лежа на спине, Монтсеррат, - на шоссе, почти голого, с выгоревшими на солнце нестриженными волосами и усами...

- Я ездил на велосипеде в Африку, - нисколько не удивившись, поясняет он, - двадцать пять лет назад, в трусах и кроссовках, и я привык к солнцу.

Она поворачивается к нему, долго на него смотрит.

- Ты видел там красивых женщин?

Он, подумав, кивает. Во Франции и в Испании он не видел ни одной, там их попросту нет, но среди берберов, пожалуй, встречал. Высокие, легкие, гибкие тела, тонкие лица, певучий язык. Светловолосый и рослый, он был среди них экзотикой, его часто принимали за сумасшедшего хиппи и бесплатно поэтому кормили, и никто за всю дорогу ничего у него не украл. Он разговаривал с берберами жестами, не считая нужным употреблять свой школьный английский, и молодые берберки давали ему знать, тоже, разумеется, жестами, что они в данный момент не заняты. Но он не лег ни с одной из них, хотя их пропитанные солнцем черные тела его восхищали. Что для него даже самое соблазнительное тело, если к нему не прилагается никакой понятливости? Спящая черная Африка, тянущая во сне руку к куску хлеба, это ведь дьявольски скучно. Скучно.

- Зачем ты туда ездил?

Хельге молчит. Он проехал через десять стран, он видел Европу. Он не желал себе попутчиков, он должен был все увидеть один, великие столицы и горные перевалы, должен был пережить в одиночестве свою к этой части света принадлежность. Он ехал достаточно долго, чтобы не обращать уже внимание на расстояния, чтобы забыть время, чтобы преодолеть в самом себе всякое "от и до".

- Дух странствий, - перебивает его мысли Монтсеррат, - твои желания, твое честолюбие. Наверняка тобой интересовались журналисты, и ты мог бы, к примеру, рекламировать модель велосипеда...

- Я купил его в комиссионном магазине, старый рабочий велосипед, а журналисты и в самом деле встречали меня то тут, то там...

Он снова замолкает. Разве станет он говорить ей или кому-то другому, что целью его поездки была та изматывающая до бесчувственности, гасящая мысли усталость, которая только и позволила ему пережить в Сахаре встречу с Ним... Нет, он не станет ей об этом рассказывать.

- И что они о тебе писали? - забравшись под одеялом к нему на живот, смеется она, - Что ты сумасшедший?

- Многие так и теперь считают, - усмехается он в ответ, - Но какое мне до этого дело? Я ведь за других не отвечаю.

- Нет, ты свободен от других в хаосе жизни, зачем тебе с кем-то связываться. Но ты повсюду находишь... меня! Ты ведь ищешь только меня!

Он вопросительно на нее смотрит.

- Даже если тебе и в самом деле удалось бы чего-то в этой жизни достичь... - закрывая на миг его лицо водопадом рыжих волос, смеется она, - ... чего-то, что оправдывало бы твою от других отчужденность, я все равно была бы тут, в твоих тайных устремлениях!

Рывком перевернув ее на спину, он придавливает ее своим телом, не считаясь с ее хрупким сложением, он мог бы, пожалуй, ее изнасиловать. Но он тут же отпускает ее, и она настроенно за ним наблюдает, вождедая к его широкой спине и мускулистым ногам.

- Я не хочу иметь от тебя детей, - набрасывая на нее край одеяла, говорит он, - Как, впрочем, и от всех остальных... Расскажи лучше какую-нибудь историю.

Ее тонкое лицо становится серьезным, озабоченным, печальным. На острове, где она родилась, живут одичавшие кошки, они знают много историй. В лунную майскую ночь их тени крадутся по серо-зеленому шиферу, доставая хвостом до конька крыши, спускаются по водосточным трубам на замшелые бетонные плиты, тают в кустах жасмина. Спроси, если хочешь, у кошек, как им эта жизнь. На острове хватает зимой крыс, но самая лучшая их добыча летучие мыши. Эти подвешенные к чердачным балкам комки страха и ужаса. Они по-своему красивы, в своем невесомом теле, в беззвучности своего полета.

- Отцу не нравились эти летуны, он считал их отравителями, да, растлителями человеческой воли. Они мешали ему работать, и многое поэтому так и осталось незаконченным. К примеру, мой портрет...

Сев спиной к его спине, она берет его за руку, взвешивает его ладонь в своей ладони, выпускает на одеяло.

- Мой портрет из прошлой жизни, я и тогда была красива... - она резко оборачивается к нему, - Ты помнишь меня?

Он изумленно на нее смотрит, отодвигается на край постели, словно желая увидеть ее в полный рост, смотрит опять. Он не прочь принять все это всерьез, он ведь и сам многое помнит, но рассказывать кому-то об этом... нет!

- Это неважно, - нехотя отвечает он, - расскажи лучше про летучих мышей.

Он видит, что она злится, ее тонкие пальцы комкают край одеяла. Таких длинных, поразительно ровных пальцев он не встречал ни у кого, в хрупкости ее кисти угадывается терпеливая и тщательная работа над многими поколениями: эти руки сделаны из самого деликатного материала. Он смотрит на свои босые ступни, они тоже очень красивы... и ничего, что Монтсеррат злится. Тугие соски ее маленьких грудей касаются его спины, рыжие волосы щекочут его шею, она стоит на коленях на скомканном одеяле, и ее руки смыкаются на его животе в замок.

- Ты ведь и раньше переживал это со мной, - обхватывая его сзади ногами, шепчет она, - не было такого времени, когда ты был бы со мною разлучен, я следую за тобой из одной жизни в другую! Даже когда ты покидал меня, ты продолжал меня любить. Ты только думал, что ненавидишь меня, но только и делал, что искал мои следы. Твое стремление к истине, как ты это понимаешь, давно бы увяло и поблекло, не будь в нем отсвета моей красоты. Моей! Моя красота вдвухает силу в кисть художника, и нет в искусстве такой линии, которую ты не нашел бы в моем теле. Скажи, ты помнишь меня?

- Ты - Амундсдоттер.

3

Пилить и колоть дрова одному - удел тролля. Обхватить обеими руками толстое бревно, тащить его волоком по траве к круглой вращающейся пиле, пугающей соседа своим визгом и ревом, распилить на пластины, разбить железным тупоносим топором на куски... Сколько дров Хельге в своей жизни сжег! Сжег вместе с дровами свой пот и свои ругательства. Колоть дрова и при этом не ругаться, дело немыслимое. Поносить, как только можно, застрявшего в этих дровах дьявола, вместе с сопутствующей ему свитой, обещая мелким и крупным бесам если не настоящий ад, то по крайней мере приличный огонь. Но сначала надо эти бревна откуда-то привезти, повалить в лесу вековые ели... Впрочем, деревья часто валит ураганный ветер: самые высокие, выросшие на камнях, с неглубоко сидящими корнями. Они лежат потом, эти повергнутые великаны, с вывороченными вместе с корнями камнями, поперек тропинок в самых глухих местах, дожидаясь пилы и трактора.

Чугунная, на высоких кривых ножках, печь стоит посреди единственной в доме комнаты, над нею сушится на веревке выстиранное белье и промокшая под дождем одежда, возле брошенной на пол кучи дров сохнут грубые рабочие ботинки. Приходя из "ада" домой, Хельге сбрасывает на пол комбинезон, заталкивает его ногой под кресло, готовит себе ужин. Что касается мытья посуды, то он мысленно зовет бабушку, хотя та ни разу еще не явилась, будучи давно уже мертвой. Приходит только Монтсеррат, но посуда так и остается невымытой. Она приезжает каждый вечер верхом на лошади, и лошадь ждет, когда ей дадут морковь или яблоко. Каждый раз это породистая кобыла, каждый раз новая, и Хельге знает всех по имени. Один только черный конь в балахоне, тот ни разу здесь не был.

Печка топится в доме даже в июле, в прохладные дождливые вечера, и дровяной сарай всегда доверху набит. Монтсеррат не верит, что можно вот так, с одними только дровами, зимовать, да никто с Хельге еще и не зимовал. Может, и на этот раз он соберет в доме и под террасой десяток-другой мышей, расставит для порядка мышеловки, но в канун рождества уберет, положив вместо них на пол орехи и печенье. Среди мышей, бывает, встречается гений, исправно являющийся к завтраку прямо на стол, к куску завернутого в национальный полиэтиленовый флаг сыра, и Хельге кладет на сыр разрезанную пополам виноградину, себе и гостю. Снаружи барабанят по стеклу синицы, требуя хлеба и маргарина... Так он, скорее всего, и будет зимовать.

Монтсеррат приходит каждый день, нередко среди ночи, она почти поселилась здесь. Лошади пасутся все лето на лесном пастбище, и они вдвоем ходят туда по вечерам, напрямик через поле и дальше, по склону древнего могильного холма. Лес в этих местах дремучий, темным даже в солнечный день, с торчащими среди мха валунами и колдовскими болотцами; в нем можно безнадежно блуждать, отыскивая посыпанную гравием тропинку, можно уйти от нее далеко в сторону, напрасно пытаюсь определить направление в неразберихе столетних сосен и елей. Монтсеррат знает эти места. Сколько раз она пробиралась верхом в самые потаенные охотничьи уголки, доверяя больше лошади, чем себе. Она словно что-то ищет, трудно сказать, что; она искала это в свои шестнадцать лет и теперь, в свои тридцать шесть... ищет то, что должно быть уничтожено.

Июльское солнце нехотя уходит из леса, оставляя на теплых стволах сосен золото и мед: сколько тут еще света! Теперь видна среди деревьев перспектива, прячущаяся днем в тень, видны расстояния. Видна идущая от пастбища к скалам тропинка: помедлив возле сбившихся в кучу молодых елок, она бросается опростетью в кусты можжевельника и выныривает на камнях, в зарослях цветущей лианы и шиповника, дальше можно только карабкаться. Сюда, впрочем, никто и не ходит, разве что барсук или лиса, и прежде чем лезть на камни, хватаясь за ползучие стебли и царапая в кровь руки, надо основательно сойти с ума.

- Зачем тебе туда?

Монтсеррат не отвечает и не оглядывается, словно забыв о Хельге. Она, видно, бывала тут раньше и теперь только берет, так сказать, свой же след. Вот она уже наверху, на небольшом плато, среди наваленных грудой камней, она что-то ищет. И Хельге остается только, яростно матерясь, лезть через кусты шиповника... чтобы он еще сюда пришел!

Солнце уходит неспеша с каменного пригорка, все еще золотя прикипшие к скалам березы, высматривая робкую лиловость среди расцветающего вереска. Здесь можно лежать вдвоем, на сухом сером лишайнике, и никто в мире сюда не сунется. Здесь можно забыть время. Хельге ложится на спину, раскидывает среди вереска руки... но что-то заставляет его тут же вскочить, повернуться к Монтсеррат. Она сидит на самом краю узкой между камнями расселины и смотрит вниз, по ее хрупкому телу пробегает дрожь, тонкие пальцы сжимают прихваченную из конюшни веревку, на бледном, осунувшемся лице беспокойство и страх. Что она там увидела? Хельге подвигается к ней и тоже смотрит в расселину: туда можно ведь и свалиться.

- Ты мог бы... - неуверенно начинает Монтсеррат, - ... спуститься туда?

Хельге пытливо на нее смотрит, он видит, что она всерьез, она что-то задумала. Он нехотя берет веревку, обвязывает ее узлом вокруг березового ствола.

- Ну? Что там?

- Разбей все это камнем... раскроши, раздави!

Уставившись на нее, Хельге невзначай припоминает газетную новость: кто-то бросил в горах незаконно абортированного ребенка... Монтсеррат?! Она лежала со многими, и нет в Харпестаде ни одного ходящего на своих ногах мужчины, от тринадцати до восьмидесяти лет, кто не обернулся бы ей вслед. Даже священник из местной церкви, и тот не исключение. Тонкая, болезненная, чувственная, хрупкая, изысканная,

отрывающаяся от земли красота! Но можно ли представить себе Монтсеррат... матерью? Кормилицей, нянькой, домохозяйкой?

Хельге видит, что ей не по себе. Впрочем, она всегда не совсем здорова, с ее малокровием и низким давлением: ее красота отдает тленом. Именно этот утонченный привкус смерти и придает ее линиям такую неповторимость. Проведя ладонью по ее медным волосам, он тихо, с сожалением, спрашивает:

- Ты убила своего ребенка?

Она возмущенно, дико на него смотрит, губы ее дрожат.

- Я никогда не была беременна! Ни разу. Я нездорова... я... - она отворачивается, - ... и это потому, что... что... что мне не удастся это уничтожить... Разбей все это на куски!

Она вдруг с силой хватается его за руку, но он тут же руку высвобождает, отстраняясь от нее. Он не намерен вникать в этот ее бред.

- Я сама пыталась это сделать... - сбивчиво продолжает она, - ... и я пытаюсь, снова и снова... Пытаюсь не одну сотню лет...

Хельге смотрит на нее хитро, с прищуром: никто так наивно и беззастенчиво его не дурил, другие девушки ему просто ввали. И он поэтому смеется, нисколько не считаясь с ее озабоченностью. Его смех раздражил сойку, и она с возмущенным криком пролетела низко над его головой, словно собираясь обдаться волосы клейким пометом, но он только свистнул ей вслед... Этот его смех, уравновешенный и отчасти презрительный, вызывает у Монтсеррат ярость: она хватается его за воротник рубашки, кусает шею... кусает еще раз... Но он только смеется.

- У меня нет сил это разрушить, понимаешь, ты? - не отпуская его воротник, продолжает она, - Эти... - с дрожью добавляет она, - ... кости! Они лежат там семьсот с лишним лет...

- Ладно, - сухо перебивает он ее, - я полезу.

Проверив крепость узла, он берет зажигалку и съезжает, упираясь ногой в скалу, на дно расселины. Это вовсе не так глубоко, как он думал, и тут, похоже, ничего и нет. Камни, гнилые еловые шишки, сухая листва. Какого, спрашивается, черта! Он щелкает зажигалкой, обводит ею тесное каменное пространство. Возле покатой боковой стены лежит среди мелких камней человеческий череп. Вот оно что! Должно быть, он лежит тут давно, может, не одну сотню лет, сквозь глазницу проросла лиана... Ткнув ботинком кучу мелких камней, осыпавшихся в расселину со скалы, он видит остатки костей, почти уже истлевшие, вытаскивает их, одну за другой, нащупывает металлический, размером с подкову, предмет. Под слоем пыли, сосновых иголок и паутины, эта вещица наверняка помнит давние времена, пролежав неизвестно сколько в этой проклятой горной щели. Царапнув металл ногтем, он протирает "подкову" краем рубашки, снова щелкает зажигалкой, смотрит: небольшая, грубо отлитая маска с разинутым четырехугольным ртом и уродливыми квадратными дырами для глаз. Ну и образина! Маска, говорящая тебе: " Пошел прочь!" За эту ерунду можно выменять у Лестничного Франка подвесной вентилятор, настольную лампу или уют... Франк знает толк в старье. Кстати, что это за металл... он царапает край маски камнем: блестит! Прямо как золото! То есть, это и есть золото, и ему черт знает сколько лет. Золото блестит всегда, даже если на нем кровь или дерьмо. Золото дороже крови, и нет такого в мире дерьма, которое не сгодилося бы сверкать "под золото". На редкость гнусная, кстати, маска. Это ее что ли имеет в виду Монтсеррат? Или эти, готовые рассыпаться в прах кости? Хельге бьет по ним камнем, вот так, еще и еще раз... одна только пыль... бьет камнем по черепу с проросшей через него лианой, но только обрубают толстый ползучий стебель... Черт! Этим камнем можно проломить не только череп. С камнем все в порядке. Что-то не так с этими дьявольскими останками.

- Сатана со всем своим дерьмом в аду! - кричит он, швыряя камень в скалу и хватая другой, первый попавшийся, - Протухшая крысиная блевотина! Русская атомная подлодка!

Он бьет по черепу снова и снова и наконец, отшвырнув камень, сплевывает: ни черта! И ему кажется, что проклятая образина ему улыбается: улыбается своей нетленной золотой улыбкой. И он снова сплевывает, попав точно в глазную дыру.

Это все, что он может сделать для Монтсеррат.

Он вылезает наверх, швыряет ей маску.

- Это дерьмо возьмешь разве что динамитом. Вот уж не думал, что черепа бывают такими крепкими.

Монтсеррат даже не смотрит на золотую вещицу, только безразлично кивает. Она выглядит совсем изнуренной, словно сама колотила изо всех сил бульжником.

- Я так и знала, - едва шепчет она, - пойдём...

Они молча спустились по тропинке к пастбищу, прошли в темноте через лес, и только возле подстриженных кустов сирени, окружавших двор, Монтсеррат решилась заговорить. Была уже ночь, прохладная и звездная, с запахами донника и созревающей ржи, с затаившей дыхание тишиною полей. Запрокинуть голову и унести, устремиться к созвучиям любовно мерцающих звезд, к жару и осторожности этих космических прикосновений. Сколько любви в этих темных глубинах! И сам ты отзываешься только любовью на обращенный к тебе зов: каждая из этих звезд зовет *тебя*.

- Это я зову тебя, - устало говорит Монтсеррат, - зову прочь от этой земли, от скучной повторяемости ее детских игр с солнцем, от ее лунного сладострастного плодородия... Я зову к моей планете, более древней и гораздо более интеллигентной, чем весь этот подлунный, ха-ха, мир. Прочь от этой земли! Прочь!

Хельге с интересом ее слушает, ему нравится эта ее *ненормальность*. Нормальная девушка не станет бродить с ним ночью по лесу, нормальный мужчина не станет слушать подобное. Нормально дело обстояло у него всегда так: он увозил девушку в машине или на мотоцикле, потом спрашивал у ее матери, одобряет ли она это, и все до одной мамы это одобряли, желая немедленной, по всем правилам, свадьбы. Сколько раз он мог уже жениться! Забавно ведь, что и мать Монтсеррат, эта ухоженная, мягкая, сдобная дама с дорогими автомобилями и беспроектными банковскими акциями, вяжет день и ночь носки... для будущих внуков! Совсем крошечные и на вырост, эти носки должны скрепить между ним и Монтсеррат их странный союз, переплести и если надо перепутать нити их судеб.

- Я родилась на маленьком острове в снежную бурю, ни одна лодка не смогла бы в ту ночь причалить, и мать была совсем одна, она родила меня на полу в ванной... Мне следовало, по мнению врачей, в ту же ночь умереть, но это было бы чертовски скучно: проделать долгий, в несколько столетий, звездный путь и тут же повернуть обратно... Хотя самое лучшее, держаться от земли подальше.

- На эту проклятую планету не стоило бы возвращаться, - охотно соглашается Хельге, - Везде полно дураков и мошенников, у каждого в крови сидит если не сам сатана, то по крайней мере политик! Этот политизированный сумасшедший дом! Этот инвалидский бордель! Черт знает, зачем я только сюда вернулся!

Монтсеррат словно оттаивает от его слов, его кипящее раздражение возвращает ей обычную небрежную самоуверенность. Она не ошиблась: Хельге пойдет за ней. "*Мой*, - с воодушевлением думает она, - и я *твоя*!"

- Откуда ты знаешь, что я Амундсдоттер? - вдруг спрашивает она, - Что я была когда-то ею...

Он пожимает плечами, молчит. Это имя пришло к нему однажды во сне: высветилось в фиолетово-синих, над бушующим морем, облаках. Он плыл вдоль скалистого берега на лодке, и в ней было полно воды, и он не успевал ее вычерпывать, он знал, что утонет. И он увидел в лодке ее, под рвущимся от ветра парусом: она была привязана к мачте. Он подумал было ее отвязать, но лодка уже тонула, захлебываясь пенными волнами... Он записал этот сон во всех подробностях, выведя в линованной тетради толстым маркером: Амундсдоттер. Он хотел узнать о ней больше, но сон этот не имел никакого продолжения.

- Ты утонула вместе со мной, - без всяких пояснений отвечает он, - Это было зимой, на скалах лежал снег.

Монтсеррат, отвернувшись, молчит, как будто что-то припоминает. Потом с прищуром на него смотрит, недоверчиво, пристально.

- Значит, и тогда нам было по пути.

- По пути в ад, - уточняет он, усмехнувшись.

Взяв его за руку, Монтсеррат тянет его за собой в темноту и тут же бросает, бежит по траве к дому, но он в два прыжка догоняет ее, хватая в охапку, сдавив так, что она еле дышит, наматывает на руку ее волосы, жарко дышит в лицо. Он хорошо видит в темноте, почти как днем, и слух у него как у рыси, но теперь эти чувства молчат: теперь он видит иное. Он *переживает* теперь Монтсеррат, наполняется ею.

- Ты хочешь владеть мною так, чтобы я не искал ничего больше на земле, - жарко шепчет он ей в лицо, - чтобы я не нашел то, что ищу...

- Ты это никогда не найдешь! - яростно шепчет она в ответ, - Этого на земле попросту нет! Есть только вечное, неутолимое стремление к красоте, есть только поклонение красоте! Поклонение мне!

Крепко держа ее за волосы, Хельге только усмехается. Ей не вырваться, не убежать, и это он ее поймал. И он поэтому не намерен экономить слова, их у него в достатке.

- Стану я красоте *поклоняться*! Это свидетельствовало бы против истины. Истина свободна, и она непременно *моя*. Истина есть, впрочем, нечто общее нам обоим, ни тебе, ни мне не противоречащее: это и есть зона свободы, здесь не имеет уже никакого смысла "поклонение" или "служение", здесь ты сам *своя*.

- Но это я вдохновляю тебя! Я даю тебе крылья и могучие воздушные течения, что, собственно, и есть свобода... Я даю тебе свободу!

Хельге презрительно фыркает, отпускает ее волосы, отходит в сторону. В темноте слышны только осторожные попискивания сверчков, вздохи лошадей в конюшне, отдаленное кваканье лягушек.

- Никто не может мне свободу *дать*, - внятно произносит он, - а то, что *дается*, будь оно самым желанным и долгожданным, рано или поздно оказывается цепью, клеткой.

- Ты не хочешь от меня это принять? - с чувством подаваясь к нему, выдыхает она в темноту, - Этот подарок?

- Нет.

Вернувшись домой около полуночи, он находит в почтовом ящике письмо. Он сразу узнает, от кого оно, узнает по облепившим конверт картинкам и броскому крупному шрифту: так всегда делает Хиллари. Он расстался с ней двадцать пять лет назад, и все эти годы она ему писала. Звала его обратно. Она писала короткие, не надоедливые, чуть игривые, внешне ни к чему не обязывающие, но основательно продуманные письма. Письма-снаряды, бьющие в одну и ту же цель.

Хельге давно уже не отвечает ей, уже много лет, и все его прежние попытки объяснить Хиллари, почему он не хочет с ней общаться, ни к чему не привели: обидевшись, она снова собирается с силами и с непринужденной доверительностью, дорого ей, впрочем, стоившей, принимается за свое. И Хельге не раз с облегчением думал о том, что Хиллари живет, слава Богу, в Америке и не может, как бы она того хотела, навещать его по воскресеньям.

Он прожил с ней целый год в душном, горячем, требовательном рабстве. Индейская кровь требовала в ней абсолютного и совершенно конкретного физического удовлетворения, при этом никогда не удовлетворяясь: телесность в своем тесном, удушающем плену, без малейшей надежды на преодоление раз и навсегда поставленных границ. Сойдясь с Хиллари достаточно близко, Хельге ужаснулся своей находке: из ее крепкого, смуглого тела на него смотрел, улыбаясь окровавленным ртом, древний, неистребимый бог смерти Таотль. Сколько раз, разбуженный Хиллари среди ночи, в ее

лихорадочной, опьяняющей сексуальности Хельге узнавал смертельно ненавидящее его существо: ненасытно жаждущее и алчущее, свивающее дьявольской паутиной любое его душевное движение, склеротизирующее своей паучьей слюной его мысль. Этот паук и был божеством Хиллари, ее безграничным и полновластным хозяином. Она распускала по спине свои гладкие черные волосы, ее глаза горели в темноте желтым огнем, козьи груди с тугими сосками прожигали насквозь его самообладание... больше, еще больше, еще больше любви! Хиллари называла это любовью. Как-то раз, в постели, она резанула его бедро маникюрными ножницами... и тут же порезала себя, на внутренней части бедра, прижалась своим порезом к его царапине, затанцевала... Ничего более отвратительного он с женщинами не переживал: она хотела смешать свою кровь с его кровью! Но самым отвратительным было то, что он сам вожделел к ее горячему индейскому телу на этой окровавленной простыне.

Хиллари могла бы затанцевать его, окровавленного, насмерть.

Он уехал, удрал от нее, выжег ее страсть из своих пор, высушил на африканском солнце свое к ней влечение. Ему понадобилась Сахара, с ее опустошающей жаждой и унылостью ее песчаных бурь, чтобы придти в *себя*. И когда он через полгода вернулся, Хиллари стала для него уже ничем, пустым местом, высохшей, ни на что уже не годной оболочкой его иллюзий. Она перестала быть для него опасной, перестала для него *быть*. Но сам он по-прежнему оставался ее целью и горизонтом, ее кипящим адом и ледяной, мертвящей тоской. Он один, Хельге Нордли, был ее жизненным ключом, хотя вокруг сновало много других мужчин. Но он вернулся из Сахары недоступным. Он не лег бы теперь ни с одной женщиной, не убедившись, что его влечет именно ее дух.

Держа в руке письмо, он садится в кресло, неспеша распечатывает, надевает очки. В письме, как обычно, много картинок: фотографии тexasских пейзажей и вилл, знакомых и незнакомых людей, машин, кактусов, кошек. На одной из картинок мормонская белая церковь и свадебная процессия, на другой увитая искусственными розами широкая постель. Это в стиле Хиллари: выражаться конкретно. Кстати, это ее постель. Ее, между прочим, дом в Техасе, ее мотоцикл, ее кошки... Отложив письмо в сторону, Хельге зажигает на письменном столе свечу, ставит ее напротив окна. Много на свете обезьян, копирующих, подражающих, перевирающих и в конце концов дурачащих самих себя. Но кто из них, этих мастеров и подмастерьев лжи, решится повторить его одиночество?

Его одиночество дано только ему.

Хельге вспоминает, как два года назад Хиллари нашла его здесь, в Харпестаде. Никто ведь не запрещает ей ездить по всему свету, с ее американским правом на "вход" и "присутствие". Она нагрязнула, со своей американской общительностью, к его матери в Лофотен, представившись "старой подругой" и "почти женой", нашла других его родственников, перезнакомилась с их детьми, женами и мужьями, встряхнула старых, уже забывших ее знакомых, знавших о Хельге "кое-что" и "все", и только после этого, в клубах симпатии, одобрения и любопытства, явилась к нему на опушку леса. Наконец-то, наконец-то, наконец!

Он одолжил ей свою палатку, и когда залез вовнутрь, расстелив старое ватное одеяло, Хиллари сказала ему, что неплохо бы ... ну, да, как обычно. Он не мешкая лег на нее, придавив ее своей тяжестью, но в ту же секунду вскочил и вылез из палатки наружу. Она должна знать, что он свободен, свободен лежать или не лежать с ней, что ему дьявольски все равно, лежит ли сама Хиллари в одолженной им палатке или на ближайшем кладбище. Он дал ей, пожалуй, слишком много: дал ей почувствовать тяжесть своего тела... обмочившись, она стирала потом под краном трусы.

Теперь она пишет, что обмочилась тогда от восторга, как это случается у животных. Она сушила трусы на веревке и теперь посылает фотографию: тут палатка, там связка прищепок... Она хочет снова лежать с ним в палатке... или на увитой искусственными розами тexasской постели.

Пододвинув свечу поближе, Хельге нащупывает в ящике стола лист бумаги, он хочет написать ей прямо сейчас. Написать ей, что у него есть Монтсеррат.

Он пишет крупным, размашистым почерком, ему мало одной страницы. И хотя уже второй час ночи, спать он совсем не хочет. Ну вот, запечатал конверт, наклеил марку. Глянув в окно, он замечает среди деревьев свет от фонаря, кто-то торопливо идет к дому, двое или трое. Ему нет нужды запирать дверь, возле порога у него топор. На стене висит всамделишный меч, прямой, с серебряной ручкой, в точности как на картине Гейра Сивертсена. Задув свечу, он смотрит в окно: это Монтсеррат с двумя приятелями, двадцативосьмилетним сыном бонда и пятидесятипятилетним Лестничным Франком. Все трое веселы и идут в обнимку, норовя одновременно наступить в пляшущее на траве пятно света от карманного фонарика. Сняв со стены меч, Хельге сбрасывает на пол рубашку и джинсы, обматывается до пояса красным флисовым пледом, становится с занесенным мечом у входа. Они думают, что их шеи так уж прочны!

- Это я, - кричит Монтсеррат, - Эти дурни провожают меня, у нас с собой пиво.

Все трое хвалят меч, такими рубились викинги. Оба парня примеряют по очереди меч к руке, и Хельге, в одних трусах и босиком, кладет голову на широкий, накрытый красным пледом, подлокотник кресла.

- Помнишь, как тебя казнили?.. - положив свою голову рядом, шепчет ему Монтсеррат. Она нащупывает пальцами позвонок на его шее, проводит по нему ребром ладони, - Здесь... здесь прошел меч...

- Топор, - поправляет он ее, - Рубить головы мечом годится разве что для арабов. Меня же зарубили топором... это было посреди зимы, в лесу...

Франк и сын бонда хмыкают, Хельге нередко говорит странные вещи, одно удовольствие послушать, это освежает, почти как холодное пиво.

- Откуда тебе это известно? - недоверчиво спрашивает Монтсеррат, - Ты что-нибудь... помнишь?

Хельге только фыркает. Монтсеррат молча закуривает. Парням пора уже сматываться, теперь тут ее время.

- Эй, вы, проваливайте, - обнимая Хельге за талию, дерзит она. В ее компании так принято: она говорит, что ей вздумается, остальные слушают. Они, может, ничего вовсе и не слышат, придурки. Прихватив пустые банки от пива, оба идут в темноту, и слышно, как они мочатся под деревом.

Монтсеррат не была тут два дня, и всё тут, конечно, на своих местах, то есть обычный беспорядок. Какое-то письмо... она берет со стола листок, смотрит на облепившие текст картинки... какая-то Хиллари... черт! Она садится в кресло, читает, пока Хельге моется в душе, пока ищет в комодке чистые трусы...

- Как она смеет! - швырнув письмо обратно на стол, возмущенно шепчет Монтсеррат, - Она не знает, что здесь я... я!

- Именно это я ей и написал, - равнодушно поясняет Хельге, бреясь перед зеркалом.

- Нет, я сама напишу ей об этом!

Хельге безразлично пожимает плечами: пусть, если хотят, переписываются. И ему совершенно не интересно, что собирается Монтсеррат написать американке. Такая переписка могла бы занять у них остаток жизни.

Побрившись, чтобы утром, перед работой, не суетиться, он ложится на нары, укрывается двуспальным стеганым одеялом, и уже через минуту из тесной спальни слышится его сопенье.

Толстая свеча медленно оплывает, обгоревший фитиль тонет в расплавленном парафине, и хотя света осталось чуть-чуть, Монтсеррат продолжает писать. Она едва ли знает, кому пишет, но ей кажется, что с этой американкой у нее давнишний счет. Ее раздражение столь велико, что, окажись Хиллари сейчас тут, ей наверняка пришлось бы... пришлось бы считать на морде синяки! Но было бы еще лучше тут же и придушить гадину...

- Ах, о чем это я думаю... стыдобище!

Всем своим хрупким, чувствительным телом Монтсеррат переживает теперь тошнотворное унижение, словно кто-то грубо и бесстыдно поставил ее на место. Ей ли это, выросшей в мастерской отца, среди картин и старых вещей, устраивать пошлые разборки? Эта американка провоцирует ее, рвет в клочья ее самые тонкие материи... да просто не желает ничего знать о ее высоко взметнувшейся свободе.

- Как она смеет! - увязая в неразборчивых каракулях, возмущенно шепчет Монтсеррат, - Увитая розами свадебная постель!

Особенно уязвляют Монтсеррат старые, двадцатипятилетней давности, фотографии: те же самые места, где она сама часто появляется с Хельге, маленькие, в центре Харпестада, кафе, библиотека, вокзал... Двадцать пять лет назад все это выглядело точно так же, как и теперь, но тогда все это видела Хиллари!

Послюнив и запечатав конверт, Монтсеррат тут же жалеет, что поспешила: следовало бы добавить выражения покрепче. У нее никогда не было соперниц, она бросала мужчин раньше, чем за их спиной начинала маячить чья-то ревность. Но теперь, сидя среди ночи перед догорающей свечой, она ощущает под ребрами странный холод: что-то омерзительное и ужасное вползает в нее, учиняя над ней утонченное насилие. Кто-то едет на ней верхом, забив ее плетью насмерть.

- Как она смеет!!! - кричит она, разбудив Хельге.

- Проклятая дьявольская старуха... - бормочет он, не известно кого имея в виду, и тут же снова принимается сопеть.

Монтсеррат идет к нему в спальню. Ее атласная, вышитая шелком ночная рубашка валяется на полу вместе с его дырявыми рабочими носками, на округлом подоконнике возле маленького решетчатого окошка громко тикает ее будильник. Теперь здесь ее время! Отбросив край стеганого одеяла, она ныряет в его тепло. Надежное, в любой холод, тепло.

Многие женщины этого хотят, и хотят напрасно, будучи не в силах это тепло удержать. Этот взрывоопасный жар, эта молниеносная реактивность, эта граничащая с инстинктом понятливость говорит Монтсеррат о многом: Хельге развит иначе, чем все, кого она знала прежде. Он из тех немногих, все еще изредка рождающихся в этой холодной части света, кому не нужны никакие школы, никакое образование, никакая система: он пришел на эту, не слишком привлекательную для него планету, чтобы только отбыть срок. Он явился сюда с не востребованными самой этой жизнью запасами, ну, что ли с золотым руном. И ему плевать, что думают об этом другие. Ему плевать на то, что он мог бы быть в этой жизни королем.

Его лицо так спокойно, так серьезно во сне. Только щеки чуть провалились и скулы выступают резче. Таким, наверное, он будет в момент смерти... Упершись подбородком в подушку, Монтсеррат слушает его редкие, глубокие вздохи, приближает к нему лицо, касается ресницами его щеки... И он тут же бьет ногой в стену, кричит, бьет и бьет, будильник срывается с подоконника... Одно только ресничное прикосновение! Ему приснилось, что в комнату лезет медведь. Он снова закрывает глаза, и Монтсеррат поднимает с пола одеяло, комом набрасывает на него. Сама она лежит раздетая, и просочившийся сквозь ветви елей лунный свет ревниво обрисовывает ее чувственную хрупкость. Она мечтает о Хельге. В свои тридцать шесть она даже и не подозревала, что можно вот так, лежа с кем-то в одной постели, о нем же и мечтать. Мечтают ведь обычно о далеком. Это неодолимое между нею и Хельге расстояние! Одно дело, игривые барашки волн, и совсем другое дело, скрывающаяся под ними глубина. Хельге никогда настоящему не был с нею, он был только возле нее. С другими у нее получалось то же самое, но с ним она желает гораздо большего: войти в него, переполнить его собою. Иногда ей кажется, что он уже полон кем-то и кого-то напряженно ждет, дарит кому-то втайне свое одиночество... Кому?

Монтсеррат встает и снова идет к письменному столу, перебирает в лунном свете лежащие стопкой бумаги. Квитанции, телефонные счета... электричество, антенна, квартплата... письма! И все они от Хиллари.

Вернувшись в спальню, Монтсеррат лежит с открытыми глазами, и луна светит теперь ей прямо в лицо. Хельге тоже не спит, он знает, что она нашла эти дурацкие письма, и ему досадно: не выспаться из-за таких пустяков. Лицо Монтсеррат совсем белое, как у замерзшего утопленника, лунный свет истончает и без того тонкие черты, делает их прозрачными. И из этой предрассветной прозрачности на Хельге смотрит другая женщина, давно куда-то ушедшая, забытая и пропавшая.

- Там, в расселине... - почти не шевеля губами, шепчет она, - Там лежат *мои* останки.

4

Ответ от Хиллари пришел немедленно, с промежутком всего в десять дней. И это было письмо для... Монтсеррат! Письмо, как обычно, с картинками: цветущие опунции, ленивые, пушистые кошки... Монтсеррат читает его, став под яблоню, словно старое кряжистое дерево может как-то обезвредить намерения американки. А намерения у нее есть! Прежде всего, подружиться с Монтсеррат.

Ничего более дикого и вызывающего нельзя и придумать: предлагать дружбу и одновременно вытаскивать из-под тебя матрас! Хиллари почти на двадцать лет старше ее, и с этой своей высоты она *благословляет*, ни больше и ни меньше, сожительство Монтсеррат и Хельге. Кто бы мог подумать такое!

Стоя под яблоней, под прикрытием опустившихся до земли ветвей, Монтсеррат комкает проклятое, вместе с кактусами и кошками, письмо, распрямляет, снова читает... Эта американка вряд ли сумасшедшая, как могло бы в первый момент показаться, тут скорее какой-то дьявольский расчет: "Только вместе, - пишет Хиллари, - мы сможем удержать то, чего каждой из нас не дано. Ты, лежа с ним в постели, уносишь его прочь от земли. Я на расстоянии схватываю его мысли цементом моих проповедей... Мы союзники и товарищи по оружию".

Старая песнь о власти: пройтись бороздой по самой плодородной, какая есть в человеке, почве, засеваемой любовью! Властвовать, соблазняя, увлекая, унося прочь, это и есть великая в жизни Монтсеррат задача. И пусть соблазненный, соблазняясь еще больше, спит, пусть *верит*. И эта вера пусть остается единственным над соблазненным небом, единственным, если надо, солнцем. И нет, пожалуй, в мире таких вершин, которые бы эта вера ни *покорила*. Покоренные, захваченные, завоеванные, эти вершины мира пестрят радужным опереньем на могучих крыльях чувства, и нет у тебя больше нужды стремиться к *себе*. В этой песне о власти есть и свой тайный смысл, и только изредка он становится *видимым*: соблазняя тебя во имя любви, эта власть ничего общего с любовью не имеет. Как раз любви-то она меньше всего и желает, поскольку любовь возвращает тебе *тебя*. Власть, опьяняющая, восхищающая, крадущая у тебя твое золотое руно. Но есть для этой власти одна опасность: что ты однажды перерастешь ее. Однажды ты созрешь и оставишь свои детские игры в любовь, красоту и добро, и твоя зрелость даст тебе совет не жечь эти сломанные игрушки, но попытаться их починить, посадить в дырявый ночной горшок герань... Но кто на это сегодня способен? Кто?

Хиллари предлагает Монтсеррат покрепче взяться за руки, да, в духе американской прозорливой солидарности: мы двое не пустим сюда третьего. О каком третьем идет речь? Впрочем, третий всегда, как правило, слоняется поблизости. Исключив, как предлагает Хиллари, этого неизвестного третьего, они вдвоем смогут, пожалуй, разорвать Хельге надвое, оттянув каждая в свою сторону добычу: холодный анализирующий ум, взрывчатые пламенные чувства. Так, чтобы между желаниями Хельге и его расчетливой волей образовалась в конце концов дыра и пропасть, и чтобы никакой мост не был через

нее перекинут. Но самое главное, чтобы все это оставалось для него в тайне, чтобы Хельге не разглядел и не распознал подвох.

Захватывающая перспектива. Это покруче, чем шведский, втроем, брак. Но сожительствовать с этой американкой? С этой по-прежнему вожделеющей к нему старухой? Даже на расстоянии в несколько тысяч километров Монтсеррат ощущает особую, ни с чем не сравнимую вонь. Вонь разлагающихся трупов. Вонь, от которой балдеют грифы.

Сев под яблоней на траву, Монтсеррат кладет на колени блокнот, рисует. Отец часто хвалил ее рисунки, всегда такие странные, будто кто-то водит ее рукой во сне. Она ведь рисует то, что *видит*. И если другие родились слепцами, это не ее вина. Она видит много интересного, видит всё это *в себе*, и ей доставляет удовольствие описывать это еще и словами, в необычных и дерзких выражениях, не считаясь ни с каким вкусом. С этими своими рассказами она могла бы нарваться на литературную премию или стипендию, стать членом какого-то союза... если бы не ее презрение к такого рода плебейству. Она пишет свои, как она называет их, картины, исключительно для себя.

... На каменистом склоне, неподалеку от грохочущего водопада, стоит деревянная церковь: из толстых бревен, с покатой крышей и резным крыльцом, смахивающая на крестьянскую избу. Зимой ее заметает снегом до самого верха, и никому нет дела до сырой на земляном полу мешковины и забрызганных тюленьим жиром закопченных досок, до этого единственного внутреннего убранства, не говоря уже о безмолвном, обреченном на вечную бедность хозяине избы, чужом в этих краях Белом Боге. Он зимует тут уже одиннадцатый год, но никаких особых чудес за это время не произошло, разве что поубавилось в этих местах народу. Так думает по крайней мере старый Амунд, и его дружинники того же мнения: не слишком велика удача, сделаться из волка лебедем. И пусть конунг могуч и хитер, хитрее, быть может, тролля, ни одной здешней, блеющей за каменной оградой овце, не говоря уже о рысях и росомахах, не соблазниться белым лебединым бессмертием, оплаченным покорностью и смирением. Можно ли заставить грохочущий водопад лететь ввысь?

У конунга есть своя за горным перевалом страна, и оттуда редко приходят вести. И пусть будет так, думает старый Амунд, пусть у вестей оторвутся крылья, сомнутся на ветру паруса. Последней из-за перевала вестью была скорбь его единственной дочери Сигню: конунг казнил ее мужа. Многие тогда готовы были схватиться за мечи, много было собрано для выкупа серебра, но на стороне конунга был Белый Бог. Тогда и стало ясно, чья власть, волков или лебедей, круче. Эти залетные ирландские лебеди! Им далеко, конечно, до настоящих птиц, этим откормленным проповедями, удушенным молитвами и постами грамотеям. В прежние, совсем еще недавние времена за одного упитанного ирландского монаха давали пару овец, но оказалось, что монах и того не стоит, даже меч об него марасть стыдно, разве что забить бездельника пинками. Так и делали. Хотя многие втайне оказывались смущены: чего, в самом деле, хотят эти полуодетые нищие? Эти презирающие богатство отшельники, ютящиеся на пустых, продуваемых ветром островках в холодном, яростно штормящем море. Эти преданные своим таинствам упрямы. Да и можно ли назвать их жизнь жизнью? Правда, они умеют сражаться, но волки всегда оказываются сильнее. Чего же они, монахи, в самом деле, хотят?

В дружине Амунда никогда не было до этого раздоров, и много совместно пролитой крови ушло на это согласие. Кровь врага, кем бы он ни был, скрепляет единство мечей. Так было до последнего времени, пока не построили эту церковь, пока Белый Бог не явился сюда из-за перевала с вестью о власти.

Он, Белый, желает отнять власть у старых, темных, обжитых, прокопченных, привиредливых, сварливых, подслеповатых и мудрых духов здешних мест. Отнять навсегда, отнять вместе со славой и тем величественным покоем, в котором валькирии парят над схваткой... Зачем Белому Богу столько власти?

В этих местах испокон веков правят тролли. Пока стоят эти горы, пока грохочут под этими скалами водопады. "Пусть тролль тебя заберет," - так тут встречают соседа. Тролль, даже тот, кто прикидывается заросшей лесом горой, немедленно оживает, стоит только его позвать: это близкий, если угодно, родственник, да, член семьи. Он же дух пригорка или долины, выбирающий себе самое красивое дерево, и ты не забудь поставить возле той березы глиняную миску с овсяной кашей. Беременные женщины носят здесь амулеты Фрейи, и молоточки Тора льют здесь из самого чистого серебра. Но сколько бы не водилось здесь духов, их сила и власть для тебя бесполезна, если ты не владеешь собой сам.

Вот ведь чего домогается этот новый Бог, этот белый, в ирландских перьях, лебедь: сделать тебя ничем. И ты, пока не поздно, схвати топор и рубани что есть силы поселившегося в темной церквушке истукана: это ведь просто дерево! Бревно, обструганное неумелой рукой монаха. Провонявшая ворвань молитва. Сырость гнилой мешковины. Заплесневелый, затхлый, проточенный червями страх.

Прогони, прогони прочь Белого Бога!

С вершины склона, на котором стоит бревенчатая церковь-изба, видна обширная горная страна, с ледниками и лесистыми перевалами, и где-то совсем у горизонта, куда ветер сгоняет снежные облака, открывается в тумане свинцовая полоса фьорда. Многие из дружины Амунда ходили под парусом на запад, в Исландию и еще дальше, и сам Амунд добрался до виноградной страны, правда, потеряв там двух старших братьев и отцовский корабль. Море не делает различий между богатым и бедным, и если что-то берет насовсем, то тут же дает другое, дает и отбирает... Амунд привез из того давнишнего плавания темнокожего раба-костоеда, и это была хорошая добыча: дикарь залечивал любые раны. И хотя ел он только смешанный с кровью костный мозг и от него разило так, что даже умирающая старуха не легла бы с ним на солому, Амунд держал его постоянно при себе, даже на тинге, куда рабам не было доступа, грозя всякому, кто его тронет. Мало кто сомневался в том, что этот черноволосый выродок владеет наихудшим, какое только могут допустить местные духи и тролли, колдовством. И если бы не страх этого уродца перед лошадьми, его давно бы уже, невзирая на угрозы Амунда, проткнули копьем. Меч об него никто марать бы не стал. И сами лошади, которых он так боялся, наверняка затоптали бы его насмерть, будь у них на то свобода.

Амунд собрал людей, как обычно, ко дню летнего равенства, и многие пришли издалека, пешком и на лошадях, с женами и дочерьми на выданье, в лучшей одежде и с оружием. Всем хотелось узнать наконец, каково мнение соседа о новом конунге. Много дворов этот конунг успел уже пожечь, на западе и на севере, где бонды были особенно упрямы и где Один и Тор не желали уступать место Белому Богу. Кроме того, конунг строит повсюду деревянные церкви и гонит из лесов засидевшихся там троллей, при этом советуясь с ирландскими бестолочами, для которых Белый Бог и *ты сам* - разные вещи. Ну кто, будучи в здравом уме, поверит, что с Богом у тебя нет никакого родства? Что никогда тебе с ним, как с Фрейром или Тором, не сойтись? Даже подплывающие к берегу льды, и те говорят тебе порой правдивые вещи, если ты не слишком пьян. Нет, этот новый конунг наломает дров. Хуже, если монахи сделают его святым, то есть неподсудным никакому тингу, как это было уже с Олавом, чья святость шла в сравнение разве что с его жадностью и мужской слабостью. Белый Бог, видно, не понимает, что, раз уж он сюда явился, лучше сидеть ему взаперти в этой деревянной церкви, не мешая духам и троллям справляться как по хозяйству, так и на войне.

Дружинники Амунда, засидевшись дома с женами, рабами и овцами и пробавляясь одной только охотой, были теперь злы и не жалели денег на пиво, которым торговал под навесом из телячьих кож рослый, молчаливый Йостайн по прозвищу Копьё. И пока женщины жарили над костром в земляной яме баранину, воздух пропитывался подогретым на солнце нетерпением схватиться прямо тут, на тинге, с людьми конунга, и

некоторые, без всяких на то причин ссорились между собой и затевали возле костров драку.

На это Амунд ответил строго и по чести, держа руку на позолоченных ножнах меча, и даже молодые девицы, в первый раз оказавшиеся на такой большой сходке, поняли без отцовских пояснений, что старый хёвдинг ни в чем не уступает самому конунгу. Он сказал:

- Раньше мы ходили морем в Ирландию, навещать ранее обезглавленных монахов и рубить головы новым, но времена повернули в дурную сторону, теперь монахи жалуют к нам сами, таща за собой через перевалы своих неподсудных святых. Но ведь стоят еще в надежных скальных бухтах наши многовесельные корабли! Наши вырубленные из дерева девы все еще всматриваются в морской туман!

Йостайн Копьё налил хёвдингу полную, до самых драконьих голов, серебряную чашу, и чаша пошла по кругу, не миновав и женщин, которым ничуть не меньше, чем мужчинам, хотелось теперь же и отстоять Фрейра и Фрею, хотя обижать Белого Бога никто особенно не рвался.

Несколько зим назад Амунд водил своих людей к конунгу, хотя тот его не звал. Они сели на корабль, взяв с собою только лошадей и оружие, и ветер гнал их много дней без остановки до самого Осло-фьорда, там они спрятали корабль среди шхер и оседлали лошадей. Их встреча с конунгом была короткой, но каждый успел дать ему затрещину, за этим они и ехали в такую даль. Правда, некоторым пришлось там же и остаться, в собственной крови и проклятиях, но большая часть вернулась благополучно домой. И эти люди теперь здесь. Они ждут, что скажет Амунд.

Он совсем уже стар, но ходит прямо, крепко ступая по камням, рука уверенно держит меч. Длинная белая борода заплетена в две косы, глаза зеленовато-серые, отсвечивающие голубизной, совсем как у Ильд, старой, сопровождающей его повсюду волчицы. В свои лучшие годы, оставшиеся по другую сторону неприветливого, вечно штормящего моря, Амунд не знал ни нужды, ни страха и презирал далекие расстояния. Теперь же удача следует за ним только по этому скалистому берегу, словно ее посадила на цепь придиричивая судьба: теперь Амунду приходится только считать, одну за другой, потери, нанизывая их на копьё гнева и мести. Никто, конечно, не скажет, что он беден, но мало кто знает, как он был когда-то богат. Его сыновья ушли, один за другим, на вечный праздник битвы, дочь стала пленницей. На таком же, как теперь, тинге он сосватал ее девять зим назад за соседа-купца, и было от этого много выгоды всем. Купец торговал с исландцами и сам был в родстве со святым, как его называли, Олавом, хотя об этом редко с кем заговаривал, больше доверяя кораблю, чем людям. Дочь Амунда, красавица Сигню, предпочитавшая кухне и рукоделию дикую мужскую охоту в горах, пошла за купца, не сказав ни слова, хотя могла бы наверное сказать о своей тоске по Гюннульфу, который тоже не прочь был ее в жены взять. Амунд знал Гюннульфа давно, с тех пор, как тот ушел в свое первое в Исландию плавание, ценя не только верность его меча, Последнего Вздоха, но также красоту придуманных им вис и драп. Одну из драп Гюннульф сочинил для самого Амунда, когда тот вернулся из удачного южного похода, и тогда же получил от Амунда толстое обручье из золота. В первый раз увидев Сигню восьмилетней девочкой, Гюннульф решил по-настоящему разбогатеть и посвататься, и он много после этого ездил и видел, и он вернулся, когда Сигню минуло восемнадцать. Он не ошибся: он желал именно ее, и цена сватовства была для него безразлична, да ему и было что дать. И он вдобавок сочинил такую красивую вису, какую даже исландец не всякий придумает, и сказал ее вслух перед Сигню, и отдал ей исписанный рунами пергамент. Она спрятала пергамент, и никто потом ничего не нашел, но с этой поры за ней потянулся ведьмовский хвост: Гюннульф приворожил ее своей любовной песней. Приворожил так, что она искала теперь только его, только о нем тосковала, только его одного и помнила.

Амунд думал было объявить Гюннульфа вне закона за эту любовную вису, но тот откупился: отдал хёвдингу свой корабль. И теперь, с одним только оружием, он ест, пьет и

спит в дружине, желая в свои сорок три года только одного: вкусить от мудрости Одина. Бросить свой глаз в глубину, на самое дно моря, где лежат должно быть ключи, где светится, обжигая мысли, выкованная из золота истина. И эта золотая истина не даст воину выпустить из руки меч.

В день свадьбы Сигню Гюннульф получил прозвище Скальд. Он пришел на пир с арфой, и хотя пил вместе с дружиной, не впал, как часто с ним бывало, в ярость и буйство, а только смотрел, не отрываясь, на Сигню, словно собираясь ее украсть. И она изредка улыбалась ему, и по ее бледным щекам катились слезы. Она была красивее, чем когда-либо: яблоневый цвет, синева моря, золото песка. В этот день над нею долго старалось солнце: всё в ней светилось и сияло, обещало и звало. Гюннульф не видел ее расшитых серебром одежд, он видел ее нагой. Такой, какою ей следовало быть на безлюдном берегу по другую сторону фьорда, в его доме, в его постели. И она роняла на расшитый серебром шелк слезы, думая о том же, что и он. И когда один за другим дружинники начали сползать под стол, Гюннульф поднялся и запел. Он пел о том, как удачлив купец, как он богат и разумен. Купец попросил Гюннульфа спеть это еще раз, и получилось еще лучше, и многим хотелось услышать подобное о себе. Амунд первый наградил его, и купец тоже не пожадничал. И когда жениха с невестой увели в спальню, украшенную коврами и дорогими тканями, Гюннульф пошел один к водопаду и разбил о камень арфу.

С тех пор его зовут Гюннульф Скальд.

Он стоит возле водопада, и грохот воды едва заглушает его рвущийся в ночь крик: "Сигню!.. Сигню!.." Он зовет ее сюда, в свое одиночество, в свое отчаяние, и только гул бьющихся о скалы камней становится ему ответом. Он подозревает, что не выдержит, уступит нанесенной ему судьбой обиде, но мудрость не живет в соседстве с обидой, мудрость обещает лишь холод, холод и свет, холод падающей с вершины воды, свет звезд. Теперь ему только слагать висы и петь, и смывать с меча кровь. Он стоит возле бурлящей реки в лучшей своей, годящейся для свадебного пира одежде, в белой льняной рубашке и темно-зеленом, отороченном лисьим мехом плаще, и много золота у него на руках и на шее, и между сосцами на мускулистой груди плавится в горячем биении пульса серебряный молот Тора. Не снимая с себя меча, Гюннульф ступает в бурлящие поверх его колен волны, и в спину ему ударяет мощный ток воды... Он стоял так должно быть долго, не чувствуя холода, пока ему не стало казаться, что по тропинке среди камней к нему спускается Сигню. Должно быть, она спустилась прямо с повисшей над вершиной горы звезды, иначе как ей было сюда попасть. Сигню! Она в белой свадебной рубашке и босиком, и это кажется Гюннульфу хорошим знаком, и он, стоя среди валунов в бурлящей воде, смеется. Этот адский шум водопада, эти сверкающие в свете звезд брызги! Он теперь им сродни, Гюннульф Скальд, он поет вместе с ними великую любовную песнь севера. Сотворенный в этой ночи из холода и света, он не может больше желать и страдать как те, что препираются друг с другом из-за Фрейра или Белого Бога, он несёт в себе всех богов, он есть их единство и их неравенство. Здесь, в этих водоворотах, в пене и грохоте, вырастает в водопад его звездная судьба.

Опоясанный мечом, в потоках воды, он выходит на каменную площадку, и грудь его вздымается под молотом Тора, как накануне битвы. Неспеша, пропитываясь знакомым холодом, он вынимает из ножен меч. Он видит босые ступни, тугие соски под шелком свадебной рубашки, впадину между ног, куда норовит пробраться ветер, и звездный свет становится вплетенными в это тело нитями.

Сигню.

Амулет Фрейи обещает дать ей потомство, и луна сама явилась в свадебную спальню, осяпав бледными пальцами край мягкой, свесившейся с постели овчины и жилистую спину молодого купца. Луна ждет продолжения этой игры, затеянной телом с оживающей ночью птиц, с этой бесшумно улетающей в сновидения совой, уносящей неизвестно куда свою добычу. Как взять то, что улетаёт в мечтах прочь?

Купцу не в новинку брать красивых женщин, не зря он бывал в Дублине. Он слышал кое-что о нравах своего святого родственника и мог бы определенно подзанять у того властолюбия и скотства, когда бы у него самого была к тому охота. Но нет, он не готовится в святые, и ни одной ирландской рабыне не пришлось терпеть от него насилия. Он думал о Сигню много месяцев, видел о ней сны, и в каждом таком сне она куда-то улетала, зовя тоскующим криком весеннюю синеву, и он не догонял ее, он только смотрел... смотрел, как ее белизна сливается с пухом облаков...

И вот теперь она его жена, и на шее у нее амулет Фрейи. Такую белую кожу не часто увидишь даже на севере, ее светлые косы расплетены, тугие розовые соски ждут поцелуев. Окажись у купца еще три пары глаз, он бы съел ими эту гибкую шею и плавные дуги бедер, и облитые лунным светом колени... и даже двух его глаз хватает на то, чтобы обвести золотой чертой заметные признаки ее нетерпения... она желает!.. ждет!.. Сигню, его жена. Луна целует тайком золотой амулет Фрейи, обещая зачатие и сладость любовной муки, густые волнистые волосы пахнут скошенной травой... Но кто-то, должно быть, дух этой светлой летней ночи, отрывает молодого купца от золотой брачной постели, отнимает у его тела тяжесть и силу. В этой белой ночи, в этой северной полночи любовь становится невесомой, становится светом и песней скальда, и ее белые крылья обнимают заждавшуюся на горизонте звезду... Только дух, должно быть, и может напитать этой сладостью спрятавшуюся под ребрами бездну: никогда раньше купец не получал так много, никогда не был так богат! На миг, сдается ему, сам Белый Бог дохнул на него своей радостью, окрестил его в этой светлой ночи своим звездным перстом. Чудо! Чудо!

Растерянно глядя его по спине, по вьющимся рыжеватым волосам, Сигню теребит другой рукой амулет Фрейи, и кажется ей, что возле постели стоит с мечом в руке Гюннульф Скальд, что льется на дорогой ковер и мягкие овчины кровь ее жениха. Внезапно, в ярости, она кусает его плечо, но он, повернувшись к ней, только улыбается. Он хочет, чтобы и она теперь, в этот сладостный полуночный миг, засветилась, как и он сам, изнутри, став в невесомости вечным, как далекий шум моря, обещанием: жить! Она должна жить в этой сияющей белизне, обращенной своей невинностью к расцветающему под самым сердцем цветку... он ведь знает теперь, что под сердцем у него Белый Бог... Он знает! Знает!

Поднявшись с постели, Сигню идет в темноту, и некому ее видеть в этой тяжело храпящей перед похмельем ночи. Она идет мимо сложенной из камней овчарни и мимо конюшни, и ее гнедая кобыла ржет за бревенчатой стеной, и только луна оказывается у нее в попугчиках. Она идет к водопаду, к бурлящей среди камней воде, где только и есть теперь холод, равный по силе ее жару. Этот жар не от брачной постели, хотя и плавится в нем золотой амулет. В этом колдовском жаре повинен один только Гюннульф Скальд, и нет никакой другой силы, кроме силы его любви, которой дано этот жар остудить. Она останавливается, босая, в легкой белой рубашке, в холоде его взгляда.

Им нечего друг другу сказать, в грохоте водопада, и светлая ночь так коротка, надо успеть дать свершиться тому, что давно уже между ними решено. Держа в руке меч, Гюннульф легко поднимает над бурлящей водой жаркое, в белизне шелка, льнущее к нему тело, и ледяные брызги впиваются жалящими поцелуями в их коснувшиеся друг друга лица. На другом берегу, среди валунов, они лягут в мягкую траву. И только его меч, Последний Вздох, увидит эту любовь. И золотая Фрейя подсмотрит тайком, как в светлом полуночном небе спускается к жару зачатия новая, вожделеющая к рождению жизнь.

Искупавшись в ручье, Сигню идет обратно, мимо заснувших возле конюшни дружинников, и сладкая ломота в ее теле празднует свершение брака: она полна, полна этой великой любовью. Дружинники пили вдоволь и теперь несутся, забыв о своих мечях, вдогонку быстроногим девам, завлекающим их в свои лунные владения. В конюшне снова ржет ее кобыла, и Сигню слышит в ее ржании тревогу, останавливается, всматривается в серебристую серость утра: возле овчарни мелькнула короткая тень. Сигню успевает

заметить, что это не волк и не караулящий в ночи пес. Она узнает легкий, воровской шаг, она не спутает ни с какой другой походкой это звериное на двух ногах, скачущее любопытство. Проклятый черный раб следит за ней!

Она вернулась в спальню, с мокрыми спутанными волосами, прильнула свежестью и прохладой к заждавшемуся ее купцу, и они заснули, обняв друг друга.

Сразу после свадьбы они поплыли на корабле в Осло, где купец желал встретиться с конунгом. Он вез конунгу подарки, по мнению Сигню, чрезмерно щедрые, и всё ради того, чтобы тот облегчил исландцам торговлю. Купец и сам подумывал перебраться в Исландию, с новой своей любовью к Белому Богу: с миром и смягчающей горячие желания радостью. Он знал, что Сигню поедет с ним: он догадывался о ее смертельной тоске, ищущей себе исцеление в неодолимости больших расстояний. Может, там, вдали, она постепенно забудет Гюннульфа Скальда.

Конунг не спешит с ответом, советуясь то с ярлом Тригве, своим родичем, то с привезенным из Бремена священником. Оба обвиняют купца в неслыханной по отношению к Белому Богу дерзости: он называет Бога морем, а себя каплей, без которой море не может быть полным. Ярл Тригве к тому же не раз оказывался в тех местах, где Сигню бывала одна, и он смотрел на нее так, что ей долго потом бывало стыдно, будто между ними что-то было. Тригве далеко не молод, у него взрослые от наложницы сыновья, и жениться ему не к спеху, да и особенно незачем. Но с Сигню он готов сойтись немедленно, глядя не только на ее белейшую в мире кожу, но и немалое приданое, доставшееся купцу. Никогда еще Тригве так пылко не зажигался, никогда не был столь нетерпелив. Он вплетает в свои советы конунгу пропитанные ядом нити, он мог бы задушить ими не одного такого удачливого купца. Что касается бременского священника, то для него предприимчивость исландцев сродни таинствам их темной старой веры: ни в том, ни в другом нет ни капли покорности и смирения, столь необходимых воздвигнутой во имя Белого Бога церкви. Даже держа у себя священников, а это были нередко беглецы от закона, исландцы по-прежнему приносят жертвы старым богам, гадают на внутренностях животных, заклинают свои мечи. И эти мерзавцы хотят для себя послабления в торговых пошлинах! Купец же метит в исландские хёвдинги, этот богатый хитрец.

Глядя на щедрые подарки, конунг мрачнеет с каждым днем, и наконец случай облегчает его раздумья: на левой руке купца сверкнуло бледно-зеленым нефритом золотое обручье, полученное в подарок от датского конунга. Вот наконец-то и стало ясно: купец служит датчанам, и это накануне теперь уже близкой, во имя Белого Бога, войны. В тот же день купца обезглавили. В тот же день конунг выдал Сигню за ярла Тригве.

Она была замужем за купцом ровно три месяца, была полдня вдовой, и теперь у нее впереди ночь... не одна, но много-много ненужных ей ночей. Она уже несет в себе дитя, ярл Тригве об этом знает, и он, быть может, бросит новорожденного в лес.

Ранней весной, когда конунг собрал достаточное для похода в Данию войско и ярл Тригве оснастил вмещающий две сотни воинов "Морского дракона", Сигню благополучно родила, и ярл, глянув на новорожденного и найдя в нем сходство с собой, признал мальчика сыном. Нашлась и кормилица, тихая, смиренная рабыня, родившая накануне, и молока у нее было, как у коровы. Рабыня спала, как и остальные подневольные, на сеновале в сарае, где зимой топилась печка, но Сигню выпросила у Тригве поселить ее возле кухни, в бывшей кладовой, а ребенка не отнимать. И рабыня, не зная, чего ей больше бояться, грубого насилия Тригве, не раз избивавшего ее, или благоволения Сигню, молчала, как камень.

Старый Амунд сидит на дубовом, с высокой спинкой, стуле, застланном двумя овчинами, и ноги его греет, свернувшись клубком, волчица Ильд. Он собрал людей, чтобы рассудить с ними по чести, стоит ли менять на Белого Бога старых, проверенных в битвах и празднествах, богов этой страны. Стоит ли становиться, как того хотят монахи, рабом божьим. Белый Бог убил рукой конунга молодого купца, и скоро конунг явится сюда сам

и зарубит последнего хёвдинга, последнего из тех, кто чтит старый закон. Закон этот, такой же старый, как заселенные троллям горы, не перекладывает одну голову на плечи другого, но ждет ответа из каждого уст, ответа, подкрепленного, если надо, мечом. Белый Бог, каким его приволокли сюда через перевалы монахи, гонит старый закон прочь своей непонятной никому ученостью, и это, по мнению Амунда, с самого начала обман.

- Монахи, - говорит он, обводя всех сердитым, под густыми рыжеватыми бровями, взглядом, - построили эту церковь, чтобы поселить в нее чужака, монахи не хотят, чтобы Бог жил во мне!

Не всем нравится то, что он говорит, и было бы для многих проще принять Белого Бога на постой, если надо, надолго, при этом не особенно тесня Тора и Фрейю. Если, как уверяют монахи, этот Бог так силен, пусть остается. Никто уже толком не знает, где до этого жили правящие ветром, снегом, волнами и водопадами боги. Где был прежде их Асгард? Может, они жили везде? И все они были *твоими*? Но если Белому Богу хорошо в деревянной церкви, пусть там и остается, лишь бы никому не мешал. Церковь ведь может однажды и сгореть.

Один только Гюннульф Скальд и горазд спорить с Амундом. Он бывал в Миклагарде и на Днепре, и он, говорят, крестился в Киеве... да, многое о нем говорят. Сам же Гюннульф, с тех пор, как разбил о камень свою арфу, говорит редко. Он предпочитает решать дело мечом, тяжелым Последним Вздохом.

Гюннульф Скальд встает со скамьи, смотрит исподлобья на Амунда, и вдруг с силой бьет по скамье кулаком, заставляя сидящих поблизости схватиться за мечи. И сам он высвобождает Последний Вздох из кожаных ножен и, держа меч на вытянутой руке, произносит низким, певучим голосом:

- Нам незачем ездить в Рим, чтобы понять, что церковь и Бог, это не одно и то же.

Те, что схватились уже за рукояти мечей, тут же их повытаскивали, словно Гюннульф Скальд объявил начало войны. И сам он, зорко следя за движением всех и каждого в отдельности, рассекает Последним Вздохом застоявшийся в деревянной церкви, нагретый дыханием собравшихся, прелый воздух.

- Твоя жизнь, короткая или длинная, это и есть церковь, какой она задумана Богом. И сколько не строй дровяных, как этот, сараев, сколько не украшай золотом и мозаикой храмы, сколько не бей в медные колокола, без *тебя* все равно никакого Бога не будет!

- Ты считаешь, Гюннульф Скальд, - с вызовом перебивает его Йостайн Копьё, - что Бог без тебя, какие бы мудрые висы ты не придумывал, не обойдется?

Йостайн тоже вынимает из ножен меч, в его синих, как тени на сугробах, глазах плавится ледяная ярость: пусть тот, кому нравится над Белым Богом насмехаться, ведет своим насмешкам счет.

- Стал бы Бог меня создавать, если бы у него не было во мне нужды! - сердито режет в ответ Гюннульф, - Наверняка он сделал это по крайней нужде!

- Монахи говорят, - упрямо продолжает Йостайн Копьё, - что у Белого Бога много в услужении народу: херувимы, архангелы, ангелы... я не знаю, кто еще... и это всё его слуги! Белый Бог великий хёвдинг!

- Да, но я! - с сопением вдохнув воздух в могучую грудь, наступает на него Гюннульф, - Я-то у него не в услужении! Меня Бог создал не для рабства!

Шумные возгласы и яростные крики сливаются с лязгом задевающих друг друга мечей, только старый Амунд сидит неподвижно, и на его сухом, в глубоких морщинах, обветренном лице выступают, как борозды, следы тяжких сомнений. Сколько раз ему приходилось сознаваться перед тем, Могущественным, многократно превосходившим его самого в рассудительности и хитрости, злобе и коварстве, да, в неуёмном желании властвовать и покорять, утверждать свою силу и растаптывать в прах... сознаваться в том, что нет в нем самом, в хёвдинге Амунде, духа шевельнуть даже мизинцем. Так слаб, так безвластен! Из тех, кто снует вокруг Амунда, об этом догадывается только его темнокожий раб Гриф. Ему разрешено слушать все, что говорят на тинге, хотя никто не

дал бы и старой овчины за его проклятую жизнь. Маленький, почти карлик, с заплетенными в косу черными волосами и сморщенным черным лицом, он скорее урод и посмешище, чем дьявол, и он всегда молчит. Он живет у Амунда уже тридцать лет, он почти старик. Амунд привез его издалека, из той удивительной страны на западе, куда морское течение и ветер занесли однажды его корабль. Они зимовали на берегу, в наскоро построенных срубках, и местный темнокожий и низкорослый народец держался поодаль, чему в значительной мере способствовали два десятка насаженных на колья темноволосых голов из их племени. Амунд сам рубил эти головы. И когда кто-то пустил стрелу в его собаку, он решил истребить всех темнокожих негодяев, всех до одного. Одного, впрочем, ему пришлось оставить, он взял его с собой на корабль. Этот, последний, вылечил всех раненых: заставил их спать, заговорил раны, разгладил оставшиеся шрамы. Во всем же остальном он был сущим дьяволом: рылся во внутренностях трупов, лизал человеческую кровь... проклятый падальщик! Гриф. Он сидит на земляном полу, на корточках, черные глаза, эти узкие, хищные щели, застыли в неподвижности каменеющего трупа, на черных губах стынет усмешка удовлетворения. Сколько раз уже видел он такие на тинге споры, сколько раз дело кончалось убийством... Эти рослые, могучие, своенравные люди не прочь завоевать полмира, они везде хозяева, но Бог Таотль сильнее их. Великий Бог Смерти! В тех местах, где Гриф жил до того, как Амунд взял его на корабль, Таотлю служат лучшие, из рода *знающих*, посвященные в свою, скрытую от остальных мудрость: посвященные таинством смерти. Отец Грифа и дед и все мужчины в роду знали толк в этом великом таинстве, они служили Таотлю ради тех мгновений безраздельной власти, что обретаются лишь в человеческом жертвоприношении. Те, что умирали на алтаре, умирали добровольно, послушно следуя древнему ритуалу: их ни на что уже не годные души везли на себе того, кто мастерски освобождал их от никчемных тел. Они везли его прямо к чертогам Таотля, подступая к ним все ближе и ближе, и был в роду Грифа такой, которому оставалось совсем уже немного до встречи с Великим Богом Смерти... то был Великий Знающий. В крови Грифа, замешанной на совокуплениях с сестрами и матерями, бродит из поколения в поколение яд великого, неосуществленного пока вожделения: овладеть силой смерти. Мир не должен быть таким, какой он есть, с его силами роста и цветения, с его норовистой тягой к свободе: мир должен стать тряпичной куклой, пустым кукурузным початком, глиняным черепком. В мир не должны больше приходить *люди*.

Гриф сидит на корточках и незаметно мочится, будущий безраздельный господин всех этих рослых, сильных воинов. Любому из них ничего не стоит зашибить его насмерть одним щелчком, что не раз уже грозил сделать Гюннульф Скальд, этот бородатый медведь. Но пока жив Амунд, никто не посмеет его тронуть. Амунд живет дольше других только благодаря его, Грифа, ремеслу, и нет на его теле шрама, к которому не прикоснулась бы его сухая и цепкая, как птичья лапа, рука. И хотя Амунду известно, куда пропадают время от времени другие его рабы, куда пропала его первая, ненавистная ему жена, куда отправились, один за другим, его дети, он позволяет Грифу свободно ходить с овцами по горам. И Гриф поэтому всегда на его стороне, даже если Амунд, бывает, грозит зарубить его мечом надвое... Когда-нибудь, и это уже скоро, душа старого Амунда понесет на себе груз великого вожделения Грифа. Но пока пусть Амунд видит этот сладкий, как роса в далекой виноградной стране, сон: Великий Конунг! Конунг не только этой маленькой горной страны, но и соседних Дании и Ирландии, Англии и Гардарика. Великий Северный Конунг!

И теперь, среди шума и криков, Амунд различает голос Могущественного, его отлитые из золота слова, и смысл этих слов есть одно сплошное золото... Золото! Золото!! Как сладко, как великолепно, как могущественно оно блестит! Оно плавится в горячих потоках крови, течет по жилам к сердцу, и сердце становится золотым, чеканя своими ударами вечную, неразменную монету. Великие мысли Могущественный посылает

Амунду в этот миг неразберихи и спора. И те, что хватаются теперь за мечи, сложат однажды свои головы во имя его золотой славы.

- Монахи говорят, - подойди почти вплотную к разъяренному Гюннульффу, кричит ему в лицо Йостайн Копьё, - что Бог есть любовь!

Его слова вызывают такой шум, что спавший на земляном полу, пьяный с раннего утра Торфинн Уж поднимает косматую, в колтунах, голову и выплевывает похотливый рык ругательства.

- Ты... - тычет он сломанным грязным ногтем в сторону Йостайна, - ... ты ведь хотел за меня замуж! И ты получил меня в мужья! Ха-ха-ха... - закашлявшись, Торфинн Уж сплевывает на пол, - Не желаешь ли ты наконец разродиться? Принести целый выводок мокрохвостых щенков!

Йостайн тут же хватается за меч, но трое таких же, как он сам, рослых парней ловко связывают его толстой веревкой, не желая иметь на тинге покойников. Йостайн, тем не менее, требует от Торфинна выкупа за оскорбление, и тот, все так же лежа на земляном полу, сдергивает с шеи запряженный под рубахой крест и швыряет его через головы стоящих и сидящих.

- Вот я и окрестил тебя! - кричит он Йостайну, - Можешь стать, если хочешь, монахом!

Тяжелый золотой, искусной работы, крест. Такие носят только священники высокого ранга, и нет ни у кого сомнений, что Торфинн Уж снял его с шеи убитого им ирландца. Почему монахам так важна *смерть* Бога? Так любят они превозносить это поникшее, истощенное, ни на что уже не годное тело. Разве *жизнь* Бога значит меньше его смерти? Так думает Йостайн, с восхищением глядя на золотое распятие: теперь это его сокровище. Торфинн Уж откупился, и он не жаден, нет.

На прошлогоднем тинге Йостайн встретил молодого монаха: неуклюжего от застенчивости, кое-как справляющегося с церковной службой, пугливого. Вот ведь что нужно монахам: чтобы от мужчины ничего не осталось. Одно тут только поможет: топор. Этот монах, приехавший с безлюдного острова на тинг, чтобы окрестить народившихся за год детей, нашептал Йостайну много такого, от чего тот сделался вроде как сам не свой. Сделался вроде как влюбленным, хотя ни одной из посматривающих на него девушек его взгляд ничего не обещал. Йостайну только что минуло двадцать, и он, помогая своему деду торговать на тинге пивом, смотрит больше на бывалых, годящихся ему в отцы дружинников, и всякая от них похвала, будь то хотя бы похвала его пиву, делает его болтливым и веселым, как это происходит с подвыпившими бабенками. Шутят с ним, правда, редко, учитывая его могучее телосложение и вспыльчивый нрав, и одному только Торфинну Ужу это, пожалуй, и удастся, да и то потому, что сам он берсерк.

Повесив золотое распятие на шею, Йостайн прошелся среди дружинников, давая каждому, кто хотел, потрогать крест, и многие считали, что ирландцу, когда-то этот крест носившему, теперь легче пробраться в рай... то есть туда, где пиво должно быть ничуть не хуже здешнего. Сам же Йостайн думает о Распятом: почему тот не родился женщиной? Ведь тогда он мог бы полюбить мужчину... При мысли об этом Йостайн пьянеет, размягчается, тает... и хорошо, что Торфинн Уж на него не смотрит. Он помнит, как во время похода, куда его взяли, ввиду его роста и силы, четырнадцатилетним, дружинники обошлись с пленником. Он был ирландцем и явно не простого рода, но имя свое назвать отказывался. За него можно было бы получить хороший выкуп, окажись его имя известным, но он молчал как скала, не помогали даже пытки. И тогда Торфинн Уж предложил остальным использовать пленника как бабу, поскольку имени у того все равно никакого не было. Некоторые проделали это дважды, и когда дошла очередь до Йостайна, он не смог совладеть с собой и расплакался. Он лег на залитую кровью палубу корабля и долго рыдал как ребенок, будто это его самого так опозорили, рыдал, пока Торфинн Уж не сгреб его в охапку и не швырнул прямо на пленника, привязанного веревкой, за ноги и за

плечи, к мачте. И Йостайн понял тогда, что это он сам пленник и наказуемый, пленник своего тайного имени, наказуемый своим о себе молчанием.

Он думает теперь о Белом Боге: зачем тот родился, зачем умер? Разве Бог может родиться? Разве может умереть? Да и может ли Бог воскреснуть, сделавшись из мертвого живым? Нет, живое не может получиться из мертвого. Даже труп святого, и тот не пойдет с мечом в бой. И если уж говорить о чудесах, происходящих в раках святых, то все это выдумки монахов: труп есть только труп, прах. Тот молодой монах, с которым Йостанн в прошлом тинге шептался, сказал, что человеку дано не только тело, но еще что-то глазом не видимое... оно-то и воскресает, то есть попросту бросает тело на поле боя. Монах сказал, что это, незримое, и есть живущий в человеке Бог. Сказал еще, что монахи врут, называя человека рабом и букашкой. И Йостайну показалось тогда, что молодой монах говорит правду: не могло быть так, чтобы воин, хотя бы даже берсерк, был внутри пустым. Тогда Йостайн понял: внутри у него самого есть что-то вроде солнца, и нет такой темноты, которую оно бы не одолело. Золотое распятие висит теперь как раз на том месте, чуть ниже груди, где, как кажется Йостайну, это солнце должно находиться.

- Белый Бог, - подняв глаза к прокопченному, пропахшему тюленьим жиром, потолку деревянной церкви, грохочет, перекрывая мощным голосом шум и крики, Гюннульф Скальд, - никогда не пришел бы на землю, не будь человек с ним в родстве: Богу некуда было бы приходить. Если я зову к себе в дом гостя, я должен приготовить ему ночлег и стол. И наши старые боги, Тор, Один, Фрейр, они и есть этот приют, и наш старый праздник юль есть колыбель Рождества, колыбель приходящего в мир света...

Пронзительный крик не дает ему договорить, в церкви снова неразбериха, кто-то упал, кого-то чуть не затоптали на земляном полу, волчица Ильд протяжно завывала. Держа в каждой руке по мечу, на Гюннульфа Скальда идет, прорезая собой толпу, как ножом масло, разъяренный Торфинн Уж. Лицо его, разделенное надвое глубоким шрамом, проходящим через левый глаз к виску, могло бы обратить в бегство целую армию англичан, а его гортанный звериный крик вытряс бы кишки у любого ирландского монаха. Но прежде чем пустить в ход оба меча, Торфинн Уж намерен сразить Гюннульфа Скальда словами, и он говорит вису:

Когда бы дракону слова
Время пришло разуменья,
Стал бы он портить воздух
Именем Белого Бога.

Гюннульф Скальд на это только усмехается, чем еще больше злит Торфинна, и произносит свою вису:

Дракону известны просторы,
Где выбелен парус солнцем,
Где рвется, белый, от молний,
Швыряемых в море Богом.

На это Торфинн Уж отвечает рычанием, и снова воеет возле ног Амунда волчица Ильд.

- Я принесу в жертву своего лучшего жеребца, - бросая по сторонам свирепые взгляды, кричит Торфинн Уж, - Моего белого жеребца! И я зову всех на праздник! Я сам буду петь заклинания, и каждый из вас узнает свою судьбу!

Многие давно уже этого хотят, но никто не решался сказать об этом открыто. И хотя Торфинн Уж не прорицатель, ему, как берсерку, верят: таких, как он, берет под свое покровительство сам Один. Но теперь, на тинге, спорить некстати, и двадцать с лишним щитов сходятся вокруг Торфинна, сжимая его со всех сторон. Только так и можно уgomонить берсерка. Но даже связанный толстыми веревками, он продолжает грозить, проталкиваемый дружинниками к двери:

- И в следующий раз я принесу в жертву раба! Не дашь ли ты мне, Амунд, своего костоеда? Какой тебе от него толк?

Гриф, слыша это, прячется за спинку высокого стула, он знает, что Амунд его не отдаст. У него самого нет никакого к Белому Богу почтения: это всего лишь золотая маска, скрывающая лицо жреца. Маска, которую можно переплавить, отчеканить из нее монету. Маска, под которой ведь может ничего и не быть. Другое дело, Бог, о котором говорит Гюннульф Скальд: Бог, не нуждающийся в рабстве, не нуждающийся в золоте. Бог, не нуждающийся в смерти. Рабу из виноградной страны этот Бог неизвестен. Бог... жизни?

Посматривая из-за спинки стула на связанного Торфинна, Гриф перебирает черными морщинистыми губами слова великой похвалы: нет ничего желаннее для Могущественного, чем пролитая на жертвеннике человеческая кровь. Пусть Торфинн Уж прольет эту кровь! Никакая мудрость Одина, высмотренная им на самом глубоком дне, не выиграет битву с мудростью обнажившего нож жреца. Богослужение во имя смерти, вот великая, на все времена, забота *знающего!* И если Гюннульф Скальд кричит, с мечом в руке, о Власти и Законе Света, то можно ведь попросту поотрубить всем, кто есть в церкви, уши. Пусть станет мир глухим, пусть станет незрячим!

Подумав так, Гриф растягивает в беззубой улыбке черный, морщинистый рот.

Проходя мимо стула Амунда, связанный веревкой Торфинн Уж заглядывает за высокую спинку и тут же принимается хохотать, хотя дружинники тянут его дальше. Теперь, безрукий и безоружный, он может говорить все что угодно. Шрам на его лице становится багровым, из подслеповатого левого глаза катятся на нечесаную, торчащую венником, бороду мутные от злости слезы.

- Ты, воняющий падалью Гриф! - кричит он темнокожему рабу, хотя того и не видно под стулом Амунда, - Ты родишься в следующий раз бабой! И ты будешь оставлять за собой лужи своей вонючей мочи, волочась за недоступным тебе мужчиной! Ты будешь волочиться за ним всю твою проклятую и ничтожную жизнь, и даже если и сойдешься с ним, то только для того, чтобы увидеть неодолимое между ним и тобой расстояние! Это я, берсерк Торфинн Уж, предсказываю тебе судьбу!

- Я не даю тебе больше слова! - гневно перебивает его Амунд, - Проваливай! Сходи лучше в баню!

Дружинники, похохатывая, выталкивают Торфинна из церкви, и со двора доносятся его злые, отдающие запахом крови, слова:

- Это за тобой, Гюннульф Скальд, будет волочиться проклятый Гриф! Ты ляжешь с этой падалью, ты будешь этому рад!

Его безумный хохот переходит в рычание, становится волчьим воем, и только старая Ильд у ног Амунд, только она и отвечает ему.

Протяжный, медлительный, лунный вой. Ничем не утолимое, разве что смертью, беспокойство. Амунд уверен, что волчица Ильд чувствует правду, единственно подходящую для этих мест волчью правду, и никто не смеет поэтому волчицу убить. Но вот она снова затихает, кладет морду на лапы, закрывает глаза. Амунд взял ее щенком, когда Гриф уложил стрелой ее мать. Тогда Амунд был очень зол на Грифа, ему не жаль было зарезанной волком овцы: чем стала бы эта страна без волков? Волки любят здешний холод, это их, волчий, холод. Волки любят здешний волчий закон: будь сильным! Амунд хотел тогда отобрать у темнокожего раба стрелы и лук и запретить ему шляться по лесу, но зубная боль этому помешала: он маялся несколько дней, пока Гриф не залатал зуб кусочком камня, перед этим расковыряв и промыв зуб отваром трав. Этот чертов колдун! Другим он тоже, впрочем, лечит зубы, когда становится совсем невтерпеж, хотя каждый старается этого избегать, подозревая, что к отвару трав примешиваются дьявольские заклинания.

Волчица Ильд живет у Амунда в доме, спит на той же самой, что и он, овчине, и его молодая наложница не имеет поэтому от хёвдинга детей: волчица не подпускает ее к постели уже который год, и Амунд ложится с ней в сенном сарае, мимоходом, не раздеваясь. Амунд сказал Грифу, что если волчица окажется убитой или отравленной,

чьих бы рук дело это ни было, его самого, раба, дружинник раскроит мечом надвое. Пропадай пропадом каменные зубы!

И то, что волчица Ильд здесь, на тинге, воет кажется Грифу плохой приметой: неизвестный ему Бог, о котором толкует теперь Гюннульф Скальд, Бог Жизни, вот-вот явится, и тогда... Не вырвет ли этот Бог нож из рук жреца? Не вернет ли уже отправившихся к Таотлю обратно? Наступив в лужу своей мочи, Гриф незаметно отползает к деревянной скамье, прижимается боком к нетесаному столбу: тут, в церкви, находится опасно, тут *живет*, назло смерти, невидимое.

- В нашем роду, - опершись на меч в дорогих серебряных ножнах и спустив на одно плечо подбитый белым горностаем плащ, зычно произносит Амунд, - есть наследник!

В церкви вмиг становится тихо, только волчица Ильд горячо дышит на земляном полу, свесив на сторону влажный язык. Никто не смел раньше об этом спрашивать, хотя много было о конунге и ярле Тригве злых разговоров. И были еще у казненного купца не смирившиеся с его смертью родичи.

- Сын Сигню! - набирая голосом мощь, возвещает Амунд, - В нем течет кровь святого! Он должен быть здесь, так же как и его мать!

- Сигню Амундсдоттер! - кричат дружинники, истоиво стуча мечами по щитам, - Она наша королева! Сигню! Сигню!! Сигню!!!

Забравшись под деревянную скамью, Гриф трясется от страха: грозная радость, переполняющая теперь церковь, есть весть о вражеском наступлении, о вражеской победе. Злоба и гнев покоряются другой злобе и другому гневу, но радость...

- Амундсдоттер! - гремит обнаженными мечами бревенчатая церковь.

Гриф давно вожделеет к этому имени, он охотно отнял бы его у дочери хёвдинга, как отнял имя у ее матери. Чем больше человеческих имен он присваивает себе, тем сильнее в нем идущие из-под земли силы смерти, тем ближе он к вершинам Таотля. Сигню Амундсдоттер, она красивее всех когда-либо виденных им женщин, она сродни нарисованному на карте Гюннульфу Скальда солнцу, и сила ее красоты так нужна Грифу: она должна увлечь его ввысь!

Снова наступив в лужу мочи, Гриф нюхает расплывшееся на земляном полу пятно, трет пальцем, пробует на язык: страх! Смертельный страх! Его печень и почки, кишки и желудок, все его священные внутренности кричат теперь об опасности! Желудок вот-вот вывернется наизнанку, между ног липкая жижа... так велик этот страх!

Почуяв зловоние, волчица Ильд снова принимается выть, и со двора ей отвечают тревожным ржанием привязанные к столбу лошади. Забившись под скамью, Гриф корчится, словно на нем горит вместе с его нечистотами одежда, он хочет уползти, вдавиться в землю... он не вынесет вида этой победы: Сигню с ребенком на руках.

- Сигню Амундсдоттер! Сигню!! Сигню!!!

Невозмутимо переждав бурю, Амунд продолжает:

- Но я не хочу воевать ни с конунгом, ни с ярлом Тригве, по крайней мере, сейчас. Мы не раз являлись к конунгу незванными гостями, чтобы научить его уму-разуму, да, мы это делали. Но теперь не то время, теперь конунг сильнее нас, а мы должны быть умнее. Я дам Сигню знак, как мы с ней условились, и она покинет тайком, взяв с собою ребенка, дом ярла Тригве. Она знает, где ее встретят.

Слова Амунда сбивают многих с толку, тут пахнет не только войной, но и предательством. Амунд хочет сам быть конунгом, это ясно, хочет, по меньшей мере, видеть конунгом своего внука. Здесь, в этом краю горных троллей, Амунд желает утвердить навсегда старый закон.

- Пусть Белый Бог пока повременит, - не видя, чтобы кто-то хотел ему возразить, продолжает Амунд, - Нам он пока не в помощь. Если мы и позовем сюда нового Бога, потеснив ради него наших старых богов, то это будет золотой Бог Власти!

Лицо Амунда при этих словах бледнеет, глаза на миг закрываются... ах, как он этой власти желает! Великий Северный Конунг, рассекающий море грудью тысячи кораблей!

И хотя он стар и наложница больше не рождает от него детей, он успеет еще навластвовать. Успеет назвать по имени мудрость своей долгой жизни: золото!

- А ты жаден, Амунд, - с такой же, как у Торфинна Ужа, гневной усмешкой говорит, стоя возле двери, его старуха мать. Она ни на что уже не годна, разве что помогать на кухне, и те ее сыновья, от которых мог бы быть ей в старости прок, давно уже похоронены. Спина ее согнулась, лицо сморщилось, руки и ноги высохли, хотя когда-то... когда-то... Амунд сам посматривал на нее, - Ты жаден и не слишком умен, - продолжает она сухим, скрипучим голосом, - И ты наверняка разоришь страну, хотя бы ты и собрал горы золота. Я видела накануне вещей сон...

К ней повернулись те, кто до этого глазел на Амунда, хотя старуху было едва видно за спинами и щитами дружинников. Вещий сон значит гораздо больше, чем обещания хёвдинга.

- ... я видела, как золото само течет из земли, течет со дна моря, им наполняются бочки и целые корабли... Я видела, как ты пьешь это золото, Амунд! Пьешь, потому что нет больше в мире воды, ее откупил у тебя за всё это золото дьявол!

- Заткни свою пасть, старуха, - нехотя отвечает Амунд, не желая препираться с бабой. Он и сам знает, что жаден, да тут все как один падки до золота. Разве что Гюннульф Скальд, тот редко берет в походе добычу, больше интересуясь ремеслом и нравами людей. От южных варягов, дерзко навывающихся сюда на легких многовесельных кораблях, Гюннульф Скальд получил берестяную карту, с нею можно плыть к грекам и еще дальше, и это, считает Гюннульф, дороже золота. Ну разве может быть что-то дороже золота? Амунд отнял у Гюннульфа корабль, мог бы отнять, пожалуй, бревенчатый дом на склоне горы и пасущихся выше, возле самого ледника, овец... мог бы отнять жизнь! Но отнять придуманную Гюннульфом Скальдом вису? Отнять нарисованное на берестяной варяжской карте солнце с женским лицом?

Старуха тянет за уздечку белого жеребца, заводит его в церковь, ведет прямо к Амунду. В самом деле, нет коня лучше, чем этот: белый, как снег, с белой, до земли, гривой, вынослив и силен. А как норовист! Заколоть такого коня - праздник, его кровь угодна богам и людям, да и мясо его любой похвалит.

Один только Гриф старается на жеребца не смотреть, присев на корточки за высоким стулом Амунда: лошади, в этом он уверен, поставлены Богом выше людей, им следовало бы поклоняться. Однако люди Амунда едят жертвенную конину, варят мясо в больших котлах, и никому из них потом не бывает плохо, и это может означать только одно: все они, бородатые, голубоглазые, светловолосые, могучие, все как один, есть угодные Богу жертвы, Могущественный бережет их до своего великого прихода.

- Вот увидишь, - говорит старуха, подходя к Амунду, - внутренности коня скажут правду: не жадностью к золоту держится над миром власть...

Гриф прячет морщинистое лицо в колени, зажимает уши, прикусывает зубами кожаный на руке ремешок. Он закопал бы эту старуху живьем в землю! Бросил бы ее в глубокий, с соленой водой, колодец!

- Над миром есть только одна власть, - перебивает ее Гюннульф Скальд, - Солнце! Солнце, которое каждый из нас прячет в себе... Даже ты, сукин сын, - Гюннульф заглядывает за спинку высокого стула, - даже в тебе есть эта капля света, каким бы вонючим отбросом ты ни был! И тот, кто не хочет об этом ничего знать, пусть немедленно проваливает к дьяволу!

Гриф бормочет за спиной Амунда похожие на птичий клекот слова: это он, только он, он единственный, кому открыт доступ к солнцу. Он, инка, Сын солнца! Только инка и знает, что солнце, это вовсе не свет, как думают волки, птицы и деревья, как думает Гюннульф Скальд: это ослепительный Демон, не желающий, чтобы власть солнца оказалась для людей светом. Демон солнца, демон смерти и темноты, Могущественный. Перед этим черным солнцем и должен пасть мир, пасть в золотые объятия смерти.

Пригнувшись к земляному полу, словно кто-то замахнулся на него кнутом, раб искоса смотрит на Гюннульфа Скальда, и его взгляд алчно впивается, словно кинжал жреца, в бугрящуюся под кольчугой мускулистую грудь.

Гюннульф Скальд подходит к старухе, осматривает со всех сторон жеребца, снимает с руки золотое обручье, подаренное когда-то Амундом.

- Продашь?

Он готов дать впридачу две пары овец. Пусть смерть повременит с белым конем, пусть уступит его прыть горным тропам и молодым кобылицам. И жеребец, поняв, ткнулся Гюннульфу Скальду мордой в плечо. Но старуха мотает головой: этот жеребец посвящен Тору.

- Я покупаю этого коня! - сердито глянув на Гюннульфа Скальда, кричит старухе Амунд, - Покупаю для Сингю! Она приедет на нем на следующий тинг, приедет как хозяйка. Сколько ты за него хочешь?

- Жеребец пасется на тучных травах и пьет воду из родника, - улыбается старуха беззубым ртом, - И нет для него лучшей, чем быть отданным Тору, судьбы. Но пусть Сигню вернется на тинг! Ты дашь мне шестнадцать локтей сукна... - старуха считает в уме, - ... шестнадцать локтей, на мои похороны. Я умру по первому снегу, и не посылай за Сигню людей раньше этого срока!

На это Амунд ничего не отвечает, он знает не хуже старухи, как ему, хёвдингу, быть. Когда корабли конунга и ярла Тригве зазимуют у датского берега и мало будет из дома вестей, Сигню уведет из дома ребенка. Торговец солью привезет ей берестяную шкатулку, в которой... Амунд самодовольно улыбается: никто не украдет то, что лежит в этой шкатулке. И в его старых глазах вспыхивает веселое пламя, когда он, обведя взглядом съехавшихся на тинг, бросает в пропитанный запахом пота, ворвани и овчины воздух:

- Мне нужны двое, кого бы я мог послать за Сигню!

- Сигню Амундсдоттер! - кричат дружинники, - Амундсдоттер!

Вся дружина готова отправиться за перевал хоть сейчас. Но Амунду нужны только двое. Те, что не оставляют за собой следов, не смотрят назад. И Амунд знает, что одним из них будет Гюннульф Скальд.

Неспеша шагнув к хёвдингу, Гюннульф Скальд выжидающе на него смотрит, ему самому есть что сказать. И это для Амунда никакая не новость, и никто не посмеет теперь объявить его вне закона:

- Я возьму Сигню в жены. Я привезу ее.

Он опередил других, Гюннульф Скальд, опередил, быть может, более, чем он, достойных. "Но она моя, - думает он, - Мы дали друг другу клятву той ночью, возле водопада..."

- Кого ты возьмешь с собой? - едва сдерживая злость оттого, что Гюннульф посмел, улучив момент, посвататься, хрипло спрашивает Амунд, чувствуя, что у него начинает болеть зуб.

Гюннульф смотрит поверх голов, и под его выгоревшими на солнце бровями светится морская, под крепким ветром, синь, и взгляд его, ничего никому не обещаая, зовет... зовет к скорой гибели.

- Ну? - с вызовом спрашивает он, - Кто пойдет со мной?

Много распахнуто ему навстречу глаз, у многих на губах усмешка: пусть отбивается, если сможет, от погони ярла Тригве в одиночку.

- Кто?..

Так тихо, оказывается, может быть в церкви. Только глухой стук вонзенного в земляной пол копья.

- Можешь быть уверен, - говорит Йостайн, - это копьё пробьет нам дорогу обратно.

Солнце подбирается к старой яблоне, к босым ногам Монтсеррат, жаркое еще, августовское солнце, и бегущий по скошенной траве ветерок приносит запахи спелой

пшеницы, мяты, клевера, запах моря. По высокому стеблю ромашки ползет, отмеряя ворсинками миллиметры пути, мохнатая гусеница, замирает возле другой травинки, пробует перебраться на нее, мотая в воздухе половиной своего тела, и наконец находит подходящее для переправы место: золотой завиток волос... Лечь на спину, заснуть, унести прочь, куда никто не погонится следом.

И пусть ветер катит прочь брошенное на траву письмо Хиллари.

5

Бу Кварк зачастил в этот русский город, словно его тут кто-то ждет. Репортеру газеты "Бляд" нужна уверенность в том, что без его пронизательных суждений, о чем угодно, даже и коммунизма-то не построишь, не говоря уже о новорусском криминальном обществе благоденствия. И эту уверенность дает Бу Кварку полученный от газеты аванс. Даже если бы ни о какой газете "Бляд" в этом городе не слыхали и Бу Кварка никто не встречал бы в аэропорту, изворотливая судьба все равно нашла бы предлог, чтобы свести с собою кое-какие свои же счеты. А их у судьбы тьма, только успевай нумеровать. Судьба самого Бу, впрочем, свои задачи давно уже выполнила, украсив себя престижными стипендиями и премиями, а также дорогостоящими изданиями популярных сериалов о *русском городе* и окружающей его стране. И хотя страна рвется из последних сил в свое же недавнее прошлое, торопясь загладить позор своих же шальных о свободе мечтаний и возводя незадолго до этого разрушенные монументы вождям, все же приходится ей считаться и с плохоньким, недокормленным, кривобоким будущим, зябнувшим на прилавках супермаркетов, тонущим в жиже продувной, всеядной рекламы и авансированной на полвека вперед *путёвой* журналистики. У этого продрогшего будущего есть уже кое-какое выражение лица: кисло-горькая гримаса безразличия и скуки. Бывает, кто-то подкрашивает до крови прикушенную губу, замазывает под глазом синяк, ставит на место выщипанную бровь, но в целом это несколько не меняет портрета: на тебя пялится, не видя тебя в упор, новорусский просвещенный недоумок. И если ты сам пока еще не слеп, ты, конечно, обнаружишь, что даже самый просвещенный из будущих недоумков никогда в твою сторону не глянет, называя "тобою" шуршащую в банке прибыль. Счастливые новорусские времена!

С точки зрения самого этого счастья, а оно теперь многим доступно, не имеет ровно никакого значения, жив ты или мертв. И хотя на семерых счастливых мертвецов приходится всего лишь один счастливый новорожденный, это не мешает новорусской статистике хвастать приплодом, как до этого делала статистика сталинская. И чтобы у этого хвастовства не отросли, в плане новорусских мутаций, подозрительно серые уши, просвещение уже сегодня готово принять меры: ввести всеобщий, универсальный, доступный любому дебилу *учебник истории*. И новорусская статистика шепчет уже просвещению на ухо, хотя оно и тугое, что дебила неприлично называть "любим", потому что дебил - это норма. Да, нормальный дебил, с проставленной на лбу пробой на патриотизм.

Новый учебник истории должен быть лучше старого. И даже если бы сама история решила замолвить за себя слово, решила бы утверждать, что верна себе и не меняет от учебника к учебнику своей сути, ей бы просто дали в зубы. И она, шамкая и сплевывая кровь, пошла бы просить пособие... ну что ли по недееспособности.

Новый, хороший учебник тем и хорош, что в нем одно только по поводу прошлого мнение: хорошее. И это хорошее мнение таково, что лежать под отцом всех народов приятно и полезно. Отец народов, это, как правило, кривоногий коротышка, и смотреть на него следует снизу вверх. Смотришь и думаешь, какого черта это насекомое заслоняет тебе пейзаж. И хотя пейзаж этот так себе, фабричные трубы и мусорные свалки, все же и на том спасибо, все-таки родина. Родные, так сказать, просторы. Окажись эти просторы ничем не заслоненные, что ты станешь делать? Ты просто умрешь от скуки. Вон сколько

уже поумирало. Но хороший учебник истории предупреждает: умирать от скуки надо гордо.

За этой гордостью Бу Кварк и едет сюда, торопясь успеть на собственную открытую лекцию в университете. Выступление ему заранее оплатили в Осло, но он все же нервничает: вдруг что-то с этой гордостью не так? Газета "Бляд" сыта до отвала дипломатическими, торговыми, а также террористическими вариантами новорусской гордости, и в этой своей сытости не прочь сглотнуть самый последний, провинциальный вариант: горда ли статистическая тетя Маша своим статистическим настоящим? Правда, русский город, куда едет Бу Кварк, в восемь раз больше Осло, а прилегающая к нему губерния намного просторнее датского королевства, но провинция, она именно тут. И хорошо, что она пока еще есть, и она пока еще заселена провинциалами.

Провинциалу легко угодить, главное, его не трогать. Не брать его, скажем, за жабры. И не надо делать вид, что тебе *пора*, тебя отсюда и так выпроводят. Дадут на дорогу заверенный гербовой печатью и тремя разными подписями *положительный* отзыв, с ним можно хоть в Америку. И ты напоследок, конечно, спросишь: "Ну чем вы, ребята, тут у себя горды?"

Бу Кварк задает этот вопрос всем, и оказывается, что все как один горды, во-первых, плюрализмом мнений, а во-вторых, супермаркетом "Снегурочка". Из этого единодушного плюрализма снегурочки выпадает, конечно, кое-кто, кого ни о чем уже не спрашивают.

- Ты, Серафима? Ты, значит, жива... То есть... как жизнь?

Бу Кварк встречает ее в университетском коридоре, и хотя им в разные стороны, судьба слегка притормаживает, выжидает.

- Ты еще не вернулась к своему мужу?

Туберкулезно подозрительная, на исходе своего пятого десятка, Серафима годится, пожалуй, для последних в этой жизни испытаний... Ну что она может еще испытать? Короче, у нее кое-что еще впереди. Ха-ха.

- Я прожила с ним пятнадцать лет, - нехотя отвечает она, - этого достаточно.

- Да, да... То есть... у тебя же двое детей?

- И еще две собаки.

- И ты довольна... или нет? Ты *горда* прожитой... то есть почти уже прожитой жизнью?

Бу Кварк наостряет репортерский слух: сейчас он поймает осмотрительную птицу недовольства, шипящего гуся, хлопающего крыльями индюка, орущего благим матом павлина. Тщательно скрываемое от прессы, совершенно не актуальное в новорусском счастливом строительстве, недовольство самим этим счастьем. Ты должен быть счастлив, и точка. А если нет, вали на кладбище. Так думает ближайшее и высшее начальство, соседи, прохожие, так думает в конце концов и сам Бу Кварк. Правда, провинциальные кладбища ему не слишком симпатичны: жестяные кресты и прошлогодний мусор, да и люди тут сплошь безвестные. Да, просто люди. Людишки. Обдав Серафиму сочувственным, от стоптанных сапог до жидкого пучка волос, взглядом, Бу Кварк, доверительно понизив голос, сообщает:

- Есть рабочие места на рыбоконсервной фабрике неподалеку от Мурманска, разделять селедку, мойву и треску... Хочешь?

Бу задает этот вопрос исключительно из вежливости, заранее зная, что *все* этого хотят: перемахнуть на месячишко через бугор. Все хотят туда, где всамделишный, а не обморочно-новорусский, капитализм. Надевай резиновые перчатки, стой восемь часов у конвейера и только успевай орудовать ножом: голова, хвост, кишки... И надо спешить этой возможностью воспользоваться, поскольку полярная рыба желает, чтобы ее везли самолетом в Китай, а оттуда, уже разделанную и замороженную, быстренько переправляли самолетом обратно, не позволяя коренному полярному населению марать руки в рыбьей крови.

- Да, это перспектива, - кивает Серафима, - тут вряд ли помешает докторская степень...

- Нисколько не помешает, - охотно соглашается Бу Кварк, - Новорусский доктор наук, это почти что наш высокоразвитый рабочий.

- Наверняка их, высокоразвитых, штампует газета "Бляд".

Бу Кварк заставляет себя улыбнуться, вот так, чуть-чуть. Если Серафима не хочет разделять селедку в *свободном мире*, пусть пишет и дальше свои диссертации, ими, извините, даже и не утереться. А что касается газеты "Бляд", вот свеженький номер, тут много всяких объявлений, и кто-то, может быть, даже ищет тебя... ха-ха. Какой-нибудь придурок или алкоголик, безработный с минимальным пособием или просто старик наверняка захочет иметь бесплатную домработницу. И считай, что тебе повезло: ты в свободном мире! И если тебе удастся протащить туда свою статистическую, от тети Маши, гордость и приладить ее к полярному уровню жизни, то очень скоро ты окажешься без нее, то есть совсем без гордости, окажешься просто *голой бабой*.

- В самом деле, - своей подозрительной серьезностью спугивая улыбку Бу Кварка, говорит Серафима, - мне туда уже пора. Пора менять, так сказать, привычки, ракурсы... Дай-ка сюда эту газетенку!

Бу Кварк видит, что ему тоже пора, не становиться же свидетелем новорусской трагедии. Кто хочет, пусть без него ломает свою жизнь. И если на слом пойдет вся страна, если от новорусской России останутся одни только кладбища, то можно ведь гордиться и просто жестяной звездой. И какой-нибудь покойник обязательно напомнит всем остальным о скорой над врагом победе... над старым, как смерть, врагом.

Среди загадок русской души есть такие, отгадать которые невозможно, находясь в России. Только выдрав себя с корнем, заодно бросив на себя не смываемую никакими сожалениями *тень отсутствия*, и можно, если ты по ходу дела не умер, определиться со своими намерениями. Но пока ты сидишь на чемоданах и считаешь зря проведенные таким образом годы, никаких особых намерений у тебя нет: ты просто ждешь, просто зреешь, чтобы однажды упасть... сорваться.

Когда Серафиме было семь лет, кто-то сказал ей, очень тихо, словно в мягкую подушку, что ждать ей придется долго. Ждать и не суетиться. Кто-то принялся нашептывать ей разные истории, и ночь бесследно глотала их, у ночи хорошая память. Да, ночь это помнит: черный, сплошной черный цвет. Не найти в темноте дома, не разглядеть протянутой к тебе руки. А ведь эта рука протянута! Тому, кто знает об этом с раннего детства, надо быть терпеливым. Надо научиться терпеть бессмысленность темноты, иначе, если предъявишь темноте раньше срока счет, темнота его же и оплатит.

Когда темноты становится в избытке, когда она делается родной стихией, тогда начинается неразбериха со способом дыхания: тебе бы вдохнуть... ах, надышаться бы светом! Света! Света!! Света!!! Легкие готовы совсем перестать дышать: им бы только *мыслить* о недоступном, увы, свете... Так начинается туберкулез. И не надо винить в этом микроба, он всегда при тебе, он только дожидается твоей над тобою же работы. Дождается полной твоей безнадёжности, упадка, бессилия и просто лени. Микроб одобряет своим микробьим способом твою *затемненность*. Но когда-нибудь, когда жизнь устанет за тобой гнаться и отступит назад, в прошлое, этот мягкий, как детская подушка, голос назовет тебя по имени: *Я, Серафима*.

Теперь, в толкотне университетских коридоров, не пора ли оттолкнуться от всего, что здесь так ценят, ради чего тут проводят жизнь? Не пора ли наконец потерять тут всякий *вес* и, в полной невесомости, отбыть... Куда? Зачем? Судьба врывается в занавешенные паутиной окна, и только осколки стекла, только треснувшая, прогнившая рама... Не оттого ли тебе так холодно и страшно, что судьба может невзначай промазать, сложить по ходу дела крылья? Эти ее великолепные, радужно отражающие весь космос крылья, ими достаточно лишь взмахнуть, достаточно их только расправить... крылья...

Может, Бу Кварк тут только затем, чтобы одолжить Серафиме свежий номер "Бляд". И чтобы не оказаться неблагодарной, Серафима одалживает Бу историю новорусского "Аума".

Есть в городе несколько аптек с таким названием, и в этих аптеках есть... всё. Даже новейшие китайские, еще не известные в Китае, средства повышения потенции слонов. Аум да и только! Само это название никому ничего не говорит, как и множество других бессмысленных новорусских слов. Новорусское слово - это код, и не надо, ребята, допытываться... то есть, не ваше это свинячье дело. Ваше дело сдавать деньги. Только самые из вас понятливые, ну что ли *продвинутые*, и догадываются, что Аппетит Увеличивает Мотивацию. Аум!

Первый "Аум" был оздоровительной, как это понимают не умершие еще пенсионеры и несовершеннолетние коммунисты, подвальной сектой. В обклеенную пластиком "под мрамор" дыру залезало сразу человек восемьдесят, в тренировочных костюмах и без, кто-то не снимал зимнее пальто даже летом, и все дышали, дышали... и сам этот воздух был, ну что ли, историческим. Пал Трепалыч, их тренер, по совместительству заседающий в думе, пел им приятным сексуальным баритоном: "Сдавайте, сдавайте, сдавайте!"

Пал Трепалыч не зря сидит в думе, там ему подсказали: деньги должны гореть. Но так, чтобы без дыма. Чтобы ни у кого, даже у статистической тети Маши, не было сомнений: это оздоровительное мероприятие. Подумав, передумав и снова подумав, Дума пошевелила указательным пальцем, и Пал Трепалыч получил миллионный кредит "под знакомство", и палец указал на запасной железнодорожный путь, где который уже год стоят три товарных вагона, и на каждом пугающая надпись: "Здоровые люди". Пал Трепалыч тоже сначала испугался, у него заныло во внутреннем кармане, екнуло в привешенном к руке дипломате... но оказалось, что вывеску надо читать по-новорусски, то есть не имея в виду ни людей, ни их, блин, здоровье... виртуально, так сказать, говоря. И Пал Трепалыч широко, насколько ему позволяла лысина, заулыбался, закивал: оно тут, здоровье, в этих затоваренных флаконах и упаковках! Три вагона лекарств! Срок годности продлен неограниченно, на случай вечной жизни клиента. На случай, если сам этот случай не будет случаем предоставлен.

Вагоны стоят на запасных путях, хмуро пережидая перепады инфляции, и Пал Трепалыч открывает тут же на железнодорожных путях свой второй "Аум": даже тот, кто не снимает все лето зимнего пальто, и он теперь тут, все тренирующиеся тут, и у всех впереди массовая приватизация собственных тел: хочешь умереть - на здоровье! И чтобы новорожденные коммунисты и завидующие слонам старики не слишком быстро из игры выбывали, не успев купить самое для себя полезное, Пал Трепалыч продает им... мел и дистиллированную воду. Меловые горы безвредных лекарств! Дистиллированные, из-под крана, родники! У местной скорой помощи просто перешибает дух от такого размаха: почти все, что продается теперь в аптеках, оказывается либо дистиллированной водой, либо мелом.

Бу Кварк достает из кармана пузырек йода, ему рекомендовали это в Осло, против местной радиации. И он купил этот йод здесь! Купил с рук. И он не был бы репортером "Бляд", если бы не получил дефицитный продукт из *первых* рук: из рук финансового директора "Аума". Он был у этой дамы в гостях, в ее только что отстроенном, с видом на Нью-Йорк, четырехэтажном особняке, *гордо* выпирающем из местной родниково-меловой почвы. Еще более гордо прет на прохожего прочный каменный забор: трехметровой высоты, с колючей наверху проволокой. По проволоке круглосуточно гуляет электрический ток и бьющийся в судорогах страх. Стра-а-ашно! Каждое утро даму забирает в "Аум" служебная "Волга" с вооруженным шофером, но страх от этого нисколько не убывает. Вдруг... а что, собственно, вдруг? Свою собственную кожу, включая наэлектризованный скальп, финансовый директор и так ежедневно с себя снимает, живьем, подписывая свои же приказы. Хлебнет коньячка, и дальше. А дальше Париж, дальше Ницца. Из этих приказов мог бы получиться уже не один пожизненный срок, но получают только *хорошие* новорусские деньги. И соседние с этим четырехэтажным особняком четырехэтажные особняки тоже сплошь новорусские, и каждый, как может, кричит тугоухому прохожему: "Смотри, я вор! Вор!" Но тугоухий

только с гордостью пялится на сверкающие черным шифером крыши, только с гордостью думает: "Это же наше, родное, русское!"

В прихожей у финансового директора сиротливо висит на гвоздике линиялая подростковая курточка: в ней дама ходит гулять. Одежонка не из Парижа, не всякий бомж станет вытаскивать такое из мусорки. И те, что покупают мел и дистиллированную воду, видят: вот идет бедная пенсионерка, что с нее взять. И она идет мимо своего, с видом на Нью-Йорк, особняка и думает, как свести концы с концами: один конец в кармане, другой... да он совсем уже потерялся! Замусолился, затерся, прогнил. Его обнаружишь разве что в подвале, куда совесть сваливает всякую рухлядь, да и то наощупь, в темноте... не наступить бы на гадюку. Совесть у русского человека вроде кусачей гадины, и не жаль ее поэтому придушить. И не надо при этом кричать: "Где я?.. Где Я?"

Побывав на новорусском у финансового директора обеде, Бу Кварк прикинул, сколько такая еда может стоять в самой богатой в мире стране, прикинул и смутился... хороший обед. За такой обед можно содрать с себя, пожалуй, и скальп. Кстати, на прогулку дама надевает седой парик, а зимой кутается в рваный ватник. И есть у дамы финансовая мечта: свести наконец счет с прозрачной, как дистиллят младенческой мочи, правдой о самой себе, с этой возмутительной, скальпирующей правдой: ты - вор.

Гордое кладбищенское строительство. Дома-монументы, гранитный холод фасадов, пластиковая слепота окон. И кто-то кричит возле звуконепроницаемой рамы: "Обманули человека!" Кричит, не считаясь с желанием человека быть обманутым. С желанием гордого человека. Гордость финансового директора, это еще и своего рода умственная гимнастика: раз-два-три-четыре, точка. Потом наоборот: четыре-три-два-раз, точка. Счет ведет голова, все остальное тем временем вянет и усыхает. В конце концов одна только голова и остается, и финансовый директор не знает, что с ней делать, и голова раскалывается на раз-два-три-четыре... а дальше Париж, Нью-Йорк... Самое главное, успеть выбрать подходящее кладбище, и теперь, говорят, в моде окрестности Голгофы, этот новорусский Аум. Многие тащут туда антикварные, из сталинских лагерей, кресты.

Подцепить человека на крючок газетного объявления, да что там, вытащить его на незнакомый берег сетью, перед этим оглушив динамитом, с этим судьба время от времени справляется. Что ей, судьбе, твое упрямое желание быть никем не пойманным?

Чужие сети. Рассчитанные на рыбу определенных размеров. Но что, если акула?.. кит?.. Что если и вовсе не рыба? Рыба в конце концов найдет место поглубже. Но *ты*? Ты можешь найти только *меня*. Сама эта география: север... Север, дальше которого только... юг. Стоящая на *своем* стрелка компаса. Край, что ли, земли. Край, с которого можно прыгнуть. Так было уже однажды во сне: позади ночь, впереди неизвестность. Сон об отсутствии у тебя даже имени. Никто тебя, пожалуй, и не найдет, и возвращаться тебе некуда.

Свою жизнь можно уместить в несколько строк, обрезав увядшее и засохшее, проредив слишком буйное, выдернув с корнем ненужное. Достаточно оставить один только росток, но живой. Хотя бы дичок. Вольные, непривитые, их сила роста буравит лед и асфальт, сдвигает камень. Швырнуть эти несколько строк в дождливый, черемуховый апрель.

Швырнуть и забыть.

Выдергивать себя с корнем из родной почвы - дело не столько трагичное, сколько муторное: тащишь себя за волосы, и при этом оседаешь еще глубже. В конце концов тебе это надоедает, и ты, за неимением лучшего, тащишь родную почву с собой... Но куда?!

Даже родному отцу-соседу, перекусывающему плоскогубцами шнур твоего холодильника, ты вряд ли проговоришься: родная почва для тебя, это не засиженная тараканами клеенка и даже не премиальный, в котором есть и ты, список; это твои о жизни представления. Их-то ты и таскаешь с места на место, из одной своей жизни в другую, подпирая ими свое *само*. Хотя с точки зрения новорусского строительства, а оно

ведется повсюду, даже на этой затараканенной кухне, подпирать, укреплять, питать и воспитывать *само* есть по меньшей мере социальная катастрофа, а по большому счету конец света. Остывшие парламентские плавильные печи, обледенелые амбиции власти и денег, усохшие потенции успеха, и все это только потому, что *само* желает для себя воли. Желает стать твоей единственной родиной.

Вот так, на исходе пятого десятка, ты подбираешься к своему одиночеству. И если твой родной сосед-отец, прохожий или самый лучший твой шеф начнет советовать тебе, как из этого одиночества *выйти*, не слушай, уйди.

Уйди хотя бы в лес.

В лесу все имеет значение, каждый шорох, и это потому, что ты тут один. Ты только смотришь и растешь... или сохнешь. Лежа на придвинутой к окну кровати, Серафима видит через стекло звезды. Окно большое, из шестнадцати застекленных квадратов, а комната совсем маленькая, тут всего-то места для одной кровати. От деревянных стен пахнет пылью и плесенью, в полу широкие щели с забившейся в них землей. Сюда загоняют на лето усталую университетскую скотину, профессоров и мелкий люд, давая каждому по железной койке, и на том спасибо. И если у кого-то нет на ужин денег, можно просто глотать звезды, одну за другой. Смотреть, прикидывая свой будущий маршрут: туда?... или сюда?... Скоро, скоро заявят о своих правах неодолимые расстояния. И самым устрашающим из всех будущих расстояний окажется разница между этим твоим "сейчас" и не известным тебе еще "послезавтра"... Ах, это послезавтра! У него наверняка есть своя таинственная история, стоит только взглянуть на дело с высоты звезд. И кто-то другой, может, тоже к этой высоте примеряется... К той высоте, с которой только и можно разглядеть человека.

Двенадцать прилетевших с края света писем. Торопливые и основательные, письма-отчеты, письма-причуды и просто... письма, они кричат схожими голосами о написавшей их руке, и нет среди них ни одного, о котором можно было бы подумать: "Конец!" Неустанно плетущаяся ловчая сеть, изощренные движения паучьего танца. Пустота. О пустоте можно было бы сказать иначе: "Ну что ты тут, в самом деле, забыл?" Хотя забывать тебе было нечего, и память у тебя отшибло еще в начальной школе. Это все так, ради приличия: "Ну что ты?... Ты в самом деле?... Забыл?.." И ты, выросший в приличной семье, отвечаешь цитатами из трудовой книжки: поступил, выбыл... в общем, жив "по настоящему время". Прикладываешь к этому тридцатилетней давности фотографию, где ты стоишь с вилами на куче силоса, на фоне бескрайних родных просторов и пьяного тракториста, с партбилетом и твердым намерением дорасти до редактора какой-нибудь многотиражки... И куда только смотрела эта жизнь, расторопно подсовывая тебе то бездорожье, то безденежье, когда *твое* время вдруг да и пришло... пришло ведь! В самый неподходящий момент, когда тебе пора, что-ли, в профессора... в общем, пора. Или, как сказал, глянув накануне отпуска на Серафиму ее шеф, Леонид Макарович Мулярчик: "Умереть никогда не поздно. Но лучше позаботиться об этом заранее". Так мог сказать только лучший шеф, лучше которого разве что ты сам. Ты, вызывающий у твоего лучшего шефа идиосинкразию.

Вот бы Леониду Макаровичу расстрелять еще до посадки, в воздухе, все двенадцать десантных писем! Вытрясти из конвертов не конвертируемые ни с какой валютой возможности... ах, кому они впору! Впору разве что ветру. "Ветер, - вспоминает Леонид Макарович, - по морю гуляет". Он не помнит, откуда это, да и незачем, теперь это не актуально. Теперь надо держаться, зубами, когтями, жабрами, держаться за выступающие на ровных местах и среди провалов указатели. Они повернуты все как один к твоей недавно проснувшейся национальной гордости, хотя ее и мучит с похмелья жажда: еще больше, еще, еще! Леонид Макарович, не будь он юмористом, решил как-то передвинуть один такой указатель, ткнуть им... самого себя. Но ткнул только навозную кучу, успев при этом подумать: "Наложил за семьдесят лет". И повернул указатель обратно в сторону гордости.

Здесь, в лесу, гордости делать нечего: деревья и так стоят, река куда-то течет, и кулик кричит на болоте, и зреет неспешно малина, и стоит стеной крапива, и забывчиво цветет незабудка... Лето! Из кучевых облаков строго посматривает на заросшие мятой берега сердитый Урия, и бьет ему в нос серный запах: тут слишком много кричат о любви. Кричат, как на пожаре, хотя гореть тут нечему. Эти огарки профессорских тел, это студенческое голословие... Еще не верится, что жизнь прошла, что нет ей возврата к своему началу. Из выкатившего на середину неба облака гневно кричит, потеряв всякое терпение, Урия: "Разве ты это только природа?" Природа спешит угнаться за летом, спешит пригреться, приласкаться, расцвести, бросить на ветер семена... И сам ты то ли растение, то ли птица, сам, короче, не свой. Даже набрасываемое на тебя ночью, прошитое тишиной и темнотой одеяло, даже оно не приглушит исходящей от тебя серной вони: ад да и только! И разгневанный Урия грозит тебе сверху громом и молнией.

Двенадцать прочно стоящих на земле мужчин. Двенадцать гораздо более прочных, в сравнение с новорусским гранитом, опор. На самом краю Европы, на краю света, кому-то есть дело до Серафимы... то есть до той зыбкой фата-морганы, с которой обычно путают вполне состоявшуюся и совершенно единичную особь. Попробовал бы кто-то из них на Серафиму глянуть, пристально, зорко, в упор, его тут же бы сдуло прочь. Никто из них этого бы не вынес: этой самодостаточности. Этого *комфорта одиночества*.

Солнце, разбросанные по траве письма... мотыльки, одуванчики, несбыточные мечты... Кончится лето, шеф сядет напротив, зашуршит приказами. Начнутся дожди с подозрением на туберкулез, анемию, аритмию, дистрофию... запах серы улетучится. Леонида Макаровича Мулярчика это наверняка бы разозлило, разорвало бы на составляющие его юмористические части: намеревающееся существовать и дальше, в зимних условиях, лето? Что станет с зимними условиями? С охраняющей зиму наукой?

Двенадцать с края света писем, и еще одно, тринадцатое, запоздавшее. Должно быть, оно наткнулось в пути на стену, зависло, куда-то провалилось... Оно ехало неспеша, почти два месяца, глаза, должно быть, по сторонам или просто не доверяя транспорту. Тем не менее, оно пришло, в плотном служебном конверте, в каких посылают уведомления, застряв в глазке почтового ящика мятым, надорванным углом. Такие конверты открывать страшновато, в них что-то *есть*... какая-то особая, сравнимая разве что с надеждой, безнадежность. Безнадежность отсутствия и невозможности. Безнадежность недостижимости и неодолимости расстояний. Эта безнадежность горчит, и есть в ней привкус соли... соль выступает даже на этом конверте...

Письмо от Хельге.

В смежной комнате спят собаки и дети. Их сны останутся в этом лесу, да, будут их тут дожидаться, ведь рано или поздно каждый получает свои сны обратно. Дети увидят, должно быть, дорогу, увидят дом, увидят свое, уже отступающее от них детство. Дети могли бы заявить напрямик: "Мы и есть результат любви, мы, рожденные". И никто не посмел бы им возразить. Но *ты* несешь любовь еще дальше, к одиночеству и молчанию. К такому одиночеству, которое разжимает тиски слова. К такому молчанию, из которого смотришь ты сам. Ты отогреваешь в молчании обледенелую истину, прячешь ее у себя за пазухой как птицу или щенка, и никто не отобьет ее у тебя. Твоя истина! Ты сам становишься вороном и волком, становишься сфинксом. И ты задаешь один и тот же вопрос соседу и шефу, прохожему и родному отцу, ты спрашиваешь их о солнце: что оно для них? А они как раз решают между собой, содрать ли с тебя последнюю шкуру или... не видеть тебя в упор. Как скучен твой сосед, как надоедлив и мал твой лучший шеф! Прохожего манит тень, родного отца - темнота, и никому из них не дознаться, почему ты молчишь... день, месяц, год... Ты испытываешь себя этим молчанием. Ты даешь усохнуть и отмереть лишним словам, слова ведь в основном только балласт и мусор. Слова-экскременты. Из них-то и строится высотное здание повседневности. А небо... оно может и подвинуться.

И когда лишние слова увянут и отпадут, когда ты с себя эту обузу сложишь, тебе придется начать все сначала, с самого первого слова: Я. "Я, - скажешь ты, глядя на солнце, - есть!"

6

Хельге писал это письмо целую неделю. Писал и сжигал в чугунной печи написанное. Писал в толстой линованной тетради и выдирал оттуда листы. Писал и заранее ругал за медлительность почту.

За это время он дважды видел Монтсеррат. Она обернулась к нему в магазине, так, невзначай, возле кассы, и если бы не несколько между ними человек, ему наверняка пришлось бы заговорить с ней. И он встретил ее на дороге, она махала ему рукой, но он, чуть притормозил, направив ей в лицо свет фар, невоспитанно, дерзко. Ослепленная и сбитая с толку, она смотрела ему вслед. Она не знала, что он порвал с ней.

Нет, Монтсеррат ничего не знает. Ее мать по-прежнему вяжет для внуков носки, и лошади едят из большой картонной коробки принесенную Хельге морковь. Лошади заранее чувят его приход, беспокоятся, ржут, и на прогулке сами идут к его дому. Последний раз, когда Монтсеррат приезжала верхом на молодой рыжей кобыле, Хельге разговаривал только с лошадью, терся лбом об ее переносицу, кормил из рук яблоками. Он словно не замечал Монтсеррат, и это ее взбесило: она погнала кобылу вверх по склону холма, и только на каменистой вершине дала передышку, среди древних могильных валунов и побуревшего от осенних дождей вереска. Глядя на желтеющие внизу верхушки берез и поднимающиеся рядом молодые ели, она заставила себя улыбнуться, она даже рассмеялась, сжав в тонких пальцах уздечку. Она, Монтсеррат, здесь хозяйка, это ее лес. Она может, если захочет, вырубить его под корень. Может купить у соседа дом, который снимает за гроши Хельге. Да, она может показать свою власть. Но как ей быть с неуловимостью его свободы?

Она помнит, как он перепрыгнул в лесу через ствол поваленной ветром сосны, перепрыгнул без малейших усилий, с упругой легкостью дикого зверя, и ей хотелось увидеть это снова, еще раз, это было так красиво, ей хотелось, чтобы он проделал это *ради нее*. Ведь это и есть доказательство преданности: делать что-то *ради*, и вовсе не обязательно с каким-то смыслом. Такая преданность сродни вере, сродни самосожжению: ступай, не глядя, прямо в ад! Но Хельге сказал ей только, что невозможно повторить то, что происходит само собой.

- Сделай это ради меня! Ради меня!!! - горячо дышит она ему в лицо.

Он грубо ее отталкивает, отходит в сторону.

- Не стану я ради кого-то или ради чего-то насиловать мою свободу, - нехотя поясняет он, - Но ты, впрочем, не знаешь, что это такое, свобода...

Как он смеет ей такое говорить! Ей, родившейся на собственном острове, выросшей без обязательств перед школой или работой, ни разу еще не пожелавшей вступить с кем-то в брак! Она ни перед кем не отчитывается, никому не служит, ни на кого не оглядывается. У нее есть, в конце концов, деньги. И она сама выбирает себе мужчин.

- Ты пленница своего *завидного* статуса, -. невозмутимо продолжает он, - Ты в безнадежном рабстве! Даже твоя красота, даже она не твоя, она требует внешних зеркал. Окажись ты однажды сама с собой, ты, может быть, ужаснешься...

Его голубые глаза хищно сверкают, насмешливо обдавая ее отчуждением и холодом. Именно такого, она так его желает! Желает сейчас, немедленно!

- Хельге... ты...

Куда-то подевались слова, нет больше никаких слов, есть только желание... только ненависть! Она ненавидит его в этот проклятый миг, как насаженная на иглу бабочка, которой уже не улететь. И эта игла, это раскаленное, проткнувшее ее жало, это и есть *его* стремление к истине. Что это еще за истина? Он замораживает ею свою чувственность,

становится льдом и снежной пустыней. Могучий, обледенелый. Его истина не от головы, он ведь совсем не умеет считать... Его истина растворена в крови, вдыхаемая и выдыхаемая: "*Ярче солнца, чище снега, тоньше воздуха, это Я в моем сердце!*"

Монтсеррат искоса смотрит на него, смотрит с подозрением и обидой, почти как на предателя: его истина не дает ему взмыться к ее, Монтсеррат, облакам, не дает ему стать перегнемом и камнем... Это истина *середины*.

Она думает о Хельге в мастерской отца, среди недописанных и готовых картин, в зыбких отсветах цветных стекол, вставленных в свинцовые рамы. Со стен и пюпитров на нее смотрит меланхоличный, нервный мир неосуществленной мечты, она узнает многое из того, что сама рассказывала отцу: босой старик в полутемной лачуге, возле тлеющих на камне углей, закопченная цепь на потолочном крюке, котелок с кашей... тесная, похожая на ящик, кровать, овчинные шкуры, оброненное серебряное ожерелье... майская ночь в полнолуние с цветущей яблоней и черемухой, снег на горах... казнь на рассвете...

Монтсеррат никогда не предлагала отцу лизнуть корень "железной головы": он, с его изношенным сердцем, умер бы на месте. Но сама она делает это часто, находя аконит на острове. Достаточно лизнуть надрез корня... и голова летит с плеч! То есть, конечно, голова остается на плечах, но толку от нее уже никакого. Зато на животе появляется... ну что ли глаз. Орган, кто бы мог подумать, *зрения*. Так Монтсеррат смотрит в прошлое, в свою прежнюю жизнь: смотрит *своими глазами*. Сколько раз она сбивала отца с толку точными во всех деталях картинами, в каждой из которых жила она сама... та, другая. Если бы отец мог сам всё это видеть! Но он только слушал, изумленно поглядывая на нее, только рисовал в задумчивости ее "истории".

Отец не подозревал, что этот ее глаз открывается только ночью и только в полнолуние, и он, слава Богу, никогда не видел Монтсеррат, лежащую в постели без чувств, в глубоком обмороке. Узнай он об этом, разве стал бы он слушать ее болтовню?

В последний раз Монтсеррат была на острове вместе с Хельге. Они добрались туда на его лодке, шли под спинакером на опасной скорости, то и дело рискуя набрать воды и перевернуться, но им хотелось мчаться еще быстрее, еще опаснее, хотелось чего-то, чего вовсе нет на земле. Тогда, под его самодельным парусом, Монтсеррат поняла, как мало он ценит нормы, ради которых кладет себя на рельсы весь мир. Мир мог бы обойтись без этих опасных среди волн виражей, мог бы отсидеться в комфортабельной каюте моторки, да просто дожидаться безветрия. Но для Монтсеррат мир теперь был весь тут, в крепко держащей канат руке Хельге, в его прищуренном, упрямом, как стрелка компаса, взгляде. Кроме Хельге в мире не осталось ведь ни одного мужчины, хотя многим нравится быть на мужчин похожими. Ах, эта похожесть! Скольких она сбивает с толку! Потянул бы сегодняшний король в прежние времена на что-либо королевское? А окружающие его обезьяны, макаки, о которых всюду "говорят"? Крупное, *большое* не желает больше плодиться, мелочь же мечет повсюду икру, попутно пища что-то в защиту культуры: никакое другое предприятие не оставляет после себя столько мусора. Горы отбросов, праздник всеядности! Свалка, на которой *никому* не дано выжить. Правда, утешение дают деньги. И все мы верны аксиоме: в деньгах счастье. Мы, бескрылые. Хотя такое утешение есть всего лишь отсрочка перед кредитором-судьбой. Смотри, сколько у тебя возможностей, и среди них нет ни одной, которой ты мог бы воспользоваться. Твоя, терзаемая иллюзиями судьба!

Отец часто говорил Монтсеррат, что ничего не может ей, кроме благоденствия, дать. Ничего. Каждый поднимает себя за волосы сам, вытягивает из трясины. И кто-то должен постоянно бодрствовать на границе своего одиночества.

Хельге.

Навстречу Осло-йоллле, этому капризному, под парусом, вертуну, хлещет дождь. В резиновых сапогах и непромокаемой куртке с капюшоном, Хельге занят лишь парусом: убирает спинакер и ставит обычный, голубое в белую полосу крыло. Теперь ялик пойдет

осторожнее, подчиняясь ритму бьющих в борта волн. Этот размеренный пульс моря, отбрасывающий прочь время, стирающий мнимость причалов и берегов... Хельге привык ходить под парусом один, он никого с собой не зовет, а тем более, в непогоду. Окажись его вертлявый Осло-йолле плавающим на боку или даже килем вверх, как бы они спасались? Каждый сам по себе? Стала бы она спасать его?

Монтсеррат никого не спасает, так же как и не помогает никому тонуть. Она только вдохновляет, манит, воодушевляет. Она вполне состоявшийся художник, хотя полотна ее и незримы. Незримы? Этого она бы не сказала. Слепцы, а это практически все, могут сколько угодно оспаривать ее точку зрения, от этого ее *сила видения* ничуть не убывает: ей видна, к примеру, причина их слепоты. Она видит, что многие вещи сделаны наперекор свету и что многое вообще делать не стоит. Но пусть, как того желает слепец, все это и дальше делается, впотьмах и наобум. Пусть плетется и дальше сеть всеобщего благоденствия. Пусть опутывается липкой паутиной и душится насмерть все, что желает стоять в стороне от поклонения, возделени и страсти. Пусть уйдет наконец с этой окровавленной сцены человек *самопознающий*. Монтсеррат знает, на то ей и дан полуночный, полнолунный глаз, что человек самопознающий никогда со сцены не уйдет. Его можно вдавить в стену, расстрелять, выжечь у него на лбу клеймо инакости или безумия, но совсем уйти он никак не может, тогда уйдет и то, что его преследует, оно ведь живо только им. Он, человек самопознающий, и есть опора этого проклятого мира. Он стоит, одиноко и незащитно, и нет ему дела до смерти. Земля ведь когда-нибудь кончится, и половину пути уже проехали: теперь под гору, все быстрее и быстрее. И все этому только рады: быстрее!.. еще быстрее!.. Главное, чтобы у всех была работа. Работа, работа, работа... Работа делает человека свободным. Ха-ха. Впереди у каждого крематорий.

Но что же зрячий, самый удачливый и понятливый, кто родился в этой жизни не для *работы*, но только для *труда над собой*? Чем прельстится он на этой проклятой планете? Земля катится под гору, теряя в пути свои краски и запахи, и даже вечные льды, и тех уже нет, и на самой крыше Эвереста царит платный для посетителей сортир. Что касается высоты и глубины, то это больше не имеет отношения к реальности: к реальности выветривания, стирания и полного отсутствия *тебя* в твоем работающем теле. Пусть зрячий отвернется от этой картины смерти! Пусть поднимет себя над этой пустыней на одолевающих гравитацию крыльях, поднимет себя к своему небу, сверкающему без всякого солнца.

Вот ведь и Хельге, он тут не жилец, только гость. Он странствует. Не вьет гнезд, не разводит костров. Он мог бы уже сейчас унести к своей, о которой он так тоскует, планете, что ему тут терять. Но он чего-то ждет в своем одиночестве, что-то держит его в этой неопределенности... Или кто-то? Кто? Он помнит, должно быть, кое-что из прошлого, из своей прежней жизни, о своем, может быть, ребенке... Отец говорил Монтсеррат, что тоскует по своему *настоящему* ребенку, которого он мог бы пустить вперед себя, на недоступную ему самому высоту. Обычно дети - что? Последователи. Наследники. Отец хотел большего, хотел, чтобы кто-то подвез его самого чуть дальше, дотасил до столбового указателя: "Здесь кончается земля". Отцу непременно нужно было знать, что ждет его самого, когда земли этой вовсе не станет. Этот роскошный, цветущий, плодоносящий мир должен однажды сгинуть, поскольку ведь и он когда-то начинался. Отцу жаль было чаек и белых медведей, рысей и лосей... жаль было, пожалуй, хульдру. В остальном же все идет как надо: навоз разлагается, пепел выветривается. Выветриваются культуры, разлагаются нации. Но *твое* дитя пусть зовет тебя дальше!

Резко обернувшись к Хельге, Монтсеррат смотрит на него с прищуром, словно ей уже известно, кого он в этой жизни ждет. Права, в самом деле, Хиллари: тут безусловно есть третий, скрывающийся пока в каком-то своем далеке. Тот, о котором Хельге хочется думать. Может, он, этот третий, и существует-то только в мыслях, и это скорее всего молодая бабенка... фу! Монтсеррат отворачивается, подставляет лицо влажному ветру,

смотрит на медленно приближающийся, покрытый еловым лесом остров. Когда-нибудь она спросит Хельге напрямик... нет, не сейчас. Сейчас в этой тесной лодке, под намокшим парусом, среди тяжелых серых волн, сейчас здесь так уютно: достаточно привалиться боком к громоздкой, в прорезиненной куртке, спине Хельге. Может, это и есть ее дом? По крайней мере, фасад этого дома.

- Тебе не кажется, что мы подходим друг другу?

Они причалили к острову в темноте, оставив позади дождь и поющий в волнах ветер. На берегу совсем тихо, в бухте среди валунов стоит, чуть покачиваясь, полная луна. Втащив лодку по резиновой дорожке на берег, Хельге привязывает ее к обмотанной вокруг дерева цепи, крутит лебедку, подтаскивает лодку под самое дерево. Это старый, развесистый ясень, с подмытыми морем корнями. На одной из ветвей веревочные качели с доской, Монтсеррат помнит их с детства. Помнит, как взлетала над самой водой, как хотелось ей выпрыгнуть прямо в волны... Она смотрит вверх, прислушивается: свистящий звук работающих в воздухе крыльев, мягкий гортанный крик. Лебеди. Они зимуют здесь, на острове, в маленькой незамерзающей бухточке, куда впадает бегущий с холма ручей. Но тут есть лисы. Монтсеррат видела умирающего на снегу лебедя: его снежную белизну просто засыпало снегом, остался только снег, снег... и рядом на снегу сидел другой лебедь, обреченный на одиночество, сидел и ждал до самого последнего мига... и чуть поодаль сидела лиса.

- Ты хотел бы умереть здесь?

Хельге пожимает плечами: почему бы и нет. Умереть без помех, в мире. Жаль только, что здесь нет волков: глядишь, и тебя уже растащили по частям.

Он снимает резиновые сапоги, идет босиком по песку, волоча за собой парус. Ночь обещает быть тихой и теплой, в маленьком пруду за домом неистово квакают лягушки. В такую лунную ночь можно, конечно, и не спать, но Хельге устал. Он заработал за один сегодняшний день пропитание на неделю, он потен и грязен, на руках мазут и черная краска, в волосах песок. Он не прочь залезть в банную кадку, она стоит во дворе дома и наполняется водой из шланга. Эту кадку ее отец вытащил из старого завалившегося сарая, да, эту рухлядь, и все имеющиеся в доме старые вещи тоже им спасены: растрескавшиеся кухонные полки и угловые шкафы с нехитрым крестьянским узором, тяжелые, окованные железом сундуки, деревянное корыто... Только в окружении старых вещей и можно спокойно жить. Старое, надежное, выносливое.

Монтсеррат тоже залезает в кадку, хотя вода чуть теплая. Их ноги сплетаются, руки лежат на плечах друг у друга, они дышат друг другу в лицо. И она видит, что Хельге усмехается, он что-то вспоминает... Он сидел вот так же в ванной с Хиллари. Много лет назад. Зимой, после долгого бега на лыжах. Вода в ванной была горячая и пахла сибирской лиственницей, рядом на стуле лежали апельсины и груши. Они слушали тогда Эльвиса, приятно и нудно притупляющего мысли, хотя и так думать было особенно не о чем. Потом была постель с тикающим под подушкой будильником. Что могут сказать друг другу два разгоряченных бегом, распаренных в ванне тела?

Полная луна висит над домом, и в кадке с водой переливается голубоватыми бликами живое серебро. Эти лунные силы! Они обостряют летние запахи, влечение и страсть, они придают тоске привкус безнадежности. И ведь это тоска о любви! О том, чего скорее всего и нет на земле. Ведь все то, что торопится назвать себя любовью, тут же и предъявляет право на власть. Право обладать, право пользоваться. Право, если надо, убить. Эта чувственная предметность! В основе ее нехитрой механики лежит нежелание бодрствовать: ступор, паралич души в угоду вожделиниям рассудка. Хельге знает, что к нему присматривается кто-то другой, знает, что должен быть начеку: не засыпать, не валиться с ног, стоять! И это не Монтсеррат, нет.

Луна целует ее фарфоровые колени и высунувшиеся из воды тугие соски, и нет в этом ночном мире таких слов, которые догнали бы теперь стремительно рвущуюся прочь

тоску: возьми меня! Монтсеррат прижимается к нему в воде, между ног у нее бездна. Возьми меня!

Этот пейзаж в лунном свете.

Луна правит волнами и приливами, правит оплодотворением и созреванием плодов... и водит за собою сомнамбул, этих слепых ясновидцев. Вот он идет по самому краю карниза, не ведая о высоте падения... о высоте или о глубине?... и все, какие есть в мире, башни протыкают собою эту последнюю, быть может, ночь... Ночь забвения, ночь отрицания солнца.

Взявшись за края кадки, Хельге пристально на нее смотрит, потом выпрыгивает, выплескивая на траву лунное серебро: это лунное безумие хуже, пожалуй, пьянства. Ты крадешься во сне к своим безднам, пробуешь ногой прозрачную паутину, ступаешь в невесомость... и тобою правит, лишив тебя разума, луна. Она правит пожаром твоих фантазий, и ты, восхищенный, становишься прозрачным, зеленоватым, мерцающим лунным камнем... Ты, предавший солнце.

- Я никогда не искал секс ради секса, - бормочет Хельге, надевая на мокрое тело трусы и рубашку. Ему все равно, что думает об этом Монтсеррат, его не интересуют ее намерения. Еще раз глянув на нее, он идет неспеша к дому, ступая босиком по мелкому гравию дорожки, и луна забирается в его светлые волосы, хватая торчащие во все стороны мокрые пряди.

- Хельге!

Он не оборачивается, зная наверняка, что Монтсеррат не собирается ночевать в кадке с водой. Он слышит плеск и торопливое шлепанье по траве, она догоняет его, дразня своей наготой светлую лунную ночь.

- Хотела бы я знать, - запыхавшись, останавливает она его, - что держит тебя на твоей недоступной ледяной высоте! В Харпестаде нет ни одной женщины, с которой бы ты лежал, и твоей проклятой американке до тебя не добраться...

Хельге молча на нее смотрит, и она умолкает, не договорив. Он мог бы смотреть на нее веками и тысячелетиями, смотреть и медленно созревать для этих солнечных форм. Знает ли она сама? Знает ли, что это не только его, но и ее созревание? Ее строгость, ее простота, ее искренность... ее преодоление смерти. Но сейчас... нет! Сейчас это всего лишь алчность, всего лишь желание.

- Я пока не знаю, - шумно вздохнув, отвечает он, - Я никогда ее не видел.

- Значит, это... она?! - вырывается у Монтсеррат, - Откуда ты о ней знаешь?

Хельге молча пожимает плечами.

- Пойдем спать, - говорит он, - я устал.

Монтсеррат подходит вплотную к нему, улыбается ему в лицо, и он замечает, как дрожат ее губы. Когда-то... когда-то она была маленькой девочкой, и кому-то, может, доводилось ее обижать... Он тоже заставляет себя улыбнуться. Эти взаимные невозможности! Тонкие руки смыкаются у него на затылке, лунная, между ног, бездна оказывается прямо перед его пахом... Ее тело ничего не весит. Тело хульдры. Осторожно взяв ее за ягодицы, Хельге секунду медлит, смотрит ей прямо в глаза... и навстречу ему катятся порабощенные луной морские волны... Нет, это не его воля! Его воля разжимает замок тонких рук, стряхивает жгучее прикосновение ее тугих сосков, высвобождает пах из лунной бездны... Что может быть сильнее этого лунного влечения? Только ты сам.

Луна укачивает маленький остров в волнах прилива, и все, что пока еще не спит, вдыхает и выдыхает ритм этой вечной песни: люблю тебя... люблю... люблю... Роса на траве, закрывшиеся на ночь цветы, шорохи птиц в кустах жасмина. Откинув край легкого стеганного одеяла, Монтсеррат прислушивается к сопению Хельге: он теперь далеко. Сон отбросил его, должно быть, в одно из тех запутанных приключений, из которых выходишь оглушенным, забыв даже свое имя. Его рот плотно сжат, словно впереди у него испытание, брови сведены... Что он там видит? Монтсеррат долго на него смотрит, и ей

кажется, что она ему мешает, что он вот-вот проснется... проснется и тут же повернется на другой бок. Хотела бы она знать, где он теперь... с кем... Ах, эти сны! Эта близость к дому. Это возвращение на родину.

В гостиной на первом этаже гулко пробило два, где-то рядом заскреблась мышь. Тихо, так тихо... даже прильнувшая к окну черемуха, и та не смеет шелохнуться ни одним листом. Зачарованная полнолунием ночь.

Спустившись по застланной домотканой дорожкой лестнице, Монтсеррат идет на кухню, выбирает нож поострее. Это все, что ей надо. Остальное, и ради этого ночь цветет теперь полнолунием, придет само собой. Она так решила, она готова.

Ветки цветущего жасмина задевают ее лицо, и ей становится грустно и сладко от тонкого, таинственного запаха: так много в жизни влечения и страсти, так мало любви. Любви, может, и вовсе нет. И нет у нее поэтому обиды на Хельге: он ведь тоже, как и она, одинок. Два одиночества, это не слагаемые, и одно из другого не вычтешь. Их можно только помножить друг на друга, тем самым заметно удлинив путь к желаемой общности... или не желаемой.

Одиночество, твое, неделимое.

Обойдя дом со стороны залитой лунным светом террасы, Монтсеррат прислоняется на миг к старой березе, к шершавой, со следами лишайника, коре, прижимается бедрами к стволу... Но что может сказать ей дерево? Сказать, что стоять на одном месте сотни лет, это и есть судьба?

После смерти отца сад одичал, уступая натиску плюща и дикого винограда. Тропинка, ведущая к прилепившейся к скале беседке, заросла колючей ежевикой и крапивой, белые деревянные стены опутаны цветущей лианой. В беседку давно уже никто не ходит, и черные дрозды вьют здесь без помех свои гнезда. Возле беседки, на скальной террасе, остатки одичавшего цветника: ромашки вперемежку с лебедой, пионы, лилии, лютики, репейник, васильки, аконит... Аконит стоит теперь в полном цвету, окуная в лунный свет свои фиолетово-синие бусы. Как много у него имен! Эти имена придумывали врачи и самоубийцы, мечтатели и преступники. Все они почитали это растение: оно обещает надежную, безвозвратную смерть.

Но можно ведь и научиться играть со смертью.

Подкопав ножом один из стеблей, Монтсеррат выдергивает его с корнем. Вот так, невинно и бесстрашно, растение отдает свое самое сокровенное. Его сок полезен мелким мошкам, облепляющим молодые побеги, смертелен для человека. Эти восхитительные силы смерти!

Отрезав часть корневища, Монтсеррат прикапывает растение и... мочится на него. Это ее собственная выдумка, ведьмовской ритуал, ну что-ли... благодарность. Она ведь берет у аконита в долг, и этот долг рано или поздно будет оплачен ее смертью.

Надрезав корень ножом, она торопливо лижет срез... еще раз... Она чувствует на языке вяжущую горечь, во рту у нее собирается слюна. Она пока еще не глотает, ей ведь надо пройти к дому обратно, добраться до постели... Быстро-быстро, пока *это* не началось. Цепляясь подолом ночной рубашки за колючие ветки ежевики, она спускается по тропинке к террасе, и луна купает ее в своем голубоватом серебре. Только бы добраться до постели... Язык совсем уже онемел, не скажешь, не крикнешь... Хельге говорит, что у нее самый красивый в мире язык, ярко-розовый, тонкий на кончике, подвижный... Проскользнув тенью к постели, она успевает только рухнуть...

Великолепный, сверкающий волчий путь!

На животе у нее распускается лотос. Синий, фиолетовый, алый, огромный, как мир, цветок. Эти налитые жизнью лепестки!.. это пульсирующее свечение!.. Этот смотрящий в дали вселенной глаз!

В первый раз Монтсеррат узнала о волчьем пути лет двадцать назад, узнала из одной книги, написанной врачом. Старая, никому не нужная, завалившаяся в сарае книга. Под этой пылью и паутиной, под этой затхлостью и мышинным пометом лежало сокровище:

врачу было известно, что человек есть нечто гораздо большее, чем тело. Ни один учитель в школе об этом не говорил, и Монтсеррат поняла, что ей незачем ходить в школу... да, она едва-едва закончила положенный курс. Чему, собственно, в школе учат? Учат готовиться к производственной, ха-ха, деятельности... к производству все той же производственной деятельности. Учителя ведь, все как один, слепцы. Слепец не научит тебя видеть.

Врач, написавший эту книгу, испробовал на себе действие многих ядов. Он не советовал никому этим заниматься, не советовал даже пробовать, считая этот путь нечестным. Получить *зрение* без всяких усилий, минуя самоиспытания и страдания, это всего лишь мошенничество. Это не утоляет жажды, отсрочивая лишь ее муки.

Она лежит на спине с наполовину открытыми глазами, с прерывистым дыханием и неровным пульсом. Она теперь далеко и рискует не вернуться. Яд для законечников стрел, это серьезно. Это путь в одну сторону. Волчий путь.

И Хельге, пока еще не проснувшись, замечает эти в ней перемены, поворачивается к ней... нет, он пока еще спит, он еще далеко... Он открывает вдруг глаза, хватая ее за руку, щиплет за щеку, дергает прядь волос.

- Монтсеррат!

Она лежит без движения, ее глаза все так же наполовину открыты: в них нет синевы, один сплошной зрачок. Ее залитое лунным светом лицо не говорит ничего о жизни, но пульс, оставаясь неровным, достаточно силен. Она, сдается Хельге, переживает теперь что-то такое... Да что же это с ней? Похоже, она что-то... видит!

Это ему не в новость, о Монтсеррат ведь говорят... да, с этим ничего не поделаешь: она ведьма. Он смотрит на нее с сожалением и грустью, он мог бы бросить ее тут, на острове... Потом кто-нибудь приедет за ней, Лестничный Франк или кто-то другой, и все будет как прежде. То есть ничего уже не будет. Эти великолепные солнечные формы растянут грифы.

Постепенно пульс ее выравнивается, она несколько раз глубоко вздыхает, откидывает голову набок, закрывает глаза.

- Монтсеррат, - тихо говорит он, - мы уже приехали. Приехали!

Она слабо улыбается, не открывая глаз, поворачивает к нему бледное в лунном свете лицо, обнимает его рукой за шею.

- Я была так далеко, - мечтательно произносит она, - дальше моей смерти... я видела моего ребенка.

Сквозь толстое пуховое одеяло Хельге чувствует, как она дрожит. Но это его одеяло. Его суверенная территория. Он мог бы пустить ее к себе, в свое тепло, его тело всегда чуть горячее, чем у других. В детстве бабушка клала его зимой к себе под одеяло, как грелку.

Согреть Монтсеррат? Сдернув с нее легкое одеяло, он сбрасывает его на пол, он хочет проверить, так ли ей холодно. И она, нисколько не протестуя, дрожит в своей тонкой ночной рубашке, прижимаясь спиной к матрасу. Жалкое в общем-то зрелище, неаппетитное. Он отворачивается. Но тут же, устыдившись своей грубости, наклоняется над ней, касается губами ее плеча... И его обдаёт сатанинским жаром! Ее тело плавится и горит.

- Я знаю, - прожигает она огненным шепотом его изумленное молчание, - что держит тебя на твоей ледяной высоте!

Дописав наконец письмо, Хельге выбирает конверт. Он накупил их столько, что продавщица в книжном магазине усомнилась, в своем ли он уме. Она и раньше сомневалась в этом, делая ксерокопии его странных рисунков, но на этот раз спросила прямо, не собирается ли он жениться. И все конверты вместе с толстыми в клетку тетрадами, ручками, карандашами и стирательными резинками, ножницами, скрепками и фламастерами, а также копиями его собственных фотографий, начиная с двухлетнего

возраста, всё это охотно подтвердило его намерение: купить самую дорогостоящую в мире женщину. Таковую, на которую ни у кого нет средств.

Хельге находит наконец подходящий конверт: из грубой желтоватой бумаги, с широкой полосой клея. Такие конверты не размокают от дождя, да и горят неохотно. Затолкать в него двадцать размашисто исписанных листов, послюнить края, придавить ладонью, заклеить изолентой, развесив по углам трехцветные флаги... Так, чтобы весь мир был уверен: этот не в своем уме.

Те, что в своем уме, те пишут письма на компьютере, следуя заранее сочиненным образцам, да просто заменяя одно имя на другое. Зачем изобретать велосипед? Дешевый, короче, товар. Разовый. И никто при этом ничем не рискует, оставаясь, как и прежде, в своем уме.

С марками дело обстоит не легче, их выбирают под настроение, выуживая из сваленных в кучу королевских портретов, суперавтомобилей и приговоренных к расстрелу тигров одну-единственную картинку, что-нибудь очень простое и многообещающее... что-нибудь очень-очень... Эти, к примеру, одуванчики. Наклеить на конверт семь одинаковых марок... нет, пятнадцать! Почтовый штемпель заденет только две, остальные поедут налегке, дразня своей беспричинностью пространство и время. Прекрасный месяц май!

С точки зрения окружающего мира, а он всегда тут, нет в мире такой серьезности, которая доискивается до сути весны. Вон тебе сколько уже лет, пора уже привыкнуть к зиме. Пора уже понять, что всякое отопление есть следствие твоего остывания, твоего холода, твоей вечной полярной ночи. Окружающий мир допускает, что ты - недоразумение и статистическая ошибка, ты даже не преступник, которого можно отдать под суд, даже не вор, с которого можно спросить. Ты - бесконтрольность. Ты иного, чем твое окружение рода. Откуда ты, кстати, такой взялся?

И менее всего окружающий мир склонен допускать, что есть в этой жизни нечто тебе подобное: что ты - это вовсе не исключение. Что ты - то самое *правило*, которое и привело мир в движение.

Конечно, похожие вещи редко находят друг друга, расстояния между ними слишком далеки. Усталость гонит к огню: грейся, смерть торопит на перепутьи: хватай. Мало кто осиливает смерть и усталость. Но кто-то ведь осиливает, кто-то рождает самого себя.

Хельге понял это мгновенно, едва прочитав газетное объявление: это *его* ребенок. Тот, которого он так долго вынашивал. Тот, которому родиться еще предстоит. Тот, кто, возможно, превзойдет его самого.

Значит, пришел наконец этот возраст, отбрасывающий прочь прожитую жизнь. Возраст *начала*. Возраст возвращения к себе.

В прекрасный месяц май возвращаются, пройдя через зиму. Об этом тяжело думать осенью, накануне холодов, среди серости раскисших дорог и безнадежности смерзшихся, пожухлых листьев. Зима ведь может оказаться для тебя последней. Но у тебя нет выбора: тот, второй, неизвестный, собирается уже в дорогу. Собирается в зиму.

7

Новые учебники истории лучше всего пишутся по принуждению.

Стала бы история позволять себя описывать, если бы кто-то вздумал поставить в самый ее центр... самого себя! Свою, к примеру, земную Голгофу. История бы только сморщилась, скисла, увяла. До тебя истории нет никакого дела, при всей ее деловитости. Деловитости сбора и нанизывания на что попало всякой мертвечины. Чаще всего в дело идет та или иная красная нить, ее удобно потом выдергивать и ткать из нее знамена. История любит марать эти знамена в крови.

История складывается из некрологов и послесловий к ним, продиктованных исторической необходимостью, в сущность которой сама история не вдается. Да и зачем,

если есть необходимость производственная. Главное при этом, не затронуть случайно нерв... то есть, черт бы *тебя* побрал! Ты у истории как палка в колесе. Ты, с твоими претензиями иметь не только индивидуальную судьбу, не только судьбу нации и народа, но еще и ту судьбу, которую ты разделяешь с солнцем.

Истории приятен разговор о вождях и совершенно невыносимо признание того, что даже в самом последнем негодяе, в самом отпетом извращенце есть одна-другая капля истины и добра. В море, разумеется, дерьма. Бывает ведь, что массовый убийца трогательно заботится о своей бабушке или котенке... И эта капля-другая принимается судьбой во внимание, ничтожная малость, соломинка и паутинка, пришивается к твоему солнечному делу, к твоей следующей, о которой ничего не желает знать история, жизни. Правда, явишься ты в следующий раз наверняка калекой и недоумком, хотя был до этого, скажем, генералиссимусом Сталиным, и лучшая для тебя в этом случае участь - быть абортированным. Истории, впрочем, на тебя уже плевать, она тебя не узнает. Куда ты после смерти делся и что тебя принесло обратно, не ее, истории, дело.

От новых учебников истории должно *разить*. Разить и точка. Разить так, чтобы у тебя перешибло дух. Перешибло раз и навсегда. Чтобы ты кумекал и одновременно ни хрена не знал. Чтобы от тебя самого разило этим хреном. Как, например, от товарища Сталина.

Этот товарищ снова в моде, на мусорке откопали его портрет. Портрет так себе, парадный, то есть не в натуральную величину. Натурально Сталин ни для каких портретов не годен, его следовало бы просто чем-нибудь замазать, мало ли вокруг навоза. Но вот он, с усами, с отеческой кавказской улыбкой. Этот многодетный отец, плодящий потомство даже в гробу. И как на него детишки-то похожи! Кто рылом, кто расщепленным надвое языком, кто мускулатурой доноса. Почет, честь, слава, эта сталинская сперма шустрит повсюду, где наготове глупость. Окинь историческим взором окрестности: везде что-то гниет, киснет, приспособливается к орудиям пыток, привыкает к кровопотерям. Да это же наш высокий стиль! Высокий стиль патриотизма! И мы не уступим его ни под каким натовским прицелом никакой ихней Европе. Кстати, новый учебник истории начинается именно с этого: с отмены понятия "Европа". Об этой нашей окраине мнение у нас неважное, почти как об автономной жидомордовской области: сплошной амурский туман. В тумане, правда, прощупываются наши банковские счета, наши офисы и наши, с видом на Ниццу, виллы, но нам милее и привычнее пить водку у себя на кладбище. Глянь, сколько вокруг могил, и на каждой портрет товарища Сталина. И кажется тебе спьяну, что либо он жив, либо все вокруг сдохли. Живые, короче, мертвецы. И нас не собьет с толку то, что среди нас время от времени появляются критики: благодаря им наши короткие сталинские ноги становятся железобетонными опорами. Нас можно рвануть разве что атомной бомбой.

В новом учебнике истории Европа берется в кавычки, зато высвобождается из кавычек... кукиш! Узнаешь? Новорусский, родной. Торча у всех на виду, голо и неприкрыто, кукиш суется, бывает, тебе прямо в рыло, напоминая, что он-то и есть перманентная суть повседневности. Суть нашего благоденствия. История должна сказать честно и открыто, как говорил в свое время товарищ Сталин: мы горды тем, что благоденствуем именно так. Иначе мы, кстати, и не можем. А тот, кто может, тот давно уже не наш.

- Я написал докладную ректору, - сухим, траурным голосом сообщает Серафиме Леонид Макарович Мулярчик. Он лучший, среди всех ее шефов, шеф. Шеф, можно сказать, ее несостоявшейся карьеры. И от имени этой карьеры, от имени профессорской должности и докторского звания, от имени тощей, наконец, зарплаты Леонид Макарович Мулярчик обязан сообщить еще более высокому начальству о нарушении университетского регламента: регламента самостоятельности суждений. Мертвецу ведь положено рассуждать в пределах кладбищенской ограды. Эта ограда стоит на фундаменте ума, чести и совести партии и будет впредь на этом стоять. Партия, правда, переделалась и приделалась, дурак и не узнает, но ум, честь и совесть у нее прежние, - Ректор готов

уделить Вам... то есть Вы обязаны уделить ректорату... короче, Ваш удел оправдываться. Оправдывайтесь! От студентов поступают жалобы на Ваш, извините, пессимизм, совершенно молодому поколению чуждый. Молодое поколение хочет зарабатывать деньги, хочет иметь достаточно денег, достаточно много, да, больше, чем Вы думаете. И мы вводим престижные, элитные коммерческие специальности, для тех, разумеется, кто платит, да, мы воспитываем новую элиту. Патриотическую, если угодно, оптимистическую. Наше образование, это прежде всего вэ-о, понятно? Это статус, это, если хотите, государственный стандарт.

- Стандарт слабопутия.

Серафима говорит это специально для истории, любящей терминологию и категории. Ну чем слабопутие не категория? Чем не термин? Порывшись среди магистральных своих направлений, перетасовывающих людские судьбы и границы мира, история обнаруживает это слабопутие всюду, где механика смерти становится нормой фантазирования. Даже среди самых смелых фантазий, врубаящихся в заледенелые небеса, есть этот привкус смерти: в них неизменно отсутствуешь *ты*. Тобою в истории и не пахнет, зато всегда разит *массой*.

- Не советую Вам говорить это ректору.

В ректорате очередь, и это значит, что дело не стоит на месте. На чем оно стоит, никто, впрочем не знает, хотя многие думают, что оно *покоится на стремлении* хорошо жить. Жить плохо, то есть без супермаркета "Снегурочка", никому теперь не интересно, и тот, кто еще не успел родиться, числится уже ходовым товаром: двести тысяч рублей за одного новорожденного, и на том спасибо. Эх, затоваренные небеса! Половина ангелов, как и прежде, abortируется и отсылается обратно, но даже и того, что оседает на землю, достаточно для осуществления грандиозного исторического проекта: иссушения, истощения и окончательного истребления жизненных ресурсов. Короче, дело идет к тому, что ангелу некуда будет с неба прыгнуть: не найдется даже подходящей пробирочной спермы. Есть, конечно, пробирки, есть передовые технологии, есть уверенность в том, что человек получается именно из спермы. Уверенность в том, что с человеком можно расквитаться, загнав его в телесный тупик. Для этого существуют ректорские приказы, для этого есть *прямой провод*, на другом конце которого дежурит палач. И то, что так прочно держит всех вместе, приказывающих и исполняющих приказы, есть не что иное, как старенький, дряхлый, вечно молодящийся *страх*. Страшнее всех, конечно, ректору, он ведь ни на что, кроме как подписывать приказы, не годен.

Очередь ползет, сидя и стоя, к столу сердитой секретарши, почти все чувствуют себе перед ней виноватыми и голыми, многие прикрывают срам профессорскими портфелями. Сколько тут усохших плеч, вздутых животов, облысевших затылков! Этот телесный хлам волокут на себе по ступеням и лестницам, приспособившись к крутизне и высоте карьеры. У многих при себе заранее заготовленные некрологи, а один профессор так даже таскает на работу собственный, в полоборота, памятник, который все пропускают вперед. В этом памятнике Серафима узнает свою не остывшую еще академическую мечту: *выдаваться*. Выдаваться так, чтобы заметно было издалека. Из, скажем так, ихней Европы. Хотя с точки зрения внутренней географии, Европа никуда от Серафимы и не отъезжала, оставаясь ее *внутренним переживанием*: Я и есть Европа.

С точки зрения ползущей в ректорский кабинет очереди, вид на Европу выглядит пессимистично: куда ползем?... доползем ли?... С точки зрения обучающегося тут студента, ползти надо в Америку.

Ректор влипает глазом в докладную, второй глаз у него в резерве, для отвода. На Серафиму ему смотреть незачем, да и на что, собственно, смотреть. Такие в университетах не выживают. Для таких есть туберкулезки, психушки, морги. К таким даже и звание-то не клеится: доцент, профессор. Однако надо с чего-то начать, то есть, в общем-то, кончить.

- В последнем постановлении партии и правительства, - скороговоркой говорит он и убедительно шуршит на столе бумагами, - предлагается сократить до минимума... - он придает голосу свежесть и бодрость, - ... не имеющие прямого отношения к производству учебных дисциплин. История литературы может ведь и потесниться, давая место компьютерным технологиям, не говоря уже про историю философии, с ней можно ознакомиться *бегло*. В конечном итоге культурология должна слиться с рекламой, тем самым став полностью самоокупаемой...

- Постойте, - перебивает его Серафима, хотя ректор сказал еще далеко не все, - но где же во всем этом *человек*? Где *Я*?

- Читайте постановление партии и правительства.

Ректор не любит, когда нижестоящие задают вопросы, для этого есть отдел кадров: там тебе выдадут на руки трудовую книжку. Нет, он Серафиму не прогоняет, все-таки доктор наук, к сожалению. Доктор одобренных партией и правительством наук.

- Скоро будет уже поздно говорить об этом, - наступает Серафима, - но сейчас самое время... хотя, возможно, неподходящий момент...

Ректор угрюмо на нее смотрит: чего она хочет? И за его сдобной, ванильно-мармеладно-клубничной наружностью угадываются уже настигшие его болезни, в том числе и хроническая, массовая, неизлечимая: болезнь *неведения сущности зла*. Откуда зло к нам, в наше благоденствие, приходит?

Это вопрос не философский, иначе философия давно бы уже дала на него ответ. Это вопрос к *тебе*, вопрос о твоей принадлежности к миру вещей. Будь ты среди вещей даже настоящим утопленником, хлебнувшим с самого дна и запузырившим всю поверхность, ты все равно *отчасти* паришь над этим морем, болотом или лужей, иначе разве бы ты узнал что-то о себе. Но к этой своей парящей части ты безразличен и груб, ты насилуешь ее, любя при этом вещь.

- О чем это Вы?.. - осторожно, словно при нем выпустили из коробки кобру, спрашивает ректор.

- О том, что тут воеет кладбищенский ветер и метет мусорной пылью. Философии пришел конец сто лет назад, когда она уперлась своим кантовским лбом в анархию Макса Штирнера, дальше начинается *мудрость о человеке*... дальше...

- Дальше не надо.

Ректор зеваает, смотрит на часы, за дверью дожидаются другие. Другим, может, есть что сказать. Другим, это не Серафима.

- ... ты насилуешь свою парящую над морем вещей часть, обращая ее к вещи, тогда как ей вольно быть только парящей. Пуская на дне пузыри и заглатывая живьем все, что мельтешит вокруг, ты становишься якорем и подлодкой, ржавым, пропитанным радиацией металлом, и твой изнасилованный дух кричит о господстве и победе, вместо того, чтобы скромно трудиться над собой. Зло и есть злоупотребление твоей парящей частью, злоупотребление ею в мире вещей!

Ректор снова зеваает, какое ему до этой чепухи дело. К нему заходят, бывает, даже психбольные. Он смотрит на часы.

- В последнем постановлении партии и правительства, - сухо заключает он, - рекомендуется сократить одну треть состава... - он выразительно смотрит на Серафиму, потом поворачивается к телевизору, оттуда рвется в

ректорский кабинет взятый взаймы у Сталина гимн. Хороший в общем-то гимн, складный. Под него хочется одновременно плакать и петь. Гимн исторической необходимости. По Красной площади идет, как по тюремному плацу, одетый в черное человек. О том, что это человек и вовсе никакая не кукла, догадываешься по выражению лиц построенных в колонны солдат: оно у них общее. Выражение полного отсутствия. Винтовки, затылки, ряды. Человек в черном доходит до середины площади, тут он должен со всеми, увы, ненадолго, проститься. И хотя никто в него из винтовки не метит, никто, между прочим, на него даже и не смотрит, речь его смахивает на некролог: так неохота

ему отсюда, с Красной площади, уходить, уносить отсюда свое черное пальто-сутану. И пальто передергивается на спортивно-поролоновых плечах зябкой дрожью: "Национальное духовное единство!" Солдаты, что глядят в это время в сторону, а их этому специально обучили, видят перед собой жирного, в складках парчи, бархата и шелка, попа: он бьет каждого в лоб золоченым кадилом. Он и есть, поп, это национальное единство. Он славит Господа за то, что тот, поумнев, сделал наконец церковь государственным институтом, а себя самого назначил... банщиком, да просто мочалкой. Сложив на золоченых складках жира кенгуриные ручонки, поп нарезает круги на длинной, длиннее самой ночи, дистанции, и за ним прет, дыша в затылок перегаром закона, *народ*: кто поправляет депутатский галстук, кто трясет губернаторским удостоверением. Народ, конечно, за.

Солдаты, что глядят теперь в сторону, заранее этому наученные, знают наверняка: никуда этот, в черном пальто, не денется. Потому что некуда ему деваться. Потому что история тем и сильна, что возвышает над гренадером, да что там, над спинкой стула несомого ею вождя.

- Парад есть доказательство чьей-то вины.

Ректор испуганно на Серафиму оглядывается: на полке, заставленной папками с приказами, спрятано подслушивающее устройство. Его забыли с прежних времен убрать. Прежние времена, они ведь никуда и не девались, только переоделись и приоделись. Прежние времена пахнут теперь... ихней Европой.

Эти слова надо немедленно зашуршать! Зашуршать! Ректор хватается бумагу, комкает, хватается, пишет, комкает... Зашуршать!!!

Серафима идет сквозь очередь, сквозь голодное академическое жужжанье свежесобранных по конкурсу доцентов и переизбранных на ближайшее до смерти пятилетие профессоров, и многое в их обнадеживающем нетерпении свойственно ей самой: она втаптыкает в ректорский ковер свою парящую невесомость.

- Никуда Вы больше не поедете, ни в какие свои *страны*, - говорит Леонид Макарович Мулярчик, - Это я Вам обещаю.

Он говорит это с ненавистью. Наконец-то! Ненависть долго кусала себя за язык, долго глотала кислую слюну, подавляя голодное урчание, да, ненависть росла. И теперь она достаточно высока... да она почти уже святая! И в ней есть приметы величия: твердость принципа, несгибаемость воли.

- Работайте!

Ничего более убедительного один человек не может сказать другому.

- Работать надо добросовестно!

Ни один культуролог не взялся бы, даже в свободное от культурологии время, объяснить, что значит "добросовестно", и вертящийся у него под ногами черт немедленно подсказал бы: "Добросовестно, значит, как Леонид Макарович Мулярчик". Других сравнений у черта не было и нет, а на себя он, конечно, черт, не смотрит. Стал бы черт паяться на это *добросовестнейшее* в мире предприятие, на это изобретенное *добром* ручное, послушное ему *зло*! Бывает, черт засматривается на *совесть*: вот бы это ему. Но чего нет, того нет, остается только завидовать, только приворовывать, опять же, из *добрых*, направляющих *зло*, побуждений. И если черту везет, а это случается теперь все чаще и чаще, совесть добровольно переходит на его сторону, да просто отдается ему, презрев своего бывшего владельца. И нет для черта ничего более питательного и полезного, чем эта, высосанная им из человека совесть. Вон сколько вокруг пустых людей!

Незаметно, бочком, черт подсаживается к столу Леонида Макаровича Мулярчика и, скромно кашлянув в когтислую ручонку, принимается кисло ныть: вот ведь дали закончить докторскую диссертацию, вот ведь не помешали защититься, вот ведь и самовольные книги, каких никто не пишет, опубликовали... черт! У черта при себе

длинный список грехов Серафимы, и если подойти к делу добросовестно, а это как раз наш с вами случай, то придется, увы, заключить, что самым страшный грех заключается в отсутствии *практики трупоядения*. Трупоядствовать, не справляя по человеку поминки, это по-нашему!

- Работайте!

Леонид Макарович Муллярчик догадывается, зачем Серафима ездит в эти *страны*: прохладиться. Как будто ей тут недостаточно холодно. На наших-то сквозняках! Он торопливо оглядывается на висящий у него за спиной портрет, успевая заметить ползающую по партийной лысине муху. "Опять забыли занавесить," - с досадой думает он и торопливо отворачивается, пока портрет как следует к нему не присмотрелся. Этот, во всю лысину, официальный портрет принаряживают к Новому году елочной мишурой и надувными шарами, а летом занавешивают марлей. Надписи на портрете никакой нет, так же как нет дат рождения и смерти, и эта безымянность-безвременность говорит в пользу единственного в здешних краях времени года: зимы. И неважно, что теперь июнь.

О сходстве этого портрета с натурой можно говорить лишь как о ... портретном сходстве, поскольку натуры как таковой нет: черт давно ее уже куда-то умыкнул. На культурологический симпозиумах не раз уже поднимали вопрос об *образе вождя*, но вопрос этот так и остался неподъемным. И каково при этом самой культурологии, этой бескрылой, лопочущей *о чем-то* индейке! Этой курице-переростку.

Не будь Леонид Макарович Муллярчик юмористом, он бы до этого не допер: загородить портрет от мух и других природных воздействий проектом нового учебника истории. Загородить! Чтобы ни одна мушиная лапка не щекотала нефтяные под глазами мешки, не пятнала выбитые на *открытом* лбу намерения... намерения самой истории!

Проект достаточно грузный и пухлый, да, весомый, вздутый посередине, бугрящийся по краям и в целом вполне соответствующий *текущему моменту*. Сколько этому моменту еще так течь, не знает даже лаборантка Соня, хотя ей положено знать гораздо больше профессора-доцента. Соня знает только, что в течение одного только этого *момента* цены на колбасу, тусы и квартплату выросли в тринадцать раз, показав кукиш ее лаборантской зарплате. В новом учебнике истории речь не об этом, тем более, что без колбасы обходились у нас многие поколения, как, впрочем, и без хлеба. И если в старом учебнике еще спихивают бесхлебность и бесколбасие на хваткого в своих воровских навыках *врага*, то в новом учебнике врага уверенно замачивают в сортире, замачивают свое же дерьмо: мы больше не враги себе. И наши сортиры, это не вагоны-теплушки, отапливаемые сочинениями Ленина, и даже не сталинские лагеря. Наш новорусский сортир - место вполне престижное, историческое. Сидишь и думаешь: хорошо устроился. С видом, например, на Красную площадь. И многие другие виды тоже годятся, в том числе и кладбищенские.

К новому учебнику истории приложено много рук, приклеено много голов. Такой, многорукоголовый, он затмит все прежние попытки истории сбегать *тебя* в доисторическое прошлое, куда ты свалился, должно быть, с Луны. И еще меньше тобой интересуется ближайшее светлое будущее, заклеенное портретом первого партийного лица. Вглядишься в эти интеллигентные морщины, в эти спортивно-лобовые пространства, в этот радиоактивный прищур: узнаешь? Это твой выбор, совершенный в твое отсутствие. Твой новорусский, от Версаччи, имидж. Твое кладбищенское, заколоченное гвоздями благоденствия, "да". И ничего, что сам ты в гробу и над тобою родная земля: возле обвитого трехцветной лентой креста неустанно дежурят честь, гордость и слава. Один исторический момент сменяется другим, а они, честь, гордость и слава, стоят как новые, всё те же, и уж давно наскучило глазеть на них железным крестам и выцветшим венкам.

Из этой чести, гордости и славы в новом учебнике истории изваян генералиссимус. Кстати, он неузнаваемо похорошел, хоть от него и несет мертвечиной. Загляни в любой новорусский офис: там моет руки чистенькая, незапятнанная власть. Попробуй ее

запятнать, хотя бы чем-то на нее брызнуть, хотя бы отгрызть у нее заусенец... Генералиссимус тут же даст тебе по рукам, чтобы ты наконец понял, что жив не ты, а он.

От этой чести, гордости и славы Серафима и собирается дать деру, и не то чтобы в разные там страны, а... к себе. К своей парящей над странами и обстоятельствами сути.

В тех странах, куда Леонид Макарович Мулярчик сам бы охотно вместо нее поехал, с будущим тоже пока не ясно: то ли библейский потоп, то ли исламское наводнение. Растают на Северном полюсе льды, вымрут белые медведи, переведется наконец нефть... У этого будущего есть в качестве ресурса только *ты*, но тебе пока нет до этого дела. Леонид Макарович Мулярчик любопытствует: "Ну чем вы там, ребята, живете? Рыбой?" И рыба, будь она разговорчивой, немедленно сообщила бы ему, что это она, рыба, живет *тобой*, твоим космическим к ней, рыбе, расположением, и по большому счету ей даже и не до воды... "Ну, ну, - скажет Леонид Макарович Мулярчик, - за кого ты, рыба, меня принимаешь". Сам он принимает себя за раз и навсегда поставленный ориентир, дорожный указатель и предупреждающий о бездорожье "кирпич". Но есть в этой его, несмотря на ужимки истории, устойчивости некая доля отцовства: какой-то своей, пусть даже малой частью Серафима является его продуктом. Продуктом его административных удушений и поблажек. Она сидит на этом жестком стуле уже пятнадцатый год, она могла бы, при благоприятных обстоятельствах, здесь и умереть. Могла бы подумать уже сейчас о более или менее приличном некрологе.

Вот так, под пристальным радиоактивным прищуром партийного кардинала, она прыгает на первую попавшуюся, проплывающую мимо льдину: "Куда?.. Эй, стой!" Это кричит ее полуобморочное прошлое: дети, собаки, книги. И она медленно уплывает прочь, повернув к ним лицо.

8

Мечту о первом встречном можно поставить вровень с самыми захватывающими, какие только есть в крови, устремлениями. В крови бродит всякое, ах, разное, и не только от близких и дальних родственников, но еще и от... черта. Он-то, черт, и оказывается тем самым ангелом, что считает потери: вот и еще одно падение, вот и еще... Со сбитыми коленками, спотыкаясь, ты берешь следующую *высоту*, а там уж и... новое падение, черт!

Эта о первом встречном, весть: рассыпавшаяся десятками конвертов и сотнями исписанных от руки страниц. Письма приходят каждую неделю, нагоняя друг друга, и почтальонша сама не своя, если сегодня ей нечего в почтовый ящик сунуть. Собаки получают от первого встречного коробки с сухими колбасками, и им по-собачьи любопытно: это что, уже брак?

Серафима знает, что это не брак. Не брак, а так... испытание. Испытание прожитой жизни на прочность. Многое придется просто сжечь, только самая малость и пойдет в дело.

Хельге посылает ей прядь своих волос, гладких, блестящих, выгоревших на солнце. Он знает, что делает: в волосах прячется колдовство. Тоска всей его жизни. Несбыточность всех его надежд. И наверняка нечто гораздо большее: его неприменимость тут, на этой земле. Ячменная прядь, перевязанная суровой ниткой.

К этой первой телесной вести добавляется автопортрет в натуральную величину, на двухметровом рулоне грубой оберточной бумаги: он просто лег на бумагу и обвел себя карандашом, от ступней до самой макушки, с растопыренными веером ладонями и рельефом мускулатуры. Так должно быть утешает себя отсутствующий: вешает на дверь картину, надеясь вот-вот войти в дом.

Теперь-то Серафима знает: судьба заботится не только о дверях, запасных и пожарных выходах, но еще и об отмычках. Вон сколько впереди невозможностей! И пока ты прицениваешься, давая проплывать мимо себя всему, что призвано "быть и сплыть", пока над тобой нависает, как приказ твоего лучшего шефа, паническое желание *работать во*

что бы то ни стало, даже после своей смерти, судьба сует тебе в руку ключи: держи! И кое-что, конечно, тебе, как вновь входящему, судьба выдает авансом, в виде "добро пожаловать", в виде, так сказать, премии, она ведь, судьба, все-таки... твоя.

Обстоятельно и ничуть не брезгливо судьба собирает компрометирующие себя фотографии: Монтсеррат возле красного "Феррари", Монсеррат верхом на лошади, Монтсеррат в саду на качелях... или: американские, от Хиллари, мотоциклы, раскормленные кастрированные кошки, колючие опунции на лужайке... Судьбе охота непременно соединить все это между собой, смяв неодолимые расстояния. Сбить крест из этих недоразумений, всадив в самую его середину нечто пока отсутствующее: волю другого нести этот крест на себе. У кого она, такая воля, есть: быть центром, серединой, средоточием?

Культурология не ставит ни перед кем такой задачи: она смотрит мимо отдельного, мимо само-вольного. Культурологию не уличишь в воровстве: она не видит тебя в упор, да, не желает тебя знать. И тебе остается только одно: послать ее, культурологию, к черту. Или: вернуть ее черту обратно. На это черт, впрочем, не рассчитывает, да и какой рыбак согласится сам глотать наживку. И черт кричит вдогонку уплывающей рыбе: "Будет еще хуже!"

Серафима знает: многое придется ей потерять. Ее жизнь, еще не потеряв разгона, расшибется теперь о стену: кра-а-ахххх!!! Но что-то ведь понесется дальше... дальше, дальше... куда не доберешься, сожительство с культурологией... дальше, к *своему* дому.

Эти письма не хотят ничего, кроме воли. И нет ее, пожалуй, на земле, но устремленность к ней... *есть!* Эта устремленность стоит дорого, она требует *всех* ресурсов... нефти!.. воды!.. крови!..

Устремленность к свободе.

Но сначала надо развязать узлы, распутать перехлестнувшиеся нити: схватить судьбу за руку. Или за горло.

Хиллари могла бы поклясться всеми имеющимися в Техасе опунциями, что намерение у американца всегда одно и то же: присутствовать. И где он, американец, только не присутствует! На Луне? Тсс. Туда, куда американец не может добраться, он что-нибудь *забрасывает*... доллар, скажем, другой, инвалидную коляску, грант... Хиллари не жаль даже собственных свежевыкрашенных волос: она посылает их Хельге вместе с обещанием скоро, теперь уже скоро, приехать. Эти сложенные в прозрачный пакетик обрезки! Из них можно сделать небольшой парик, если у вас до этого был, к примеру, содран скальп. А если еще не содран, вам это наверняка предстоит... ха-ха.

Хельге не хочет никого убивать, хватит с него одной лягушки, но если Серафима... если ей не лень сунуть обрезки крашенных индейских волос в пламя газовой горелки, он ничего не имеет против: гори все синим пламенем! Оно и в самом деле, пламя, такое голубое, и черный, от волос, пепел вспыхивает внезапно, словно взорвавшись... черт! Смести все это с газовой плиты, и в сортир, смыть. Только так ведь и можно удовлетворить судьбу.

Монтсеррат отправила всех своих лошадей на бойню. Молодых, крепких, породистых. Их охотно купили бы соседи, но *своих* лошадей она соседу не отдаст, лучше пусть будет копченая колбаса. Все эти лошади, а их оказалось шестнадцать, были виновны в одном: они знали дорогу к Хельге. Один только черный, всегда накрытый попоной конь не проявлял желаний свернуть на лесную дорогу, это его и спасло. Эту дорогу Монтсеррат больше не желает знать. Она скачет по лесу, забирается на пологие скальные выступы, спускается в березовые низины, в панике удирая от навязчивой мысли свернуть... свернуть и нестись сломя голову, словно там, впереди, ее заждались... Иногда ей кажется, что Хельге в самом деле ее ждет. Зима ведь так длинна. Она пускает коня в опор, вырывается на открытое пространство заснеженного поля, ныряет в пелену движущегося тумана, становится призраком... И Хельге должно быть видно, распиливая во дворе дрова, ее отданные ветру рыжие волосы.

Хельге встречает Новый год, как обычно, с мышами. Кладет на пол сыр и орехи, убирает мышеловки. И мыши, не помня зла, причиненного их родне, весело растаскивают угощение и всю ночь скребутся в кухонном шкафу и на полках, воруя у Хельге сон. Сколько таких новогодних мышиных ночей у него в жизни было! Прощание со старым одиночеством в преддверии нового. Так, постепенно, становишься очень сильным, так приходишь к себе. Так становишься, пожалуй, сумасшедшим.

В этих холодных краях говорить о душе не принято, но здесь охотно говорят о технологии. О технологии *все*. Окажись местный житель отрезанным от технологий и прилагающихся к ним машин, что станет он делать? Что станет он делать с *собой*? Пожалуй, это будет самоубийца. В здешней крови хватает холода, чтобы порешить при случае не только себя, но и всех, кто есть в доме. Но дальше-то все равно ты сам, хотя и в испаренном, так сказать, виде. И твоя технологически обустроенная голова вторично летит с плеч.

Сила местного жителя - в умении говорить "нет": это ледяное "нет" стоит всех вместе взятых в мире пожаров. Этим "нет" поотрывало башку не одному дипломату, и окажись тут Леонид Макарович Мулярчик, он, как юморист, очень бы вспотел. Под это "нет" просится множество со всего света понаехавших "да", это модно и демократично. Это может подтвердить любая сезонная проститутка, любой осевший здесь массовый убийца: местное неподкупное "нет" покупается логикой самих демократических законов.

Закон не прочь померяться с Хельге силой: хочешь жить бедно один, пожалуйста, хочешь бедствовать вдвоем, извини, не в этой стране. Очередь беспаспортных негров и провонявших кораном кебабов, в окошке хмурое государственное лицо. И Хельге, конечно, прямо к окошку, мимо жужжащей беспаспортности, и прямо носом в государственную решетку: есть тут закон или нет? Негры беспаспортно повизгивают: не одни они тут в неграх, и подогретый кораном кебаб благодарит за помощь Аллаха. Хельге трясет государственную решетку, но куда там... закон прочно стоит на своем законном месте. Рядом с окошком массивная дверь, за нею еще более государственное лицо. Дверь, разумеется, закрыта. И Хельге орет, на радость беспаспортной очереди и Аллаху, что ему туда очень надо, так надо, что дальше некуда. Но дверь, понятно, ни с места. Государственная дверь открывается лишь тогда, когда кто-то снимает ее с петель. У негров мерзнут беспаспортные носы, кебабы шипят маслянистой скороговоркой корана: "Пошел ты... пошел... пошел..." Вот ведь, оказывается, в чем сила местного жителя: в его хозяйственности. Снять с петель дверь, а дальше... поставить ее на прежнее место. Правда, решетка на государственном окошке поднимается, и сердитое, с рыжими усами, рыло, орет в обратную: "Кому тут плохо?" Расслабившаяся было на кожаных диванах беспаспортная очередь теперь напряженно ждет: явится полиция или нет. Кебабы зовут на помощь Аллаха. Но вот... этот проклятый в крови холод! Хельге неспеша идет к окошку, неспеша берет бумагу, читает, оглядывается на беспаспортную очередь, перебирает ледяным взглядом всех до одного замороженных живьем негров, небрежно кивает Аллаху и... подпрыгивает на месте, посрамляя беспаспортную прыгучесть Африки и прыткость самого Мухаммеда.

Ему разрешено бедствовать вдвоем!

В почтовом ящике его подкарауливает письмо от Хиллари. Это не письмо, но скорее крик о конце света: откуда у него русская *дама*? Известно, что русские дамы перевелись еще со времен Тургенева и Бунина, а то, что именуется "дамой" сегодня, это всего лишь проституирующая кухарка-домработница. Так думает не только Хиллари, так думают все. Так думают и сами русские дамы. Хельге устало улыбается: ему что ли переделывать этот мир? Он смотрит на старую, черт знает зачем сохранившуюся фотографию: стена, на которую опирается он сам, плюс опирающаяся на него Хиллари. Оба одинаково, как близняшки, одеты: расклешенные джинсы, ковбойки, крутые, на толстой подошве, ботинки. Хиллари всегда хотелось быть на него похожей, хотелось им *быть*, стать его ну

что ли копией. Влезть в его оболочку, привыкнуть, обжиться, потеснить лишнее. И чтобы сам он при этом неустанно пополнял запасы выжженного топлива, а при случае и жег самого себя... приятный такой дымок! Хиллари владела уже тогда, лет тридцать назад, этой простой, как намерения сатаны, истиной: успех там, где выжигается *Я*. Психолог видит в этом особую сладость, и обслуживающая его статистика только добавляет к успеху изюм и корицу: интеллект оторван наконец от пугливой, слабенькой и куцей душонки! Ее и душой-то даже, эту душонку, не назовешь: так, серость. С ней поэтому и не стоит считаться. Попробуй только заикнись о ней, и тебя тут же поднимут на смех деловые и серьезные люди. Психолог, на то он и профессионал, куда более высокого мнения о *мыслящем компьютере*: добавь сюда пятьдесят кило мяса и десять кило костей, и человек готов. Толковый психолог не прочь уже теперь задуматься над *вакциной будущего*, предотвращающей в человеке всякую тягу к духовному... то есть к *нереальному*. Психологу лучше, чем *человеку*, знать, что реально, а что нет. Но если человек думает о духе как об *объективной реальности*? Так думает, кстати, Хельге. Он думает, что эта фотография должна врезаться в историю, стать ее вечным клеймом и, если надо, проклятием. Стена, на которую он опирается, когда-нибудь рухнет, его тело лишится опоры и сам он незаметно улизнет... один, без Хиллари, улизнет на свободу.

Хиллари не верит, что он один с этим справится, ему не разорвать эти прочнейшие в мире цепи: цепи чувственности. Восхитительные. Ядовитые. Вечные. Он не справится, он слишком для этого разумен. Он был пленником Хиллари целый год, пленником ее душных, требовательных притязаний на постоянство: она хотела владеть им вечно, независимо от того, жив он или мертв. Окажись он в уже в мертвецах, Хиллари непременно выкопала бы его кости года через три, тщательно отмыла бы ошметки, высушила, поставила бы на видное возле дома место, прикопала бы у себя в садике... Она так влюблена в его тело !

Она влюблена в его кровь. В эту постоянно готовую к бегству материю. Вот бы чем она охотно завладела! Это великая культурная задача, и многое говорит в пользу того, что однажды она будет решена: однажды станет возможным этот способ... питания! Растворить чужое *само* едкой слюной технологий! В данном случае, технологией чувственности. Пока в теле Хельге есть эта добровольная незрячесть, эта подкупаемость *механикой* секса... Есть или нет? Он заставил ее обмочиться в палатке, но так с нею и не лег. Но ведь раньше... раньше...

Черные индейские глаза Хиллари отсвечивают в темноте желтым, искрятся в полнолуние, черные соски круглых грудей пахнут табаком и ванилью, между ног кипящая лава. Она дает Хельге великую на все времена истину: надежность и прочность любовного *механизма*. Вне этой возвышенной... этой низменной рутины любовь не смеет, не имеет права существовать! Так уступи же уже теперь этой механике смерти!

Хельге достаточно разумен, и это обнадеживает Хиллари: он замерзнет, прежде чем дождетя в своей жизни... Он ничего уже не дождетя! Дождетя разве что напоминания о *единственности* этой проклятой жизни: ты пришел в эту жизнь ниоткуда и в никуда потом отойдешь... *тебя* никогда больше не будет! Молодость Хельге, разве она не в этих расклешенных джинсах, не в этих пахнущих табаком поцелуях? Одна, всего лишь одна, на все времена, молодость! Всего лишь одна в единственной на все времена жизни!

Хиллари обещает приехать, и вовсе не как турист, но как... миссионер. Американский миссионер - это не просто массовый говорящий продукт, это нечто, не имеющее вкуса: китч, ляп. Именно поэтому американского миссионера с такой охотой везде слушают: всякому ведь льстит казаться самому себе умнее говорящего. Миссионера не гонят поэтому в шею. Потом, правда, забывают, о чем шла речь, поскольку речь была... ну ни о чем, но в замороченных мозгах отпечатываются обстоятельства этого говорения: то ли тебя при этом тошнило, то ли уже рвало. Американский миссионер объяснит тебе, почему тебя любит Бог, хотя ты сам себя не любишь. Объяснит, что Бог есть Отец, а стало быть,

главнее Сына, и не тебе, кстати, лезть в сыновья. Миссионер объяснит, пожалуй, что дважды два четыре. Ничего другого миссионеру знать не требуется.

- Черт бы эту дуру побрал, - бормочет Хельге, засовывая письмо обратно в конверт, - она, видите ли, едет!

Тем не менее, Хиллари уже едет. Ее везут самолетом вместе с другими приятными и скромными американскими овцами в датский город улыбки, расселяют по кельям с видом на вечнозеленое футбольное поле, выдают методические пособия. По полю скачут озябшие галки, в келью пробирается подозрение: не зима ли?.. И надоедливый датский дождик обещает миссионерствующей овце просто... погоду. Ну какая может быть в наше непростое время погода?

В городе улыбки должна быть, конечно, тюрьма. И если, предположим, тебе в ней места не хватило, а сидеть хочется, можно сидеть и у себя дома. Как сидит уже не один год Кристиан Хённеруп. Его имя могло бы остаться совершенно неизвестным, чего он сам всегда желал, если бы не его рисунки. "Ютландская почта" признала в них карикатуры на самого Аллаха, и Аллаху не осталось ничего другого, как с мнением газеты согласиться, поскольку свое мнение он забыл где-то на луне... и слава Аллаху! Слава тикающей на голове, под тюрбаном, самодельной бомбе!

Кристиан сидит дома, в старом продавленном кресле, и по-прежнему рисует карикатуры... на самого себя. Раз в неделю, когда приезжает мусорщик, он выносит во двор пятнадцатизэтажного дома весь свой бумажный улов, и ветер тут же разворачивает рисунки, прибивая их то к соседней стене, то к спине прохожего... Один из рисунков добрался до резной дубовой двери мормонской церкви и прирос к ней, как не прирастали в свое время даже тезисы Лютера: "Прохожий! Стой! Всмотрись! Не ты ли?" Прохожий спешит мимо: "Не я! Не я!" Спешит мимо велосипедист, нагруженный пивной стеклотарой, пенсионер тянет за поводок задравшего лапу пятнистого дога, и даже кленовый лист, и тот летит мимо... мимо... Не окажись американские овцы миссионерами, они бы тоже прошли, бляя о приятных вещах, мимо. Но Хиллари замечает: на дубовой двери что-то *распято*... И овцы идут следом за ней, присматриваются: спущенные с зада брюки, хлещущие дистрофичный зад розги, разбрызганные по сторонам слезы... Овце это знакомо: *убиваться* по поводу овчины. "Вот он, - кивают на овцу, - и убит горем". Это, между прочим, *гомосексуальный христианин*. Или, чтобы даже овца уловила смысл этой модной бессмысленности: твердокаменный пух, мокрый огонь, черная белизна. И если овца все еще чего-то недопонимает, если она сама готова вступить в законный брак с соседским петухом, а то, пожалуй, и с волком, то ведь она всего лишь... овца. Баранина, дубленка. Миссионеры еще не видели этого у себя в Америке: *такой* откровенной демократии, ну прямо вот такой! Баран, спускающей с себя, наподобие гомосексуальных штанов, свою же шкуру. Миссионеры бормочут по-американски смахивающие на рецепты гамбургеров молитвы, кто-то листает методическое пособие... А распятый между тем висит на дубовой мормонской двери, повернувшись декоративно задрапированным штанами задом к прохожим. Хорошо, что среди овец нашелся один баран-вожак, иначе стадо простояло бы под надоедливим датским дождем до следующей зимы: баран, сто пятьдесят килограммов американского мяса плюс теологическая степень из Сорбонны, пнул копытом сорок шестого размера прямо в дубовую дверь. И распятый, ах, нехотя повернулся к нему, нехотя подтянул штаны... он ведь вроде бы тоже мужчина. Он готов сойтись с бараном рог на рог, готов назвать свою дефективность, недоделанность, да, свою *комичность*, назвать это законом и нормой. Ошибка должна стать *равноправной* с истиной! Баран, конечно, смотрит на него как на новые ворота: не узнает! Не узнает своего же миссионерского Бога, обещающего благоденствие *всем*. Всем! Всем! Всем!

Хиллари царапает ногтем клей, сдирает с двери плакат, прячет его в пилигримскую тряпичную сумку. Она найдет распятого в этом городе улыбки, возьмет его живьем! Разве он, в спущенных с тощего зада штанах, распятый на ошибках своей грешной жизни, не есть доказательство *ничтожности* отдельного *само* в сравнение с Богом? Ты сам ничто,

Бог всё! Ты только божий раб, невольник, и нет у тебя воли даже к самому этому Богу. Ты - механическое бормотанье раз и навсегда установленных Богом правил, трафаретное повторение одних и тех же, на все времена, завитушек. Ты, благоденствующий.

Бросив стадо на произвол овечьих интересов, Хиллари идет одна через площадь, она знает адрес: бульвар, на котором стоят, плясь в затылок друг другу, пятнадцатипятиэтажные саркофаги. Их можно различить только по номерам и по количеству совершенных в них самоубийств. Неплохие дома. Они простоят тут не одну сотню лет, уныло домогаясь близости серого датского неба. Эти тюремные корпуса.

Вынув из пилигримской сумки бинокль, Хиллари наводит глаз на балкон, шарит по бетонной стене, по застекленной шахте лифта... там! Там сидит взаперти Кристиан Хённеруп. И ничего, что он не отвечает на телефонные звонки, американца этим не смутишь. Подождать у подъезда, пока кто-нибудь откроет дверь, улыбнуться, как учит "Ю-Эс-Эй-Тудей", сказать обнадеживающее "ОК". Американец должен, обязан везде присутствовать!

Надавив тугую кнопку звонка, Хиллари слушает: "Тррррр..." и больше ничего. Она стоит возле двери, ждет. Минут через десять кто-то за дверью чихает, спрашивает, какого черта, спускает в унитаз воду. Но Хиллари ждет, и у нее есть подозрение, что жилец этот уже не жилец, и согласно миссионерской методике, теперь самый подходящий момент: схватить улетающее прочь, оседлать. Она потихоньку скребется, барабанит ноготком... тук-тук-тук! И снова за дверью "какого черта", но уже с любопытством... с испугом. Хиллари прокашливается, теперь ее голос молод и звонок, язык подвижен, живот подтянут. Миссионеру незачем извиняться, поскольку его сюда послал сам Бог, да, командировал.

- Какого черта?

Кристиан вовсе не собирается открывать дверь, он смотрит в щель через цепочку, и он видит... собственную карикатуру! Плакат, закрывающий ватные груди Хиллари. Такое и раньше бывало: соседи приносили найденные рисунки, хвалили, советовали не выбрасывать... вот их сколько, под вешалкой.

- Ты еще не был в Америке? - спрашивает через щель Хиллари. На этот вопрос есть только два ответа, да или нет, и от этого зависит дальнейший ход миссионерской беседы. Приблизив к щели породистый датский нос, Кристиан тут же его отдергивает, словно его подпалили, достает из кармана салфетку, сморкается. Эта иностранка должно быть хочет денег... Кристиан лезет в карман за мелочью.

- Да, да, - нервно бормочет он, выгребая вместе с монетами крошки хлеба и ржавые скрепки, - Я там был... в моем путешествии... хе-хе, в моем *небытии*... - он пробует рассмеяться и тут же, побледнев, с большой серьезностью добавляет: - Я стоял на высоком, под звездами, плато, и вокруг был только камень... каменная пустыня. Кое-где торчали выветрившиеся столбы, похожие на статуи и колонны, словно здесь когда-то был город...

- Ты... видел это? - польщенная его словоохотливостью, сладко шепчет в щель Хиллари.

Привалившись к стене, она шарит в пилигримской сумке, нащупывая среди методических брошюр оттиснутую золотом визитку. На одной стороне плосконосый, сердито уставившийся в пространство индеец, на оборотной стороне солнце. Просунув визитку в щель, Хиллари все так же сладко шепчет:

- Ты видел Америку! Такой, какой она должна быть! Какой она должна однажды стать! Такой, какой ее хочет видеть Бог! Ты видел Великую Благоденствующую Пустыню!

Шарахнувшись от двери, Кристиан тут же снова припадает глазом к щели. Эта своровавшая его плакат тетка должно быть только что из психушки, и надо этому посочувствовать.

- Ты тоже это видела? - нервно осведомляется он и сбивает ладонью с крючка цепочку, - Ты... знаешь? Ты...?

- Я инка!

Кристиан отступает на шаг, еще на шаг, пятится в маленькую прихожую, впервые, может быть, замечая, как тут у него тесно. Окружающий мир поэтому и не рвется сюда, в эту прокуренную затхлость, в это нищенское от и до: здесь слишком много нужды. Нужда здесь благоденствует, подбирая кое-какие крохи: что-то от молодости, что-то от интернета.

- Ладно, - говорит он, отступая к балкону, - Входи, инка... - и тут же жалеет, что допустил это. Эта американка, будь она хоть и в самом деле инкой, спровоцировала его! Он ведь никому просто так не открывает... - Нет, нет, нет!!! Не сюда! Здесь туалет... - он нервно хихикает, - Прямо... То есть это моя единственная комната... дальше балкон...

Хиллари удовлетворена: так и должен устраиваться в жизни тот, кому пора уже собираться. Пора отдавать Богу нажитое, всё до последней нитки, до последнего на макушке волоса. И Кристиан многое уже Богу сбагрил: жадную до точности мысль, жадную до алкоголя печень, жадные до дыма легкие... но ведь кое-что еще осталось. Хиллари останавливается перед фотографией, прикрепленной к стене прозрачной липучкой: какая-то женщина... гм. Незнакомка сидит на этом стуле, возле этой электронной "Ямахи", в *этом*, брошенном на кресло свитере! Просто сидит и смотрит. Смотрит должно быть на Кристиана, смотрит, как он ее фотографирует.

- Да, но как же... - вырывается у Хиллари, - Это твоя сестра?

- Это... Серафима, - смущенно поясняет Кристиан и ужасно краснеет. Зачем он ей это сказал? Эта американка настоящая чума! Не пора ли ей отсюда убираться? - Я... мне... - он нервно мнет сигарету, - ... за мной... Я опаздываю!

Он лезет в карман джинсов, роняет на пол оставшуюся мелочь, роняет часы, роняет носовой платок и ржавые скрепки, думая при этом о таинственном, в этой дешевой квартирке, убийстве: кто-то душит назойливую, брехливую американку натруженными, мозолистыми руками... Да это же его руки! Нет, нет, он не убийца! Ему надо идти... бежать!

- Поедем туда вместе, - загоразивая ватной грудью единственный из комнаты выход, деловито предлагает Хиллари, и Кристиану кажется, что он уже не раз это слышал: "Поехали!" Так говорит ему всякий раз, усаживаясь верхом на его спину, черная мохнатая обезьяна: "Поехали!" Обезьяна знает, куда ей надо, и Кристиан отправлялся туда, таща ее на себе, уже не раз... Уууу!!!

- Куда? - еле дыша, с испугом спрашивает он, дважды обойдя стоящий посреди комнаты стол.

- В пустыню.

Ночь собирает над каменным плато далекие и близкие звезды, и кто-то, должно быть, очень одинокий, пытается поставить себя с ними, с этими звездами, в соответствие: "Тут должно быть что-то еще, кроме одиночества...Что-то еще, кроме страха неодолимых расстояний... Не *Я* ли это?" Одинокому холодно, он не помнит, чтобы его кто-то любил, и сам он никого не любит. Он дойдет до края плато, посмотрит вниз, а там только ночь, только тьма. И чья-то тень тоже подбирается к самому краю и падает вниз, в темноту, лишь острие месяца и успеваешь ее подцепить... эта лунная тень! Сюда, в эту каменную пустыню, пробирается следом за Кристианом тоска по жизни.

Эта тоска - последнее, что у него осталось. Последний, не сожженный еще мост, последний предлог для возвращения... куда?.. зачем?.. Только эти каменные столбы, эти выветрившиеся башни прошлого, только они, может, и помнят... но они молчат. Молчат о смерти.

Пустыня тем и отличается от всего остального, что тут ты один. Тут нет советчиков, судей или стратегов, и даже твоему одиночеству не назначено тут никакой цены. Тут,

может, впервые ты узнаешь, сколько ты сам вешишь. Узнаешь, какова твоя подъемная сила.

- Но она... - Хиллари красноречиво кивает на фотографию, - она пусть остается тут, она нам только помешает!

- Кто? - провалившимся от страха голосом спрашивает Кристиан.

Хиллари плотно сжимает губы, сводит над приплюснутым носом тщательно выщипанные брови. Станет она произносить вслух это немыслимое, несусветное имя: Серафима! Легче проглотить вставленную в горло метлу!

- Она, что... любит тебя? - требовательно, вкрадчиво осведомляется Хиллари, - Разве может тебя любить... женщина? Ха-ха-ха!

Кристиан бледнеет, хватает лежащий на столе хлебный нож. Эта дьявольская американка думает, что он не мужчина! Но он-то знает, что он мужчина! Все мужское у него на месте!

- Но она меня любит!

- Ха-ха-ха!

Кристиан оторопело смотрит на Хиллари: что она, в самом деле, хочет? И разумная голова, крепко сидящая на его широких плечах, осмеливается наконец дать ему совет: "Достань из холодильника огурец!" Огурец вполне подходящих размеров, упакованный в полиэтилен, да, нормальный. Немного, впрочем, порнографический. Зеленый. Кристиан искоса смотрит на Хиллари, и ее любопытство его обнадеживает. Сейчас увидим, что она станет с этим огурцом делать! Он видит, что Хиллари эта штука чертовски нравится, да она хоть сейчас... эта чертова инка! Положив нож и огурец на стол, Кристиан отходит к балкону, закуривает. И вот Хиллари, ах, она огурец схватила! Порнографический, упакованный в пленку, нормальный! Зеленый! Она держит его в руке! Гладит... фу. Засовывает в рот кончик... ну, давай! Надкусывает... это уж слишком! Берет со стола нож! Режет!!!

- Ааааааа!!!

Христианский гомо скорее даст себя на каком-нибудь огурце распять, чем признается женщине в... ненависти. Ах, как он ее ненавидит! Ненавидит за то, что она не какая-то вшивая лесба и не перелицованный и заштопанный в срамных местах гермафродит-мутант. Эта *ненависть к женщине* для него священна, ею он смазывает свои раны, расчески и укусы. Этой священной ненавистью питается его рассудительность, его борющаяся-за-свои-права тяга к убийству. Каково ему, ненавидящему, выносить... нет, это невыносимо! Невыносимо, когда твою тайну подсматривает посторонний: это не тайна гормонов или дурного воспитания, это тайна твоего Я.

- Бог послал мне тебя, - жуя, хруп-хруп, огурец, деловито заключает Хиллари, - а тебе меня. Смотри, как прекрасен этот каменный пейзаж! Это ведь наша с тобой пустыня!

Указующие в небо каменные персты. Эригированные руины жреческих башен. На самом верху, куда садится, бывает, орел, лежат окровавленные жертвенные камни. Ровные, гладкие, на них достаточно места. И только солнце, оно одно, запоминает это великое мгновенье: сверкнувший в руке жреца каменный нож... вырванное из-под ребер сердце...

- Желудок, - угрюмо уточняет Кристиан.

Он чувствует этот вулканический запах крови, этот плавающий каменную плиту жар. Чувствует величие, да, несравненную красоту этого солнечного пиршества, и улетающие прочь мысли успевают шепнуть ему напоследок: "Никогда! Никогда не возвращайся на эту землю!"

Но где-то очень далеко, за обрывающимся во тьму краем, по ту сторону ночи, кто-то пишет ему письмо. Кому-то не жаль на это времени. Выходит, есть смысл вернуться.

Хельге сует письмо Хиллари в папку с квитанциями и оплаченными счетами. Он ничего Хиллари не должен. И он не собирается ей отвечать. Но даже и так, не отвечая, он

продолжает с ней связь. Незримые обязательства незримого союза. Готовность Хиллари делить с ним *всё* и во *всё* вникать, не есть ли это крайнее проявление страха? Страх *невозможности обладания*, поднимающийся из глубин земли, из ее вечной мерзлоты, из ее клокочущих огненных недр, этот страх дает Хиллари невероятные силы. Устоит ли его одиночество? Выдержат ли его опоры? Хельге пока не знает. Он знает только, что породнен с Хиллари навсегда. Даже после смерти она будет ждать его за каким-то своим дьявольским поворотом, в своей каменной лунной пустыне. Она уверена, что дождется его.

И все потому, что у него нет дома. Неузнанный первый встречный, такой он годится, пожалуй, чтобы стать чьим-то помощником-врагом, чьим-то пожизненным спутником, да, обузой. Кто-то, может, заготовит для него впрок дрова, постелит постель. Кто-то втащит его в самую середину спешащей прочь жизни, потеснив застышую лаву арифметической мудрости и облака фантазий, поставит его между Хиллари и Монтсеррат.

Серафима.

Самолет снижается, опережая дождь, над стиснувшим россыпь озер лесом, над зацепившимися за скалы фьорда облаками, и вот уже эта земля, этот незнакомый воздух... Норвегия. Перемещаясь по воздуху, теряешь связь с собственно пространством: просто зависаешь во времени. Глаз приравнивается к зимнему пейзажу, привыкает к легко протыкаемому насквозь "под" и обледенелому "над", не замечая при этом скорости. А в ней-то все и дело, в скорости *твоего* перемещения. Вот ведь как ты несешься! Так, что причина не поспевает за следствием. И следствие вовсе не признает своего родства с причиной: между ними застряла твоя судьба. Твоя пристегнутая ремнем к самолетному креслу единичность.

Здесь, на краю земли, дальше которого ничего уже, кроме льда, нет, жизнь подбирается к тебе с безответным вопросом: но ты-то сам?.. ты?.. А ты то ли где-то потерялся, то ли тебя вообще не было. И в безответность вопроса вплетается твой натруженный вдох-выдох, но от него разве что запотеет стекло с морозным узором, так, чуть-чуть. И это все, что ты сюда, на край земли, принес, что сумел выклянчить у той, другой зимы. Вот так, из зимы в зиму, ты тащишь на себе поношенную одежонку, ах, дотащить бы...

Хельге стоит в стороне от встречающих, он не уверен, что все именно так: что это к нему, нарушив пространственные приличия, приближается жальщее "здесь". Здесь! Выросшее из его тоски, нетерпения, неистовства, одиночества, скорби, неверия, злости *дитя!* Дитя всей его жизни.

Хельге не успел еще состариться, хотя давно уже намерен с этой проклятой планеты съехать. Серая клочковатая борода, загорелое лицо, настороженный взгляд. Он тут не затем, чтобы себя показывать, ему лучше остаться неузнанным. Но Серафима его узнает. Узнает того, кто мучил несколько месяцев почтальоншу: толстая

линованная тетрадь плывет над головами, чемоданами и рюкзаками, багажными каталками и детскими колясками, плывет мимо газетных и кофейных автоматов, мимо нацарапанного кем-то на стене "Жизнь есть одна сплошная маята", мимо настырных "Добро пожаловать"... И вот наконец линованная тетрадь ложится на столик, рядом с чашкой кофе, уставясь на Серафиму большим вопросительным знаком: "Ты?"

Каково это, оказаться в конце концов *узнанным!* Словно чья-то рука углубила мелодию контрапунктом, затеяв переключку голосов, а в глубине ты сам. Но ты пока не доверяешь себе, ты только присматриваешься к этой глубине... и ты, слава Богу, не мелок. Потом, когда время устанет измеряться годами и ляжет наконец к тебе на ладонь, ты напомнишь ему, что тогда был конец июня... Автобус несется сквозь дождь, сквозь фиолетовые, розовые, белые пятна люпинов, и нет, кроме синхронности щеток на ветровом стекле, никаких во времени ориентиров. Только скорость, только ликующие в дожде люпины.

"Мы когда-то уже виделись, не так ли, и это было давно. Хотя с точки зрения звезд, это было вчера... всего лишь восемьсот лет назад... И ничего, что мы все забыли, главное, мы теперь здесь. Мы добрались, каждый своим путем, до этого автобуса. И дальше мы едем вместе. И если бы знать наверняка, куда... Но испытание избегает заранее предусмотренных маршрутов. Испытание - это неизвестность".

Утонувший в дожде вечер.

Длинный не крашенный стол, толстая свеча. В этой единственной комнате вьет паутину тоска, и даже рьяно глотающей дрова чугунной печке не отогреть обледенелых воспоминаний. Как медлительны просачивающиеся сквозь эти старые окна дни... Дни, которые никто тут не считает. На растрескавшихся подоконниках пыль и длинноногие пауки, за угловым, возле окна, шкафом высохшее осиное гнездо. Тут же письменный стол, сделанный Хельге из остатков церковной лестницы, с массивными ногами-колоннами и неподъемным дубовым верхом. В медной чернильнице, помимо мертвых ос, множество записок, содержание которых Хельге давно уже забыл. Он пишет эти записки самому себе, часто прикалывает кнопками к стене, эти указатели его настроений. Из этих маленьких желтых листков можно составить путеводитель по его затянувшемуся одиночеству.

Дверь, вытасченная из завалов раздавленного бульдозером старого дома, на ней все еще видны следы старой, трехсотлетней давности, краски, медная ручка стерта, посередине трещины. С этой двери, отделяющей тесный спальняй закуток от всего остального, на Серафиму смотрит застенчиво улыбающаяся девочка... ах, это же она сама! В этом возрасте она начала рассказывать себе разные истории, и теперь они встречают ее здесь, они все-таки сюда добрались.

- Лучший в мире ребенок, - кивает Хельге на фотографию.

Это не культ, но узнавание. Сколько раз он садился в кресло напротив и смотрел... смотрел сквозь эти восемь и одиннадцать лет, сквозь неизвестные ему зимы и холода, смотрел куда более пристально, чем обычно мужчина смотрит на женщину. Он ничего о ней не знал, когда ей было шестнадцать, двадцать пять, сорок, он только ждал. И его жизнь в связи с этим затянулась.

- Ты слишком задержалась, да. Сколько тебе уже лет?

- Другие в моем возрасте уже умирают... от старости.

- Но *ты* никогда не умрешь!

- *Я*?

Он смотрит на нее в упор: так ли она в этом уверена. Знает ли, что смерть есть только отсутствие. Отсутствие *Я* в пространстве-времени. Или, наоборот, присутствие *Я* вне времени-пространства. И нет в связи с этим нужды слишком о смерти убиваться: на смерть надо смотреть с точки зрения жизни.

- Поэтому я и хочу иметь от тебя детей, - задувая на столе свечу, говорит он, - Другие на это не способны... - он стряхивает с одеяла песок, поправляет сползшую с подушки наволочку.

- Сколько? - деловито интересуется Серафима.

Этот вопрос застает Хельге врасплох, об этом он никогда не думал.

- Двенадцать хватит?

- Двенадцать?... Да, пожалуй... двенадцать.

На это уйдет, быть может, остаток жизни. Остаток томительного, разочаровывающего, всегда что-то напрасно обещающего пути. В самом начале была эта застенчиво улыбающаяся девочка, она рассказывала себе истории о том, что приедет когда-нибудь сюда. Потом это *знание о себе* увяло и ослабело под натиском всякого рода *образования*, и самому образованному из ее учителей хотелось только одного: залить бетоном образовавшуюся в детстве щель. Но что-то успело пустить в эту щель корни, пробраться в темноту и неизвестность. Попробуй теперь их выдерни, эти корни сидят так глубоко. В мире достаточно железобетона, чтобы сделать твой жизненный путь прочной накатанной

дорогой; в мире хватает асфальтовых катков, чтобы тебя в эту дорогу вмять. Ты ничего без этой дороги не стоишь, она твое оправдание в бессмысленности дорожного движения. И если ты все-таки оказываешься здесь, заново пережив свою детскую застенчивую улыбку, это может означать только, что намеченный учителем путь не удался, что сама образованность учителя ровным счетом ничего не значит в сравнении с *твоим* знанием: здесь тебе предстоит родиться.

Маленькое окошко в спальне приоткрыто, так лучше слышен дождь. Дождь рассказывает высоким елям и березам о своих беспокойствах, перебивая самого себя и пускаясь в суетливую стукотню по крышам дровяных сараев. В дождь слагаются из вздохов любовные песни, распускаются тугие узлы, развязываются путы. "Никогда не уезжай... не уезжай... Оставайся здесь... здесь..." Оставайся в этих ребяческих, кошачьих играх, в этой опасной, хищной, настороженной бдительности, в этом безумно осуществленном намерении отдать себя целиком... Ведь не отдав себя целиком, ты ничего не получишь.

В этом шуршащем листвою дожде, в этой короткой июльской ночи судьба пускает свой корень.

9

Монтсеррат не забыла еще эту дорогу.

Даже забираясь в глухие охотничьи места, она высматривает среди бурелома и поваленных ветром елей едва заметные тропинки, вливающиеся, как ручейки, в широкую просеку. Как хотелось бы ей нестись мимо замшелых пней, хрустя сломанными ветками, рассекая грудью коня прохладный лесной воздух! Но она только плетется, скучно и вяло, только убивает время. Хельге украл у нее уверенность в себе, он это сделал! Светя ей фарами в лицо, он даже не взглянул на нее, только проехал мимо. Но она не из тех, кого можно безнаказанно игнорировать. На ее стороне силы прошлого, силы ее неосуществившихся стремлений. И эти силы растут, дичают, крепнут. Когда-нибудь, ах, когда... скоро! Хельге сам придет к ней! Приникнет к ее роскошным фиолетово-алым восходам и закатам, к ее уносящим прочь от земли фантазиям. Он придет, еще более одинокий, чем прежде.

По этой лесной дороге крадется теперь ее обида. Такого еще не было, чтобы ее кто-то бросил, хотя сама она бросает *всех*. Так мало в них воображения, так мало они похожи на ангелов, ее мужчины. Да разве они её? Никто из них ей не нужен. Один только Хельге. Он ищет свою планету, но находит ... ее, Монтсеррат, небо. Просто зависает в ее облаках.

Силы прошлого, они становятся теперь ее волей.

Привязав коня к накренившейся над тропинкой березе, Монтсеррат садится на обросший серым лишайником камень, закуривает. Она часто сидит так одна, даже зимой, и некому ее в целом мире искать. Ей снова хочется лизнуть аконит, лизнуть и... пропасть. Может, она тут и умрет... тут в самом деле хорошо! Она прислушивается: ничего, кроме жужжания шмелей. Но разве этого мало? Она внезапно злится: ей мало даже целого мира! Только Хельге, он один, и может ее насытить. Проклятый!

Теперь полнолуние, середина лета. Время колдовского свечения. Дураки жгут повсюду костры, старые ящики и газеты. Дураку нетрудно приспособиться к обстоятельствам: просто делай как все! Как, например, Лестничный Франк: он сложил из картонных коробок десятиметровую башню в честь Монтсеррат. Высокого он мнения о ее чести! Башня, правда, горела почти полчаса, задымив конюшню и перепугав до смерти лошадей. И сам Франк стал вроде как пожарником, бегая туда-сюда с зонтиком, на который валились сверху горящие куски картона.

Эх, дураки! Знали бы они, что их занудность и глупость есть пища для мудрости! Они тащатся за мудростью толпами и стадами, будучи уверенными в том, что смогут сообща разорвать ее на части, выгрызть из ее костей остатки улетевшей уже жизни. И не

смирение, нет, не благоговение, но одна лишь ненасытность, она-то и дает дураку шпоры. И мудрости на это смотреть невыносимо, тем более, если дурак *умен*, и не остается мудрости ничего другого, как стать еще более мудрой.

Лестничный Франк разузнал, что у Хельге кто-то живет: он слышал в лесу Моцарта. Слышал своими лестничными ушами и даже кое-что подсмотрел: какое-то за деревьями движение... И хотя сам Франк был в это время под мухой, он успел в считанные минуты сообразить, что Хельге на свою планету вроде бы прибыл. И даже если это вовсе не мягкая, но вынужденная посадка, планета-то все равно своя. Своя!

Закуривая вторую сигарету, Монтсеррат злится: дурак, он думает, что так легко можно на *свою* планету попасть! Но что-то в этой глупости откликается ведь на истину: Хельге уже в пути. Поселившаяся в лесу незнакомка?

Силы прошлого, им бы влиться теперь в настороженность лесной тишины, предупредить о близости *далекого*. С другого берега судьбы, должно быть, пришла эта весть: в игру вступил наконец третий. Третий, он же всегда лишний. Третий, метящий в самую середину, в самую суть.

Не это ли имеет в виду Хиллари? Подумав о ней, Монтсеррат сплевывает на камень, отворачивается от своего плевка. Американка сильнее ее, опытнее, опаснее. С ней рискованно вступать в союз, а тем более, доверять ей. Но сейчас у них, похоже, общая цель: эта, поселившаяся в лесу... Лестничный Франк разузнал уже ее имя: Серафима. Совершенно возмутительное имя!

Затушив во влажном мху сигарету, Монтсеррат достает из кармана кожаных штанов пакетик, вытряхивает на ладонь кусочек аконита. Здесь ее никто не увидит, никто ничего не узнает. Зато она... узнает! Она должна это узнать: какова была ее связь с Хиллари раньше... давно...

Так тихо в лесу, так светла эта лунная ночь.

Сигню Амундсдоттер долго ждала эту весть от отца. Прошло шесть зим со дня ее отъезда из дома, и много людей с тех пор умерло. Шесть лет назад она была влюбленной росомахой, теперь же она ворона, осторожная, вороватая, пуганая. Она научилась за эти шесть лет присматриваться, научилась бодрствовать. Ярл Тригве увез ее вместе со слугами и рабами в поместье, теперь она здесь хозяйка, все ключи у нее, и духи этой местности, живущие под старыми березами, охотно едят сваренную ею ячменно-моховую кашу. Она тут почти дома. Тригве подарил ей рабыню, выкормившую его сына, и от этой смиренной и тихой женщины Сигню многому научилась, и не только красить и валять шерсть и варить пиво. Сигню научилась у нее молчанию.

Обе живут одной тайной, не выдавая ее ни словом, ни взглядом. Изредка, правда, глядя на играющих во дворе детей, кто-то из них вздохнет, может, глотнет слезу. Тригве позволил оставить во дворе пару щенков от старой покладистой суки, но щенки больше похожи на Одина, белого, с голубыми глазами, полуволка, воющего по ночам за амбаром. Пса кормят остатками баранины и птицы, и было раз так, что он едва не загрыз дразнившего его работника, разорвав ему шею. Хороший пес. Из всех, кто живет в доме, только Сигню и может с ним справляться: Один послушен ей как собака, и везде, где только можно, таскается за нею. Она пускает его в дом, если Тригве куда-то уезжает. Эта тяга к волкам у нее от Амунда, недаром она его дочь. Сунув босые ступни Одину под лохматое брюхо, Сигню возвращается в детство, в пахнувший дровами и овчиной дом, где слагаются в пламени долгой осени и суровой зимы красивые, страшноватые истории, и только жаркое собачье дыхание вторит им. Бывало, она так и засыпает на полу, на той же, что и пес, овчине, привалившись к его теплому боку. И ей нравится, что Один громко храпит.

Служанка, выкормившая обоих детей, могла бы научить Сигню настоящему колдовству, эта вывезенная из темных финских лесов нелюдимка. Но Тригве пообещал объявить вне закона всякого, кто колдует, и только одна Сигню и осмеливается оставлять

миску с кашей под высокой березой. При этом она беззвучно повторяет одни и те же, которым ее научила служанка, заклинания: она закликает свою судьбу дать ей вернуться домой.

Она часто смотрит Одину в глаза, в эти холодные голубые, прозрачные осколки льда, и пес, положив белую морду на вытянутые лапы, тоже неотступно, исподлобья, смотрит на нее, и ничем, как любовью, это не назовешь. Обращаясь к духу старой березы, она обещает дереву взять Одина с собой.

Старый Амунд должно быть все еще держит при себе волчицу, помнящую детство Сигню. Ах, детство!.. Даже то, что было прошлой зимой, и оно уже полиняло и выветрилось, и никому нет до этого дела. Время течет как река, делая знакомые берега неузнаваемыми. Но что-то ведь, что-то... что заставляет тебя смотреть назад? Сигрид спрашивает у служанки, и та спрашивает у лесных трав и корней, и выходит, что там, в самом начале, в покинутом навсегда детстве, к Сигню присматривается... смерть.

Сигню не помнит свою мать, та ушла слишком рано, пропала. Никто так и не нашел ее следов, только волчица, та разнюхала затоптанную в песок пуговицу. Эту пуговицу Амунд хранит вместе с прядью детских волос Сигню в золотой шкатулке. Он уверен, что его жену похитили тролли, да так оно наверняка и было. Он заводил себе наложниц, и все другие его дети тоже куда-то, один за другим, пропадали. Проклятье!

Амунд не из тех, кто терпит ленивых и слабых богов, не способных ни защитить, ни спасти. И прежние боги должно быть выдохлись, должно быть им надоело внимать без конца одним и тем же, о крови, золоте и власти, спорам. Да, они просто состарились. От заезжего священника Амунд слышал, что царство Белого Бога не тут, не в этом продуваемом ветром мире. А где? Покажи мне его! "Туда, в это царство, - сказал ему священник, - ушли, один за другим, твои умершие дети". Туда, где нет ни паруса, ни золота, ни пива. Туда, где нет ничего. Этот Белый Бог, стало быть, зря только обещает... да и что он, собственно, обещает... Голова Амунда могла бы расколоться на куски, как корабль в бурю, расколоться о невозможность понять намерения Белого Бога, безразличного к золоту и пиву. Разве есть на земле что-то более стоящее?

Амунд как-то спросил своего темнокожего раба, что значит "не от мира сего", и Гриф долго молчал. Он молчал не потому, что его могли за вранье высечь березовой розгой, как это бывало не раз с другими рабами, он был смертельно напуган. Только истинному сыну солнца, инке, позволительно об этом спрашивать, а тем более, на этот вопрос отвечать. Окажись Амунд в золотом, о каком он мог только мечтать, городе сынов солнца, его немедленно бы казнили. Он спрашивает о Могущественном!

Гриф долго молчал, и только когда Амунд огрел его плеткой, пообещав отправить на остров к суровым ирландским монахам, на его безжизненно окаменелом лице обозначилось похожее на ужас чувство, черные губы дрогнули и тут же застыли в мучительной гримасе... Он сказал тогда Амунду всё.

Этого темнокожего уродца Сигню помнит с детства: ее тошнило при одном его виде. Низкорослый полузверь, от него всегда разило мертвечиной. Кто-то видел, как он ел собачатину, перед этим смешав кровь с костным мозгом. И Сигню казалось, что он хочет съесть и ее, и всякий раз при его появлении во дворе она пряталась за юбку служанки или матери. Мать говорила ей, что раб вылечил ее от родовой горячки, остановил кровотечение, хотя, кто знает, было ли это в самом деле помощью или доброй службой. С тех самых пор, говорила мать, у нее будто чего-то поубавилось внутри, будто ее самой стало меньше. Мать сказала еще, перед тем как бесследно исчезнуть, чтобы Сигню держалась поближе к... волчице. В прозрачных голубых глазах Ильд нет ни страха, ни преданности, один лишь холод свободы. Свобода, сказала мать, и есть единственное, чего не выносит раб.

Подрастая, Сигню стала замечать, что Гриф присматривается к ней. И не то чтобы он на нее смотрит, она бы, дочь хёвдинга, этого не потерпела, но он... словно всюду тащится за ней, словно повсюду, где бы она ни была, присутствует. Даже в зимний морозный день,

страхивая варежкой снег с опустившихся до земли сосновых лап, она ощущает его мерзкий запах, как будто исходящего из нее самой... и она набивает рот снегом, плюется... Она берет с собой в лес волчицу Ильд, и не раз, забравшись на выступ скалы, они принимались вместе выть, и издали им отвечала протяжным воем волчья стая.

Этот великолепный волчий вой! Волк задирает к небу морду, прищуривает глаза, он весь в этом своем вопрошании: аууууууу!!!.. аууууууу!!!.. И сверху должно быть ему отвечает заждавшаяся волчья душа, отвечает со своих лунных высот: она одна на всю волчью стаю. Одна-а-а-аа!!!

Ильд водит Сигню по своим волчьим тропам, и раз они забрели в пещеру. Сама Сигню вряд ли заметила бы вход, и это был скорее лаз, куда можно только вползти, перед этим продравшись сквозь колючие кусты можжевельника. Ильд, видно, намеревалась устроить тут логово, будучи уже третий раз в течке. Она знает недоступные места. Сюда вряд ли кто-то придет, разве что орел высмотрит со своей высоты будущий волчий выводок. Забравшись в пещеру, волчица долго не вылезает, скребет когтями камень, вышвыривая наружу вместе с песком и сухой листвой остатки начисто обглоданных костей. Тут кто-то до нее пировал! И по ее озабоченному ворчанию Сигню догадывается, что не все еще до конца съедено. Эти пронырливые волки! Но вот Ильд вылезает наконец наружу, пятится задом, таща что-то в зубах, что-то, застревающее в каменном проломе, и Сигню, присмотревшись, видит почерневшую мумию ребенка.

Сигню не видела еще мертвых детей, хотя двух ее младших братьев и годовалую сестру утащили тролли. И теперь ей не страшно, только почему-то очень холодно, словно это ее почерневшее, высохшее тело лежит на камнях. Обнюхав мумию, волчица забрасывает ее сухой листвой, словно добычу, пятится обратно в пещеру. Сигню старается не смотреть на эту волчью находку, но глаз ее сам косит в сторону, словно желая разглядеть конец страшной сказки. Она видит тоненькую цепочку, она ее узнает. Кто-то должно быть забыл ее снять, должно быть очень спешил... Эту серебряную цепочку Амунд надел на шею сыну в день крещения, и священник окропил ее святой водой. Священник таскает с собой эту воду в деревянном ведре с крышкой, таскает из одной деревни в другую, по мере надобности пополняя запас прямо из реки. И было бы куда сподручнее крестить младенцев прямо на берегу, разостлав на траве чистые холстины. Речная вода не станет ведь хуже оттого, что какой-то дурачина не называет ее святой.

Подумав было снять с мумии цепочку, Сигню торопливо отдергивает руку: она видит разрез от груди до самого паха. И она долго смотрит, смотрит... Она садится на пригнувшийся к скале ствол можжевельника, кладет ладони на засыпанный сухими иглами камень, закрывает глаза... и одна за другой, к ней приходят короткие жизни ее братьев и годовалой сестры. Зачем только они родились! Эти жизни закончились здесь, в пещере, и есть между ними всеми одна общая тайна. Но как бы не старалась теперь Сигню нащупать ладонями следы их самых последних мгновений, она натывается только на стену страха и ужаса. И это ее злит. Ей, дочери хёвдинга, страх не преграда, она должна узнать всё. Она будущая хозяйка этих гор, и тролли пусть с этим считаются. Кстати, она вовсе не боится троллей. Другое дело... нет, она никак не может это разглядеть! К ее ладоням подступает такой холод, такой леденящий страх... застылая, неодолимая стена! Но Сигню дочь хёвдинга, и это она тут хозяйка. Волчица вытаскивает из пещеры еще одну мумию, высохшие паучьи останки, тут же рассыпающиеся на куски, но Сигню незачем уже на это смотреть... Она лежит грудью на камне, и в нее вливаются тревожные, неразборчивые картины: ночь, лунный свет, дорога... ненавистный, проклятый запах Грифа.

- Ильд! - кричит она волчице, и все глазающие на нее с крутых откосов тролли повторяют наперебой хохочущими, дрязнящими голосами: "Ииииильд!!! Ииииильд!!!"

Сигню замечает наконец, что продрогла, ногти у нее посинели, зубы стучат, но она дочь хёвдинга, она справится. Она обнимает волчицу, прячет лицо в густой, жесткий мех.

У нее ведь нет матери, нет, быть может, отца. Разве *ее* отец стал бы терпеть здесь проклятого Грифа? Спуститься и спросить его... Нет, ничего ему не говорить! Она справится сама, она тут хозяйка.

В тот же день она натолкнулась на Грифа: он нес в дом дрова и не посторонился возле крыльца, и ей показалось, что он усмехнулся, быстро отведя кусающий взгляд раскосых черных глаз.

- Гриф, - говорит она серьезно и тихо, - Зачем ты убил моих братьев и мою сестру?

Он роняет дрова на ступени. Но тут же торопливо собрав их в охапку, так же тихо отвечает:

- Будущая хозяйка говорит не о Грифе.

- Я говорю о тебе, проклятый! - кричит она на весь двор и с силой сталкивает его вместе с дровами с крыльца. В свои девять лет она вовсе не сопливая девчонка, пусть Гриф это знает. И Гриф знает наверняка: Сигню, став хозяйкой, не потерпит его здесь. Он снова собирает дрова, прижимает березовые поленья к голому черному животу. Он вынослив и ловок, и никто лучше него не стреляет из лука. Он думал уже не раз уйти из этих мест, стать вне закона, он прокормит себя в горах. Но Могущественный обременил его куда более великой задачей: найти среди этих людей *нужного*. Среди этих, сделанных из самого лучшего материала людей. Найти такого, кто поднимет с земли силы смерти, донесет их до солнца.

Сложив дрова на каменный возле печи пол, Гриф спешит обратно к сараю, прячется за толстыми бревнами, бормочет заклинания... Девчонка должна все это забыть! Оставить ей только страх, только холод.

Он, поживший уже немало, помнит законы солнца. Законы великой механики власти и подчинения. Помнит, как это было давно, когда его самого, рожденного от его же четырнадцатилетней сестры, привели впервые к отцу. У того было уже не менее сотни сыновей, а дочерям счет не велся, но Грифа он приметил, он дал ему гордое имя: Стерегающий Золотые Высоты. Вот кем назначено ему стать! Его кровь - это кровь самого солнца.

Он помнит, как стал инкой, когда великий служитель солнца передал ему священный каменный нож, острее которого нет ничего в мире. Он стал инкой, совершив свое первое убийство. И он убивал потом много-много раз, одним и тем же способом, он доводил этот способ до совершенства... он постепенно становился самим этим совершенством. Он, Стерегающий Золотые Высоты.

Богу смерти Таотлю служили многие поколения, многие овладели тем высоким искусством, *искусством опустошения*, которое, будь оно применимо повсеместно, сделало бы землю вместе с населяющими ее людьми мертвым механическим царством призраков: никакое *само* не смогло бы выжить в этом театре теней. И это было бы полной, окончательной, необратимой *победой над человеком*. Лишить человека самого его горячего стремления: быть вновь рожденным. Земля должна остыть, человек должен стать камнем и льдом.

Постижение этой механики смерти дается отнюдь не просто, тут нужны особые способности, и они приобретаются исключительно в ходе *убийства*, жестокого, изощренного, мастерски осуществляемого. Те особые ощущения, которые получает жрец-убийца, взламывая человеческую жизнь, дают ему совершенно особое *знание*, да, высокую мудрость *власти над жизнью*. И высочайшей в этой высокой мудрости вершиной может стать только *власть над трупом земли*.

Он, Стерегающий Золотые Высоты, призван нести эту высокую мудрость дальше, до самого края земли, до самого полюса холода. Здесь, куда не добирался еще ни один инка, он должен укоренить эту золотую механику, придав ей форму закона. И тогда, ступая по золотым солнечным ступеням, по солнечному богатству и роскоши, в мир придет наконец Таотль, придет в облики человека.

Когда Грифу минуло девятнадцать, один из служителей солнца рассказал ему о Великом Конце: в мире появился стойкий, несговорчивый враг Таотля, затеявший немыслимое и это немыслимое осуществивший. В мир пришел, родившись от девы, Вицлипуцли, пришел в один день с Иисусом и прожил те же тридцать три года. И если Иисус, став Христом, был распят, то Вицлипуцли сам распял своего врага: величайшего, каких только знало время, сына солнца, почти уже дотащившего мир до его золотой цели. И много еще понадобится времени и человеческих жизней, чтобы вернуть Таотлю его власть, чтобы золотая, на все времена, цель засверкала снова на острие жреческого ножа.

Эта золотая цель! Ее близостью веет из глубоких каменных колодцев, куда бросают вместе с цветами, маисом, золотом и рубинами самых красивых девушек, бросают, проводив с великими почестями до края пропасти. Сколько их там, в мутном водовороте! Их количество, так же как и количество кукурузных початков, домашней скотины, перетащенной в корзинах земли и птичьего помета, отработанных на общее солнечное благо трудодней, а также праздников, казней, жертвоприношений... да всего, что только можно пересчитать, включая поношенную одежду и пучки отрезанных волос, да, *количество* значит гораздо больше, чем каждая единица в отдельности. Нет ничего единичного, отдельного, частного! И если, бывает, ребенок рождается на других непохожим, его немедленно закапывают в землю, живьем. И нет поэтому под солнцем ни одного несчастливого.

Но Вицлипуцли сломил накопленную поколениями силу Таотля. То, что прежде зывало к солнцу, пузырясь кровью вырванных из живых тел желудков, теперь лишь бессильно хрипит о возмездии... Но и возмездие, оно тоже может быть великим! Когда-нибудь, через тысячу, может, лет, Таотль снова накопит силу!

Гриф помнит, как нес его в неизвестность корабль Амунда. С вышитым белым драконом на черном парусе из овечьей шерсти, с драконовой головой на носу. Эта деревянная голова с разинутой пастью и вытаращенными глазами казалась Грифу страшнее самого свирепого берсерка, и Амунд, узнав об этом, часто потешался, заставляя Грифа карабкаться над волнами по грубо обтесанной драконовой шее. Они плыли мимо покрытых снегом островов, и все, кто был на корабле, радовались холоду и ледяному ветру. Они плыли домой, эти незваные гости, и Гриф не знал, что его ждет на их земле. Он, инка, сын солнца, он теперь только раб. И те рабы, что были раньше на корабле, не желали с ним знаться, считая его колдуном, и он спал вместе с овцами. Потом, на середине пути, среди рабов начался мор, заболели и остальные, и море глотало один труп за другим. Гриф сидел в темноте под палубой и считал... он насчитал уже много, и море, думал он, еще не насытилось. Амунд принес жертву Тору, но мор продолжался, и белый дракон на черном парусе совсем сник в безветрии. Ветер, крепкий западный ветер, вот что теперь могло спасти корабль и команду. Стоя у руля, Амунд напрасно всматривался в застывший горизонт, и его помощник вот-вот мог свалиться от слабости, и тогда... "Гриф! - крикнул Амунд так, что овцы разом заблеяли, - Иди сюда, сукин сын! Поднимайся!" Карабкаясь по крутой лестнице и шурясь от дневного света, Гриф охотнее всего свалился бы обратно в овчарню, но грозный вид Амунда не оставлял сомнений в том, что сейчас может что-то случиться... что-то более значительное, чем просто смерть. "Ты знаешь, колдун, в чем дело, - схватив Грифа за перевитую бечевкой черную косу, рыкнул Амунд, - Ты напустил мор на моих людей!" Гриф был готов к тому, что Амунд вышвырнет его за борт, расшибет об палубу, но могло ведь и оказаться иначе. И он поэтому залопотал, как мог, замахал обвешенными кольцами руками, завертелся возле ног Амунда: он знает, знает, знает, в чем дело! Дело в том, что Могушественный, властелин солнца, недоволен: инку, сына солнца, держат в рабстве. "Так ты, стало быть, сукин сын, знатного рода? - с сомнением спросил Амунд и тут же разъярился, - Я мог бы получить за тебя хороший выкуп!" Гриф усердно закивал: много, много золота. Но теперь, чтобы угодить Могушественному, надо принести в жертву человеческую жизнь, хотя бы одну... Этого Амунд никак не ожидал услышать и только поскреб заскорузлым пальцем слипшиеся от

соли волосы. Убить тут, на "Белом драконе", человека? "Хорошо, - сказал он, снова хватая Грифа за косу и вынимая из ножен меч, - я убью тебя! Пусть твой Могущественный получит тебя обратно! Сукин сын!" Но Гриф завопил так, что овцы снова заблеяли, завертелся у ног Амунда, ухватился зубами за отворот его кожаного сапога. Могущественный может принять жертву только из рук инки, и убить поэтому следует того, кто и сам вот-вот умрет... да, помощника... Услышав это, помощник, которому и в самом деле было очень плохо, закивал в знак согласия, он не хотел мучиться, как остальные. И тогда Амунд дал Грифу свой нож.

Гриф проделал это молниеносно, и те, что стояли вокруг привязанного к толстому бревну помощника, только глухо ахнули, увидев в руке чернокожего раба кусок окровавленной плоти: так тут никто никогда не умирал. Все мрачно молчали, только Гюннульф, тринадцатилетний мальчишка, сказал, что обязательно за помощника отомстит, рано или поздно. Но Гриф был слишком опьянен убийством, чтобы прислушиваться к угрозам мальчишки, и в клетоте его заклинаний бурлило торжество победы. Он совершил много подобных убийств, но этот человек, помощник Амунда, дал ему в своей смерти гораздо больше, чем все остальные. Тогда-то Гриф и понял, что эти светловолосые, любящие холод люди сделаны из самого лучшего в мире материала.

Как только тело помощника коснулось ленивой ряби, подул крепкий западный ветер, и белый дракон грозно зашевелился на черном надувшемся парусе. И хотя никто больше на корабле не слег, а больные выжили, возвращение домой было мрачным. Амунд, правда, отдал Грифу нож, как тот просил, но благодарить колдуна не стал. Что, если Могущественный, этот пожиратель человеческих внутренностей, сильнее Тора? Сильнее Белого Бога? Что, если Гриф, этот проклятый раб и сукин сын, окажется сильнее ирландского священника? Мысль об этом едва не проломила Амунду голову: темнокожий раб мог бы добыть для него столько власти, сколько не имел еще ни один хёвдинг! И каким бы прозорливым ни оказался этот Могущественный, с ним стоило иметь дело. Выходит, Амунд привез из безымянной западной страны хорошую добычу.

Гриф помнит, в какой близости к Могущественному он внезапно оказался, убив на палубе помощника Амунда: он увидел тогда изнанку солнца. И это было великим, ни на что не похожим переживанием: сама смерть распустилась перед ним махровым черным цветком, источая томление безграничной власти. Власть, вот чем жаждет насытиться великий Демон Солнца... и никак не может насытиться! Он скован цепями этой ничем не утолимой страсти, он только раб! Вот если бы отнять у человека силу его свободы... Отнять! Ослепить его величием смерти! Гриф понял тогда, на палубе "Белого дракона", что одна только свобода, она одна и есть приносимый землей плод, и кому-то он должен достаться. Амунду? Тринадцатилетнему Гюннульфу? Этим угнавшим его, инку, в рабство людям? Дать им взамен их свободы *счёт*! Пусть считают свои мечи и корабли, своих жен и овец, да, волосы на своей поумневшей голове! Пусть в их гордой крови станет больше золота! Пусть рождается среди них все больше и больше золотых истуканов!

Проклятая девчонка Сигню, сунувшая нос в его тайны, она разболтает, раскричится... Смазав морщинистый лоб и высохшую грудь овечьим жиром, смешанным с тертыми корнями трав, Гриф садится на земляной пол сарая, зажимает голову в колени, бормочет. Сигню должна все это забыть!

Забыть о том, что к ней присматривается смерть.

Очнувшись, Монтсеррат не сразу понимает, где она. Она видит над собой морду коня, его вопросительно раздувающиеся ноздри, его темные, влажные, понятливые глаза. Запах лошади... Подняв ослабевшую руку, она касается влажных ноздрей, мягких губ, и конь, что бывает с ним очень редко, ложится возле нее. Надежный, родной запах. Придвинувшись к теплему боку, она снова закрывает глаза. Она все еще видит вырванные из прошлого картины, и ей не требуются доказательства их правдивости: она ведь все это *видит*. Видит орлиное перо в черных космах Грифа, видит зажатый в костлявой руке нож.

- Проклятая американка! Чертово индейское пугало!

Она кричит это на весь лес, на весь, может быть, мир, и только конь отвечает ей тревожным ржанием.

10

Среди зимних вещей, засунутых в большой чемодан, есть кое-что особенно согревающее: собственные комментарии к новому учебнику истории. Ими можно растопить печь: подсунуть под сухие поленья, плеснуть бензина, и тогда уж точно полыхнет. Хотя в этой маленькой богатой стране есть ведь и свои учебники истории, и пишут их, как ни странно, люди. Люди, оправдывающие перед самой этой историей своё исторически высокое жалование. У этих учителей, а им всегда виднее, чем, скажем, тебе, внутри, разумеется, труха и кое-какие навыки *демократического говорения* в защиту близорукости и косоглазия. Смотрит историк, скажем, вдаль, в необозримые, скажем так, дали, а там... газета "Бляд". По ней проверяется историческое зрение: крупные буквы видит любой дурак, последнюю строку разглядывают лишь специалисты. "Бляд", бывает, с историком дискутирует: "Куда, олух, смотришь?" или: "Перемени, пока не поздно, прищур!" Смысл всех этих дискуссий - набить цену здешней норме благоденствия: "Никто так, как мы, не благоденствует!" Косоглазо и близоруко. Куда при этом деваешься *ты*, спрашивать неприлично. Бу Кварк, впрочем, знает: ты становишься разменной монетой. И в этом своем виде ты очень удобен в обращении: ты всем по зубам.

Писать комментарии к новорусскому, обмоченному партией и правительством, учебнику истории можно разве что после смерти. И если ты все еще жив, о смерти следует позаботиться всерьез: пожечь все в обратную сторону, к жизни, мосты, отрезать себя от *ресурсов*, без вести пропасть. И когда тебя уже никто в этих твоих останках не признает, действуй! Действуй так, чтобы ходили ходуном все твои прежние маршруты, чтобы трещал и осыпался потолок, служащий партии и правительству небом. Нет такой партии и нет такого правительства, которые значили бы больше, чем значишь *ты сам*.

Бу Кварк встречает Серафиму в центре Осло, возле "Гранд отеля", хвалит ее загорелые ноги и облупленный, северное лето, нос, предлагает чашечку кофе. Они поднимаются на лифте на крышу отеля, там плещутся в бассейне счастливые состоятельные негры, зеленеют всамделишные пальмы. К неграм и пальмам прилагается вполне демократическое меню: сдобная, пресноватая критика, кисленький анализ. Кстати, слово "негр" считается среди самих негров бранным, так же как и слово "обезьяна".

- У них, что, нет других ругательств? - хлюпает неприлично дорогим кофе Серафима.

Бу Кварк торопливо озирается, приглушает голос до газетного шепота:

- Нет.

Зеленые волны в бассейне, зеленые всамделишные пальмы. Зимой негры бегают туда-сюда на лыжах, топят печь государственными пособиями, а если надо по нужде, трусят в фольклорных свитерах в модный в этой стране бревенчатый сортир, у многих при себе кокаин и травка. Все хорошо, если бы не это бранное слово, "негр".

- Ты, я вижу, расистка, - заключает Бу Кварк и достает журналистский блокнот. Расистов в этой маленькой богатой стране ненавидят, этих грязных свиней, подонков и негодяев, их тут даже не называют людьми, с ними даже и не спорят. Да и разве станешь спорить с тем, кто на тебя в точности похож? И чтобы этого сходства и полного подобия не разглядели - и, надо же, пока еще не разглядели! - нужен негр, своим ходом и в обход всех законов сюда добравшийся, выложивший за проезд тридцать тысяч долларов, благоденствующий негр. Им-то, приедем негром, и откупается разблагоденствовавшаяся демократия от своих *против тебя* санкций. Да кто ты, собственно, такой? Единичность, частность, суверенность. Таким тебя не желает знать статистика. Такой ты, пожалуй, не укладываешься в кучи и штабеля, не прибиваешься к профсоюзному или политическому стаду. Такого тебя попросту исключают из рассмотрения. И только один для тебя у

демократии совет: смотри на эти видимые издали буквы, сверяй по ним зрение, коси, щурься, пялься! И не рассчитывай на то, что с ростом благоденствия тебе станет легче заработать на кусок хлеба: ты ляжешь ради куска хлеба на рельсы.

Таков демократический расизм. Такова его старая, гнусавая, тягучая песня: "Покорись и смирись!"

Бу Кварк вовсе не ожидал затащить на самый верх "Гранд Отеля" такое вот недоразумение: это выпавшее из стрелочного хода часов бодрствование. Да, Серафиме не спится. Ей, может, еще и нейдет разбудить других.

- Для твоих, ну что ли, комментариев, - вяло замечает Бу, - для этих исторических... то есть не исторических... то есть... - он смотрит на тонущего в бассейне негра, - ... для этой литературы здесь нет рынка! Книгописание, это, как ты, возможно, понимаешь, *отрасль производства*, законы книгописания, это законы купли и продажи. То, что пишешь ты, никто никогда не купит.

- А я и не продаю.

Бу охотно кивает. Он ведь уже предлагал Серафиме разделять селедку.

Счастливые, в бассейне "Гранд Отеля", негры.

В этой маленькой богатой стране лучше всего быть *нормальным идиотом*, это почти то же самое, что быть членом королевской семьи: ты на полном содержании. Глянь, сколько тут нормальных, ничем не хуже индюшек, кур и свиноматок, принцесс! У некоторых из них есть даже среднее образование, и все они поголовно борются со СПИДом, поют в хоре, ездят верхом, играют в теннис и спят со своими тренерами. Стандарту принцессы ничем не уступает стандарт принца: месячишко в Оксфорде, потом в Итоне, потом, само собой, в Америке, потом, конечно, эполеты, новогодняя речь в защиту норвежских оказавшихся в большинстве меньшинств, потом что-нибудь интересное, и если это не рок-фестиваль, то уж точно футбол... Ну какие могут быть у члена королевской семьи еще интересы? Никаких.

Вот так, *идиотически нормально*, и благоденствует эта тресковая, медвежья, лосиная страна. Ах, лоси, они бросаются, бывает, прямо под поезд! Тогда как террорист-медведь просто вламывается к вам на дачу, рассыпая на пол муку и макароны, вспарывая подушки и перины, обмазывая себя клубничным вареньем. И однополая, генетически мутированная треска, приводящая природу в недоумение и хаос, стучится, как может, в вашу дверь и заявляет с порога: тут ваши, а тут наши. В приливе пасторальных настроений природа готова уступить идиоту его право на бессмертие: он становится ведущим политиком с популярным в широких кругах общественности диагнозом, психопатией или шизофренией, и нет ему, политику, сносу! И если в этой перманентной психушке и встречается пока еще врач-другой, то ведь завтра... да что нам, право, этот завтрашний день...

- Зачем ты сюда приехала? - мрачно, почти безнадежно спрашивает Бу, - Что ты тут собираешься делать?

Демократическому журналисту полагается знать о своей *жертве* все. И не было такого еще ни разу, чтобы жертва, она же наживка, ушла восвояси живой. Бу смотрит на Серафиму в упор, выщипывает в уме, сколько она так еще, *потеряв всё*, протянет. Бу знает из опыта своего многолетнего глядения по сторонам, что человек есть в конце концов *общественная скотина*, с дыркой и кольцом в носу и видимым издали номером в ухе. Но Серафима... Не может такого быть, да, ни разу еще такого не было, чтобы кто-то вот так, смехотворно, а главное, *бесплатно*, не будучи при этом ни у кого на виду, вырывал из очевидности сомнительное, да что там, недействительное *я сам!* Действительно ведь только то, что подлежит счету, раз-два-три-четыре. Вон, скажем, негры в бассейне: один из них утоп... Негры не любят плавать, они только побиваются у себя в бухте Аден, и надо им, ребята, помочь. Помочь им и дальше так мы-ы-ы-ы-каться. Они вполне уже, негры, для демократии годятся, со своим *групповым я*.

Но я сам... жало вечного несогласия, жажда вечного единения! Жало и жажда. Окажись у демократии еще одна в запасе молодость, она бы, пожалуй, поднатужилась и разродилась универсальным *против тебя* законом, но она, увы, стара... Стара! И старости нужно какое-то утешение, какое-то оправдание зря прожитому, так, чтобы "зря" оказалось очень кстати: никакой молодости на самом деле и нет, есть только старость, старость... вечно нагоняющая тебя старость, охаживающая тебя кнутом *решающего большинства*, плетью *бесспорного* авторитета. Так беги же дальше, в сторону увешенных флагами кладбищ и уютных патриотических могил!

Всамделишные пальмы, счастливые негры, неприлично дорогой кофе в неприлично похожих на ночные горшки дизайн-чашках, порнографические, в горячей булке, эригированные сосиски, прошлогодние розы из трехцветного королевского шелка, локти, сандали, лишние килограммы, застылая в улыбке официантки сдача, пузырящийся в небе стеклянный купол, все валится разом на голову Серафимы: "Что?.. ты?.. тут?.. собираешься?... делать?!"

- Собирать в лесу малину, - нехотя отвечает она.

Это чужая малина, и лес, определенно, чужой, так же как и дорога, по которой она в этот лес ходит. И чужая косуля, бывает, глянет на нее из-за куста, никем еще не пристреленная, втянет ноздрями воздух... чужак! В лесу пересчитаны деревья, выверены километры тропинок, пронумерованы лоси, сурки, лисы. Таков здешний ум, и некому на его недостаток жаловаться... то есть на его достаток. Ума тут больше чем достаточно, с умом тут явно перебор, и ум поэтому добровольно переходит в пристрастный рассудок, и тот ведет всему счет: километрам, рогам, катышкам помета... Попробуй дознайся у рассудка, зачем все это нужно. Не затем ли, чтобы свести счет с не учтенной пока еще малиной, которой ты набиваешь рот, тем самым отсрочивая весть о своей голодной смерти... сладость, алость, сочность!

И если на собирание этой малины уйдет остаток жизни, назови это, если хочешь, счастьем: никем и нигде не учтенным времяпровождением.

- Гм...

Бу Кварк сам никогда малину не собирал, хотя много раз читал об этом феномене. И сдается ему теперь, под стеклянным куполом "Гранд-отеля", что явление это не только единичное, но и опасно не демократическое: что если все кинутся собирать никем не учтенное? Для *всех* это не сладость-алость-сочность, но *нежелание трудиться*. Нежелание обменивать свою жизнь на раз, два, три, четыре... научись сначала считать!

- Ты могла бы, - воодушевляясь собственной фантазией, советует Бу, - мыть на вокзале полы, быть круглосуточной сиделкой, развозить на велосипеде газеты... могла бы даже стать *персональным ассистентом*.

- *Персональным ассистентом идиота*, - кивает Серафима.

- Ты ведь принадлежишь к категории *слабых*, - еще более воодушевляясь, продолжает Бу, - у тебя нет никакого дохода.

- Никакого, - соглашается Серафима, - Но я из *самых сильных*.

- Так почему же ты не работаешь? - Я работаю над собой.

- Гм...

Всамделишные пальмы привычно позируют на фоне *гуманитарной катастрофы* с видом на ООН, Всемирный банк и Нефтяной фонд, и нет такого в мире спецназа, что был бы горазд тонущему подсобить: пусть сначала утонет. Другое дело, утопленник: мир задохнется, обеспечивая ему искусственное дыхание. Дышите... не дышите... и так далее. И где-то между вдохом и выдохом вставляет свое слово политик: "Мы и впредь будем помогать слабому, самому слабому, слабейшему! Во имя полного и окончательного равноправия слабости и силы! Во имя равноправия болезни и здоровья, глупости и ума..." Дальше политик забыл слова, дальше все поют хором. Но пальмы, зеленые, всамделишные...

- В мире все больше и больше рождается таких, кому нужны ассистенты, - глядя, как вытаскивают из воды захлебнувшегося, замечает Серафима, - Много мышей и крыс, мало тигров. Быть маленьким, удобным в обращении, быть *мелким*, быть в конце концов просто стертым, да, *стертым с земли*, такова единственная перспектива счастливого потребителя-производителя...

Бу торопливо озирается по сторонам, словно ища спрятанного за пальмой кэгэбэшника. Журналисту "Бляд" положено, впрочем, улыбаться, улыбка скроет всё, даже нежелание улыбаться. Скроет даже страшный, с точки зрения журналистики, диагноз: здесь нарушаются нормы мышления. Нормы, придуманные рассудком. Эх, раз, два, три, четыре.

Негру в демократических, ниже колен, трусах случается в бассейне тонуть, случается находить на плиточном дне *компенсацию* за испытанные при этом неудобства. И многие поэтому охотно тонут.

Но кто компенсирует тигру неудобство казаться мышью?

Разлучить что-либо с человеком, будь то производство цветочных горшков или астрономические наблюдения, это все равно что изъять из разговора смысл: можно болтать сколько угодно, при этом не имея в виду *жизнь*. Мы настолько в этом преуспели, что нет такой в мире новостройки, которая не пялилась бы на тебя всепожирающим отсутствием каких-либо о *тебе* воспоминаний: перед тобою игра мертвых кладбищенских форм, скелетное мельтешенье бессмысленных ужимок высушенного арифметикой интеллекта. Это восхищение голыми королями не просто безвкусица или глупость, это - религия. Это - *культ разрушения личности*. Культ, подготавливающий приход новых, слабоумно-интеллектуальных поколений механических шварцнеггеров. На эти отбросы уже и теперь значительный спрос, достаточно заглянуть в первую попавшуюся *среднюю* школу. Спроси первого попавшегося среднего учителя, чему он тут всех учит, и непременно окажется, что это политика-экономика-технология. Спроси местную принцессу, читающую детям на ночь сказки, далек ли ее королевский ум, и средний *известный писатель* расторопно подскажет, что в умственных далях потому так и комфортно, что ниоткуда не сквозит *человеком*: в этих кукольных далях.

Но лучше подняться на гору в Тёнсберге, откуда первые здешние короли озирали дарованную им Белым Богом страну. К этой королевской вершине ведет множество ступеней, и каждая из них напоминает тебе о силе гравитации, о твоей собственной массе, перевешивающей тяжесть отзвучавших здесь веков. Ты, весомый, значимый... ты ползешь по этим ступеням вверх, выше и выше, по обвивающей многоэтажную крепость каменной спирали, ползешь на самый верх, откуда виден стародавний путь из Тёнсберга в Кристианию... и ты пускаешься дальше пешком, налегке, сбавив заботы и прочее оставшейся на каменной площадке Астри. Эй, история, притормози!

Астри водит на гору всех, у кого еще есть ноги, и ей не лень рассказывать одно и то же, не лень рассылать потом одинаковые, с *видом*, фотографии. На самом верху, где только ветер и птичий помет, сами собой слагаются ее легко заучиваемые гимны великому прошлому, которое, посмей оно сюда сунуться, немедленно спихнуло бы Астри с ее смотровой площадки... ах! Лететь вниз и думать: история!.. историческая необходимость!.. И при этом не забывать, что забелённые птичьим пометом каменные перила есть мерило ее, истории, крутизны. Круто, голо, ветрено.

Ничто так историю не забавляет, как волочащийся за нею по пятам *учитель истории*. Это он, учитель, выговаривает ей, голой и ветреной, за ее... отсутствие, держа ее при этом за жабры, то есть как раз за то место, откуда все начинает гнить. Сколько тут гнилой рыбы! С плавниками и без, обглоданная до самого скелета, опущенная в формалин, да просто законсервированная, рыба мечтает о хорошем крючке. Так, чтобы наверняка. Рыба имеет на это право: быть пойманной. И ей ли не косить сквозь толщу аквариумного стекла на *права человека*? Ее рыбе пространство есть только продолжение комнаты. И историк

находит в этом косящем рыбьеглазии историческую справедливость: рыба сгниет, *точка зрения* останется.

Перед тем, как подняться на смотровую площадку, Астри надевает бунад, и никто еще ни разу не усомнился в том, что именно в этой, *национальной* одежде историк становится судьей, ответчиком и исполнителем приговора, становится, если надо, шутком... нет, серьезно. Какой неспешностью, значительностью прошлого веет от этих тяжелых складок, от вышитого вручную узора, от свежести отбеленного льна... Сколько рождений, венчаний, похорон знает эта прочная на все времена материя, и не сбитый еще каблук черного, с серебряной пряжкой, башмака прижмет, если надо, не одного возомнившего о себе... возомнившего о своей, отдельной от этого национального костюма сути.

Ветер рвет с плечей Астри расшитую лиловыми розами косынку, рвет остатки пропитанных пивом седых волос, ветру нужно дознаться, все ли уже в этой истории сбылось. И кружащим над смотровой площадкой чайкам не лень ветру напомнить: "Ста-а-ань! Ста-а-ань!" Сами-то чайки...что? Зоркость и жадность. Бывает, прилепится к перилам бумажка, и чайка уже бросается к ней со своих высот, и все потому, что голодна. И если говорить честно, не было еще в мире ни одной сытой чайки.

Но ты другое дело, у тебя с собой чипсы и кока-кола. Хлебнул, пожевал, и ты уже готов рассуждать о *серьезном успехе* и диссидентской к тому же мечте, осуществленной на глазах у академика Сахарова. Это ведь на его фоне Астри улыбается расторопному фотографу, щелкающему все подряд. Фотограф не знал, что натворил: вписал Астри в историю, вместе с ее... ах, кажется, романом, если называть романом незатейливую диссидентскую *мямлеологию*. Критики, впрочем, назвали роман "серьезным вкладом в борьбу за права человека", заодно окликнув сами эти "права" их групповым, стадобараньим именем: "ме-е-е-е..." Хотя один из критиков настаивал на "бе-е-е-е..." Короче, успех оказался настолько серьезным, что Астри пришлось потом отчитываться перед газетой "Бляд" и лично перед Бу Кварком. Этот серьезный успех навалился на Астри на обратном из ее свадебного путешествия пути, ухнуло даже в *нашем* Нобелевском институте: *ревитализация*... ах, забыли, чего... отчета, доноса, компромата... Сама Астри, впрочем, считает это *литературой*, и почему бы ей так, в самом деле, не считать: литература ведь может, насилуемая, и потерпеть, не в первый же раз. Короче, роман окупил свадебные расходы.

Прокисший питерский диссидент Егор Достоевский-Кривошеев, до этого столовавшийся, с видом на фиктивную любовь, у знакомой англичанки, не был бы демократом, не будь у него вкуса к денежным знакам, к этим демократическим знакам женского внимания. И какой же внимательной может быть женщина! Ей ли, бабе, влюбленно не обуть-одеть, накормить-напоить-пригреть, а также вписать-в-свой-паспорт не вылезавшую из диссидентской постели образину! При этом женщина должна удовлетворять, конечно, строгим диссидентским требованиям: быть дурой и иметь счет в банке. У Астри было помимо этого еще и расположение к бедным родственникам Достоевского, в том числе и неизвестным: эти *бедные люди*, кто ворует, кто блядствуя, метили все как один в... святые! Святая, ах, до чего же святая Русь!

Диссидентский роман тем и отличается от обыкновенной порнухи, что всё в нем... от имени академика Сахарова. Сам академик, правда, об этом не знает, и очень удивился бы, узнав, что его правозащитная безнадега переведена в правовом государстве в разряд... вирусных инфекций. А поэтому *все на борьбу с гриппом!* А тому, кто желает вслед за академиком умереть, заранее прописано золотое правило: умри сам, не мешая умереть другому! Так все и делают. И диссидентский роман тем временем становится счастливо-криминальным, и в нем уже не выживает никто, включая и самого автора, и автор питтит, зажав в тиски собственные яйца: "Делай отчет, донос, компромат новым энергоносителем! Прокладывай новорусские крысиные коммуникации! Плети из кэгэбэшного страха фээсбэшные ловчие сети!"

От свадебного путешествия у Астри остался привкус соленого и крепкого: была водка, были соленые огурцы. Одну банку соленых огурцов Астри получила от Серафимы: огурцы были собраны на прилегающем к заводской мусорной свалке участке, этикие химически-радиоактивные переростки, сунутые в трехлитровую банку вместе со жгучим перцем и вырезанным из газеты "Правда" постановлением Нашей Партии. На свадьбе огурцы, конечно, хрустели: то ли о взрастившей их почве, то ли об угрозе оказаться вывезенными в чьей-то прямой кишке за границу... Но кто о них, впрочем, думал. Думали-то как раз о России. О родной, застоявшейся, запаршивевшей диссидентской Руси. Ревматический воздух Питера, грязь, кэгэбэшные сволочи, музеи. Музеев было особенно много, в них отсиживалось, плюя на строительство лучшей жизни, прошлое. И к прошлому приникало как могло диссидентское воображение: вообрази!.. нет, ты только вообрази!.. ты, сука, не воображай!.. Не воображай, что ты и есть единственный внук Достоевского, его пишущий внук. Лучше скажи прямо: ты или не ты вступаешь сейчас с *ихним* историком в брак? В этот спасительный, перспективно-выездной, двухгербовый брак. Брак, скрепленный водкой и соленым огурцом. На свадьбе пели "Катюшу", сбивали у соседа внизу штукатурку с хрущевского потолка, выясняли у заснувшего под дверью кэгэбэшника: "Ты меня, паскуда, уважаешь?" И нудный питерский дожидчик побирался, как мог, под облезлыми стенами пятиэтажной сталинки, и где-то... ах, это где-то... бился о диссидентские облака наспех крещеный колокол...

Хорошо, что у пишущего внука Достоевского оказались заготовленными впрок порнографические цитаты: ими, без кавычек, Астри *сдобрила* свой свадебный роман "Под ними". Академик Сахаров умер бы вторично, и на этот раз от радости за свою водородно-атомную правду: нет у человека никакой, кроме как стать пылью, перспективы. Нет никакого к тому же прошлого, и если говорить об эволюции, то тут ее, в этом *отрицании духа*, начало, и многое еще натворить предстоит. Никто, впрочем, уже и не примеряет к себе одежды умершего: не те плечи, не те отвороты... да и сама материя, хоть ей и нету сноса, тоже не та. Хотя роман "Под ними" мямлит, что он все еще тот, *от Достоевского*, то есть от преступления и наказания. Разве преступление не есть оправдание нашей сиюминутной занятости? Включаешь телевизор, а там... нет больше никаких новостей! Вместо них одна сплошная *криминальная новость*, к которой ты, кстати, давно уже привык, как, например, к виду голых, во весь экран, жоп. И ты, конечно, "за", атмосфера как-никак родная, да, ты не против отмытой в новорусской клоаке *порнографической детали*. Главное, побольше актуальности, этой расшатывающей нервы манной каши. И если кто-то еще сомневается в том, что ничего, кроме преступления, сегодня актуальным быть не может, тому мы, порнографы, скажем... то есть смажем... Преступление, вот наша золотая жила! Так сатаней же от навязчивой повторяемости сладких, как рвотные пилюли, категорий: рынок, секс, власть!

Серьезный успех, это чума, зараза похуже сифилиса. С ним носишься потом всю жизнь, слепнешь и глохнешь, теряешь нюх и ощущение вертикали, становишься на карачки, ползешь в клоаку, а там... счастье! Всем хочется знать, в каком банке ты хранишь деньги, и это ли не вершина *признания*! "Вот он, - скажут, - чего достиг! Он потратил, - скажут, - на это *всю жизнь*! Он ее, жизнь, *потратил!*"

Успех Астри, это к тому же *школа*. Школа соответствия норме. Школа, вправляющая в мозги уверенность: *это* и есть самое лучшее. Что это *это* такое, тебе знать не обязательно, но ты должен быть в *этом* уверен. Это *это* придает твоим ногам столбовитость, рукам загребательность, и голова тоже идет в дело, этот кочан капустных о жизни представлений. Заквашивай, наворачивай! При этом... да, при *этом* главное, никогда не позволять себе никакого одиночества, даже дома в сортире, не позволять себе *о себе* даже думать. Ведь, было же такое, стоит *о себе* подумать, и из ближайшего зеркала вываливается смахивающий на тебя покойник... да, выходит *из рамок*. Для того и нужна школа, чтобы никто никогда из рамок не выходил. Чтобы вещи лежали вечно на своих

местах... то есть, конечно, мы их как попало разбрасываем, но принцип вечного лежания, будь то валютный в банке вклад или заслонявленная Библия, это и есть *это*... тссс!

Это и есть, между нами говоря, смерть.

Школа успеха. Никогда еще довольство происходящим не шествовало так гордо, так непобедимо по продуваемым пыльными сквозняками пустырям. Никогда еще каркающее газетное эхо не было таким надрывно хлопотливым, таким суетливо хлюпающим ... ему ни туда и ни сюда в забитой *протекциями* выхлопной трубе. Настали наконец счастливые для полуправды времена: она посрамит, при этом только добрея и хорошея, тихую сиротку-правду. Тут все строго по факту. Глянь, сколько их, неопровержимых! Шеренги, ряды, колонны идущих напролом горячих фактов! Ну, ты, правда-оборванка, тебе еще не надоело жить?

- Ревитализация разбитого на ухабах самиздата порнографического репортажа, - ловя сверкающую на солнце белизну чаек, бросает со смотровой площадки Серафима, - дело стоящее. Достаточно просто вбураться в *среду*, дохнуть на бумагу гнилью и плесенью, и тебе уже несется навстречу известность. Ты, известный! Ты вытрешь, пожалуй, ноги о чью-то *тоску о смысле*.

- Не понимаю... - перемещая исторический взгляд с велосипедных трусов Серафимы на ее облупленный нос, неуверенно замечает Астри, - Не понимаю, зачем тебя сюда, к нам, принесло! Ты ведь уже *всё*... *всё!*.. там у себя имела! А здесь ты... - ее взгляд скользит в обратную сторону, от облупленного кончика носа до трусов, и дальше, до стоптанных босоножек, - Здесь ты никто. Нуль. Меньше нуля.

Серафима скромно кивает, ей это хорошо известно. Ей известно, что Астри стоит в данный момент на страже, стоит и будет стоять. На страже заколоченной наглухо двери. Самой ей туда не хочется, там одиноко, там страшно. Там ты наконец... просыпаешься. Там бродят, нисколько не интересуясь своим отталкивающим обличем, чужестранки-истины. И опасность не в том, что ты однажды туда протолкнешься, но что туда проникнут другие, дерзко и бесконтрольно.

Никто не должен иметь к истине доступ!

Это следовало бы размашисто начертать на оборотной стороне престижных наград и премий, на потолках залов заседаний, на стенах супермаркетов, церковей и мавзолеев... Никто не должен готовить себя к устрашающей встрече с сироткой. Но должен, напротив, размывать ее имя, стирать ее следы, высушивать оброненную ею каплю влаги. В *этом* и состоит *искусство умирания*. И школа, вправляя тебе мозги, вправляет потом в эти мозги: *это* и есть твоя судьба. Одна на всех демократическая судьба, и мы за нее охотно проголосуем.

- Чего тебе там, у себя, не хватало? - развернувшись бунадом к гранитной, с именами первых королей, плите, позирует для истории Астри, и история, тут как тут, хмыкает в зажавший леденец кулачок, тербит липкими пальцами зашитый суровой ниткой рот... Не дознаться и не дожидаться. Не достучаться. Завести разговор о хлебе и невыплаченной зарплате, о почти уже собранном на тебя компромате, о дурно воспитанном шефе, о сидящей на всех служебных стульях глупости, о глупости самих этих стульев...

- Человеку всегда не хватает *свободы*, - поманив чайку сверкнувшим на солнце взглядом, заключает Серафима, - Эта нехватка свободы обнаруживается одновременно с тягой к власти, и разлучить эти два явления... почти невозможно. Не потому ли на свободу так зол тот, кто червячно дотатился до двери своего пожизненного кабинета: свобода никогда с ним туда не войдет. Свободе нужны *самоиспытания*.

- Я бы не советовала тебе говорить это твоему работодателю!

- Но... в школе *имени Доктора*?

Вышитые на черном бунаде малиновые розы могли бы поклясться шелком своих шипов в *живости* нарисовавшего их воображения, но бунад, это уже не воображение, это памятник, состоявшийся маршрут, оплаченная квитанция. И хотя розы охотно цветут и

над серой могильной плитой, им самим не откажешь ведь в жизни, этим вытканым духом приземлившимся бабочкам, этим несущимся из жизни в жизнь о жизни *представлениям*.

- В школе имени Доктора,- с досадой повторяет Астри, словно при ней разгласили план захвата кухни в многонаселенной коммуналке, - Мы давно уже так не говорим! Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не упоминает его имя в нашей школе! Мы не хотим, не желаем, не можем быть с ним заодно! Мы просто *носим* его имя, почему бы и нет, но мы ушли далеко вперед... *вперед!* Впрочем, могу пригласить тебя на наш *антропософский завтрак*, у нас бывают знаменитости.

- На хрен они мне нужны, - отвечает, глядя на чаек, Серафима.

Надутый ветром бунад, едва не став парусом королевской яхты, вяло опадает, под ним угадываются рыхлые контуры тела, достаточно уже надоевшего как самой Астри, так и окружающему ее пространству, угадывается то *крайнее возмущение*, в котором тело в данный момент пребывает.

- Ты хочешь сказать, что тебя не интересуют ни известные писатели, ни даже принцесса?

- Никто, - кивает Серафима, - В школе имени Доктора, имя которого ни одному ученику не известно, а намерения и подавно, интеллигентности вряд ли уделяется иное место, кроме как в серой мозговой, упакованной в черепную коробку массе. Куда еще интеллигентность можно пристроить, не ведомо ни одной школе в мире, школа озабочена только одним: что подумает государство. Что подумает принцесса? Что подумает известный писатель? Случись самому Доктору оказаться безработным и предложить здесь свои услуги, от него отделались бы приятной улыбкой: " Ну о чем с тобою, чудак, говорить?"

Что под бунадом творится! Будто туда запустили сотню-другую блох. Хорошо еще, что юбку и рукава надувает, как может, ветер. Хотя розы по-прежнему малиново рдеют на черном фоне, серебро на башмаке блестит...

- Ты сюда, надеюсь, не насовсем?

- Гостить можно привыкнуть... - неохотно отвечает Серафима, - Привыкнуть находиться *около*. Привыкнуть быть иностранцем. Привыкнуть к тому, что ты здесь, если и не негр, то уж точно не белый: ты здесь *приезжий в первом поколении*. Привыкнуть к единственному, задаваемому тебе здесь вопросу: "Откуда, собственно, ты явился?"

11

Демократия давно уже забыла, какого она пола. Да и был ли он вообще. Скорее всего, их было несколько, и все средние. Вот так, полумужик-полубаба, демократия и состарилась, не уставая молодиться. Она не прочь на старости лет сойтись с многодетным исламом, и небритый Аллах сует ей в руку свой, извините... полумесяц. Задетый за *то самое* демократической порнухой, Аллах грозит демократии обрезанием, лязгает почем зря ржавой бритвой и, конечно, торгуется. Цена у него, впрочем, на все одинаковая: смерть. Смерть, например, Кристиану Хённерупу. Он сидит у себя в Дании, рисует ведра и кочаны капусты, и редактору "Ютландской почты" не кажется, что это карикатуры. Конечно, рука нет-нет да и подрисует на кочерыжке мусульманскую бороду, и тогда Кристиан берет карандаш в другую руку и начинает все сначала... Взметнувшиеся к небу зады, оттянутые кораном носы. Взятые с обратным знаком, от смеха к слезам, эти карикатуры сели бы на историческую, с видом на победивший материализм, мель, так и не докричавшись до главного: до интеллигентного человеческого Зверя, шествующего по пятам Лжепророка. Этот, заблудившийся в кошмаре одинаковых завитушек *фантазирующий недоумок*, ему не надоело еще *реформировать ислам*, при этом несколько ислам не затрагивая, только глядя тайком его срамные места. Реформатор, он же фантазирующий, сидит на затертом Лжепророком коврик, с пятнами крови и нечистот, сидит на дрянненьком, замусоренном многовековой торговлей базарчике, сидит

и... воображает. Вообрази, что это и есть твое будущее, гарантированное тебе безгрешностью генералиссимуса Аллаха. И Аллах не был бы всемогущим, этот производитель-отец, не окажись среди брякающих у него между ног орденов Большого Ордена Чести: родовой, семейной и мужской. У баб честь, как правило, отсутствует, им просто занавешивают чем-нибудь морду. И мыслящий Запад домысливает под пыльными черными мешками то волосатые ноги, то бритые полумесяцем подмышки... ах, воображение!

Кристиан Хённеруп рисует исключительно мужчин. Это, как правило, старики. С высохшими икрами и бицепсами, с отвислыми морщинистыми жадами и дряблыми двойными подбородками, эти его герои конкурируют между собой в безобразии. У многих еще при себе эригированные члены, и Кристиан метит каждый из них то плюсом, то минусом, воображая при этом *дурную* бесконечность.

Среди этих стариков есть и его умерший отец, его Кристиан рисует особенно тщательно: прямая, с покатыми плечами, спина, натруженные предплечья, облысевшая макушка. Руки у отца грубые, он перелопатил за свою жизнь тонны земли, под глазами неподъемные мешки. Отец не советует Кристиану дразнить Аллаха, а тем более, вымогать у него какое-то чувство юмора: чего нет, того нет. Отцу должно быть с Луны виднее: земля катится под гору, волоча за собой напрасные человеческие мечты. Мечты о красоте и величии, благородстве и славе. Напрасно..! Напрасно искать в этом зеркале свои так и не проступившие черты, искать среди трещин и расползающихся веером пятен... Один раз, впрочем, Кристиан увидел возле самой рамы свое имя: наспех написанное пальцем на запотевшем стекле, оно висело матовым облаком над подпирающим его восклицательным знаком, грозя в любой момент соскользнуть в давно не мытую раковину. Взяв мокрую губку, Кристиан проводит ею туда-сюда по зеркалу, мочит и снова проводит... но ни одна проклятая буква не покидает своего на зеркале места, дразня его именем голубые кафельные стены: "Кристиан!" И прямо из зеркала на него смотрит... отец.

Мысленно перебрав все известные ему психиатрические диагнозы, Кристиан выскакивает из ванной в тесную прихожую, дергает входную дверь, бросается через комнату на балкон, садится на бетонный пол, находит недокуренный бычок и зажигалку. Что, если отец и в самом деле тут? Ведь не за все свои промахи Кристиан получал в детстве порку, кое-что он ведь утаил, и отец с Луны должно быть теперь это видит. Видит, например, как Кристиан вынимает из кошелька матери пять крон... Нет, нет, нет, только не этот позор! Уж лучше пусть увидит, как к Кристиану клеится одноклассник, как Кристиан бежит от него по двору, опережая растопырившую крылья курицу, бежит в деревянных сабо, спотыкается, падает прямо на раскудахтавшуюся курицу, щупает вскочившую на голове шишку... Ему не попало тогда за курицу, хотя ее и пришлось зарезать. Не попало ему и за его трехдневное отсутствие: он спрятался в построенном им самим... гнезде. Он свил его из лозы и веток на стволе старого бука, оттуда можно было смотреть вниз, на двор и курятник, на соседских кошек и дремлющую в шезлонге старуху, смотреть и играть с самим собой в шахматы, норовя при этом себя же перехитрить... Наверняка отец разглядел теперь все это с Луны!

Осторожно приоткрыв балконную дверь-купе, Кристиан идет на цыпочках мимо стола, дивана и электронной "Ямахи", идет в прихожую, останавливается возле ванной... рывком распахивает дверь... И зеркало выступает ему навстречу белесыми мыльными буквами: "Кристиан!" На этот раз он зол, пусть даже отец явился с Луны

его отчитывать: он переправит это имя на другое! Так мало в жизни подходящих имен... да оно всего-то одно...

Серафима.

В конторе, куда ходят от нечего делать бездельники и безработные, можно выпить бесплатно стакан воды, бесплатно почитать газету. Можно вспомнить свою почти уже прожитую жизнь, придраться к ее никчемности, обвинить ее в беспросветной скуке, да

просто пнуть ее: разве это жизнь? Ее и тут, жизни, тоже нет, зато есть уверенность в том, что тут, на краю света, *лучше*. От этого "лучше" многим становится даже хуже, становится совсем плохо. А очередь тем временем движется.

Очередь за хлебом.

Впереди Серафимы мнется, ни туда, ни сюда, какой-то писатель... она догадывается об этом, едва взглянув на его холеную бороду. Такой веник не отрастишь, просто забывая бриться, тут требуется культ. Культ сходства с карикатурой. Железобетонная серьезность, с которой подобный культ в жизни осуществляется, могла бы вызвать зависть у любого высокооплачиваемого политика, заодно окропив сладостью подхалимства политика малооплачиваемого: вот он, *человек убеждений!* Убеждений, впрочем, всего только два, и оба сидят у человека

в печенках: "Авторитет вечен!" и "Вечен авторитет!" К этой паре убеждений как нельзя лучше клеится фотогеничная поза *борца*, борца к тому же горца, в обязательной черной кожаной куртке с зашитой до подбородка застежкой, чтобы дорогостоящую вещь не отнял враг.

Писатель стоит в той же, что и Серафима, очереди, и окружающая их хлебная контора давно бы уже была упразднена, окажись у каждого, кто пришел от нечего делать сюда, *счастливая возможность*... ах, это чужое, забугорное счастье! Большинство, а это *приезжие в первом поколении*, ни в какие возможности, в том числе и счастливые, не верят, предпочитая невозможное: томиться тут вечно.

Писатель стоит в этой очереди уже восьмой год. Уже успела дорасти до нагрудного кармана с банковской карточкой черная кавказская борода, уже можно ею мести пособия и компенсации, можно укутывать ею свое же, в пуху, рыло. Окажись тут Кристиан Хённеруп, он бы, может, подкрасил эту бороду зеленым, чем не государственный флаг, может, приделал бы игривую поросячью завитушку к писательской кавказской чести.

- Такая борода, - сообщает хлебной очереди Серафима, - была только у Достоевского, только, может, у Толстого...

Услышав *родной язык*, писатель по привычке хватается за автомат, но на этом месте теперь у него разрешение на жительство. Теперь приходится быть скромнее. Родной язык, впрочем, чеченец не понимает, при нем восьмой уже год здешний переводчик: мотается за ним туда-сюда, из магазина в контору, из автобуса в поезд, хватая жабрами почасовые, от государства, гонорары. За этого переводчика писатель не дал бы и ломаного гроша, но с ним он заметная фигура. Бывает, сыплешь без разбора конфискованную у врага матершину, и

переводчик лезет за каждым словом в словарь, а там - ни фиги. Вот Анята Полипегасова, та понимала, интеллигентная была женщина. И кто только ей голову отрезал? Ей чуть было не дали нобелевскую премию, раздумье было в том, как эту премию обозначить: премия мира или премия войны. И пока думали, совещаясь с Бу Кварком, голова Аняты, завернутая в газету "Комсомольская Москва", куда-то подевалась. Эта околотитературно-политическая сестра милосердия, с дорогой косметической слезой на запудренном гонорарами лице, почти уже купила чеченцам их свободу: свободу говорить то же самое, что и она. Половина Чечни ломанулась ради этого в разные Лондоны, и назад никто уже добровольно не хочет. Спроси этого бородатого писателя.

- Такая борода, кстати, была у Ибсена, - приглаживая солдатской ручищей растрепанный веник, удовлетворенно подсказывает он. Он видел Ибсена на картинке, и если говорить честно, борода Басаева ему нравится больше. Эх, боевой товарищ, одноногий пират! Это его писатель имеет в виду в своих "Сказках и баснях", предназначенных для дошкольного, в черных кожаных курточках, читателя. Пусть каждый, кто еще не научился читать, слюнявит пахнувший порохом и мазутом пальчик, пусть водит им между строк, нащупывая нелегальные нефтяные скважины: воруи, прячь, продавай, ты в *своей* стране. То есть в России. И пишет бородатый писатель, кстати, по-

русски, хотя переводят его с чеченского. И немного становится ему не по-чеченски, когда кто-то упоминает при нем о бороде Толстого и Достоевского. И еще хуже, когда кто-нибудь выковыривает из истории изюм: народ в полном своем составе, со всеми своими конокрадами, человекопродавцами и черными вдовами, подался из православия в ислам и там навсегда, слава Аллаху, увяз. Анята Полипегасова называет это свободой совести: красиво, а главное, *научно*.

В хлебной очереди есть, кстати, и голодные. Те, кого угораздило в прошлой своей, теперь уже ничего не значащей жизни получить *высшее* образование. Приезжий с высшим образованием выглядит в этой маленькой богатой стране почти столь же подозрительно, как и террорист. Попробуй только сказать, что ты, к примеру, философ-филолог-биолог-геолог-фармаколог... ты оскорбишь этим здешнюю национальную гордость, заодно убедившись в том, что гордость никак не может не быть национальной. Другое дело, когда ты просто клянчишь деньги... побираешься: твоя так называемая идентичность смывается в сортир, и это, заметь, комфортабельный сортир.

Идентичность чеченского Толстого-Достоевского-Ибсена состоит в его схожести с... Анятой Полипегасовой. Первой это заметила газета "Бляд", вмазав бородатый портрет в воскресный разворот : *писатель города*. То есть городу, конечно, плевать, мало ли тут других паразитов. Но "Сказки и басни" дают теперь в городском супермаркете вместо сдачи.

Хлебная очередь подталкивает Серафиму к приклеенному к телефону уху государственного хлебного консультанта, и она в это ухо кричит, что у нее нет денег на собственные похороны.

- Вот оно что, - деловито кивает консультант, - сейчас мы это выясним.

Он лезет в компьютер, звонит, отлучается в соседний кабинет, звонит, снова лезет в компьютер... И те, кто в очереди, знают: он неплохо получает за *это*. Любой бы сел, если бы мог, на его место. Но вот наконец выяснено:

- Никаких пособий на похороны! Ты не политический беженец, не угонщик самолетов, не приговоренный к смертной казни массовый убийца, не беспаспортная жертва природной катастрофы, ты даже не алкоголик, не гомосексуалист, не наркоман! Ты... кто ты такая?

Толстой-Достоевский-Ибсен толкает мерзнущего у него за спиной толмача, тот лезет в словарь, понимающе кивает:

- Да, кто она такая? Такая не годна даже в шлюхи!

И хлебная очередь деловито шуршит заявлениями: такая... такая... еще и такая... И государственный хлебный консультант обнадеживающе советует:

- Кругом полно камней, ешь их вместо хлеба!

Вот так, ввиду своей окружающему миру ненужности, ты и приходишь к земле. К *своей*, может, земле. И это последнее, что жизнь тебе еще может дать. Земля есть, конечно, и на кладбище, но там это стоит дорого, да ты пока еще и не умер. И это "пока" может растянуться, кто знает, на какие годы... и ты опускаешься поэтому на землю. Сядишься на этот мох, ложишься на эти листья. Ты видишь, что все здесь как дома, как и должно быть, и ты наконец сюда вернулся.

Как будто и прежняя жизнь прошла тоже на этих камнях. В этих расселинах, в этих щелях отдыхают от времени силы солей и формы кристаллов, прячутся корни. Деревья не стояли бы так прочно, не окажись у их корней возможности *блуждать* по каменным лабиринтам. Еще прочнее стоит на камнях вереск.

Давно, еще не перестав убивать своих нерожденных детей, Серафима узнала наконец, откуда она родом: *ее* род, без каких-либо извинений перед ее родителями, сворачивает к самым интимным ее о себе представлениям, к ее легкому, летящему, танцующему *Я*. Конечно, такое случается редко, чтобы *Я* говорило о себе открытым текстом, как правило это всего лишь намек, тихое, не требовательное напоминание, словно кто-то вдали едва

шевелит губами. И это, должно быть, что-то уж очень важное, если тебя в твоей сонливости наконец пробрало, если ты орешь спросони: "Я-Я-Я-Я!!!"

Нагретый солнцем песок, белый, речной, он остался от прежнего, давно высохшего русла. Здесь выросли сосны, взбугрив своими жилами-корнями сухую, скудную почву, и тут же на песке обосновался побрусничник... вереск! Чужак и незванный гость. Лиловый, сиреневый, белый. Серафима сидит на песке и слушает. Тихо, так тихо подкрадывается к ней эта весть: "Этого никогда в твоей жизни не будет, если ты не соберешься прямо сейчас, сейчас... Никогда, никогда... Собирайся немедленно! Здесь! Сейчас!"

Такие вести приходят не часто, и от них веет смертью. Все прежнее было только отсрочкой: дети, недостроенный дом... отсрочкой перед главным, перед *готовностью к себе*. И теперь, в шмелином над вереском гудении, слух Серафимы полон этой вестью: "Твое время, оно пришло... здесь... теперь..."

И хотя впереди еще не написанные диссертации и другие, пока еще не рожденные дети, и инерция самодеятельности судьбы еще так велика, все же судьба ухитряется исполнить свой перед прошлыми жизнями долг: она Серафиму *поднимает*. Вставай, собирайся! Собирайся, пока еще не отцвел этот вереск-побрусничник, лиловый, сиреневый, белый. Пока это неспешное августовское тепло еще качает в сонной паутине твое к этой жизни доверие.

Самодеятельность судьбы могла бы увлечь Серафиму гораздо дальше, дотацив до очерчивающих жизнь горизонтов известности и успеха, привесив к грузу самой жизни грузило карьеры... Ах, нет, не могла! Сколько не откладывай главное на потом, сколько не избегай с ним встречи, сколько не пускай себе же в глаза золотую пыль, оно, главное, неизменно перед тобой, оно, если надо, перешагнет вместе с тобой смерть. "Значит, все это придется бросить, - сидя на нагретом солнцем песке, ежится от озноба Серафима, - Но ради чего?"

Нет в этой пустыне никаких ориентиров, ветер давно сорвал все вывески. Тебе остается только идти на *ясный огонь*... Эй, фонарщик! Да не ты ли это *сам* приставляешь к *своей* высоте лестницу?

Даже и теперь, двадцать лет спустя, Серафима не осмелилась бы сказать, ради чего она здесь, на этой, теперь уже *ее* земле, на этом заваленном замшелыми валунами могильном холме. Теперь уже осень, внизу, под скалами, рыжеют березы, забытая среди мха ягода брусники ждет первых заморозков... Осень уйдет, закутавшись в туман, и у тебя ничего уже не останется, ничего, кроме этих, едва заметных среди камней тропинок. Засыпанные листьями и хвоей, они мягко проглотят твои шаги, и ты, оглянувшись, не узнаешь больше в лицо своих сестер: беспокойство, тоску и отчаяние.

Крестьянину Бьёрну, сажающему возле леса картошку, есть до Серафимы дело: он хочет ее *нанять*. Чем она хуже шустрого вьетнамского муравья, прячущего под соломенным конусом готовность трудиться вечно? Живо, на машину, к конвейеру! Трактор ползет по борозде, заглатывая вместе с камнями и комьями земли высохшие кусты картофеля, на транспортере грохочут крупные и мелкие снаряды и бомбы, глаз высматривает, руки хватают... Теперь она тут, твоя земля. Тут, кстати, поблизости кладбище.

Бьёрн примечает: необычная, *немуравьиная* ловкость хватающих картошку рук, да прямо виртуозность. Должно быть, Серафима этому где-то училасть, и надо же, в России... Бьёрн слышал, что там одни дураки, медведи и воры. Бьёрн слушает грохот перегруженного транспортера, смотрит на медленно проглатываемую трактором борозду... Ему любопытно, уйдет ли с дороги лось. Лось тоже его собственность, так же как камни и комья земли, утрамбованная гравием дорога, журчащий в канаве ручей. Жизнь лося затянется, может, на месяц-другой, потом его теплое сердце охотник бросит собаке... Лось не верит в могущество тракторов и приборов ночного видения: запах его собственной мочи куда важнее. На этот разносимый ветром запах собираются осенью лосихи, хотя возле дороги дежурит уже охотничий мерседес. А вот и сам охотник: с

биноклем и лучшим в мире оптическим прицелом. Вполне состоявшийся идиот с *юбилейным* типом мышления, охотник мнит, что одерживает над природой победу. Вот он, незабываемый миг: охотник швыряет псу лосиное сердце ! В корзине набирается до дюжины вырезанных сердец.

Охотник охотно верит в то, что он и есть наиболее развитая часть этой охотничьей нации, путающей с куропатками собственных жен, угомоняющей соседа молотком, топором или электропилой. И если однажды грянет война *всех против всех*, охотник не станет мешкать, нет.

Лось неспеша отходит в сторону, смотрит на проезжающий мимо трактор, мочится. Сегодня его точно не пристрелят. Можно поэтому есть картошку прямо из ящика, стоять тут целый день, лениво посматривая на медленно ползущий по полю комбайн. Лось знает, что пока еще не сезон, и его лосиное сердце, будучи гораздо крупнее человеческого, ликует: эти чащобы, эти капустные, картофельные просторы! И знал бы лось, чем занят теперь охотник: читает *кримы*. Рождественский, пасхальный, политический, экологический, гастрономический, крим удовлетворяет жажду охотника наподобие "Фанты": чем больше пьешь, тем больше хочется, пока не лопнешь по швам, вполне криминально.

Криминальный писатель отличается от охотника разве что численностью вырезанных им напрочь сердец: писателю везет гораздо больше. И самые великие криминалисты, конечно, бабы: они берут вооруженного до зубов мужика... языком. Болтливый, несносный, надоедливый *криминальным языком*. Эти бабы сюжеты, сколько в них *ума!* И этот ум, заметьте, не женский. Какой, не твоего ума дело. Твое дело, платить за эту блевотину. Блевотина, заметь, тоже не женская. Ее *культивируют* равноправные с мужиками лесбы. Те, что равноправно лежат на ассистированно осемененных девках. И подсобляющий этому осеменению равноправный с мужиком гомофил может подтвердить: "Нам не до смеха. Нам, намыленным в заднице глистам, надо изгрызть до последней трухи криминально разлагающийся труп культуры!"

Картофельный Бьёрн не верит в реальность гомофила, лесбы и крима: ни то, ни другое, ни третье не имеет ничего общего с его землей, и удобрять эту землю лучше всего обыкновенным коровьим навозом. Бьёрн читает "Крестьянскую газету", хотя там ни слова нет ни о принцессе, ни о взятом ею в мужья говорящем манекене, ни даже об отлитой в бронзе живой пока еще старухе-плясунье, щекочущей светскими кладбищенскими ужимками Национальный театр... Они-то, люди со *статусом*, думают, что картофельному крестьянину есть до них дело. Но ему важнее картошка.

Зимой, пока охотники жиреют до следующего сезона, Бьёрн кормит в лесу лосей и косуль, вываливая им из грузового прицепа морковь, капусту и репу. По крайней мере, о нем животные плохо не думают. Этот, к примеру, лось.

Руки Серафимы проворно хватают комья земли: туда! Хватают картошку: сюда! Хватают... да что это? Вырытое из земли сокровище? Редкая находка?

Крыса!!!

Втянутая в адский грохот транспортера, побитая камнями, картошкой и комьями земли, крыса выезжает в конце концов на сортировочную ленту, и тут ее... хвать! Взъерошенная, с застывшими от ужаса бусинами-глазами, она ждет, зажатая в руке Серафимы, приговора. Бросить ее обратно на транспортер, пусть едет вниз, в повторный ад, под колеса громоздкой машины? У крысы густой рыжевато-серый мех, она хорошо подготовилась к зиме, и дома, в норе, у нее должно быть не пусто... должно быть есть у нее родственники... Держа крысу в руке, Серафима ощущает под прорезиненной тканью перчатки некоторое тепло... тепло крысиной жизни, и разве это не чудесное ощущение? Ощущение нетерпеливости, жадности, настырности, ненасытности.

О крысе, может быть, кто-то еще вспомнит, все-таки животное, кто-то соберет в ее защиту пожертвования и взносы, сделает более *гуманным* использование крысиного яда. Другое дело, *твоя* крысиная ситуация: тебе, вырытому, выброшенному из почвы,

транспортированному, побитому, измятому, схваченному, стиснутому, тебе остается только считать себя... крысой! Всеми презираемым мелким грызуном, паразитом и приживальщиком. Таков твой человеческий удел. И крыса поэтому летит обратно в поле, озадаченная своим чудесным спасением.

Русский везде дурит, то есть делает то, чего *умом* не понять. Не понять в том числе и русским умом. И самые находчивые, а это попы и юристы, давно уже поменяли ум на веру. Веруй, даже если тебе больше ни во что не верится. Хлопай крыльями веры так, чтобы тебя несло... и куда тебя только черт несет! Несет, к примеру, на красный свет. И если бы это был просто бордель, а то ведь... государство. Но ты верь! Вера украшает твое безмыслие. Главное, не допустить при всей твоей сегодняшней дури самую последнюю, малознакомую тебе еще дурь: самопознание. Тогда конец твоему сну. Тебе, что, спать надоело?

Самопознание - это будильник. Заведенный на определенный час, этот механизм может и не сработать: слишком слаба пружина. Слишком она растянута враньем, слишком запылилась и заржавела от твоего же лукавства. Но будильник поставлен на определенный час, приуроченный к твоей зрелости, и стрелки попросту проедут мимо, указав лишь на копирующее само себя ребячество. Слава, размножение, деньги, к этой детской мечте присоседится, быть может, грусть о смерти, и это все.

Самопознание начинается с искренности, и к ней, в свою очередь, ведет долгий путь. Наконец-то ты начинаешь замечать уродливость своих же движений: да ты просто калека! Но что-то ведь в тебе все это замечает, отстраняясь от твоего уродства. Что? Как раз это ты и должен выяснить. Должен подступиться к своему полюсу холода... полюсу жара. Подступиться к своей закутанной в туманы абстракций душе, к душе-незнакомке, задать этому сфинксу вопрос.

Лось все еще стоит посреди поля, лениво подбирая из пропаханной трактором борозды раздавленную колесами картошку. На соседнем поле, покрытом щетиной стерни и молодыми зелеными всходами, одурело кричит фазан, перепутав теплый октябрьский день с пасхой. И болтливый рокот мотора идет на мировую с адским шумом картофельного камнепада, заглушающего в ушах Серафимы ликующую медь моцартовского "Юпитера"...

Моцарту служат эти вросшие в землю драконы: разумность и расчетливость. И все какие есть в мире зеркала восторженно отражают его сверкающую, спешащую прочь утонченность, при этом ничего не зная о ее глубине: глубине *пробуждения сознания*. Так тесно сознанию в этой механике, в этих "раз и навсегда"! И пока драконы сидят на цепи, привораживая выпученными глазами смерть, *сознание смерти* похищает из механического пространства-времени только что родившееся *Я*, смеющееся, спешащее прочь.

Моцарту нравится этот старый рояль. Он усаживается за него в полдень, когда стоящие за домом ели выпускают пойманное ими солнце и оно оказывается на некрашеной деревянной стене, на клетчатом пледе, на стопках потрепанных нот. В тесной, едва вмещающей рояль комнатушке солнце задерживается всего на двадцать минут, уползая затем дальше, на деревянную террасу и стриженный газон.

Этот рояль вряд ли окажется когда-нибудь на сцене, но Моцарт облюбовал именно его: это и есть судьба, для которой сценой являешься *ты*. Тысячи рук молотят во всем мире моцартовские сонаты, но кто же знает, зачем Моцарт все это писал? Тот, кто знает, тот одинок. И до другого похожего одиночества едва ли хватит жизни, чтобы добраться.

Моцарт живет только в Европе и только там, где есть еще старые, проверенные трагедиями небеса. Его удел - подниматься из пепла, не придавать смерти значения, играть с нею. И смерть открывает ему свою тайну: тайну перманентности жизни. И она несет уже, смерть, к новому в этот мир рождению.

Моцарт живет только в Европе, и пока он в ней живет, кое-что еще можно спасти: майское солнце, фиалки, журчание ручейка... Спасти от безотказно тиражируемой по

всему миру кладбищенской виртуозности. Это трудолюбивое неприятие свободы! Это механическое муравьиное усердие, помноженное на завистливую скуку карьеры! Этот желтый стереотип!

Моцарт живет только в Европе, здесь он достаточно одинок.

В лесу никто никого не торопит умирать, тут можно надолго расположиться: прорасти, стать деревом. Стать в конце концов тропинкой. Откуда они, тропинки, берутся? Их пробивает в чаще чье-то настырное любопытство: смотри-ка, болотце, поваленная сосна... и сюда, заметь, никто никого не зовет, сюда только *забредают*. Отсюда до ближайшего концертного зала в Осло всего сорок минут езды, но стоит ли, подумай, давать отсюда деру? Нет больше таких концертных залов, где музыка не теснилась бы перед виртуозностью. Люди покупают билеты, садятся на стулья, ждут... ждут, когда окупятся уплаченные деньги. И уплаченные деньги окупаются азартной точностью попадания всех десяти пальцев в заранее назначенные пункты: попал!.. попал!.. попал! Попал Моцарту прямо в солнечное сплетение, под дых. И пусть он, бездыханный, припоминает, что не был никогда лауреатом. Скоро, уже скоро виртуоз победит *музицирующего*, и все толковые словари сойдутся на том, что виртуозность, это и есть интеллигентность. Интеллигентность считающего ума.

Профессор Изя Шулер, опередивший в счете других окружающих его профессоров, давно уже заметил, что музицировать... опасно. Смертельно опасно! Попробуй только начни, и вся твоя достойно прожитая *трудовая жизнь* покажется тебе карикатурой на само это достоинство. Одну такую карикатуру показал Изе Шулеру заезжий скрипач, и хорошо, что он был только заезжим. Этот, музицирующий. От одного его имени у Изи начинается диабет... да, такая вот неразбериха с сахаром: сладко, но невыносимо. Этот музицирующий скрипач как-то явился Изе во сне и предложил *помузицировать* вместе... ничего более ужасного Изи в жизни не видел! Но поскольку дело было во сне, он этому соблазну-таки поддался: расстегнулся, разулся... шляпу, правда, не снял, под ней у него уши, он их никому не показывает. И вот так, в шляпе, Изя решился... хорошо, что это было только во сне! Заезжий скрипач представил Изе своего попутчика, и им оказался, о ужас!.. им оказался Моцарт! Живой, натуральный. Правда, держится он на некотором, ну что ли, моцартовском, расстоянии. На глаз прикинув от себя до Моцарта дистанцию, Изя хотел было приподнять над макушкой шляпу, но вспомнил про уши, вспомнил также, что голова у него профессорская... а ведь Моцарт, хе-хе, профессором никогда не был! Его бы, Моцарта, не выбрали *по конкурсу*! Кому он, *такой*, нужен!

Заезжий скрипач тем временем плывет куда-то, закрыв для лучшей ориентации глаза, или летит... летит над задрапированными национальными флагами горными вершинами, над нищенскими многоэтажками Нью-Йорка... летит мимо... И Изя только машет ему вслед, зная наверняка, что тот обязательно вмажется лбом в стену. Видит это, со своего моцартовского расстояния, и Моцарт: он целится в летящего из лука... из всамделишного, с боевыми стрелами, лука! И вот стрела уже летит, сверкая золотом на солнце, вот уже пробивает насквозь... ах, это же шляпа Изи! Шляпа несется вместе со стрелой дальше, и не догнать ее, не спасти, и уши видны теперь на свежей, экологически розовой, цветущей лысине. На одном ухе треплется подцепленная с угла паутина, на другом висит какая-то лапша... "Опять эта дура, - думает Изя об оставшейся дома жене, - забыла обмести их!" Жене позволительно на его *серые* уши смотреть, она дальтоник.

Но Моцарт...

Он смотрит *игриво* из своего далека, он даже подмигивает Изе: "Вижу!.. Вижу!!" Попробовал бы он сунуться с этим своим *видением* в нормальный во всех отношениях ВУЗ! Туда ему, Моцарту, не дорога. Пусть думает, что ВУЗ, это *всеобщее узаконенное злоумышленничество*! Какое нам, профессорам, до этого дело.

Тронув над лысой макушкой уши - торчат, проклятые! - Изя замечает, что стрела... повернула обратно! Она несется теперь прямо к нему, и поздно уже бежать, улепетывать... а-а-а-а!!! Ветер, вихрь, ослепление, хаос: "Перестань быть виртуозом!"

Из этого кошмара Изя вынес догадку: он мог бы, еще не все потеряно, мог бы перестать вздергивать за жабры задыхающуюся музыку, мог бы начать... музицировать! Но никому, даже оставленной дома жене, Изя об этом не расскажет.

Пожалуй, только русский, в силу своего вечного "потом" и с благословения "авось", и может еще улизнуть от тотальности разумно-расчетливого дракона: улизнуть в... пустоту. Русская душа пуста, если нет в ней никакого томления, этого, пока еще не сбывшегося, "что, если..." Что, если светлое будущее грянет? Что, если оно окажется еще светлее? Что, если грянет тьма? И пока русская душа томится и мечется во сне, сам русский лезет в первые ряды, перемахивая через штaketник закона: "Видал наших?" И тот, кто видал наших хотя бы в телевизоре, тот уверен: эти придут. Они-то, наши, и есть те жуки-могильщики и грифы-санитары, что подсобляют природе: даешь чистое поле! Русскому надо как следует запустеть, выветриться и выгореть, прийти для самого себя в полную негодность. Так, чтобы даже соседу стало ясно: "Этот готов".

Готов поставить на себе крест.

Вот тогда-то, в полном безветрии над остывающим пепелищем, и начинает медленно расцветать русская *воля*. И ничего, что сосед не видит ей пока никакого применения. Если бы демократия, поднатужив размазанную по общественному мнению понятливость, прикинула бы на себя эту не по ней сшитую одежду, эту странную заинтересованность следовать своим, а не соседским, маршрутам, ее бы демократично вывернуло наизнанку: насилие, экспроприация, диктатура. Русская *воля к духу*, кто приютит ее в этом остывающем мире? Не ты ли сам, в твоём одиночестве?

12

Лось стоит возле картофельной кучи, повернув голову к лесу. Люди его не интересуют, у них всегда одно и то же: охота. Над взрытой колесами трактора пашей медленно собирается туман, виснет в ожидание ветра, густеет. И вот наконец молочная пелена трогается с места, движется в направлении жующего картошку лося. Этот белый воровской туман! Он тянется с одного конца поля на другой, и в нем тоже кое-что движется... лошади. Трое скачущих бок о бок всадников: только ветер в их головах. Туман забирает их ломкие очертания, глотает вместе с приглушенным стуком копыт, и вот уже ничего, ничего нет... Бьёрн знает, что среди этих троих его сын, черт его следом за Монтсеррат носит! Парень явно влюблен в эту ведьму, а ведь она на семь лет его старше. Она спит с ним без малейшей к нему привязанности, как спит со многими другими. С Лестничным Франком, например, с этим старым, пропитым и прокуренным длинноволосым хиппи, сидящим посреди рабочего дня за столиком кафе и болтающим об американских автомобилях. Бывает, ему кивает, проходя мимо, Хельге, подсаживается к нему, и оба смотрят на выкрашенную в ярко-фиолетовый цвет американскую каракатицу: такого чудовища нет больше ни у кого в этой стране. Эти двое матерые мужики, они не понесутся следом за Монтсеррат, но сын Бьёрна... он, похоже, имеет на нее виды. Ведьма, шалава, паскуда! Впрочем, Бьёрн вежливо здоровается с ней в магазине.

Туман несет всех троих прямо к лосю, и тот, предупредительно взбрыкивая в воздухе передними ногами, нехотя трусит прочь, провожаемый конским ржанием.

- Бьёрн! - кричит Монтсеррат на скаку, - Тебе нужна помощь? Ха-ха-ха! Рабочие руки?

И лошади уносят их дальше в туман. Бьёрн чинит застопорившийся транспортер, залезает в кабину трактора. Сидел бы его сын в кабине вместо него, перебирал бы на худой конец картошку... Бьёрн заводит мотор, машет рукой Серафиме: "Поехали!" И грохот картофелин и камней заглушает его сердитое бормотанье: "Чума! Холера! Свиной грипп!"

Кто-то пристально за Серафимой наблюдает.

Она улавливает в тишине чье-то затаенное присутствие, и ей кажется, что вот-вот кто-то войдет в дом... но только белки, только они хозяйничают на террасе. В саду поспевают яблоки, спеет на камнях дикая ежевика, и пригревшейся на солнце медянке скорее охота оказаться раздавленной посреди дороги, чем отползти в тень. По дороге едет неспеша телега. На ней возили когда-то мешки с картофелем и мукой, ездили в поле на работу. Небольшая смиренная лошадь лениво, больше делая вид, что идет, переставляет лохматые ноги, на козлах понуро сидит Лестничный Франк, едва держа в руках поводья, да он, похоже, спит... И сзади, на самом краю, спиной к нему сидит Монтсеррат. Она не смотрит по сторонам, только провожает взглядом медленно откатывающийся прочь пейзаж: рябины, ели, сложенные штабелями дрова, замшелые камни. Скоро позади останется и эта виднеющаяся за кустами терраса, некрашенный посередине стол и два стула... Телега едет так медленно, словно вот-вот остановится, и Монтсеррат на миг поворачивает голову, смотрит... видит! Она видит себя за этим столом, на этой неудобной, без ступеней и перил, террасе, и она думает, как думала совсем еще недавно: "Хорошо тут, хорошо с тобой..." Можно соскочить с телеги, Франк ничего не заметит, можно пробраться через кусты... Можно кричать, сколько угодно: "Твоя!" Но Хельге этого не услышит.

Лестничному Франку все равно, куда и зачем ехать, он просто сидит. Он сидит так на заросших крапивой, облупленных ступенях перед домом, вытянув ноги в стоптанных, воняющих мочой тапочках и смотрит на проезжающие мимо автомобили. Он сидит так уже двадцать с лишним лет, и ему еще не надоело. По ходу дела он пьет, конечно, пиво, дешевое, в двухлитровых пластиковых бутылках, смахивающее на мочу, пиво... все равно с него только моча. Бывает, на ступенях остаются лужи. Его дырявые, растянутые на заду и на коленях трикотажные штаны стирала все эти годы его бывшая школьная подруга, сбежавшая к нему от кого-то другого, и она пила еще больше. Рыхлая, мягкая, *милосердная*, она годилась именно для этого: пить и мочиться, не просыхая. Однажды он застал ее, безобразно громко храпевшую, в доме на лестнице. Лестница круто вела на второй этаж, под нею валялось на полу ее мягкое пальто. И хотя это было не в первый раз, Франку стало вдруг очень противно. Скорее всего потому, что сам он был тогда трезв. А на трезвую голову ведь... приходят решения! Он сгреб ее, храпящую, как кучу тряпья, в охапку и перевалил через перила. Он услышал только приглушенный, ватный шлепок, и храп на этом прекратился. Потом его таскали в полицию, выясняли *обстоятельства*. Выясняли несколько месяцев и наконец выяснили: Франк ее не убивал. Эта дура сама спьяну перелезла через перила, она хотела просто поднять пальто... да, на лестнице сквозило.

И Франк по-прежнему сидит и пьет пиво, глаза на проезжающие автомобили, в тех же самых, давно уже не стиранных штанах.

Сидя на телеге к нему спиной, Монтсеррат напряженно смотрит в сторону террасы, слушает: кажется, это Моцарт... тут, в лесу. Значит, Франк не соврал, что с ним случается редко: тут кто-то поселился. Кто-то посмел пренебречь неустроенностью и бедностью ради какой-то своей роскоши...

Кто???

Два дня назад Монтсеррат встретила в аптеке Хельге: задела его локтем и плечом, украдкой, в беглом повороте, улыбнулась, кивнула. Пусть знает, что она желает получить его обратно. Она желает, желает... и нет ничего в мире горячее ее желания! Но Хельге даже не взглянул на нее, даже не скосил взгляд, даже не посторонился: протолкнулся сквозь очередь и прошел мимо. И она только понеслась вслед его холоду: "Твоя! Твоя! Твоя!"

Она медленно едет теперь мимо его дома, свесив ноги с деревянного настила телеги. Лошадь еле тащится, плетется, Лестничный Франк роняет во сне поводья...

В лесу осталась кое-где черника: полусохшая, подмороженная. И дело не в том, чтобы ее съесть, а чтобы найти. Сесть на моховую подушку, тронуть варежкой готовую

упасть ягоду. Так холодно и тихо, так бесконечно до всего далеко. Гряда скал и валунов отделяет сбросивший золото березовый лес от густого молодого ельника, дальше пустеют поля. Так тихо воцаряется в природе осень, так незаметно уступает она место зиме.

Сев на рукавицы, Серафима слушает: кто-то едет на лошади. Она сидит в стороне от тропинки, возле края обрыва, и только обросшие серым лишайником камни, только они ее и видят. Во всем Харпестаде не найдется никого, если не считать Бьёрна, кто бы ее знал. Вот так, утаившись, можно провести здесь остаток жизни, *своей*, между прочим, жизни. Дать забыть о себе знакомым, прекратить с друзьями дружбу, перестать писать письма. Научиться *выносить себя*. Здесь, в лесу. Смотреть на деревья, они старше твоего тела, у них есть опыт обледенения. Присматриваться к их вертикали. Выпрямляться.

За спиной у Серафимы всхрапывает конь, кто-то нашел ее здесь.

И прежде чем она успевает оглянуться, она понимает: это Монтсеррат. Она не спешит поэтому обернуться, глядя с обрыва вниз. И она знает, что Монтсеррат тоже на нее теперь смотрит: так смотрят на приказ о собственном увольнении. Недоверчиво, грустно, сердито. Конь снова всхрапывает, ему понятно это раздражение и смятение, это желание смести с дороги, растоптать... Столкнуть вниз с обрыва!

Серафима медленно оборачивается, оглядывает коня от копыт до черной, коротко остриженной гривы, и тот фыркает, нетерпеливо бьет копытом. Эта гордая, обидчивая страсть! Медленно переведя взгляд на Монтсеррат, она смотрит снизу вверх, молча и внимательно, как смотрят на картину или памятник. Смотрит на опаленное всеми красками небо, смешавшее закаты и восходы, готовое навсегда оторваться от земли... Приходит же в этот мир такая яркая, утонченная красота! Все, от рыжих волнистых волос до обтянутых черными лосинами икр, сделано из лучшего, какой только есть в мире, материала. Эти очерчивающие тонкую талию и плавно расходящиеся к бедрам линии! Эта стройность спины, расцветающая великолепием прямых плеч! Лицо Монтсеррат наполовину скрыто черной фетровой шляпой и кажется из-за этого бледнее и старше: лицо, выступившее из стертой временем неизвестной картины. Лицо гневного, страстного божества. Лицо демона.

Монтсеррат тоже на нее смотрит и тоже молчит, только конь нетерпеливо встряхивает прикрытой капюшоном головой. И то, что питает это обоюдное молчание, сродни странному, внезапному узнаванию: жизнь, разогнавшись на вираже, врежется в зеркало другой жизни. Вот она, точка касания, точка надлома, точка возвращения! И хочется что-то сказать... крикнуть на весь этот лес. Разбудить затаившееся среди скал эхо. Сорвать, может быть, голос на этом крике. Дать своему *эгоизму* зазвенеть в приятном для слуха вероломстве и вежливом лукавстве, в этой акробатике зла, восхищающей расчетливый ум удачным трюком: "И я смотрю, смотрю на Вас!"

Но этому молчанию нет конца.

Рванув поводья, Монтсеррат поворачивает обратно к дороге.

И тогда, на самом краю обрыва, Серафима наконец понимает, что самым сильным ее в жизни желанием было именно... стать Монтсеррат! Стать этой возвышенной, неподдельной, утонченной, восхищающей, опьяняющей красотой! Но теперь уже поздно, случай упущен, теперь это уже в прошлом. Теперь перед нею обрыв. Сорваться на золотые верхушки берез, скатиться вместе с валунами на скальный выступ, да просто рухнуть вниз... Теперь, на самом краю, ее эгоизм узнает себя в только что мелькнувшем здесь совершенстве форм: узнает в этой красоте... чудовище! Эгоизму следовало бы, пока у него не отрасли радужные крылья, отвернуться от сладких сиюминутных приманок: ненависти, неприязни, ревности, следовало бы уступить времени его притязания на господство и власть. Пусть время бескорыстно правит, давая тебе сойтись с другой душой.

Сойтись с Монтсеррат?!

Не лучше ли прыгнуть с обрыва? Осень сорвет с берез последние листья, зовя на постой темноту. Зима соберет ледяные осколки *разбитой мечты*: не здесь, не здесь... не в этой сладости одерживаемых судьбой побед. Только лишь в твоей *устремленности* к

весеннему, посреди темного ноября, небу, только там и место твоему победоносному эгоизму.

Среди открываемых в весну окон шире всех смотрит Рахманинов.

Он рано ушел из России, и не потому, что там ему не жилось... жилось!.. жилось!.. но по причине несвоевременности своего над нею парения. Он слишком рано взмыл вверх, позволив своей судьбе коснуться будущего. Но для кого оно, это будущее? Не для мавзолейных же, упакованных в красное, жрецов. Не для изощренного изобретательностью чекистов всеобщего счастья. Не для выбранных народом *нормальных мошек*, сосущих у вас прямо из горла нефть. Нет, будущее не для них.

Бывает, какой-то поп засмотрится на громоздящийся в небе колокол, и, перекрестившись, подумает: "Не тут ли *она* было?" Дальше ум попа не едет, но даже и так, на тормозах, нет-нет да и скрипнет о *высоте*, о *дыхании*. И поп снова крестится, ему по привычке страшно: вдруг да эта высота *твоя*?.. вдруг и дыхание тоже *твое*?.. вдруг *ты сам* за все это и отвечаешь? Поп справляется у другого попа, и вместе они, не перечая третьему попу, решают, что *этот ихний* Рахманинов, привесивший к небу *свой* колокол, не годится для *наших* колоколен. И мы, конечно, наши, давно уже истребили в нашей нормальной практике *рахманиновское дыхание*, мы, если надо, дыхнем перегаром счастливого строительства! Мы, нормальные. Мы строим высотки и подземки, мы несемся по нашим трансагистралам в наши зарезервированные для нас лагеря! И если кто-то при нас *вздыхнет* о недоступном, давно уже изгнанном и не вернувшемся, пусть сам же туда и проваливает, под этот колокольный звон. Поп истово крестится: "Так дышит черемуховыми холодами апрель, так ложится на прохладную еще землю весть о будущем зное. Но это ведь и есть Россия! Это ожидание, это предчувствие. Предчувствие в *себе* иных сил роста, ожидание *начала*. Там, за гранью апокалипсиса, за гранью представлений о конце, за гранью затянувшейся ночи... там ты наконец начинаешь дышать!"

Рояль занимает всю комнату, от стены до стены, и кроме окна, за которым лес, свет пропускают... портреты. Старик, знавший Рахманинова, знавший, пожалуй, Доктора... знавший тех, кто о них что-то знал. Эти его знания сегодня мало кому нужны, да и сам старик, профессор Огнев, давно уже ушел. Теперь, с колокольных высот, ему удобнее присматривать за Серафимой: так, чтобы простирающаяся перед нею жизнь не оказалась *отданной*. Отдают жизнь, как правило, все, и всегда ради одного и того же: известности, власти и денег... ах, скука! Профессор Огнев присмотрел Серафиму в Москве, среди множества тех, кто хотел чему-то у него научиться: из нее никак не могла получиться копия, только что-то *свое*. Серафима поставила себя в очень неловкое по отношению к *норме* положение: она над нормой *витала*. И ввиду повальной копировальности и тиражируемости, это было сродни преступлению, по крайней мере, это выглядело очень не патриотично, да. Ведь никто толком не знает, в чью сторону дует свежий черемуховый ветерок, в ихнюю или в нашу. А это ее *нехотение* не быть, это ведь... *хотение* быть! Так может хотеть-нехотеть только ребенок, да и то в три своих года, когда еще нечего ему вспоминать. Серафима же помнила многое, и это были в основном вещи скучные: школы, медали, дипломы и наоборот, дипломы, медали, школы... Пока старшие учат младших, стоя на страже своих должностей и званий, черт безмятежно качается в гамаке, лузгая свои чертовы семечки: эти олухи справятся и без него! То есть забьют сплюнутой им шелухой *подвергаемые обучению* мозги. И хотя мозги смахивают на расположившееся как раз над головой звездное небо, и каждой башке отводится свой небесный участок, только пользуйся, черт и тут позаботился, порасставил дорожные указатели: кирпич, объезд, минное поле... Эх, серое в башке вещество! Будь человек *только* разумным, он никогда бы и не вырослел, оставаясь вечным учеником-подчиненным. Для зрелости уму нужен отпуск и выходной, отгул, отъезд, отсутствие, развод, разъезд и раздел: думать одно, но *созерцать* совсем другое. Довольно уж ты намаялся с серой, в черепе, кашей, ты стал,

пожалуй, умнее самого себя, пустившись вдогонку за чертом, но ведь ты по-прежнему играешь в кубики, в крестики-нолики. И эта незрелость не знает ничего о детстве, ее законнорожденный плод - старость, ее жизнедеятельность - овладение собственным, честным, как трудовая книжка, некрологом.

Из укатившегося прочь времени Рахманинова, времени Доктора, времени, бросившего последний вызов надвигающейся ночи, смотрит на Серафиму этот портрет: он весь из огня! История, какой ее сделало усердие *специалистов*, не видит этот портрет в упор, и нет у нее, истории, ни малейших способностей видеть свою же слепоту: для этого нужно *созерцание*. "Эта *так называемая* наука, - дразнит синим взглядом окружающую ночь профессор Огнев, - эта лопочущая о видимой реальности научность! Это коллективное надувательство съехавшего с рельсов ума!" Он читал по-немецки книги Доктора, и сам же сжег их в чугунной печке на коммунальной кухне накануне прихода нквдэшников. При обыске обнаружили только ноты Рахманинова, и никто из нквдэшников, конечно, не знал, что за видимостью линий и точек утаилась бездна жизни: той, запрещенной жизни! Нквдэшники скомандовали Огневу сыграть при них, и когда он распахнул окно в дождливый сиреневый май, те только пялились на его пальцы, носящиеся ветром по клавиатуре, и было им скучно.

В последний раз Серафима видела профессора Огнева лет тридцать назад, и этот срок был дан ей для того, чтобы подготовиться к следующей с ним встрече. Здесь, в лесу. Теперь, когда почти все нажитое отброшено как негодное, когда даже дом, и тот потерял свой адрес, а собственное имя стало чужим, теперь только и можно начинать учиться... Учиться созерцать.

Не всем, конечно, нужно для этого покидать родные места. Они потому и становятся родными, что тебя так тянет от них прочь. Эта стартовая мощь, эта подъемная сила и есть, собственно, чувство родины, и оно вне всякой географии, оно есть *ты сам*. Но попробуй скажи об этом русскому: он тут же заговорит об *оборонной мощи*. Русский уверен, что нет ничего сильнее русской атомной бомбы, но нет у русского уверенности в том, что сила его в Рахманинове, да он такого и не знает... Он знает зато, почему американские куриные окорочка, знает, что свои куры, липецкие и курские, не так жирны. И вообще, спасибо родной партии за причиняемые ею неудобства. В лучшем, самом лучшем случае русскому стукнет в башку: "Да он же, Рахманинов, давно уже умер!" Сам же русский пока еще жив, да, он уверен в этом. И эта уверенность как нельзя лучше укрепляется в нем инфляцией-безработицей-проституцией, что, собственно, и завещал ему великий Ленин.

Многое из того, что с охотой делают все, вообще не следовало бы делать. Не следовало бы, например, так много работать... пускать вместо этого мыльные пузыри! Еды, одежды и мебели и так на всех хватает, вон сколько всего на мусорках. И если психопатический, шизофренический, параноидальный, депрессивный и просто тупой *мировой рынок* все еще визжит, захлебываясь блевотиной кризисов: "Больше! Больше!! Больше!!!", то ведь можно же и напомнить ему о *человеке*. Но никто пока не осмеливается, все только оглядываются друг на друга: человек?.. да где же он?.. И всем, конечно, страшно. И страх этот таков, что гораздо страшнее оказаться без куска хлеба, чем без человека... да что там, без самого себя!

Огнев узнал в Серафиме свой давний, полузабытый сон: он плыл на корабле, и вокруг было Черное море. Он был уже старым, и некуда было ему из этого плавания возвращаться. Он вез в монастырь девочку, она была из другого народа, с севера, и она не боялась с ним плыть. Она, может, и не знала, что это Черное море.

Огнев помнил подробности своего сна, помнил мягкий, спускающийся к нему в миг засыпания голос: "Ты проводишь ее дальше..." И он не сомневался, что это Серафима, что это ее, прочерченный прежней жизнью путь. Может, поэтому он и был с нею так терпелив. Ведь ей нужно туда же, куда и ему: к Рахманинову. В синюю, солнечную, колокольную высь.

Таким время запомнило профессора Огнева: лицо начала прошлого века. Теперь таких лиц ни у кого нет: нет этой тревожной одухотворенности, этой пронизанности трагическим ощущением *конца*. Конца *человека социального*. Став массовым спектаклем, социальность больше уже не называет тебя по имени: ты просто *единица* или того меньше. Это ощущение конца было, разумеется, не только у Огнева, оно было у многих, и никого оно не обмануло: человек социальный, предполагающий ответственность перед ним общества, по крайней мере, хоть какую-то в этом обществе *совесть*, скончался в построенных *нормальными людьми* лагерях. На его место пришел человек одинокий, отчаявшийся, *тронутый*. Пришел, чтобы убедиться: конец... это же начало! Либо выживать "со всеми", либо дать деру. В раскрытое, например, настезь окно.

Тридцать лет назад в центре Москвы стоял еще этот дом, в нэповские времена переделанный из господской конюшни в коммуналку. Никто из жильцов, расселенных в восьми ответвляющихся от коридора "мышеловках", не желал для себя места лучше, никто отсюда не съезжал, разве что на Новодевичье, неподалеку, кладбище. Место это, то есть бывшую конюшню, жильцы считали, вопреки атеистическим приличиям, святым: их заблудшим в повседневном строительстве душам ежедневно отпускались тут грехи. Безотказно и бескорыстно. В двух проходных комнатенках, где Огнев жил с матерью, ютилось нечто такое... никто из жильцов не взялся бы об этом рассказывать: там была *жизнь!*

Повседневность, окажись она сообразительнее, наверняка приравняла бы эту жизнь к преступлению: это *музицирование ради истины*. Повседневности есть дело до всяких школ, до всякой механики воспроизводства власти, повседневности нужны пустые оболочки великих слов. Как гремят ее салюты! Как грохочут ее обещания! Повседневность выпячивает кривобоко сидящие на ней имена, инициалы тараканов и мошек, выдувает из *должности* слоновые гипо-фигуры, запудривает мелкие, вроде отсутствия мыслей, недостатки... Но здесь, в этих проходных комнатенках, повседневность замирает. Жильцы ходят по коридору на цыпочках, не гремят на общей кухне кастрюлями. И никто из них не доносит на профессора Огнева. Ведь даже самый отпетый идиот и недоумок, и тот чует для себя в этой музыке... ну что ли искупление: будто какая-то очень большая справедливость, очень большая любовь вдруг за него, идиота и недоумка, заступились. Хотя на самом деле ни справедливости, ни тем более любви в жизни идиота и недоумка нет. Откуда же все это приходит? Идиот донес бы, пожалуй, на недоумка, и вместе они перепугались бы насмерть, узнав правду: это приходит из *тебя*.

Теперь, много лет спустя, когда время уступчиво отошло назад, высвободив из своих мягких пут *понимание*, Серафима видит: среди бесчисленных состояний жизни коммуникабельна только любовь, она же *бескорыстие*, она же *радость самоотдачи*, она же *великая жертва*. Когда-нибудь любовь вернется к своему началу, став выдыхаемой в мир благодатью, став огненной *волей*. Её, Серафимы, волей.

Она взяла у Огнева займы, это между ними тайна: тайна движения и преодоления, тайна роста. Легко стать в жизни *средством* массовой коммуникации, стать запретом на самопознание: нет и не должно быть тебя, слышащего в себе себя! Никакой, вне материального интереса, любви! Никаких отвлекающих от производства мистерий!

Она *смогла* взять у Огнева займы, и для этого ей потребовалось многое: перестать отзываться на должность, перестать быть со-служивцем, перестать иметь над собой шефа, перестать из себя что-то *в глазах остальных* представлять, перестать представлять себе *себя* как нечто нереальное. Не что-то, подsunутое тебе вместо тебя, но *ты сам*. Для этого нужно уметь выносить одиночество.

Она смотрит сквозь окно этого портрета в двадцатый, теперь уже прошлый, век: сколько надрывного крика и великих, пахнущих нечистотами и кровью слов, затирающих контуры этого лица: не было!.. не было!!.. не было!!! Но лицо это тем не менее здесь,

вместе с Рахманиновым, вместе с Доктором, вместе с сознанием того, что ты и есть коромысло весов, удерживающее мир в равновесии.

Они приходят сюда свободно, эти колокольные имена.

В условии стертости лиц и замены лица на снятую с идола копию, такой портрет найдешь теперь разве что в лавке старьевщика, по странной прихоти характера роющегося среди хлама чердаков и подвалов. Он ставит безымянный портрет рядом с треснувшим деревянным корытом и трубящими над циферблатом позолоченных часов ангелами, и нет на него никакого спроса, и старьевщик отдает его тебе так, не взяв денег даже за овальную рамку. Меньше на полках хлама! И это такая неслыханная удача: присматривающийся к тебе портрет *человека*. Он смотрит в ту же, что и Рахманинов, даль, а там... только *ты!*

Возле рояля тепло, хотя в окружающем мире зима. Зеленоватые зимние мотыльки собираются по вечерам на стекле, влетают в комнату, садятся на горячие пальцы Серафимы, желая для себя только одного: сгореть. Огня! Огня! Бабочки знают, что тут их родина, в этом растворенном в крови жаре. Такая у них по этому солнцу тоска!

Кто-то неслышно подходит к стеклянной двери террасы, стоит, словно не зная, куда дальше, ждет. Снаружи ветер и сумерки и настороженное "шу-у-у-у..." старых осин. Там, снаружи... там подбирается к стеклу чье-то одиночество: кто-то прельщен этим отданным мотыльку светом. Кто?..

Кто-то стоит и ждет.

В этом есть, определенно, насилие, по крайней мере, требовательность: может, это кредитор, наконец-то обнаруживший скрываемый Хельге капитал?

- Кто?

Серафима слышит, как поворачивается ручка двери, как щелкает замок, слышит легкое, незнакомое шуршание... Войти просто так, без стука? Кто-то должно быть здесь уже не в первый раз. И не надо поэтому спешить навстречу, включать на кухне лампочку под жаржавелым, от керосиновой лампы, абажуром. Пусть этот, незванный, входит.

- Это я, Монтсеррат.

Она вот-вот вспыхнет в отсвете горящего в окне заката. Это ее окно, ее узоры вывязанных крючком гардин. И этот безумный фиолетово-алый закат нарисован ее рукой. Сколько красок потратила она на эти величественные, во все небо, малиновые разводы, на это опалившее лес оранжевое марево! Сюда, в этот продуваемый сквозняками дом на опушке леса она приходила как хозяйка. Толстые оплывшие свечи, бронзовые люстры и керосиновые колпаки горели здесь в ее честь. За этой треснувшей не крашеной музейной дверью ее неубранная постель. И этот кухонный стол, сбитый Хельге из толстых дубовых планок, он тоже ее. - Тебе тут... нравится? - холодно вато просияв деланной улыбкой, вкрадчиво спрашивает Монтсеррат. Она не смотрит на Серафиму, только прислушивается, только вдыхает неизвестный ей прежде запах... Запах покоя. Разве это не мед? Разве это не солнечный полдень? Равновесие, согласие, устойчивость. Приглашение к доверительности. Готовность *выносить* жизнь, - Тебе, что, нравится здесь жить? Гм...

Слова не имеют теперь никакого значения, они слишком неуклюжи и медлительны, чтобы поспеть за рвущимся в небо гневом. И не надо их поэтому напрасно куда-то гнать. Дать им остыть, осесть, отстояться. Дать им набраться веса.

- Это не мой дом, здесь нет места моим детям. Это место испытаний. Ссылка.

Улыбка замерзает на бледном лице Монтсеррат, синие глаза темнеют: Серафима говорит правду. Правду, которую нигде никому не говорят, не узнают, даже столкнувшись с нею в лоб. Зачем Серафима говорит ей это?

- Тебе не надо было сюда приезжать, - еще больше бледнея, кивает Монтсеррат.

- Я дала себе эту свободу.

- Ты? - Монтсеррат отступает на шаг, подается обратно к двери, замирает, - *Ты дала себе свободу?*

Это так похоже на ее собственные к миру претензии, это настораживает. Этим она сама отпугивает многих, и надо поэтому выяснить, чем, собственно, Серафима *заплатила*, чтобы оказаться тут.

- Я тут насовсем, - нехотя поясняет Серафима, - и это только потому, что каждый миг я рвусь отсюда прочь... домой! Хорошо иметь где-нибудь дом...

Отступив еще на шаг, Монтсеррат пытливо на нее смотрит. Вот она, значит, какова свободе цена: бездомность. Это вполне в духе Хельге: быть гостем, прохожим. Быть постоянно *у себя*. Вить из своей тоски по дому единственно прочное, на времена, жилище. Вить с любовью. Вот оно значит что: с любовью... Это так ново, необычно, это настораживает. Монтсеррат смотрит наконец на Серафиму: на что тут смотреть? Тут всё рвется прочь, испаряется, улетучивается... да тут ничего и нет. Только ощущение скорости... эй, постой... Монтсеррат порывисто вздыхает:

- Я тоже жила тут...

Она уже жалеет, что сказала это. В застоявшейся тишине этих бревенчатых стен, в пыли и паутине брошенных как попало рисунков, в хаосе письменного стола ничто уже не окликнет ее, не позовет... скрипучая дверь спальни не впустит ее в полумрак майской ночи, печное тепло не заманит в продавленное, напротив телевизора, кресло... нет! Ее солнце не здесь, оно в холодных высотах, совершенное, безупречное, и никого оно не предназначено согревать. Ее солнце вызывает восторг, почтение и зависть, оно обольщает. "Солнце!" - думают дураки. Но разве с них, дураков, спрос? Спрос с того, кто знает, в чем дело: это не всамделишное солнце. Это всего лишь картина, плод ума, триумф рассудка. Пожалуй, удачное предприятие. Но любовь?... но свобода?..

"Не может быть, - озабоченно думает Монтсеррат, - чтобы она опередила меня! В сталинской полунищей стране лагерей и параноидной ненасытной власти, в этой клоаке *нормального безумия*, на этой мусорке изолгавшейся до смешного глупости, на этих проституирующих просторах патриотизма, в этой сивушной отрывке *русской лени*, среди разлагающихся радиоактивных отбросов и братских могил, разве может кто-то оказаться *свободным*? "

- ... дом не построишь, беря материал лишь вовне, - продолжает Серафима, не смущаясь молчанием Монтсеррат, - хотя можно нагородить купола и даже позолотить их. Дом строится *изнутри*, и тут неважно, какая вокруг неразбериха... какое вокруг идет строительство. Русский гордится мрамором метро, шпильями сталинских высоток, гордится *высотой офиса*, при этом не желая ничего знать о *костях*, ставших столь необходимым для этого фундаментом. Под этими новостройками погребен *человек*! Так ради чего же все строилось? Ради *национальной гордости*. Ею питаются многие и многие поколения, и кажется им эта гордость все слаще и слаще. И новые горы костей вздыбливаются к занавешенным *нашими* лозунгами небесам, и *наши* попы расторопно машут *нашим* же кадиллом: "Работай! Работай!! Работай!!!" Но я... - Серафима пытливо смотрит на Монтсеррат, - ... я везде *не наша*. У меня нет союзников или сослуживцев, я *своя*!

Монтсеррат молчит, ей вовсе не кажется все это безобидным: так заявляет о себе слишком уж большая уверенность... Уверенность в чем?

- Ты, я вижу, важная дама, - едва скрывая раздражение, кивает Монтсеррат, - Не покажешь ли ты мне твои детские фотографии?

Прыгающая через скакалку девочка: зажмуренные на солнце глаза, взметнувшаяся на ветру клетчатая юбка. Вот она, радость. Полвека назад Хельге ничего об этой клетчатой юбке не знал, но он был уже в этих зажмуренных на солнце глазах, и он собирался поэтому сбежать из дома. Он посадил бы девочку к себе на колени, пригладил бы широкой ладонью растрепанные ветром тонкие волосы, шепнул бы на ухо: "Ты!" Что бы еще он ей сказал? Что ждать придется так долго? Только солнце, только оно одно и выносит это ожидание.

- Мне кажется, - внезапно одухотворяясь и уносясь мыслями прочь, тихо произносит Монтсеррат, - что ты моя дочь! Вот он, расколовшийся надвое колокол, унесшийся прочь звук... - она пристально смотрит на Серафиму, - Вот так это было однажды: ты вмешалась в мое прошлое! Теперь не узнать зеленого на меди налета, не узнать оборвавшейся мелодии, можно только вспомнить: вот так это было однажды...

Сигню Амундсдоттер, разве она теперь не пленница?

Ярл Тригве дал ей ключи от всех надворных построек, и все, что лежит в сундуках, что хранится в амбарах и сараях, теперь принадлежит ей. Теперь она по-настоящему богата. Но она охотно отдала бы все это за одну-единственную от Амунда весть.

Ярл Тригве ушел с людьми и кораблями в Данию, ему там теперь зимовать, и вести приходят от него редко. Мало людей заходит теперь во двор, и несколько стерегущих усадьбу дружинников плетут целыми днями рыболовные сети, бьют от нечего делать зайцев. Хоть бы какой-нибудь купец, какой-нибудь гость! Сигню шьет из лисьих шкурок рукавицы, расшивает их крашенными шерстяными нитками, и ей хочется вспомнить мать, вспомнить хотя бы край ее юбки... Мать ничему не успела ее научить, и если Сигню что-то и помнит, так это... тепло. Его не спутаешь с теплом даже самой теплой шубы, это тепло иного рода. Оно пугливо и застенчиво, оно прячется поэтому в самом сердце. И даже разорванное на части, сердце не остывает. Сердце, только оно и говорит теперь Сигню, что весть от отца вот-вот придет. На ее первой, с купцом, свадьбе они уговорились с отцом, что он пошлет за ней, когда настанет время, и она ждет уже шесть лет. И теперь она то и дело посматривает в окно, словно кто-то шепнул ей... тихий, далекий голос... голос ее матери: скоро! За плетнем лениво блеют овцы, повизгивают играющие у крыльца щенки, двое рабов колют за сараем дрова. Так пройдет осень, выпадет первый снег...

Полуволк Один первый почувал гостя, задрал голову, завыл, и старая сука отвечает ему хриплым лаем. Это торговец солью, он бывает тут раз в год, и в повозке у него, кроме соли, есть и другой товар. Год назад Сигню спрашивала цветные нитки, теперь они ей кстати. Накинув отороченную лисой шаль, она выходит гостю навстречу, степенно кланяется, и он ловит ее вопрошающий взгляд, и ему как будто есть что ей сказать... Он привез ей нитки, да, привез соль, привез, если ей надо, дорогой бархат. Ее муж-купец тоже торговал бархатом, торговал мехом и шелком. Нет, ей ничего больше не надо. У нее хорошее в этом году пиво, она может продать. Торговец внимательно на нее смотрит: "Дай мне попробовать, Сигню Амундсдоттер!" Он неспеша пьет, хвалит, в самом деле, хорошее пиво. Он готов уступить за него, кроме ниток и соли, еще и этот кожаный мешочек... вот! Он смотрит ей прямо в глаза, и Сигню тут же вырывает вещицу у него из рук, прячет на груди под шалью. Ей не надо говорить, что в нем, она знает и так: корни вереска. Долгожданная от отца весть!

Вот так, по первому снегу. Она скачет всю ночь, выверяя дорогу по звездам, и под плащом у нее спит ребенок. Ее ребенок. Она скачет по берегу фьорда, держа на запад, и следом за нею бежит Один. Ей нужно успеть добраться до охотничьей хижины, сложенной из камней у излучины горной речки, успеть, пока не наступила зима. Она спрячется днем в лесу, а ночью будет нестись как тень по берегу фьорда... ночь за ночью... Теперь она беглая пленница, она вне закона. Никто не придет ей на помощь, и если она собьется с пути, ей придется выть вместе с Одним.

Но зима наступила раньше, чем она добралась до места. За одну ночь всё стало белым: лес и горные склоны, и замерзающий берег фьорда. Белый снежный туман ползет по камням, по заросшему камышом лугу, скрывая след рысей и росомах, где-то поблизости ревет лось... Зима. Так низко висит за деревьями солнце, так мало оно обещает... заснеженное, замерзшее солнце. По ночам поблизости воют волки, и Один отвечает им таким же протяжным, надрывным плачем. О чем это он? Сигрид думает, что о человеке. Волк плачет об одинокой человеческой душе. Так холодно одному, немного теплее в стае. Волк стережет этот холод, стережет это одиночество.

Снег идет, не переставая, усталый конь вот-вот станет, и тогда... Сигню не думает о смерти, не смеет, она должна добраться до излучины реки. Она вернется к отцу и к тем, кто ее, быть может, еще ждет, и она вернется хозяйкой! Она пойдет, если надо, войной на ярла Тригве. Ее согревает теперь только ее мстительная ярость, даже если Белому Богу это и не нравится. Белый Бог выбирает самых лучших, и все они оказываются в его честь казнены: он любит только кровь и власть. Должно быть он, Белый Бог, завладел чужим именем, как завладел ярл Тригве ее, Сигню, молодостью, ее телом и ее приданым. Но что-то ведь осталось и у нее самой. Осталось самое главное, незримое. И это незримое, сдается ей, и есть настоящий Бог, и он всегда на ее стороне. Он *светит* в ней, этот Бог, он один ее и согревает. Разве не видит запертый в церкви Белый Бог, что она, Сигню Амундсдоттер, сильнее его? Ей незачем красть имя у того, кто является лишь в любви, не помышляя при этом о власти. И если Белый Бог однажды пожалует к ней, прихватив с собой воинство *божьих рабов*, с чьих языков капает смахивающий на кипящую смолу елей, она, пожалуй, сразится с ними, в шлеме, кольчуге и с мечом. Пусть знает всякий, какой только есть в мире раб: Сигню Амундсдоттер хозяйка в своей судьбе.

Она вернется, но как ее там, дома, примут... Она может ведь и не возвращаться. Просто пропасть. Только Один и пойдет за нею до конца, что ему, полуволку, смерть, и ему она расскажет всё. Она умеет, Сигню, выть по-волчьи.

Один знает о ней больше, чем знают люди. Он был щенком, когда, увязавшись за молчаливой служанкой, обнюхал спящего на соломе ребенка, и этот запах перешел в дом, в спальню Сигню: запах подмены. И только что родившийся, другой ребенок был унесен служанкой в тесную, без окон, кладовую. Только щенку и был туда доступ, и некому было выпросить у него тайну.

Люди, замечает Один, высоко ценят *шкуру*, думая, что она и есть жизнь. Тогда как жизнь есть неустанный волчий бег. Волк не выбирает своих путей, они даны ему луной. Но люди, замечает Один, рыщут вслепую... и всюду натываются на золото! Они едят это золото, грызут его, давятся им. Оно заменяет им солнце. Но волк чует солнце сквозь луну и сквозь землю, чует солнечное-человеческое... хотя вокруг только волчий холод.

Усталый конь еле тащится, уже который день без корма, в котомке у Сигню черствеет последний ломоть хлеба. Ребенок ест вместе с нею снег и ни о чем не спрашивает, должно быть, зная, что им тут не перезимовать. Но Сигню смотрит ночью на звезды, она знает их лица, и у нее есть уверенность в том, что она не сбилась с пути. Она думает о закутанном в меховой плащ ребенке: это ее тайна. Тайна бурлящей горной реки, светлой июньской ночи. Тайна ее зачарованности любовной песней Гюннульфа. Тайна взаимности. Это и есть должно быть в жизни самое лучшее: стремительность, безвозвратность. Потеря пути назад. Отсутствие. Только так и становишься ближе к звездам. Но зачем? Зачем становиться выше самого себя?

Она нащупывает за пазухой кожаный мешочек, это все, что судьба сумела ей напоследок дать: сухие корни вереска. "Отец, - думает она, - я вряд ли до тебя доберусь... В груди у меня хруст снега. Мне не согреть даже пальцы мерзлым дыханием, хотя в теле у меня огонь. Не утолить жажду снегом..."

Она прячет коня под лапами столетней ели, ложится на хвою, прижимается к теплому волчьему боку... спать, только спать... и пес истоиво лижет теплым шершавым языком ее лицо.

Нет, она здесь не перезимует.

Она добралась до излучины реки на рассвете. Уже на расстоянии она уловила поющий, журчащий гул бегущего из-под водопада потока, и в этом ледяном, безразличном ко времени звоне ей слышится голос отца: "Сигню! Сигню!" Низкое за лесом солнце зажгло уже бледно-розовым пламенем ледяную корону водопада, и еще выше, над снежными подушками скал, неспешно парит орел. Здесь, в этой покинутой людьми тишине, только смерть становится верным попутчиком.

Но вот наконец хижина: сложенная из плоских камней, с двумя маленькими оконцами и тяжелой бревенчатой дверью. Сигню была здесь однажды, она помнит этот запах истлевшей кожи и плесени, запах сухого моха. На

земляном полу лисий помет, в углу, на длинном плоском камне, закопченный котел и остатки дров, обложенная

дерном постель застлана старыми овчинами. Сюда давно уже, видно, никто не заходит, да и ведут ли сюда лесные тропы... Сигню помнит, как хотела оказаться здесь вдвоём с Гюннульфом, сбежать от людей и всего мира, и только слушать, слушать... слушать его любовную песнь. Она никогда бы, наверное, им не насытилась, никогда! И почему только одному человеку так необходим другой? Почему она несет свою ненасытность мимо изобилия и богатства? Сигню не раз уже думала, что любовь есть всего лишь отсрочка перед настоящей, ничем не одолимой разлукой. Любовь приходит лишь затем, чтобы дать знать о невозможности: два тела не могут слиться в одно, в каждом стучит свое сердце. Одно только незримое, неуловимое, оно-то и остается... но что?.. что? Разве может любовь быть незримой? Разве может она *жить* в мерзлом дыхании?.. в хрусте снега?.. в бесчувственности окоченелых пальцев?

Достав из котомки высушенный трутник и кремень, Сигню пытается развести огонь, и нет у нее ни сил, ни терпения. Она смотрит на закутанного в овчину ребенка и, смахнув с горячей щеки слезу, начинает все сначала... и засыпает в бессилии на земляном полу... Нет, это вовсе не сон, она слышит, как воют поблизости волки. Один отстал в пути, с нею теперь только конь, и у нее едва ли хватит сил, чтобы его заколоть. Видно, придется ей есть мертвечину. Но вот наконец-то искра! Сухой гриб мгновенно вспыхивает, дым тянется синей лентой к окошку. Она варит, как ее учила приемная мать, моховую кашу. Так можно продержаться несколько дней. Но... кажется, вернулся Один! Он лает только когда ему надо быть собакой, этот волк, этот хитрый пёс. Сигню осторожно открывает дверь, и Один втаскивает в хижину половину туши косули. Он шел с добычей по ее следам. Она и сама здесь когда-то охотилась, до того как сватовство купца отрезало ее от диковатой, вольной юности. С нею были люди отца, но она доверяла больше Ильд, и волчица доверяла ей. Охотники гнали оленя, а она выследила рысь. Это была совсем еще молодая кошка, и Сигню подумала, что они с нею одного возраста. Ей не нужен был этот рыжий, пушистый мех, у нее хватало одежды. Но любопытство дикого зверя, его опасная неосторожность, это ей нравилось. Сигню было тогда пятнадцать, и это она сама выглядывала из-за куста можжевельника, готовая в любой момент к прыжку, это она дразнила из-под опущенных снегом ресниц свою дерзкую, своевольную судьбу.

Если бы не этот хруст снега... Сигню слышит его при каждом вздохе, как предупреждение, как приговор. Ей не дойти до двери, не собрать хворост... Один отгрызает сырое мясо, и ребенок ест вместе с ним. Она же только черпает ладонью из котла снеговую воду. Пить... спать...

Она потеряла счет дням, и скоро уже, должно быть, праздник юль. Возвращение света. Она смотрит сквозь маленькое оконце на звездное небо, там плещутся в полночь алые и зеленые волны, свет уже в пути. Если бы только встать, дойти до двери... И снова идет снег, и волчий вой становится ближе и ближе.

Она сожгла остатки хвороста, теперь только лежать под овчинами и ждать. Она слышит возню снаружи, хлопанье и рычанье, в приоткрытую дверь наметает снег... Один загрыз коня, морда и грудь у него в крови, и он отгрызает на пол съеденное, еще теплое. Сигню тошнит, она отворачивается к бревенчатой стене.

Но все-таки скоро уже праздник юль. Дрожа ночью под овчинами и обливаясь потом, Сигню видит горящее в темноте фиолетовое солнце... ах, как оно сверкает! Оно становится все ярче и ярче, становится огромным полуночным цветком. Солнце! Оно наконец вернулось!

На рассвете, когда бледно-оранжевые полосы поползли по промерзшим бревенчатым стенам, ей стало вдруг страшно: ей показалось, что за ней пришел ярл Тригве. Пришел со

своими людьми и разгневанным Белым Богом. Пёс тоже что-то почувствовал, спрыгнул с земляной постели на пол, стал у двери, пригнув голову и глухо рыча.

Заслонив собою спящего у стены ребенка, Сигню прислушивается: кто-то идет на лыжах. Хруст снега... снаружи... внутри... она задыхается, кашляет... Ее холодные пальцы сжимают кожаный мешочек, последнее, что судьба успела ей дать.

Нет, это не ярл Тригве.

Охрипшие мужские голоса, лязг вынимаемых из ножен мечей. Кто-то из них вышибает дверь ногой, и Один кидается ему на грудь и, схваченный за холку, летит в снег, лязгая зубами в морозном воздухе, и мужчина придавливает его своей тяжестью.

- Хороший пес, - говорит он другому, уже замахнувшемуся мечом, - Волк!

Этот голос... нет, это только хруст снега... Сигню приподнимается, в глазах у нее резь от яркого света. Если бы только узнать... этот хруст снега...

Мужчина держит Одина под собой до тех пор, пока тот не перестает рычать, накидывает ему на шею ремень, обвязывает конец вокруг старой березы. Потом подходит к двери, держа наготове меч.

- Здесь Гюннульф и Йостайн!

Она поняла это раньше, чем он успел это сказать. Лицо ее покрывается испариной, рука отдергивает край одеяла... подняться им навстречу! Но она только беззвучно шепчет, превозмогая хруст снега: "Ты... ты!"

У стены ворочается ребенок, перелезает через нее, спрыгивает на пол, идет, волоча за собой меховой плащ, навстречу путникам, смотрит, наклонив набок нечесаную голову. И те двое тоже смотрят, и ничего, кроме каменной воли, нет в их глазах. Они шли на лыжах двенадцать суток, и они готовы пройти еще столько же. Их тела тоже из камня. В бородах лед, в голосе хрипота. Только синева, сверкнувшая стальной полосой из-под шлема, только она и перечит каменной твердости: что-то в ней расцветает... С обнаженным мечом и копьем, Йостайн первый заходит в хижину, и оранжевая полоса на земляном полу меряет расстояние между ним и лежащей возле потухшего очага женщиной.

- Амундсдоттер!

Он подходит ближе, наклоняется, берет ее за руку, оборачивается к Гюннульфу:

- Она умирает.

Тот тоже подходит, оба долго на нее смотрят. И в мерзлой, пропитанной смертельной тоской тишине слышен только хруст снега. Так дышит навстречу своим невозможностям судьба.

- Сигню... - приподнимая ее вместе с овчинами, горячо шепчет Гюннульф, - Я пришел за тобой! Ты теперь хозяйка! Амунд купил белого жеребца, он твой... Сигню!

- Я видела в полночь фиолетовое солнце... - тяжело дышит она в ответ, - Ты и есть это солнце! Теперь я знаю, что любовь - это свет!

Гюннульф молча на нее смотрит. На этих впалых щеках и почерневших губах когда-то цвели его поцелуи, эти выцветшие волосы отливали когда-то медью, этот бессильный шепот был когда-то бурлящим пением реки... был его любовной песней! Он кладет ей на грудь голову, он хочет услышать... хруст снега!

Когда разрывается парус,
И нет под ногами суши,
И нет от ветра спасенья,
Вплавь пускается воин.
Мечом глубину измерив,
Копьем уколотив небо,
Он ведает только берег
Кольца золотого песни.

Эти слова впиваются ей в грудь солнечными стрелами, и это ли не весть о свете! Весть о возвращении. Но тот, кто возвращается, уже... не тот. Уже нет в нем стремления к

бегству. Не она ли сама выброшена теперь на камни?.. выброшена из течения и волн? Она ведь была рекой, была морем. Как может стать она якорем?

- Я рада тебе, Гюннульф.

Он отвечает ей только взглядом: эти слова так много для него значат.

- Ты стала еще красивее, Сигню.

Она закрывает глаза, улыбается: да, она вернулась. Вернулась, чтобы никуда больше не уходить. С лица ее катится пот, пальцы дрожат, она едва дышит под грудой камней. Она видит перед собой алое, фиолетовое солнце, оно светит сквозь землю, сквозь немеренную толщу песка и камней, и нет ему никаких препятствий. Пожелай сам Белый Бог заслонить солнце собою, оно миновало бы и его, только высветило бы его внутренности, обведенную буквой закона ученость священника. Да, солнце минует Белого Бога! Потому что оно светит только *тебе*, говорящему о самом себе: *Я!* Я и есть это солнце!

- Я... - говорит она и открывает глаза.

- Ты вернешься домой, Сигню.

Она слышит, как Йостайн рубит поблизости дрова, как лает, подвывая, привязанный к березе Один, слышит, как ребенок бросает на земляном полу камешки и еловые шишки, слышит приглушенный льдом рокот горной реки. Разве она не дома? Запах снега... хруст снега...

Сунув руку под обледенелую бороду, Гюннульф достает из-за пазухи висящую на тесемке шкатулку, это его сокровище, ему нет цены. Эту вещицу дал ему старый, пропахший кефалью грек, заодно предложив в жены любую из своих восьми дочерей... а то и всех разом. Тогда, в южном походе, Гюннульф не успевал смывать кровь с Последнего Вздоха, он спал с мечом в руке. А стариковых дочерей, запершихся в сыроварне вместе с малолетними детьми, ему вовсе было не надо, он только пригрозил мечом всякому, кому была охота их насиловать. Он понял тогда, в походе южных варягов, что Белый Бог, в золоте славы и власти, сродни оборотню: вот он уже и вцепился тебе в горло! Бог насилия! Бог хлещущей из перерезанного горла крови! Бог, *покупающий* мудрость Одина. А ведь на самом дне этой старой мудрости Одина, в самой ее глубине, живет, да, *живет* его, Гюннульфу, начало. Его вечный корень. И пусть Белый Бог кричит, сколько хочет, о *власти*, этот не ведающий о свободе раб. Свобода приходит к тому, кто одинок, кто сам себе ее дает: в любви к мудрости, сверкающей в глубине и на дне. Эти перепуганные насмерть, в страхе отдающиеся женщины! Эти перепачканные кровью драгоценности! Гюннульфу ничего этого не надо, он возьмет только маленькую шкатулку из слоновой кости. В ней целебная мазь... яд. Старый грек научил Гюннульфу заклинаниям, и тогда же, в разоренной рыбацкой деревушке, исцелил покалеченную лошадь, заодно прикончив без мук раненого раба.

Целебная мазь? Яд?

Сняв с Сигню заношенную до черноты льняную рубашку, Гюннульф пристально смотрит ей в глаза... нет, его не слепит ее нагота. Тонкие руки с бьющимися на запястьях голубыми жилами, складки вислой кожи вместо округлых когда-то грудей, впалый живот с рогатинами бедренных костей... Он смотрит ей в глаза, ожидая ответа. Он выберет нужное заклинание.

Подняв с земляного пола еловую шишку, ребенок бросает ее на постель, карабкается, валится на овчину, зовет Одина, но тот, привязанный к березе, только воет. Они спят тут втроем, так теплее, и Сигню, даже если умрет во сне, сразу не замерзнет. Ребенку известно, что у него две матери, и та, вторая, оставшаяся в доме ярла Тригве, справилась бы здесь лучше Сигню. В темной, нетопленной кладовой, где они до этого жили, никто ни на что не жаловался. У этой, второй матери были пышные, как свежее испеченные булки, груди, мягкий живот, сильные плечи, и на ее широко расставленных коленях уместилось бы несколько детей. Но Сигню... она скоро умрет. И эти двое пришли сюда на лыжах, чтобы похоронить ее в снегу. А потом придут волки, они тут, поблизости, их манит запах

мерзлой конины. И Один станет их королем. Глянув исподлобья на Гюннульфа, ребенок метит в него шишкой, метит прямо в оттаивающую бороду, закрывающую половину кольчуги. Но тот только усмехается.

- Ребенок казненного купца, в нем течет кровь святого... Или это ребенок ярла Тригве?

Сигню молчит, и ее тяжелые, хриплые вздохи повисают в мерзлом, пахнущем гарью воздухе. Никто никогда ее об этом не спрашивал, и сам ярл Тригве только и знает, что хвалится полным сходством с ним мальчика. Одна только молчаливая рабыня-служанка, она и могла бы что-то сказать... но она не скажет! Она родила в ту же, что и Сигню, ночь, и ее сын стал подменным. И ведь это сын ярла Тригве!

Теперь, когда хруст снега вытесняет из мира все остальные звуки, Сигню шепнет фиолетовому солнцу... ах, оно здесь!.. шепнет тайком унесенные ею из прошлого слова.

- Это... твой ребенок.

Запах гари, болезни, немытого тела. Наклонившись к ней, Гюннульф вдыхает давно знакомое... запах моха, снега, бегущей воды... вдыхает вернувшуюся к нему клятву той единственной ночи. Такая весть приходит, когда нечего уже больше ждать, некуда торопиться. Весть о возвращении. Значит, это и есть его и Сигню дом, эта утонувшая в одиночестве тоска. Эта безразличная к смерти удовлетворенность. Разве есть теперь в нем что-то кроме радости?

- Ты вернешься домой, Амундсдоттер.

Она долго, молча на него смотрит, ей приятен этот обман. Но, однажды увидев полуночное солнце, она не может больше оставаться слепой. Это последний для нее праздник юль.

- Возьми, это теперь твое,- она достает из-под овчины мешочек с корнями вереска, - весть о возвращении...

Молча смазав ее плечи и грудь жиром, Гюннульф открывает маленькую шкатулку, берет слегка, на мизинец, черную каплю... Сила его заклинания сделает целебную мазь ядом, сделает яд спасением. Он проводит пальцами по ее высохшей груди, смотрит ей в глаза, слыша в самой своей глубине подаренные греком слова... И вот наконец ее стон, ее крик... Он кладет ее лицом вниз на край постели, и адский кашель рвет ее на части.

Спрыгнув с постели, ребенок бежит к двери, натывается на вернувшегося с охоты Йостайна. И тот, отвязав от пояса двух куропаток и зайца, поднимает ребенка к себе на плечи, поднимает еще выше, и оба, хотя тут, в хижине, обосновалась смерть, громко смеются. Тонкие пальчики впиваются Йостайну в бороду, залезают в уши, щекочат нос, глаза зажмуриваются. Синие, обещающие чудесно расцвести глаза! Йостайн готов смотреть в них, смотреть и смотреть... перебирать темно-русые выющиеся волосы, касаться, ах, губами нежнейшей в мире кожи! Этот мальчик, этот недокормыш! Йостайн не подозревал, что может вот так, с ходу, влюбиться. Он знал только восхищение мужеством и сам рубил головы не хуже тех, кем восхищался. Это опьяняющее единение в битве! Йостайн пошел бы за Гюннульфом, не сморгнув, в ад, и когда им случалось сражаться рядом, на корабле или на суше, грудь его вздымалась под кольчугой от восторга. Кровь, рев наступающих, стоны умирающих... во всем этом живет великая любовь! Йостайн не подозревал, что у любви есть и другие обличия.

- Я бы, пожалуй, взял мальчика к себе, - ловко разводя под котлом огонь, оборачивается он к Гюннульфу.

- Это внук Амунда.

Йостайн молча колет дрова. Впереди долгий обратный путь, и никто не знает наверняка, чем он закончится. Одних детей теряют, других находят... От этих мыслей Йостайну становится не по себе, он ведь, в самом деле, не вор. И он бьет что есть силы по березовому полену.

- Смотри, - зовет его Гюннульф, стоя возле постели, - сколько в ней было этой дряни...

Оба смотрят на разползшееся по земляному полу пятно, смотрят на лежащую без движения Сигню. Она не умерла, нет, но жива ли... Ее лоб теперь холоден, тонкая синяя

жилка на шее едва заметна, но глаза... Она смотрит куда-то мимо, мимо темных бревенчатых стен, мимо наступающего на хижину леса... Гюннульф видел не раз, как умирают раненые, он помнит этот не мигающий, уносящийся прочь взгляд, эту последнюю волю, последнее желание... ах, он и сам бы наверное чего-то в последний свой миг пожелал... пожелал бы утолить последнюю свою жажду.

- Я понесу ее на спине, - говорит Йостайн, - она весит меньше ребенка.

Оба молчат, словно что-то для себя решая, только ребенок бормочет что-то на полу, разговаривая с еловыми шишками, да изредка подвывает, натягивая привязь, Один. Впереди двенадцать суток пути, впереди настоящие холода.

- Нет... - еле шевелит губами Сигню, - ... я все равно умру, я останусь здесь.

Снаружи опять метет, к узким оконцам подбираются сумерки. Отвязав Одина, Гюннульф пускает его в хижину, и пес тут же прыгает на постель, укладывается рядом с Сигню. Под котлом жарко пылают березовые дрова, от запаха мяса с языка Одина капает на овчину слюна. Пройдет ночь, и эти люди уйдут отсюда, им надо спешить. Без спешки обходится только висящее за лесом солнце, хотя и оно, должно быть, куда-то несется... Но волку сладка даже и одна, в тепле и сытости проведенная ночь. Волк ни на что не жалуется, что бы там люди не думали о его вое. Скоро выйдет из облаков луна, и те, что в стае, пойдут по следу широких лыж, рассядутся поблизости. Волк должен уметь дожидаться, луна ему в помощь. Но Один хитрее, проворнее волка, и это за ним, вожаком, пойдет стая.

Они должны спешить, пока король вместе с ярлом Тригве зимует в Дании, пока окрестные бонды злы еще на прожорливого Белого Бога, урезающего их земли и теснящего их скот в леса. В этих краях должен править наследник Амунда. Так хочет дружина и старый обычай, так хотят рассеявшиеся по горам тролли.

Ребенок ест, сидя на коленях Йостайна, на постеленной на пол овчине, и так, кажется, было всегда: запах дыма и жареного мяса, вой метели за дверь... так было и так будет. Над очагом тлеет, догорая, лучина, пес грызет возле постели кость. Вдруг все разом оборачиваются: Сигню! Она встала... она идет! Идет, шатаясь, к ним, эта переломленная надвое тень, и слышно, как тяжело она дышит.

- Ты справишься, Сигню, - усаживая ее к себе на колени, обещает Гюннульф, - Мы останемся здесь еще на день, заготовим дрова и дичь. Ты справишься... если не умрешь.

Так справляются те, кому непременно надо выжить. Справляются в полном одиночестве. Назло забывшему о них миру. Вопреки караулящей их ночи. И ночь в конце концов проходит.

Всю ночь и следующий день мело, но им удалось убить косулю и двух зайцев. Возле двери лежит куча дров, в котле речная вода, и маленькая шкатулка, она теперь у Сигню.

Она провожает их, стоя на пороге, и Один, подвывая, бьет хвостом. Йостайн уже скрылся за деревьями, с обнаженным копьём и в кольчуге, и оставленная им лыжня тут же заматывается снегом. Прикрыв ребенка щитом, Гюннульф вламывается в круговерть пурги.

Тому, кто позволяет себе уйти, не надо объяснять, зачем он это делает. Он просто уходит. Уходит из исчерпавших себя возможностей. Уходит из пут. И хотя бы весь мир вдруг закричал, грозя вдогонку позором и осуждением, отчуждением и ненадежностью каждого шага, упоминая заодно о нетопленном доме, долге и безработице, уходящего это вряд ли остановило бы. Потому что жизнь человека это не только близкие и далекие ему люди, это еще и... незримое. Оно-то им и движет. Оно, незримое, врывается в щели и трещины его кое-как залатанной судьбы и там прорастает. Видишь это могучее дерево?

Незримые силы в человеческой жизни, это в значительной мере силы препятствий. И дело обстоит именно так, что препятствий не только не становится меньше, как того хотелось бы благоденствующему, но они вытесняют собой все остальное... то есть, собственно, жизнь. И жизни некуда больше податься, кроме как к ... тебе. Но ты-то... где ты? Подминая жизнь под себя, силы препятствий норвят обрубить лишнее... то есть

всегда одно и то же: тягу к свободе и любовь к истине. С этим лишним так много возни! Но вот наконец удача: жизнь упакована в тару, в мешки, ящики, гробы и бутылки, выложена на прилавок, продана. Остается без дела самая малость: кое-какие воспоминания, тоска... но это пройдет само собой. Как пройдешь и *ты*... Разве тебе не грезится великое: производство, перепроизводство, воспроизводство? Следуй замораживающим *тебя* принципам, и успех уже барабанит в дверь. Успех этот тем более безусловен, чем трудолюбивее ты ползешь, придавленный бетонной плитой, к чуждой *тебе* цели. *Твоя* цель пока еще спит. Спит твоя детская душа, верящая во сне в счастливо обретаемые в материальном производстве истины. И сами эти истины лижут липкими языками твое расслабившееся во сне лицо: вот он, человек, он весь в этой чувственности.

Силам препятствий следовало бы поставить величайшие в мире монументы: скажи спасибо своим врагам, они тебя не подведут.

- Ты никогда не найдешь того, что ищешь, - выныривает из долгой паузы Монтсеррат, - Ты просто упустишь, зря просидишь тут, в лесу. Что ты станешь делать, когда Хельге бросит тебя? А он ведь бросит тебя, как бросил всех остальных! Хельге не подходит для брака, он не привязывается ни к одной женщине, он всегда сам по себе. Что ты будешь делать без него? В этой стране, где ты никому не нужна.

Серафима молчит. Ни один из прожитых здесь дней не обещает ей продолжения. Она просто ждет, она медленно созревает. Созревает, чтобы уйти. И то, чем Монтсеррат ее теперь соблазняет, хорошо ей известно: эта песнь о независимости.

Старая, как рога черта, песня: эмансипация. Слова ее с каждым днем дорожают, их выгоднее просто заучить наизусть: самостоятельность, состоятельность, сексуальность. Достаточно только глянуть на Монтсеррат: это никому-ничем-не обязанное счастье.

- Стоит уже сейчас подумать о коммунальной *службе развода*, - деловито продолжает Монтсеррат, - сходить в социальную контору, проконсультироваться, многие *приезжие* выходят так в *люди*. Сама посуди: тебе оплачивают жилье, дают пособие...

- Но если ты зол и к тому же неблагодарен? - перебивает ее Серафима, - Если тебе не нравится вид на кладбище или на дом престарелых?

- Тогда надо уходить в волки, - усмехается Монтсеррат, - Волк не эмансипируется, норовя за красные флажки. Кстати, зачем ты играешь Рахманинова?

Серафима долго на нее смотрит, их взгляды таранят друг друга: зачем?.. зачем?.. зачем? Монтсеррат знает ведь и так: жизнь глохнет там, куда не впускают *невыполнимое*. Много ли стоит задача без сверхзадачи?

- Мне нужно вернуться назад, чтобы идти дальше, вернуться в рахманиновское время... там остались ключи. Большевики и те, кто сегодня им наследует, понаделали всяких отмычек: патриотизм, народность, фольклор... и все это *против* Рахманинова! Против *души народа*.

- Ты все еще, я вижу, русская, - усмехнувшись, замечает Монтсеррат, - не лучше было бы просто *интегрироваться*?

- Никакой интеграции на самом деле не существует, это выдумка политиков, иллюзия. Сердце стучает впервые в тот миг, когда ты, пока еще не рожденный, узнаешь свое, так сказать, место прибытия: это твоя земля, твой язык! Ты дышишь на этом языке, ты питаешься этой землей. Ты живешь, бывает, среди чужих, но сам-то ты свой!

- Это звучит красиво, - соглашается Монтсеррат, - в следующий раз я полистаю книги Доктора... Хочешь, я помогу тебе? - внезапно предлагает она.

Она говорит это дружелюбно, насмешливо, вкрадчиво. Ее не смущает и не отталкивает тот *безнадежный трагизм*, с которым Серафима глотает пощечины жизни: можно ведь и захлопнуть распахнутое ветром окно. Никаких *твоих* окон. Только небо, расцвеченное всеми красками *культуры*, глотающее тебя без остатка, размазывающее в облаках твое имя, уносящее тебя прочь с земли. Небо *узкого специалиста*. Его тянет, правда, раздаться вширь, запузыриться актуальностью, вспучиться значительностью. Узкий специалист, это всегда диктатор, и мешать ему диктаторствовать, все равно что

гнать время вспять. И пусть он, пока время его терпит, прибирает к своим узко специализированным рукам важные рычаги, пусть жмет на них... жмет до тех пор, пока его узкая специализация не уступит место шизофрении, паранойе и психопатии. Пусть. Оно ведь так под этим *культурным* небом задумано: крылатые, от горизонта до горизонта, страсти, бескрылый человек.

С этой задачей вполне справилось бы одно поколение, достаточно просто быть *умным*. Умные, умные небеса! Но они прошляпили и проморгали, пропустили мимо своих, от горизонта до горизонта, ушей важную новость: тут, возле окна... цветет черемуха! Она цветет, деля весну с белой сиренью, уже не одну сотню лет, и весне этой нет конца. Как ни кумекай, как ни верти серой извилиной, но с этим ничего не поделаешь: цветет! Узкий специалист, конечно, поднатуживается, поднимается, бывает, на цыпочки, рвет с умного неба поразвешенные кем-то звезды, потеет, кричит, что Рахманинов *наш* и писал *наши*, в узкопейзажном смысле, национальные полотна, ну что ли родные поля, леса и реки, и мы поэтому, будучи *нашими*... будучи настоящими, в общем-то, придурками... тссс!

Запах черемухи не постигается умом: это запах иной планеты.

И есть поэтому для ума возможность... нет, опасность уйти на вторые роли, уступив первую роль... *душе*! Ах, не смешите нас, умных! Ни один умный не согласится признать, что эта самая, извините, *душа*, существует. Среди умных, правда, нет ни одного мудреца, ео зато столько ученых! Эта ученость всеядна, она не подавится никакой глупостью, и это умных обнадеживает: мы будем умнеть и гнить, гнить и умнеть так еще не одну тысячу лет. И самая великая задача ума - быть препятствием для жизни. Интеллигентные, крутолобые препятствия.

- Я помогу тебе, - снисходительно и чуть брезгливо повторяет Монтсеррат, - У меня есть кое-какие знакомства, в школе имени Доктора, мой отец когда-то работал там.

Монтсеррат *поможет* Серафиме стать такой, как все.

Гейр Сивертсен не был учителем, как это понимает школа: он сам учился у детей. И к счастью для его пребывания в школе имени Доктора, никто этого так и не заметил. Что стало бы с методикой, во что превратился бы *авторитет учителя*, окажись это однажды подсмотренным: это восхищение *детской мудростью*. Ребенок был для Гейра чудесным изделием и шедевром всего космоса, предназначенным на земле для... разрушения. Эти несравненные первые годы жизни! О них ребенок мало что помнит, отдаваясь великолепию ткущего в нем духа, и надо поэтому успеть разглядеть уже улетающее прочь, остановить хотя бы одно мгновенье... Из этих прозрачных, как роса, мгновений струились на картины Гейра краски и линии, не подчиняющаяся законам гравитации и механики жизнь. И это по его проекту вписались в сосновый на камнях лес несколько деревянных, с ассиметричными окнами, зданий. Старые сосны прикрыли своими верхушками скаты деревянных крыш, плющ расплзся по стенам, камни взъерошились черникой и папоротниками, на ступенях вырос репейник... все шло как нельзя лучше. Если бы не эта ассиметричность окон, смахивающая на зевок умалишенного! Гейр Сивертсен никак не мог этого избежать: ассиметричность стала опознавательным знаком всех, имени Доктора, школ. Эта гримаса неудовольствия, судорога бездомности. Доктор знал, какие времена его ожидают: сплошное затянувшееся безвременье. Эти зияющие дыры разинутых ртов! Эта тяжесть оплывших век над вытараченными в никуда глазами! Одно только было для Гейра Сивертсена утешением: мудрость пока еще не нашедшего себя в мире ребенка. Вот бы подольше оставаться детьми! И он построил уменьшенную копию двухкупольного Гётеанума, и несколько лет это деревянное чудо на скальном выступе, сверкающее своими округлостями даже в пасмурный день, изумляло прохожих, пока наконец, в точном соответствии с новогодним сценарием Гётеанума, не было уничтожено пожаром. Больше Гейр ничего в своей жизни не строил. И разодранные судорогой рты окон шипели ему вслед предупреждением: " Пройдет и это... пройдет, все пройдет..."

Гейра Сивертсена помнят спешащим из одной школьной мастерской в другую, в широкой, с закатанными рукавами, холщовой робе и длинном, заляпанном красками фартуке. Это была его школа, и он был в ней *последним*. Сам он говорил об этом неохотно, как о безнадежно проигранном деле. Да и кому говорить? В журнале "Школа имени Доктора" время от времени появлялись его кусачие размышления, и всякий раз оказывалось, что он кусает собственный локоть: на него веяло лишь пеплом рождественского пожара. Гётеанум сгорел, оставив после себя крест фундамента. Но кому же теперь до фундамента дело? Даже окрыляющая тебя мысль, разве она не наталкивается на стену полезности-разумности-очевидности? Вечные, неодолимые препятствия.

Взяв толстую зажженную свечу, Монтсеррат выходит во двор. Ноябрьский день умирает, из темного, без снега, леса ползет к дому усталая тень, наваливается на отсыревшую стену, на покатую, с остатками пожухлой травы, крышу... вот и нет ничего. Холодная, зеленовато-желтая полоса над верхушками елей, она только и силится еще вспомнить: "Но что же должно было быть?.." И уже теснит ее темнота, больше доверяющая электричеству, чем немощным воспоминаниям заката.

Во дворе ждет одетый в попону конь. Он пойдет неспеша по замерзшему полю и через лес, мимо заваленного валунами могильника, мимо вырубки и заросшего кустарником болота, в темноте, ни разу не сбившись с дороги. Этот безошибочный компас. Он встанет на дыбы перед фарами автомобиля.

13

Эта дорога, прижатая лесом к полю, оказывается во сне рекой. И все сразу становится на свои места: теперь здесь можно, теперь здесь стоит жить! Вода несется мимо дома, и она достаточно глубока, чтобы пустить по ней лодку, да, отчалить от этих замшелых, схваченных вечнозеленым пущом камней, плыть. Как обнадеживает это не прекращающееся ни на миг движение, это радостное бурление на поворотах, эта неустанная смена красок! Река бежит мимо дома, и нет больше никакой, кроме нее, дороги.

Теперь ранняя весна, земля томится и ждет. Густые туманы съедают на полях снег, распушившиеся вербы стоят в солнечных лужах. И в этой талой воде, в набирающем прозрачность воздухе живут, конечно, и другие, доставшиеся Серафиме вёсны. Почти все они истощены до болезни, и в каждой из них тоска. Эта гневная, не желающая примирения с обстоятельствами тоска... о чем она? Она родилась не на земле, она не измеряется годам и километрами. Эта вечная, звездная сверхзадача! Тоска о несбывшемся. Ей вольготно на больших сценах, ею упиваются революции. Тоска, ворующая у тебя молодость, ложащаяся с тобой в могилу, тебе нечем от нее откупиться. Ты слишком ненасытен, и голод твой слишком велик, чтобы уступить *самопознанию*, и ты не расстанешься со своею великой тоской раньше, чем она совет из тебя веревки. Твоя молодость есть идеал *приспособления*, и идеалом твоей старости становится *милость государства*, обобравшего тебя еще до твоего рождения. Но ты тоскуй, тоскуй!.. По крайней мере, не все в тебе, тоскующем, механизмуется, давясь икотой рассудка. Тоска, может, только она и вносит в твою жизнь привкус свободы. Синей весенней свободы.

Дорога, ставшая во сне рекой, уносит прочь воспоминания о доме. То ли он так и остался недостроенным, то ли его заменил, со своими залами ожидания, вокзал. Одно только рахманиновское окно, оно и осталось. И ты пристраиваешь к нему остальное. Ты строишь из самого прочного, какой есть в мире, материала: из своего весеннего, солнечного *Я*.

Весной сны становятся сродни оживающей в почве извести: столько в них жадности! Силы этой бесчувственной жадности огромны: "Дай! Уступи! Смирись!" Дай этой почве стать плотью, уступи поселившемуся в ней дракону, смиришься перед *его* необходимостью.

Сны достают своими огненными крыльями до глубоко припрятанных тайн, обжигая нетронутые еще края чьих-то писем, этих жадных до бумаги, до всякой материи признаний. Сны взрывают собой влажный, прохладный март. Эти сны станут когда-нибудь мостом к прошлому, приглашением вернуться. Приглашением начать все сначала. Начать, может, более осмотрительно и сознательно. Ах, если бы можно было так начать! Но все уже начато и скоро, должно быть, кончится. Так думает, по крайней мере, Кристиан: думает о способах самоубийства. Разве весна не самое подходящее для этого время?

Эти сны напрашиваются на понимание, им тесно в ночи. Но кто же посмеет схватить за огненный хвост просвистевшую мимо комету? Кто бросится ей вслед? В стекло стучит дождь, ветер рвет с крыши кое-как прикрепленный брезент, на пол капает с потолка вода... безадресность, бездомность. Пониманию нужна безнадежность. Ссылка.

Наступающему на дом лесу нет дела до этих приготовлений Хельге: он находит в гараже толстую веревку и цепь, запускает бензопилу, высматривает среди тесно стоящих деревьев те, что упадут первыми. Лес привык к этим набегам и отвечает всегда одним и тем же: тысячами новых всходов.

Бьёрн видит эти приготовления, проезжая мимо на тракторе, и не очень-то верит в возможность истребления густого, как северная матершина, ельника. Ему не жаль этих тощих стволов, из них не вырастет ни одной настоящей ели, они только загораживают сложенную из камней межу, смотреть на которую Бьёрну одно удовольствие: это его крепость, его вечная собственность. Замшелые, в два обхвата, валуны натаскали сюда на подводах крестьяне, бравшие землю в аренду у его деда. Дед сажал картошку, сажал картошку отец, и теперь сам Бьёрн сажает картошку, и эта межа говорит лесу, полям и скальным березовым островкам о вечном постоянстве раз и навсегда обозначенных границ.

Бьёрн видит, что Хельге справляется один: обвязывает дерево цепью или веревкой, чтобы падало в нужную сторону, дергает шнур бензопилы, сливая с ее визгом обычную в таком деле ругань. Так поносить дьявола, не считаясь с его высоким в мире положением, могут только на севере: круто и определенно. И сам он, Сатана, собственной персоной, наверняка тут, присматривает за делом, суетится. Подпиленные ели ложатся, одна за другой, со свистящим шелестом на талый, с пятнами моха, снег, и снова визжит на высоких оборотах пила...

На месте густого ельника теперь безобразный, из стволов и ветвей, хаос. Бьёрн подходит, интересуется: зачем все это? Ему не жаль спиленных деревьев, хоть это и его лес, и эти дрова Хельге пусть оставит себе, это подарок Бьёрна, да, премия за классную матершину. Бьёрн бывает в церкви, поет по праздникам в мужском хоре, но ничего подобного даже от толковых проповедников ни разу не слышал: Хельге владеет языком гораздо лучше.

- Я посажу здесь яблоневый сад.

Он мог бы сказать, что намерен разводить здесь жирафов, этих гипертонических переростков. Бьёрн только улыбается, у него крепкие белые зубы, свои, хотя ему далеко за шестьдесят. Сам он не посадил в своей жизни ни одного дерева, их тут и так хватает, и все, что на деревьях растет, есть в магазине. Вон сколько вдоль дороги старых черешен! Малина, смородина, ежевика! Зачем еще что-то сажать?

- И если мне придется отсюда съехать, - кричит под визг пилы Хельге, - сад достанется тебе!

Бьёрн улыбается, он и сам не жадный. Он кормит зимой косуль и лосей, он не раз оставлял возле двери Хельге мешок с картошкой. Его сын другое дело, другое, так сказать, поколение: тот только считает деньги. И оно, конечно, так и должно быть, иначе разве страна стала бы такой богатой. Парню наверняка не понравится эта яблочная затея. Оно, конечно, Хельге чудак, что с него взять, но чудит-то он не на своей земле. Иногда

Бьёрну кажется, что Хельге попросту всех дурит: он владеет тут всем, ничем на бумаге не владея. Владеет этим ведьмовским, темным даже в солнечный день, лесом, этой плавно огибающей поле дорогой, этим бормочущим подо льдом ручьем. Он не *пользуется*, землей, нет, но он что ли... *сопереживает* ей. Странно все это Бьёрну, странно.

- Гм... как же ты справишься без помощников? Перетаскать все эти стволы, собрать обрубленные ветки, выкорчевать пни, сложить штабелями дрова... Тебе понадобится на это сто лет!

- У меня есть негр, - коротко хмыкнув, отвечает Хельге.

Бьёрн понимающе улыбается, заводит трактор. Ссылному все равно делать здесь нечего, так что пусть *коротает* доставшуюся ему жизнь. Пусть забудет, откуда он и куда ему, собственно, надо... Нет, Серафиме ничего уже не надо.

На этом лесоповале можно, не суетясь, провести остаток жизни. Сваливать в кучу еловые лапы, тащить волоком, по пням и валунам, стволы и выкорчеванные пни на место будущего костра, и все это нехотя, через силу, с тем самым надрывом, который и есть соль всякой ссылки. И все это, конечно, не ради десятка кисленьких яблок. Важна сама работа: нудная, тяжелая, бессмысленная, бесплатная. В этом-то все и дело: проникнуться ненадежностью и сиюминутностью тюремного, концлагерного существования. Научиться *уходить*, бросив все на произвол жизненной механики. Руки, ноги и все остальное, все это в действии, но *ты сам*, ты... испаряешься!

Эти тяжелые от весенних соков стволы, этот дышащий влагой лес, эти вырытые вместе с корнями камни, все это дано Серафиме не как противостояние, но как приглашение войти в тиражируемое природой сходство, в царство бесконечного повторения одних и тех же форм и возможностей: войти и внести свою инакость. Инакость, одухотворяющую камень.

Бьёрн видит, что дело, как ни странно, идет: на кучу стволов и веток выливается бочка отработанного машинного масла, и взметнувшееся к верхушкам деревьев пламя дразнит сатанинским ревом проливной дождь. Несколько дней пепелище дымится во влажных объятиях апреля.

Сажать яблоневоы сады - одна из тех хрестоматийных сверхзадач, которым человек готов отдать последнее. И это, *последнее*, является, как правило, с опозданием: вот тебя уже и нет, зато есть поэт Маяковский, и он знает наверняка, что саду цвeсть. Откуда он это знает, другой вопрос, но цветешь-то как раз... ты! Но поэт Маяковский в это как раз и не верит: в твое набухание, распускание, устремление в прекрасный месяц май.

Поэт Маяковский имеет в виду сибирский металлургический ад, принятый им за цветущий сад. И пока его *поэтическая* мысль превращает в сады другие, не пригодные для жизни объекты, рука нащупывает в широкой штанине пистолет и целится в висок.

Но здесь, сколько не сажай яблонь, все равно вырастет густой ельник.

Здесь, на этом сыром пепелище, важна только твоя воля. Земля томится встречей с тобой, и все населяющие ее, зримые и незримые существа не знают, куда им девать без тебя свою мудрость. Потому что только у тебя есть *свобода*. Свобода, которую ты сам себе даешь.

Бьёрн едет на тракторе домой, берет, задумчиво улыбаясь, бензопилу, считает глазами старые дедовские яблони. Низкорослые, кряжистые, обросшие бородастым лишайником, они исправно заваливают из года в год лужайку крепкими морозостойкими яблоками. Бывает, находишь в марте под снегом прошлогоднее яблоко, зеленое с розовым бочком, хрустнешь, брызнешь кислотоватым соком себе на ладонь, и пахнет оно прелой листвой и морозом. Но Бьёрн этих яблок не ест, он их никогда и не пробовал. Раз как-то он заметил, что цветы у этих яблонь темно-розовые, заметил и удивился: никчемное расточительство природы. Ни ему самому, ни его сыну, ни, тем более, его сожительствующей с телевизором жене незачем на этот яблоневый цвет пялиться. Спилев деревья под корень, Бьёрн волочит их трактором на свалку. Теперь на лужайке порядок.

Эта дорога, ставшая во сне рекой, ведет к меловым горам. Сколько здесь мела! Мириады жизней было переработано, чтобы вот так забелить эти места: белая, как накатанный снег, почва. В твердых пластах и раскрошенный, перемешанный с песком, мел оседает на дно реки, и дно становится в солнечный день зеркалом. Зайди в это стремительное течение, оно хочет тебя запомнить!

Серафима родилась неподалеку от этих белых гор, и все, чему она в жизни училась, к чему приспособливалась и привыкала, готово осесть мелом в эту почву. Сколько застывших понятий! Сколько окаменевших истин!

И над этим мелом бежит река.

Странно ведь, что сюда можно добраться... не только во сне. Преодолеть три тысячи километров, преодолеть это расстояние в *себе*. Можно ведь и не возвращаться на лесоповал, не возвращаться обратно в ссылку... Не возвращайся! Оставайся! Неподалеку есть деревня, и жить в ней, кроме как Серафиме, некому. Те, что пытаются тут жить, давно уже ни в какую жизнь не верят и доверяют только оттяпанным у заливного луга огородам. Здесь давно уже ничего не происходит, разве что кого-то укусит на меловом откосе гадюка. Безвестность, запустение, незначимость. Здесь буйствует среди мела шалфей, лиловый, фиолетовый, аметистовый, синий. И никому, разве что привязанным к столбикам козам, нет дела до пряных, горьковатых и сладких запахов. Так пахнет земля, которую ты задолго до своего рождения выбрал, к которой ты *пришел*, да, вернулся. Здесь, между Доном и Тихой Сосной, ты сам когда-нибудь станешь мелом.

Ты, Серафима.

Подняв из колодца ведро с водой, она ставит его на край сруба, опускает в ведро голову, пьет, обливаясь до самого живота, черпает ледяную воду ладонями, шлепает ими по плечам и ключицам, и пасущаяся среди шалфея коза понимающе блеет: от этого захватывает дух! Рогатый, бородатый, жвачный дух! И обласканный полуднем шалфей выдыхает в знойный воздух свои томные солнечные ароматы.

Лето. Счастье. Родина.

Вода приходит в этот колодец из глубины, где тишина и холод. У этой воды вкус времени: столько звезд и планет отдавали свои ароматы ликующим среди мела цветам! И только ради того, чтобы кто-то опустил в воду лицо, утолил жажду. Смотри на свое в воде отражение: это твоя глубина, твой холод. И снова грохочет, раскручиваясь на катушке, ржавая цепь, и тяжесть зачерпнутой воды свидетельствует в пользу того, что все это не сон...

Жаркий июльский полдень, середина жизни. Эти обливающие мел краски, оранжевое и фиолетовое, синее и золотое! Все, какое есть в этом лете, тепло ощутимо только в связи с пересиленным холодом, в связи с преодоленными расстояниями, с оставленной позади этих расстояний безнадежностью. Посмотри на своих детей, и пусть они на тебя посмотрят. Так мало в жизни узнавания, так мало пристальности.

- Зачем тебе жить с Хельге?

Этот вопрос будит эхо других вопросов: зачем уезжать?.. покидать?.. оставлять?.. зачем вырывать себя с корнем?.. зачем искать *путь*? Судьба ответит на эти вопросы, дай ей время. Дай ей что ли... пожизненный срок. Шепни ей мимоходом: "Люби меня долго, но совсем чуть-чуть".

Разве Хельге не пожизненный для Серафимы срок?

Каждый нужен другому по своим причинам, и едва ли найдутся среди этих причин общие. Охотясь за любовью... ах, что это, в конце концов, такое?... Хельге высматривает для себя не просто дичь, но дичь особую, какую никто нигде не ловит. Дичь, которая нигде не водится. Он не даст и своего сломанного ногтя за то, что нравится всем. То, что сегодня в цене, ради чего мир сворачивает себе шею, ни малейшим образом его не интересует. Нормальное, каким бы сытным, питательным и полезным оно не казалось, не может быть истиной. Истина смотрит мимо нормы, мимо решеток и кладбищенских

оград. И именно поэтому ее и не надо удерживать: она приходит и уходит. О ней можно только вздыхать, и только в одиночестве.

Судьба Хельге опасна своими водоворотами, куда устремляются не находящие себе применения силы. И в этих водоворотах бьется рыба. Чаще всего рыба оказывается нормально дохлой. И чтобы течение судьбы бежало дальше, нужна рыба очень выносливая, верткая и прыгучая, способная плыть хоть даже и против течения. Рыба, с которой можно играть. Серафима? Она хочет только плыть и плыть... плыть в еще более глубокие, более холодные и прозрачные воды. И чтобы так без конца плыть, нужно иметь в себе силу водоворота. Силу сопротивления, силу подъема.

Эту силу дает ей Хельге.

Он вносит эту силу в ее судьбу. Он присматривается, жива ли она, то есть как ей, собственно, *живется*. Вокруг много предметов и вещей, описаний этой предметности и вещественности, теорий и механизмов этих описаний... ах, мусорная куча! Кто на ней только не благоденствует! Но кто-то ведь и *не благоденствует*, о нем-то и речь. Речь о *свободном*. О переиначивающем ад.

- Ты можешь писать свои исторические комментарии на моей шкуре, какое ей еще применение.

Это вовсе не услуга, это соблазн. Соблазн пройти по уже построенному мосту. И многое оказалось бы для Серафимы проще, явственнее, да, приятнее, будь этот соблазн ею принят. Кому же не хочется *жить лучше*? Кому не хочется выжить? Выжить, если прежняя жизнь сожжена, если мосты взорваны. Теперь-то... куда?

Даже эгоизм, и он со временем вымерзает, заходя в тупик. Эгоизму нужны ресурсы, нужны огнеопасные слова, нужны реки крови. Нужны знамена и монументы. Нужны просто плевки.

И чем же оказывается эгоизм *преодоленный*, как не спокойной, сосредоточенной грустью? Грустью о потерянном времени, сосредоточенностью на еще не потерянном.

Эгоизм, эта подъемная сила любого восхождения, преодолевается лишь в муках напрасности и бессмысленности последней, самой последней надежды. За нею, за этой последней, открываются иные просторы: ты обнаруживаешь у себя крылья, и камень летит вниз с горы... ах, высота!

Это, может быть, самая великая в жизни задача: *освободиться* от эгоизма. Перестать быть проповедником и учителем, защитником чьих-то прав и отцом всех народов. Перестать совершать революции, перестать бороться "за", бороться "против". Перестать служить. Перестать скрывать свою честность.

Этому учатся в одиночестве. В *своей* школе. И ничего что другие туда не ходят.

Хельге было три года, когда мир вдруг оказался под ним, а сам он стал птицей. Он стал, возможно, гением: сквозь него выглядывало в пресные будни высокое, совершенно не будничное существо. Ах, каким оно было крылатым! Его крылья задевали вершины заснеженных фантазий, и подоспевшей к семи годам школе оказалось нечего Хельге сказать: он знал, откуда приходит линия каждой буквы, откуда приходит счет... нет, не из мертвой механики, не из школьной скуки и насилия. Откуда приходят в мир цветы? Откуда приходят бабочки? Школа учит *приспосабливаться к смерти*, учит суфлерству и повторению чужих ролей. Но как быть со *своей* ролью? Спроси об этом горбатого, кривого, хромого, и весь мир разом откликнется: "Наше! Нам! Нас!"

Но что, если хотя бы одного можно *при жизни* исправить? Дать ему, кроме надежды на смерть, еще и надежду жить. Такого узнаешь издали, даже в темноте. Разве не из темноты выступили для Хельге никем не признанные черты *его ребенка*? Только после того, как незримый портрет Серафимы осел в его душу, он пожелал иметь ее фотографию. И это не портрет незнакомки: когда-то, давно, он видел это лицо. Его запомнили птицы, унесшие с земли оброненные им когда-то слова, их не услышишь в шелесте крыльев, в свисте ветра...

Ты... моя... дочь...

Ее тело с годами меняется, над ним работает должно быть мастер: формы становятся сильнее, легче, изысканнее. Сколько тут пробуждающихся сил роста! Это и есть должно быть старость: эта проработанность тела духом. Смерть удивится, пропустив сквозь себя это *расцветающее воление*.

Ощущение наполненности и округлости, ощущение полноты выполняемой задачи: это тело пришло к своему равновесию. К нему устремляется теперь, сквозь проломы и пустоты *нормальных* о жизни представлений, жар плодородия. В нем набирает силу жизнь, не отбрасывающая за собой тень смерти.

Хельге никогда не увидит эти меловые горы, эти заросшие шалфеем пустыри. Это солнце не выбелит его овсяные волосы, в этой бегущей над меловым дном речной воде не задержится его отражение... никогда, никогда... Но воздух дрожит перед рассветом от любовной соловьиной тоски, от невозможности себя в этот миг отдать: "Люби меня долго..."

Тихая Сосна. Тонкий смешливый месяц пытается удержаться на плаву, но течение вьет из него серебристые нити, вплетая их в кудри водорослей. Хельге не видит этой лунной, зовущей, смеющейся наготы, хотя, может, это ему снится, в его северной белой ночи...

Далеко не у каждого есть такая возможность: застать свою родину врасплох. Она, конечно, все еще делает вид, что твоя мать, хотя, твою-то мать, тебе даже не соседка. И не то чтобы ты сам от нее, путаны, отселился, но время, посоветовавшись с пространством, просто заколотило к ней ход. Тебя, разумеется, на той, родной, половине не помнят, да тебя и раньше-то не желали знать. И вот ты прибыл, с букетом роз. Розы настоящие, не из партийно-правительственных постановлений, и это твоих родных настораживает: в каком ты, собственно, с нами родстве?

Всюду строительство, строят из прочного, на века, материала: слежавшихся, как высохшие экскременты, стереотипов. И если кто-то думает, что главный застройщик это всего лишь фикция и выдумка критического ума, то пущенные в ход ресурсы его скоро в этом разубедят: в ход пущено *всё*. И тебе, явившемуся черт знает откуда, любопытно: а что, если не всё? Что, если есть еще такой ресурс, который никакими внешними обстоятельствами в ход непустишь? Зальешь, к примеру, весь мир нефтью, повключаяешь везде лампочки Ильича, получишь сто пятьдесят процентов голосов на запланированных вперед на столетие кладбищенских выборах... да что еще? Еще, пожалуй, заметное даже идиоту сходство: каким бы рахитичным недоноском не оказывался нынешний застройщик, его непременно перекашивает на Сталина. То есть на самого из всех недоносков рахитичного. Африка вымирает от СПИДа, Россия от паранойи.

Паранойя строительства - одно из самых удачных изобретений черта. Устроившись поудобнее у тебя в кишках, намотав на когтистый палец твой обмен веществ и сердечный ритм, черт млеет от твоей бормочущей рассудительности, от твоих языковых недомоганий. Но ты лопочешь, карябая кэ-гэ-бэшным страхом загривки слушателей, лопочешь о конце унижения и зависимости от... забыл от кого?... от... Ну ладно, ты лопочешь дальше о всех-и-каждого с этим кэ-гэ-бэшным страхом единстве. Короче, о чем речь, тут все *наши*.

К финансовому директору "Аума" ходят обычно *большие люди*. Их видно по способу опорожнения кишечника: все они срут большими деньгами. Эта новорусская денежная вонь! Этот фантом сытости и счастья!

Срать большими деньгами - занятие не только чрезвычайно престижное, но и престижно необходимое: теперь ты не просто партийная букашка. То есть, конечно, букашка, но... на высоте. В букашечном понимании высота не имеет никакого низа, но называть это плоскостью... нет, *наша* демократия не такова. *Наши* букашечные полеты!

С тех пор, как Бу Кварк купил в "Ауме" пузырек дефицитного йода, прошло всего полтора года, но как прошло! За эти полтора года "Аум" перестал быть просто аптекой, теперь это *индустрия здоровья*. И если *наше* здоровье мы с гордостью называем новорусским, то *наше* нездоровье феномен иностранный и нам поэтому чуждый. И не ори, что тут сумасшедший дом, а то *наши* услышат. Наши подумают, что у них *нашего* хотят отнять, то есть главного в этой психушке пациента. Между прочим, он тут главный врач.

Голые по пояс парни таскают в ведрах цемент, мостят гранитной плиткой разбежавшуюся на целый квартал площадку у главного перед "Аумом" входа. У каждого из них ВО, и это действует вроде прививки против бешенства: действует на воображение. Большинство из них владеет английским, на случай переброски в Лондон, и новорусский-подсобный нужен им только для матерщины: твою, твою, а также твою мать. Серафима подходит и спрашивает, не продают ли они тут себя. Те, потно уставившись на нее, соображают: наша или не наша. Наконец один из них, самый интеллигентный, осторожно спрашивает:

- Не понял?

Остальные хмуро шкрябают лопатами по асфальту. Они тут, между прочим, на *военной службе*. По дороге сюда, на передовую, им довелось заночевать *стоя* в аэропорту, и никто не покинул строй, пока не приехала скорая и, ссылаясь на минус пятнадцать, не увезла дохляков, попутно поставив диагноз: *последняя* в этой жизни пневмония. У этих дохляков тоже было в.о., с ним они протолкнутся без очереди в рай. Так сказал им на призывном пункте главный врач. Родителям отошедших в рай дохляков пообещали, конечно, *разобраться...* эх, разберись! Главное, чтобы родитель *смирился со справедливостью* служебно-военных обстоятельств, чтобы было ему, родителю, от этой справедливости сладко и тепло. "Комфортно", - подсказывает "Аум".

Индустрия здоровья, какой она обещает стать уже завтра, ставит комфортность выше вашего, черт бы вас всех побрал, самочувствия: зачем вам *себя* чувствовать? Чувствовать надо валютные перепады, ну, глубины инфляции, ну, скажем, *статистические закономерности*. Вот ведь, статистика! Ею, статистикой, обнаружено, что людишек на земле с каждым проклятым днем становится больше, чем, извините, тараканов. Никто, конечно, не советуется с тараканом, вошью или блохой, хотя те могли бы поклясться всей, какая есть в мире, отравой: люди мрут еще *и* после своей смерти, и нет им никакого резона на землю обратно спешить. Места на земле зарезервированы, в основном, для *бацилл*, с этим таракан давно уже смирился, и даже высоко скачущей блохе приходится быть ближе к земле, не говоря уже о вшах: те просто кладут яйца.

Ощущение комфорта, это и есть *наша*, достигаемая *нашими* средствами цель. Между прочим, и это только для *наших*, тайна аббревиатуры "Аума" входит в обязательный состав любого успокоительного средства: *атрофия умственных мук*. Наш гладкий, без морщин, интеллект!

Главный вход "Аума" запломбирован двумя омовцами, их хмурая, потусторонняя скука давит на асфальте зазевавшуюся тень прохожего, и тот, отражаясь, как есть, в черной полировке гранита, невольно замедляет шаг: похож ведь на человека! Прохожий слышал кое-что о комфорте, и надо поэтому спешить, иначе кому-то другому этот комфорт достанется... да перегрызть этому другому горло!

Омовцы знают наверняка: так им тут и стоять. Главный врач сказал, что это и есть счастье, честно, причем, заработанное. Их учили, конечно, самообороне без оружия, учили, если что-то не так, брать *самбо* на вооружение. В самбо не предусмотрено, чтобы в закрытую дверь ломались с миром: закрытая дверь есть приглашение к войне.

Омовцы хорошо воспитаны, зачем им бросаться на прохожего, если тот час-другой перед ними стоит... стоит то есть перед тайной зарешеченного "Аума". Интеллигентный, с ВО, омовец не даст за это *противостояние* даже слитой в мочевого пузырь кока-колы, даже сторублевки, и той не даст, хотя прохожий и нарушает баланс самообороны.

- Таня... - бормочет прохожий, - ... или не Таня? Она тут у вас... то есть мне бы... то есть... она тут *сидит*?

Омоновцы незаметно, как их учили, переглядываются, один достаёт рацию, выплевывает в комфортабельное, за массивной дверью, пространство служебную скороговорку, и оттуда приходит сердитый ответ: "Какая, к черту, Таня?!" Не назовешь же Таней финансового директора! Промеж себя омоновцы зовут ее губкой: сколько дерьма ею впитано, сколько пятен затерто! А уж сколько она всосала *условных единиц*! Толковая, короче, женщина, интересная. Недавно вот похоронила любимого племянника: тот даже не успел разделить с ней бабушкин, на пятнадцать окон, домик... наехал на него, любимого, камаз. Таковы правила дорожного движения. На *наших*, заметьте, дорогах. Одно только омоновцев возмущает: прохожий пытается говорить с ними как с... людьми! Пытается *унизить до человека* их особое назначение! Да это же враг!

Враг подходит ближе, заносит ногу на ступеньку... еще шаг и... прямо к массивной, в новорусскую толщину, двери! Враг лезет сюда с *приветом* с ихней, не нашей, стороны, с приветом от какого-то ихнего Бу Кварка, не будь он никогда нашим! Немедленно стать в позу самообороны: правая рука прижата к штанам, левая мимо штанов машет. В штанах, конечно, боеголовка. Хорошо, что у омоновцев действует иммунитет ВО: вова-вава-во! Он же, иммунитет, им и подсказывает:

- Пошла ты на! Не понимаешь? Я ведь могу и по-английски!

Он, омоновец, по-английски *может*.

- Скажи, - говорит Серафима.

- Пошла ты на.

Входная дверь лениво таранит омоновца сзади, тяжелая, дубовая. Дверь, вызывающая восторг и почтение. Дверь, приводящая омоновца в нормальное для него состояние скуки: мимо идет, тебя не замечая, начальство. Начальство идет по черным гранитным ступеням, идет дальше... стоп! Дальше препятствие: привет от Бу Кварка.

- Бу Кварк? Он приходил ко мне обедать. Жрал на халяву как свинья. Клянчил выпускаемые министерством обороны лекарства.

Серафима молча протягивает Тане конверт, едва успев отдернуть руку: его нераспечатанное содержимое мгновенно всасывается... губкой. Дураку понятно, что в конверте деньги. Деньги, которые Бу задолжал за дефицитный йод. Такие конверты не посылаются по почте, их доставляют лучшие, желательнее школьные, подружки. Приятно видеть чужую, не имеющую к тебе отношения честность.

- Рекомендую попробовать новинку "Аума": быстрорастворимый чай "Полоний-2012", он уже поступил в продажу.

- Почему... 2012?

Мотнув косматым рыжим париком в сторону скучающих омоновцев, Таня шепотом поясняет:

- Нашим химикам удалось наконец изменить законы природы: теперь это *наши* законы! Теперь у нас все путём, мы снова впереди планеты всей! Теперь, заметь, у нас есть *идентичность*... - рыжий парик съезжает на карандашную, на месте выщипанной, бровь, - Теперь мы вполне... - пальцы торопливо ощупывают конверт, - ... вполне...

- *Наши*, - подсказывает Серафима.

Конверт наконец разорван, в нем... ах! Даже финансовый директор "Аума" может испытать шок, правда, не электрический и не инсулиновый, но вполне приличный, с точки зрения передовой медицины шок: фотография Бу Кварка с приветом на обратной стороне! И после этого кто-то смеет говорить, что они нам друзья? Что нам пора в Европу? *Нам*?! Нам, принимаемым ими за бескорыстных-честных-порядочных идиотов? Да за кого они нас принимают?

Помяв фотографию в руке, Таня раздраженно сует ее в мраморную мусорку. Омоновцы смотрят, не моргая, в сторону обеденного перерыва. Их кормят в служебной столовой "Аума", кормят *безопасной для здоровья* пищей. Главный врач так и сказал:

"Безопасность гарантирована!" Ее гарантирует серое, производящее безопасность учреждение, питающееся исключительно... страхом. Вам-то не страшно?.. не тошно?.. Главное, чтобы было комфортно.

Комфортно было сидеть с Таней за одной школьной партой: сидишь и присматриваешься к профилю. И учитель, этот массовик-затейник, тоже присматривается и видит только... сходство с родителями. По этому сходству учитель выставляет потом оценки: оно для него профилирующее. Ах, профиль, профиль!.. Никто, конечно, не понимает, с какой, к черту, реальностью имеет дело школьная физика и химия, никто не чувствует, что математика сплошь мертвечина, никто никогда не находит у себя той селезенки, о которой болтает анатомия. Профиль любой, какая ни есть, проклятой школы - *притупить* и *заглушить*. Профиль новорусской школы: купить все и не нуждаться ни в чем. Чем активнее ты покупаешь-и-ни-в-чем-не-нуждаешься, тем приятнее твоя дорога на кладбище. Счастливого пути!

Не нуждаться ни в чем, кроме самого на кладбище необходимого: денег. Гробы. Венки. Некрологи. В этом суть *нашего* новорусского здоровья.

- Но ты-то... - недоверчиво, как меряют взглядом недавно повешенного и еще не вынутого из петли, щурится Таня, - Ты-то... благоденствуешь? В Париже уже была?

Таня сама только что из Парижа, моталась туда за ихним туманом. Туман висел, как обычно, над мутно-зеленой, с картин Ренуара, Сеной, и всё, что в нем кишело и суетилось, не шло ни в какое сравнение с телевизором.

- Нет, - вздыхает Серафима, - еще не была... в Ницце тоже не была... нигде не была! Пилю дрова на лесоповале. Могу прислать тебе приглашение...

- Мне?!

Никто не позволяет себе такую с финансовым директором "Аума" фамильярность. Даже любимый племянник, и тот, пока был жив, вел себя скромно. И это вовсе никакая не шутка, это заразная болезнь, похуже птичьего гриппа, болезнь перелетной свободы, от которой есть только одно лекарство: отстрел. В *наших* переиначенных законах природы есть такой параграф: преследовать разносчика заразы до самого его гнезда, минуя границы и нейтральные полосы. И пусть законы природы приспособляются к *нашему* искусству врачевания.

Река уносит этот мел в море, присоединяя к его воспоминаниям свои лежащие на белом дне письма. Вот где слова! Их читает только судьба, только у судьбы есть на это время. Судьба возвращается вновь и вновь на эти меловые пустыри, надеясь когда-нибудь здесь осесть, среди ковыля и шалфея. Судьба ведь подобна семени, из которого медленно вырастаешь *ты*.

На этих меловых горах так много свободы. Она тут пока ничья, она живет лишь в возможности, она никого не зовет. Она приберегает себя для будущего. Для того невостробованного ресурса, о котором не желает знать ни одно строительство. Эта уплотненная тысячелетиями белизна подождет еще, терпеливо вынося безлюдье.

Только цветы, только ветер, только солнце...

14

Пить шампанское просто так, среди *рабочего* дня, дело для пишущего будничное. Пишущий, даже если ему совсем не пишется, подбадривает себя авансом: авось завтра... Хотя сегодня никто в завтра не верит. И не потому, что соседская самооборона припугнула слабонервных, а потому что лень. Лень присматриваться к *себе*, да и вообще присматриваться... хватит и того, что пишущему видны гонорары. Они видны даже в его кошмарном сне, сквозь им же придуманные сюжеты, и пишущий озабочен только одним: как бы не проснуться.

На эту тему *пробуждения* пишущие любят дискутировать. Чем больше в этих дискуссиях дыма и оседающей на языки и уши копоти, чем натуральнее впечатление пожара, тем крепче врастает в родную почву *неуверенность*: горим или не горим? Вот ты, например, поджариваешься, а внутри у тебя холодеет... бррр! Рассудочный в твоей крови холод не допускает расплавления и растормошения души: она тут не причем. Даже когда ты пьешь шампанское.

Здесь, в привокзальном Тон-отеле, глазеющем пятнадцатью этажами на Осло-фьорд и несущееся вдоль него шоссе, пил шампанское и самый из всех пишущих пишущий: Пишущий. Его звали сюда из Москвы, и не просто так, чтобы только всучить обжигающую пальцы нобелевку, но чтобы врубиться наконец в суть различия между... ах, будем же скромны!.. между *большим* художником и *малым*. Об это различие бьется всякая пишущая рыба, всякая креветка и каракатица, даже киты, акулы, и те... и большинство набивает себе диссидентские шишки, да, нечто *выдающееся*, и к этим фонарям клеются медовым пластырем *права человека*. У вас они, кстати, есть? Пишущий давно это понял: права человека выдуманы исключительно для него, Пишущего. Он сам охотно опроверг бы их для человека полезность, окажись это полезным родному Архипелагу. Он, Пишущий, патриот, он ведь родом оттуда. Там у него выросла борода, она же его там и согрела. И вот, в бороде, ушанке и дубленке, Пишущий наконец прибыл в январский Осло, обогнув невинный датский берег с подветренной, гуманитарной стороны. И едва носок его копенгагенского ботинка коснулся гранита "Колор Лайн", его тут же обдало знакомой свежестью валютного, из Нобелевского института, ветерка, и глаз сам собой сбрызнул надушенную "Красной Москвой" бороду: хорошо чувствовать себя зэком в этой богатой и вежливой стране.

- Я, - сказал тогда Пишущий, - и есть Большой Художник! И именно поэтому любовь у меня с властью не взаимна. То есть я ее, паскуду, родную, люблю, а она меня, сволочь, нет, не доросла еще, стерва, не созрела. Ей бы, шалаве, шалить только с безрыбьем и бесптичьем, мелкими вошками, извините за выражение, мандавошками...

Его, конечно, тут же вежливо извинили и сами принялись извиняться: дураки, *крепкими* выражениями не владеем. Скучно оглядевшись по сторонам, Пишущий украдкой, в полбороды, зевнул: эти нобелевские недоумки! Они взяли с него слово... то есть нобелевскую речь, и он взял напрокат черный, с атласом, фрак, каких сроду не носил ни один зэк, и, выхолив безусую бороду, приступил к объяснению... в любви. И если кто-то до этого сомневался в том, что Пишущий свою архипелаговскую родину-гадину любит, то теперь... теперь-то стало ясно: Пишущий ею *упивается*. Как она, впрочем, от него далека: даже в грибном подмосковном лесочке! И все потому, что от нее, родины, не веет ничем чужим, нет, не веет *Европой*. Она вся, родина, в его безусой нобелевской бороде. Скучное, досадно скучное лицо! Такие лица пришивают пророкам. Такие лица стоят указателями на всех *путях*.

Но давайте же допьем шампанское. Сейчас, когда с писательских яйцевидных макушек сносит ореолы и всякую иную подсветку, когда в свое оправдание писатель говорит "не наше дело", ловя при этом спертый воздух власти, когда само слово "воздух" становится запрещенным, а дыханию предписывается *режим экономии*, сейчас и надо вступать с властью в брак. И это, заметьте, не случайка, это законный брак.

Так, не успев еще как следует умереть, Пишущий въезжает в протравленные новорусским ладаном покои... ах, тут одни покойники! И хотя его безусая борода стала намного длиннее, а ум обогнал вторую по счету эпоху, нога делается все короче и короче... вот так, на короткой ноге: скок-скок... так можно доскакать до имени-тебя-самого предприятия, перерабатывающего прелый сталинский навоз в нечто *национальное*. И с этим крикливым, переносенным в нефтяной утробе бастардом много, увы, возни. С этим стареющим, маразматическим детским садом. С этим *нашим*.

Интеллигентность Пишущего, обогнавшая свою и чужую эпоху, это не только ум, честь и совесть архипелаговской партии, это еще и *воля иезуита*, освящающая

комфортность глупости. Собирая в Подмоскowie грибы и думая при этом о счастливом долголетии их шляпок, Пишущий рекомендует лисичкам и опятам помалкивать, и те, конечно, бубнят только про дождь, про то, как им, грибам, накапает на макушку. Сидите, ребята, на старых пнях! И пусть вашей многолетней грибнице снится Америка, в *нашей*, заметьте, почве. Дождь стучит по взятому займы клобуку, стучит... стучит! На Пасху открываются ворота, и вываливает в ночь и в дождь орава бубнящих одно и то же, в бабьих юбках, мужиков: "Господи, помилуй... помилуй... помилуй...", и прихвостившийся сзади *народ*, сплошь в галстуках и с депутатскими удостоверениями, ходит кругами и в ногу... вот они уже в круге пятом... в круге сотом... и нет впереди ни одной остановки! Господи, помилуй.

Шампанское с видом на Осло-фьорд, это не только уверенность в стойком курсе здешнего ветра, это еще и неуверенность... тссс!.. неуверенность в соседском прогнозе погоды. У них там всегда "ясно", ясно? Это у тебя в башке переменная облачность. Сквозь перистые, к дождю, облака ты занываешь на чей-то юбилей, соображая, сколько кому чего и чем стукнуло, и юбилей оказывается похоронами: в самом деле, удар. И дождь стучит, стучит отчаянно по смятому набок клобуку... "Он был, - заикается кто-то, - *нашим*".

Он писал о нашей со-правде, выдавливая из нее нашу же со-ложь, выдавливая из этой солжи все ту же соправду... он, Пишущий, соправдивец, солжец. Курс здешнего ветра не был бы таким стойкаим, не будь у соправды-солжи общего на все времена кода: падать ниц. Со... лже... ниц...

После шампанского пишущий, как правило, скучает: углекислота ударяет в кишечник, и сладости во рту никакой. Одно только утешает: сам ты за это шампанское не платишь. Об этом заботится государство: чтобы пишущего не мучала жажда. Чтобы он, ничем не мучимый, и дальше так писал. Писал о проблемах благоденствия. И чтобы его не сочли, хотя это только гипотеза, зацементированным болваном, пишущий втыкает себе в жопу палец, а там бедность, ислам, терроризм... Чего там, в жопе, только нет! Жаль, что она у пишущего только одна, своя.

Привокзальный отель в Осло. Здесь происходят ежегодные жертвоприношения в честь Музы. Она, конечно, Муза тоже заказывает себе комнатенку, ночует, завтракает, мотается вверх-вниз на лифте, слушает и даже порой выступает... Муза выступает с призывом разойтись по домам. Но пишущих просто так не разгонишь, им непременно нужна жертва. Жертва, о которой можно мыслить статистически. Всѐ, какое есть у пишущего мышление, оно в статистике: ею упивается его воображение. И это статистика механического попадания в нарисованный воображением туннель... да нет, это не жопа, это просто дыра. Дыра в языковом, залатанном политической терминологией пространстве. В эту дыру с хлопом и свистом всасывается *отражающий современность* продукт, который, отражая, остается зеркально мертвым. Так давайте же, пока шипит в высоких бокалах шампанское, станем на цыпочки и стащим с Музы ее венок, развяжем ее девический пояс!

Эта Муза явилась к Серафиме в предобеденный, со сливочным тортом и кофе, перерыв. Осторожно стукнула в дверь, постояла неуверенно на пороге, смущенно протиснулась между дверью ванной и вешалкой, пробралась по коврику к постели. Села, склонилась, прошептала: "Пора!" Она не сказала, куда, поскольку привыкла говорить загадками, но прозрачные, отороченные белыми лилиями рукава всплеснулись вместе с ее тонкими руками, и где-то поблизости мягко вступил в тишину запряженный в пасмурность дня оркестр...

Эта Муза хочет любви.

У нее нет, разумеется, пола, хотя ее привыкли считать женщиной. Но в отличие от бесчисленного множества баб и прилегающих к ним мужиков, у Музы есть *орган любви*. И он у нее ничем не прикрыт. Она предлагает любовь каждому, она готова... Но кто ее, такую, полюбит? Эту, ненормальную.

Она шепчет Серафиме о Кристиане.

Она шепчет о нем почти уже тридцать лет, и ей до сих пор есть, что сказать. "Помнишь запах угля с вокзала?" Вокзал, с которого уходили поезда в Москву и к Черному морю, перли аж до самой Балтики, он был совсем рядом с окном, из которого можно было бы уже тогда выбраться. Смести с подоконника крошки оставленного воробьям хлеба, рухнуть вместе с прогнившей рамой вниз... на мусорную, кстати, кучу. Этот мусор не убирали месяцами, кому он нужен, он так там и гнил, под окнами университетского общежития. И Кристиан тайком доносил звездам, на непонятном кэ-гэ-бэшникам языке, о состоянии дел, подкармливая хлебом драчливых воробьев. Его доносы, впрочем, смахивали на сентиментальную благодарность: когда еще судьба отважится на такое? И как она вообще отважилась? Отважилась вырвать его из ютландских грез о море, песке и ветре. Отважилась сделать его похожим на мужчину. Кристиану вполне хватало и того, что над ним простерло свое покрывало созвездие Девы, и было большим для него соблазном понимать это покровительство буквально: блюсти... ну что ли непорочность. Дева внимала вместе с ним Леннону, пила пиво, сворачивала самокрутки, скучала. Дева обещала Кристиану скучать так всю жизнь, размазывая по облакам зовущие вон и прочь песни биттлзов, занимая шахматный ум карикатурами на самого себя. Но разве ей, голубоватой, нежной, холодной, сладить с Козерогом? Этого Кристиан желал бы меньше всего: оказаться *вычисленным*. Но судьба, с ее копытами и рогами, не считается ни с крутизной склонов, ни с высотой подъема. С судьбой можно сладить, только отдавшись ей.

Помнишь этот запах угля с вокзала?

Так пахнет, должно быть, тоска: поезда, расстояния, невозможности. В форточку просится сырость, под одеялом лед. Под другим одеялом тоже лед, но Дева к этому привыкла. Привыкла считать зиму единственным временем года. И кто-то объявляет в ночи прибытие поезда, объявляет отправление... и провожающие, ах, их тут нет, давно уже вышли из вагонов... Отсюда, из этой комнаты, никуда не уедешь. Отсюда только бросаются вниз головой.

Но запах угля... он плывет дальше, минуя препятствия жизненного опыта. "Когда-нибудь ты вернешься домой... домой! Вернешься, держи меня за руку". Кристиан знает, что этого никогда... никогда!.. не будет. Знает, что у этого "никогда" есть свои границы. Границы жизни. Но дальше, дальше-то что? И Дева, очень с годами поумнев, обещает Кристиану посмертное-инопланетное: тут тебе подправят осанку, там вправят разуменье... короче, вписывайся, как можешь, в космос. Она стала с годами язвительной, эта голубоватая, рассудительная Дева, многое просится с ее языка на редакторскую полосу "Ютландской почты" и оседает там нудной полемикой о выживании маленьких благополучных стран в условиях глобальной мусульманской оккупации. В поры этой усталой полемики набивается пыль и копоть национального интереса, впитываются яды гуманизма, парфюмерия демократии. Проще рисовать поэтому бананы-носы и луковицы-тюбаны, просто карикатурить... просто принять как должное, как неизбежное перспективу истребления старой, предметно мыслящей Европы. Пора уже, ребята, оставить ум в покое, этот дряхлеющий продукт изношенной, усталой, приживалки-головой. Пора учиться *видеть*. Это не *умалишение*, это факт роста. Когда-нибудь, вскарабкавшись на свое *Я*, ты дотянешься до открытого над предметной суетой люка, уцепишься, подтянешься... и вот ты уже наверху!

Но кому же туда, наверх, охота?

Предметность нашего мышления тем и прочна, тем навеки счастлива, что ей хватает двух фундаментальных позиций: Больше денег и Меньше денег.

Запах угля с вокзала, свистки поездов. Кристиан никогда не вернется в этот русский город, и это его печалит. Он ставит на багажник велосипеда ящик и пиво, едет, кивая знакомым, по вымытой дождем брусчатке... едет так уже много лет. И сколько еще лет ему вламываться в эту стеклянную, с ковром и хризантемами, прихожую?.. в это

подпираемое *образом жизни* одиночество? Дева не может не любить порядок, этот свой приговор, и в этом ее верность.

Кристиан храпит в ночи на диване, прижав к бокам руки по стойке смирно, и через его открытый рот беспрепятственно шастают туда-сюда бормочущие математические формулы, оседая пеной слюны на краю подушки. Диван слишком узок, чтобы тело могло раскинуться и расслабиться, а если лежать на нем вдвоем, то только в виде усохших мумий. Сам Кристиан, впрочем, едва ли когда-нибудь усохнет: он насквозь пропитан пивом. Чтобы датчанин не пил? Датчанин пьет прямо из моря, на башке у него ветряки.

Об этих ветряках, вечно высматривающих на каменистом берегу одно и то же, Муза и шепчет Серафиме: "Ветер!.. Ветер!.. Ветер!.." Ветер, забегающий далеко назад, кружащий на бетонной набережной обрывки одолженных у судьбы дат: ты пока еще здесь... пока еще вписан в это неустойчивое, между двумя жизнями, равновесие, в это угрожающе-конкретное здесь, в это улетающее прочь теперь. В этом двадцатипятилетнем теле, в этих свалившихся на плечи белокурых кольцах, в этих раздуваемых ветром поцелуях есть привкус горячей любви, есть ощущение болезни. И Муза клянчит у Серафимы эту *болезнь любви*.

Храпя на своем диване, Кристиан не ведает об опасности возвращения в далекую русскую осень. Вернись он туда, он был бы просто сумасшедшим: там все еще топчет рябиновые на асфальте ягоды его рассудительный двойник. То, чем ты был когда-то, когда-нибудь предъявит тебе счет, обнаружив при этом досадную, с точки зрения будущего, придирчивость. И как бы тебе не хотелось пройти, пронестись, промчаться мимо, ничем свое прошлое не задев, оно непременно угонится за тобой, опередит, если надо, подождет на перекрестке... да, дождется. "Вот я, - заявит оно с категоричностью зеркального отражения, - вот я и снова с тобой!" И Кристиан поэтому смотрит с опаской на молодость, он давно уже остриг волосы, болтавшиеся по плечам, и умершему Леннону не растрясти его сонное, примороженное к алкоголю "Ничего я больше не хочу".

Кристиану нравятся старики. Говорить с ними особенно не о чем, хотя многие из них болтливы, но сама старость кое-что значит: в ней становится наглядным раскручиваемый жизнью сюжет. Забавно ведь видеть, сколь ничтожными оказываются результаты значительных и даже великих усилий. И все, на что обычно напирал старик, звякая медалями, все это не выходит из ряда "я делал, делал, делал..." Между тем как большую часть того, что он делал, делать вообще бы не стоило.

Кристиану нравится подводить, слушая стариков, итоги: вот ты, собственно, и остался ни с чем. В этих итогах горланит об избытке сил задиристый ютландский ветер, и экономная зрелость ведет подсчеты выплеснутой на пол воде и исписанной бумаге, и вывернувшаяся изнанкой зрелости разумность спешит добавить, что будет сэкономлено еще больше, если к пройденному вовсе не возвращаться. Проехали!

И все-таки Кристиан изредка туда смотрит, в несуществующий больше город влюбленности. Кстати, это не его влюбленность. *Его* влюбленность так ни разу и не осмелилась о себе заявить, держась в тени неловкости и смущения. Ему понадобилось несколько лет, чтобы завязать несмелую дружбу с работающим рядом с ним парнем, и тот, ввиду стертости знаков внимания, так и не понял, что Кристиану, собственно, надо... Нет ему ничего не надо! Никто не должен разгадывать водяные знаки его одинокого воодушевления. В его тайниках не должны толпиться посетители. В его тайных глубоких подвалах живет, как может, Ничто. И к этому Ничто любовно прикасаются его мысли. Не раз уже эти мысли приносили Кристиану весть о том, что дальше них самих, мыслей, ничего не простирается: охраняемая ими пустота абсолютна и вечна. Жизнь *покоится* на этом элегантно обустроенном кладбище. Приятно бродить среди могил, читать неспеша полустертые надписи, сопоставлять даты. Нюхать склонившуюся к граниту розу. В этом улетевшем с земли мире нет ни малейшего смысла желать себе разрастания и укоренения, здесь все уже облетело, осыпалось, сникло. Здесь не будет никаких перемен.

Но... влюбленность Серафимы?

Кристиан не знает и не желает ничего о своем незнании знать, отчего эта влюбленность так затянулась. Отчего в стабильности его одиночества обнаруживается глубина... глубина сожаления: ты, как всегда, один. На этой опасной глубине к нему подбираются сомнения в правильности выбранного им при рождении пола: кто он?.. кто-о-о-о??? Он подходит к зеркалу для бритья, смотрит... все это он видел уже много раз: почти двухметровый чурбан, годящийся рубить лес, ворочать булыжники и бревна, таскать на спине мешки с картошкой. Кто скажет, что он не мужчина? Он смотрит на свои руки, большие, достаточно в жизни огрубевшие, встряхивает остатками белокурых волос, присматривается к цвету глаз... Он ни за что не позволил бы кому-то наблюдать, как он втайне любит себя, у него есть *мужская* гордость. Это она учит его ходить прямо, смотреть, если надо, поверх голов. Хотя на спине у него сидит, вцепившись в воротник рубашки, маленькая черная обезьяна. Эта гадина! Она мнит себя куда более совершенной, более важной, чем он, персоной: в ее кокосовой голове нет насчет правильности или неправильности сомнений, для нее главное - счастье. Неизменное, каждый день одно и то же, тиражирующее себя в бесчисленных копиях, обезьянье счастье.

Обезьяна пока еще не уверена, что Кристиан рулит в нужную ей сторону. Этому его надо еще учить, учить и учить. Учить разумности сожительства с обстоятельствами, отсекающими от тебя всё то, что выше твоей головы. Пусть твоя голова и будет самой высокой точкой - и точка! Обезьяна не прочь насадить твою голову на подходящей высоты академический шест, пусть торчит на виду, пугает еще не пуганных: пугает схожестью гениальности с помешательством, да, отпугивает от гениальности пока еще не помешавшегося. Будь таким, как все!

Порой обезьяна скребет грязным ногтем свой кокосовый затылок: сильный пол, он постоянно нуждается в сравнении со слабым, иначе никто в него не поверит. И было бы в обезьяньих интересах ввести единый, всеобщий пол, подражательно-тиражируемо-пробирочный, отзывающийся исключительно на разумность своего владельца. Придать универсальности брачных законов, венчающих не только мужика с бабой, но при случае и мотоцикл с табуреткой, мятно-кардамоновый привкус свежеиспеченной истины, и если кто-то назовет это безвкусной ложью, пусть пеняет на свои предрассудки. У обезьяны таких предрассудков нет.

Обезьяна подсматривает из-за спины Кристиана, как он распечатывает письмо от Серафимы. Письмо заталкивает под дверь почтальон вместе с газетами, этот белый бездомный конверт, и оно сиротливо лежит на полу, то ли выпрашивая что-то, то ли обещающая. Рука Кристиана торопливо хватается, лицо краснеет до самых ушей, стекла очков запотевают. "Влюблен?!" - с негодованием думает обезьяна, усаживаясь на спине поудобнее. Кристиан несет письмо, словно пойманную рыбу, роняет его в кресло, кладет сверху подушку... он прочитает его потом, потом... нет, сейчас! Торопливо затушив сигарету на бетонном полу балкона, он выуживает письмо из-под подушки, снова краснеет до ушей, протирает скомканным носовым платком стекла очков.

"Дорогой Кристиан..." Так должно быть подумает Серафима, оказавшись однажды на его похоронах. И что подумает при этом обезьяна? Что влюбленность наконец испустила дух? "Вот, - тыча грязным ногтем в сторону заваленного цветами гроба, разумно заметит обезьяна, - вот и всё, что осталось. И даже это, последнее, растащат черви, все уйдет в почву". Куснув Кристиана за покрасневший кончик уха, обезьяна торопливо напоминает о *незаконности* этого предприятия: отказа от ее обезьяньих услуг. Но самое возмутительное: Серафима называет ее, обезьяну, по имени. В этом письме, на этой бумаге, в дебрях этого мелкого почерка: ну, ты, Ариман! Ты, скрывающийся за чужой спиной, едущий за чужой счет, ты, обходящаяся без любви мудрость!

Кристиан зябко поводит плечами, он помнит, как это произошло, как Серафима его *высмотрела*. Должно быть уже тогда, четверть века назад, у нее была эта способность. Способность обходиться, узнавая что-то важное, без мыслей. Разве это голова командовала ей перейти на другую сторону улицы, где в этот момент стоял в

нерешительности Кристиан? И эта его нерешительность, она ведь тоже подобралась с заднего хода, минуя рассудок. Стоя по разные стороны тротуара, оба они, каждый по-своему, переживали нечто сродни узнаванию, и разделяющему их асфальту оставалось только сойти на нет в нескольких неуверенных шагах... Проскочить мимо, остановиться, оглянуться, вернуться, кивнуть в знак того, что встреча назначена именно здесь. В ветренной русской осени, в безымянном городе. Так требовательно это узнавание: ты остановлен, вырван из хода событий, потрясен. Узнавание своих прежних, когда-то умерших вместе с тобой намерений. И ты не спутаешь себя с кем-то другим: "Там, давно... это был я сам".

Страшно подумать: двое встречаются после почти тысячелетней разлуки!

Тысяча лет, впрочем, пустяки, с учетом того, сколько еще впереди. А сколько? Кристиан думает, что у Ничто, у этой конечной станции, куда съезжаются все в мире поезда, вообще нет никакого возраста. Ни старости, ни юности, одни только мигающие светофоры: сюда!.. на этот холодный огонь!.. по этим сверкающим рельсам! Было бы разумнее пить в Дании пиво и никуда не ездить, становясь серым, морозящим дождем. Но в самую эту разумность закралась ошибка, досадная, с точки зрения Ничто, ошибка: удивление и любопытство. Кристиану ведь не терпелось взглянуть на русские березы, в них есть что-то особенное... то есть особенность в самом освещении, в *ином* свете.

Серафима высмотрела его, выследила, застала врасплох. От нее веет той особой в этих местах грустью, что сродни преждевременному увяданию: вот ничего, ничего в жизни и не произошло... Но разве то, что вокруг - жизнь? Жизнь где-то там, не здесь... Такой грустью заражены здесь многие: эта грусть отрывает от земли, заставляет мечтать, томиться, ждать... Земля, конечно, приходит от этого в запустение, но те, что мечтают, вовсе не намерены к ней в дальнейшем возвращаться. И если кто-то остановится и, пытаясь загородить собой дорогу к бегству, заорет: "Стой! Пропадем!", его сомнут и растопчут. Потому что время осваивать землю тут еще не пришло. И то, первое, что увидела в Кристиане Серафима, была именно земля: теплая, добрая, хлебная... нигде не существующая земля. Однако ведь и мечта может завести достаточно далеко, так что обратный путь сам собой отпадает. Мечте достаточно просто придти, остальное дело времени. Серафиме понадобилось двадцать лет, чтобы достаточно для больших перемен износиться: продавить себя сквозь сито приспособления ко *всему*. И уж тогда, на руинах, вспомнить: а была ли в жизни хоть одна любовь?

Кристиан не раз видел это во сне: он идет с кем-то сквозь пургу. Ему не трудно узнать себя в рослом двадцатидвухлетнем викинге, и это вызывает у него самодовольную радость: он хозяин в этих глухих местах, отгородившихся от остального мира морем и горами. Его попутчик намного старше и опытнее, и с ними еще третий, ребенок. Мокрый снег набивается в бороду, тает на белесых бровях и ресницах, налипает на кожаные штаны и кольчугу, но смазанные тюленьим жиром лыжи скользят дальше, мимо торчащих в снегу пней и валунов... дальше, и никто не знает, что там... Так трудно припомнить во сне свое имя, припомнить имя попутчика. Одно только ясно: спрятанный под щитом ребенок и есть смысл их трудного пути. Однажды во сне Кристиан подумал: "Ведь это Серафима!" Подумал и во сне же удивился: откуда он это знает? Всё, чему его учили в гимназии и в университете, возмущенно против этого выступает: не может быть подобного знания! Но он знает это наверняка.

Запах снега, запах угля с вокзала, уставший от зимы русский город.

Расстояния не сокращаются оттого, что уставшие от них тела преодолевают вместе с чемоданами и рюкзаками тысячи километров. Неодолимые внутренние расстояния. Так велико это нетерпение: остался всего лишь час... всего лишь несколько минут... и поезд наконец неслышно тормозит возле заждавшегося перрона. Город улыбки, внезапно вынырнувший из навивающихся на годы снов... или это сны нахлынули на безразличие остановок и расписаний? Перво-наперво надо поблагодарить за это судьбу: она долго манила и не напрасно. Судьба преодолела, как могла, невозможность, *сбылась*. И не так-

то легко ей, сбывшейся, признать, что ее ясный огонь всего лишь чиркнувшая спичка. Но и того, может, в ночи достаточно. Подойти к этой двери, позвонить... разве это не безнадежность?... не отчаяние?... Узнать в своей сбывшейся судьбе хитроумную проделку обезьяны: "Держи! Держи то, что тебе не удержать!" Но что, если прямо тут, возле двери, возле нажатой кнопки звонка обнаружится жар такой мощи, сила такой значительности, что судьба сбросит наконец свою последнюю маску: "Не ты ли истина? Не ты ли любовь?"

Страшно, что это ведь может однажды произойти. И это не почтальон подсовывает под дверь вместе с газетами неоплаченный счет, этот счет приходит изнутри. Из треснувшего надвое, измученного жаждой Я. "Я не хочу, не должен, не могу ничего об этом знать! Не хочу... не должен..." Но кто-то звонит, звонит в дверь. Здесь, в этой ветренной осени, жизнь подступает к своему последнему рубежу, за которым окаменение. Здесь край и отрыв, и нет больше никаких мостов. Здесь начинаешься ты сам.

Ты, Серафима.

Муза, скажем так, сыта, хотя и ненадолго. И предобеденный, после игристого шампанского, перерыв устремляется наконец к обеду. С видом на Осло-фьорд и тонуший в нем стеклянный оперный театр, обед обещает пишущему и другую трудно перевариваемую символику: высоковольтный, на холме, столб, железобетонное жерло туннеля... Пишущие едят и обмениваются мнениями, ведь только обменяв свое мнение на чужое, и можно оставаться пишущим... да, сытым. Хотя у многих мнения при себе вообще нет, а есть заменяющая его профессиональная улыбка, натянутая на облысевшие просторы и оплешивевшие пустыри. Пишущий горазд улыбаться, даже когда его тошнит: чтобы стоящий позади стула жирный официант-китаец, ничем его не обнёс, чтобы не задел тарелкой горячего супа или переполненной соусницей. И чтобы другой профессионально улыбающийся не заподозрил пишущего в бездействии, пишущий, он же психолог, опрокидывает фужер с красным вином на белейшую в мире скатерть. Вино расплзается кровавым пятном до соседних локтей, впитывается в треугольники салфеток, подтекает под широкие тарелки.

- Вино! - кричит психолог, заглушая бубнящие голоса жующих, - Вино!

И все, кто за длинным столом, аплодируют и пьют, пьют и аплодируют. Разве можно сказать лучше? Психолог сует всем в тарелки свои визитки, на случай, если кому-то станет плохо. А тот, кому уже плохо, может улучшить свое самочувствие, узнав, что пришел конец старому летоисчислению: оно теперь не от Рождества Христова, но просто *нормальное*. И все снова аплодируют и пьют, аплодируют и пьют...

Нормальное летоисчисление, это не просто услуга надоедливому календарю, это стимул *нашего* благоденствия. Мы не прочь назвать Голгофой туристический аттракцион или зубную пасту, какая нам, благоденствующим, разница. Главное, не смотреть назад, не допытываться у времени, может ли оно своим прошлым совпадать с будущим, сминая в лепешку настоящее. Мы знаем только одно время: время нашей жизни, от роддома до кладбища, и не надо нас поэтому путать с наблюдаемыми в подзорную трубу звездами, ведь это мы их *наблюдаем*. Мы наблюдаем курсы валют и географию эпидемий, наблюдаем за соседом. И если среди нас встречается порой сумасшедший, *наблюдающий Христа*, то ведь у нас есть для него нормальные психушки.

- С точки зрения *нашей науки*, - сообщает психолог жующим, - Иисус *страдал*... - поощрительный кивок официанту, - ... рядом известных патологий. Он не был, увы, нормальным! Но мы, на *нашем* уровне развития, смотрим на это снисходительно... демократично. Пожалуйста, еще вина!

Все аплодируют и пью. Но вот наконец весть заждавшимся тарелкам: фирменное блюдо, горячее, привокзальное. Жирный официант-китаец прихлопывает им расплывшееся на скатерти пятно, в носы пишущих ударяет захватывающий воображение запах: подкопченный труп дикого зверя.

Зверь должен быть непременно диким, иначе его примут за курицу. Его дикость хорошо сочетается с прирученностью самого пишущего, и вместе они составляют реальность культуры, сущность которой - возбуждать аппетит. Этот, производящий одни и те же пищеварительные движения, голод, эти урчащие манипуляции, этот крик о *сладоcти поедания!* Психолог не прочь и тут дать пояснения:

- Этот лось-косуля-олень, этот сырой, с кровью, кусок есть наше, человеческое представление о любви. Мы, благоденствующие, любим охотиться на соседа. И сосед, заметьте, всегда устроен так, что это ему, а не нам, приходится лежать на широкой тарелке. Пьем что-ли за него? Пьем!

Красное пятно ползет по скатерти дальше, обходя ножки фужеров, ползет на самый край стола, а там... Там мерзнет истощившая свое терпение Муза. Никто ее на обед не звал, никто не уступит ей свой стул. Да никто и не признает в ней... ах, что вообще мы привыкли признавать? Полураздетая, с прикрытой лишь крыльями спиной, она зябко поводит белыми плечами, и нечем ей, увы, среди жующих пишущих согреться. Только истощать свое же терпение: ну сколько так еще? Поблизости, возле коньячного буфета, щебечет о лучших временах "Стенвей", щебечет о жизнеспособности своего полузадушенного звука и астматической педали, и пианист бормочет во сне: "Дебюсси... Дебюсси...", имея в виду французскую кухню, и кто-то, роняя на клавиши пятьсот крон, заказывает Эльвиса... Ну сколько так еще?

Скучать Муза бросила уже давно, убедившись в скуке самого этого занятия, и если ей чего-то и надо, так это... честности. То есть того, чего нет. Окажись пишущий честным, он ушел бы в мусорщики. Но эти... сидят, жуют. Пьют. Аплодируют.

Че-е-е-естность!!!

Муза помнит, как выла когда-то вместе с волками: тогда еще не было смерти. Волки не замечали разницы между "до" и "после", их волчья душа как была, так и оставалась полуночной, лунной. Волк и теперь, впрочем, знает, что смерть ничего не отнимает от этой лунности, только шкура приходит в негодность. И об этом Муза хотела бы сейчас услышать: "Что у тебя, кроме шкуры, пишущий, есть?" Волк славит воем свое лунное бессмертие, пишущий... считает: раз-два-три... дальше смерть. У пишущего ведь нет даже луны, он весь - в почве. Он ходит в детсад, ходит в школу, ходит и ходит, пока не обучается наконец *технике письма*, и теперь он готов... готов! Готов раз и навсегда. Так дайте же ему премии и стипендии!

Хорошо обученный пишущий готов сравнить себя с самим Пишущим, от которого рукой подать до Достоевского. В руке у пишущего... да что там у него в руке? Заявление, жалоба, донос. Рука трясется, потому что страшно. Но еще страшнее думать об этом страхе, и пишущий поэтому пьет и... аплодирует.

Муза устало шуруется, вздыхает: этот обед не в ее честь. Это не она, но демократически безупречная *власть* приятно расслабляется тут, греясь нагулянными жирами. Ни разу еще не было такого, чтобы Муза числилась у этой власти в живых, и на ее скромной могилке нет ни даты, ни имени, ни гражданства... так, ничто. Но даже и как *ничто* Муза для власти неприятна, *некомфортна*, и надо бы совсем уж ее истребить, но как... Как? Если бы не вовремя подоспевший черт, власть, пожалуй, наложила бы на себя руки, рук у нее хватает. Но черт, умница, подсказал: истреблять Музу надо *шутя*. И пишущий не прочь поднять бокал в честь ее, власти, *чудовищного остроумия*. Вычитающее, множашее, делящее, слагающее, остроумие *числа!* Сюда, психопаты и шизофреники, невротики и параноики! Это для вас, для вашего *разумения* шьются из старых, перелицованных законов природы *новенькие*, и вам это новенькое полагается *принимать* натошак, глотать вместе с камнями и битым стеклом. Впрочем, власть больше не держит это от вас, психов, в секрете: единой для всех на все времена терапией была, есть и будет *красная работа*. Вот она, гениальная выдумка Сатаны! Ложитесь на рельсы, устраивайтесь поудобнее! Главное тут - комфорт. А вот уже и красный поезд, красная, заметьте, на *путях*, кровь: эй, кто тут не работает? Муза?!

На самом краешке стола, куда едва доползло красное пятно, Муза норовит с жующими поделиться... будто у нее что-то при себе есть!.. поделиться *основным безусловным доходом*. Это ее, Музы, позднее дитя, плод ее свободной любви: отрицательный подоходный налог. Муза хочет *радостной* работы!

Что-о-о-о???

Пока тут еще *наша* власть. Пишущий готов стать нижеподписавшимся, стать корявым росчерком и жирной точкой, лишь бы не спрашивать самого себя: да ты ли это? Самые удачливые из пишущих становятся *пробелом*.

Но власть... только она и есть та высшая школа мастерства, при котором *доказательство* не нуждается ни в каком *переживании*. Вот мы, скажет власть, и доказали, что дважды два четыре.

Дважды два, говорим мы, четыре.

Это говорит, между прочим, психолог. Говорит не только ныне жующим, но еще и вмятому в исторический пласт *человеческому отпечатку*, с хвостом и крокодильими зубами, свежей, в возрасте сорока семи миллионов лет, *Иде*... так ее когда-то звали. Ида, конечно, не виновата в том, что психолог ведет от нее свой дарвинистический род: от этой лемуристической полуобезьяны. Ах, Ида, она-то знает, что все было как раз наоборот: сначала Дарвин, а потом уж она. .. она была когда-то *человеком*! Но не сложилось у нее, крокодилозубой, человеческое будущее, пришлось только донашивать обноски... Она могла бы, докричавшись до Дарвина, намекнуть на окаменевшую в пластах истории правду: *обезьяна произошла от человека*! Обезьяна ведь есть результат деградации, и нет ничего невозможного в том, что завтра-послезавтра мы сами ломанемся в обезьяны... да вот мы уже и почесываемся, приплясываем на четвереньках... Мы, рассудительные, чудовищно остроумные. Наш питаемый фирменным блюдом мозг *вырабатывает* ту самую духовность, ради которой и строятся церкви, вокзалы и офисы: всепобеждающую духовность статистики и партийного интереса. Мы заявляем это с полной за дважды-два-четыре ответственностью.

Фирменное блюдо, кровотока на привокзальной тарелке, вожделеет к разрезающему его ножу, к впивающейся в его мякоть вилке, к прокисающей во рту пишущего слюне. Жирный китаец стоит на подхвате, на случай, если кого-то стошнит, и залитая красным вином скатерть томится, как плаха, по сидящей еще на плечах башке.

Прочнее всего сидит на плечах башка министра культуры: ее оторвешь разве что *террористическим юмором*. Юморист, конечно же, заранее обезврежен: одет-обут-сыт. Он покрикивает, бывает, от скуки: "Талибан!.. Шариат!.." Но это, заметьте, на *наши* деньги. И все, какие только водятся промеж нас мухаммеды, считают, не сбиваясь, до ббб, а потом снова до ббб, и снова... считают и *звереют*, и мы аплодируем, аплодируем... И министр культуры добавляет от имени культуры: и еще раз ббб!

Кстати, вот последнее из министерства культуры постановление: возвести культурную мысль в *квадрат*. Отныне всё должно стать квадратным: писсуары и лужайки перед домом, граненые стаканы, зады и черепа. И если вселенная попробует возразить, что, мол, кругла, мы отметем это как предрассудок.

- Предрассудки и еще раз предрассудки! - перепиливает фальцетной резью речь министра культуры *дважды поменявшая пол амеба*. Она и есть, амеба, культурный Grand Prix, культурное небо и потолок благоденствия, - Даешь *квадратную сперму*! Даешь *квадратно-гнездовое осеменение*!

С амебой никто не спорит: бесполезно. Легче уличить римского папу в *ложной беременности*, легче проголосовать за ловкость рук премьер-министра, чем схватить амебу за яйца. Да их у нее-него, кстати, и нет. Есть только *расплывчатость позы*: позы напрасного ожидания. И сколько бы психолог не тасовал в обратном порядке женско-мужские амёбьи имена, сколько бы не выверял сексолог вероятность попадания на нужный, актуальный в данный момент, пол, одиночество амебы по-прежнему упирается в *двочество*: в самоистребляющее тиражирование пустоты.

- Предрассудки и еще раз предрассудки!

Хорошо, что на привокзальный обед заглянул министр *равноправия*, иначе пишущий мог бы засомневаться в качестве отечественного *амебостроения*. Но теперь пишущий уверен: эта стратегическая отрасль выглядит даже лучше... нефтедобывающей.

- Информация! Коммуникация! Порнофикация!

Министру равноправия всегда есть что сказать, и говорить поэтому приходится много. Равноправие, того с этим и этого с тем, подсказывает министру, что никаких приоритетов в политике не существует, кроме, конечно, приоритета болтовни, и пишущему это видеть приятно. Расшитый розами бунад, академическая, из Сорбонны, шляпа, под шляпой бритая негритянская башка: так ходят теперь на Гаваях, во имя полного и окончательного равноправия.

- Мультикультурное общество! Антирацизм! Антидискриминация! Анти...

- ... вирус! - с восторгом поддакивает пишущий, - Антиномия!

Пишущий не прочь возвести в квадрат оба взаимоисключающих положения: нордическое?.. негритянское?.. Черное желает *равноправия* с белым, при этом оставаясь черным, и никакой между ними серости не врубиться в суть *отсталости* от человека лемура. Анти-антирацизм?

Стряхнув с бритой африканы парижскую шляпу, министр равноправия разворачивает бунад вместе с нордическими розами прямо по ветру, по курсу, и пишущему становится ясно, что это и есть *национальный флаг*. И все, разумеется, аплодируют.

- Так давайте же истребим волков! Всех до одного! поголовно! Обеспечим *нашим* овцам пожизненный мир! -

министру равноправия уместно при этом чуть всплакнуть, так, чуть-чуть, как пускает слезу, бывает, принцесса, подставляя голову под корону, - Поддержим наркомана и проститутку, педофила и гомосексуалиста, поддержим их *по-человечески*! Введем, начиная с детсада, ознакомительный курс *транссексуальности*, введем игровую практику...

Все аплодируют, аплодируют.

Амеба тоже аплодирует, она тоже ходила в детсад, хотя была тогда другого пола. Гавайская, в бунаде, негритянка вызывает у амебы двойственное, скажем так, чувство: одно чувство сзади, другое спереди, и идет у них спор о равноправии.

- Можно потравить волков крысиным ядом, как травят в Африке львов, - подсказывает амеба, - Можно мобилизовать армейские части... Чем лучше волк австралийского кенгуру? Шесть тысяч кенгуру в один охотничий сезон!

Под белой скатертью, само собой, стол, и если кого-то долго бить об него башкой, в башку полезут отовсюду *чудовищно интеллигентные* черти. Их смышленность не идет ни в какое сравнение с вялой смышленностью пишущего, и ничего так эти *друзья* не желают, как научить пишущего *ненавидеть*. Ненавидеть не только сидящего за длинным столом соседа или, скажем, вид на Осло-фьорд, с подобными мелочами пишущий давно уже справляется сам. *Высокоинтеллигентная ненависть*, вот великая цель равноправия: *война всех против всех*. Это и есть следующая, после Всемирного Потопа, катастрофа. Катастрофа ненависти, стоящей на равной ноге со сладострастием. Так сладко душить, калечить, истязать, препарировать то, что все еще подает признаки жизни!

- Истребим! Истребим! Истребим!

Но вот наконец десерт. Ради него стоит пройти через все испытания обеда. И десерт, это не только *сладкое*, это еще и... липкое. Жирному китайцу, сбрасывающему с подноса трясущееся, как писательский гонорар, желе, заранее известно: все, кто тут есть, подавятся от зависти. Это происходит на каждом писательском обеде: все глотают, как могут, десертную речь, но она лезет обратно... и сколько в ней благородства!.. энтузиазма!.. одержимости продуктивностью! Десертную речь обычно произносит *везучий* писатель, отличающийся от невезучего покровом своего пальто. Да вот он, в этом своем

пальто! Он не снимает его даже в сортире, а если надо лечь, закатывает до локтей рукава и задирает себе же подол, так ему удобнее разбираться с рядом лежащим чертом.

- Я горжусь, да, я бесконечно горд тем, что удостоен этой награды, - ткнув в желе указательным пальцем, начинает везучий, - этого высшего приза нашей культуры! Пусть имя Великого Ибсена сияет и дальше над нашими головами, над нашей разумной, рассудочной, интеллигентной, изобретательной, технически оснащенной, рыночно оправданной литературой!

Все аплодируют, тесня Великого Ибсена его же хваткими рифмами и заодно пристегивая к инвалидной коляске незадачливого Пера Гюнта. Ах, бедолага Пер! Он и не думал, роднясь с кикиморами и троллями, что кто-то примет его за идиота. Но его *приняли*, приняли за *своего*. И теперь, на инвалидке и с мобильником, босой и с плакатом "Даешь!", Пер въезжает на сцену и прет, не сворачивая, прямо на банкомат! Его везет на себе время, порой оседая под тяжестью *общих мест*, этих объективных стражей узаконенной слабomyслием скуки. Вперед, к общим местам! Так вбиваются в горные пики крючья, втыкаются в лед полюсов флаги. А дальше... дальше родное Ничто: оно глотает, давится и глотает, и это от его имени, ах, сколько у Ничто имен, приумножается количество *так и не проснувшихся*. И громче других храпит везучий писатель, и оттого к нему и прислушивается мир: не проговорится ли, не выболтает ли какую тайну. И он, везучий, кое-что выбалтывает, скаля новые вставные зубы, да, кое-что об экономии мыслительных усилий: не отрывай мышление от серого вещества, не примеряйся блудливой мыслью к Логосу... забыл уже, что это такое... не высовывайся!

Везучий писатель оттого так и везуч, что любой дурак, не говоря уже о членах премиальных жюри, понимает, о чем идет речь. Надо же, и дурак понимает! Вот ведь везение! Дурак переворачивает книгу вверх тормашками, читает сзади наперед, и смысл все тот же. Вечные, неистребимые, скажет дурак, ценности.

Везучему писателю везет и здесь, в сугубо обеденной обстановке: в его премиальную голову вламывается чудовищно остроумная догадка о происхождении... женщины. Взгляните на этот *человеческий отпечаток*! На эту крокодилозубую Иду! Сказать, что эта пакость взялась из твоего мужского ребра, вряд ли теперь актуально, поскольку равноправие тут же уточнит: не слабо и бабье ребро. Везучий писатель, к примеру, переломал все свои ребра, понаделав уйму мужских персонажей, в каждом из которых безошибочно узнаешь... *писательницу*! Она сидит у себя на даче, смотрит в окно, прикидывает, каким способом можно убить соседа. Соседу эти способы давно известны, но он охотно покупает *кримы*, на пасху, на рождество и на собственный день рождения, и нет у соседа сомнений в том, что это последний в литературе рубеж: рубеж всепобеждающей криминальной нищеты.

Но кто же, кто будет скорбеть над этими человеческими руинами?

Трясущееся под взглядом пишущего желе могло бы стать связующим материалом, стать, если надо, цементом в остроумной, о происхождении женщины, догадке: женщина произошла от *взгляда* мужчины. Куда в этот роковой момент мужчина смотрел, везучий писатель не знает. Не исключено, что он пытался заворочить взглядом змею или жабу, и эта паскуда глянула на него в обратную...

Везучему писателю аплодируют, и сам он тоже себе аплодирует, то есть аплодирует тем, кто аплодирует ему, и все вместе аплодируют наконец-то вручаемой награде: переезжающему от премии к премии, мобильному, командировочному *gepomme*.

- Я так и думал... я так и думала... - путаясь в *принадлежностях* пола, всхлипывает от восторга амеба, и успевает только подумать... нет не успевает! Менять пол или не менять? Вот они, вилы равноправия, пригвоздившие его-ее к высоте *амебостояния*! - Ты не будешь добывать в поте лица свой хлеб! Не будешь в муках рожать своих детей! Ха-ха... ха-ха-ха!

Истина выглядит на этом писательском празднике одинокой и безумной. Ее никто сюда, сиротку, не зовет, здесь предусмотрено только ее отсутствие. Здесь, в этом благоденствующем однообразии власти, успеха и скуки.

Но если бы, представьте, ее сюда позвали! Ее время от времени кто-то похищает, урывает для какого-то дела, при случае маринует со всевозможными приправами в своей же голове, как огурцы в стеклянной банке: она тут, в рассоле. Но самые приятные с истиной отношения, когда ты получаешь ее задарма и без малейших усилий, и для тебя не важно, *кто* тебе ее, такую, дает. Наверняка у этого "кто" великие намерения, и сам он гений, и суть его гениальности в том, чтобы избавить тебя от страданий и неудобств: просто разинь рот и проглоти.

Этот демонический гений почти уже перетащил на себя одеяло истины, и один лишь, последний, уголок тебя еще греет. Тебя, дрожащего, жалкого, никчемного. Тебе корчит рожи идеально отшлифованное зеркало твоей интеллигентности, и рожи сплошь помечены нечеловеческой энергией и деловитостью. И тот клочок одеяла, что все еще тебя греет, норовит подцепить на крючок и утащить в облака твое стремление к обобщениям: это не просто *твое* одеяло, это одеяло вообще, абстрактное, хотя и стеганое, одеяло. Так вцепись же в него, в эту твою последнюю на земле надежду! На этом раздираемом надвое клочке, на этом посреди ночных кошмаров островке только и может свить гнездо птица свободы. Ее не накормишь красной работой, пролетарским хлебом насилия и страха, она ищет в работе *любовь*, она видит в этой любви *братство*. Она присматривается к *равенству*, и видит его только в птичьих правах: лети! Она обретает себя, свобода, лишь в полете.

Она всегда заодно с Музой.

Подсев к фрустрированному, загнанному под коньячную стойку, "Стенвею", Муза обнимает бледной рукой тощую шею пианиста, шепчет ему о ручье и о мельнике, о ласковом, среди белых лилий, самоубийстве: "Где в страданьях сердце навеки замрет..." Эти отливающие солнечным золотом шубертовские волны, эта неутолимость боли... "Там лилии белой цветок расцветет..." Пианист знает: там, в самом конце, самоубийца обязательно передумает. И если было бы иначе, в мире давно уже остановились бы все мельницы. И пианист поэтому играет, играет... и это, заметьте, не красная работа.

- Мы стали жить намного дольше, мы проводим полжизни в старости, - вежливо дослушав Шуберта, наступает на пишущего министр культуры, - в связи с чем становится актуальным *ассистированное самоубийство*! Зачем страдать? Зачем досаждать другим? Мы открываем новую страницу *этики милосердия*: не хочешь жить, врач вколет тебе сверхдозу *лекарства*. С лекарствами у нас проблем нет, с врачами тоже. Уровень нашего благоденствия станет от этого еще выше: никаких страданий, никакой скорби!

Все аплодируют, стоя и в такт.

Везучий писатель не успевает давать автографы: столько тянется к нему свежескупленных экземпляров! Экземпляров его победоносного романа о... свиньях. Скажем так, просто о свиньях, без всяких ссылок на родственников или соседей. Свинство, свинарники, свинские отношения.

Свиньи, особенно в молодости, замечательно хороши собою, поцелуй меня в рыло. А главное, счастливы. Счастливая свинья - это эталон, *топ...* вершина. Свинячий топ, хрюкающая и визжащая злободневность короткой, но сытой жизни, перехлестывает даже глянцевитую похабень "Смотри и слушай!", и нет такой принцессы, такого политика, кто не смахивал бы хотя бы чуть-чуть на... тсс! Чаще всего это сходство *разительное*, разит так, что везучий писатель деликатно ставит слово дерьмо в кавычки. Потом, правда, вместе с кавычками это слово стирает, ставя на его место долг, совесть и честь, а также национальный интерес. И осеняющая везучего писателя гениальность потирает спросонья потные руки: вот мы и пустили по кругу нашу без труда добываемую мудрость! Мудрость разумной, рассудочной, интеллигентной свиньи.

На позолоченной фирменной тарелке - следы слизанной писателем крови. Съеденному лосю, окажись он косулей или оленем, все равно, за кого его писатель принимает, ведь заглянувшей на этот обед истине отводится роль жирного китайца: стоять на подхвате. Стоять по стойке смирно, вперяся застылым прищуром в объедки на немых тарелках. Кстати, их тут моет машина. И от имени этого машинного мытья, от имени стоящей на подхвате добросовестной скуки, от имени неутолимого аппетита пищащего к размазанному по тарелке представлениям о жизни, от имени равноправия и культуры *истина* прикрывает собой, да, пригревает слежавшиеся экскременты смерти.

Так давайте же сюда шампанское!

15

Собирать в поле картошку, когда все уже взрыто и вывезено, может позволить себе разве что... преступник. И если говорить о совершаемом здесь злодействе, то оно состоит как раз в том, что кто-то берет *никому не нужное*. То, чему никто не назначал цену, оказывается вдруг в цене: подмороженная, раздавленная колесом картошка. Вкус у нее блокадно-концлагерный, но ее тут много. Так можно, пожалуй, перезимовать. Зимуют же косули и лоси. Зимует тоска о лете. Никто ведь не знает, протянется ли до следующего лета жизнь.

Подмороженная картошка не одинока в своей никому тут ненужности, с нею солидарно многое: отхлынувшая в ранние сумерки бледность неба, тонкие краски беснежной зимы, подернутое инеем темно-зеленое, серое, коричневое, рыжее... все, *мимо* чего обычно проходят. Только глаз голодного и примечает *возможности выживания*, высматривая вдали *конец* потребления-накопления-истребления. Конец... а дальше что? Дальше - узнавание себя, в каждом растении, в каждой птице... вот, оказывается, какой ты! То есть совсем не таков, каким тебя *описывает* история. Описанный ею, ты годишься лишь для строительства никогда тобою не заселяемых домов: в них селятся привидения. И ты узнаешь, поднимаясь на этажи, знакомые рожи: тут голый по пояс, верхом на детской лошадке, премьер-министр, там кукольный, из лучших учеников, президент подмышкой у *выдающейся женщины*, а вот, кто бы мог подумать, и сам дедушка Сталин! Они разом зацепят крючьями облака, возьмут на бордаж небо, заслонят собой солнце... Этим, *берущим* от жизни всё, им не собирать в продрогшем поле мерзлую картошку. И хорошо, что поблизости только лоси, только вороны.

Тут есть, впрочем, и приметы родины: напрасность одинокого воя, невозможность перемен к лучшему. Выть об отсутствии перемен: еще один год и еще... и нет никакого смысла что-то считать, утаивая от себя же нули... Сев на кучу картофельной ботвы, Серафима смотрит на одиноко стоящую березу: верхушка ее сбита молнией, ствол обвивает обрывок веревки... Под этим деревом совсем еще недавно стояла палатка Хиллари... американка была здесь! Но теперь тут только обрывок веревки. Лето торопливо улизнуло, раздав кому нобелевскую премию, кому просто погоду, и мерзлая теперь уже картошка есть доказательство напрасных, с точки зрения урожая, усилий: все гниет, все идет прахом...

... На балконе "Гранд-отеля" пузырятся надутые нобелевским восторгом баллоны, плещутся национальные, не перепутать бы, флаги. Интеллигентный, наконец-то интеллигентный ум, он здесь, в Осло! Интеллигентный ум *удостоин* наконец-то.. ах, эта куча денег! Ах, этот пожизненный, увы, титул: нобелевский лауреат! И пусть это снова будет Америка! Пусть это будет араб в парижском галстуке, ни разу не евший собачатину китаец, девственная негритянка, шаманствующий в супермаркете чукча, все равно это Америка! Нобелевская, раз и навсегда, Америка!

На взмысленных нобелевской гонкой улицах Осло нет интеллигентному уму никакого прохода, и его *несет* прямо на королевский дворец, и заводные гвардейцы, отмеряющие ленивое время топаньем по хрустящему гравию, косят натренированным взглядом в

сторону липкой, как мушиная ловушка, американской улыбки: этот!.. этот!.. Этот *сосущий*. Сосущий хотя бы даже из клоаки, но сосущий уверенно, наверняка. Вот она, *наша*, премиальная интеллигентность! И неважно, что кто-то в этот миг умирает от стыда, и пусть умирает, климат от этого не изменится. Не изменится климат и от того, что китайская красная армия расстреляет в упор все имеющиеся в небе облака, а Пентагон задымит небо серой... нет, климат не должен, не может меняться *к лучшему*! Главное, чтобы и дальше можно было бы вот так, с балкона, *выступать*. Выступать с этого выступающего над головами выступа. И пусть головы, они же капустные кочаны, кивают в такт: будет еще хуже, еще хуже...

Под балконом "Гранд-отеля" уместается, увы, не весь мир, и надо быть *верующим*, чтобы присовокупить к тому, что есть, еще и то, чего нет.

- Разум! Честь! Слава! - кричит громче остальных Хиллари, - Честь разуму! Слава чести!

Другие, с набитым жвачкой ртом, мычат в знак поддержки, и льющаяся в глотки кока-кола счастливо булькает под американским флагом о глобализации *всего*. Пусть не останется ни одного такого уголка, ни одной свалки или дыры, где тебе не сообщали бы *новости*: ежеминутно, круглосуточно, пожизненно. Главная для Хиллари новость состоит в том, что она сама наконец-то *тут*, в сорока минутах езды от Хельге. Она тут, в Осло! Она машет американским флагом своей счастливой судьбе, и хотя это не ей, а какому-то околонучному недоумку всучили только что свежую нобелевку, Хиллари знает наверняка: ей привалило гораздо больше. Намахавшись вдоволь флагом под балконом "Гранд-отеля", она сядет в поезд, и понесутся мимо окон засеянные пшеницей и ячменем поля, и продуваемые ветром туннели взвоят оставленным позади километрам: "Харпеста-а-а-ад!.."

Но пока... пока надо махать американским флагом. Это способствует улучшению климата: там, где подтаивало, теперь подморозит. Конечно, все льды в Арктике не залатаешь, всех белых медведей не переведешь в бурые. А хотелось бы. Пусть будет просто медведь. Просто природа-пленница, в которой нет ни одной причины, за которой не маячило бы следствие. Другое дело, ты сам, тут что-то не так... твои причины ускользают от расстояний, увливают от хода часовой стрелки, твой дальний путь норовит оказаться всего лишь метафорой. И Творец, само собой, молчит, он не на балконе "Гранд-отеля", молчит и ждет. Ждет, когда ты наконец скажешь о себе: "Я!" Когда ты, мордой в лед, взвоешь о смехотворности нобелевского причинно-следственного протоколирования.

Хиллари не верит, что такое когда-нибудь будет: мир напридумывает уйму о Творце *учений и теорий*, но никто не рискнет совершить *поступок*, построить дом *сверху вниз*. Нет такого среди *нас* человека. И было бы большим для *нас* неудобством, если бы такой появился... мы потихоньку заматали бы его паутиной! Паутиной наших церквей и сект. Нам удобнее держать при себе мусульманина. Видишь поток этой наследственности? Все, что было можно, ты уже от прадедушки получил, и не путать его с прабабушкой. Ты получил от прадедушки волосатые ноги и арабский нос, а также тюрбан и привычку задирать зад к полумесяцу. Ты получил это 666 раз! И ты получишь это еще 666 раз! Ты кукарекаешь на крыше мечети о *вечности одного и того же*: о нескончаемом повторении *животности*. И было бы уместно назвать тебя *скотом*, не будь скотина, в отличие от тебя, невинной.

Но все-таки приятнее иметь дело с мусульманином, чем с *Я-отщепенцем*, самому-себе-господином, с этим *отсутствием закономерности*... которое ведь есть *присутствие* чего-то иного... Эй, попы, на помощь!

Хиллари машет флагом, и ей машет с балкона счастливая лауреатская Америка.

Малиновая, среди замшелых камней, спелость выдает сладкие тайны лета: ты заодно с этим ростом и набуханием, цветением и оплодотворением, но созреваешь ты не во сне.

Тайна твоего бодрствования выше имеющихся в природе тайн: медленно, терпеливо, путая день с ночью и выпутываясь из сплетенного безволием страха, ты ткёшь картину своей свободы. Ты даешь себе эту сочность и эту сладость.

Велосипедисты, прохожий с собакой, машина... В Харпестад валят летом туристы, они уверены, что тут рай. И хотя в рай хочется всем, не каждый знает кратчайший к нему путь. Клевер, синие колокольчики, ромашки, колосющийся ячмень и овес... По полю бегут, обгоняя друг друга, серебристые волны, спасаясь от наступающей их тени облака, и ветер, перемешивая запахи злаков и полевых цветов, несется дальше, к морю, успевая только задеть верхушки сосен: "Лето!.."

Возле дороги, за кустами шиповника, разбита палатка: кто-то пробрался-таки в рай! Счастливец, среди дикой земляники, папоротников и фиолетового вьющегося горошка. Ходить за водой к ручью, выкапывать на поле Бьёрна картошку, собирать в лесу сушняк. Эта домогающаяся внимания любознательность, эта наивная и праздная настырность, всегда принимающая собственное присутствие за первую в природе необходимость, это теперь тут надолго, пока погоде не надоест быть хорошей. Пока не грянет, может быть, зима.

Но каково тому, кто в этом раю прописан постоянно: приходится делать вид, что вовсе и не живешь тут поблизости, что ты только прохожий, да, посторонний...

- Хай-хай!

Обрубленный купальником торс с приделанным к нему туристическим козырьком крутится направо-налево, хай-хай, растопыренные на боках локти, хай-хай, описывают против ветра дугу, придирчивый, хай-хай, из-под козырька взгляд выхватывает из рук Серафимы банку с малиной.

- Хай!

В этом ключевом, на всех языках, "хай" смысла не меньше, чем в хорошей погоде: всё, ребята, в порядке. Всё идет, то есть, по плану. И даже если до этого у тебя не было никаких планов, ты начинаешь потихоньку планы строить, начинаешь убыстрять шаги... бегом, бегом! То есть делаешь вид, что идешь неспеша, стараясь не растряссти малину, хотя на самом деле несешься во весь дух... И нет у тебя настоящей прыти, чтобы как следует разогнаться, хоть ты и гребешь в воздухе брассом, желая таким образом взлететь... оторвать от земли пятки, выше, выше... Серафима летит над дорогой, сбивая с курса встречных шмелей и стрекоз, и следом несется за нею отчаявшееся туристическое любопытство: "Хай-хай-хай!!!"

Опрокинув стоящее на террасе ведро с водой и дважды споткнувшись о вылезший погреться на солнце кактус, Серафима вламывается в прозрачность стеклянной двери, срывает с гвоздя толстый вязаный носок, вытряхивает из него ключ... скорей, скорей! Запереться, затаиться. А по дороге ползет уже, отдуваясь в предгрозовой жары, настырное туристическое "здрасьте": "Здрасьте, как у вас тут без меня?"

Окажись у Серафиме на заливке лосиный мех, он немедленно встал бы дыбом, а если бы еще были рога... Рога просто необходимы человеку! Так же как и копыта. На худой конец можно обойтись и куском старого шланга: резина растрескалась, но задушить им можно хоть крокодила... да, любую гадину! Можно отхлестать этим шлангом незванного, который хуже татарина, гостя: по морде! Но лучше всего запереться, затаиться.

В доме нет занавесок, ты сам виден через все окна, ты тут в ловушке. Одно спасение: залезть под рояль. Там давно уже устроена постель: матрас, одеяло, подушка. На случай внезапного, например, развода. Развод ведь невозможно запланировать заранее, поэтому его всегда надо иметь в виду. Скажем, Хельге мирно пьет пиво, и вдруг... атомная война и всеобщая мобилизация! Понятно, это всего лишь боевые учения, призванные укрепить безопасность брака, но ведь и на таких маневрах может кому-то оторвать башку. Не бегать же, как курица, с наполовину отрезанной головой, по стриженному газону. Гораздо лучше, став на четвереньки, пролезть под роялем к стене, распластаться, ни разу не стукнувшись лбом, на пахнущем плесенью матрасе, затаиться. Лежишь и видишь себя, к

примеру, великим пианистом, волокущим на себе все "Ямахи" мира, въезжающим на этих *машинах* на задворки и пустыри расторопно опустошаемой культуры. Под этой многострунной крышей тебя, может, и застучает судьба. Вот так, спьяну.

Накрывшись душным стеганым одеялом, Серафима прислушивается: ни шороха, ни звука. Только жужжащий на стекле шмель. Тем не менее, она знает: здесь, под окнами, караулит чье-то любопытство. Можно лежать так и ждать темноты, в конце концов ведь даже и самое настырное утомляется. Утомляется честолюбие, утомляется подозрительность и ревность. Лежать, закрыв глаза... пробираться сквозь деку и струны, к портрету профессора Огнева... он там, в овале своего времени... и дальше, к Рахманинову... "У моего окна черемуха цветет!" И кто-то ведь должен найти для этой радости слова, должен пробиться к *слову*, продраться через пропитанные кровью лохмотья, вырвать из-под них свою *волю*.

Но что если встать и нажать, мягко погружаясь в терракотовую глубину, полуденный си-бемоль? Раскачать привешенный к предгрозовой жаре рахманиновский колокол?

Как дрожат, однако, руки. Этой дрожью можно заморозить пол-Арктики, спасти белого медведя... спасти саму концепцию изменения климата. Не будь этого страха, разве стал бы климат меняться? Страх застаёт тебя врасплох, давая на все времена один и тот же совет: "Отключись!.. Отключай, черт бы тебя побрал, сознание!.. Действуй рогами, копытами... шлангом!" Этот страх одерживает, как правило, победу, много-много похожих друг на друга побед. И всякий раз, побеждая, страх оттяпывает для себя оставшиеся без присмотра сознания ресурсы: твои наваждения-фантазии, твою отшлифованную школами разумность. И хотя ты по-прежнему рогат и недавно обновил копыта, ты сам понемногу таешь... таешь, как насаженное на палочку скелета эскимо. Ты таешь и таешь, *тебя* становится меньше, зато *материю страха* становится больше, да это же, черт бы ее совсем побрал, наша земля! Мы ходим по ней, рогатые, мы-ы-ы, и кто-то ведь переставляет наши ноги, которые больше уже не наши...

Но вот он, ликующий, полуденный си-бемоль! Он рвет на себя ветер и облака, становится половодьем, становится колокольной медью, становится судьбой. Становится точкой равновесия, самой золотой из всех середин, где теряется всё и начинается сначала, где только ты сам и понимаешь свое имя: *Я*.

Но чье-то скребущееся любопытство... там, за стеклянной дверью... Там, в потном предгрозовом полудне, ждет, скучая и досадуя, Хиллари.

Она добиралась в Харпестад несколько лет, перепробовав многое. Едва ли была в ее почти уже шестидесятилетней жизни цель, притягательнее этой: вырвать у судьбы согласие. Сама по себе судьба такого согласия не дает, хотя пора бы ей уже стать более покладистой: у судьбы ведь тоже есть возраст. Есть возраст у этих седых под перекистью волос, у этих ревматических суставов. Есть возраст у обещаний. Теперь самое время напомнить Хельге о его, тридцатилетней давности, намерении: обвенчаться с Хиллари в *ее* церкви, стоящей на земле прочнее остальных церквей. Он, правда, уже тогда сомневался, что какой-то поп сможет это проделать: слепить из двух одно, а стало быть, отменить его, Хельге, единичность. Поп знает наизусть книгу, но с автором ее он знаться не хочет, и оттого лоб у попа толоконный, и в церкви оттого смрад и полумрак. Хельге мог бы, любуясь собой со стороны, степенно дойти до алтаря, мог бы, пожалуй, дослушать поповское бормотанье, но в тот момент, когда Хиллари, в белом, до земли, платье и с белыми розами, обратится в одно сплошное "да", он неспешно, нехотя, небрежно скажет "нет"... Нет.

Но только ведь и у "нет" тоже есть возраст. Строптивость Хельге уже не та: он наконец сдался, он позволил себе жениться, ха-ха! Позволил себе то, что меньше всего ему подходит. Он стал ручным. И от одного брака до другого брака рукой подать... то есть никакого другого брака, кроме как с Хиллари, у него и нет!

Выбирая самый короткий и надежный путь в Харпестад, Хиллари дала, однако, крюку, пройдясь по северным мормонским миссиям и зацепившись за летние миссионерские курсы в Ютландии. Там, в окрестностях города улыбки, она оставила свой чемодан, рванув налегке, с американским флагом, в Осло. Она машет флагом перед "Гранд-отелем", помня при этом о цели своей командировки, и план ее ясен и прост: нагрнуть к Хельге с... приданым. Давно, когда они еще лежали в одной постели и вкалывали оба на стеклофабрике, ни о каком приданом, а тем более, о солидной недвижимости, не было и речи: им едва хватало на кофе и джинсы. Но теперь Хиллари богата... ну, скажем так, не бедна. Теперь они могут свить в Техасе гнездо. Она напомним ему его же слова... Ах, сколько раз она ему уже об этом напоминала! Из ее писем можно построить мост над Атлантикой.

Одно пока ей не ясно: *почему* Хельге женился. Он мог бы иметь каждый день новую сожительницу, не будь это для него скукой, но чтобы застрять на какой-то одной... В этой необъяснимости и нелогичности Хиллари видит для себя сильнейшую угрозу: что-то, иной, чем она сама, природы, отбрасывает ее с силой прочь, и с какой силой! Что-то перегораживает ей дорогу: дальше проезд закрыт. И самое при этом невыносимое, что никогда ей не узнать этой тайны. Остается только одно: вползти, осторожно, осмотрительно, коварно, в житейскую логику этой... Серафимы.

Сюда, в Харпестад, Хиллари гонит еще и скорбь. Беспросветная, как дождливая ночь, эта скорбь ни с чем не сравнима, ее не залечишь повторным и еще раз повторным браком, с нею не расквитаешься приятным самообманом собственной коммуникабельности или допингом карьеры. Эту скорбь Хиллари тащит по жизни как свой собственный, на все времена, флаг: скорбь о невозможности придти когда-либо к равновесию. Вечная, сосущая, грызущая, выжигающая внутренности боль, перекорезивающая чувства ненасытность, опустошающая мысли озабоченность... озабоченность все той же невозможностью равновесия.

Как-то раз, это было тоже среди лета, но только в Техасе, Хиллари приснился сон о ней самой. Это был не обычный, откликающийся на беспокойства дня, сон, но совершенно особенный, сон-наваждение: она увидела живущего в ней Бога! Он был в ней, и она была с ним заодно, повторяя все его движения и намерения. Ее тело никло под его тяжестью, прижималось к земле, становилось бесформенной корягой, вдавливалось в камень. И Бог жил в ней! Жил на свой, конечно, манер, божественно. Наконец-то, наконец она с ним соединилась! Ведь именно к этому и зовет ее унаследованная от инки мексиканская кровь.

Великий, золотоносный Бог Таотль.

Ему, конечно, было в ней тесновато, но ничего, он привык вот так дробиться, влезая в разных размеров тела, поскольку своего собственного жилища так до сих пор себе и не завел. А ведь могло было оно и быть! Весь мир мог бы стать его лабораторией и мастерской. Да, камерой пыток. И вот уже две тысячи лет, как он, золотоносный, слоняется по земле без крова и без прописки, перебиваясь случайными связями с прохожими. Он лезет, конечно, туда, куда его пускают, и вмиг становится пожизненным квартирантом, кукушкой в чужом гнезде.

И вот, вместе с расквартированным в ее теле Таотлем, наливаясь его соками и переполняясь его божественными отправлениями, Хиллари куда-то во сне ползла... Подняться и стать на ноги у нее не было никакой возможности: стоило ей только представить себя в вертикальном положении, как все ее тело, от пяток до зубов, прожигала невыносимая боль. Тем не менее, она пыталась стать на ноги! Этого как раз и хотел в ней ее хозяин-Бог: хотел, как может хотеть только Бог, стать *вертикалью* по отношению к земле. И при каждом его к этому усилении его ползучее тело рвалось вместе с телом Хиллари на части.

Таких мучений, как в этом сне, она никогда наяву не испытывала. И этот сон длился, как ей казалось, всю ночь, и ночь была бесконечной.

Она увидела наконец божественное лицо Таотля, хотя оно и было обращено к земле. Лицо, вырубленное из камня: серое, заостренное на подбородке, с брезгливо-высокомерным карманом-ртом, бесформенными дряблыми ушами и разлетающимися от стрелообразного носа крыльями-бровями. Глаза Таотля были глубоко запрятаны в едва заметные щели, так что лицо выглядело безглазым. Что касается отпечатанного на нем выражения, то оно было постоянно одним и тем же: выражением беспредельной каменной невозможности.

Но поскольку Таотль оккупировал все ее внутренности, превратив тело в ползучую машину, она смогла уловить кое-какие, от своей же печени, вибрации насчет его божественной мудрости: поднять Таотля на ноги может лишь человек! Но не каждый, далеко не каждый на это годится. И как нечеловеческий, разламывающий кости и рвущий жилы стон, к Хиллари пришло от Таотля известие: этот человек - Хельге.

Хельге, свободный и одинокий

Она писала ему о Боге много лет, осторожно прощупывая ничем не защищенные входы и выходы, ища лаз, подслушивая шорохи и царапанье его фыркающего недовольства, принюхиваясь к переменчивому ветру его желаний. Ветер дул то туда, то сюда, перебирая развешенное для просушки белье и просто сор, забрасывая память щепками и шелухой когда-то значимого. Но что оно, значимое, в самом деле значило? Что значило для Хельге душное, требовательное, гложащее тепло Хиллари? Он просто глотал этот огонь, опасно обжигая себе внутренности, не удовлетворяя при этом ни голода, ни жажды. Огонь Таотля.

Этот жар, пропитанный смертельным ядом тысячелетий. Он прожигает даже самое прозрачное и невесомое, и нет такой брони, что была бы достаточно прочна. Жар вечной, ничем не утолимой жажды разрушения. Сладострастие смерти. Разве это не огонь любви? Ха-ха! Эта редкая птица все еще мнит себя непойманной, тогда как давно уже сидит в клетке... в золоченной, кстати, клетке. И если найдется на земле хотя бы один, кто не признает в этой ошипанной курице *любовь*, пусть коротает остаток жизни на обочине: на столбовой дороге ему делать нечего. По столбовой дороге пойдут, пыля и бляя, стада, увлекаемые к финишу хорошо обученным, представительным козлом. По проторенной Таотлем дороге. В полузадохшуюся жертвенную темноту, в ползучее, карябающее землю Ничто.

Стоя возле запертой стеклянной двери, Хиллари жадно всматривается в знакомые ей предметы: чугунная, на изогнутых ножках, печь, резной стул с кожаным сиденьем, накрытый домотканой дорожкой комод, овальное зеркало... Она видит, что пол в доме метен, видит свежие, в зеленом глиняном кувшине, ромашки, и что-то совершенно новое, неуместное в ее ожиданиях, что-то вроде радости выступает ей навстречу из бедной, такой бедной в этой богатой стране, обстановки: кто-то рад тут жизни, кто-то доволен тем, что есть, кто-то прижился тут, на обочине.

Надо выпросить эту жизнь, вытрясти из нее, вырвать у нее ее тайну: к чему она, эта жизнь, предназначена? Откуда в ней эти величественные колокола? Это равновесное, самодостаточное одиночество?

Хиллари стучит ногтем в стекло, заглядывает в окно, трясет ручку двери. Ее сюда никто не звал, никто ее тут не ждет, но она американка. Американец везде у себя дома, слава кока-коле. Поэтому дверь эту должны в конце концов открыть.

Но дверь заперта. Серафима сидит возле рояля на матрасе, на полу кусок шланга. Она не собирается душить этим шлангом незваного гостя, она не станет помогать смерти в ее незатейливых намерениях. Другое дело, помочь жизни, сейчас, немедленно! Американка, черт бы ее подбал, скребется у двери, она, может быть, плачет... Сказать ей, в ее требовательной атаке, что плакать надо *по-настоящему*! Так, чтобы лопнула карябающая землю змеиная кишка, чтобы вылезло из нее то, что растет к свету. Но лучше об этом молчать. Молчать и держать запертой дверь.

Хиллари не уйдет просто так, она, может, вообще не уйдет. Но она оказалась узнанной, понятой, *объясненной*: ее выметают вон! Как скопившийся возле порога мусор, как дохлую мышь.

Отступив на полшага назад, Хиллари смотрит на свое в стекле отражение: укрупненный полосатым купальником звездный торс, подпирающие тяжелый, из гамбургеров, зад ноги от "Ю-Эс-Эй тудей", кое-какие под перекисной челкой черты лица... она еще ничего, хотя и не то, что было прежде! Хельге стоило бы на нее взглянуть, на это *приличное и убедительное* предприятие: "Мы будем лежать вместе в одной могиле".

Американские намерения Хиллари куда серьезнее здешних короткометражных нобелевских спектаклей, и даже предвыборной показухе не сладить с ее *волей к победе*. Победить эту скрывающуюся за стеклянной дверью жизнь! Победить осторожно, осмотрительно, мудро. Победить с помощью ее же, жизни, о себе представлений. Зря что ли миссионер повсюду таскает с собой Библию? Хай-хай! Протиснуть эти слова в замочную скважину, продавить сквозь стекло и бревенчатые стены, пробуравить ими полуденное освещение, вонзить их в этот колокольный си-бемоль мажор! Миссионер не был бы профессионалом, не окажись он к этому подготовлен: красть незаметно. Красть так, чтобы весь мир принял это за подарок. Миссионер обязан еще и уметь скрывать краденое. Вот так, *цитируя*. Шурша заслонявленными страницами, роняя закладки с розовощекими ангелами, водя пальцем по подчеркнутым строкам. И ничего, что подчеркнутые миссионером формулировки бьют в его же непрошибаемый лоб, бьют и отскакивают горохом от этой навека возведенной стены. Миссионер не слышит произносимых его гортанью слов, не чувствует их строя и смысла. Окажись в нем хоть капля чувствительности, он немедленно сгорел бы от стыда. Но Бог сотворил миссионера из негорючего материала.

- Я научу тебя, как надо читать Библию!

Этот призыв, этот отчаянный вопль превосходит по своей настырности вопль утопающего: "Только дай мне тебя этому научить!" Таков у миссионера обмен веществ: ему нужны чужие соки, чужая, пока еще не отравленная кровь. Рви ворот рубахи, подставляй горло! И помни: это не дурно воспитанный питбультерьер, это любящий тебя ближний.

Вытащив из бьющей по заду сумки цветастую брошюру, Хиллари шлепает ею по стеклу, колотит ухмыляющейся с обложки мордой негра о прозрачность неодолимой преграды: открывай же!.. открой!.. У негра на лбу, на узкой полоске между вчерашним "нет" и сегодняшним "не-е-ет" написано "не-е-е-ет" завтрашнее, и его-то и следует считать счастьем: танцы, футбол, презервативы. На этой столбовой, протоптанной стадами дороге, в этом блянии и в этой пыли нет больше никаких обочин, нет никаких отдельностей, частностей. Так открой же, открой!

Хиллари машет перед стеклом цветастой брошюрой, хай-хай-хай, роняет с плеча сумку... она так возбуждена, так взволнована... И вот... как приятна, как легка эта победа! Перед дверью стоит Серафима. И стекло вот-вот лопнет от гневного, раскаляющего воздух жара.

- Ага... гм-м-м... хай-хай...

Когда у миссионера отнимется наконец язык и его последнее, решающее "хай" зашьет ему навсегда рот, тишина милосердно подскажет: "Тссс..."

Но вот в замке поворачивается ключ, стеклянная дверь отступает на ширину ступни, и гневно кипящий холод взрывает застоявшийся снаружи зной.

- Ну?

Миссионер не отвечает на прямо поставленные вопросы, да он их и не слышит. Другое дело, вопрос, сидящий криво, наискось, такой вопрос всегда у миссионера на языке:

- Тебе тут... *живется*?

Хиллари говорит это с укором и с обидой. Это она, а не Серафима, должна принимать тут гостей, она тут *законная* хозяйка! Она поэтому и не спрашивает, желает ли Серафима ее слушать.

То ли это предгрозовая духота, то ли с ветром что-то случилось: воздух становится гуще, его не рассечь выдохом-вдохом, не одолжить у птицы крыла... тяжесть!.. тяжесть!.. Тяжесть подозрительных, вкрадчивых, готовых улизнуть в любой момент намеков.

- Достаточно прожить с ним... ах, с ним!.. - Хиллари обидчиво встряхивает пшенично-перекисной укладкой, - прожить всего три года! Этого ведь достаточно! Три года, и ты получаешь в этой богатой стране вид на жительство, три года не такой большой срок, - она пылливо смотрит на Серафиму, - и дело ведь уже идет к концу, не так ли? К концу этого расчетливого, - она вдруг срывается на ярость, - этого расчетливого интернет-брака!

Серафима молчит, сжав в руке шланг. Это так банально и скучно, душить кого-то в петле, хлестать с размаху по морде. Хотя шланг подходящий.

- Отдай себя Богу!

Бог топчется за спиной Хиллари и тоже клянчит: "Отдай! Отдай!" Бог давно уже свыкся с тем, что ему отдается евангелист, мормон, иеговист, пятидесятник... Богу всё одно. Главное, чтобы была пища: тело и прилегающие к нему *душевные порывы*. Без этих порывов тело, разумеется, труп, но с ними, с этой необъяснимой душевной отсебятиной, тело годится для многого: затыкать пробойны и амбразуры, заклеивать щели избирательных урн, да просто гореть... Речь идет не только о теле верующего, но так же и о теле неверующего, поскольку тот верует в свое неверие, и этой верой-неверием Бог сыт... то есть постоянно голоден.

Бог смотрит на приторно цветастую обложку брошюры, смотрит на мордастого негра, смотрит на бананы и пальмы, и выходит, по Богу, что все как нельзя лучше.

- Богу комфортно, - кивает Серафима на брошюру, - на этих умственно отсталых картинках. Уютно в этих идиотских предписаниях: он едва дотягивается в своем *высшем* до человеческого *низшего*. И он ворует это *низшее* у человека. Бог-паразит. Бог-вымогатель. Что у тебя еще? Ну?

Хиллари только улыбается: миссионер терпелив и вынослив. Пусть Серафима и дальше несет эту чушь, ей ведь не стоять на балконе "Гранд-отеля". О ней знает разве что местный почтальон, но и ему нет до нее дела. Она тут... кто? Никто.

- Это Бог *всех* людей! - трясет в воздухе брошюрой Хиллари, - Без всяких различий рас, Бог всеобщего человеческого равенства! Мы все *от Отца*!

- Крокодилы тоже от Отца, - соглашается Серафима, - коровы, свиньи... чего только Отец не наплодил! И есть, конечно, пророк Лжепророк, который считает Отца дарвинистом... Зверем!

- Это кто же? - недоверчиво интересуется Хиллари.

- Магомет.

Хиллари отступает на полшага, пристально смотрит на Серафиму.

- Лжепророк наследственности. Скучнейший в мире недоучка. Прокисший на все времена дурацкий тюрбан.

Хиллари отступает еще на полшага. Она тут не для того, чтобы доставлять себе же неприятности. Она ведь пришла с миром... ха-ха. И она протягивает Серафиме брошюру, она вручает ее как дар, как ценный подарок.

- Чертова макулатура.

Брошюра летит на замусоренный семечками пол, спугнув стайку синиц, вмяв мордастого негра в его же представление о себе как о саранче... ай-ай-ай! Саранче нужен корм, нужны условия, сверх человеческой, причем, меры. И не разберешь в потоке наследственности, где тут монголоид, а где просто пень, ни тот, ни другой не говорят о себе: "Я!"

- Кто учил тебя этому? Хельге? - в глазах Хиллари кипит переперченное какао, - Я вижу, ты с ним... сошлась!

- Наверняка ты видишь еще и это, - показывает ей шланг Серафима, - Видишь? Где-то вдаль похихатывает, пробуя голос, гром.

Гроза подбирается медленно, основательно взявшись за дело: с запада наезжают на лес облака, становятся темно-синим, загустевшим пятном. И лес, затаившись, ждет, не позволяя высоким осинам шевельнуть ни одним листом, только покрякивает на дороге трясогузка: "Пора?.. Пора?.." Овсяное поле замерло, и шмель, забравшись в туннель синего колокольчика, устраивается среди дня на ночлег.

Стеклянная дверь заперта, шланг лежит тут же, на полу. И все, какие есть в доме окна заверяют заглядывающее в них напоследок солнце, что тут, в этой крепости, просто так не сдаются. Тут есть, кроме шланга, длинные печные щипцы, есть кочерга, есть толстая скалка, есть веник. Веник особенно хорош в ситуации с незванным гостем, сухой или мокрый. И пока Серафима уносится в оборонительных мечтах за пределы дома и окружающего его леса, кто-то нетерпеливо стучит в дверь.

Залезть под рояль? Углубиться в беседу с профессором Огневым? Дозваться до Рахманинова?

Кто-то стучит по стеклу, переходя от одного окна к другому, стучит по оконной раме... Кто?.. Кто?..

- Проклятый понос в аду!

Хельге заметил, конечно, палатку. Он почувал присутствие Хиллари задолго до того, как свернул на лесную дорогу: почувал неподъемную тяжесть. Почувал кишками и селезенкой, словно ему дали глотнуть отраву. И в этом внутреннем безобразии, в этом внезапном похолодании и околении, он явственно различил свой же, тридцатилетней давности, голос: "Люблю тебя... люблю и буду всегда любить..." Эти ужасные слова лжи! Они навсегда запечатлены в его истории, эти воровски изъятые у него признания. Теперь-то, ах, только теперь это стало для него ясно: за этим его опьянением не стоит никакой реальности! Он позволил Хиллари оторвать от себя что-то важное, дал чему-то безвозвратно утечь, обронил в темноте сокровище... он сделался старше, суше, недоверчивее, он стал больным... "Люблю... и буду всегда любить..."

- Нет, я ее не видел... - подавленно бормочет он и снова запирает дверь.

Лицо и руки у него в краске, в волосах песок. Он пронесся на машине мимо палатки и подумал только, что Хиллари могла бы разбить лагерь прямо на лужайке перед домом. Американцу, а тем более, миссионеру всюду мерещится американский интерес. Американское присутствие, это не только ставший полосатым купальником флаг, это прибор для измерения удовольствия-неудовольствия, мнение мы-ы-ыкающей общественности. Это к тому же еще и шоу.

- Давно она тут? - рухнув в кресло перед телевизором, устало спрашивает он. В конце концов, ему плевать, кто здесь ставит палатки, пусть Бьёрн с этим разбирается, это его дорога.

- Она отсюда никогда и не уходила.

Усмехнувшись, он переключает программу, поглубже вдавливаясь в кресло.

Солнце жарит сильнее, чем в полдень, и птицы предусмотрительно умолкают, лишь черный дрозд кого-то зовет, зовет... Зовет дождь. И вот наконец-то ливень: алмазные, хрустальные потоки, хлынувшие наперекор солнцу из одной-единственной тучи! Должно быть, долго все это копилось: по замусоренному полу террасы, по накрытой брезентом крыше всюду колотит град, белое, белое, белое... шуршанье, хлюпанье, стук... сбитые яблоки, обломанные ветки... Дыша раскатами грома, гроза метит молниями в круглое ухо антенны, и от этих звонких пощечин разлетаются вдребезги мельтешащие на экране программы... хлоп-хлоп-хлоп! Нет больше никаких программ! Выскочив на лужайку в одних трусах, Хельге грозит кулаком небу, орет шибанувшей рядом молнии:

- Прокля-я-я-я-ятая!!! А-а-а-а!!! О-о-о-о!!!

И гром, раскатисто хохотнув, уползает за темнеющий в дожде лес, и дождь, словно его спугнули, внезапно прекращается.

- Проклятая... - бормочет, вернувшись, Хельге и в ярости бьет кулаком по мертвому теперь уже телевизору, - Проклятая! Проклятая!

Наступает чудесный после дождя вечер. Небо возвращает себе смытые ливнем краски, в воздухе носятся запахи мяты и резеды, клевера и послевающей пшеницы, и с верхушки высокой ели возвещает о чудесно прожитом дне черный дрозд. Только облака, сбившись на горизонте в могучие тела гигантов, все еще помнят грозу, и ветерок с фьорда осторожно подсказывает: еще не всё, не всё... Дверь в доме по-прежнему заперта. Они не говорят о Хиллари, но каждый знает: она тут, поблизости. Каждый по-своему ждет ее прихода.

Тихо опустившись в фиолетовое облако, солнце наконец уходит, высвобождая место бледно-желтой, почти уже полной луне. И всякая ползущая по дороге тень, всякое среди деревьев шевеленье немедленно приобретает облик Хиллари: она там... нет, здесь... Они молча ложатся спать, каждый со своими мыслями, и луна, воровски пробиваясь сквозь тюлевую занавеску, норовит подсмотреть, как тут у них...

Ровно тридцать лет назад с ним лежала под одним одеялом Хиллари. Ее горячее, ненасытное, ядовитое тело! Теперь-то Хельге знает, что опьяняет вовсе не любовь, но... ее катастрофическое отсутствие. Опьяняющий сок не-бытия, в нем ведь есть своя сладость, да, приторность *потери себя*. Отдай себя, отключись, и ты уже... не на земле! Ах, ты почти что на небе! Сколько там таких, как ты, уже перебивало! И все они уверяют свой рассудок в том, что человек - это ведь животное, да, человекоживотное. И рассудок, увы, не напоминает даже самым внимательным, что животное приурочивает спаривание к продолжению своего шкурно-рогато-копытного рода, тогда как обладатель рассудка *бесплодно* бьется о стену механики и технологии секса: раз-два-три-четыре. Этой могильно-братской механикой, этой серийной штамповкой одних и тех же скучнейших в мире *на* обладатель рассудка затанцовывает себя насмерть: нет больше животного, нет больше человека.

Этот утонченный танец смерти осуществляется непременно под маской: под золотой маской *права на господство*. "Обладать! - подсказывает тебе гораздо более сообразительное, чем ты, существо, - Отдаваться!" И ты повторяешь этот урок день за днем, год за годом: обладать-отдаваться... пока черт наконец не пожалует к тебе лично. К тебе, не знающему свободы. К тебе, недалёковидному пленнику превосходящего *тебя* чувства. Черт обязательно за тобой придет!

Луна стоит за тюлевой занавеской, и Хельге снится сон: под тем же самым, что и Хиллари, одеялом, только по другую сторону, лежит с ним Монтсеррат. Обе они *сгорают* от любви, и одеяло понемногу дымится. Дым щекочет ему нос, лезет в зажмуренные глаза, но ничего, он к этому привык. Обе между собой, надо сказать, ладят: тебе верх, мне низ. Воодушевить, вдохновить, соблазнить, совратить сверху, и заковать в цепи снизу. Но он-то, он, посередине... он-то что? Он становится криком, истерикой, воплем, паникой... он валит бодающего его быка, и ему самому всаживает в бок вилы расторопно подоспевший хозяин...

- А-а-а-а-а!!!

Спугнув криком луну, Хельге поворачивает на подушке голову: на него с любопытством смотрит Серафима.

- Будет гроза, - безразлично сообщает он и снова засыпает.

И приходит наконец штормовой ветер. Он гнет до самой крыши березы, гудит среди высоких осин, валит стоящую на камнях столетнюю ель... И следом несется ливень. Весь дом дрожит от потоков воды, в голубом пламени молний, в адском сухом треске и грохоте. Хельге, проснувшись, смеется: да тут все теперь всерьез! Природа решила наконец поразмяться. Как шибает по крыше!.. по не нужной уже никому антенне!.. И это

не минутная прихоть, это теперь надолго. Он открывает окно, и вода тут же заливает подоконник, подушку и край одеяла, и прямо в кусты бьет молния, и Хельге кричит навстречу ослепительной вспышке:

- Постой, не так скоро! Давай сначала разберемся... вот так, неспеша! Давай прикинем, какие еще остались в этом мире краски!

Он поворачивается к Серафиме, и она не сразу узнает его помолодевшее, да, почти юное лицо: теперь ему от силы двадцать пять. Он красив, Хельге.

- Ты?..

- Ты сама придумала эту грозу, - усмехается он, - это твои молнии!

Сухой раскат грома заглушает его слова, дождь принимается колотить по крыше с удвоенной силой. И все, кто укрылся теперь в доме, мыши и пауки, осы и ночные бабочки, забившиеся в дыры и щели птицы, все они уверены, что ничего плохого в этой грозовой ночи не случится.

- Давай позовем ее... - тихо говорит Серафима, - она ведь там, в палатке...

Хельге молча усмехается, закрывает окно. Будто это первая в его жизни гроза. Кто-то сидит дома, кто-то мокнет снаружи.

- Она там, в палатке, наверняка дрожит теперь от страха и молится...

- И правильно делает, теперь для нее самое время помолиться, - удовлетворенно замечает Хельге, - Если молния шибает куда-то, значит, так и надо!

- Давай позовем ее!

- Нет.

Спустив ноги с постели, Серафима слушает шум ливня: сплошной бурлящий грохот в перемешанной со вспышками молний тьме. На кухне капает с потолка, надо поставить на пол кастрюлю, накрыть рояль одеялом, полиэтиленом... да тут уже потоп! На террасе опрокинуты стулья и цветочные горшки, клеенчатая скатерть повисла на дереве, лампочка над дверью погасла... черт! Теперь бы найти фонарик... вон он... но аккумулятор не заряжен. Остается только взять железный фонарь со свечой. Старый, с закопченными стеклами, фонарь, какие обычно ставятся возле могил.

С этим похоронным фонарем Серафима выходит на дорогу.

Навстречу ей несется, как в недавнем летнем сне, бурлящая река. Дороги больше нет, только торчащие из воды валуны, кусты и растрепанные деревья. Идти лучше боком, в угоду ураганному ветру, и молния, глядишь, не заденет... ну что ей эта сгорбленная тень! Закутанная с головой в брезент, в резиновых сапогах, с похоронным фонарем. Так должно быть выглядит спросонья судьба. И куда ее только несет!

Добравшись почти вплавь до поворота дороги, Серафима поднимает на вытянутой руке фонарь, ищет палатку. Но разве что-то найдешь теперь в этой адской мешанине?

- Эй! - кричит она и сама не слышит своего крика, - Эй!

Но вот, наконец-то: куча промокшего насквозь тряпья. Не окажись тут кустов шиповника, всё это унесло бы к черту ветром. Она тянет край завалившейся палатки, тянет вместе с двумя тоннами воды и... валится с фонарем на копошащееся под брезентом тело... И словно из-под земли, пробулькивает в ураганную темень вскипяченная страхом молитва:

This baby, Rose of Sharon,
Grew up and died for you.
Two thousand years ago
He hung there on that tree...

Ураганный ветер не дает Серафиме подняться, кусок брезента, раздувшись, как парус, вот-вот унесется в поле...

черт!.. Целясь в стоящую поблизости березу, молнии освещают потоп голубым сатанинским неонам, и нет никакой, ах, никакой, над тобою крыши. Есть только твое с этой грозой единство: разве это не вспышки *твоего* духа? Короче, ты тут у себя дома.

Растолкав ворочающееся под рухнувшей палаткой тело, Серафима наконец поднимается и, выпустив из рук парус-брезент, кричит навстречу сухим раскатам грома:

- Хиллари! Вылезай!

Кипящая в хаосе молний молитва становится еще горячее:

Two thousand years ago...

- Пойдем в дом!

He hung there on that tree...

- Это дерево сейчас на тебя рухнет! Вылезай!

Пролитый парафин вспыхивает в фонаре, но эту вспышку опережает шарахнувшая по оставленному в поле плугу молния: а-а-а-адд!!!

Two thousand years ago...

- Пойдем со мной! Будешь спать под роялем на матрасе!

Завалившаяся палатка шевелится под двумя тоннами воды, и наконец из-под нее показывается, в дрожащем свете похоронного фонаря, мертвенно бледное лицо Хиллари.

This baby... died for you...

- Кончай болтать чушь, пошли!

- Я хочу умереть под этим деревом!

- В следующий раз. А теперь идём!

- Следующего раза не будет, потому что Он умер...

- Ха-ха.

- Ты смеешься над Богом? Смеешься?

- Над твоими о нем представлениями. *Его* не подвесишь на дерево, у него иная природа.

- Но Его распяли!

- Гм... используемое им тело, из которого предварительно улизнуло человеческое *Я*, впусив на свое место...

Оглушительный грохот, голубой адский неон.

- ... солнечное *Я*!

Two thousand years ago...

Серафима молча ставит под куст шиповника похоронный фонарь.

Она идет обратно в крошечной тьме, и несущаяся мимо река хлещет ее по икрам ветками и камнями. И уже возле дровяного сарая до нее доносится в штормовом ветре вопль Хиллари:

- Есть только один Бог! Бог смерти!!!

Хорошо оказаться в конце концов дома, в надышанном сном тепле. Теперь половина третьего, волчий час. Время отчаяния и страха, паники и сердечной тоски. Время вгрызающейся в затылок безнадежности. Время плахи. Удачлив тот, кому случается этот волчий час проспать, проскочить опасный кусок ночного пути. Но тому, кто бодрствует, лучше подумать о растениях: о невинности их роста и цветения. Подумать о черемухе, о белой сирени... это же упавшие на землю звезды! Земля дает только соки, остальное приходит сверху.

- Сверху... - говорит Серафима, залезая под одеяло. Хельге храпит, в голове у него праздник и хаос, он теперь далеко. Но тело, оставшееся под пуховым одеялом, *мыслит* в ночи: в этой печени, в этих почках и легких бодрствует Космос. Серафима знает, что он слышит ее слова, и говорит, несмотря на его храп:

- Хиллари зазывает Аримана в свою рухнувшую палатку, она принимает его за Христа.

- Знаю, - перестав на миг храпеть, отвечает Хельге и тут же снова ныряет в свой праздник и хаос, - Как там на дворе погода?

- Дождит.

Поваленное молнией дерево, похоронный возле куста фонарь.

Кто-то слоняется по лесу, приклеивая к стволам елей записки. Выданные из школьной тетради листы с одним и тем же коротким текстом. Помимо текста есть еще и рисунок, и его можно принять издали за мишень. Окажись тут охотник, он наверняка бы пальнул, целясь в самую середину, несмотря на предупреждающий текст: "No!"

У этого "по" явно туристическое происхождение, хотя назначение вряд ли сезонное: ему бы враспи в толстую еловую кору, подняться вместе с кроной выше телефонных столбов, заткнуть собою печные трубы. No! No!! No!!!

Охотник, пожалуй, примет это за распоряжение коммунальных чиновников: не стрелять, не курить, не сорить. И марширующим мимо лесам это покажется защитой их лосиных прав, их лосиного, к тому же, свободомыслия.

Эта нарисованная на бумаге мишень выглядит вполне порнографично, надо только себе вообразить... А если воображения не хватает, просто прикинуть, не найдется ли этим концентрическим окружностям иное, гораздо более интригующее применения. И крупное, во весь лист, "No!" добавляет от имени мирового порнографического туризма: "Не суйся и не суй!"

По ночам кто-то вздыхает и сопит под окном спальни, и если это не приبلудившаяся в бегстве от охотников косуля, не жадный до оставленного хлеба барсук, не соседская, наконец, собака, то... Не воспоминания ли это о прошлом?

Воспоминания, которым нет больше места в жизни, воспоминания-призраки.

И это вовсе не безобидное занятие: черпать намерения из давно ушедшего. То, что когда-то звало и светило, тащило в гору и платило чистым золотом, становится со временем той крылатой мечтой, что зовет прочь с земли. Эта мечта несколько не соизмерима с тем куцым огарком, который судьба по-прежнему именуется жизнью. И то, что не успело еще догореть, скорее всего, напоследок взорвется.

Хельге не спит по ночам, словно кто-то поставил его на дежурство, и при каждом шорохе за окном бормочет, сбивая на сторону одеяло: "Проклятая!" Он мог бы сказать прямо: "Проклятая Хиллари!" Но так ведь можно и зазвать ее сюда! Сидя у себя дома как в ловушке.

Хиллари звонит ему много раз на день, вкрадчиво предлагая встретиться: в ресторане, на пристани, у знакомых, да просто где-нибудь. Она не может, не должна уехать в Америку ни с чем. Так было уже много раз, из ее терпения, разочарования и настойчивости можно соорудить монументы. Монументы *домогающей не взаимности*.

Хельге не видел ее уже семь лет, но все это время над ним кружили, как грифы, ее письма. Она пишет об одном и том же, о голоде и сопутствующих ему *галлюцинациях* пищи. Сколько соблазнительных калорий в этой взбитой сексуальностью пене!.. в этих переперченных сладких намеках!.. Она пишет, конечно, о Боге, о его древнем, загрызающем насмерть "No!", и сам этот Бог, почесываясь и кряхтя, тянет за милостыней давно немытую руку... Морально одинокий, он тянет руку к ангелу, дай-дай, дотягивается аж до архангела, он хочет, этот Бог соблазна, хоть как-то окрылиться... хочет неба со сбитыми на сторону орбитами планет!

"Сатана! - думает Хельге и засовывает письмо в кучу лежащих на столе бумаг. Но письма по-прежнему кружат над ним, эти грифы, крича о беспокойстве и страхе. Но это не его беспокойство, не его страх. И даже желание распечатать конверт и пробежать написанное глазами, это тоже не его желание... так, умственная рутина. Ум ведь несколько не зависим от всего остального, уму легко оторваться, пуститься вскачь, унести... Эти письма читаются *умом*, и вопрос только в силе его противодействия магниту, - Сатана!"

Серафима сжигает в печке эти снятые с елей мишени, эти плоды порнографического воображения. Это ее огонь, ее гневная алость. Она не спрашивает, куда собирается Хельге: клетчатая рубашка с засаленным воротником, залитые мазутом джинсы,

солдатские ботинки. Он зачесывает на виски выгоревшие на солнце пшеничные космы, фыркает, глянув в зеркало. Его ум подсказывает ему: "Иди!" Теперь утро, и все, что могло проснуться, теперь бодрствует.

Хиллари ждет его в дорогом, на главной улице, "Париже". За тем же, может, что и тридцать лет назад, столиком. Прошлое теперь на ее стороне, и только ум и может обойти умело расставленные капканы, его, Хельге, ум. Он не даст за это прошлое и ломаного гроша, и если и есть во всем этом что-то зовущее и тоскующее, ум немедленно отрезвит опьяненную память.

Но вот он, "Париж": на старых каменных ступенях цветет в кадках мята и лаванда, зреют неспеша цитрусы, из приоткрытой двери дышит сладостью и тленом простуженное ретро, и запах омлета с сыром и паприкой, перебивая запах корицы и кофе, сообщает неспешно начатому утру нечто вполне домашнее, да, сносное.

С чашкой горячего шоколада и газетой, Хиллари подогревает на обильно напудренном лице относящуюся ко всему миру американскую улыбку: смотрите, за этим столиком сидит миссионер! Смотрите, как миссионер за столиком сидит!

Американскую улыбку не спутаешь с просто разинутой пастью, это товар первой необходимости, заменяющий отсутствие всего остального. Улыбаться по-американски, значит, *что-то значить*, на виду, разумеется, у всех. Другое дело, на виду у себя самого... нет, это не наш с вами случай. Бежит, к примеру, на лыжах принцесса, бежит нагишом, дразня грудастым силиконом пущенного по ее следу голого, в американский президентский рост, негра: оба упарились, и еще не известно, что станет с мировой экономикой: кризис, коллапс, переучет... главное, и дальше вот так скалить искусственные зубы. Это и есть та Америка, с которой возится, как может, весь остальной мир: передвижной театр, захватывающее сновиденье, фата-моргана... Так улыбайтесь же, улыбайтесь!

Сидеть с раннего утра в "Париже", это все равно, что собирать на себя же компромат: ты весь тут, в позавчерашнем полумраке. И сколько не улыбайся, сколько не крути головой, ощупывая шифон и атлас старомодных, на дряхлых вешалках, "макси", шершавость наклеенных на стену, пожелтевших от возраста газет, бугристость цилиндров и шляп с полинявшими шелковыми цветами, нервозный перламутровый строй аккордеона, ты тянешь только на чужие воспоминания. Они, чужие, подсаживаются к твоему столику, эти истощенные ожиданием призраки, и клянчат мелочь, оброненную обстоятельствами монету. Призраки постоянства, призраки верности. Им идет это их обличье, этот утонченный, местами протертый до дыр обман: так похоже все это на правду! Тут, в полумраке, в мечте и тоске, в грусти несостоявшихся устремлений, да просто в скуке, тут набухает слезой и вздохом последнее, может быть, желание: "Моё!" Ничего другого так ведь и не придумано, так и не рождено. Хиллари готова поставить прожитый с Хельге год вровень с подводящим итог некрологом: такое ведь случается только один раз. Один на всю жизнь раз! И теперь, в полумраке этого ожидания, Хиллари видит ступени пригнавших ее сюда лет, то ли подъем, то ли спуск... подъем к спуску! Мир едет вперед по инерции, не зная, что дальше: атомы, кварки или какой-то иной кукиш. И надо поэтому хватать то, что есть, хватать это девальвирующее, вянущее на глазах "Моё". Но вот он, Хельге! Он! Он!! Он!!!

Хельге стоит на ступенях, оккупированных лавандой и цитрусами, и написанное мелом на черной доске меню обещает ему если не *entre*, то уж точно глоток, тут же на ступенях, крепкого кофе. Громыкнув в кармане джинсов мелочью, он толкает плечом старинную, с колокольчиком дверь, дзинь-дзинь, и вот он уже в Париже, в дрожащей тонкости запахов и неподдающихся времени линий, в призывной недосказанности оборвавшейся на самом главном мелодии... Он помнит, как спал лет тридцать назад у стен Нотр Дам, бездомно и вольно, припарковав поблизости велосипед, и полиция проверяла ночью документы у разлегшихся на траве наркоманов, и цвел жасмин... Он помнит этот уносящийся прочь запах, о котором невозможно сказать ничего вразумительного: запах

мигомлетности счастья. Он не думал тогда, в Париже, ни об одной женщине, он только смотрел на плывущие по тротуару ноги, выпытывая тайну походки... он читал запретное. Тела и лица, конечно, тоже многое говорят, но ноги... они ведь и есть верхушка человеко-растения, если считать от луковицы-головой. Где тут верх и где низ? Он смотрел, лежа на траве, на взметнувшийся к неоновому парижскому небу Нотр Дам и мысленно переворачивал его, прикрепляя к запыленной луне и рискуя тем самым уронить ее на землю... и ренуаровская незнакомка, в зеленом платье с оранжевым поясом, швырнула ему пригоршню жасминовых цветов...

Он узнает теперь этот запах. Он смотрит поверх круглых, под льняной скатертью, столиков и зачехленных на старый манер стульев, поверх голов, лениво горящих под шелковыми абажурами ламп и стеклянных ваз с увядающими розами, смотрит и... ничего не ищет. Он идет прямо к стойке, где дремлет в полумраке реанимированных двадцатых годов загадочная, артистичная, небрежная, богемная Изабель, в черном декольте и шляпке с вуалью, и она, призвав на помощь искусство, обещает ему взглядом если не завтрак на траве, то по крайней мере яичницу со свиной. Он тут, понятно, только перекусить, рабочий, так сказать, класс... Классный мальчуган! Изабель самой уже, несмотря на врожденную богемность, далеко за восемнадцать, но один только Ив Роше и догадывается о возрасте воткнутой в ее рыжий локон розы. "Кофе? Чай? Коньяк?" Вытащив из заднего кармана пачку кофейных зерен, Хельге просит тут же, при нем, все это смолоть, гремит мелочью... Нет, нет, для *такого мальчугана* это бесплатно! Пусть только пригласит как-нибудь на кофе...

Взяв обернутый жасминовой салфеткой бутерброд, Хельге высматривает подходящий столик, и полумрак подсказывает ему, что надо держать прямо... держать мимо кудахчущей о погоде старухи, мимо воскового Алан Делона, мимо кардамоновых взглядов гомо-близнецов... прямо к столу Хиллари.

Она хватает его руку вместе с бутербродом, трясет, взвешивает... Взвешивает его капризную судьбу. Рубашка не стирается, штаны в мазуте, от солдатских ботинок разит. В чем они, перемены? Миссионер знает наверняка: как бы не похвалялась жизнь переменами, ей все равно сидеть на привязи смерти, этой *конечной*, на все времена истины. И от имени этой истины Хиллари отщипывает кусочек бутерброда, теребит засаленный обшлаг рубашки.

- Хельге... наконец-то!

Он молча ждет заранее ему известное, он сегодня терпелив.

- Ты еще так молод... так силен!

Он пожимает плечами, приносиваясь к запаху омлета с беконом и луком.

- Ты можешь еще сто раз жениться!

Исподлобья глянув на Хиллари, он молча ест, он не склонен затевать с ней игру.

- Если это все, что ты хотела мне сказать, то не было особой нужды так суетиться с этой встречей. Зачем ты приехала?

- Я?... Меня привел сюда Бог!

Хельге молча усмехается.

- В таком случае, зачем Он тебя сюда привел? Миссионер ведь никогда не суетится напрасно: кто-нибудь обязательно об его ногу споткнется. "Видите, как Бог вас любит, как Он о вас заботится..."

- Бог заботится... - торопливо вытряхивая из походной миссионерской сумки газетные вырезки и фотографии, бормочет Хиллари, - ... вот! Это всё мои друзья! Единомышленники! И мы так сильны, все вместе!

- Знаю я эту групповуху.

- Мы строим по всему миру, строим для *всех*, и тебе, Хельге, мы особенно рады!

- Kiss my quick...

Он прибегает к английскому лишь в особых случаях. И если бы Элвис был теперь тут, он добавил бы: "... в жопу!" Элвис выбрал бы именно эту фотографию: белая

соломенная шляпа, белые, под шляпой, разлетайки-штаны, белое северное солнце, белое дно Лофотен-фьорда...

- Помнишь? - теребя на засаленном обшлаге готовую оторваться пуговицу, выразительно шепчет Хиллари, - Там, в Северной Норвегии, в доме твоих родителей, в твоей, с видом на скалы, комнате... Помнишь, каким длинным был тогда день? Мы сидели в полночь за столиком кафе, почти как сейчас, и солнце плавало в гавани среди толстобрюхих кораблей и парусных лодок... Помнишь? Мы ловили треску и тут же, на пристани, варили ее в морской воде, мы много тогда ели...

- Kiss my...

- Мы могли бы, как ты думаешь, снова сойтись?

Перестав жевать, он пристально на нее смотрит. Он отвык, живя в лесу, от *общих мест*. Он доест омлет, допьет кофе, встанет.

Это особый, совершенно особый для Хиллари миг. Ради этого судьбоносного мгновенья стоило так долго *трудиться напрасно*. Вот оно, мгновенье верной, как смерть, истины: она заключает... нет, обновляет брак с Хельге! Старый-старый, и теперь такой новый брак! В этом зазывном полумраке, в пряности и тлене парижского ретро, в прилипчивости минутного ресторанного уюта. И надо схватить этот миг, навсегда оторвать его от времени!

- Я дам тебе... - задыхаясь от восторга предстоящей победы, шепчет Хиллари, - ... счастье! Счастье до самой смерти! И после смерти тоже! Мы свяжем наконец наши судьбы, чтобы никто никогда не расплел этот вечный узел! Мы станем единым, на все времена, существом!

В голубых, под выгоревшими ресницами, глазах Хельге вспыхивает дерзкое любопытство. Не сама ли удача ломится в заколоченную гвоздями дверь? Удача, которой нет цены. Везло же ему раньше: кто-то отдает бесплатно автомобиль или старый трактор, холодильник, оконную раму, мешок картошки... А тут... счастье!

Даже если оно и не очень в данный момент нужно, его следует взять про запас, на случай инфляции, девальвации, деградации. Не валяться же счастьем вот так, на дороге.

Отодвинув тарелку, Хельге неспеша вытирает салфеткой рот, отхлебывает кофе. Не позвать ли сюда, за столик, Изабель? Ей тоже должно быть хочется хлебнуть немного счастья, хотя бы и чужого. Оглянувшись по сторонам, Хельге терпеливо спрашивает:

- И каким же образом?

Он знает, что его терпение не вечно, но в запасе есть еще какие-то доли секунды... он может еще потерпеть.

- Мы отдадим себя Богу! Отдадимся ему, Могущественному, со всеми нашими заботами и обязанностями, со всеми нашими слабостями! Песчинки в бескрайней пустыне, мы живы только отсветом его, Могущественного, мудрости, тогда как сами по себе мы мертвы. И нет перед Его мудростью различий между тобой и мной!

Хельге рассеянно кивает. Он думает о тех тоннах песка, которые ему еще предстоит в этой жизни прогнать через пескоструйный аппарат, и он любит этот песок. И было бы неплохо прогнать через такой вот пескоструйный ад большую часть счастливого человечества.

- Твой Бог, я вижу, состоит в родстве с Сатаной, - усмехается Хельге, - Или это Он Сам Собственной Персоной?

Хиллари замирает с открытым ртом, фотографии падают на пол. Даже миссионеру порой случается наткнуться на *прямо поставленные* вопросы.

- Но согласись... - торопливо перебивает она его, - ... согласись, что между нами было что-то особенное! Что-то совершенно особенное! Ты сказал, что мы женаты... ты ведь это тогда сказал!

Да, Хельге это помнит. И этот вписанный в его судьбу брак пока еще не расторгнут. Он помнит белое полуночное солнце, сверкающий на горах снег, ледяное, прозрачное до самого дна море. Тогда он был полон ею, ее дразнящей кошачьей грацией, ее

возмутительной ребячливостью, и ее сексуальная прожорливость была для него всего лишь поощрением его собственной игривой жадности. Он сказал короткому северному лету и избытку сил в своем тридцатилетнем теле, сказал давно уже опустевшему родительскому дому, сказал, что их связь старше их самих.

Тогда, на севере, он понял, что Хиллари никогда от него не уйдет. В широких белых брюках и белой, с длинными рукавами, рубашке, с густыми угольными волосами под соломенной шляпой, его любовница-невеста хочет быть такою и теперь, почти тридцать лет спустя. Хочет быть замыкающим горизонты обручем. Цементирующим формы законом. Вытесняющей жизнь *реальностью умирания*.

- Когда истощаются ресурсы смерти, - неспеша поясняет он, - а это ведь механические, копирующие себя повторения однажды заученного, остается только одно: умирать от скуки. Так не лучше ли придать нашему закисанию и загниванию вид традиции? Придать вид *ритуальных услуг*. - Вот увидишь, - словно не слыша его, продолжает Хиллари, - *как мы будем счастливы!*

- Как? - катастрофически теряя терпение, обрывает он ее.

Хиллари недоуменно, словно только что проснувшись, на него смотрит. Он чем он ее спрашивает? Разве она сказала что-то дурное? Она вся просто тает, просто тает... тает от *счастья*.

- Kiss my... чтобы я слушал еще твои сатанинские проповеди! - он внезапно приходит в ярость от своих же слов, - Использованная с двух сторон туалетная бумага! Многоразовый африканский презерватив! Сраная жопа гея!

Его тяжелый, с неотмытой краской, кулак с грохотом опускается на шаткий парижский столик: дзинь!.. блям!.. бум!.. Из опрокинутой стеклянной вазы льется на пол вода, алая роза в ужасе осыпается, и сдобно грезящей о Мон Мартре Изабель остается только перемахнуть, хоть ей далеко уже за восемнадцать, через кофейно-коньячную стойку и, сбив поставленный на старый чемодан немой граммофон и вешалку с полосатым костюмом Пьерро, вежливо вломиться в прилегающее к пошатнувшемуся столику пространство.

- Еще кофе?.. Шоколад?.. Газету?..

Хельге лезет в карман джинсов, выгребает оттуда кучу мелочи, шлепает, не считая, на залитый водой стол.

- Газету, - с кипящей во льду яростью говорит он, - Ей.

Он идет неспеша к выходу, останавливается возле припаркованного к двери старого велосипеда, нюхает петунии, посаженные в деревянный, на багажнике, ящик. Он знает, что Хиллари не встанет и не побежит за ним следом, между нею и ним преграда. Он видит ее краем глаза, сидящую в полумраке, всего в двадцати метрах от этого велосипеда, но ей не осилить это расстояние.

Он вернулся домой больным.

Еле добежал до стоящей под елью уборной: обвал, потоп, катастрофа! И на следующий день, и на следующий, и на следующий... за неделю он сбросил десять килограммов. Так можно продержаться месяц-другой, распорядиться насчет похорон... то есть теперь уже все равно.

Хельге знает, что это месть. Попробуй только назвать вещи своими именами! Никто поэтому и не пробует. Поэтому так и вольготно в мире проповедникам, политикам и юристам. Kiss my quick! Вот так, верхом на параше, он наверняка и въедет в ад, и он несколько не сомневается, что именно ад его и ждет, хорошо протопленный и обустроенный орудиями пыток. Ад, в котором никто, кроме него самого, ему не поможет.

Врач тоже так считает: ад! Он готовит, как полагается, наркоз, и несколько метров шланга змеино дожидаются старта, и Хельге, лежа вниз животом на кушетке, сердито думает: "... ну прямо в жопу!" Он говорит врачу, чтобы тот оставил дозу себе, на случай затяжного над Атлантикой урагана, и врач, недавно ходивший под парусом на Кубу, не

прочь поболтать о кубинках, этих обласканных солнцем растениях: они приходят на яхту и пьют красное вино, и барометр всегда показывает "ясно". Лицо врача обожжено солнцем, ладони в твердых мозолях, волосы отросли до плеч, во рту вкус морской соли. Ему приходится сюда возвращаться, к этому компьютеру, в этот тесный, со стулом и кушеткой, кабинет. Сущий ад, вернуться сюда из Атлантики!

Врач видит, какво Хельге терпеть это без наркоза: из покрасневших глаз катятся слезы, лоб в испарине, в кулаке край смятой простыни.

- Ты, - говорит врач, - первый, кто хочет это *видеть*, другие просто спят.

Видеть эти ритмически сокращающиеся туннели, змеиную головку лампочки, отыскивающую все новые и новые доказательства катастрофы: внутри внезапно открылось множество язв.

- Проклятая... - бормочет, глядя на экран, Хельге.

Теперь за ним повсюду будет таскаться смерть, заранее одалживая у него время, подсматривая его сны. Смерть станет его лучшим другом: ее присутствие разбудит в нем *моральные силы*, позволяющие вынести невыносимое. И если ей так уж нетерпится, он готов хоть сейчас... готов каждый миг.

Врач другого о смерти мнения: дальше нее ничего уже нет. По крайней мере, ни красного вина, ни тающих на солнце кубинков. Врач видит только не годный ни на что труп, и если что-то из этого трупа и улизнуло, анонимно и безадресно, врач за это не отвечает. Тем не менее, врачу кажется, что Хельге... вроде бы выходит из себя, да, повисает возле самого экрана! И оставшаяся на кушетке нестерпимая боль напрасно домогается его возврата.

- Эй, как ты там?..

- Я уже видел это когда-то... - хрипло отзывается Хельге, - эти совершеннейшие в мире конструкции! Я видел это раньше..

Врач привычно кивает, другие пациенты тоже несут чушь. И все они хотят досрочную пенсию, бесплатный рецепт на бесплатные таблетки.

- Кстати, - вытягивая обратно многометровый шланг, сообщает врач, - тебе предстоит полная химическая стерилизация. Понимаешь?

- Или смерть, - добавляет Хельге.

Врач, подумав, кивает.

К Рождеству Хиллари прислает, как обычно, поздравление с техасскими картинками: опунциями, пушистыми диванными кошками, суперавтомобилями, и пожеланием все-таки найти Бога. Найти цементирующий, бетонирующий принцип счастливого, хотя и безрадостного и, само собой, демократического строительства. Хиллари не проговорится насчет того, что Бог этот тайно примазывается к человеческой вертикали, будучи сам безнадежной горизонталью в своем моральном, на все времена, одиночестве. Бог не прочь завладеть рождественской елкой, этим милым, обвешенным всякой чепухой веником, и заодно подсунуть в рождественскую колыбель свою ползающую, окаменелую сущность, зажечь вокруг иллюминацию, что-нибудь непременно национально-патриотическое, созвать интеллигентных, телегеничных комментаторов. Они, интеллигентно-телегеничные, держатся поблизости, так подсказывает им их дипломированное чутье. Они-то и известят мир о приходе чуда: суперразумной *машины смерти*. Но перед этим надо как следует мир замусорить: декоративной справедливостью и правом голодающего на вымирание, политической порнографией и сутенерствующей державностью, услужливой суетой попикиков и попов... да просто валютой. Замусорить так, чтобы не было больше сомнений: тут, на этой помойке, не растет больше ничего человеческого.

Покупайте, покупайте, покупайте рождественских ниссов!

Вдоль дороги высокие сугробы, тут только что проехал на тракторе Бьёрн, и снег продолжает падать. Снег будет падать всю ночь, пригибая к земле кусты и тонкие березы,

наваливаясь на лапы столетних елей. Зима подоспела вовремя. Как раз теперь, когда нечему уже во льду вымерзнуть, следует приморозить так, чтобы... бросило в жар! Чтобы полыхнуло наконец изнутри... ах, только пепел... Рано утром, в пятнадцатиградусный мороз, Хельге садится на велосипед и, проклиная долгий до аптеки путь и замерзший за ночь автомобиль, едет за лекарствами. Он еле тащится, везя велосипед на себе, соскальзывая на обочину и падая... Проклятие и еще раз проклятие! Едва дотянув до поворота, он бросает велосипед в снег и забивается, как зверь, в кусты, с отвращением лоя запах плохо переваренной пищи и собственной крови... Проклятие! Утеревшись пригоршней снега, он едет дальше... и встречный ветер гонит его назад...

Он добрался до аптеки через полтора часа, ничего уже больше не желая. Просто стать в очередь, протянуть рецепт. Он видит в очереди Монтсеррат, и она видит его, кивает, словно нет между ними никакой обиды. Она, похоже, разглядела его нужду, и это для нее новость. Таким она никогда его раньше не видела: ввалившиеся, покрытые серой щетиной щеки, ушедший вглубь взгляд. У него, похоже, проблемы. И она снова кивает, осторожно улыбается. Но Хельге стоит, отвернувшись, потом, стараясь не глядеть на нее, присаживается на стул, сидит, сгорбившись, уставившись в одну точку... он смотрит, может, на свою старость. Что с ним такое стряслось? Ведь всего полтора года назад... Монтсеррат вспыхивает изнутри при мысли о его полуночных ласках... Хельге! Она ждет его возле аптеки, но он проходит, не глядя на нее, мимо, плетется к своему велосипеду, сует за пазуху коробку с лекарствами, неуклюже садится. Она машет ему рукой из кабины Феррари, кричит:

- Едем вместе! Едем ко мне!

Он на миг оборачивается, молча мотает головой. Он один в этом промерзшем мире, и ему помог бы, пожалуй, тот, кто бы его убил. Но от людей разве дождешься помощи? С трудом стронувшись с места, он медленно сворачивает на шоссе, и Монтсеррат долго смотрит ему вслед.

Теперь он вряд ли кому-то нужен, *стерилизованный*. Это лишь вопрос времени, когда от него уйдет Серафима, в Харпестаде ведь есть мужчины.

Она лежит под одним одеялом с ним, нет, не жена. Жена давно бы уже ушла. Жена - это разновидность общественного мнения, с которым всегда заодно *статус*. Ну какой у Серафимы здесь, в Харпестаде, статус? Статус ссыльного, безродного. В самые темные осенние дни, когда незачем даже и просыпаться, в ней деятельно бурлит недовольство: тот самый гнев, что не считается ни с какой почвой. Гнев *человека без родины*. Гнев проснувшегося: не хотите вставать, черт с вами.

Родина обычно проклиная беглецов, считая их по-прежнему... своими. И самым действенным проклятием остается конечно же безразличие: человек просто куда-то съезжает. И самая далекая, самая безнадежная ссылка, когда он съезжает к *себе*.

В этом своем *состоянии ссылки* Серафима постепенно становится обитаемым островом. В иерархии островов это всего лишь бумажный кораблик, пятно солнечного зайчика, да, нечто *беглое*. Тут неуместны имена, неважен флаг. Остров, на котором обитает тоска ожидания. Ею тут названы все четыре стороны, ею окрашены горизонты. Тоска, подруга гнева. Иногда в эту тоску навевается Кристиан, но он пуглив. Он смотрит из города улыбки на серые, тяжелые волны, и он знает, что там, на другом, невидимом берегу одиночество ткет из прошлого нечто, давно уже вышедшее из моды: *покой*. Не требующий никаких оправданий со стороны суеты, не берущий даже взаймы у *ума*, этот покой есть в сущности... возмущение спокойствия! Страшно, что кто-то вот так, ни в чем не нуждается: кто-то дает себе всё сам. Выплавляет из своего гнева причудливые формы, наполняет эти формы собою.

Это, пожалуй, еще опаснее, чем рисовать потешающие весь мир карикатуры: рисовать свой собственный, в натуральную величину, портрет. Рисовать на пустом совсем листе, на белом, ничем не занятом пространстве одиночества. Откуда берутся эти краски? Откуда

эта уверенность линий и штрихов? Одиночество питается недостатком или полным отсутствием *зависимости* от предлагаемых жизнью путей. Жизнь пробивает туннели и канавы, проторивает тропинки, вешает повсюду указатели и правила дорожного движения. Куда при этом *идет* жизнь, мало кого интересует. Главное, успеть попасть в ногу, не отбиться. И что же может жизнь о тебе подумать, если твои пятки, какими бы мозолистыми они с виду ни были, вдруг отрываются от земли... караул!.. вверх тормашками!.. И к ним, мозолистым, приходит известие: надо мною кое-что есть, мне пока не доступное, но имеющее ко мне отношение, кое-что, *питающее* меня.

С этим "кое-что" у Серафимы несвоевременная связь. Несвоевременное, это презируемое временем излишество роста, всегда таково, что ему позволяют шляться на свободе: оно никому, ну совсем никому не нужно. И Серафима *растет*. Растет без всякого со стороны жизни поощрения или осуждения, без каких-либо признанных жизнью перспектив. И она, Кристиан замечает это, больше не смотрит в его сторону. Плыви куда хочешь под своим парусом!

И хотя город улыбки по-прежнему стоит у воды, и вода, перемешивая волны с дождем, по-прежнему дразнит забывшихся в полете чаек и, укутывая пеной каменные волнорезы, обещает податливому песку всё ту же вечную ласку, здесь нет больше расщепляющей надвое боли разлуки. Этот город стал наконец пустым.

Пустота снимает в единственной комнате Кристиана все четыре угла, подползает к балкону, забивается под крышку "Ямахи". Одни только письма, они упрямо отстаивают свою бумажную значимость, утаивая от пустоты живущие в них, ах, давно уже прожитые дни. Эти безмолвные, требовательные дети двух так и не сошедшихся одиночеств! Кристиан складывает письма в папку, этого требует аккуратность Девы. Иногда, бывает, он *пересчитывает* их, и каждый раз получается больше, чем надо... чем это требуется пустоте. Она пристраивается, пустота, за его широкой спиной, урывает для себя строчку-другую, глотает, давится. Это же нападение на ее, пустоты, священные границы, покушение на целостность ее Ничто! Это раздувание в ее, пустоты, пустотах опасного огня! И лучше поэтому письма не трогать, дать им слежаться и забыться, этой старой, из давно прожитых дней, бумаге. Смешать разноцветность мелко исписанных страниц в один-единственный, белый цвет. Это цвет той самой интеллигентности, что гонит прочь из сердца - ах, это всего лишь абстрактное понятие! - гонит к таким же абстрактным, как и сердце, звездам *сердечную* мудрость. И ведь это она, сердечная мудрость, подсказывает Кристиану, что еще не поздно... Поздно!.. Поздно!.. Еще не поздно умереть, но поздно, кажется, жить.

Но как прогревает сговорившийся с бабьим летом сентябрь! В старом городе вертит мельничные колеса перепаханная утками речка, и можно нестись вместе с ее течением, стоя на деревянном мосту, к спрятанной под плакучими ивами плотине, загадывая на будущее свои новые имена.. Эти имена-рыбы! Они уплывают, не узнанные, прочь, отсвечивая на глубине солнечной чешуей.

По деревянному, шатающемуся над водой мосту в старый город пробирается весть о возвращении. Весть, которую тут вряд ли ждут. Доцветающим возле плетня мальвам важнее полуденное солнечное затишье, раскормленному гусиному семейству важен хлеб. И не дознаться ни у мельника, ни у сапожника, ни у аптекаря, откуда такая весть приходит. В медном чайнике над печкой закипает вода, на сковородке шипит свиное сало, блины окунаются то в сметану, то в черничное варенье... тут всё настоящее! Тут едят белый хлеб только по воскресеньям, сметая со стола в ладонь крошки, и даже богатый, со второго этажа, аптекарь может подтвердить: ждать от жизни особенно нечего. К фонтану посреди замкнутой двухэтажными домами площади спустится откуда-то чайка, на нее будет смотреть сквозь вправленное в свинцовый квадрат зеленоватое стекло подмастерье-подросток, ночующий в мастерской под столом, в кровати-ящике: это его сон о воле. И где-то, может,брякнут часы, обнаружив пропажу времени, и кто-то возле завешенных мешковиной перил вспомнит, что был уже когда-то здесь...

Тут можно, никуда уже не спеша, свести счет с судьбой. И хотя ты вовсе не победитель, и до конечной остановки еще ехать да ехать, можно усадить судьбу рядом и под увитой плющом аркой признаться: вот и нет ничего. Ничего, кроме этих мелких медовых цветочков и гудящих возле них пчел. И судьба справедливо заметит, что это уже кое-что. В этом медовом гудении прячется от слишком расторопного понимания *любовь*.

Любовь, осуществляющая себя куда более надежным способом, чем подверженное сегодняшним "да" и "нет" хотение. Прочь от забрызганных демократическими нечистотами хотений-нехотений! Любовь обретает свой смысл лишь в связи с препятствиями и потерями: нет в ней больше никакой чувственности! Демократическая всеядность растворяет препятствия обилием своей слюны: жижга! Меняющие пол амебы и бесполое жено-мужчины, зачатый в пробирке *продукт* и просто *естественный отброс* бессмысленно плодящейся отсталости, все это хочет равноправия... с кем? В этом ненасытном демократическом хотении есть только одна изнанка: смерть. Дробящая, атомизирующая, механизмирующая. Смерть, подсовывающая *живому* уравнивающий его с мертвецом *единый брачный закон*.

И сколько бы не зазывала демократия на свои кладбищенские пустыри эту редкую птицу, любовь, сколько бы не строила для нее золотых клеток, в ее сетях бьются одни только упыри.

Любовь, эта синяя птица свободы.

Она осторожно спускается откуда-то к круглому, на маленькой площади, фонтану, и стеклодув-подмастерье расцветчивает ее перья фиолетовым и золотым, зеленым и алым, желая дознаться до тайны стекла... ах, эта прозрачность!.. эта вечная игра неровностей!.. В старом стекле живут причудливые образы и формы, живут как нарушители закона, как изменники порядка *числа* и правильности *счета*. Они *живут*, вносимые туда стеклодувом, выдыхаемые им, и в ритме его дыхания и сердцебиения, в смене его внутренних дней и ночей, стеклянная прозрачность наполняется любовью. И хотя он пока только подмастерье, и постель его на полу под столом, он знает, как мастер, наверняка: тайна стекла в нем самом.

Тайна удерживаемой этой прозрачностью любви.

Это всего лишь полустанок, где судьба выходит ненадолго пройтись, туда и обратно. Пока поезд стоит и ждет, пока проводник не свиснул на весь перрон и не поднял флажок, можно прикормить с руки эту синюю птицу... ах, она уже в воздухе!

Над стеклодувной мастерской дремлет холодная, с окнами на север, гостиная. Кристиан поднимается по скрипучей деревянной лестнице, осматривается. Так много тут картин, и не все они старые. Окна здесь, под самой крышей, приплюснутые и широкие, с цветными стеклами в свинцовых квадратах, и света едва хватает, чтобы разглядеть на противоположной стене, в четырехугольном зеркале, свое отражение. Кристиан, впрочем, и не присматривается, просто стоит возле одной из картин и думает. Эта картина застала его врасплох, и она тут явно чужая, среди парадных и просто так, портретов. Скорее всего, ее определили в этот затемненный угол из-за нехватки места, и она тут прижилась. Кристиан смотрит и думает, и складывается в его мыслях сама собой издевательская карикатура: два идиота идут куда-то на лыжах, одетые как викинги. Один из них - это, бесспорно, он сам, только намного... гм, моложе... а по сути лет этак на тысячу старше. Это почти буквальное сходство вызывает у Кристиана легкое головокружение, словно его самого кто-то поставил в данный момент на лыжи... ну, давай! Он подходит к картине с одной стороны, с другой, садится на пол, едет задом к окну, но сходство никуда не девается. В этой ласковости бабьего лета, в этой холодной, с окнами на север, гостиной.

... Они идут на лыжах, разрезая глубокие сугробы, скользя по замерзшим ручьям, съезжая вместе с ветром с пылящих снегом откосов, идут до темноты, думая скорее о голоде, чем об опасности. В этих безлюдных, волчьих местах надежны лишь выбираемые голодом пути, верен лишь неустанный бег и запах крови. Йостайн первый это почувал: за ними крадется, держась на расстоянии, зверь. Он прячется, таится, он осторожен, и, само

собой, голоден. Чей голод, человеческий или звериный, сильнее? Подняв копьё, Йостайн сворачивает с лыжни, продирается сквозь кустарник, и с каждым шагом ему все слышнее и слышнее: там! Там, в снегу, колотится сердце затаившегося зверя. Или это сердце самого Йостайна? Он спросит у Бога ветра, Бога снежной бури и обледенелых камней, все ли в нем, бегущем по лесу на лыжах, от зверя? Пока морозный воздух не рассекла еще тяжесть копьё, Йостайн должен одолеть этот голод: пусть гибкое тело росомахи несется, взметая снежное облако, в заваленную валунами чашу... эй!.. эй!.. Страх, любопытство, настырность. Росомаха придет снова, Йостайн это знает, и он будет бодрствовать ночью. А утром, когда они будут уже далеко, зверь подберет выброшенные в снег кости. Эй!.. Навстречу ему идет по лыжне ребенок, волоча по снегу полы мехового плаща, присаживается. И Йостайн тоже, глядя на него, справляет нужду, и в этом есть что-то товарищеское, взаимное. Он смотрит, как ребенок утирается между ног краем длинной рубашки, как делают обычно девчонки, и это приводит его в замешательство: мальчик?.. девочка?.. Застегнув кожаные штаны, Йостайн подходит поближе, втыкает в снег копьё.

- Как тебя, мошка, зовут?

Втянув невымытые руки в меховые рукава и сунув их под мышки, ребенок смеется и кашляет, в синих глазах на бледном лице расцветает удивление.

- Откуда ты знаешь, что я Кнотт? Только мама зовет меня так.

- Я подслушал это, - чувствуя жар под шерстяной фуфайкой, переходит на шепот Йостайн, - подслушал это у ветра, у пробегающей мимо росомахи. Ты Кнотт, Мошка.

- Когда я вырасту, - облизывая обветренную, растрескавшуюся губу, также шепотом отвечает ребенок, - я женюсь на тебе!

Не будь у Йостайна под рукой копьё, он бы тут же упал от изумления в снег: кто хочет на нем *жениться*? Он помнит злые шутки Торфинна Ужа, потешавшие людей на тинге, и по спине у него бегут, как струйки ледяной воды, мурашки замешательства: мальчик?.. девочка?.. Он не насиловал, как другие, взятых в плен женщин, и ни одна девушка не сорвала еще поцелуй с его заросших светлой бородой губ. Одна только волчица Ильд, охраняющая старого Амунда, и чует в нем нежность, и она поэтому подползает к нему на брюхе, переворачивается на спину, дает гладить черные среди жесткого меха соски. Эта содержащаяся в величайшем секрете нежность! Никто не должен ничего об этом знать. Жизнь не так уж длинна, чтобы красть у нее последнее: верное тебе до конца одиночество. Только оно, одиночество, и собирает мёд любви: собирает бескорыстно, не для себя.

Может быть, для мошки Кнотта.

Йостайн будет бодрствовать всю ночь, прислушиваясь к крадущимся шагам росомахи, прислушиваясь к дыханию, сопению и кашлю ребенка, спящего под боком у Гюннульфа. И это все, что способна дать ему его влюбленность: только прислушиваться, только видеть в сумерках облако снежной пыли...

- В наших краях такие слова говорят только мужчины, - жарко дыша в обледенелую бороду, отвечает наконец Йостайн, - И если ты, Кнотт... - он снова переходит на шепот, - ... если ты все-таки женщина, тебе следовало бы помалкивать!

В синих глазах ребенка вспыхивает сердитое недовольство.

- Я есть я и ты мне не указ! Ярл Тригве определил меня жить в чулане, а моего брата взял к себе в дом, но я сильнее моего брата, и когда я вернусь обратно, я разрублю ярла Тригве пополам!

Изумленно глянув на Кнотта, Йостайн только качает головой и тут же принимается смеяться, запрокинув заросшую светлыми кудрями голову. Он научит Кнотта держать меч, пусть только подрастет. Ведь только среди лязга оружия и плодоносит любовь!

- Теперь я вижу, что ты мужчина, - почтительно отступая на шаг, говорит он ребенку, - Ты, Кнотт!

- Пойдем, - замерзая на лыжне, пищит Кнотт и тащит Йостайна за руку, и оба возвращаются к Гюннульфу.

Тот слышал, конечно, их шепот. Он ведь слышит гораздо более тихие голоса, идущие из земли, сплетающиеся с ветром, растворяющиеся в журчании горной речки. Он слышит их мудрость, и она дорого стоит, и одному, может, ему и есть, чем за это платить.

Гюннульф разжег костер и греет в кожаном мешке воду. Свежие сосновые лапы накрыты овечьей шкурой, на углях дымится мясо косули. За весь долгий путь он не сказал Йостайну ни слова, он только шел и шел с ребенком на руках, думая должно быть о Сигню. Жива ли она? Он знает, но молчит, Гюннульф Скальд. Он знает больше, чем может вынести арфа.

- Тебе не мешало бы смыть сопли перед тем как явиться к Амунду, - говорит он топчущемуся на снегу ребенку, - Когда тебя в последний раз купали? Становись тут, возле костра, тут жарко, как в бане!

Кнотт тут же сбрасывает в снег меховой плащ, снимает пропахшую дымом и мочой льняную рубашку. Тут в самом деле жарко. Сосновая хвоя колет босые пятки, дым лезет в глаза, огонь то и дело выплевывает уносящиеся в темноту искры. Кнотт не прочь пробежать босиком по снегу, повалиться нагишом в сугроб... Эта замерзающая, покрытая мурашками нагота! Возле костра, в рыжих отсветах пламени на синеющем в сумерках снегу, расцветает чудесное, как выдумка тролля, тело молодой женщины!

Они должно быть оба слишком устали, и теперь это им мерещится... да их просто провели, растерли, как труху, между пальцев! Сигню подсунула им вместо мальчишки... девчонку! С чем они придут теперь к Амунду?

Переглянувшись, оба прячут в бородах растерянную улыбку. А хороша ведь! Гюннульф едва справляется с раздувающим его восхищением: это его дочь! Это он дал ей такую белую кожу, и синева глаз тоже его, и рыжеватый отблеск русых волос... он дал ей все это в ту белую полночь возле горной реки.

- Кнотт, - говорит он, черпая деревянной кружкой воду, - ты ведь моя дочь.

Он трёт снегом ее давно немые ладони и ступни, смывает с лица копоть и пыль, окатывает водой прямо из мешка, от подмышек до ягодич. Потом вытирает ребенка насухо, закутывает в плащ. Здесь, на снегу, под звездами, здесь обнимает его наконец-то узнанная судьба.

... Кристиан по-прежнему сидит на полу, уставясь на картину. Первой, самой требовательной его мыслью была мысль о краже: кто-то воспользовался его внешностью, придав ей куда более мужественный, чем на самом деле, вид. Кто-то подсмотрел его скрытое, не предназначенное для других, существо. Кто-то разглядел его тайну!

Рисую много лет карикатуры, Кристиан рисует и самого себя, и даже голым. Но чтобы кто-то другой... чтобы так правдиво! Это ведь в самом деле его походка, его наклон головы, его твердокаменная решимость и упрямая воля. Имя Гейра Сивертсена, написавшего картину, ничего ему не говорит, он никогда о нем не слышал. И то, что картина написана совсем недавно, чрезвычайно Кристиана озадачивает: кто мог вступить с ним, без его ведома, в такую близкую связь? Конечно, есть похожие друг на друга люди, не знающие ничего друг о друге двойники, но дело тут не только во внешнем сходстве: здесь схвачена его, Кристиана, подлинность.

Он не хочет, чтобы эту картину увидела Серафима. Пусть это останется его раздраженностью и досадой, его разоблачением, и пусть никто!.. ничего!.. никогда!.. Но Серафима поднимается уже по скрипучей лестнице, идет мимо приплюснутых окон, останавливается... как раз напротив, ах! Она это видит... видит!

- У Хельге тоже есть такая картина, и он уверен, что это он сам, с топором в руке, а тот, что с копьём... - она оборачивается к понуро сидящему на полу Кристиану, - ... того я зову Кристианом!

Кристиан настороженно слушает. Жаль, что Серафима все это разглядела. И надо сейчас, да, немедленно, придумать хитрый шахматный ход, увести это впечатление в тень, в темноту, загнать в угол.

- Как ты думаешь, - поднявшись с пола и став рядом с Серафимой, вкрадчиво начинает он, - этот ребенок, спрятанный за щитом, девочка или мальчик?

Он рад своей находчивости, как рад школьный учитель математики, придумавший вопрос на засыпку, и

он уверен, что Серафима ошибется. Он хочет, чтобы она ошиблась!

Она подходит ближе, почти вплотную к полотну, словно желая проникнуть в запечатленный художником миг: пурга, развеваемые ветром белокурые космы под шлемом, проткнувшее встречный ветер копьё, зажатый в руке топор, и в самом центре, в затишьи, в точке равновесия, светится синевой этот детский взгляд, это обещание когда-нибудь вернуться домой...

- Я думаю, - неуверенно начинает она, - что это мальчик...

- Да, да, - горячо подхватывает Кристиан, - Это мальчик! Конечно, мальчик! И он мне очень, очень нравится!

Внезапно на него накатывает страх: он проболтался, выдал себя! Его дрожащие пальцы нервно теребят рот, лицо покрывается красными пятнами. И некуда ему это свое лицо деть, и он закрывает его руками.

- Ведь это... - озабоченно продолжает Серафима, - ... это я.

Кристиан порывисто хватается за руку.

- Нет! Не говори это! Не говори... нет, я знаю! - он обнимает ее за плечи, - Я знаю, что это ты!

И она, обняв его за талию, прикладывает ухо к его ребрам, слушает мощные удары пульса. Она вернулась наконец домой.

- Ты вернулась к новым в жизни невозможностям, - сбивчиво шепчет он, неуклюже глядя ее по спине, - Ты, Серафима, ты...

Они стоят обнявшись в скупо освещенной гостиной, и на маленькой площади с фонтаном неспешно бьет колокол: бум-дзинь-дзинь... По мостовой грохочет тележка молочника, и точильщик кричит зычным голосом: " Точи-и-и-им ножи-ножницы!", и расстроенные клавикорды гнусавет под рукой старого аптекаря: " ... все прошло, все!..", и сытые гуси у мельницы счастливо галдят о куда-то не уходящем лете...

Цветное, в свинцовой оправе, стекло просвечивается послеполуденным солнцем, зелено-алое-фиолетовое, и стеклодув-подмастерье добавляет к его прозрачности тонкую золотую пыль.

17

Если не ждать никаких вестей, они и не придут, застрянут где-нибудь по пути в висящем над полем тумане. Одни только косули, может, и поинтересуются, прохаживаясь на рассвете среди овса: не стара ли эта новость? Вот и на тебя наконец нашелся охотник.

Эта весть как нельзя некстати: она клянчит у Серафимы *время*. И время, считая себя лучшим лекарем, само выходит этой вести навстречу: показывай, что там у тебя. А там... работа.

Волк, оказавшись он на месте этой работы, немедленно удалился бы в лес, где есть, по крайней мере, запах дичи, запах свободы. Но работа, нет, она не волк, и ей поэтому *сидится*. Даже если по ногам сквозняки, а в стуле гвозди.

Серафиму на эту работу зовут, хотя обычно бывает наоборот: зовешь ты сам, но дозваться не можешь. Серафиму зовут сидеть на стуле перед "Бекштейном". Да, перед товарищем Бекштейном.

В этом нет ничего удивительного, когда тебя кто-то отыскивает в лесу: на каждом дереве тут метка. На каждой ели, на каждой березе, на каждом моховом, с черникой, пне стоит указатель: туда. Куда же еще.

Серафима ждет эту весть уже три года, и вот... пора собираться. Товарищ Бекштейн мерзнет и голодает, и нет у него, трехногого, иных перспектив к выживанию, кроме как

отдаться... отдаться всеми своими струнами и колками, всем своим хорошо темперированным строем. Да, но кому?

К Бекштейну присаживается в школе имени Доктора каждый, у кого есть зад, и намерение у всех одно и то же: изнасиловать. Вслепую и безнаказанно. И он, трехногий, пожалуй, лягнул бы играющего на нем. Но как при этом устоять?.. как не рухнуть всем своим хорошо темперированным строем на затертый копытами паркет? Бывает, к роялю присаживается настройщик Аластер и долго сидит, наводя самого себя на мысль... но мысль торопится улизнуть в учительскую, в бубнящее, чайно-кофейное "как дела-дела-дела", и сами эти "как дела" караулят под лестницей, ведущей наверх, в библиотеку, безработного в этой школе Доктора... в этой, имени Доктора, школе. Эти деловитые "как дела" прицениваются к квадратуре занимаемого Доктором места, прицениваются к крутизне библиотечной лестницы, и деловитость подсказывает делу, что задача о присутствии *искомого* неразрешима.

С нею, неразрешимой, билось не одно поколение учителей и *специальных педагогов*, гордых приспособить даже мычащего идиота к достойной, с педагогической точки зрения, жизни. И приспособившийся, бывает, оказывается благодарным своим учителям и сам становится... учителем, и учит, учит... учит таких же, как и он сам, идиотов. Настройщик Аластер никогда с кем попало на лестнице не сталкивается, а тем более, с давно уже умершим, как тут считают, Доктором. Сами то они, "так считающие", все еще живы, все еще, что-то вытворяя, *творят*, и впереди у них сносная пенсия. Они улыбки и благодушны, и если им и есть на что жаловаться, так это на погоду: она несколько прохладна, пожалуй, сыровата. И если педагогика, а тем более, специальная педагогика, хочет указать на погоду пальцем, да, ткнуть ей прямо в рожу, то палец метит в стоящий на холодильнике у входа в учительскую портрет: смахивающий на школьного советника Трулса, с артистическим антропософским бантом, портрет *свиньи*. И поскольку сходство с Трулсом просто ужасающее, входящий-выходящий старается на свинью не смотреть, не косить на нее педагогическим взглядом. Школьный советник Трулс сам за этим портретом присматривает: поправляет научный прищур, потуже затягивает расслабившийся антропософский бант... да, следит. Ведь, согласно школьной методике, это портрет Доктора! И все с этой методикой, конечно, согласны. И мнение Доктора об этом портрете никого не интересует, поскольку тот давно уже умер.

Но вот наконец-то настройщик Аластер навел самого себя на мысль! Напал, как с ним бывало уже не раз, на след своего в школе имени Доктора присутствия. Ах, школа, школа! Кого она только не зазывает! Сюда летит, не чуя под собой ни хоботка, ни жала, всякий жужжащий люд, и все жужжат вразнобой и в лад о *мёде антропософии*, о сладости черной икры, засоленной в свинцовых, на случай всемирной радиации, гробах. Одному только Доктору мед этот горек, но его никто не спрашивает, он давно умер.

Настройщику Аластеру незачем напоминать всем остальным о том, что имя его пишется с большой буквы: Настройщик Аластер. Все и так это знают: ведь это он чуть было не настроил пианино английской королеве. Это он, Аластер, чуть было не обучил английскую королеву на этом пианино играть! Но главное, само это пианино переселилось в королевские *нумера* прямо с фабрики, где в качестве пролетариата суетилось не одно поколение Аластеров. Правда, и настройщик Аластер в этом никогда не признается, на фабрике клепали вовсе не пианино-рояли, а... гробы. Гроб, в отличие от рояля, нужен ведь каждому. Даже королева, будучи в доску английской, так считает. Аластер помнит, хотя память ему то и дело изменяет, содержание своей с королевой беседы: про то и про это. Старуха держалась стойко, видимо, привыкнув иметь дело с придурками, хотя нога ее в бархатной королевской туфле отчаянно жала на педаль сигнализации: на помощь!.. караул!.. И дело было к тому же ночью, и к тому же в ее собственной, с видом на окружающее государство, спальне. Вор, извращенец, сумасшедший! Никто не остановил его возле ворот, никто не придрался к нему в саду, никто не учуял его мышинных шагов по ковру... и вот он в спальне! Он прихватил с собой

только каталог фабричной продукции, с подробным описанием тех удобств, которые предоставляются лежащему посмертно. Ах, как интересно! И почему же это? Что?.. Бесплатно?.. Для *Нас*?.. Да, для Вас бесплатно. И не надо так истерично жать на педаль, охранник лежит в данный момент с Вашей служанкой.

Аластер пробыл в спальне королевы ровно столько, сколько позволяло ему врожденное чувство приличия. Он не лишил ее девственности, не украл забытые служанкой чулки, не придушил подушкой выверенную поколениями скуку. Он только предложил ей... *сыграть*. Ах, память ему изменяет...

Газета "Харпестада бляд" первой обнаружила эту новость: здесь, в Харпестаде, между еловым лесом и ячменным полем, на виду у рассеявшихся на валунах чаек, в соседстве с лисьей норой и барсучьим следом, назло брачному реву лосей и грохоту шибящих о скалы волн, здесь вот-вот грянет массовое производство гробов-роялей. Главное, для этого есть рабочие руки: загребастые лапы вывезенных из Зимбабве, Сомали, Эфиопии, Нигерии, Конго *искателей убежища*. У них нет ни имен, ни паспортов, есть только статус *человеческой саранчи*. Их можно принять, впрочем, за людей: столько в них хотения и возмущения. Они хотят того, хотят другого, хотят всего. Или, наоборот, не хотят. Хотят *равноценности* человекообразия с человеком. Их любимое слово: *респект*, и самые удачливые из них становятся таксистами в Осло.

На мусорной свалке в Харпестаде можно пройтись вдоль оконного и дверного ряда, постоять возле разинувших ржавые пасти чугунных печей, свернуть на кладбище унитазов, продраться сквозь строй холодильников и стиральных машин, ввалиться в антикварную неразбериху кастрюль и цветочных горшков и, наконец... о музы!.. о судьба!.. стукнуться лбом об угол перевернутого вверх ногами рояля. Он лежит тут, должно быть, со времен второй мировой войны, напрасно призывая в свидетели Моцарта, и будет лежать тут до тех пор, пока у него не донируют годные для всяких поделок органы: клавиатуру, педали, деку, струны... да и сам ящик. В соседнем помещении налажен конвейер: негры жуют кхат, вызывают по очереди зомбированного прадедушку, варят бобы с манной кашей, жуют... По конвейеру гуляют хорошие вести: завтра, а может, уже сегодня, уже сейчас негром сможет стать каждый! Делай, как все! Даешь первый в человеческой истории зимбабвийский рояль!

Наливая себе в учительской кипяток из круглосуточно гудящего пластмассового чайника, Аластер смотрит на ходящие по полу ноги: они тут в основном женские. Эти учительские ноги! Наступив на одну из них, слышишь визг всей учительской. Тут всё, от каблука до шпильки в седых завитушках, *общее*. Так же как и выражение лиц: прочная, без отмычек, тюремная решетка. Попробуй-ка чему-нибудь учителя научить!

К каждой паре учительских ног прилагается голова, иногда даже несколько, как у школьного советника Трулса, и с этой головоногостью приходится считаться, как с дождливой, например, погодой. Большинство голов, впрочем, давно уже отморожено *беспредметностью* угнездившихся в черепушке предметов, и если дать слово физике, то окажется, что красный цвет потому и красен, что жрет остальные цвета, а отражает только красное... и учитель потому так и умен, что питается всякой глупостью, но выблевывает непременно что-то умное.

Но это, стоп!.. это ноги ректора Тины. Выверенный высотой должности шаг, *кабинетная* походка. Тина дышит приказами, греется протоколами, прохлаждается, бывает, обещаниями. Это для ее ног Аластер сочинил "Национальный праздничный марш", и слова в этом марше такие: "Больше того же самого!" Впрочем, к маршу подходят и слова "Интернационала": "Весь мир голодных и рабов!" Национальное прет, короче, в интернациональное, только успевай попадать в ногу, впопыхах проталкиваясь через вертушку *общих настроений*, впопыхах кивая антропософскому, на портрете, банту: "Знаем, знаем..." Портрет подмигивает ректору Тине глазом советника Трулса, и то, чего становится все больше и больше, гремит в мочной учительской машине: "Мы-ы-ы-ыло!"

Наблюдая за перемещением ног, Аластер натывается пресыщенным взглядом на поношенные туристские ботинки: Серафима? Она приходит сюда, чтобы попасть в такт скачущему, топающему, шаркающему. Правда, с нею приходит то Шуберт, то Гайдн, но делу нет до них никакого дела. Дело топчется по затертому паркету, клянчит у вспотевших под дезодорантом подмышек: "Больше, еще больше... Больше пота, больше усердия... больше *национального Интернационала!*"

Выше этих поношенных туристских ботинок смотреть не стоит: ничего *типичного*, располагающего к знакомству. Правда, есть еще руки, но они *не наши*, да, *некультурные* такие руки, приспособленные знаться только с товарищем Бекштейном. Здесь, в школе имени Доктора, неприлично даже и дышать-то в одиночку, но только: мы-ы-ы-ых... дышать, замыыхавшись... Чем дышит Серафима?

Это Аластер как раз и собирается выяснить. И он смотрит на нее в упор, не отводя взгляда, не здороваясь, не кивая, смотрит день за днем, месяцами... Так смотрит чистокровный английский иезуит на только что севшую к нему на рукав капустницу: кто дает ей эту свободу? "Насекомое! - с отвращением думает иезуит, - Однодневка!" Сам он живет долгую жизнь, хотя и не летает. И он запретил бы, если мог, *состояние полета*.

Но Серафима кивает ему, и всякий раз в мыслях Аластера происходит нечто возмутительное: словно туда впускают молнию, этакое *пламенное воодушевление*, нисколько не считающееся с рутинной приличий. И сколько потом не советуйся со школьным советником Трулсом, сколько не хвали грохочущий зимбабвийский рояль, в мыслях нет-нет да и кольнет: "Бросим все это и... улетим!"

Нахмутив блеклые, в завитушках, брови, Аластер пропихивает спотыкающийся о ноги взгляд к ступеням круто взмывающей на второй этаж лестницы, гонит взгляд дальше, наверх... но нет, Серафима уже в библиотеке. Вот и на этот раз она ушла от Аластера живой!

Вернув взгляд обратно к учительским ногам, Аластер привычно обметает им ректорские шпильки: двенадцать сантиметров дополнительной высоты. Его нюх, профессиональный нюх настройщика, привычно обостряется, и окажись у него сзади хвост, он тут же завилал бы им... вот так! Служебное, должностное виляние, оно же слюноотделение, есть первый критерий профессионализма. Критерий номер два есть мертвая хватка с замком. И Тина не была бы ректором, не обладай она еще и третьим критерием: *относительностью правдоискания*. Нет такого среди профессионалов профессионала, который бы *не преступил* слышимое изнутри. И к этому искусству *преступления* нужно приобщать радивых и нерадивых, продавливая *школьную массу* сквозь сито проходного балла. Вон сколько их, проходящих!

Кивнув мимоходом своему отражению на гладкой, как ректорский приказ, лысине Аластера, ректор Тина считает в уме ползущие следом за ней комплименты: "Ваш высокий каблук... Ваша эвритмическая походка..." Она тут, Тина, не просто верховная жрица педсовета, не просто сытая среди голодных мышей крыса. Она заведует в школе имени Доктора *педагогическими мистериями*, и это к ней едут советоваться другие заведующие из других имени Доктора школ. На рождество и на пасху Тина едет, презрев расстояния, в Дорнах: поднабраться и заправиться. И куда там, в Доме Доктора, идет вовсю перестройка с выносом ненужного, Тине охотно подскажут: где, как и зачем. Зачем, например, экономить валюту на себе самом, когда для этого есть *простые* члены общества? И это, согласитесь, совсем не просто. Тину зовут в недоставшийся Доктору особняк, и она спешит по ковровой, прямо от Гетеанума, дорожке, спешит поздравить владельца: "Благодаря Вам! Благодаря! Благодаря! Нам теперь и не надо читать этого..." Имя Доктора она не выговаривает, не поворачивается язык. И владелец дома снисходительно ей это прощает: он уж как-нибудь, из благородных побуждений, дотащит антропософию до... наспех вырытой могилки. Хотите взглянуть? Вон там, на замусоренном пустыре: туда свозят разный строительный хлам, доски, имена, кости... прах! Тина идет на экскурсию, хвалит образцовый порядок: тут йога, там

гомосексуальный семинар, а вот тут, смотрите, ничего пока нет... тут мы поседем травку, для будущих поколений.

Говорить о будущих поколениях, лучший для языка массаж. С языка капает педагогическая слюна, срываются порой методические *выражения*, и нет для будущего лучшей перспективы, чем пенсионная касса, и надо поэтому уже сейчас, пока еще не родившись, отчислять-отчислять-отчислять. И в случае, если кто-то так и не родится, отчислять надо от будущих к рождению способностей, и пусть родители пока имеют между собой *хороший секс*, способствующий росту производительности труда.

В кабинете ректора Тины вот уже который год плетется статистическая сеть: сколько, чего и почему. Сколько, к примеру, съедено в Национальный день красно-сине-белых марципановых тортов, сколько починено в столярной мастерской табуреток, сколько вставших в сексуальный транс подростков поменяло за время учебы пол, заодно озадачив хирургов готовностью этот пол себе обратно вернуть... И пока ректор Тина считает, татуированные пятнадцатилетние лесбы отпиливают себе груди и пишут поперек недавно затянувшихся шрамов: "Ну чем я не мужчина!" И самые мужественные из них пишут о себе романы.

В статистическую сеть попадает порой и сам учитель и...ах! Как похож один учитель на другого! Легче отыскать в инкубаторе гадкого утенка, чем выловить в учительской *похожего на самого себя*. Не будь Аластер, в отличие от других, чистокровным англичанином, кто бы его, Аластера, заметил... даже наступающего всем на ноги. Sorry, sorry. Чистокровный англичанин, даже оказавшись он насаженной на палку метлой, никогда не покажет своих *истинных* чувств: их у него попросту нет. Вот где истинная школа. "Школа качества", - подсказывает статистика.

На самом вершине, под толстыми балками крыши, устроена библиотека: сядь на диван, вытяни ноги, зажмурь глаза. Глаза надо зажмурить для того, чтобы прочесть что-то кроме атакующих тебя букв и слов. Но рядом с тобой немедленно усаживается учительствующий *демон слова* и принимается нудно вбивать тебе в голову методические гвозди: это, это... и это! Демон не молод, прожорлив и опытен. Он согласится, пожалуй, с тем, что книги должны тут, на полках, стоять, но чтобы они что-то кому-то говорили... нет! Книжки должны *украшать* помещение, смягчать что-ли акустику, чтобы не слишком аукалось. Впрочем, тут давно уже никто никого не зовет. Тут просто сидят, вытянув на ковер ноги. Но если зажмурить глаза, если... ах, кто же это себе может позволить! Зажмуренный глаз хитрит и что-то в *себе* скрывает, этот прочно сидящий в глазнице Космос, и стоит только присмотреться... Не ты ли это сам? Сквозь небытие бумаги и типографской краски к тебе тянутся самые величественные из обитающих здесь слов: любовь, истина... и ты киваешь им, узнавая: я - любовь, я - истина!

Но что же демон слова? Он стирает эти слова, замусоливает их до неузнаваемости указательным методическим пальцем. Одни только буквы, они держат еще оборону, в их угловатости и кривизне всё еще угадываются очертания жизни... Эти готические заглавные.

Скрываясь в библиотеке от воплей насилуемого учениками Бекштейна, Серафима слышит здесь, среди книг, другое: так звучало когда-то принадлежавшее Доктору время. Время доверительности истины. Эти скупые, бедные издания, этот дух бескорыстия. Никто эти книги здесь не читает, их просто перевозят с места на место, переваливают с полки на полку. Иногда их используют в качестве пресса для склеивания цветных новогодних листов и прочих бумажных поделок, в остальном же им никакого применения нет. Им бы, книгам, замерзнуть тут, обледенеть, пока предприимчивый демон слова водит пальцем по рассыпающимся в прах строкам. Но что-то в этих книгах томится и ждет, никем еще не узнанное. Да это же она, слоняющаяся по школьным и университетским коридорам, по продуваемым сквозняками пустырям, бездомная сиротка-истина!

С нею, бездомной и безродной, можно здесь втихомолку встречаться и, не назначая следующей встречи, ждать... ждать и пропитываться медом. Ждать и прорасти всеми своими пустырями, всеми заброшенными чердаками и башнями, подземельями и подвалами: тепло!.. свет!.. цвет!..

Школьный советник Трулс садится на другой, напротив Серафимы, диван, вытягивает, насколько позволяют служебные полномочия, шею. Полномочий у Трулса достаточно, только успевай ими пользоваться. Но даже и не использованные, они таскаются за ним повсюду как липкая тень, как насморк, грипп и детская ветрянка. И ни одно из этих полномочий не раздается так в ширь и в высоту, как зудящая возбужденность алчущего, рыщущего любопытства. Наблюдая сразу за всеми, выковыривая заочкаренным взглядом готовую улику, Трулс готов подсмотреть даже за впорхнувшей в учительскую бабочкой, и много мух, не вынося придирчивости его взгляда, бьется поэтому головой о стекло... Охватить панораму учительской, поймать налету чужозаветное, вымести из углов *всякое!* Не будь тут советника Трулса, кто стал бы назначать цену усердию и лени, отчужденности и подхалимству? Школьный советник, оказавшись он извлеченным из кое-как упакованного в *приличные тряпки* тела, немедленно предстал бы перед болтливой учительской в виде... шипящего змеиного клубка! Каких только *гадов*, чешуйчатых, сверкающих, пятнистых, тут нет! И все они, от самого толстого удава до тонюсенькой гадючки, шипят друг другу в глаза, шипят об *интеллигентности*. Эта школьная методическая интеллигентность, этот ревуший на стальных рельсах локомотив! Она, если надо, поотрезает интеллигентным змеям их шипящие головы, совет из их податливых тел веревки. От имени математики и всей ее сводной братвы, физики-химии-биологии, школьная интеллигентность плетёт... да что она, в самом деле, плетёт?.. плетёт большую ловчую сеть. Сеть, загребаящую без разбора живое и мертвое. Мертвое, впрочем, тут же усаживается на место живого, втискиваясь в самые прихотливые витые раковины, и ползет, ползет... ползет раком, да, задом наперед.

Едва не вывихнув вдетую в кишку свитера шею, Трулс дотягивается наконец до заглавной готической буквы, цепляется за самую крутую завитушку, тянет на себя, потеет. И Серафима, видя это, не спешит захлопнуть книгу. Ей жарко дышит в затылок запыхавшийся, отчаявшийся демон слова, ему не в мочь сдерживать напор содержания, его вечный демонический лед разломан буйством вешней воды: потоп! Потоп в этой маленькой библиотеке, возле этой, с книгами Доктора, полки. И все заглавные буквы-буквицы, задевая Трулса то завитушкой, то острой пикой, несутся птицами и парусниками за пределы времени и пространства... Куда?.. Как?.. Зачем?..

- Тебе, хе-хе, это интересно? Интересно-интересно. Откуда у тебя *такие* интересы?

Косящий под колесами-очками взгляд Трулса нервозно подбирается к непрошенной на этом диване, возле этих книжных полок *отчужденности*, к самому ее краю, но дальше... дальше никакого хода нет: мост разведен, течение опасно. Не бросаться же Трулсу в плавь.

- Я вижу, - ловко сбрасывая очки на кончик носа, продолжает Трулс, - что ты избегаешь социальности, общения, и это... - он наклоняется к Серафиме через столик, - ... это ведь начало болезни! В школе, в соседстве с учительской, ничего подобного не может и не должно происходить, и мы будем противиться этому, пока...

- ... пока не стерлись копыта, пока не притупились рога.

Очки-колеса наезжают на смявшийся в морщинах лоб, глаз сигналил из орбиты тиком азбуки Морзе: "Враг-враг-враг!!!" И нет поблизости никого, кому школьный советник Трулс мог бы немедленно дать совет... ни одной поблизости жертвы! Не станешь же вразумлять эти глазающие на тебя с полок книги. Кстати, не следовало бы вообще эти *сочинения* Доктора издавать: мало ли что, вдруг кто-то... поймет. Вдруг кто-то... а кто?.. кто??? Серафима!!!

Трулсу едва не стало от этой догадки плохо, а было ведь так хорошо. И все его, какие он только не надавал, советы могут разом подтвердить: было комфортно и сытно. Было

нормально: никто ни в какого Доктора, а тем более, в его сочинения, не верил. Верили в повышение зарплаты. Верили в конец учебного года.

- Видишь эту танцующую в воздухе букву? - кивает налево Серафима, - И эту? - она кивает направо, - Эти великолепные S, норовящие стать восьмеркой и лемниской! Разве не переманивают они с одноколеек и накатанных путей бездорожно слоняющуюся по жизни истину?

- Хе-хе, - коротко хмыкает Трулс, - это ты о чем? Если ты имеешь в виду букву алфавита, то здесь важен только алфавитный порядок. Сама же по себе буква не более чем завитушка, абстракция...

- ... завязанный бантом галстук на шее мертвеца, - кивает Серафима, - галантерея.

- Хе-хе.

- Слышишь, как разрезает застоявшийся воздух свистящая стрела? SSS!!! В своем полете к цели стрела не считается с правилами дорожного движения, она не огибает препятствия, но пробивает их насквозь. И тому, кто ее пустил, должно быть очевидно, что цель эта никакая не выдумка.

- Я вижу, ты сидишь в лесу и занимаешься самопознанием, - сочувственно и брезгливо заключает Трулс, - Это опасная блажь.

- Об этом и говорить-то стыдно в наших *учебных* заведениях, - добавляет Серафима, - И в ваших, кстати, тоже. В наших заведениях суется день с ночью, элитарной породы крысы, в ваших - набитые крысоловом чучела, и если говорить о *деле*, то оно давно уже в руках деловитого черта. Черт шагает в учительскую, хлещет оплачиваемый родителями кофе, жует резиновые бутерброды, *погружается* в отчеты. В отчетах тягучая, как английская скука, *путеводная резина*.

- Это ты о чем?

Внизу, на посыпанной гравием площадке, звонит висящий между двух столбов колокол: дон-дон-дон... Ему положено дробить школьное время на поддающиеся счету сорокапятиминутки, и только раз звонил он о пожаре. Он клянчит теперь, дон-дон, перерыв, стараясь перекричать круглосуточно рычащую кофеварку, и голоса в учительской становятся явственнее, и среди них деловитый голос черта.

Хорошо, что у черта есть имя, Линдси, иначе его перепутали бы с несгораемым, под вешалкой, шкафом. В шкафу бумаги, аттестаты, квитанции... ну, деньги. Линдси принимает, увольняет, исключает, сокращает и, кроме того, знает лучше самого Аластера, *почему* рояли расстраиваются. Почему?

Линдси прибыла в школу имени Доктора с английской свинофермы. И хотя свиньи там сплошь комнатные, диванные, слово "бекон" ассоциируется у каждой из них не с мусульманствующим на философских просторах сэром Френсисом, но... с обыкновенным салом. Как не помечтать, расположась среди подушек, о свинских перед человечеством заслугах! Вот ведь и сэр Френсис, в прошлой своей жизни распорядившийся при дворе Гарун аль Рашида, стал в конце концов Бэконом! Стал великим рационалистом, слава Аллаху. Спроси сегодняшнего философа, что есть суть ислама, и ему подскажет с дивана хряк: свиное сало.

Сало заводится от трудолюбия: жри всё, что хоть немного пахнет деньгами. Деньгами пахнет ставка и еще полставки и еще маленькие четверть ставки и еще, конечно, левые... Свинья как правило *дистанцируется*, ах, этот английский акцент, от подобного свинства: от потери у всех на виду веса. Вес Линдси, это еще и *художественный* вкус, а также мастерство *обыгрывания*. И все, какие есть в школе музыкальные инструменты, включая товарища Бекштейна, угождают, как могут, великому британскому Бриттену, снисходительно улыбающемуся крошке Моцарту. Сколько ног топало по школе под этот бриттеновский марш! Им можно удовлетворить сполна самосознание английского иезуита, включая и прихоти сэра Френсиса. Под этот марш хорошо прибавляют в весе свиньи.

Даже становясь беконом, свинья не теряет своего свинского достоинства: вес, согласитесь, и есть суть всего, по земле шастающего. Или у вас есть какая-то иная суть? Нет?! Линдси ни разу в жизни не усомнилась в том, что ее собственный вес есть бесспорный, безоговорочный, бессрочный критерий... ах, не смущайтесь, критерий истины. Пихать, наваливаться, давить, а главное, позволять быть открытым только своему рту. Положишь, бывает, вот так, по-английски, передние ноги на клавиатуру, грянешь марш великого Бенджамина, нажмешь копытом на педаль... аж наверху, в библиотеке, дребезжат стекла, и товарищ Бекштейн, конечно, *расстраивается*... да просто сходит с ума.

Сходит с ума также и скрипка: Линдси ею тоже *владеет*. Владеет полысевшим от горя смычком, скрипящими от немоги колками. Струна, правда, нет-нет да и шарахнет Линдси по уху, в остальном же все идет как нельзя лучше: бляенье, хрюканье, визг.

Свиньи, даже английские, даже, может быть, королевские, нисколько не виноваты в своей свинской неразборчивости, иначе свинье не нагулять жира. Тощая, в спортивном купальнике, прыгающая через планку свинья изменяет своему роду, наводит родственников на подозрение о *бегстве от жизни*. Возмущенный бекон и спятившее сало найдут, конечно, меры пресечения: перевести, например, тощую свинину в разряд дикой кабанины. И если бы в дело вмешалась английская королева, выделив свиньям квоту в *эстетическом воспитании*, вкус мертвечины вошел бы в меню лучших учебных заведений... чуеете? Лучшие заведения, это те, где *готовят* элиту.

Товарищ Бекштейн расстраивается всякий раз, когда при нем кого-то казнят. Казнят, разумеется, не в шутку. Ему, роялю, отмерен нечеловечески долгий срок, отмерен столетиями, в сравнение с которыми семь-восемь отсчитанных от колыбели лет выглядят всего лишь куцым "здрасьте". Семь-восемь лет, возраст для казни самый подходящий. Первые зубы повыпадали, вторые только режутся, и ничего пока не ясно с наследством: то ли стать копией дедушки, то ли дать от родни деру. Главное для учителя, не упустить момент, вовремя понагородить неодолимые препятствия, понапридумывать запреты, связать выкрученные за спину руки. И тогда педагогика, поощрительно кивнув специальной педагогике, гаркнет о приносимой ею пользе: от имени учительского *веса*.

Уставив озябший взгляд в гипнотизирующее учительское око, семь-восемь отсчитанных от колыбели лет въезжают, беззубо кусая наследственность, в тупик старости. Не пропустить, не проворонить! Линдси держит смычок вертикально, прижав его конец к скосу собственного носа, и первоклашка тоже крепит смычок себе на нос, боязливо уставясь в великобританскую морскую пучину гипнотизирующего взгляда. Так можно стоять, плясь друг на друга, пока не зазвонит колокол, и эта неотрывность взгляда и есть лучшая из всех школьных методик: жертве никуда уже не уйти. И вот, наконец-то, оба смычка начинают ходить туда-сюда, наподобие стрелки метронома, туда-сюда и сюда-туда, и оба тела начинают, как пьяные, туда-сюда качаться, пока наконец учительское *выражение* не продырявит насквозь семи-восьмилетнюю черепушку: нет больше никаких *отдельных выражений лиц!* В этой *механизации* пока еще живого, пока еще способного смотреть учителю в глаза, и состоит начальный этап овладения скрипкой. И самый лучший при этом результат, когда конец смычка срастается с носом.

Из этих сросшихся с носами смычков собран, ни мал ни велик, школьный оркестр. Им не страшна, всем вместе, никакая фальшь, этим елозящим по нервам мартовского кота визгам, бляению и хрюканью, и дирижер при этом строг, поскольку это его имя глазеет на мир со школьной афиши. Вместе с родителями, оплачивающими репетиции и тоже кое-как на чем попало играющими, в оркестре набирается до тридцати-сорока нососмычков, и один только товарищ Бекштейн по этому поводу и расстраивается: теперь время Линдси! Время, переведенное в *часы*, выражаемые в английских фунтах.

В своем расстройстве товарищ Бекштейн нет-нет да из себя, рояля, выходит... так тесно ему, так душно! Но даже поставив парусом крышку, даже смазав ревматические ролики, с этого места не съедешь, не унесешься следом за звуком, помнящим прошлый,

Докторский век. Шарахаясь от приросших к носам смычков, звук плавно огибает формы инструмента, бежит налево, бежит-бежит-бежит, и возвращается на то же самое место справа, готовый сообщить кое-что о бесконечности... Но кто этот звук слушает! Рука механически водит, елозит, шарит, в хлопающих ушах блянье, хрюканье, визг, взгляд загипнотизирован дирижером. Потом скажут: "Они все вместе... то есть никто в отдельности... да, на этой мусорной свалке..." И вынырнувший из прошлого века звук готов сообщить, что пространство, вмещающее в себя столько всякой суеты, есть просто округлость этого рояля.

"Чудно, - думает сидящий за компьютером Симен, ассистент учителя математики, - нет ведь никакой на самом деле бесконечности... Бесконечности нет! Нет!!! Один только знак восьмерки-лемнискаты!" В голове Симена воеет, не переставая, пожарная сирена, воеет о том, что горим, что настала пора расставаться, шептать виноватое "adieu" все еще цепляющимся за твой ум понятиям, этим настырным атомам *немощи духа*, настала пора перестать быть слепоглухим. Симену снится перед обедом страшный сон: рогатые ветви нарисованной им в компьютере параболы загнулись вовнутрь и сошлись. Сошлись! Вместо того, чтобы где-то в бесконечности растаять. Торопливо сметя параболу еще более рогатой гиперболой, Симен обнаруживает и тут: конец норовит сойтись с концом, нисколько не считаясь с математическими приличиями. И это совокупление линий сопровождается в страшном, как выговор Трулса, сне такой чудной... чудесной музыкой! Симен и сам, бывает, подкрадывается к Бекштейну, лезет воровски под крышку, щупает... ах, холодеет душа, горит!... щупает округлости терций и квинт, угловатости секунд, заостренность септим, проваливается в бездну октав... И возникает у Симена подозрение, что товарищ Бекштейн слишком умен, слишком, пожалуй, мудр. Если бы только эта музыка, пропитывая собой кофейный воздух учительской, не домогалась так... взаимности!

Симен понимает, что влип, что ему, ассистенту учителя математики, придется держать перед школьной геометрией ответ: перед квадратами и треугольниками, углами и окружностями... Ни одно из этих компьютерно точных *построений* не состоит ни в малейшем родстве с только что услышанным им призывом: "Слушай! Смотри!" Что делает эти углы углами, а эти круги кругами? Откуда являются эти формы? Симен скребет давно не стриженным ногтем бобрин льняных волос, кусает пересохшую губу, сводит на переносице бесцветные брови. В нем самом все это тянет едва ли на двадцать процентов, твердое, зримое, тогда как остальные восемьдесят процентов просто вода и воздух. Воздушный Симен! Вот бы махнуть сачком, поймать! Но нет такой, увы, Изиды, нет Софии, и даже Марии, и той больше нет, как нет в математической голове ресурса *жизни*. Пойти спросить что-ли у товарища Бекштейна...

Симен идет боком, крадучись, то и дело прислоняясь к стене и пряча в карманы потные руки. В одной руке у него карандаш, в другой листок бумаги, он хочет записать имя композитора, он спросит у Серафимы. Спросит от имени измученных в бесконечности гипербол, от имени углов, сегментов, дуг и бесконечно малых величин, спросит, не Моцарт ли всё это написал.

Кто его, Моцарта, знает, где он теперь. В страшном предобеденном сне Симен наблюдал траекторию брошенного им в мировое пространство седого парика: это пугало несло следом за Солнцем, в точности повторяя, как в танце, его движения и вовлекая в эту погоню Землю. Догнать, схватить этот моцартовский парик! Симен позволяет другим, даже школьному советнику Трулсу, считать себя математическим гением. Он один только и может перемножать и делить в уме шестизначные величины, не говоря уже о сложении и вычитании, и если с головой у него от этого не в порядке, а воображение стынет, то с *трудовой дисциплиной* дело обстоит как нельзя лучше: как в *лагере*. Симен совсем еще не стар в свои двадцать четыре, хотя нельзя сказать, что он был когда-то молод. Он был, пожалуй, ребенком, запоздалым полузамерзшим *продуктом* запоздалого брака. Был таким грустным сожителем со своей вялой, бесцветной судьбой, заранее утомленным ее

полусонными домогательствами. Ассистент Симен, слагающий-вычитающий-делящий, безотказная машина *исполнения*, тихая, стародевическая, затянутая ряской заводь, такой он школе и нужен. Пройдут, ничем о себе не заявляя, годы, проскользнут мимо этих лет десятилетия... а Симен все сидит и сидит за тем же компьютером, с теми же норвящими сойтись в бесконечности параболами... Страшный предобеденный сон!

Подойдя совсем близко к Бекштейну, Симен осторожно кладет на крышку дрожащую руку и тут же ее отдергивает... Рояль под напряжением! И как только Серафима тут сидит! Сидит на этом электрическом стуле! Решив отложить размышления об этом на послеобеденный перерыв, Симен еле слышно спрашивает:

- Это был... он?

Он боится произносить его имя, оно тут, в школе имени Доктора, пугающе смахивает на... имя самого Доктора. Попробуй отличить до-минор фантазии и сонаты от доминорности сонатного фантазирования... одна сплошная эвритмия! Никто, впрочем, в школе не знает, что это, эвритмия, такое, но словом пользуются охотно, оно на языке даже у Симена. Язык лежит во рту рыхлым комком, мешая сплунуть, мешая даже выругаться. Язык, который следовало бы давно уже отрезать. Поэтому Симен часто изъясняется жестами, подкрепляя их болезненными, на бледном лице, гримасами. Он в самом деле болен, и у него болит... всё. Но, будь то изжога или раздувший щеку флюс, Симен упрямо сидит перед компьютером.

Упрямство кусает его в данный момент за палец, хотя ногти не стрижены, а под ними грязь. И палец тычет прямо в раскрытые на пюпитре ноты: это, несомненно, он!

Серафима понимает, кого он имеет в виду, и Симен, ужаснувшись, что его *поняли*, прячет укушенный палец в карман курточки, там у него клочок бумаги с формулами... эти формулы спасут, спасут... Формулы не раз уже спасали Симена от... жизни.

Эти крадущиеся, еле дышащие, изнемогшие от неумолимостей пути, обрывающиеся у края пропасти шаги... эта *его* фантазия! Даже перемешанный с динамитом новогодний порох, и тот не наделает столько в формулах беспорядка! И Серафима всё это откуда-то извлекает... Откуда?

С опаской обойдя рояль, Симен протискивается между батареей и стулом, прижимается спиной к деревянной стене... должно быть, тут... так оно и есть! Тут пробито маленькое, только просунь голову, оконце. И все двадцать четыре, какие есть у Симена, оставшиеся без употребления весны ломаются, опережая друг друга, в этот просвет: прыгай! Прыгай, пока это окно не захлопнулось! Ты ведь знаешь, что там, за пределами рамы и подоконника, на границе с воздухом: там солнце. И товарищ Бекштейн скромно подсказывает: там музыка.

Свет, пронизанный звуком?! Симен затыкает пальцем ухо, затыкает другое, поскольку там, в ушах, воет сирена скорой помощи: "Формула!.. Формула!.." Сумасшедший корпускулярно-волновой дом!

Один только товарищ Бекштейн и переживет, пожалуй, эту психушку, как пережил уже собственное перед "Ямахой" отступление. Он будет стоять на своих ревматических роликах в этом смахивающем на конюшню зале, пока настройщик Аластер не ампутирует у него бронзу и медь. Но этот, уносящийся в век Доктора звук, разве его ампутируешь?

Симен готов считать это доказательством: он это слышит... видит! Хотя с точки зрения формул это незаконно: обходиться без формул. "Но чем ты можешь это доказать, - гремит над Сименом выговор школьного советника Трулса, - что ты это *видишь и слышишь?*" И Симен понимает, что ни на что, кроме как расплакаться, он не годен, прямо тут, возле рояля, и товарищ Бекштейн дышит на него медью и бронзой: "Дух светит тебе под дых".

И все, какие есть на клочке бумаги формулы, даже заученные наизусть, оказываются, словно сговорившись, цветами и птицами, и Симен стоит, зажмурившись, как в детстве, в ожидание подарка...

Окажись брак счастливым предприятием, ему вряд ли было бы воздвигнуто столько монументов. Мемориальные доски типа "Здесь жил..." или "Осторожно, злая собака", придорожные жестяные звезды, мусорные урны и просто вывески "Куплю" и "Продается", всё это заранее браком проработано. С какой предусмотрительностью брачный процесс клянчит у тебя мелочь! Чтобы кругленьким получился счет. Чтобы не было у тебя оснований сказать: "Этим я обязан только самому себе". Чтобы были, напротив, основания считать самого себя... недоразумением.

На этом перепутьи "счастье-несчастье" у брака можно было бы выторговать его, ну что ли, таинство: почему оно сегодня? Поп машет кадилом, лупит зацелованным крестом роящихся в воздухе ангелов, и в разбитом корыте у тебя от этого мыльная пена. Пена твоего с *другим* счастья.

Вот так, взмыленный, ты и несешься к финишу.

На перепутьи "счастье-несчастье" можно, притормозив, поинтересоваться у бессменно дежурящего там черта: далеко ли, в самом деле, до таинства? Ах, оно тут!.. ближе чем твой локоть!.. И черт услужливо предлагает тут же и посадить находку на цепь, выбирая из всех цепей самую прочную: на цепь твоей *воли*.

Ты сам эту свою волю сроду в глаза не видел, хотя чего она только не натворила... И чтобы ей не было и дальше сносу, ты протравливаешь ее *обязательствами перед авторитетом*, этим эффективным крысиным ядом, консервирующим крысиное воображение. Ты становишься крысоловом.

Но что же скажет продымленный ладаном батюшка, узнав в таинстве твоего брака... крысу? Крысу подчинения, приспособления и совместного затирания пятен. Батюшка, пожалуй, махнет кадилом: пусть воля твоя будет еще крепче. Пусть из нее куются цепи.

С этой волевой муштрой, с этим охотничьим натаскиванием к убийству таинство брака уживается ровно настолько, насколько позволяет... таинственность. Таинственность присутствия духа.

Поп машет в своей поповской непогрешимости кадилом, кладет туда-сюда поклоны, гнусавит. Это он к тому, что ты чей-то раб, что тебе в этом рабстве хорошо, что из тебя, если надо, вышибут дух.

Среди крысиных обязательств брака, помеченных голодной возней в общих с *другим* местах, едва ли встретится, даже в перспективе безбрачия, обязательство *непорочности*. Никто, впрочем, и не знает, что это такое. Никто не желает ничего об этом знать. Ни одному попу, сколько бы он ни махал кадилом, не дознаться в дыму: брак существует для обуздания эгоизма. Для обтачивания без всякого наркоза наружу торчащих костей, для их, если надо, ломки.

Брак есть лаборатория выживания, камера пыток.

Оказавшись в браке с русским, рискуешь его самого вообще... и не найти. Поскольку он, русский, весь в будущем. И за какими оно, это будущее, поворотами, ни один рогатый поп не знает. В настоящем же только кое-какие борозды, кое-какие упавшие в них семена... чистое, короче, поле. Русское. По полю гуляет, само собой, ветер. И русский, насколько ему позволяет *совесть*, налаживает ветряки. Ах, ветер, ветер!.. Он носит туда-сюда семена и забытые песни, *гуляет*, и русская совесть гуляет вместе с ним, ей еще не скоро взростеть.

У совести есть в чистом поле подруги: сострадание, терпение, жертвенность. Никто их, конечно, по именам не называет, поскольку звучат эти имена смешно, старомодно. Но русская совесть, она хранит их в тайне, на случай... на случай, если сама когда-нибудь окажется у дел. Но пока ей только гулять и гулять... Избиваемая бездорожьем, в монашеских лохмотьях и нагишом, русская совесть ничего так для себя не желает, как... забыться! Поп спозаранку машет кадилом, бубня про отчизну и про разбитое корыто, и совесть смягчается, тает как воск, растекается жирным пятном на неметенном полу... вот

ее и нет! И пусть сострадание таскает себя за волосы, пусть терпению достается в награду всхожесть и рост, пусть земля вспучивается в угоду жертвенности всеми своими ресурсами, русская совесть не крикнет: "Это Я!"

- Принцип крови, рода-семьи-отечества, - замечает назло телевизору Серафима, - годен лишь на ограниченном телом пространстве, дальше начинается разлом... дальше уже не важно, откуда ты взялся, ты сам... ты, наследующий самому себе. Ты берешь от родителей только щепотку и только на время, щепотку материи, стартовый пакет, в остальном же ты сам свой.

- Немного молока и манной каши, - соглашается Хельге, - ничего другого от матери ведь и не требуется. Да и есть ли мать, способная дать что-то большее кроме того, что дает своему детенышу животное. Ты?

Хельге исподлобья смотрит на Серафиму, в глазах опасная голубизна. Такими безнадежно промерзшими, зимними глаза становятся при расставании. Когда-нибудь ведь все должно кончиться, иначе ничего бы и не начиналось. Да, все кончается. И в этом состоит великая справедливость жизни: убрать за ненадобностью однодневное, мимолетное. Изжить поддающееся разрушению. Жизнь не считает потерь, ее дело - обретать. Что ей все эти обноски и лохмотья, эта пустая тара? Жизнь не разделяет со смертью ее утех. Жизни нужны новые невозможности: что проредется сквозь них? Кто?

- Все дело в том, - продолжает Серафима, - насколько велики силы сопротивления одолженному у родителей. Ведь даже физическое сходство с отцом можно преодолеть. Хотя все этому только рады, наивно веря в "повторение". Тут важно не дать себе погрязнуть в крови предков. И всякий раз, когда это случается, на подмогу спешит Агасфер: держитесь, ребята, своей нации, не путая ее с нацией соседа!

Хельге зол на бормочущий о политике телевизор, зол на квохчущую короткохвостость сытых, с валютной отрыжкой, культурологических дискуссий, и тем более зол на погоду: ноябрь будет морозным. Съеденные на ужин котлеты в составе бык-свинья-лось только усиливают его злобу, да, стимулируют рост рогов, а выпитое пиво гонит в башку приказ: "Крови! Крови! Крови!" Швырнув в телевизор скомканную газету, Хельге выгребает из памяти дедовскую ругань, и вся, какую вмещает экран, интеллигентность враз припоминает ему его безымянность и бедность: кто ты?.. да кто ты такой?.. кто? Хельге не делает различий между политическими партиями: чем коричневое дерьмо отличается от желтого? Он никогда поэтому и не голосует. Он хочет братства вместо рыночной конкуренции, хочет равенства взамен группового интереса, хочет наконец самостоятельности духа... И сколько ему так еще хотеть? На этой проклятой, ленивой, пошлой планете. Прицелившись, он швыряет в телевизор пустую пивную банку.

- Ты думаешь, - шурясь, как рысь, оборачивается он к Серафиме, - можно быть пьяным от пива?.. от этой чертовой мочи?.. Опьяняет только собственная кровь!

- Кровь в данном случае викингов.

- Да-а-а!!!

Он зол на то, что Серафиме это известно: его невысказанное. Он прятал это столько лет для себя, но Серафима нашла клад. И нет у нее никакого к сокровищу вожделения, никакой жадности или страсти, есть только сомнение и грусть.

- Кровь викингов может ведь и остыть, испариться, выветриться, над кровью надо работать. Каждому в отдельности, в одиночку.

- Ты... - рычит Хельге, - ... какая кровь течет в тебе?

Теперь самое время пойти погулять. Поразмыслить в тишине, на темной, среди полей, дороге, о неоплаченных кредитах судьбы. У кого-то есть еще какая-то, может, национальность. Да, многие, пожалуй, это скажут. На их головы сыплются полумесяцы и звезды, их глотку дерет крик: "Мы еще не всё, еще не всё сказали!" В придачу к национальности у многих есть еще и какая-то вера, заменяющая мораль. Вера стоит на подхвате возле президентских кабинетов, готовая чистить ботинки и слизывать кровавые пятна, и ничего ей, вере, ровным счетом ничего не стоит обнаруживать тут и там великое,

выдающееся, торчащее. Порой, бывает, вера не узнает сама себя: ее ли это штраф?.. ее ли месть?.. ее ли "зуб за зуб"? И она поскорее прячет разголяющее ее зеркало, осколок Софии-Изиды-Марии, прячет в перину и под подушку остатки испаряющейся в Космос мудрости, наваливается, храпит... Спите и верьте. Пока звезды и полумесяцы таранят задымленные долгом и честью небеса, пока сваренные в компьютере президенты клянутся миру в невинности своего недомыслия, кто-то ведь может вдруг обнаружить... источник морали! Мораль, она-то и прижимает веру к стенке: жива или только прикидываешься живой? И вера, конечно, головой об стену: не виновата, слепа! Эта оставленная моралью слепота! Ею осеняет себя поп и политик, ей ставят где попало памятники. Но кто-то вдруг обнаруживает *в себе* соответствие звездам. Обнаруживает мост и переход к следующей и следующей за следующей жизни... Ведь только мораль, этот звездный продукт, и есть строительный для жизни материал. Но пока... пока война кричит о безопасности, пока поп, попутав себя с чертом, гнусавит "на доброе дело", пока остается новостью старая песня о смерти. И самой большой натуги и гордости требует от веры *возрождение* нации. Возродить то, что готово сгнить, завалиться, рухнуть! Возродить русскую, к примеру, идею. Что из того, что эта шапка-обманка не греет уши? Главное, чтобы на башке сидела, чтобы видна была издали. По ней, по этой стриженной под норку козе, узнаешь даже лысого, даже безголового. От русской идеи разит... Америкой! Разит всем тем маленьким, невымытым, затертым, в чем услужливый на все времена Агасфер готов признать свое отцовство. Это он, разделяюще-обособляющий! Так сладок ему *национальный путь* развития! Путь среди путаницы путей. И не надо дразнить Агасфером еврея, вы ведь все его, шляющегося по миру, дети. Дети давно исчерпавших себя задач. Ожиревшие переростки и недоношенные карлики, вы ведь сходитесь только в одном: в хронической недостаточности понятливости.

С грохотом отъехав в кресле от телевизора, Хельге вскакивает и, сорвав вместе с вешалкой зазевавшееся кухонное полотенце, сгребает в одном броске треснувшую по шву майку Серафимы, скручивает на груди, под самой шеей, вот так!.. так!.. Сейчас он проверит, испытает... паника, холодные пятки, намокшие враз трусы... испытает этот зарвавшийся в выси дух!

- Русская кровь! Кровь проклятых рабов! - орет он, заглушая телевизор, - Мусорная кровь крепостных! Дьявольская кровь большевистских скотов! Ну, говори, какая в тебе течет кровь?

Чувствуя под подбородком скрутивший майку кулак, Серафима молчит. Каким тихим может оказаться миг долгожданной истины, последний, может быть, в жизни миг. Каким мягким, родным покоем веет от этой безысходности... В рысьем прищуре Хельге не разглядеть глаз, теперь он слеп. И все это он проделывает вслепую: тащит вместе с разорванной майкой все остальное, открывает дверь, вышвыривает на террасу. А там ноябрь, там ветренная ночь.

- Я возьму одежду?..

- Нет.

Хельге с грохотом захлопывает дверь. Потом, высунувшись в щель, добавляет:

- Я не шучу.

На террасе темно, только узкая желтая полоса от окна. Соскользнуть тенью с каменной ступени, дойти до гаража, свернуть на дорогу... теперь можно и прогуляться. Кровь викингов пусть пока кипит, и много всякой неосуществленной справедливости может ломиться сквозь северную ругань в захлебывающийся дискуссиями телевизор, и ночь может томиться бессонницей, не признавая в ней усталость, и жар раскаленных поленьев в печи может дразнить дрожащий у дверцы воздух...

Морозная ноябрьская ночь. В майке и джинсах, налегке Важно сразу решить, куда идти, пока совесть еще не заледенела. Много ли, кстати, в ней тепла? Это можно выяснить по ходу дела, по ходу, так сказать, остывания. Остывать можно, прислонившись спиной к

деревянной стене дома, или сидя в машине... нет, Хельге обязательно услышит, как открывается дверца.

- ... отбросы, родившиеся от отбросов! Вечная мусорная куча! Никогда! Никогда! Никогда раб не пожелает для себя свободы!

Разбитое вздрезги стекло.

Ускорив шаги, Серафима выходит на дорогу.

Куда ей, собственно, идти?

Дорога тянется мимо леса к поместью Бьёрна, там привыкли рано ложиться, оставляя гореть всю ночь спрятанные среди деревьев фонари. Там нет собаки, и можно тихо прокрасться на крыльцо старой, заброшенной кладовой, сесть на деревянные ступени... ждать. Ждать неизвестно чего. Остановившись, Серафима прислушивается: нет, Хельге не идет следом за ней. Он уверен, что ей, в одной майке, долго так не гулять, что придется вернуться и просить... просить, как просят, ха-ха, рабы... Просить о ночлеге, о тепле, просить, давась своей же, хотя откуда ей взяться, гордостью... Ведь это так своеобразно, так ново: оказаться один на один с совершенно уникальной возможностью *остаться в живых*. Счастливая, завидная доля! Либо ты приползешь обратно и ляжешь трупом в нагретую матершиной постель, либо... проваливай в лес.

Подойдя к кладовой с боковой, не освещенной стороны, Серафима, трогает дверь, и та, как обычно, не заперта, здесь давно уже никто ничего не хранит. Кладовая стоит, как и положено, на четырех дубовых брусках, под ней природная каменная плита. Тут все прочно, на века, только местами растрескалась и осыпалась старая краска. Внутри сухо, пахнет деревом и пылью. Слабый лунный свет пробивается через щель в стене, на деревянном полу замерла полосатая тень лестницы. По этой лестнице можно подняться наверх, к деревянному, под крышей, настилу, где годами томится от скуки никому не нужное барахло: деревянные лопаты, конская упряжь, цинковые ведра, старые мешки. Под лестницей круглая, на несколько человек, банная кадка, она высыхает тут уже лет сто, дожидаясь переселения или пожара. И можно в нее, пожалуй, залезть... Подняв с пола пыльный кусок мешковины, Серафима накрывается им, как полотенцем, чихает... Вот так, сидя на корточках, уснуть... Ей кажется, между бодрствованием и сном, что кто-то смотрит на нее сверху, да, кто-то за ней подсматривает... Кто? Полосатая тень от лестницы отползает чуть в сторону, и кто-то вздыхает в темноте, вздыхает снова... Там, наверху, на деревянном настиле. Упершись локтями в края кадки, Серафима задирает голову: возле самых перил деревянной галереи горят два круглых желто-зеленых глаза. Она видит только эти глаза, удивленные, немигающие, глаза тролля.

Там, под самой крышей, живет хозяин.

Он живет тут уже не одну сотню лет, и это благодаря ему здесь так сухо и нет никакой гнили. Главное, чтобы никто не нарушал его одиночества.

Но Серафиме тролль, бесспорно, рад: он дает ей себя разглядеть. С какой осторожной, нежной мягкостью он выпускает из темноты свои причудливые формы: круги, овалы, спирали... расцветает, распускается! Этот глазастый светящийся шар! Эти волосы, космы, эти лучи... тролль отращивал их должно быть долго, не зная ни гребенки, ни ножниц. Ему известно и так, без пояснений, зачем Серафима пришла: чтобы согреться. Поговорить о застоявшемся времени. Он рад, может, спуститься по лестнице прямо к банную кадку, он уже сто лет как не мылся. Но чтобы тролль дал себя намылить?!

Он смотрит на Серафиму *во все* глаза... сколько их у него? Глаз у тролля достаточно, чтобы буравить ими одновременно прошлое и будущее, чтобы высматривать смысл происходящего теперь. Этот тролль наверняка стар, он сидит тут уже лет двести с лишним, перебравшись в кладовую из леса. За это время он, правда, не вырос, приспособившись сидеть под самой крышей, под толстыми стропилами, в пыли и паутине. Сюда редко кто заходит, с тех пор, как прадед Бьёрна перестал хранить в кладовой зерно, теперь тут кладбище: старый холодильник, велосипеды, пустые бутылки.

Тролль рад этому запустению, так и нужно, по его мнению, жить. Жить, не слишком гонясь за впечатлениями. Сидеть на деревянном настиле и считать пробивающиеся в щели стен дни... много-много спокойных, преисполненных смысла дней... Из этих дней тролль прядет воспоминания и, цепляя их крючком ночи, вяжет узорчатые дорожки, по которым разбегаются к углам кладовой легкие, прозрачные сны... Они живут тут как перекликающееся само с собой эхо, как стук дождя по черепичной крыше, как вечно простуженный, в чердачном окошке, ветер. Троллию этого вполне хватает.

Два круглых, множащихся в темноте глаза.

Позволяя себя Серафиме разглядеть, тролль не прочь даже представиться... ну чем он плох! С таким, как у него,

жизненным опытом, с таким *высоким* положением. Главное, чтобы Серафима не искупала его в банной кадке: он двести лет сидит тут немывтый и просидит еще столько же.

Завернувшись в мешковину и дрожа от холода, Серафима сидит на корточках, прислонившись спиной к шершавой внутренности кадки, и к ней крадутся подбирается мысль о замерзании. Кругом холод и ночь, и нет нигде дома. "Нигде дома нет, и не надо его нигде искать, нигде, нигде... - мягко шепчет с деревянного настила хозяин, - ... беден, нищ, одинок, покинут... Только спать, только ткать из времени воспоминания..." И сверху, из пыли и паутины, к ней потихоньку спускается продрогшее на сквозняке сновидение. "Вот ты и согрелась... - удовлетворенно шепчет хозяин, - ... согрелась!"

Ей снится сон о детях.

Они всё еще маленькие, иначе как же им остаться детьми, они всё еще держат ее за руки. Дочь Душа и Разум сын. Разум ведет всех на прогулку, и вот они уже на окраине города, и уже поздний вечер. С ними собака, и у нее, конечно, чутье, но слишком далеко они уже ушли. Они теперь беглецы, беженцы. Собака чует: там, возле реки, железная дорога, и поезд уже подъезжает. Надо спешить к поезду, надо успеть! В поезде полно людей, негде сесть, и собака зла и опасна: посаженный на цепь медведь! Но есть все-таки место в тамбуре, на самом проходе, где снуют из вагона в вагон пассажиры и кондуктора. И наконец, наконец-то поезд трогается, наглухо захлопнув все двери, трогается в нужном всем направлении. И будет, конечно, проверка билетов, и за спиной у Серафимы дочь и сын и посаженный на цепь зверь. Тут много других собак, коротконогих и вертлявых, и все они лезут к медведю, хотя Серафима гонит их прочь: любую из них зверь задерет, и тогда... Тогда ее, пожалуй, ссадят с поезда. Но пока поезд несется без остановок, в нужном всем направлении. Ехать, ехать... Серафиму толкают, наступают ей на ноги, прижимают, вместе с Разумом и Душой, к стене... ах! Медведь хватает подлезшую под него собачонку! И с первой на полу каплей крови в поезде начинается неразбериха: все хотят к двери, всем надо выйти! И приходит кондуктор: ага!.. наконец то!.. Кому тут билет? В руке у него несколько обрубленных ниже головы змей, и они еще живые. Разинув рот, кондуктор впрыскивает себе в глотку яд, швыряет шевелящихся змей под ноги Серафиме... и она понимает, что это провокация, что всем того только и надо, чтобы зверь кого-нибудь задрал, чтобы было, с чего начать... Да откройте же, откройте эту проклятую дверь! Толкотня, злоба, неразбериха. Но Серафима сильнее других, она пробивается к выходу первая, становится на ступеньку... так высоко! Так страшно высоко! И мимо несется внизу река и дорога, и никаких мыслей больше уже не надо, нужна только воля: прыгай! А-а-а-а-а!!! Дочь Душа срывается со ступеньки вместе с нею, они летят вниз в обнимку, и в них целятся из окон поезда пушки, и внизу разносит в щепки и пыль тротуары и карнизы, сады и заборы... и в самом поезде полыхает пожар. Они мягко приземляются на горящую землю, мягко, в обнимку, и у них есть силы бежать. Но только Разум, он всё еще там, в несущемся дальше поезде, он медлит, он все еще находит в этом смысл... Разум, отставший в пути сын. И нет ничего горше, обиднее этой потери. Одна только воля не желает признавать ни горечи, ни обиды: оглянись на эту горящую дорогу, вырви из пламени живое! И Серафима видит: сын наконец-то прыгает с поезда, неуклюже

приземляется, тащится еле-еле, но с ним собака, и у нее чутье. "Он догонит нас!" - обещает Душа. Эта маленькая, храбрая девочка, она так вынослива. Теперь, когда нужны скорость и отвага. Только у Души и есть эта скорость, эта львиная, солнечная храбрость. Скорее! Идем! Вперед!

Но что же дорога? Она становится только опаснее, только труднее. Дорога упирается в громоздкое здание, и надо идти дальше, по этим лестницам и этажам, на которых застыли в каком-то своем забытии серые, усталые люди. Их тела бессильно обмякли, на лицах гримасы мучительного наслаждения: они все тут... питаются. Жрут. И тот, кто разносит еду, зорко следит за порядком: сначала заплати, потом ешь. В ходу тут одна только валюта: *сознание*. Его оставляют у входа, *бессознательно* находя себе место за столом. И тот, кто разносит еду, с подозрением смотрит на Серафиму, жадно разглядывает за ее спиной девочку. Наверняка он педофил, этот смахивающий на кондуктора администратор, и все его рецепты *развращения* сводятся к одной простой формуле: "Укради!" Укради и останься неузнанным, подсунь вместо себя что-нибудь *общезначимое*, в чем даже у идиота нет сомнений. Голод, наслаждение, прогресс. Скрути руки этой девчонке, сорви с нее платье... голая! Но она целит в тебя из лука, эта нагая на все времена Душа, и глаз ее зорок, и тетива крепка. Как украсть то, чего ты сам не в силах вынести? Не в силах навалиться всей своей рыхлой массой... на что? Вот она, пущенная *сознанием* стрела: "Выход! Выход! Выход!" Серафима бежит вместе с дочерью по лестнице... вверх... вниз... по коридору... бежит к воротам. "Выход!" Но возле ворот, на проходной, дежурят вахтеры. Железный пол, по нему пропущен ток, под полом подземелье. Вахтеры стреляют в упор, они не привыкли иначе, и только *сознание* Серафимы их и останавливает: нацелившись, они ждут. Ждут, разумеется, взятки. Отдай, уступи! Здесь пропускной пункт, здесь граница. Отдай в виде таможенной пошлины хотя бы этот пустяк, эту детскую тягу к сладостям... Это же так сладко! Вахтер бросает к ногам Серафимы коробки, много красивых, перевязанных лентой коробок, и девочка ловит их налету, ах, ловит эту сладкую пищу, пробует... Сладко, сладко! Но Разум-сын, догнавший их, вышибает изо рта сладость вместе с молочными зубами: вон!.. прочь!.. И Серафима перемахивает вместе с дочерью через парапет, и Разум бьет наотмашь вахтера, и пес швыряет в них комья земли.

Так тихо тут, на другой стороне. Нет больше никакой погони, нет больше вахтеров, кондукторов, администраторов. Но Серафима замечает, что дочь хромает. Голова ее скошена набок, вместо лица уродливо сморщенная маска. Ее дочь Душа отравлена, теперь она всего лишь калека, и она не узнает больше Серафиму. Но она жива... ах, что это за жизнь! Дочь держит Серафиму под руку, ей не ступить самой ни шагу, и они ковыляют к стеклянной двери, к взлетающему наверх лифту, к новой жизни, к новым препятствиям, тащатся мимо бетонной стены, и девочка не замечает ни предметов, ни красок, не видит нарисованных на стене картин. Перед одной из них Серафима останавливается: зеленая, в человеческий рост, бабочка. Кто-то поймал ее, наколол на булавку, высушил, прикрепил к стене. Бабочка смотрит на Серафиму зелеными выпуклыми глазами, смотрит и ждет... "Хотя бы одно *твое* слово, хотя бы одно! Слово терпения, сострадания, жертвенности. Слово, произнесенное совестью!"

- Но это же *Я!*

Разломанная бетонная стена.

Этот сон длится всего лишь миг, и это, собственно, миг пробуждения. Привалившись к шершавому краю деревянной кадки, Серафима дрожит так, что только одна мысль и удерживается у нее в голове: "Тепла! Тепла!" И сверху, с деревянного настила, к ней мягко спускается шепот хозяина: "Вот ты и согрелась... согрелась..."

Она прислушивается: кто-то подходит к стене кладовой, мочится... Хельге?! Он найдет ее, если захочет, и здесь, найдет везде... Не дышать, не думать... Апппп-чхiiiiii!

- Кто здесь? Кто? Кто-о-о???

Нет, это не Хельге. И это не случайность, что сюда зашел человек. У человека, может, есть терпение выслушать... есть, может, и совесть... Человек... он стоит в нерешительности возле двери, за спиной у него ночь. Лица его не видно, но голос Серафима узнает: это же Лестничный Франк! Его дом в двух-трех километрах отсюда, и можно было бы там переночевать... человеческий это все-таки дом.

Франк явно не рад встрече, у него тут свои планы. Оглядев вылезшую из кадки Серафиму с ног до головы и не обнаружив ничего такого, что можно было бы назвать одеждой, он подозрительно спрашивает:

- Тебе, что, дома не спится?

- Хельге выгнал меня... и здесь совсем не жарко, как видишь... Не мог бы ты...

- Что-о-о? Я-я-я??

Франк не из тех, кто выслушивает пояснения. В последний раз, и это было лет сорок назад, он узнал от своей матери, что сам он мешок с дерьмом, и эта материнская истина избавила его в дальнейшем от пустых на эту тему размышлений: мешок с дерьмом и точка. Зато он сидит на теплом стуле в сбербанке, покупает и продает дома, дачи и машины, и с бабами у него никаких проблем, и ему не скучно коротать на лестничных ступенях выходные и праздники.

- В данный момент я занят, - холодно поясняет он, - Понимаешь?

Франк уверен, что понятливость, кроме как у него самого, есть только у Хельге, остальные обходятся общественным мнением, а о приезжих и говорить нечего: это всё сплошь негры. Негры, которых надо время от времени экзаменовывать.

Серафима проскальзывает мимо него в дверь, выходит, дрожа под мешковиной, в пахнущую морозом темноту, идет, не оборачиваясь, прочь.

- Эй, ты! Что там такое с Хельге? У него проблемы?

Она идет по дороге к лесу. На другом конце поля плывет в мертвом свете луны тень всадника.

Так тихо, так мягко простирается в глубь леса эта смертельная тоска. Тоска о тех, кто так и не пришел, кому ничего, ну совсем ничего тут не нужно. Тоска об оставленных где-то детях. О той, другой, жизни, в которой всё еще мерцает намерение попасть сюда... Сюда, в этот затихший в ожидании зимы лес.

На этих мягких моховых подушках, в этих сбросивших листву зеленых зарослях черники, под этими столетними елями тоска слагает с себя обязательства перед смертью, уступая смерти разве что лунный свет, этот голубоватый, крадущийся по камням холод. Луна поднимается над деревьями, над вершиной заваленного камнями могильного холма, высвечивая все тропинки: теперь никуда не скрыться. Даже издали можно заметить крадущуюся среди валунов фигуру Серафимы. Хотя кто ее узнает, обмотанную мешковиной... Но что это?! ах!.. Стремительная, как брошенное копьё, тень над освещенными луной черничными зарослями, чье-то беззвучное падение... Не успев ничего подумать, Серафима скатывается с тропинки на заросший мохом и лишайником каменный выступ, а оттуда в вересковый кустарник. Здесь безопасно, здесь ее не найдут... как колотится сердце! В темноте человек явно не у себя дома, его атакует со всех сторон страх, ведь темнота хочет только одного: смерти. Но даже и ей, смертоносной, приходится уступать теснящей ее воле: поди-ка прочь. Может, это была сова, высмотревшая полевку, может, просто обломившаяся сухая ветка... Серафима сидит на корточках, не шевелясь, не позволяя себе ни о чем думать, пряча лицо в жесткую вересковую зелень. Вот наконец она и дома. Здесь для нее заготовлено впрок терпение, здесь ей постелена постель. Здесь, на этом древнем могильном холме.

И медленно-медленно к ней подбирается от жестких вересковых стеблей, от моховых подушек и засыпанных сосновыми иглами камней, подбирается весть о любви.

Вот она, оказывается, где, любовь! Никто ее сюда не зовет, никто даже имени ее не знает. И если бы кто-то решил отдать за нее все богатства мира, учитывая то, что мир

вовсе не беден, любовь взяла бы только одно: свободу. Свою сияющую, таинственную суть.

Внезапно на Серафиму что-то налетает, вминается в нее, ошпаривает влажным дыханием... зверь! Здесь, на вересковом склоне, в морозном дыхании лунной ноябрьской ночи. И хотя луна светит теперь всюду, сразу не разобрать, кто это... что это... Зверь, загнанный страхом почти насмерть: морда покрыта пеной, в глазах безумие. Детеныш косули, ночная потеря, ночная находка.

- Ну вот, - прижимая его к себе, как собаку, говорит Серафима, - теперь всё в порядке...

Теперь ей, в самом деле, не страшно. Олененок сам прижимается к ней, теперь она не замерзнет. Так, вдвоем, они тут, пожалуй, пересидят до утра. Тут, среди вереска.

Внизу, в продрогшей березовой роще, слышны выстрелы. Охотники сами ничего не чувствуют, не видят и не слышат, но у них есть приборы ночного видения. У них есть к тому же лицензии. У них есть *желание убивать*. Внезапно подступивший гнев заставляет Серафиму вскочить на ноги: разве она сама не загнанный зверь? Здесь, в ночи, среди вереска. Гнев обдает ее жаром, жар рождает решимость. Взяв олененка подмышку, она спускается по тропинке с каменистого склона.

На самом краю рощи, под старой березой горит костер, на толстом суку подвешены за ноги две освежеванные туши. На земле возле дерева куча выпотрошенных внутренностей, шкуры. Толстый бассетхаунд лениво лает и ковыляет вперевалку навстречу Серафиме, и она только крепче прижимает к себе олененка. Гнев ее еще не прошел, и теперь к нему примешивается отчаяние: смерть, только ее в мире и ценят, только ее и принимают в расчет.

- Чтобы вам всем... - в ярости бормочет она, - ... быть подвешенными за ноги!.. на суку!..

Охотники, не разбирая ее слов, весело ей кивают, у них сегодня большая удача. И этой *радостью убийства* они не прочь с нею поделиться. Один из них, в зеленом охотничьем костюме и крутых "маршевых" ботинках, подозрительно к Серафиме присматривается: что это у нее подмышкой? Он хорошо знает законы, он, между прочим, адвокат, в свободное от охоты время. И если кто-то ворует в лесу дичь... это же его, оплаченная им дичь!

- Не желаешь ли кофе?.. вина?.. - шагнув к Серафиме, предлагает он, - Да ты совсем раздета! Хочешь... согреться? - он многозначительно усмехается.

Чуя освежеванные туши, олененок дрожит и брыкается у нее подмышкой, и Серафима, стараясь не смотреть в сторону ночного пиршества, торопливо проходит мимо, но охотник загораживает ей дорогу.

- Ты! Что ты тут делаешь? Что у тебя подмышкой?

- Пошел ты на х... - с досадой отвечает она, не замечая, что говорит это по-русски, - Ну, пошел!

- Я известный в Осло адвокат, - холодно замечает он, доставая из верхнего кармана визитку, - среди моих клиентов сама принцесса, если желаешь знать!

- Пускай хоть сам черт будет твоим клиентом!

Адвокат подходит к ней ближе, и она крепче прижимает к себе олененка, готовясь продраться напролом через кусты...

- Откуда ты приехала? - терпеливо, но требовательно спрашивает он.

Этот вопрос адресован *акценту*, и нет более типичного в этих краях вопроса. Его можно было бы отнести к разряду филологических, лингвистических или краеведческих, не окажись он насквозь патриотическим: тут вопрошает, целуя себя в зад, национальная гордость: *мы, несколько в тебе не нуждающиеся*. Какое ей, национальной гордости, дело до сути вещей? Ей нравятся попугаи, ну, обезьяны. Нравится ассимиляция. И ей не нравится намек на то, что язык выбирается *тобой* задолго до рождения. Национальная гордость скупа, и это не ей входить в разные обстоятельства. Она считает одолженные

соседу миллиарды, ведя счет от своего к соседу презрения. Она становится порой остроумной, рифмуя магнолию с могу ли я... Но как ей устоять, национальной, против тебя?

Адвокат не любит повторять вопрос дважды. И дело только выигрывает от того, что ответчику нечего сказать. В данном случае, в оправдание поворота своей судьбы. Поменял, так сказать, перестроечную империю на аккуратно подстриженное королевство. То есть, в общем-то *прибыл*. И, заметьте, не в стае трески, но один.

Еще крепче прижав к себе олененка, Серафима идет прямо на адвоката, и тот невольно уступает ей дорогу, скорее из-за непонятого ему самому отвращения. *Путь правосудия* не может, не обязан, не должен быть путем одного, одинокого. Путь правосудия - это *мы*.

У самого края поля, под сросшимися двойняшками-березами, привязаны лошади, они фыркают, раздувают ноздри, нервно бьют копытом, чуя освежеванные туши. Лошади тут вроде роскоши, интерьера, и неповоротливый бассетхаунд лениво побрехивает в их сторону, поставив короткие лапы на ствол поваленной сосны. Серафима узнает балахон с дырами для глаз: это конь Монтсеррат. Значит, и она тут.

Возле берез разбита просторная, на несколько человек, палатка, возле костра сидит на толстом бревне Лестничный Франк, неподвижно уставившись в огонь. И Серафима спешит мимо... но куда? Ведь даже и в лесу не найдешь себе места. Дорогу ей пересекает чья-то тень, чье-то внезапное узнавание.

- Алло!

Она еще больше ускоряет шаг, но тень нагоняет ее, забегает вперед... Монтсеррат.

В черном, плотно облегающем костюме наездницы, с распущенными по спине огненно-рыжими, в свете костра, волосами, она несколько не принадлежит грубости и безобразию охоты, она только ее... украшает. Рассеянно, снисходительно, презрительно. Эти мужчины, давние ее приятели и просто денежные олухи, спасают ее, хотя и ненадолго, от смертельной скуки. Адвокат ночует у нее в доме, и ему лучше других известно, как обстоят ее дела с имуществом. Обстоят как нельзя лучше. Он советует ей купить землю у Бьёрна, картофельные поля вместе с каменными островками, еловый лес, сдаваемую внаем дачу. Советует вырубить лес, свезти бревна на бумажную фабрику, разделить пустырь на участки, найти выгодного застройщика. Пусть каждый, кто захочет здесь поселиться, платит за право проезжать по ее, Монтсеррат, дороге!

Глянув Серафиме в лицо, она смеется, кивает, она будет пить вместе с охотниками всю ночь. Она кивает в сторону Лестничного Франка, по-прежнему сидящего неподвижно перед костром:

- Он видит самого себя в аду, ему туда давно пора!

Мужчины охотно поддакивают: пусть едет в ад за свой счет. Толстый бассетхаунд мочится, неуклюже задрал лапу, на оброненную Франком фетровую шляпу.

- Я приглашаю тебя! Мы все тебя приглашаем! Я передаю Хельге привет! От нас всех! Серафима на миг оборачивается.

- Привет Хельге! - кричит подвыпивший сын Бьёрна.

- Привет Хельге Нордли! - басит пристреливший обеих косуль пожилой бонд, и адвокат, нарезая ломтями теплое еще мясо, бормочет себе в усы: "Привет..."

Нахлобучив подмоченную бассетом шляпу на лысеющую макушку Франка, Монтсеррат идет порхающей походкой следом за Серафимой, стараясь ее догнать, и одетый в попону конь озабоченно ржет ей вслед.

Она догоняет ее возле кладовой Бьёрна. Уже второй час ночи, луна стоит среди звезд, словно вывернутое наизнанку солнце, освещая схваченную инеем траву потусторонней голубизной. Залезть в банную кадку, согреться... согреться мыслями о лете, о меловых солнечных склонах с шалфеем и чебрецом, о детях...

- Алло! - кричит сзади Монтсеррат, - Хельге выгнал тебя из дома? Выгнал? Да?

Серафима останавливается, опускает на землю олененка, приседает, крепко держа его. Им обоим теперь страшно, обоих колотит дрожь, и этот *животный* страх вызывает у

Серафимы ярость. Станет она, в угоду обстоятельствам, тут замерзать! Как-нибудь перебиться, пересидеть морозную ночь, а завтра... Завтра ее ждет товарищ Бекшейн.

- Ты еще не заявила в полицию? Как ты... одета! Ты же совсем раздета!

Брезгливо тронув пыльную мешковину, Монтсеррат отдергивает руку: как дрожат эти плечи! Опасно, да, *неприлично* доводить себя до такого!

- Тебе страшно, - констатирует она, дохнув на Серафиму вином и табаком, - Ты замерзнешь насмерть... замерзнешь! Ты...

Повернув к ней бледное, в лунном свете, лицо, Серафима кривит с усилием губы, она должна улыбнуться Монтсеррат, должна...

- О кей... - сквозь дрожь произносит она, - ... эта косуля... ну просто печка...

Монтсеррат молчит, думает. Ее ли это дело, подбирать вышвырнутый Хельге мусор? В мире так много слабого, несостоявшегося, ползающего. И мир существует не затем, чтобы удерживать от падения падающего. "Падающего, - вдруг вспоминает Монтсеррат, - подтолкни!"

- Брось Хельге, уйди от него! Ты ведь без него не пропадешь, в богатой, цивилизованной стране. Будь же наконец самостоятельной! В конце концов есть ведь и другие мужчины! Много-много других мужчин!

Запрокинув голову к звездам, Монтсеррат смеется: этот ее холод, эта свобода! Что в сравнение с ними едва согревающее себя, затаившееся в смирении терпение? Терпение, откладывающее на потом все притязания и счета, ткущее из своего неиссякаемого эфира белые свадебные одежды, штопающее ни на что уже не годное рванье... Терпение, которому тело жертвует свою зримость и тяжесть, свою почвенность, свою приземленность. Терпение, от которого отстает даже время.

- Брось его, стань свободной! Он всего лишь пройденный для тебя этап, Хельге Нордли! На это он только и годен: стать пройденным этапом! Ха-ха-ха!

Монтсеррат теперь не важно, слушает ли ее Серафима: ее поднимает на своих серебристых крыльях то особое воодушевление, с которым не страшно забыть даже собственную боль. Вверх, вверх! Оставь внизу все неподъемное! И пусть Серафима собьется в этой морозной ночи со всех дорог и тропинок! Пусть только бежит, бежит... бежит, не чуя ступней в промерзших плисовых шлепанцах, бежит от очевидности помогающей ей скуки. Просто бежать, просто перемещаться, разве этого мало? Ха-ха-ха! И пусть за нею, как лунная голубая тень, крадется по заиндевелою дороге этот смех:

- ... стать!.. пройденным!.. этапом!..

Монтсеррат долго смотрит ей вслед: эта совершенно чужая здесь русская душа. Ей не следовало бы вовсе с Хельге сходиться. С ним, обреченным на одиночество, никто никогда и не сойдется. Разве что в мечтах, во сне... Прислонившись спиной к стене кладовой, Монтсеррат закрывает глаза, улыбается: если кому-то это и удавалось, то только ей. Она пережила это, она это помнит, она не растеряет, не растрясет как попало любовь, напоившую ее *прошлую* жизнь. Любовь долго блуждала, прежде чем дать росток в будущее, и теперь это будущее-настоящее отбрасывает свет назад... свет возвращается в затерянную среди лесов зиму, в заледенелую, возле горной реки, избушку... Нащупав рукой засов, Монтсеррат трогает дверь кладовой, толкает ее плечом. Сюда обещал придти Франк, у него с собой "травка", но это он пусть побережет для себя, у Монтсеррат есть средство покрепче. Когда-нибудь, может, аконит доведет ее до последней черты... ах, что это, в самом деле, такое, последняя черта... за которой уже ни черта... Ха-ха-ха! Достав из заднего кармана атласную табакерку, Монтсеррат нюхает обернутый тонкой бумагой срез корня, и во рту у нее начинает выделяться слюна, под ложечкой приятно ноет... сейчас, сейчас... Залезть что ли в эту деревянную кадку, привалиться спиной, расслабиться, растаять... Она успевает только заметить два круглых, удивленных глаза, вынырнувших на галерее из темноты. "Хозяин..." - успевает только подумать она.

... Она осталась здесь умирать. Кончатся дрова, придут настоящие морозы. Один только полуволк Один, он с ней, хотя по ночам он воет, зазывая стаю, на освещенном

луной пригорке, и ему отвечают издали протяжные, преисполненные безнадежной тоской голоса. Волчий вой, это и будет ее последним благословением. Будто она, Сигню Амундсдоттер, ждет благословения священника или ярла Тригве! Теперь, когда смерть улеглась рядом с нею в холодную постель, она видит еще зорче, чем бывало: ее благословляет этот крадущийся к ее груди холод, запах снега, отсвет сияющей за тусклым окошком белизны. Она тут у себя дома, Сигню Амундсдоттер. От обложенной дерном постели тянет сыростью, на земляном полу сосновая хвоя и мышинный помет. Никто сюда уже не придет. "Ты вернешься домой, Сигню Амундсдоттер, если выживешь". Она все еще слышит эти слова Гюннульфа Скальда, слышит живущий в них голос горной реки и водопада, запомнивших их брачную ночь. "Если выживешь... вернешься..." Он сказал ей это не просто так, Гюннульф, он не боится говорить о смерти. В первый раз, когда он встретил ее ребенком, он заговорил с ней о бабочках: принес пойманную крапивницу и сгоревшего в огне лучины мотылька. Он сказал тогда, что она сама, если захочет, может родить много-много порхающих в воздухе разноцветных пятен, надо только дать себе волю. "Эти бабочки, - сказал он, - и есть твои мысли". И она решила тут же попробовать, прямо за домом, на вересковом пустыре, в солнечный августовский полдень. Найти в своих мыслях хотя бы одну такую бабочку! Зажмурившись, она легла на спину, и солнце тут же забралось ей в глаза, заплясало зелеными и красными пятнами на круглом, как большая бусина, небосводе: свет!.. свет!.. Свет, догоняющий невесомые, как воздух, крылья, свет наполняющий, свет преображающий! Гюннульф сказал, что и гусеница, этот зеленый червяк, живет только светом, и будь у гусениц воля, они бы все как одна немедленно унеслись бы к солнцу. Но им дано лишь терпение: терпение выпрядать из себя прозрачные нити, тянуть их в направление света, опутывать ими себя. Гусеница строит *из себя* свой солнечный дом, строит и исчезает в своем творении. Гюннульф вскрыл острием ножа приклеенный к травинке кокон, и там, внутри, ничего не оказалось... ну совсем ничего! Ничего такого, в чем можно было бы узнать бабочку, и только солнце, оно одно и прорисовывает эти формы в оберегаемом коконом пространстве. Только свет, оживляющий, наполняющий, преображающий...

Щели между толстыми бревнами кое-как заткнуты мохом, в них зимуют осы и пауки, и если зажечь в темноте свечу... ах, этот последний огарок!.. с почерневшего от копоти потолка ринутся в пламя неказистые, пепельно-серые мотыльки. Что хочет эта скудная, замерзающая в долгой ночи жизнь? Мотыльки кружат над сырой, холодной постелью, задевая невесомыми крыльями лицо Сигню, и ей не поймать их, не спасти: им суждено броситься в огонь. Они хотят еще большей, чем есть в них, любви! Хотят продолжения рода, хотят вечности. И для этого им надо погибнуть: преобразиться и пленить солнечный свет. Но огарок свечи?.. Все они, один за другим, гибнут в этом своем обмане, им никогда не долететь до солнца. И смерть, должно быть, хочет предупредить Сигню: "Нет у тебя другого солнца, кроме как *твоего!*" Даже если ветер задует все, какие есть в мире, свечи, *твой* свет будет с тобой. Она думает, Сигню Амундсдоттер, что нет больше между нею и Гюннульфом никаких брачных уз, есть только этот солнечный мост, прозрачная, невесомая нить. Этот выпрядаемый из себя шелк.

Тихо, как ночной вор, Серафима подходит к дому: в окнах темно, только лампочка у входа. Пройдя по дороге чуть дальше, она возвращается, прислушивается: Хельге давно уже, судя по размеренному храпу, спит. Спит и слышит во сне всё. "Ну и черт с ним!" - с неизвестно откуда взявшейся яростью думает Серафима. Хлопнув входной дверью и отпихнув брошенные у входа ботинки, она включает свет, явно намереваясь разбудить не только Хельге, но, если надо, и храпящую под пуховым одеялом судьбу. Она несет олененка в ванную, стелет ему на пол махровое полотенце, ставит миску с водой, кладет на пол морковку. Лечь тут же, на полу? Или залезть под рояль? Раздевшись, она включает душ, смотрит на себя в быстро запотевающее заркало: почерневшие от холода губы, посиневшие ногти, дрожащие руки, плечи, подбородок... фу! До чего можно себя довести!

Хорошо, что ее не видит сейчас Хельге, в этом ее очевидном отступлении перед обстоятельствами. Перед обстоятельствами, ха-ха, брака. "Вот ты наконец и приехала! - авторитетно заверяют они, - Дальше ехать некуда, дальше - развод! Собирай свой тощий чемодан!" Однако в зеркале помимо отражения есть и нечто иное: некая линия незавершенности, незаконченности. И не в угловатости прямых плеч, не в выгибающей предплечья мускулатуре или вертикали шеи, но... в глазах. Эти два суверенных мира! Свет достает в них до самого дна, до темноты, перемешиваясь с ней, рождая цвета: зеленый, голубой, янтарный. И окружающая глаз тень, тень разочарования и усталости, теряет всякое значение: ты смотришь только в *свою* глубину.

Дверь ванной рывком распаивается, стучается о стиральную машину, и Хельге нетерпеливо отпихнув Серафиму от зеркала, мочится прямо в раковину. Он зол, как и прежде. Он вовсе не спал, храпя, он ждал. Ждал, когда от него отвяжется этот странный сон, накатывающий снова и снова. Это нескончаемое продолжение уже виденных им ранее снов. Сколько беспокойных ночей влилось в эти грозно выступающие из мрака картины! Сон о ребенке.

... Они вернулись в поселок Амунда незадолго до темноты. Из-под засыпанных снегом крыш тянет печеным хлебом, в морозном, с редкими снежинками, воздухе стоит девственная, без единого шороха, тишь. Только возле дома Амунда взвыла, почуяв гостей, старая волчица Ильд и тут же замолкла, узнав шаги Гюннульфа, и он

нетерпеливо стукнул в дверь. Он должен сказать об этом старому Амунду, сказать, не откладывая до утра: они привезли с собой девочку. Сказать, что это и есть единственный наследник хёвдинга. Пусть Амунд решает сам, на кого ему полагаться. И еще, конечно, сказать, что кровь святого в этом деле нисколько не замешана, так же как и кровь обезглавленного ярлом Тригве купца: это его, Гюннульфа Скальда, дочь. Сказать, пожалуй, что Кнотт состоит в родстве с духами горной реки и водопада: это они зазвали Сигню к воде светлой летней ночью, они дали ей волю к любви. Ребенок спит у него на руках, закутанный в меховой плащ, и судьба тем временем рыщет среди своих невозможностей и препятствий, и нет у Гюннульфа уверенности в том, что Амунду эта новость понравится.

Старик еще не лег, хотя последние годы привык спать помногу. Он сидит, свесив в дремоте голову, на застланном овчиной высоком стуле, и только волчица Ильд, только она и принимает теперь гостей, тыкаясь влажным носом в заскорузлые ладони. Став на задние лапы, Ильд нюхает край мехового плаща, и этот запах ей давно знаком, ей не забыть его до смерти: запах Сигню! И еще запах ребенка... и запах другого волка... Наконец старый Амунд открывает глаза, улыбается, показывая крепкие белые зубы, тянет к ребенку руки. Он ждал эту весть не один год, он только поэтому, может, и жил. Взяв ребенка из рук Гюннульфа, он бережно кладет его к себе на колени, всматривается в черты бледного, исхудавшего лица, жадно ища с собою сходство, и ребенок, словно и не спал, открывает глаза, неотрывно на Амунда смотрит, и старый хёвдинг вынимает из ножен серебряный, с золотой рукоятью, меч, держит его, словно крест над купелью: вот он, наконец-то, наследник! В голубых, как весеннее над фьордом небо, глазах ребенка светится такая немыслимая даль! Амунд мог бы смотреть в эти глаза остаток своих дней, смотреть и постепенно растворяться, постепенно тонуть, да, нащупывая дно своей молодости... Ему было двенадцать лет, когда он впервые ступил на корабль, и в двадцать он ходил уже хёвдингом на запад, к богатым дичью и лесом незнакомым берегам, и в свои пятьдесят он стал отцом Сигню, и теперь, когда ни жарко натопленная печь, ни тело наложницы его уже не греют, ему приходит на ум, в его седую, уроненную на грудь голову, странное предчувствие: его молодость нетерпеливо топчется на пороге. Там, в темном, морозном воздухе. И у него нет сил выйти ей навстречу и сказать ей всю, какую знает старость, правду. Сказать глядящему на запад хёвдингу, что *ничего*, кроме золота, там, на западе, нет, если не считать смерти. Сказать, что золото и есть смерть.

Нет, это Амунд никому не скажет. Он зовет, свистнув как собаке, старого темнокожего раба, и тот поднимается с пола, настороженно таращится на гостей, семенит боком к хозяину. Его не зовут просто так, с ним *советуются*, от него узнают намерения судьбы: "Станет ли мой внук великим хёвдингом? Отомстит ли за своего обезглавленного отца? Прославит ли святую в своих жилах кровь?"

Темнокожий раб заглядывает ребенку в глаза и тут же отводит взгляд, словно его обожгло, ослепило. Его широкие ноздри зверино втягивают воздух, приплюснутый нос тычется в меховой плащ.

- Это женщина, - хрипло бормочет он, - никакой это не хёвдинг!

Серебряный меч в руке Амунда режет со свистом застоявшийся воздух, зависает над самой головой Грифа, но тот, все так же раздувая ноздри, бормочет:

- ... женщина, не хёвдинг...

Схватив руку Амунда вместе с рукоятью меча, Гюннульф отводит ее в сторону. Он сам все расскажет, затем он сюда и пришел.

- Это моя и Сигню дочь.

Он видит, что Амунд проиграл битву с судьбой, видит, что судьба уже здесь, на пороге, и у нее нет времени ждать.

- Это моя, - повторяет он, - дочь, и она останется у меня, пока не вернется Сигню... если она когда-нибудь вернется. Она, быть может, уже умерла...

- Она жива, - подсказывает Гриф, - но скоро придут волки.

Амунд молчит, уставясь в пламя печи, и стоящий возле двери Йостайн брякает от нетерпения копьём по ножнам меча. Он должен сказать что-то очень важное, ведь это ему первому открылась эта тайна: тайна не имеющей никакого пола влюбленности.

- Малютка Кнотт выйдет за меня замуж!

От этих слов Амунд словно просыпается, его рука встряхивает привешенный к языку медного колокола лисий хвост, и Гюннульф с Йостайном тут же хватаются за мечи. Этот колокол, привезенный с юга варягами, Амунд так и не отдал построившим здешнюю церковь монахам: пусть не тревожат попусту людей. Колокол слышно даже у водопада, и даже спяну дружинник вскочит и прибежит сюда на этот зов. Да вот он... один и другой... тут уже вся дружина!

Схватив с колен Амунда девочку, Гюннульф молча переглядывается с Йостайном, и тот, слыша за дверью нетерпеливые голоса и шаги, спокойно замечает:

- Мое копьё пробьет дорогу обратно.

Он не успел сказать, обратно к смерти или... Копье пробило насквозь кожаный щит, пробило кольчугу, прошло, окунаясь в кипящую кровь, сквозь ярость сражающейся дружины, рухнуло вместе с тяжестью тела на спину коня... Только ночь, только кружащийся в воздухе снег.

Этот конь знает Йостайна, и теперь они заодно: скорее к водопаду и дальше, к едва заметной среди можжевельника тропе, в заселенный троллями лес. Так много можно успеть ночью, так прихотливы ее пути. Йостайн слышит сзади себя фыркание другой лошади: Гюннульф догоняет его. Теперь, в темноте, можно полагаться только на слух, только чутье и выбирает теперь дорогу. Снег лежит на плечах, на залитых кровью космах, на растопыренных лапах елей, снег кружит в слепой темноте, вспыхивая на миг в воровском свете месяца, снег... только снег...

Хельге не раз уже видел этот сон, это настойчиво повторяющееся бегство в холод и темноту. Он знает, что конца этому бегству не будет, и это, должно быть, и есть привилегия тьмы: обходиться без конца и без начала. Она везде, тьма, где нет нужды в свете. Убраны с дороги фонари, затушены свечи. Остаешься только *ты сам*.

Неспеша, придирчиво оглядев Серафиму от босых ступней до посиневших губ, Хельге бормочет что-то: он здесь не просто так, он намерен проверить, велик ли ее страх... Но он видит одно лишь терпение. Она его *терпит!*

Фыркнув, Хельге грубо хватает ее за руку, сжимает в своей медвежьей ладони ее замерзшие пальцы, сжимает так, словно хочет эти пальцы сломать. Но Серафима терпит. Она терпит, и по ее посиневшим щекам катятся слезы. Она смотрит ему в глаза, в голубые прищуренные рысьи щелки, и он наконец понимает: она нечто иное, чем эта боль.

Он отпускает наконец ее руку, его лицо спокойно и ясно. Он наконец вернулся, расквитался наконец с невозможностями своего сна: теперь он дома. В этой мерзлой ноябрьской ночи, в неуверенности этого, в глазах Серафимы, вопроса: долго ли еще так? Долго ли еще ему гнаться, преследовать, препятствовать, жечь мосты и обрубать якоря... проверять, короче, на прочность?

Он замечает наконец олененка: жалкое, прижавшееся боком к стене, сломленное обстоятельствами, оглушенное страхом существо. Хельге подходит, садится на пол, ложится, придвигается боком к животному, кладет ему на спину руку, дает своему носу ощутить влажность лесного дыхания. Эта затравленная смертью жизнь! Он осторожно берет олененка на руки, несет мимо зеркала, оборачивается возле двери:

- Ты можешь поспать и на полу.

Он говорит это *почти с любовью*.

Вот так должно быть все и кончается. Застряв на последнем своем этапе возле занавешенного туманом окна с видом на кладбище, жизнь спросит напоследок: "Была ли ты счастлива?" И отовсюду, от заросших мохом и черникой камней, серых лишайников, прижавшихся к скалам сосен, пенящихся на песке волн, несущихся над островами облаков и кричащих на ветру чаек, отовсюду слышится одно и то же: "Была... была... была..."

Так припадает к остывающей земле мудрость зимы.

Олененок отрастит рога, съест в саду все тюльпаны, обстрижет под корень клубнику, откусит яблоневые почки, потом придут охотники...

Так и не согревшись под душем, Серафима надевает шерстяные носки, махровый халат, обматывает голову полотенцем. Забрать свою подушку - и под рояль. Лежать и слушать, как скребется в кухонном шкафу мышь. И мышь тоже слушает и подбирается к лежащему на полу матрасу, и, осмелев, выдергивает из шерстяного носка торчащую нитку... Теперь, когда уже не обязательно *считаться* с судьбой. Теперь, когда судьба с тобою заодно.

Хельге храпит, обняв рукой олененка, но Серафима знает, что он наблюдает за ней. И луна наблюдает за всеми, протиснувшись сквозь прихотливый узор занавески. Олененок смотрит в темноте на Серафиму, и у него, конечно, есть мнение, мнение рогатого скота: зачем эту подушку куда-то уносить? По мнению рогатого скота, можно всем улечься и здесь, места пока хватает. Вот так, бочком, на самый край постели, лишь бы только не свалиться. Колени к подбородку, спиной к горячему, часто дышащему боку. Вот так, втроем... то есть это не шведский брак, но...

19

В школе имени Доктора ходят слухи о Моцарте: он жив!

Как ему, засыпанному известью в братской могиле, удалось снова пролезть в действительность, а тем более, в частное учебное заведение, не объяснит даже школьный советник Трулс, хотя его долг объяснять *всё*. Трулс объяснил уже много необъяснимых вещей, в том числе и отсутствие у Доктора имени: это нужно для конспирации. Пусть *тайноведение* остается тайным. Пусть никто никогда не найдет брошенные в море ключи.

Но самое лучшее, передать имя Доктора другому, мало ли на свете докторов, и еще лучше, поставить это имя *в ряд*. Стой в ряду и равняйся на главного, то есть на учителя, да, на *Методиста*.

Методист, это не воскресная выдумка плотно позавтракавшего попа, не надутый в уши простудный ветер. Это, между нами, доверительное лицо *дорогого неизвестного друга*. И с этим, дорогим и неизвестным, Методист ловко перекидывается в картишки:

таро!.. таро!.. Как тут не погадать на короля! Король давно уже лыс и беззуб, корона в крысином помете, мантия съедена молью, глаз шарит в поиске новостей по затертому полу лакейской, и самой свежей новостью оказывается *медитация на барской постели*. Со стороны, а это как раз наше с вами место, наблюдается нечто вполне энциклопедическое: мусорный выброс на мировую свалку. Эта заунывность тоски о невозможности жить! Эта ползучая, рассудочно-склеротическая горизонталь!

Оказаться дорогим неизвестным другом, согласитесь, большое удовольствие: вон сколько тебе внимания. А главное, ты теперь не один. Теперь ты многоног, теперь с тебя снимаются бесчисленные копии. Ты путаешь себя, бывает, со *всеми*, и все в один голос орут: я-я-я! И это они, заметь, не о тебе. Это они об *общности*. И ты тоже ори вместе с ними: я-я-я! Ори и не думай о последствиях. Да и что о них думать, о малых-то величинах! Ори навстречу великим иллюзиям: я-я-я!!!

Среди великих на все времена иллюзий есть и *капитальные*, о которых думают не иначе как об абсолюте. Кто усомнится в том, что происходящее в мире должно быть *от мира сего*? Кто усомнится в доброкачественности намерений *навести порядок* в существующем беспорядке? У кого хватит прыти отрицать устремленность к всеобщему благоденствию? От этих идеалов веет захватывающей дух пропагандой, проносимися над миром величественными лозунгами... веет так, что уже не обязательно *осознавать* вокруг себя всякого рода возню. Осознавать, например, смысл футбола. Осознавать неосознанность затраченных на футбол денежных сумм. Осознавать *пониженность сознания* в угоду колотящим мяч ногам. Из этих мячей и состоит ведь сегодняшняя культура.

Культура от мира сего.

С каким негодованием и презрением встречает эту культура всякое в своей ценности сомнение. Как невыносимы ей, как *неудобны* указующие в противоположную сторону истины! Впрочем, какие это для сегодняшней культуры истины? Какие??? Такие, о которых молчат. Которые высмеивают. На которые ставят клеймо: *не от мира сего*. Но дайте же этой побеждающей культуре председательствующее слово, пусть скажет при всех и внятно, чего она, в своих бесспорных победах, хочет. И вот чего: хочет построить один на всех вагон, толкаемый всеми изнутри, из *мира сего*. Эй, почему не едем? Почему, прилагая такие чудовищные усилия, мы только сотрясаем отведенное нам помещение? Или с нашей механикой что-то не так? И механика, будучи гораздо *материальнее* культурологии, тут же примечает ошибку: по ту сторону вагона что-то есть, и оттуда-то, со стороны, и надо вагон толкать. Иначе говоря, все, что *только* от мира сего, совершенно бесполезно!

За какую из своих бесчисленных голов схватилась бы председательствующая культура, окажись для нее возможным узнать, что непосредственно с миром сим граничит... ах, не надо! Не надо втирать нам очки! Мы все как один навалимся на неподатливую стенку вагона! Ух-х-хнем!

Методист давно уже это приметил: даже сказанное самим Доктором можно обменять на синильную, в Докторском стакане, кислоту. Ну, сказал, ну, выпил... он же сам нас об этом предупреждал... то есть мы уже и не помним... кажется, он говорил о кометах... Лучше перекинемся, что ли, в картишки. Вот так, посматривая на *предавшего тайны мистерий*.

Портрет Методиста занимает почти полстены в тесном *внутреннем* помещении позади библиотеки, куда никого не приглашают. Вход туда только по... убеждениям, а они теперь среди учителей редкость. То есть учитель, конечно, *убежден*, раз и на всю свою учительскую жизнь, но только один раз! Он убежден в денежной ценности отбываемых им в школе часов.

Другое дело, те, кому мало обыкновенной учительской власти, власти усидчивости и зубрежки, кто перерос уже в своем властолюбии затертость классного журнала и кофейный запах учительской, кто впадает в белую горячку от одной только

недостаточности *опьянения авторитетом*. Их-то и зазывает Методист к себе *наверх...* и еще выше.

Школьный советник Трулс не советует Серафиме соваться туда, хотя ей и позарез охота сойтись наконец с *необъяснимым*. Сойтись в целях *объяснения*. Сходился же Лютер с чертом.

Пройти через сонливость библиотеки, мимо диванов с вышитыми подушками, мимо громоздкого сундука с флагами для семнадцатого мая, и... нырь в потайную дверь! Вот оно, соитие с тайной! Под скосом крыши, в тесноте и темноте, устроено что-то вроде часовни: несколько жестких скамеек, искусственные розы в медном чане для дров, смазливый портрет Христа Иисуса. Сюда часто пробирается на крыльях скорбного *Dies irae* Моцарт, замирает, вдыхая спертый воздух, перед Его *изображением*, смотрит: ни единой, в тридцать три года, морщины, никаких следов воли или страсти, полная расслабленность. Моцарту ясно без методических пояснений, что Христос Иисус сроду таким не был, *таким* его делает воображение Методиста: таким вот, никогда не взрослеющим младенцем. С младенцами удобно иметь дело: топить котят, пока слепые. Мальчик Иисус, похоже, так и не стал Христом, и в этом суть тайной, от Методиста, методики. Пусть и дальше стада, коллективы и все прогрессивное человечество ищут Христа по *ту сторону* от себя, при этом не уставая повторять: "Не я, не я, не я!" А еще лучше петь хором: "Проворонили! Прошляпили! Потеряли!" Петь о гвоздях и продырявленных ими ладонях, петь о Его смерти. И никто не пустит, распевшись, петуха, не выбьется хрипотой из унисона: "Он здесь! Здесь! Здесь!"

Для Методиста это никакая не тайна, но он не проговорится о том, что Христос Иисус на самом деле никуда и не девался, он теперь перед самым твоим носом. Видишь? Но ты видишь только свой нос. И Методист, хе-хе, именно этого и желает: оставить тебя с носом.

Дорогой неизвестный друг!

Он знается с Методистом уже лет сорок, оба гадают друг другу на таро: долгая дорога, казенный дом... Гадают на фоне Темзы и Манхэтгена, на фоне затоваривания новейшей научной галантереи и околонучной бижутерии, на фоне уценок и распродаж выходящей из моды *жизни*. И хочется дорогому неизвестному другу, чтобы кто-нибудь нагадал ему... побольше денег. "Деньги, - охотно подсказывает Бу Кварк, - есть *единственный* эквивалент нашей культуры. Деньги *дают* неисчерпаемые возможности, и мы вполне уже созрели, чтобы говорить о *денежной свободе*. Свобода без денег столь же невозможна, как мышление без мозга". Кайфующий за *последней чертой* Методист не прочь Бу Кварка тут же и поправить: мозгов при себе давно уже нет, но мыслю, черт возьми, мыслю! Мысль несется, как бешеная корова, наобум, топча ни в чем не повинный космос, несется вместе с солнцем... тсс! Не надо, друг, вдаваться в подробности, допытываясь у строящей соты пчелы, *кто* мыслит эти соты. Надо, друг, верить, что в твоей голове происходит элементарное вычитание, когда ее сносит ветром с плеч. И сам ты тут не причем, ты только рассыпающаяся на части матрешка.

Но дайте же неизвестному другу денег!

Моцарту было в свое время любо смотреть, как деньги *горят*. Он сжигал их пачками, не считая и даже не проверяя на подделку, сжигал, *играя*. Сжигал как мусор. Ради своей безденежной свободы. Потом, правда, эту безденежность присыпали в братской могиле известью: ну что там от него осталось... Осталась наскоро, *бездумно*, написанная музыка. Да просто свалившаяся с неба, успевай только записывать... и можно было бы ничего и не записывать, оно ведь никуда не денется, то, что от духа. То есть не от мира сего. Вот она откуда его беспечность. Его необеспеченность.

Под самым скатом крыши, под толстыми балками, можно рухнуть в темноте на застланную пуховым одеялом постель, вдавиться носом в вышитую подушку, принюхаться... и ничего, что запах чеснока перебивает тут запах пыли, главное, тут всегда темно. Темно, как в вегетарианском желудке только что пообедавшей Стефании Ибсен,

темно, как в загруженной на зиму силосной яме. Ест Стефания, впрочем, у всех на виду, в учительской, и все знают, что у нее там, в тазике для мытья посуды: *цикута*. Никто, конечно, не пробует, даже не нюхает, но всем нравится на это смотреть: как эта Цикута жрет! Это ее настоящее имя, вывезенное, как и настоящий греческий нос, с Ситии. Вегетарианство, правда, у Цикуты здешнее, экологическое, и никто не рискнет обхватить ее занавешенный клешевой юбкой зад. Окажись у ветра доступ в учительскую, он бы немедленно задрал порхающий сценический клёш, немедленно приценился бы: даешь?.. не даешь?.. С этим даешь-не-даешь сжился до хрипоты, до заикания школьный хор, хотя что с него, хора, взять. Хор стоит, босиком и по стойке смирно, рты ловят непонятные слова, глаза следят за движениями греческого носа, этого трехэтажного, с двумя горбами, сооружения, совершающего в пространстве зала дирижерские трюки. Нос у Цикуты вполне профессиональный, им проткнуты два аттестата и четыре диплома, не говоря уже о пачке перехваченных в каком-то музее писем, из которых вот-вот соберется *научный труд*. Кстати, это письма Моцарта. Не дотянув до старости, он успел-таки разоблачить самого себя: он был... человеком! Какая досада. Нет чтобы скромно оставаться *солнечным гением*, каким его знают энциклопедии! Нет, он то и дело меняет на самого себя точку зрения, заходит то с той, то с этой стороны, то снизу, то сверху, а то и просто взлетает на ветку и... поет! "Пусть май придет, и снова..." И в этом своем майском ракурсе Моцарт особенно подозрителен: тут все наспех, все налету... Он кружит голову роящимся вокруг него духам, и нет более мерзких, более отталкивающих рож! Он с ними на ты, и он зовет их Рождением и Смертью.

Цикута узнала из писем Моцарта кое-что и о благоденствии: оно оказывается последним актом комической оперы, где все наваливаются друг на друга в экстазе эгоизма. И в этом финальном tutti выясняется со всей очевидностью, что только ненависть, ненависть и ненависть, *ненависть к жизни* и толкает вперед механику прогресса. Должно быть, уже тогда Моцарт сговорился с духами Рождения и Смерти: заключил с ними пакт о ненападении на *прекрасное*. Пусть прекрасное манит и дразнит, пусть расхищает ресурсы, пусть строит до неба вышки. Оно абстрактно, прекрасное, оно не делает дел. Можно поэтому сколько угодно кричать о прекрасном будущем: придет ведь только опустошение. И оно, Моцарт это знал, придет. Знал и не отводил взгляда от невыносимо гнусных, ужасающих рож Рождения и Смерти.

Это последнее обстоятельство и предназначен *скрыть* научный труд Цикуты. Скрыть так, чтобы даже у новорожденного младенца не мелькнуло догадки: "Меня впихнуло в мир ненавидящее жизнь существо!" Чтобы ни один сумасшедший, не говоря уже об *ученых*, не выкрикнул на весь мир: "Содействуй разрушению! Это и есть железная необходимость!"

Научный труд Цикуты не был бы вполне научным, не окажись в нем остроумной методологической уловки: приравнять вегетарианский тазик с капустой к *сладострастию* считать себя вегетарианцем. Разве не хочется ученому хорошо *выглядеть*? Или: *выглядеть хорошим* человеком?

Бывает, Цикута читает письма Моцарта вслух, в кофейном чаду учительской, читает, как выносящий обвинение прокурор: этот *проигравшийся* Моцарт! Этот, сошедший с рельсов: у него не оказалось напоследок даже *своего гроба*. Один только Симен, слыша это, радостно кивает: ничего, совсем ничего! Быть бабочкой, поденкой! Симену некуда возвращаться вечером из школы, и он идет поэтому на пристань, садится в старую деревянную парусную лодку. Плыть ему тоже, впрочем, некуда, и он сидит до утра в заваленной книгами каюте, и ему кажется, что он спит... и просыпается он уже в школе, возле компьютера с загулявшими в бесконечности ветвями парабол. Да вот он, Симен, в войлочной, от рождественского нисса, шапке и с рюкзаком, он идет, не дыша, мимо пластмассового вегетарианского тазика, а там... страшно подумать! Чеснок, сельдерей, петрушка, тыква, репа, свекла, морковь, капуста, редька, огурец и вывезенный с Ситии жгучий перец. Страшно подумать, что все это, пробившись через тонкий и толстый

кишечник, станет... воздухом. Не дышать, не нюхать! В ушах у Симена плеск волн, под ногами качающийся пол каюты, во рту остатки зубной пасты. Он не так еще, Симен, стар, в свои двадцать четыре, и он тоже поет в вегетарианском хоре Цикуты. В запахе чеснока, в огне и желчи жгучего перца, как тут не заорать во все горло: "Денег! Денег! Денег!" И если сегодня хор поет на полторы кроны, то завтра Цикута выжмет пять, десять, сто...

- Поем Моцарта *на все деньги!*

Даже не верящему ни в какой энтузиазм Симену порой начинает казаться, что сам он, скромный ассистент учителя математики, вот-вот *гиперболизируется*, нарушая границы соседствующей с математикой поэзии, вот-вот рванет, босиком и в войлочной рождественской шапке, следом за Папагено... Эй, куда!.. постой!..

Дети, а они тут, в школе имени Доктора, почти с пеленок, понимают, что детство у них денежное, и что "я другой такой страны не знаю", и что когда тебя возят туда и обратно на мерседесе, ты вполне уже готов... готов всосать в себя еще больше *того же самого*.

Больше того же самого! В этот лозунг предыдущих поколений детей пеленают с рождения, перевивая им пупки и предупреждая детские болезни. Больше надбавок и кредитов, больше *покупательных способностей!* Но главное, себя самого вовремя *продать* и *подать*. Продать себя множась без твоего участия цифрам. Подать себя как свиную котлету: всестороннюю, позитивную, ответственную.

Дети глазают на ключья пришитой к вегетарианскому животу модной овчины, пересчитывают нанизанные на все десять пальцев и продернутые в уши кольца... рубины, сапфиры, бриллианты... в глазах рябит, как в разбитом калейдоскопе... Дети думают, что Цикута переодетая ведьма и что под широкой красной юбкой у нее плешивый хвост, и что жирно зачерненные веки черных греческих глаз, черные губы и черные, прикрывающие широкий зад волосы и есть приметы колдовства. Цикута поет вместе со всеми, осаживая своим сытым сопрано ломающиеся альты и малокровный писк фальцета, и Симену бывает страшно обнаруживать вдруг свой бас, вдруг его примут за мужчину... Товарищ Бекштейн, не будь он роялем, давно бы провалился сквозь пол, но он стоит, слушает. Слушает, как Цикута *выводит*. Выводит на все имеющиеся у нее деньги, включая стоимость нового "Рено" и трехэтажной дачи на Ситии, выводит доставшимся ей от Геры, Афины, Деметры, а также от Аполлона и Диониса, голосом *денежные знаки*. Бекштейн, не будь он роялем, согласился бы, что это так профессионально: вот так, *выводя*, голосить. Но Бекштейн хорошо темперирован, а это ко многому обязывает: страдать от безголосия, от *безгармонии*. Этот черный, поди в нем разберись, ящик.

Отдыхая наверху, в библиотечном закутке, от Моцарта, Стефания Ибсен-Цикута активно медитирует, и к ней, вмявшейся в пуховое одеяло, слетаются со всех сторон дежурные ангелы, среди которых больше всех хлопает крыльями Изя Шулер. Младенчески голубоглазый, с седеньким пухом на диабетической лысине, Изя порхает в густонаселенном, около ее носа, пространстве, толкая других ангелов толстым профессорским портфелем. Толкаться и порхать, выражая свою живучесть в *условных единицах*, есть первое, а также последнее, условие академического времяпровождения: ах, небеса!.. ах, безоблачность!

На безоблачном небе Изя Шулер застрял раз и навсегда, и нет такой бури, такой грозы или шторма, которые спихнули бы его вниз. И даже если бы занимаемую им высоту понизили в ранге, его многочисленные ученики немедленно бы эту высоту собою подперли: не ронять же им учителя! Уронишь, и сам окажешься ничем.

Попасть в ученичество к Изе Шулеру не хочет только очень большая наивность. Наивность *музцирования*. Где вы, наивные? Где вы, еще не раскатанные послушанием блины и лепешки, еще не спекшиеся в жире успеха, в масле карьеры? Таких на примете у Изи нет. Зато есть на примете заинтересованные в *результатах* родители, и результаты эти слагаются из многолетних и настырных денежных взносов: отчислай и получай! "Вот, - думает, елозя по Мендельсону, ученик, - сколько за меня дают! Во что вам обошлось

Ваше образование? А вам? Вы так похожи на своего учителя, ну просто копия! Приятно ведь, скажите, оказаться копией, тут не к чему придраться! Копия и есть, между нами, совершенство!"

Только не надо музицировать, не надо.

И кто же как не родители осуществляет столь необходимую в копировальной рутине *казнь*! Зря они что ли тебя за свет производили? Не зря: ты окупишь рано или поздно воспитательные затраты плахи, будучи *чем-то*. При этом не обязательно чем-то *становиться*, важно быть, раз и навсегда. И самое главное, не музицировать.

Приводя к Изе Шулеру пятилетнего, еще играющего в прятки с ангелами, еще не имеющего *своих* зубов ученика, родители охаживают себя кнутом придуманного Изей лозунга: "Даешь денежное потоотделение!" Лозунг сам по себе всем хорошо знаком, и если кто-то еще не понял его в буквальном смысле, пусть глянет, что у Изи Шулера подмышкой: пот! Настоящий, всамделишный профессорский пот.

Пот есть отличительный признак школы, и плоха та мать, которая не вдолбит четырехлетнему: "Работай, трудись, потей!" Эти четырехлетние, да, годовалые пролетарии! Им нечего, кроме своих цепей, терять. Но школа Изи Шулера тем и сильна, что цепи эти на всю жизнь. Смотри, как эти малютки друг на друга похожи! Эти, *проходящие* обучение. Им не рвать удила судьбы, не задавать судьбе лишних вопросов. На все вопросы, в том числе и лишние, заранее дан ответ: "Делай так, как Изя Шулер!"

Малолетние пролетарии, угодившие в капкан "молодого таланта", в капкан этой вечной незрелости, вечной зависимости и подчинения, не помышляют, конечно, о *своем* Моцарте. И то, что они перед Изей *разыгрывают*, нисколько не выпирает из мерзнувшего на стене портрета, плоского, подернутого пылью отражения несостоявшейся о Моцарте мечты. Белый парик, рукава в кружевах, никто ведь ничего другого о Моцарте и не скажет, ну, еще красный камзол, башмаки золотые, ну еще масонские долги... И Моцарт, признавая во всем этом свой труп, потихоньку выходит из класса, покидает это кладбище, эту заунывную педагогическую мессу.

Тот, кто успел научиться у Изи Шулера *всему*, мог бы и бросить играть на скрипке. Сажать, скажем, картошку, развозить по магазинам зубную пасту, да просто ничего не делать. Но нет, он *обязан* на скрипке играть! Играть всю свою проклятую жизнь! Играть до полного с этой жизнью сведения счетов, до полного в ней проигрыша. И даже став мертвецом, а многим удается это уже в подростковом возрасте, ты все равно исполняешь, исполняешь... и никак не может в тебе это исполниться, не берет тебя эта музыка. Ты потому и профессионал, что неуязвим.

Порхая перед греческим носом Цикуты, профессор Изя Шулер нет-нет да и щипнет вылезший из ноздри волосок: "Помнишь?.." Цикута злопамятна, как ей не помнить: холодный музейный ад Питера, кэгэбэшники, прокуренное консерваторское общежитие. Изю командировала в Питер нужда, Цикуту - греческие черные полковники. Нужда Изи была из рода той интеллектуальной неудовлетворенности, что делает мир кислым, а тебя самого усердным. Усердие, усердие и еще раз усердие! Будешь хорошим мальчиком, тебя возьмут в Израиль.

Нужда подсказала Изе, как лучше обустроить свою биографию. Начать ее следовало с объявленной Сталиным мобилизации всех имеющихся в стране вундеркиндов. Их свезли в Москву, шустрых и сонных, сопливых, рахитичных, щербатых, краснорожих, косоглазых, перекормленных и недоедающих, свезли с единственной целью: показать вождю перспективу отечественного искусства. Вождь, не будь он Сталиным, и сам знал, что перспектива у искусства только одна, кладбище, но посмотреть на *деток* было приятно: сколько дармовой рабсилы! И детки, один за другим, пилили на своих игрушечных скрипчонках, и никто из них не умер на глазах у вождя от солнечного, например, удара. Сталину это показалось подозрительным, и он похвалил только двоих, и только потому, что оба надули при нем в штаны.

Об этих своих мокрых штанах Изя Шулер спел впоследствии много песен, он помнит их и теперь. Песни об *учительствующем страхе*. Страх оказаться на обочине, страх оказаться без денег, без *всего*. На этом страхе можно ехать всю жизнь, погоняя его еще более эффективным страхом: страхом одиночества. Вот что действительно невыносимо: ни в каких зеркалах не отражаться, никаких следов не искать и не оставлять. Вот где должно быть полюс холода. Брррр!! Поскорее залезть в ванну, стать вареной сосиской! Впрочем, есть куда более надежный способ отделаться на какое-то время от страха, и Изя не был бы Шулером, если бы не догадался об этом сам: страх мгновенно забывается, когда тебе *суют*. Суют ученики и их родители, сует государство, сует благодарная публика.

Суйте, люди, не стесняйтесь!

Не раз Изя видел этот страшный из детства сон: он стоит перед коротышкой Сталиным, перед этим вождем-гигантом, в детских, до колен, штанишках, и дует, дует... и Сталин коварно усмежается, шевеля кавказскими усами. За это ведь могут арестовать-сослать-расстрелять! Изе жаль себя как профессора и пятилетнего вундеркинда, жаль свою под чужими небесами карьеру и свою похожесть на бриллиантового скрипичного короля: ой, страх как похож! Оба любят деньги и не любят Германию, поскольку там все еще говорят по-немецки, на том же, что и Гитлер, языке. Ой, страх! Оба любят называть Шостаковича "дружком", оба читают одного только Бабеля. У обоих к тому же диабет. Дело идет к тому, что их скоро вообще перестанут различать: ой, этот бриллиантовый страх! Этот атласно переливающийся бархат, одевающий без разбора Гайдна и Прокофьева, эти бархатные технологии! Пощупай пальцем, это не воздух, не дух... это дорогой, очень дорогой бархат.

Там, где речь заходит о *духе*, где бодрствует на руинах умирающей материи мечта и предчувствие, где фантазия вышибает заколоченные двери и распахивает окна, там начинается запретная для Изи Шулера зона: туда его бархатная технология никого не зовет. Бархат ложится колючей проволокой, виртуоз становится канатоходцем.

В промерзшем музейном Питере порой натыкаешься на свою же бездомную тень... и куда ее только несет! Привалившись к колонне Эрмитажа, тень ежится на сыром ветру, и нет ей дела до озабоченных зрелищами туристов, и только забытым в веках атлантам, этим голым дурням, только им и понять, что прибило эту тень к терпеливому граниту. Эта тень *человека*! Атлант не прочь уступить бездомной страннице подпираемое им гранитное небо, проверить, дрожат ли плечи, сводит ли колени, да просто отделаться от ноши. И тени это льстит, ее принимают всерьез, и мимо тяжелых колонн, мимо оставленных без питья и хлеба могучих тел несется вслед ветру: "Я-я-я-я-я!!!"

Этот крик Изя услышал на галерке Мариинского, когда на далекой, внизу, сцене взорвалось желчью и жгучим перцем колоратурное греческое сопрано. Вот так, совершенно неприлично и вызывающе: "Я-я-я-я-я!!!" Колоратура, само собой, это только мишура, нанизанные на нитку опасные пассажи, каждый из которых в отдельности ничего не значит, и не надо специально становиться дураком, чтобы озадачиваться смыслом выдохнутого... вдохнутого... да какой тут, в самом деле, смысл! Тем не менее, Изе показалось это подозрительным, это раздражающее пасть "Я-я-я-я-я!" Втянув натертую скрипкой шею в поставленный дыбом воротник комсомольской, из стройотряда, курточки, Изя проникся страшным, ой, беспокойством: возле самого его горла, под отшлифованным скрипкой подбородком, блестит лезвие ножа. Нож, впрочем, кухонный, выщербленный посередине, с засаленной ручкой, гадкий такой нож, им не убьешь, разве что расковыряешь... А внизу по сцене растекается желчь, в лиловой хищности рта, в черных провалах глаз, в напоре вздыбленных под красным атласом грудей.

Цикута.

Он ринулся к ней с галерки, забыв на сидении скрипку, забыв даже о страхе перед мертвым товарищем Сталиным, и тот, конечно, это отметил, погрозив Изе из ада привешенным между ног указательным пальцем. Но Изя... он уже на сцене, в запахе

чеснока и перечного пота, и вся, какая есть в его членах, синильная кислота грозит стать последней каплей яда... яд!.. ад!.. Он только чудом тогда не отравился, и чудо заключалось в том, что Цикуту увел со сцены прилично, в отличие от Изи, одетый, достаточно уже древний грек. Эти древние... эти болтливые, разогретые куплей-продажей мумии. Изя хотел уже было оторвать клочок атласа от крутого, как брачный контракт, зада, но Сталин строго предупредил из ада: "Никакой любви к иностранцам!" Он сказал это с убедительным кавказским акцентом.

Забытой на сидении скрипке пришлось выслушать от Изи длинную, смахивающую на донос, жалобу. Вот ведь, какая скверная судьба, выталкивающая тебя с родных просторов на чужие, денежные. Успеть бы только прихватить с собой работоспособную бабушку и кастрированного кота. Но главное, нащупать верную денежную единицу, верную тебе до гроба. И уже хвалит Изю из ада Сталин: "Верность нашим, нашим и только нашим принципам!"

Нагнав Цикуту на самом краю анемичной, психушечной Европы, на берегу замерзшего фьорда, Изя Шулер галантно представился: он из той же, что и она, кэгэбэшной лохани. И в ответ на него знойно дохнуло еще до конца не истребленное чесночное бабье лето: желчи!.. перца!.. денег!.. Он нагнал Цикуту, чтобы спросить, согласна ли она... Согласна ли с тем, что эта материя, перец и желчь, не говоря уже о деньгах, составляет основу *регулярного* праздника жизни: материя *праздности*. При всей твоей занятости, при всем многоножии твоей суеты, ты, по сути, ничем не занят! Заняты твои руки-ноги, ну, приспособленная к счету голова, но *ты*... Ты празднуешь безделье при самом прытком перепроизводстве, ты сидишь на мели и никуда тебе не плывется. Твои жабры напрасно гоняют туда-сюда влагу, твой трудовой пот, и в регулярности твоего потения юрист узнает проделки попа: тут всё сплошь служебное. Служба и точка.

Праздность создает союзы и партии, сколачивает секты и клубы "по интересам", но больше всего ей, праздности, раздолья на *общенациональном*. Все машут флажками, все кричат одно и то же. Вот тут-то ты, будучи иностранцем, и сливаешься наконец с подвернувшейся тебе родиной: машешь своим новым паспортом, водительскими правами и счетом в банке. Машешь и считаешь в уме: раз-два-три-четыре... и у тебя уже все, что полагается, есть, включая кредит на два миллиона и умную, тоже умеющую считать, жену. Но все это остается недействительным без настоящей, всамделишной *зависти соотечественника*, хотя бы одного знакомого или дальнего родственника, не говоря уже о зависти *повальной*.

Изе Шулеру завидуют *все*.

Три раза в год, на рождество, пасху и семнадцатое мая, Изя привозит в школу имени Доктора подростковый, никогда не взрослеющий оркестр: штук двадцать девственниц из Осло, с одинаково выщипанными бровями и вскормленными хамбургерами и кока-колой эстетическими представлениями. По-сталински, сверху вниз, глядя на эти, превосходящие его ростом и силой *объекты*, Изя сует себе в рот диабетический пряник и лупит девственниц кнутом: "Ну давай же, давай!" Пряник во рту тает, кнут охаживает оштукатуренные морды и жирные ляжки. Дисциплина и усердие. Восхищение и послушание. Ой, страх!

С этим оркестром девственниц трижды в год схлестывается погоняемый Цикутой босой школьный хор, в акте двойного, помноженного на акустику зала, насилия. Вот он где, праздник. И ничего, что девственниц так мало, а всех остальных, наоборот, много: еще не известно, кто кого. Известно только, что маэстро тут всего один, Цикута, она же Медуза Горгона, Гера-Афина-Артемиды-Деметры и просто вегетарианская фурия, спроси у любого в школьном хоре капустного кочана. Даже консерваторский профессор против нее... не то чтобы Изя, но и того меньше. И не ей, Цикуте, слушать эти про раз-два-три-четыре сказки, Изя Шулер как был, так и останется при своих детских в общем-то интересах: *положение плюс деньги*. Нет, этот олух никогда не повзрослеет! Сколько раз, заглядывая к нему в консерваторский класс, Цикута заставляла его слушающим самого

себя: стоя у окна с видом на чистелький, приличный Осло, Изя *внимает* рвущейся из плейера виртуозности, и мнится ему, что он и есть, ой, страх, тот самый... то есть сам не свой... "Дурак", - думает всякий раз Цикута и вслух говорит, что стало еще лучше, лучше, чем в прошлый раз... и Изя охотно ей верит. Это и есть тот самый праздник, ради которого стоит жить долго: праздник покинутого душой ума. Теперь-то наконец, налегке, ум *самостоятельно* оценивает ситуацию, и выходит, что без души даже вольготнее... да ну ее совсем! От этой души одни только *душевные* болезни, тогда как ум всегда здоров. Вот она, гигиена будущего! Умные бездушные музыканты, бездушно-умные ученые. Умный, умненький, умнейший успех.

Распродаваемые у входа в церковь билетки кричат о лучших, самых лучших рождественских, пасхальных, майских намерениях: накормить музыкой до отвала. Голодному есть смысл иметь при себе зубы: скалиться на бетонный, утыканный железными абажурами, потолок, кусать последние, дистрофичные об архитектуре понятия, сплевывая их в писсуары-ниши с пластиковыми фигурами святых, грызть нависший над половиной зала авангардный балкон и вытолкнутую в проход прилавок-сцену... Да, голодному тут место.

Кое-как одолев горы распродаваемых у входа тортов и пирожных, голодный попадает наконец в *атмосферу музыки*. Наконец-то! Теперь можно как следует надышаться, надышаться впрок, урвать вместе с кислородом озон недоступных высот. И ничего, что бетон потолка экономно приближен к ламинату пола, ничего, что железные абажуры нанизаны на одетые фольгой вентиляционные трубы... Ничего! Главное, ты в атмосфере музыки.

Цикута в черном, в залитых черной тушью глазах восторг темноты, черные губы цветут *указаниями*. Кто тут еще не спелся? Становись, стройся, равняйся! Не веришь в дисциплину, спроси черных полковников, спроси, наконец, товарища Сталина: в искусстве должен быть полный порядок. Как на кладбище.

- Поем Моцарта, на все деньги!

Двадцать девственниц из Осло разом ведут смычки туда, разом обратно, отсюда и досюда, их ничему другому не учили... не учили выбиваться из строя. Окажись среди них загулявшая в космосе комета, она бы немедленно сгорела от вселенского стыда. Но девственница из Осло всегда холодна. Она тарашит, под выщипанными бровями, ученический, всегда только ученический, взгляд на Изю-дирижера, ей бы не сбиться, не пискнуть лишнего, *своего*. Но самое главное: никогда, ни при каких обстоятельствах *не музицировать!*

Голодный, бывает, справляется у своего голода: "Откуда ты вообще взялся?" Ведь никакая праздничная, рождественско-пасхально-майская регулярность не располагает к тому, чтобы *так* голодать. Так голодает лишь отдельность и частность, нисколько не заботящаяся об общих местах. И в этой мистерии голода обнаруживается та жадность воли, которой нет уже дела до расстояний: "Я иду!"

В одном строю с девственницами, Изя тоже водит, туда-сюда, смычком, и водит не напрасно: в кармане гремит государственная мелочь. Бывает, сунешь руку в брюки, и сразу тебе становится сладко, несмотря на диабет. И от имени государства, от имени рождества, пасхи и семнадцатого мая Изя строго на девственниц наезжает: "Вашу-то мать..." Он говорит это в самые свои высокие художественные мгновенья, и на него веет сырым музейно-кэгэбэшным Питером. Веет так, что сам он оказывается на галерке Мариинского, рядом с забытой на сидении скрипкой... и нынешняя, с черными фонарями вместо глаз, Цикута подмигивает ему, трясая жирным животом перед замершим по стойке смирно босым хором. И в этом общем деле *растления* неуживчивой подростковой свободы, защиты ее от *жизни*, от света и воздуха, есть привкус гораздо более высоких, чем хлебная зарплата, гонораров: тут платит наличными смерть.

В перерыве, с венскими булками, сосисками и кофе, Изе звонит из Америки *самый большой в мире учитель*, Буся-Миша-Яша Перл, *прикованный* к рузвельтовской коляске

теми же рузвельтовскими цепями: славой, деньгами, властью. Коляска везет Бусю Перла, разумеется, на кладбище, но сколько жизней он уже передал! Сколько дарований переехал! Дарование, вот что вызывает у Буси вечное ощущение голода: свежесть таланта, сок юности, аромат жизни. И аппетит у Буси таков, что жрать ему приходится без перерыва на обед, он жрет даже во сне. Жрет и делается сдобным, изюмным, кардамонным, высококалорийным. И нет такого в мире ученика, которому не хотелось бы у Буси Перла учиться: хотят все. Другое дело, если у тебя нет никакого вызывающего аппетит дарования, если ты уродился в... самого себя. Тогда ты просто сидишь дома, а другой в это время гложет нотные ребусы и кроссворды, заботливо подсунутые ему ухмыляющейся на коляске образиной: ну-ка, птенчик, сыграй! Птенчик, само собой, ни жив ни мертв, так велик авторитет безногой образины, авторитет этой рузвельтовской коляски. Птенчик готов отдать за любой из этих ребусов-кроссвордов свои ножки-ручки, не говоря уже о птичьей головке, которая у него одна. Птенчик знает: он лучший из тех, кто летит через океан, в Америку. Лучший в своем, лучшем, роде. И не надо путать этот род с мужским или женским: это род *играющей машины*. Весь мир при желании можно перевести на рельсы такой вот игры: учитель крутит ручку, шестеренки вертятся, скрипя. Учитель знает из школьного учебника: кто-то крутанул в свое время туманность, а может, просто рванул динамитом, и из нее выпалили на свои орбиты ручные, послушные законам природы планеты. Учитель подозревает, что в этом теракте замешан он сам... тсс!

Ученики знают от Изи Шулера, что сидящий на инвалидной коляске урод и есть *предел педагогики*, ее вершина и пик. Хочешь взять займы у своего же будущего? Подсунуть себе же неоплаченный чек? Сделать себя должником выжигающего тебя до тла успеха? Играй, птенчик, играй, и пусть не смущает тебя твоё подростковое ожирение и малокровие, твои от избытка усердия прыщи, твой раз и навсегда сломавшийся голос. Придет время, ты тоже сядешь, как Буся Перл, на рузвельтовскую коляску, смажешь ее жиром властолюбия... или сластолюбия?.. Тут даже Изя Шулер путается. Потом приходит старость и смерть, хотя по паспорту тебе лишь двадцать пять...

Буся-Миша-Яша только что отъехал на коляске от зеркала и газанул прямо на сцену, к разгневанному Бетховену. В зеркале осталась толстогубая, шоколадная, облизанная болтливым языком ухмылка, суетливый, крикливо зазывающий прохожих и покупателей взгляд: "Сюда! Сюда! Сюда!", а также *тело*, истощенное, развращенное, пресыщенное умиранием *тело мясочника*.

Разгневанный Бетховен встречает Бусю Перла вопросом в лоб: "Ты опять здесь?!" Бетховен глух и ростом всего метр пятьдесят, но гнев у него настоящий. Он не отдаст сластолюбивой мясочной похоти свой зеленеющий майской травкой ре-мажор. Не отдаст весну кланчушему, принаряженному перед зеркалом уродству. Уроду мало, чтобы коляске уступали дорогу, ему надо, чтобы его уродство считали нормой. Чтобы у него учились. Но Бетховен, нет, он не сойдет на обочину: нахлобучив на синие буравы глаз мятую шляпу, он прет напролом, и коляска откатывается со сцены задом наперед, набирает в проходе скорость, вламывается в перепуганное насмерть зеркало... Краххх!!!

- Это дискриминация, - торопливо соглашается Изя, - иудофобия, об этом надо кричать в газетах... да, да, кричать!

Кричать надо так, чтобы не было сомнений: кричат деньги. Иначе кто же поверит. И если бы в мире не осталось ни одного антисемита, евреи сами бы ими стали, поскольку у каждого из них антисемит сидит в крови. И хотя кровь по-прежнему расположена к диабету и не выносит свинины, в ней нет-нет да и прошелестит еле слышное: "Пора, ребята, разьебреиваться!" Пора вот уже две тысячи лет, пора наконец сообразить, что никакой другой задачи, кроме как дать тело мальчику Иисусу, евреи решать не избраны. И они, для этого избранные, свою задачу давно уже выполнили, и нет больше никакого смысла им оставаться евреями. Нет смысла огораживать пустыню бетонной стеной и торговать концлагерными дневниками своих прабабушек. Нет смысла затмевать луной солнце.

- Но это же антисемитизм!!!

Изя снова сует руку в брюки, перебирает мелочь: шесть, семь... одиннадцать тысяч... У рузвельтовской коляски, что под Бусей Перлом, сегодня юбилей: ей стукнуло восемнадцать. Восемнадцать колесных лет. И хочется Изе что-то приятное для колеса сделать, что-то нужное и простое, и он находит в кармане наощупь полтинник, мятую зелененькую бумажку, заминает ее в руке... он сомневается, не слишком ли это много... Надо спросить умненькую жену, она знает: еврей еврею друг, товарищ и брат. И если друг оказывается вдруг на юбилее собственной инвалидной коляски, ему можно ведь и послать... да просто послать его, друга, брата и товарища... А впрочем, времени уже нет: на балконе, разинувшем пасть на ползала, мерзнут в ожидании Моцарта фиолетовые, зеленые, голубые и розовые ангелы. Их прозрачные ночные рубашки согревают разве что воображение, да и то заранее подогретое купленным у входа кофе. Ангелы ждут и надеются, примеряясь к отделяющей балкон от сцены высоте: вспорхнуть!.. пронестись!.. "Пусть май придет и снова пусть рощи расцветут!.." Улететь с этой песней за пределы функциональной акустики, царапнув заросшие плющом скалы за стенами церкви, задев верхушки сосен и рваные края облаков... Пусть май придет! Фиолетовые, зеленые, голубые, розовые лепестки.

Сунув мятый полтинник обратно в штаны, Изя с облегчением думает: "Пронесло!" Музыканту, с его мягкой, улиточной душой, нелегко совладать с порывами щедрости. Умненькая жена вытряхнет из штанов мелочь, всего-то одиннадцать тысяч, и, уперши окольцованные лапы в подушечные бока, строго на Изю рыкнет: "Остальное?" И он примется шарить, нащупывать, выковыривать... и наконец, сбившись с коротышечных ножек, в поту и на грани инсульта, сомнет в руке проклятый полтинник...

Замерзающие на балконе ангелы слетают, один за другим, на сцену и бросаются прямо в огонь, в бушующее над роялем пламя. Зеленые, фиолетовые, голубые, розовые ночные рубашки! И Моцарт, затеявший весь этот пожар, машет Серафиме напудренным париком, присаживается рядом на плюшевую скамью, вытряхивает из золоченного башмака столетнюю пыль. Он не прочь, Моцарт, перевернуть нотную страницу, не прочь подсобить, нажав на басовое "ми", не прочь даже подыграть... он тут ненадолго, мимоходом.

- Превосходно... - с негодованием шипит Изя на ухо Цикуте, - ... превосходно, превосходно!

Он чуть было не прошипел "музыкально", но язык на это не повернулся, и вышло только "профессионально". В этой бетонной мышеловке с функциональной акустикой. Слетевшиеся к Серафиме ангелы, фиолетовые, голубые, розовые, зеленые, тормозят прозрачными крыльями слежавшуюся серость дисциплины и страха: пусть май придет! И хотя все это против правил, против регулярности сырой погоды, у людей в зале закрадываются сомнения: "А вдруг в самом деле придет?" Вдруг этот май никуда потом не уйдет?

- Она тут временно, - шипит в ответ Цикута, - она тут *никто*!

Обычно Цикута не здоровается с Серафимой, да просто, едва заметив ее, не замечает. Уметь не замечать, даже столкнувшись возле учительской кофеварки, завидное профессиональное качество. Какой ты без этого профессионал? Только так и складывается школьная субординация, иерархия чинов и положений. Ректор Тина, к примеру, здоровается только с английской королевой. Она не кивнет даже Моцарту. Собственно, кто он ей?

Не замечая Серафиму почти уже год, Цикута обнаруживает вдруг, прямо тут, на сцене, что пустовавшее столько лет возле рояля место... занято. Изя это тоже замечает: хоть это и не товарищ Бекштейн, но обычная в бетонных мышеловках "Ямаха", но рояль *звучит*! Звучит вопреки функциональной акустике. Вопреки невозможности наступления прекрасного месяца мая.

Обычно на пустом возле рояля месте сидит Аластер, на коленях у него кейборд. Рояль, разумеется, в шоке, в нервном расстройстве, на грани самоубийства: к нему подбирается, с пилой и молотком, крутожопая зимбабвийская обезьяна. "Права человека! - гнусавит кейборд, - Больше человеческих прав! Еще больше! Еще!"

Право кейборда считается роялем. Право обезьяны считается человеческим предком. Право английских баранов считается королевскими.

Аластер перепуган и смят, как застрявшая у него в кармане программа концерта, в которой сразу после ректора стоит он сам, Настройщик: в программе это *звучание* не предусмотрено. Ведь вроде бы он *настроил* эту проклятую "Ямаху", но инструмент... звучит! Аластер уверен, что в природе месяца мая вообще нет, и даже если он когда-то и был, то теперь это всего лишь предрассудки: в природе есть только *семнадцатое мая*.

Этот испуг, покрывающий лысину липким потом, сам Аластер склонен считать... вдохновением: включай кейборд, лови, пока не поздно, Моцарта за руку... за крыло! И не надо понимать всё так буквально: мы говорим "Моцарт", но имеем в виду присыпанную неизвестный труп известь.

20

В лесу, у дороги, возле поля начинаешь наконец осваиваться с давно заждавшейся мечтой о собственном *отсутствии*. И нет у этого отсутствия даже тени, даже затоптанных временем следов: одно лишь верное тебе "нет".

"Нет", обращенное к тебе своим мягким, сияющим "да".

Никто не знает, что Серафима здесь, никому это не интересно. Никто не позарится, не сглазит, не украдет суверенность этого одиночества, не желающего ставить себя в сравнительный ряд: этот и тот, так и сяк. Здесь есть только *ты*. И никто тебе в мире не завидует.

Ранней весной, когда возвращаются на берег фьорда серые гуси и солнце одолевает наконец преграду леса, время садится у дороги и ждет... Но что может стать для времени вестью?

В лесу светло и пусто, сухие ветки, мох, пожухлая прошлогодняя листва. Орешник еще не пылит, и снег в тени еще не стаял, но в воздухе уже цветение. Хельге сидит на стволе поваленной ветром сосны, в свитере и расстегнутой куртке, подставив спину мартовскому солнцу. Потом он встанет и, не глядя на Серафиму, пойдет дальше, мимо заросших молодыми елями валунов, мимо обрыва над голой березовой рощей, мимо тянущейся вдоль пастбища проволоки. Он знает, что Серафима не отстанет.

На пастбище, с высвободившимся из-под снега мохом и перезимовавшим, уже зеленеющим пыреем, лениво прохаживаются несколько низкорослых песочно-рыжих исландцев, и одетый в попону рослый черный конь держится чуть поодаль, он тут за главного, и он знает, почему Хельге выбрал эту дорогу: никакой другой, кроме как дороги к Монтсеррат, в лесу и нет. Исландцы встряхивают светлой гривой, нюхают воздух, и черный конь идет напрямик к Серафиме, идет явно не с лучшими намерениями. Конь чувствует, что теперь у Серафимы в мыслях, и готов встать на дыбы от негодования: она дразнит, эта дерзкая, Монтсеррат! Конь таранит мордой ее плечо, косит на нее безумным черным глазом, скалит желтые зубы. Но ей как будто и не страшно, она только отступает на шаг, отступает и дразнит:

- Тебя следовало бы, - смеется она, - украсть! Каково тебе будет, стать краденым!

Конь возмущенно ржет и, роняя на землю край попоны, тяжело встает на дыбы, но тут же усмиряется, услышав свист Монтсеррат. Она быстро идет через двор, в узких джинсах и легкой клетчатой рубашке, с дымящейся сигаретой. Небрежно кивнув Серафиме, она подходит к Хельге почти вплотную, и оба некоторое время молча друг на друга смотрят.

- Когда ты придешь ко мне? - негромко, но так, чтобы могли услышать исландцы и черный конь, зеленеющие мохом валуны и голые пока еще березы, спрашивает Монтсеррат, и от ее вопроса веет изнемогающей от летнего зноя лесной малиной, роняющей свою сладость в гущу высокой травы, - Когда ты придешь?

Хельге молча, с грустью на нее смотрит, узнавая в себе прежнюю, ничем не утолимую боль. Эта боль невозможности! Теперь, когда он, черт бы побрал все в мире лекарства, не ляжет уже с женщиной, в эту невозможность вкрадывается тихая, сродни покою, удовлетворенность: вот и пройден наконец этот путь. Вот и не надо больше никого искать, не надо примерять к своему одиночеству никакие знаки равенства. Не надо. Он смотрит Монтсеррат в глаза, он узнает эти глубины и омуты, и только тяжелый вздох, только ёкнувшее под свитером и зимней курткой сердце и может теперь дать вразумительный ответ.

- Иди, - с одышкой говорит он, - иди в дом, тут холодно...

Монтсеррат наклоняет голову, пытается сложить губами недостающие замерзающему мгновению слова, но так ничего и не говорит. Она только смотрит, как Хельге идет прочь, смотрит ему вслед.

Серафима уже далеко, и он не спешит нагнать ее. В этом лесу он сам по себе, Хельге Нордли, его видят тут только деревья. И какое-нибудь из них наверняка его уже присмотрело: стоящая на камнях береза, выросшая на старом пне ель... Вот он болтается в петле на толстом суку, и все какие есть в Харпестаде туристы сбегаются на это посмотреть: Хельге Нордли! Как высоко его занесло!

Он видит наконец Серафиму, она сидит на перегородившем тропинку стволе, и она не смотрит в его сторону. На сосновой коре, на сером лишайнике, спит бабочка. Ей не время еще просыпаться, хотя солнце выманило ее уже из укрытия, и нет у нее ни красок, ни сил, чтобы лететь. Разве узнаешь в этом оцепенении порхающую от цветка к цветку радость?

Хельге садится на ствол чуть поодаль, сидит молча, нахохлившись. Они сидят так, не глядя друг на друга, ничего друг от друга не ожидая. Наконец Серафима прикрывает бабочку ладонью, чувствуя под рукой только шершавость лишайника.

- Я для тебя не клетка. Не якорь.

Она говорит это бабочке, говорит прохладной ранней весне. Она знает, что эти ее слова останутся здесь, в лесу, останутся и будут ждать оброненной кем-то догадки: это ведь и есть счастье. Счастье не превзойти собой чью-то свободу.

- Стать якорем можно только для спящего, - не оборачиваясь, уточняет Хельге, - для спящего тела, для трупа. Болтающему о свободе, и это ведь болтовня от имени большинства, следует спросить бабочку: куда ей, собственно, летится? А ей летится всегда на свет. Ты знаешь, что такое свет? - внезапно оборачивается он к Серафиме.

- Что?

Хельге хмыкает, он один только это и знает: свет есть знак *присутствия* духа. Попробуй дать себя, спящего, растолкать в темноте: одно только беспокойство и страх. Ты лежишь в постели, в холодном поту и обрывках отвратительных сновидений, лежишь, не смея придти в себя, и только сереющее в рассвете окно, только оно тебя и спасает.

- Во всяком случае, не поток квантов, как *учит* наука... ничему она не учит!

Хельге снова отворачивается, смотрит в темнеющее пространство леса. Так скучно бывает на перепутьях этой проклятой жизни... Взять с собой зубную щетку, перебраться к Монтсеррат?

Пропитанный сыростью воздух, запах прелой коры, муравейников, моха. Ранней весной приходят болезни, и что-то должно действовать им наперекор, действовать мудро. Из разрыхленной снегом почвы, из промерзлости ее дыхания веет помогающей жизни смертью: прижать эту пока еще слабую жизнь к земле! Почва, она одна пусть и пожирает мягкость весеннего пробуждения. И есть ли такая тонкость, пронзительность и летучесть, одолевающая гравитацию оцепенения? Есть ли эта весна в *тебе*?

- Ты много раз выгонял меня, и не только потому, что бывал пьян.

Хельге кивает, это интересно.

- Восемь раз, - уточняет он и подвигается ближе, - Или девять? Мало кто может это вынести... почти никто. Либо ты все это вынесешь, - он подвигается еще ближе, - либо поезжай в ад! Ты ведь сама себя испытываешь, не так ли?

Хельге смотрит на застывшую на стволе бабочку: зимний обморок, весенняя готовность к смерти... к жизни... Бережливая мудрость, исполняющая закон невинно, несвободно: бабочка не вольна препятствовать этому закону, она не может его не исполнить. Но *ты* волен быть виновным, волен быть злым. Ты волен сам этим законом стать.

Хельге встает и, не оборачиваясь, идет дальше, сунув руки в карманы куртки. Серафима может нагнать его, а может повернуть в другую сторону, в лесу ведь много тропинок.

Возле заваленной валунами расселины тропинка становится едва заметной, и Хельге поднимается на пригорок, оглядывается: он тут один. Дальше начинается вырубка: еще не увезенные трактором стволы, сваленные в кучу ветки, смятый колесами кустарник. Черт бы все это побрал. Много ли заработал Бьёрн на этом безобразии? Ничтожные пустышки в сравнение с потерей столетних, шушукающихся на ветру еловых крон. В основном ведь все идет на дрова, в огонь и в дым. У Бьёрна долги, и пусть лес их оплачивает.

За вырубкой начинается молодой густой ельник, тут совсем уже темно. Хельге снова останавливается, выверяя, словно по компасу, направление: ему достаточно лишь сосредоточиться. И он знает, что Серафима идет следом, он это чувствует. Он мысленно видит разделяющее их расстояние, и как только оно начинает сокращаться, он убыстряет шаг. Оглянувшись, он прислушивается: слабый, бормочущий шорох, словно кто-то споткнулся... и снова настойчивые, в его сторону, шаги. Хельге слышит не хуже рыси, но об этом мало кто знает. И он не жалуется на куриную слепоту, он никогда в темноте не споткнется.

У горизонта краснеет уже закат, к ельнику торопливо подбирается ночь. Хельге идет дальше, по-прежнему держась от Серафимы на расстоянии, и только когда последняя алая полоса ныряет наконец за темно-синюю кромку, он сбавляет шаг.

- Я думала, - наконец нагнав его, говорит, запыхавшись, Серафима, - что мы идем домой...

- Мы идем домой, - сухо отрезает он.

И они идут дальше в темноту.

Теперь это кажется ей подозрительным, слишком далек этот обходной путь. Обходной путь - это, как правило,

бегство, отступление, отсрочка. Обходные пути прокладывает неуверенность, ими часто пользуются страх и безнадежность. Что, если эта, в темноте и вслепую, прогулка... последняя? Находят же в лесу трупы. Гм... Потом скажут: "... и тогда он схватил первый попавшийся камень..." Мысль об этом, а такие мысли должны приходить историку в голову, вызывает у Серафимы растерянность и панику: немедленно что-то сделать... но что?.. Бежать? В полной почти уже темноте, среди поваленных деревьев и скользких замерзающих луж, и это будет последним, самым последним в ее жизни впечатлением, если не считать впечатления от, собственно, убийства. Жизнь ведь все больше и больше отучается говорить с живущим на своем родном, жизненном, языке, жизнь завершает свой круг, хотя многое еще отмечено ностальгией *ценностей*... ах, какие могут быть сегодня ценности! Они могут, конечно, быть, эти вспышки в кромешной тьме, но им нужна свобода. Нужен *твой*, не разделяемый с кем-то другим, взнос. Произвол питается чувством, свобода дышит духом. Но много ли найдется под этими небесами руин со следами этого духа?

Идти следом за Хельге, постепенно от него отставая, или нагнать? Внезапно Серафима наталкивается на него. Он стоит, развернувшись к ней, он ждет ее. "Ну вот..." - успевает подумать она.

- Мы дома.

В темноте не разглядишь даже ближайшего дерева, и такая тишина, будто ты давно уже умер. Только его ровное, глубокое дыхание, запах пота в расстегнутой куртке. Он не торопится ей что-то сказать, он сам чего-то ждет. И Серафима думает, что он, наверное, не привык убивать... Но он убил в детстве лягушку, убил же! И теперь он примеряется, как рысь. Ах, эта тоска... тоска о еще не прожитой жизни. Серафима бросила всё, чтобы оказаться здесь, в этом лесу, она *потеряла* жизнь. Где-то спят, быть может, ее дети, и ее последнее за них беспокойство оказывается напрасно ищущей слова немотой... не найти, не увидеть, не встретить... Ей не о чем больше думать... сейчас...

Внезапно Хельге ныряет в темноту, только подозрительный шорох ветвей. "Бежать!.." - в панике решает она, но Хельге крепко хватается ее за локоть, глаза его отливают в темноте зеленым, эти рысьи щелки.

- Ты же шла за мной всё это время. Ты не отстала!

- Я..?

Ее чувства в хаосе, в крови страх. Рвануть зажатую в тиски руку, бежать... но ей теперь не вырваться... Вот так, нарвавшись на собственную судьбу, так и приходишь к пониманию вещей. Рано или поздно.

- Ты, - говорит Хельге, еще крепче сжимая ее руку, - ты, я вижу, совсем не боишься меня!

Его веселит и опьяняет ее паника, руки грубо лезут к ней под куртку, пальцы впиваются в бока, стискивают ребра в угрожающе сладострастной щекотке... вот так!.. и никуда от этого не деться! Он хочет защементировать ее насмерть, как полудохлого цыпленка! Он хочет знать, сколько так еще выдержит ее тело, хочет крика, мольбы, истеричного хохота... Но Серафима молчит. И оба понимают, что это насилие.

- Ты можешь заявить в полицию, - спокойно говорит он, отпуская ее, - можешь позвонить прямо сейчас.

Он набирает номер, протягивает ей мобильный телефон, усмехается.

- Пойдем домой, - выдыхает она в темноту.

Хельге фыркает, хватается ее за локоть, рывком тянет за собой под колкие, припавшие к земле, еловые лапы.

- Домой... - бормочет он, - ... в самом деле домой!

Под ель можно заползти на четвереньках, лечь боком на сухие иглы, там сухо в любой дождь и нет никакого ветра, там как дома. Полная тишина, полная темнота. Всё, что когда-то тебя домогалось и рвало на части, не имеет здесь ни малейшего смысла, да и был ли он, смысл, вообще... Скорее тебе навязывался этот, чужой, смысл. Навязывался в виде *обязательности* отчета перед повседневностью: сколько, чего и как, когда, почему и зачем. Не отчитаешься, значит, тебя и нет. И только тут, черт знает в какой дали от дорог, соседей и почтовых ящиков, ты сам начинаешь понемногу из темноты и тишины *выступать*, ты тут хозяин. Здесь, под этой столетней елью. Нет никаких в мире звуков, кроме ровного в крови пульса. Сердце могло бы, пожалуй, признаться, что никакой оно не насос, не водочка, а только... термометр, отвечающий на жар в крови. И теперь в крови полный порядок, в легких кислород, в голове углекислота, теперь миг равновесия.

- Хочешь на мне жениться?

- В следующей жизни... - бормочет Хельге, позволяя ей лечь на себя. Здесь, под лапами ели... он проносится

сквозь подробные каталоги своих снов, сквозь требовательность воспоминаний, сквозь жар несогласия с обязательностью скуки... он пришел сюда, пришел насовсем.

- Ты не стерилен...

Хельге самодовольно фыркает. Когда-нибудь, когда ни одна женщина в мире не сможет уже рожать и отпадет потребность в теле, душа прикиннет к этому своему древнему опыту *соития*, чтобы понять муки разделенности и невозможности. Муки переживания с *другим человеком* своей планеты.

Так тихо в этой морозной ночи, только вскрикивает вдалеке, словно плачущий ребенок, лиса. Теперь полнолуние, в плотности снеговых облаков растворен тусклый, матовый свет, воздух томится тяжестью. Хельге высовывается из-под ели, раздвинув припавшие к земле лапы: там, снаружи, пахнет зимой.

- Снег, - говорит он, снова ныряя в укрытие. Можно остаться тут, в этом шатре, можно, пожалуй, даже заснуть. К утру наметет, тело станет неподъемным, расстояния неодолимыми. Снежинки неспешно кружат в воздухе, словно чьи-то замерзающие мысли, ах, эти мысли... Это ведь уже было когда-то, снег и бегство из дома, и невозможность вернуться. Человека обманывает старость, выставяющая себя безусловным концом жизни, да, старость, как правило, лжива. Старости лень засматриваться на новое рождение, а уж нащупывать обстоятельства предыдущих смертей ей и вовсе не по силам: старость не верит ни в рождение, ни, собственно, в смерть. И в этой своей заблоченности старость отказывается признать свою кратковременность: вот ее, старости, и нет. Зато есть... что? Хельге уже переживал это раньше: верх и низ менялись местами, высота делалась глубиной, и он сам был чем-то вроде звезды, и ему не хотелось обратно на землю... тогда, после смерти. Не хотелось снова застыть среди снега последней, самой последней невозможностью, отдав ночи и неизвестности своего единственного ребенка.

... Кнотт. Теперь, когда закон отвернулся от Гюннульфа, следует подумать как раз о... любви. Но так, чтобы никто, даже Йостайн, не разгадал эти мысли. Йостайн держит девочку на руках, он поскачет с ней дальше, доберется до моря, и море свяжет их судьбы. У девочки нет даже имени, и, думая о себе, она просто берет себя за руку: "Я". Тоска научит ее плыть в ночи по звездам, научит обходиться одиночеством. И это все, что Гюннульф оставляет ей в наследство... и еще эту берестяную карту с солнечным женским ликом, и этот мешочек с корнями вереска... Прощай, Кнотт!

Думать о любви, когда за тобой погоня, когда ничего, кроме бегства, впереди уже нет. О любви думает тот, кому нечего больше завоевывать. Оставить награбленную в жизни добычу, идти дальше налегке. Идти туда, где ждут только *тебя*. И надо спешить, пока тебя еще ждут. Пока у этого ожидания есть еще имя: Сигню.

Она жива, Сигню Амундсдоттер, она мерзло дышит ему навстречу: "Так мало осталось..." Ему бы не загнать коня, ему бы только успеть. И конь узнает этот рассеявшийся в лесу запах, раздувает ноздри, прижимает уши: запах Грифа. Темнокожий раб Амунда уже побывал тут! Ни одна лошадь не потерпит его на себе, этого воняющего мертвечиной карлика, только собаки, и то из страха. Гриф держит их для езды и кормит падалью, и сам, бывает, ест собачьи кишки. Он был бы не прочь запрячь в сани рабынь, этих свезенных к Амунду из разных мест крепких, не старых еще женщин, запрячь и гнать их, охаживая кнутом, до волчьей пены на губах. Бабы ведь намного выносливее собак. И хотя Сигню Амундсдоттер имеет в услужении лучших рабынь и много на ее запястьях серебра, Гриф скорее дал бы вырезать у себя на спине кровавого орла, чем признал бы ее над собою власть. И пока Сигню жива, пока у Амунда в конюшне стоит ее белый конь, Гриф не может, не должен спать: он сам придет к ней, он принесет ей весть от Могущественного.

Вот он, след собачьей упряжки! "Скорее..." - шепчет Гюннульф в ухо коню, и тот, увязая в снегу, рвет грудью темноту. Из ночи вылутился хмурый, худосочный день, тяжелые снежные облака задевают верхушки елей, по снегу метет поземка. Гюннульф больше не чувствует холода, лицо его стало камнем, во рту вкус железа. Он идет рядом с уставшим конем, и только Последний Вздох отмеряет позвякиванием оставленное позади расстояние: "Скорее... скорее..." Гюннульф слышит уже рокот горной речки, осталось немного, он чувствует в воздухе запах дыма.

Сигню... Что скажет он ей теперь? Теперь, когда он сам вне закона и каждый волен его убить. Он скажет, пожалуй, всю правду: нет больше никакого Бога. Есть только море, в котором ты сам капля, и невозможно отделить море от этой капли, невозможно эту каплю у моря отнять. И есть поэтому глубокий в мире покой: ты сам так глубок, так велик, и

столько в тебе соли. Он скажет еще, что капли дробятся и сливаются, и все какие только есть в мире звезды умещаются в этой малости, и в каждой капле обязательно есть солнце.

Избушку не видно среди елей, в инее и в снегу, она вросла в белизну января. Конь не хочет идти дальше, он чует собак Грифа, и те тоже беспокоятся, повизгивают, тявкают. Вынув из ножен меч, Гюннульф ведет коня к сложенной из камней изгороди, привязывает к березе, идет дальше один. Собаки его узнают, поднимают шум, но все они в связке, им только стоять в снегу и брехать. Обрубив мечом постромки, Гюннульф приказывает им "Домой!", и те, словно того и ждали, кидаются всей стаей на протоптанную ими же тропинку, и вот уже издали, все глуше и глуше, слышится их настырный лай... В избушке пусто. Постель взрыта и смята, овчина валяется на полу, в приоткрытую дверь намело снега. Выйдя наружу, Гюннульф прислушивается: где-то поблизости воет волк. От самой двери тянется в лес след саней, Гриф тащил их, видно, на себе, и теперь остается только нагнать его. След тянется вверх на пригорок, на каменистый вересковый пустырь, и на самом верху, возле расселины, что-то происходит... Скорее!.. В ноздри Гюннульфу шибает запах человеческой крови. Он слишком хорошо знает этот запах, он может распознать по запаху ярость и страх, трусость и вожделение. Он сам убивал, и только Последний Вздох считал откатившиеся прочь жизни. И теперь он чует, как чует в лесу зверь, запах отчаяния и тоски, запах непоправимого... Скорее! Скорее!! Гюннульф чует, как на помощь ему бросаются другие воины, и много среди них убитых, и оттого дух их становится еще крепче, еще яростнее, он чует вливающуюся в него силу берсерка. Там, наверху, возле расселины. Там, на залитом кровью снегу, воет, срываясь на собачий лай, волк.

- Один... - узнавая его, говорит Гюннульф, - Один!

Он весь в крови, этот полупёс, хотя и не ранен, и он тоже узнает Гюннульфа, бежит навстречу, бежит обратно, к стоящим на снегу саням. Поднявшись на пригорок следом за ним, Гюннульф останавливается, вкладывает меч в ножны. На санях лежит мертвая Сигню. Нагая, она привязана к саням ремнями, на животе глубокая рана. Глаза ее открыты, и заглянуть в них страшно даже берсерку: в них есть нечто большее, чем смерть. В этой застылой голубизне отпечаталась весть *ниоткуда*, весь из Ничто. Отшатнувшись, Гюннульф смотрит на снег, и из чернеющих пятен крови к нему подступают картины совершившейся тут казни.

Гриф давно этого хотел, он ждал это божественное мгновение много-много лет, он вожделем к крови дочери хёвдинга. Эта кровь, бесспорно, иная, чем кровь рабынь и простых женщин, чем даже кровь бесследно исчезнувших жен Амунда. В крови Сигню так много солнца! Силы горных ручьев и снегопадов, сладких древесных соков и плодов, силы зачатия и рождения, силы мудрости, ткущей красоту слов и одежд, все это растворено в крови Сигню, и все это следовало у нее отнять, отнять навсегда. Вывернуть это солнце наизнанку, как шкурку лисы, вырвать из него великую тайну. Гриф знает, и он последний, кто знает это: солнце скрывает в себе тьму. И эта тьма сверкает золотом, ослепляет и восхищает, и нет для нее иной пищи, кроме смерти. Смерть, вот в чем могущество Могущественного!

Гриф улизнул от Амунда во время схватки, вышел через кухню во двор, пробрался на псарню. Он взял с собой только нож, старый, подаренный когда-то Амундом, необычайно острый. Этот нож ни разу не резал хлеб, не строгал щепок, нож Могущественного. Гриф хорошо считает, он записывает на плоском камне всё, что необходимо знать инке: овечье поголовье, меры сукна и ячменя, съеденный за зиму сыр, сено для лошадей, народившийся за год приплод от рабынь и телок, расходы на поминки и свадьбы, виры за совершенные убийства. Никто не прочтет этих надписей, разве что бьющийся о скалу ветер. Тут вся, какую Гриф прожил у Амунда, жизнь, и нет в ней более великих мгновений, чем миг похищения чужой жизни. Их много, этих отнятых Грифом жизней, этих его ступеней к Могущественному, и нет уже места на плоском камне. В этой холодной белой стране слова скупы, но в них много золота, и если бы сюда не добирались

священники, слова эти не дали бы солнцу вывернуться наизнанку. Гриф знает, что священник, хоть и не дорос до инки, не позволит солнцу довольствоваться одним только светом: солнце должно довольствоваться золотом. Солнце должно стать разинувшей рот золотой маской, под которой чернеет старая, сморщенная кожа. Солнце должно уступить. И теперь оно, солнце, наконец-то уступит! Уступит смерти под ножом Могущественного.

Гриф добрался до избушки на рассвете, продравшись на собачьей упряжке сквозь заснеженный лес. Он не спал ночь, он опьянен бессонницей и нетерпением, в крови у него гул древних заклинаний. И теперь никакой он не раб, теперь он не Гриф, теперь он Великий Инка.

В избушке холодно, Сигню варит в закопченном котле моховую кашу. Она не так плоха, она на ногах, в ней снова набирает мощь солнце. Обернувшись к Грифу, она молча смотрит на него в упор.

- Амунд послал меня, я привез питье, оно исцеляет.

- Ты пришел, чтобы меня убить.

Черный рот Грифа сжимается в комок и тут же растягивается в многозначительной сладкой улыбке. Инка не дает никому пояснений, у него нет обязательств перед людьми. Никто не вырвет у инки тайну его превосходства, никто не уличит его в тайной зависимости от чужой жизни.

Сев на край постели, Сигню сжимает в руке кинжал, она настороже. Она еще так слаба, но есть в ней решимость: опередить Грифа! Лучше она сама отнимет у себя жизнь. Пусть будут ей в помощь лесные и горные духи, пусть ринутся в избушку закопченвшие на морозе тролли! Пусть придет, если может, Гюннульф... все ее тело зовет его в этот миг, зовет и звенит ледяными сосульками, и тает... Покрепче сжать в руке этот кинжал.

- Ты убил моего брата и моих сестер, убил всех женщин Амунда.

Прищурив раскосые глаза, Гриф неспеша берет черпак, опускает его в деревянное ведро, медленно пьет, неотступно глядя на Сигню. Пьет и высчитывает, вымеряет. Он уже стар, Гриф, но он натирает тело ядом, он поэтому ловок и быстр, в его иссохших жилах огонь. Неспеша повесив черпак на стену, он молниеносно бросается к постели, зверолов и охотник, и вот уже руки Сигню связаны ремнем, кинжал валяется на полу. Он не убьет ее сразу, нет. Он даст ей это питье, несмотря на плотно сжатый рот и готовый к плевку язык: оно заглушает всё, кроме страха. И пусть этот страх, этот потусторонний ужас, вытравит из Сигню солнечное тепло, сделает из нее рабыню, соломенную куклу. Сигню Амундсдоттер!

Она больше не принадлежит этой земле. Эти дремлющие под снегом леса не дозвуются ее весенним криком птиц, эта бурлящая среди камней вода не принесет ей весть о любви... Сюда ей никогда, никогда уже не вернуться.

Гриф привязывает ее ремнями к саням, возвращается в избушку, выплескивает остаток зелья в ведро с водой. Он знает, что Гюннульф скоро будет здесь, пусть утолит с дороги жажду: он останется лежать тут, на этой постели, до рассвета, и тогда придет его очередь перебираться на вершину холма, у Грифа хватит сил его дотащить. И когда последняя мысль Гюннульфа... мысль о Сигню?.. унесется следом за ненужной ему уже душой, Гриф овладеет наконец *таинством умирания*. Овладеет последней, отделяющей его от Могущественного, ступенью.

Втащив сани на пригорок, Гриф прислушивается, втягивая в широкие ноздри морозный воздух. Где-то неподалеку затаился волк, и скоро ему будет чем поживиться. Сигню Амундсдоттер, скоро от нее ничего не останется. Расслабив ремни, Гриф рвет обветшалое платье Сигню, швыряет в снег клочья когда-то дорогой материи. И он видит... лучше бы ему на это не смотреть!.. видит снежную белизну ее тела: оно всё словно светится. И Грифа охватывает ужас: это тело, слабое, больное, связанное, отравленное, не помечено никаким страхом! Нет, значит, у зелья достаточной силы! Сигню смотрит на него, не мигая, смотрит с презрением, с превосходством, ей безразличны его уловки. И этот ее взгляд... он просто невыносим! Взгляд уносящегося вдаль, к облакам, к солнцу,

взгляд, сияющий любовью. Потуже затянуть ремни! Даже если в теле Сигню и нет страха, нажитое за двадцать семь лет добро надо присвоить себе. Ее тело вбирало в себя солнечную силу, росло, цвело и зрело, и теперь, в это лучшее для него время, Гриф забирает нажитое. Скорее!

К животу его, под меховой одеждой, привязана золотая, утаенная от Амунда, маска, он прикроет ею свое черное, морщинистое лицо: теперь он Сын Солнца. И хотя в руке у него не нефритовый, острый до прозрачности, нож, но только старый нож Амунда, он точно выверит одно-единственное движение, этому инка обучается, едва став мужчиной: великому искусству убийства. Так велик, так могуществен этот миг!

И в этот миг, затемняющий солнце, в миг несказанного сладострастия и восторга, Гриф успевает разглядеть среди золотого марева... он разглядел наконец!.. разглядел!.. разглядел сочащуюся слюной и кровью пасть! Эта звериная пасть вбирает его в себя, уверенно и неспешно, эта зияющая черная глотка, и нет в ней никакого дна...

- А-а-а-а-а!!!

Волк прыгает на него сзади, и хруст шейных позвонков заверяет смерть, что этого вполне достаточно: грррри-и-иффф! Стащив Грифа с саней, волк волочит труп к лесу, забрасывает снегом. Потом возвращается, садится на сани возле Сигню. Он будет тут сторожить, пока его самого не унесет к луне голодная волчья стая.

Об этом не поведаешь никому, кроме волка.

Глазая узкими щелками на застывающую в ране кровь, на груди Сигню блестит оброненная Грифом золотая маска. Золото... у металла тоже есть память. Отлетевшие в никуда жизни, брошенные стервятникам тела. По золотым ступеням шествует в свои золотые дворцы *ненависть к человеку*. Золотая, на все времена, ненависть.

Наклонившись над убитой, Гюннульф долго, не мигая, смотрит в застывающую на морозе синеву широко открытых глаз, и снег не тает уже на светлых ресницах.

- Сигню, - тихо говорит он, - ты еще здесь... ты здесь... ты видишь, как кончается моя жизнь... осталось только сказать тебе это: я вернулся.

Он не слышит еще топота и криков погони, но знает: осталось немного. Только волк, этот последний из людей, и поделится с ним кровавой правдой: идти по этим следам, пнуть смерзшийся труп... Вынув меч, Гюннульф отсекает с размаху черную, высохшую руку Грифа, выронившую на снег... он пытается разглядеть...

Вырезанный ножом желудок.

Он возвращается к саням, накрывает своим плащом тело Сигню, и нет поблизости ни костра, ни готового унести в море корабля. Только эта глубокая расселина, туда не доберутся волки. Он долго стоит на самом краю, подставив спину метели, слушая раздражающий тишину леса вой Одина.

Он увидел дружинников, когда те уже поднимались на пригорок, и у всех были обнажены мечи. Он для них вне закона, Гюннульф Скальд, и нет в его последней волчьей песне никаких слов. Один только Последний Вздох желает еще справедливости битвы, и Гюннульф прыгает с криком берсерка им навстречу...

... Снег идет не переставая, где-то рядом скрипит на ветру высокая осина: тссс... тссс... и нет таких в мире звуков, которые вернули бы ночи мечту о доме. Только спать, только медленно замерзать.

- Пойдем что ли..?

Откуда-то светит, прячась за снежными облаками, луна. Хельге сворачивает с тропинки в сторону, идет напролом через кусты, цепляясь рукавами за колючки терна, не зная наверняка, туда ли надо... Дальше, за кустами, вспаханное поле, потом снова лес... идти, да просто идти куда-нибудь... Время от времени он останавливается, смотрит на небо, но там только снег, только мутные, подсвеченные луной облака.

- Мы идем не туда... - говорит он нагнавшей его Серафиме, и они молча стоят на ветру, не зная, что друг другу сказать. В конце концов наступит ведь утро.

Они идут по полю обратно, теперь им в лицо ветер, на волосы ложится, не тая, снег. Остановившись, Хельге слушает: там, впереди, ручей. Глубокая канава, через нее просто так не переберешься, всю ночь будешь искать брод. И он подхватывает Серафиму, как ребенка, на руки, щупает ногой в снеговой жиже дно, идет до середины ручья и... швыряет ее, сколько есть силы, на заснеженный откос. Он промок до колен, и Серафима снимает свои шерстяные носки, отдает ему, и он молча надевает их, ему, собственно, все равно.

Теперь она ищет дорогу. Смотрит на глубоко вспаханные, заснеженные борозды, видит знакомое, на краю поля, дерево... Или это только прихоть метели? Снег... С его холодных высот это поле всего лишь белое пятно, и две ползущие по полю фигуры ничего в зимнем пейзаже не определяют, в этом пейзаже покинутости и невозможности. У снега есть своя в этом пейзаже великая роль: стирать все, какие ни есть, краски, уносить прочь засеянные летними семенами поляны и лужайки, менять контуры горизонта. Снег, этот великий в природе утешитель, с ним разлучается скорбь и тоска, в нем теряется всякая колея... Но Серафима упрямо ищет дорогу.

- Замерзла..? - кричит сквозь снежную неразбериху Хельге.

- Да...

Когда отпадает смысл смотреть по сторонам в надежде на какой-то *путь*, когда чувствам больше уже нечего делать среди предметов, готовых стать указателями и ориентирами, тогда заявляет о себе, правда, несмело и робко, твоя принадлежность к *безошибочному*: к тому *точному* знанию, которое ведь и есть ты сам. Тут главное, не растеряться, не проморгать внезапно рухнувший на тебя дар... который ты сам себе даешь.

- Туда... там какой-то свет!

Она ничего пока не видит, тут нет поблизости ни одного дома, и это скорее упрямство, чем уверенность: там, впереди... впереди всегда что-то есть! И Хельге первый различает вдали какое-то мерцание.

Они подходят к кладбищенской ограде.

Занавешенная метелью трехсотлетняя каменная церковь, догорающие в стеклянных фонарях свечи. Так зябко должно быть этим врезанным в гранит именам, да и кто их теперь помнит... только недолговечность свечей, только высохшие под снегом цветы.

Зимой сюда забредает разве что голодный барсук, да и то напрасно, и сторож не спешит расчищать снег, авось к весне растает. И все свезенные сюда летом тюльпаны, маргаритки и лилии, нарциссы, незабудки и розы, все это сожаление, раскаяние, скорбь и тоска, теперь морозно щетинится блеском снежинок: есть только эта радость зимы.

- Эй, вставайте! - кричит на все кладбище Хельге, - Подъем! Пора на работу!

Где-то тут и ему найдется место, и не надо сажать на его могиле никаких роз.

- Только вереск, - бормочет он ветру, - вереск...

Бьёрн приехал, как обычно, на тракторе. Он неспеша заходит во двор, неспеша, похозяйски, осматривается. Эту летнюю дачу он построил когда-то для своей матери: без удобств, без водопровода, на один сезон. Потом дачу снимали работавшие в теплице поляки, они растащили все, что могли, заодно напустив в хибару крыс и мышей. Потом, когда уже сдавать внаем было нечего, на даче поселился Хельге: провел воду, настелил новый пол, починил крышу. Он живет тут уже пятнадцатый год и, судя по всему, доволен. Бьёрн и сам доволен, и никаких видов на эту дачу у него нет... то есть не было до последнего времени.

Бьёрн стоит возле стеклянной двери, осторожно постукивает, он не привык досаждать соседям. Он отлучился на четверть часа с лесопилки, и сын бранится теперь, таская в одиночку бревна.

- Я вот что... - с праздничной детской улыбкой начинает он прямо с порога, - ... я не прочь продлить контракт еще на полгода... а потом... - он смущенно опускает глаза, - ... потом...

Бьёрн не привык много говорить, да и слушать его некому, разве что ветру в поле. И было бы намного лучше, Бьёрн в этом уверен, вообще отменить большую часть слов. Переступив на пороге с ноги на ногу и остановив взгляд на чугунной печке, Бьёрн торопливо добавляет:

- Дети растут, обустройстваются, нужны деньги...

Он не знает, что еще сказать, он и так уже много наговорил.

Хельге эта новость не нравится. Он вряд ли найдет в Харпестаде такое тихое место, он тут почти как дома. Бьёрн охотно кивает, место хорошее, и цена этому *пустырю* приличная: сосед собирается построить здесь конюшни.

- Кто? - наперед зная ответ, кричит Хельге, наступая на Бьёрна.

- Монтсеррат.

Хельге молча отходит в сторону, садится на стул, думает. Монтсеррат купит этот участок, снесет развалюху, вывезет на свалку мусор, и лет через десять тут поднимется молодой еловый лес.

- Ты и сам можешь купить, - вернув румяному лицу праздничную улыбку, торопливо продолжает Бьёрн, - мне ведь все равно...

Хельге только мотает головой. Время покупок для него прошло. Давно это было: он продал дом Лестничному Франку, недорого, по-приятельски, и Франк тут же этот дом перепродал, перекинув на Хельге строительные долги. Хельге не стал с ним судиться, они продолжали знаясь, как и прежде, хотя долг с годами вырос в устрашающую сумму. Правда, Франк чинит бесплатно его машину, отдает ему кое-какое старье, и каждую осень, когда идет забой овец и сбор капусты, Франк тушит в огромной кастрюле мясо, специально для Хельге. Баранину, правда, Хельге покупает сам, зная наперед, что лучшие куски Франк, этот пройдоха, оставит себе. Наверняка это Франк посоветовал Монтсеррату купить "пустырь", и вряд ли это бесплатный совет. Даже эта, самая из всех негодных, лачуга, даже и она Хельге не достанется. Но разве ему привыкать к бездомности?

Бьёрн улыбается, потому что не нужно уже больше ничего говорить и можно вернуться на лесопилку. Всё хорошо, всё как нельзя лучше, и этот серый день, и этот надоедливый дождь со снегом... Уходя, он обещает принести мешок картошки.

- Проклятая баба... - бормочет Хельге, - Проклятая!

Схватив со стола керамическую кружку с остатками кофе, он швыряет ее об стену, топчет на полу осколки.

- Проклятая, дьявольская, проклятая, проклятая!!!

Сколько раз он переезжал уже в своей жизни! Имущество, правда, у него небольшое: письменный стол, пара музейных стульев, кое-какие книги, два-три самодельных окна. Окна значат гораздо больше самого дома: через них ты смотришь на мир. На этот никуда уже не годный мир. И есть, конечно, разница, смотреть на мир через пластик или через старое, с неровностями отлива, играющее на солнце стекло. Старые стекла Хельге находит на свалке, рамы делает сам, на каждую у него уходит несколько месяцев сосредоточенной, вдумчивой работы.

Он не уверен, хочет ли и дальше мыкаться с ним Серафима. Ведь даже при всей настойчивости домогательств судьбы, при всей прозрачности ее намерений, у каждого есть *своя* воля. Воля к отклонениям, к сверхзадачам. Не окажись в жизни этих сверхзадач, она превратится в скучнейшее обывательское предприятие. Жизнь Серафимы в определенном смысле уже кончилась: всё, что было, перечеркнуто, всё, на что можно еще рассчитывать, никогда, скорее всего, не сбудется. Вопрос только в том, достаточно ли *безумна* спускающаяся к ней со своих высот птица свободы. Достаточно ли она *сверхдуховна*. Хельге в этом не уверен, он-то знает, насколько люди теперь испорчены, со всем обилием имеющих у них высоких стилей и громких слов. Люди в большинстве хотят только *пожизненной обеспеченности*, ребячески продлевая ее до самого *конца*, за которым начинается одна сплошная необеспеченность... черт знает, что там начинается! Но Хельге нет до этого дела, он сам по себе, он один. И если Серафима завтра скажет, что

ей в другую сторону и пора уже собираться, он ведь не будет против, нет. Он ведь тут, на этой планете, всего лишь гость.

Но что, если она не захочет бросать лесоповал с кое-как прижившимися яблонями? Она сама прижилась здесь, перебрала руками столько земли. Теперь это ее земля. И эта ранняя весна тоже ее. Мох, еловые всходы, остатки снега... Лес неспеша пьет пропитанный мартовским светом воздух, отдавая этой прозрачности свое натруженное зимами терпение. Сколько в этом терпении преодоленного холода! Земля отражает в своей зимней еще немоте этот весенний свет, и в этом ее, пожалуй, сверхзадача: дать силу смотрящему на нее. Дать смотрящему *зрение*.

21

Оказавшись в полдень на Майорстуэ, возле метро, в суетливо одолевающей замусоренные ступени студенческой толпе, Серафима на миг оборачивается: не увязалось ли следом прошлое. То, в котором кое-что от Москвы, кое-что от самодеятельности, кое-что от кромешной, как тьма, неизвестности. Неизвестность как нельзя лучше подходит для всякого рода начинаний: никто бы ничего и не начинал, окажись все заранее известным. И хотя прошлое хрипло покрикивает: "Не так!.. Не туда!.. Не теперь!..", считая заплеванные жвачкой ступени, настоящему до него дела нет: оно всё, настоящее, в *устремленности*.

Именно так, перенимая у студента деловую походку и прыть, а также ракурс желанной цели, так и добираться до *входа*... не спутать бы его с выходом... до входа в Высшую Школу Музыки.

Эти заглавные буквы собьют, пожалуй, с толку сидящую на асфальте мышь: ну какая тут, скажите, пища? Стоит ли вообще о чем-то пицать? Но опыт грызуна подсказывает мышам, что впереди, в серости асфальта-бетона-стекла, в соседстве с коротающими свой блочный век пятиэтажками и четырехугольно вздыбившимися среди строительного мусора аквариумами офисов, там, впереди... впереди!.. там, в *перспективе искусства*, маячит сверхбыстродействующая, как мысль гения, мышеловка!

Выше этой Высшей Школы ничего уже нет и быть не может, разве что *высокая честь* быть здесь, в Высшей Школе, профессором. Что за магическое слово: профессор! Едва услышав его, начинаешь как-то неумело прихорашиваться, неловко почесываться... еще немного, и от тебя, как от раздавленной грузовиком медузы, не останется даже мокрого пятна. При этом профессор, заметь, даже и не заметит твоего отсутствия: он весь в *звании*. Зовите, зовите его *так*!

Не все, конечно, для такой чести годятся: годится лишь тот, у кого не тонка кишка. Как, например, у Изи Шулера. Уже у входа, возле пихающей посетителей в зад вертушки, тебе внятно скажут: ой, страх! Вахтеры, а им школа обязана *показательностью скуки*, наблюдают за перемещением Изи Шулера лет уже тридцать: туда-обратно-туда-обратно... Многие успело за это время обесцветиться, обезвкуситься и просто дать деру на кладбище, но Изя по-прежнему *ходит*. Ходит, потому что так устроен этот придурковатый мир: ходят поезда и круизные теплоходы, ходят наконец часы. Изя ходит в школу по нужде, по большой, надо сказать, или, как говорит его умная жена, по нарастающей. Нужда нарастает сама собой, ее не нужно к этому приучать: ей мало того, что еще вчера казалось всем. Еще вчера, ах, лет тридцать назад, Изе хотелось налопаться гречневой каши с черным хлебом, хотелось выехать из затараканенной коммуналки, хотелось, хотя бы разок, смотаться в Париж. Вчерашний, вчерашний день!

Сидя в массажной ванной с видом на собственные афиши, Изя Шулер делает из купюр кораблики: вон как их крутит и вздымает, как сносит на сторону. И ничего плохого купюре от этого купания не делается: крепкая валюта. Вид плавающих вокруг денежных знаков наводит Изю на свежую, как только что вымытая лысина, мысль: *поэксплуатировать* нищего духом. Вот кого нужно сегодня эксплуатировать! Их мало

таких, среди всеобщей нищеты, осталось, их выводит из употребления само время, больше доверяющее костям и мускулам, чем сидящей на жердочке птичке-душе... хоть та, бывает, и поет. Куда ей, с ее птичьими правами, сегодня лететь, вот ведь вопрос. Некуда, разве что в клетку. Вон сколько их, напрасно бьющихся о стальные прутья! Кто не работает, тот не ест. Но с птицы взять разве что воздух, и надо его взять! Отобрать это добытое из окружающего пространства стратегическое сырье, этот ресурс невесомости! Во-о-о-оз-дух-дух-дух...

Нищенствовать духом - последняя из человеческих болезней, ну что ли, болезнь к смерти. Тут ничего уже не спасешь, остается только урвать клочок-другой... ну что ли на память. Повесишь его под абажур, глянешь мимоходом: вот ведь, никакой в жизни продуктивности. И вся какая есть в мире *напрасность труда*, подскажет нищенствующему в утешение: так было и так будет. В мире есть только *потребитель*, он же производитель своего потребления.

В массажной ванне поднимается от этих размышлений Изи настоящая буря: течения, волны, барашки. И хотя бугристые колени прибывает к складчатому животу, а обкусанные успешной карьерой локти сами собой растопыриваются в мыльной пене, Изя прочно стоит на своем, хотя и лежа, на своем о Серафиме мнении: эта потянет. Дотащит до Рахманинова и увезет, может, еще дальше... бррр! Таких надо вовремя отлавливать, клеймить и запрягать. Изя понимает это лучше настройщика Аластера, лучше школьного советника Трулса и даже лучше Цикуты: кому-то ведь надо работать *бесплатно*. Спроси хотя бы Рахманинова: бросил бы он свою писанину, не окажись на нее никакого спроса? В том-то и дело, что нет. Есть ведь такие, которые делают это *для себя*. И зачем они только себе нужны? Они и считать-то как следует не умеют... раз-два-три-четыре. А Изя Шулер, раз-два-три-четыре, умеет. Один левый, дополняющий правый, профессорский час плюс полчаса для пианиста, отстуканные пальцем самого профессора, плюс еще один левый... правый... левый... Изя разгребает руками мыльную пену, ловит уплывшую в водоворот губку... тысяча левых профессорских часов... плюс то есть минус... То есть Серафима может работать и так, это ведь большая для нее честь: честь рабочей, у Изи Шулера, скотины. В Высшей Школе Музыки *работает* всё, от шелкающих замками стеклянных дверей до стартовых кнопок унитаза. И если у музыки есть еще какая-то в мире перспектива, то это как раз *работа*: ударим звуковыми колебаниями по расшатанному нерву! Пока черепа набиты мозгом, пока в мозгах снуют идеи, пока из этих абстракций, да, *трупов*, не проклюнулось живое, не продралось сквозь ловчую сеть категорий, надо бы теперь уже пресечь опасную практику *музицирования*. Прохожему, вымеряющему праздным шагом Майорстуэ, случается тормозить возле опутанной плющом каменной стены, задирает к этажам голову, слушать... потом, правда, прохожего тошнит. "Это не Моцарт... - кумекает он, - ... но кто?" А с этажей тем временем выплескивается ему на голову стипендиальная, конкурсная и просто дипломная дребедень, помноженная на сходство *играющего* с игровым компьютером. Больше *нюансов*, больше точности попадания!

Случись заглянуть сюда детству, а его зазывают тут в молодые таланты, и оно, детство, немедленно с собою покончит, успев только пискнуть: "Сгорел на работе". Пискнуть самым последним своим, всё еще детским, стремлением: прославиться. Отбить у товарища по *игре* его натруженное самомнение, заодно поставив игру на место: на ее рабочее место.

Вертушка, давно уже ставшая на работе умной-умной, не допустит, чтоб ей сойти с вертушечной оси, чтобы сюда, в Высшую Школу Музыки, входили с намерением *помузицировать*. И намерений таких у студентов нет. Студент сочиняет, как может, *caricula vitae*, пишет десятки, сотни, тысячи заявлений от имени "позитивной, общительной, ответственной, старательной, исполнительской персоны", чем-то на него самого в параноидальной придурковатости смахивающей, от имени человекообразной, интеллектуальной обезьяны, заранее сытой будущими зарплатами. Студент любит свое

грядущее счастье, и счастье любит его, осыпая ему на голову блески творческих стипендий и конкурсный серпантин. Больше, еще больше того же самого!

Работа в Высшей Школе Музыки могла бы поклясться своей высокооплачиваемостью, что цель ее есть одновременно и ее самоцель: *долбить*. Пусть будет напоследок хоть какая-то утеха *душевнобольной* виртуозности: вон как алмазно блестит эта техника! Зубила, молотки, плоскогубцы! Пилы, коловороты, дрели! Никто не заподозрит ведь в фальши автомат Калашникова.

Поддав зазевавшийся студенческий зад, вертушка застывает перед Серафимой тюремным барьером: куда прешь? Вахтер советуется с другим вахтером, оба советуются с вертушкой и наконец звонят проректору: пускать?.. не пускать?.. Проректор соображает: что, если сюда явился прямо из Гаустада опасный псих? Что, если это проверка министерства обороны? Сунув руки за спину, чтобы не схватить мимоходом лишнего, проректор осторожно подходит к вертушке: что тут такое? Затаив до мурашек дыхание, он вынимает из-за спины вспотевшую руку, брезгливо протягивает Серафиме... и тут же выдергивает руку обратно из раскаленных клещей, вытирает о край пиджака. Он не был бы, проректор, проректором, не окажись в нем жабьего на перемену погоды чутья: погода, увы, меняется. Проректор бледнеет, ему *очень* плохо. Дайте ему, кто может, воды. Вахтер советуется с другим вахтером, оба советуются с вертушкой, и та, умная-умная, дает полный, на всю, оборот, заглатывает проректора вместе с Серафимой и выплевывает обоих уже на другой, *рабочей*, стороне. Твою-то, как это повежливее сказать, мать. Поймав самого себя за потную руку, проректор вламывается следом за Серафимой в разинутую пасть лифта. Он нисколько, проректор, не любопытен, он только исполняет свой перед *должностью* долг: не пропустить, не прозевать *врага*! В данном случае, врага злейшего, он в этом уверен. Друзья, а их не счесть, вползают сюда на брюхе, смазывая слизью подхалимажа все до одной бетонные ступени, растекаясь и растрясаясь пеной комплиментов, да просто грызя этот бетон. Но Серафима... она входит сюда, в Высшую Школу Музыки, с явным намерением перечеркнуть *собой* приросшие к задачам должности и звания. Остановить! Преградить! Предупредить! Проректор снова прячет руки за спину и, совсем уже без рук, таранит Серафиму нетерпеливым взглядом: "Пшшшла-а-а!" Но лифт стартует уже наверх, к Изе Шулеру.

Стерильный, как воображение авангардного архитектора, коридор. Одинаковые серенькие двери, вмазанные в потолок пузырьки-лампочки, серо-желтые чахоточные стены. Тут все подчинено рассудку, подчинено высшим его категориям: сухости, скупости, черствости. Как должно быть приятно тут *скончаться*! Скончаться раз и навсегда, не задев при этом ни одного восклицательного знака на доске объявлений: "Требуется! Требуется!! Требуется!!!" Тут требуется всегда одно и то же: бесполоый, стерилизованный, кастрированный, стертый, удушенный звук. Звук музыкального *инструмента*. Рассудок выдавливает этот призрак-звук из наглухо запертых классов с висящими на дверях табличками: занято, занято, занято. Рассудок не в курсе, чем тут все занято, но ему приятна сама эта деловитость. Ведь ничто так не отвлекает от *жизни*, да ну её совсем, как ежеминутно, ежесекундно тормозящая тебя *нехватка времени*: не успел!.. не успел!.. не успел!.. Не успел в девять лет стать лауреатом, не успел записать на золотой диск Ганона и Шевчика, не успел даже решить простую арифметическую задачу: из одного пункта в другой вышли навстречу друг другу по однокорейке два поезда... Вопрос, конечно, не в том, когда поезда встретятся, но в том, хватит ли на свете идиотов, чтобы окончательно со света этот свет сжить. И рассудок, шевелясь в спинномозговой жидкости, картаво и шепеляво подсказывает: хватит!

В этом серо-желтом туннеле, в больнично-тюремной стерильности одних и тех же, с номерами, дверей есть, впрочем, кое-какие следы жизни: побитый студенческими задачами диван, задрапированные куртками и сумками кресла, заставленный невымытыми чашками, тарелками и пустыми коробками стол. Сядь, плесни в бумажный стаканчик остывший кофе, вдумайся: что ты тут, в самом деле, забыл? Ты оглядываешься по сторонам:

никаких, даже самых робких, примет одухотворенности... да что это ты высматриваешь! Где ты, собственно, находишься? Забыл?!

В конце коридора зияет стеклянным провалом обособившаяся от здания терраса с десятками беспорядочно расставленных стульев, и высыхающие в горшках петунии вяло кланчат у бабьего лета хоть какого-то запоздалого признания: жизнь коротка, краски вечны! К террасе подбирается, укоренившись шестью этажами ниже, вечнозеленый плющ, этот висящий над пропастью самозванец, грезящий о плоской крыше, где только ветер и солнце, и Серафима мысленно оценивает головокружительность достигнутой плющом высоты, мысленно срывается вместе с ним вниз... Ах, эти самоубийственные намерения! Они возникают тот час же, как только судьба приставляет тебе нож к горлу: "Действуй!" Так хочется улизнуть, испариться, куда-нибудь сорваться... Но судьба упрямо стоит на своем: "Действуй!" И ты ставишь, как можешь, парус, рвешь его, если надо, к черту, рубишь мачты...

В этом архитектурно недомогающем коридоре царит *дух копирования*: эта дверь похожа на ту, и та похожа на эту... и все они похожи на кое-как заштопанные дыры в бесконечно длинной серой кишке, содержанием которой является все та же *похожесть*. Эти набранные петитом профессорские имена, они тут как семечки, идешь по коридору, лузгаешь, сплевываешь. Ни одно из этих имен не хуже другого, и все они взаимозаменяемы: профессор, профессор, профессор...

Этот, покинутый небесами олимп.

Опередив Серафиму на полшага, проректор перегибается пополам, кланяясь, как обнаружившая поживу ворона, скромно предупредительной табличке: здесь! Стой и не дыши, не скребись, не царапай дверь ногтем, не дави нервную кнопку звонка: Изя Шулер считает. И дверь, не будучи пока крышкой гроба, контрабандно пропускает отсчитанное: раз-два-три-четыре.

На самом гребне этой, раз-два-три-четыре, волны дверь становится шлюзом и форточкой, выпуская наружу, в серую застылость коридора, *правую толчковую* профессорскую ногу. На этой ноге Изя Шулер прыгает утром через скакалку, и глазеющее на него зеркало считает, считает... и нога становится еще более правой. И надо ведь что-то делать с левой ногой... Нет ли тут пробегающей мимо беговой дорожки? Уступая по тренажерным качествам одной только скрипке, беговая дорожка едет уже на международный конкурс: сюда, верткие лауреаты, сюда, потные профессионалы!

Окажись поблизости голубоглазый, с седенькими крылышками, ангел, он тотчас же признал бы на свежерозовом лице Изя Шулера свою, ангельскую улыбку: так скалитесь только невинный. И ничего, что улыбка отрететирована в спальне перед зеркалом, ей все равно нет цены. В отличие от всего остального: майки, коротких штанов, носков и сандалий. Эти практичные, до колен, штаны Изя купил в Одессе у одного великого скрипача, и многие ему с тех пор завидуют. Завидуют также и майке, перехваченной у перекупщика на аукционе у Ростроповичей. Что же касается сандалий и носков, то их подарил Изе нынешний русский президент, снял с себя.

- Входите, не стесняйтесь, располагайтесь!

Так говорил когда-то посетителям товарищ Сталин. И многим из них приходилось менять потом штаны, этим *усравшимся*, и это импонировало вождю. Чем сильнее страх, тем лучше усваивается урок. Разве Серафима здесь не затем, чтобы наконец *сдрейфить*? Озадачиться, одуматься, отступить. Склониться перед старшим товарищем, перед всеми в мире товарищами, и пусть товарищ Сталин подскажет: гнать ее в шею сразу или постепенно.

- Вы готовы?

Отшлифованная конкурсными кошмарами "Ямаха" обдаёт Серафиму копотью угорелой ученической прыти, гоня по ухабам незнакомого текста готовые оторваться руки: вот так и *читают с листа*, не разбирая смысла прочитанного, увязая в густой абракадабре нотных знаков. Так учатся *обнулять* любую глубину.

- Вы готовы? Начнем! Раз-два-три-четыре!

Изя сует по привычке руку в оттопыренный карман практичных, от великого одесского скрипача, штанов, перебирает пальцами выручку: три тысячи, четыре... четыре с половиной. Потом он скажет своей умной жене: "Сегодня был не слишком напряженный день". Жена пересчитает деньги, пересчитает еще раз, и только тогда позволит себе сквозь новые зубы прошипеть: "Сколько ты проел в буфете?" В буфете Изя покупает бутылку воды и диабетический коржик, остальное у него с собой, в портфеле. В этом, достающем ему почти до щиколоток портфеле, умещается пол детства со Сталиным впридачу, комсомольская стукотня юности и все те географические перемены, с которыми связано желание иметь оттопыренные карманы. Этот портфель носит за Изей его профессорское гепотте, и, надо же, Серафима об него спотыкается... извините, то есть, здарсьте.

- Готовы? Не готовы?!

Это ведь и есть конкурсная готовность: когда с тебя сдергивают посреди ночи одеяло и обливают водой, когда на тебя наезжает без тормозов начальство, когда ты ни к чему, черт бы тебя побрал, не готов, будь готов! Этот пионерский закон равен в Высшей Школе Музыки закону природы, закону той самой беговой дорожки, которой нет до *тебя* ни малейшего дела. Беги, и точка.

Рояль, бывший товарищ товарища Бекштейна, скалится на Серафиму ровностью японской клавиатурой: "Дигитал-дигитал-дигитал..." Отнять у звука его право быть *неровным*, шершавым, шероховатым, живым. Оставить звуку единственную, на все времена, возможность: быть близнецом самому себе и однофамильцем, быть дурной бесконечностью своих надоедливых копий, механической повторяемостью одних и тех же, мертвых, колебаний. К *такому* звуку, экзаменуемому компьютером, удовлетворяющему понятие дьявола о порядке, и припадает слух едва развитого в свои одиннадцать лет комарино-мушиного ученического тела, со спичечными ногами, ломающейся надвое талией, вымученной сосредоточенностью бледного, как тепличная редиска, лица. Девочка заворуженно смотрит на мать, та смотрит на Изю: не пропустить, не проморгать. И хотя Изя говорит всем, начиная с четырехлетнего возраста, одно и то же: "Играй *форте!*", мать рьяно записывает, а дома читает дочери вслух, как сказку. Девочке снятся тематические сны: сидя верхом на скрипке и охаживая ее смычком как кнутом, она перелетает с одного конкурса на другой, собирая, как пыльцу, премии... ах, деньги!

- Раз-два-три-четыре.

Изя стучит ногой по паркету, отхлебывает из бутылки воду, проталкивает в горло капустный лист вместе с завернутой в него котлетой, лезет в карман, где стало уже на полтысячи больше, и орет Серафиме в ухо:

- Раз-два-три-четыре.

Моцарт, расположившийся было послушать свой собственный, номер один, концерт, морщит напудренный лоб, скребет в затылке седой парик, переворачивает его задом наперед, становится на четвереньки и... быстро-быстро ползком под рояль! Он думает, Моцарт, что от "раз-два-три-четыре" можно где-то спастись! Можно ли спастись от собственного рассудка? Можно ли улизнуть от *правильности скуки*, предусматривающей лишь исполнение правил? Можно ли продраться сквозь решетку *законов природы* и дать деру в беззаконие? Можно ли причинять себе такие неудобства, от которых уже не бегут, но которые *объясняют*?

- Раз-два-три-четыре.

Комарино-мушиный напор подпираемого спичечными ногами одиннадцатилетнего тела, редисочный румянец на вспотевшем под блеклыми кудряшками лбу: так и только так, в поте и полном истощении, *делается* конкурентоспособное, лауреатствующее, эх, блядствующее искусство. Дайте искусству эту всепоглощающую устремленность в концы! К концу представлений о человеке как о чем-то гораздо большем, чем это дистрофичное тело.

С точки зрения забившегося под рояль Моцарта, ничего не делающий, плюющий на всё профессор не так для музыки вреден, как сверхурочно пашущий Изя Шулер: одно дело, просто быть глухим, и совсем другое дело, *сознательно* ставить музыку на беговую дорожку. Изе позарез нужны эти комарино-мушинные тела, эти гибкие, гнущиеся в любую сторону побеги, этот жизненный, ничем еще не отравленный сок. Из этого *сырья* производится дух самого Изи Шулера: дух умопомрачительной технологии. Ум должен, обязан быть помраченным, иначе ему непременно приспичит обскакать рассудок. Ум, этот упрямый бычок с продетым в нос кольцом. Не дать ему, бодливому, рогов! Пусть рассудок и дальше, раз-два-три-четыре, считает, ослепляя одиннадцатилетние, восьмилетние, да, четырехлетние души! Двадцатилетние тоже годятся, если они не выросли в культурной, так сказать, глуши. Вырасти в глуши, где никто сроду ничего про Изю Шулера не слышал и не понимает, о чем речь, это и есть то самое бескультурье, упоминать о котором культуре не свойственно: бескультурье *свободной от Изи Шулера* погоды. К Изе не ломится в класс вымокший в горной речке тролль с серебристой, как форель, скрипкой, тролль еще не спятил. Другое дело, пролезшие через мясорубку вступительных экзаменов "вундеры": у каждого из них такой ученический зуд, что сам Сатана не прочь тут запрофессорствовать. И Сатана, конечно, узнает свою старую, проверенную тысячелетиями педагогику: сначала придуши *живое*, потом оживи *мертвое*. Промой, короче, мозги, чтобы в них не задержалось никакое представление о том, что сами эти мозги ровным счетом ничего без *света* не значат... тсс!

- Раз-два-три-четыре.

Серафима заглядывает под рояль, роняет на пол ноты.

- Что Вы там ищете...? Не знаете текста...? Не справляетесь с темпом...?

Вот он, долгожданный случай, указывающий нищему духом его *нишу*: тут мы его и прихлопнем! Затолкаем в его же от остальных отгороженность, запищем в полную безвестность, запрем в воющее одиночество. Тогда-то он, чего-то от духа ждущий, и увидит, на чьей стороне сила: на стороне *организации, сообщества, братства*. Не хочешь дышать *общим воздухом*, будешь наказан: *мы* забьем наглухо окна, щели и форточки, заткнем вентиляционные отдушины подслушивающими устройствами. Что ты станешь делать без нас?

Сунув под подбородок скрипку, Изя подходит к Серафиме вплотную, тараня профессорским животом тесное, от локтей до клавиатуры, пространство, и пилит ей прямо в ухо, наматывая на смычок ее растрепанные волосы, пилит с жаром, остервенением и настоящей, неподдельной, *расовой неприязнью* к готовому улизнуть из материи духу.

- Что?... Вы?... Там?... Ищете?

Взметнувшийся было комарино-мушинный смычок замирает на середине конкурсного пассажа, тонкие ноготки царапают раскаленный скрипичный гриф, бледные кудряшки прилипают к вспотевшему лбу: что ищешь?... что?... Ученица оборачивается к матери, та строчит в школьной тетради: что... там... важно успеть записать. Дома мать прочитает это вслух: что-что-что-там-там-там... прочитает вслух много-много раз... Зря она что ли своего ребенка в муках рожала? Нет, не зря: ребенок должен окупить ее муки, присовокупив в них свои собственные муки. Ребенок должен уже теперь принаравливаясь к ухваткам сценического декольте, к выпирающим из него представлениям о большом, очень большом искусстве. Смотришь, бывает, на *разные пугала*, у кого веник вместо головы, у кого перевернутая кастрюля, и видишь всегда одно и то же: Анну-Софи Муттер... Видишь? Она и есть раз и навсегда заученное правило. И не надо доискиваться, откуда у этого *протухшего* звука такая похожесть на... не вы ли это случайно? Хотите сказать, что тут пахнет *деньгами*? Не надо так прямолинейно, так, извините, грубо и примитивно. Мы ведь все, в зале и на сцене, умеем считать: раз-два-три-четыре.

Комарино-мушинный смычок виснет без всякой опоры в воздухе, и ухватившаяся за него дистрофичная ручонка не прочь напоследок махнуть... ах, махнуть на прощание

маме! Рано или поздно ведь приходится признавать свою на родителей непохожесть. Но Изя, нет, он этой *свободы* не потерпит, он не зря диктует в школьную тетрадку: раз-два-три-четыре.

- Я ищу... - из прогретого солнцем ре-мажора отзывается Серафима, - ... ищу Моцарта!

И Моцарт, сидя на четвереньках под роялем, охотно и живо подтверждает:

- Она ищет меня.

Комарино-мушиный смычок гребет от изумления кролем, потом брассом: да тут, оказывается, море! Море с парусниками, дельфинами и разными открытыми просторами... туда!.. нет, лучше туда!.. а потом туда!.. И хотя к дистрофичным плечам уже прирастает чужое, пропахшее потом и успехом, декольте, надо грести дальше, прочь от берега, прочь от школьной, с раз-два-три-четыре указаниями, тетради.

- Что Вы там, я не понимаю, болтаете? - одернув на себе аукционную, от Ростроповичей, майку, строго замечает Изя, - Какой еще... то есть... Играйте!

И школьная тетрадка торопливо проглатывает давно уже заслуженный Моцартом выговор: *так* тут не играют. Так, чтобы *наступить*, чтобы никакого благоустроенного тыла, никаких в окопах удобств. Чтобы все, что может еще быть, оказалось на передовой. Чтобы линия фронта резала сердце надвое.

"Значит, - в спешке соображает Изя, - не все еще запасы у нищенствующего изъяты! Значит, надо доковыряться до крови, до костей! И не замарать при этом рук!"

- Не будем отвлекаться на пустую болтовню, - сверкнув молнией виртуозного пассажа, командует Изя, - Раз-два-три-четыре!

Комарино-мушиный смычок по команде привычно примерзает к волокущей его куда-то *воле учителя*, и одиннадцатилетнему телу ничего от этого не делается... да оно в этом, тело, и не участвует.

- Играй, - кричит Изя в ухо ученице, - головой! Думай! Считай!

И голова, со всеми прилипшими к ней блеклыми кудряшками, сортирует, как может, расстрелянные рассудком мысли, собирая из них ледяные узоры калейдоскопа...

- Раз-два-три-четыре!

Однако ученица с любопытством посматривает на Серафиму: разве у взрослых это бывает, разве случается так, чтобы кто-то в свои перезрелые, так сказать, годы лез под рояль? Лез искать там... ну что ли детство. И в облепленную блеклыми кудряшками голову лезет по трупам расстрелянных в упор мыслей такая вот свежая, только что родившаяся... ах, *своя* мысль: только будучи ребенком и войдешь в это царство! Так думал, торопя свой Реквием, Моцарт. Пусть рушатся конкурсные пассажи, выпуская из цепких когтей солнечный звук!

Комарино-мушиный смычок взвивается на высоту отчаянного писка, пальцы щекочут раскаленный гриф, по струнам бежит электричество. Молодой талант, хоть и рожден в муках для последующих мук, рожден тем не менее в атласном конкурсном декольте, но даже и ему, своей комариной жизнью родительские затраты окупившему, порой становится любопытно: где жизнь?.. где солнце?.. Мать смотрит на часы, сейчас придет следующая комарино-мушиная ученица и будет играть тот же самый концерт, и следующая мать сунет Изе полтысячи... раз-два-три-четыре.

- Играйте! Работайте! Раз-два-три-четыре!

Моцарт высовывается из-под рояля, в бобрике белокурых, вместо парика, волос, целится золоченым башмаком в антикварную, с аукциона Ростроповичей, майку, метит другим башмаком в сползшие ниже колен одесские штаны, и его майский смех отзывается дрожью на серых, озябших стенах:

- Играть без меня? Играть *Моцарта без Моцарта*?!

Пока он лежит, присыпанный известью, в безвестной братской могиле, пока китайские роботы изображают на своих мертвых лицах прилежание и усердие, пока дряблые, под атласным декольте, тела напрасно сражаются с подростковым склерозом, кто-то ведь может, кто-то должен спросить напрямик: ну сколько так еще?

- Раз-два-три-четыре.

Сентябрьское солнце смеется Серафиме в спину: ему известно кое-что о бабьем лете, о таком в общем-то русском явлении. Эти последние, самые жаркие домогательства хорошей погоды, с рухнувшей в море синевой и пышностью отцветающих роз, эти пылкие, невыполнимые обещания! В них подспудно хозяйничает зима, не торопясь пока выпроваживать загостившееся лето. Зима, считающая себя единственным временем года. Это такая русская привычка: мерзнуть. Мерзнуть, чего-то ожидая. И оно, ожидаемое, само должно быть мерзнет у себя вдалеке, не слишком-то надеясь однажды придти.

... Серафима стоит возле магазина, подмышкой буханка хлеба. Этот московский хлеб пахнет качественно проведенной в жизнь инфляцией: никому не удастся ничего сэкономить, даже на черствой корке. Ешь, запихивай в рот сыроватые комки, и помни: ради этого хлеба ты и живешь. К нему присовокупляются разные полезные и приятные слова: вкусный, питательный, отечественный, и это, как тебе известно, и есть идеалы, тебя самого, впрочем, не касающиеся, идеалы эпохи, застрявшей в горле у эволюции. Они-то, идеалы, и гонят тебя дальше по хлебным просторам: поднажми, поднатужься... подвинься. И если тебе удастся до срока, ах, эти статистические сроки, лечь в родную землю, считай, что ты оставил с носом дядю Вову и дядю Диму, этих идеалистов-материалистов, упрятанных в расписную кремлевскую матрешку. И не надо о самом себе грустить как о куске недоеденного хлеба: придет время, доедят.

Серафима смотрит на свои сбитые на одну сторону сапоги, их успели купить ей лет пятнадцать назад родители, и сапоги с тех пор еще ни разу не чинены, цвет у них защитный, качество солдатское. В этих сапогах и в перешитой из своего же детского пальто юбке Серафима *вышла на защиту*... есть такие среди громких слов громкие слова... то есть, собственно, вышла нападать на экзаменующих эпоху московских димо-вов. И поскольку им было не до таинственных, в срамные места, укусов и всех торопило куда-то *величие замыслов*, они, то есть во-во-димы, *позволили* сбитому на сторону сапогу шагнуть на ступень выше по большевистской, гражданской, отечественной, а также *путевой* служебной лестнице. Выше, собственно, чего? Или: что *ниже* того, на чем стоим? Партийно-картофельная рассудительность? Утыканный костями зэков шпиль университетской высотки? Серафима смотрит на слякотный московский тротуар и... о, радость! Кто-то обронил в снег ломоть колбасы. Окажись тут поблизости собака, она бы... Воровски оглянувшись по сторонам, и откуда только такие навыки, Серафима хватает колбасный обрезок, стряхивает с него снег... Первая ее мысль, конечно, о детях, но до них шестьсот с лишним километров, и это значит, что колбаса достанется ей самой, такой редкий случай. Роскошный, сочный колбасный обрезок! Сначала она нюхает, потом пробует на вкус... о-о-о!!! Она прикусывает себе изнутри щеку, глотает кровь... глотает последний, с ветчинными прожилками, кусочек... Отщипнув немного хлеба, она идет по улице дальше, и судьба нашептывает ей что-то о победе и удаче, и сбитые на одну сторону сапоги вминают в ее слякотное прошлое недостроенный дом, невыданные детские пособия, незрелые, кисло-горькие брачные обязательства... Вминай, вминай в эту слякоть, в эту московскую грязь свое сверкающее "никогда"! Сырой ветер рвет на пальто пуговицы, щекочет продрогшую спину осточертевшим напоминанием: "Простуда! Туберкулез! Смерть!" И как ответ рвется изнутри, из тонких жизненных материй, дьявольский, навязчивый кашель: "Туберкулез, смерть..." Остановившись возле наваленного дворниками сугроба, Серафима сутулится, горбится, перегибается пополам, сплевывает в замусоренный снег, и натыкающиеся на нее прохожие шарахаются, матерясь, в сторону. На снегу свежая, из тонких жизненных материй, кровь. И Серафима идет дальше, словно ей куда-то надо. На перекрестке толпа, злая и нетерпеливая, впереди красный свет. Можно стоя заснуть на мгновение, откатиться от забрызганных грязью бетонных мусорок и тяжелых, денежных новорусских дубленок, от всей этой параноидальной озабоченности малым, пропасть... Эй, ты, пошли уже! Толпа несет Серафиму на другую сторону улицы, прижимает к полированному граниту

внушительного фасада, и она, задрав голову, узнает категорично-наплевательский росчерк: "Аум". Значит, он и тут, "Аум", он везде! Задраенные решетками пластиковые окна, вооруженные омовские куклы у входа. От имени национального *здоровья* тут всё и происходит... "Стой! Куда?.. Куда, твою мать, прешь! Не видишь что ли, что это партийный офис? *Ассоциация Умов Москвы!*" Серафима сплевывает в снег, но это не помогает, во рту полно железных опилок, и она дает волю... смеху, незаконно существующему наравне с паранойей, психопатией, шизофренией, неврастенией, депрессией и скукой. Она смеется, кашляя и плюясь кровью!

Одетая омовцем кукла молчит, случай клинический. Национальное здоровье не предусматривает смех как таковой, и если рыбак опускает в реку вместо удочки электропровод с ближайшего столба, экономя тем самым свое и рыбе время, мы говорим, проходя мимо: "Какая удивительная тупость!" Говорим это трупу. Национальное здоровье резервирует смех на случай хрестоматийного голодомора-переедания, на случай счастливой, своевременной смерти вождя... ха-ха-ха. Окукленному омовцу скоро в "наши", то есть он вполне, согласно стандарту, здоров. Вполне и даже больше: привит *дефицитом кадров*. Теперь-то с ним полный порядок: рыло рулит... роет.

Дальше снова толпа, на этот раз у входа в метро: муравьиное, туда-сюда, мельтешенье, купля-продажа, матершина, нищие. Нищим подают, не глядя, словно отбиваясь от проклятой обузы, и те только считают жадными глазами мелочь. Шубы, меховые шапки, зонты, сапоги. Серые, как февральская слякоть, лица, кривые, мерзлые улыбки. Тетка в старом пальто и пуховом платке, из тех, кто сажает всю жизнь картошку и кормит в одиночку детей и внуков, медлит у входа, вытаскивает из кармана носовой платок, роняет на тротуар, и Серафима чует на расстоянии... ах, она это чует: деньги! Она бросается прохожим под ноги, хватает, и вот они уже у нее в руке, эти скрученные, промокшие бумажки! Она пятится назад, ввинчивается в идущую ей навстречу толпу, но ее снова несет к метро, к той самой бабе... С двумя оторванными пуговицами, в сбитой набекрень каракулевой шапке, Серафима причаливает к железным перилам, отделяющим площадь от шоссе, кашляет, плюется... Повернувшись спиной к метро, она перебирает ледяными пальцами скрученные бумажки: целых сто рублей! Два килограмма картошки и бутылка постного масла. И та тетка, в старом пальто и пуховом платке, должно быть тоже на это рассчитывает... Но что теперь чужой голод! Теперь имеет смысл только голод свой, охотно тебе подсказывающий: "Плюнь на всё! Считай, что тебе повезло!" Этот родной, ухмыляющийся голод. Чем стало бы без него национальное здоровье? Во что превратилась бы Ассоциация Умов Москвы?

Считать себя голодающим, недокормленным, недоношенным, а также оплеванным и международно оскорбленным, это и есть новорусская, *наша* нормальность. Рассудок жмет на критерий счастья, на эту педаль благоденствия, и неважно при этом, едем или не едем... между нами говоря, мы давно уже приехали. Только голод, он по привычке клянчит пищу, клянчит, хоть и беззуб, шведский стол, с черной икрой, водкой и балалайками, и мы называем это русским аппетитом. Мы, наши.

В промокших, сбитых на сторону сапогах и комковатом пуховике, служащем ей в поезде одеялом, Серафима вправе считать себя законной частью окружающего пейзажа. Так положено ей *по закону*: мерзнуть и голодать. Но что-то в обход закону, не слушая воплей о беззаконии, тайком насыщает себя: что-то не наше. Оно, не наше, нас очень пугает, делает нас истеричными: оно отстреливает нас по одиночке. Каково сделаться вдруг за самого себя ответственным?! Так горьки эти с самим собой встречи, так неуютен их праздник! Праздник сиротки-истины.

Но как же два кило картошки с бутылкой постного масла? О них позаботится иная, не наша жизнь, вовсе не принимаемая нами за реальность. Наша реальность отсчитывается от дядивовиной полочки, и не надо тут *фантазировать*. Даже если собрать возле метро всех сажающих картошку теток и дать каждой по сторублевке, оно мало что в народной

фантазии изменит, только чуть подсластит сказки о пенсиях. И мы, наши, на том и будем стоять: на наших *реальных*, вполне оправданных их неосознанностью, иллюзиях.

Сжимая в руке мокрую сторублевку, Серафима отыскивает глазами затерявшийся в толпе пуховый платок, и вся, какая есть в ее мыслях тьма, принимается гнусаво вопить о пожирающем ее огне... что-то случилось с нею, с крошечной. В толпе неразбериха, одним налево, другим направо, и только адский гул тормозящего возле перрона поезда и гарантирует еще какое-то направление, сдирая заживо комсомольскую шкуру с серпомолоткастых сталинских суперменов. Вперед! Догнать эту бабу в пуховом платке, схватить за рукав изношенного пальто, рыкнуть "растяпа", пробормотать "извините"... в общем, всучить ей эти проклятые деньги.

Но Серафима стоит. И самые тонкие ее материи, что выплываются вместе с кровью в снег, пропитываются холодом понимания: у твоего бескорыстия есть только одно назначение, служить твоему эгоизму. Бескорыстие, попробуй разгляди в нем тщательно замаскированный расчет! Ты ведь рассчитываешь на то, что тебе воздастся, ты тайно греешь на этом руки. Тебе следовало бы подучиться у государства, у этой замаскированной под абстракцию тысяченожки: оно подает на бедность. Подает бескорыстно, перед этим обобрав тебя до нитки и надув, как резиновый мяч, давно протухшим "национальным интересом". На самом деле, есть только один, *твой*, интерес. Присмотрись к нему, он насквозь эгоистичен, и не надо его за это ругать, этот человеческий интерес. Пока твоя кровь хлопает клапанами сердца, пока ты кричишь отданному крови теплу: "Я-я-я!", пока твой высоколобый рассудок неуклюже скачет в погоне за счастьем, скажи своему эгоизму чтобы повременил, чтобы пустил вперед себя смерть.

Толпа несет Серафиму к билетной кассе, там дежурит, как мент на посту, молоденький поп. В черной, до пят, зимней рясе и зимнем клобуке, с оттягивающей шею кубышкой, он зазывно гложет толпу укоряющим во всех грехах взглядом, и на его бледном, истощенном постом лице вспыхивает порой беспомощное отчаяние, одолеть которое можно разве что презрением к суете, прости Господи. Отправив попику побираться, начальство явно имело в виду наказание: пусть постоит, не переминаясь с ноги на ногу, целый день в духоте метро, пусть увидит к себе людское равнодушие, пусть кроме того ни ест и ни пьет. Одно только попику можно: бормотать в тощую бороденку молитвы. Сунуть ему сто рублей! Черт с ним, с постным маслом. Держа в руке скрученные бумажки, Серафима медленно подходит к кассе, останавливается, стоит. Попу не положено на деньги пялиться, и он только крестится, крестится... а Серафима стоит напротив, держа сто рублей наготове. Ей хочется с попиком поговорить, он ведь тоже человек. Но тот только крестится, только бормочет... Спросить у него, зачем Богу столько денег, столько золота. Или этот Бог - Сатана? Ну, говори! Попик крестится, крестится еще усерднее и неожиданно принимается голосить низким, хорошо поставленным басом: "Смывайте грехи ваши! Смывайте! Смывайте!" Его вопли несутся за Серафимой по эскалатору, сливаясь с механической, как бой кремлевских курантов, болтовней: "Уважаемые москвичи и гости столицы..." И вот внизу, на платформе, Серафима видит эту, в старом пальто, тетку: плотнее кутаясь в пуховый платок, словно в вагоне ей придется мерзнуть, она сует руки в карманы пальто, тревожно оглядывается... тут где-то вор. Из туннеля выползает, визгливо тормозя, поезд, толпа размазывается по перрону, сливается с другой, вываливающей из вагонов, толпой... Скорее! Успев добежать до середины поезда, Серафима останавливается перед захлопнувшимися дверьми: "Следующая остановка..." В руке у нее сторублевка, она купит два килограмма картошки и бутылку постного масла.

На этом обожравшемся деньгами, нищетой, славой и национальной гордостью московском кладбище осталась ее прежняя жизнь, осталась в виде истории болезни.

Сентябрьское солнце заглядывает под рояль, метит в засидевшего там Моцарта, метит не без умысла: должно же быть такое в мире место, где солнечные, пусть даже

запоздало-бабье-летние, истины высказываются открыто. И хотя Моцарт тут никакой не профессор и денег давно уже не считает, и никакая слава к нему уже не клеится, и так он вообще, Моцарт, *прост...* комарино-мушиной ученице охота из-под смычка подсмотреть, не прекрасный ли это накануне зимы месяц май...

- Что вы тут играете? Кто вам разрешил играть *так*?

Такого еще не случилось в классе Изи, чтобы музыка кого-то *вела*! Это что же выходит, долой из окружающего мира? Вот так, на поводу... так можно ведь зайти далеко! Изя давно уже не *кител* такой откровенной - вот оно, откровение! - неприязнью: чтобы кто-то при нем доискался и дозвался, добрался, оставаясь при этом целым и невредимым, до *живого звука*! Такого нарушения приличий не позволял себя даже - ой, страх! - великий одесский скрипач. А Серафима позволяет. Да кто она такая?! Кто? Она? Такая?

Ученица виновато моргает, она ведь хорошая ученица, ей бы теперь не выдать своего с Серафимой заговора: обе дали деру.

- Так никто никого не учит играть!

Ученица смотрит на мать, та смотрит в школьную тетрадь, и оттуда тычет указательный палец Изи: не так! Вот оно, спасительное на все времена указание.

- Играйте тише! Играйте громче! Не играйте! Остановитесь!

Загнав скрипку под потный подбородок, Изя призывает расслабившееся где-то на стороне вдохновение... призвал! Теперь-то он сыграет, в назидание Моцарту. С его розового, закатившегося на затылок лба катится за шиворот майки капустный пот, и едва поспевающая за ним ученица отчаянно пищит в унисон, переламывая пополам комарино-мушиное тело. Так они едут, мешая друг другу, к обрывающему в пропасть конкурсному пассажи, а там... там уже поджидает их сочно вызревший на солнце аккорд.

- Не надо!!! Не надо подыгрывать! Замолчите!

Комарино-мушиное тело бьется в липучке унисона, глотая сопли и едва не падая в обморок, и те капли сознания, что просочились за одиннадцать лет в кишки и печенки, теперь подсказывают ученице, что Изя Шулер... паук! Паук, каких плодит в изобилии *автоматизм работы*. Несясь вместе с конкурсным пассажем по "раз-два-три-четыре" ухабам, Изя успевает только выкрикнуть:

- Не надо... тут... *музицировать*!

Пролетит незаметно детство, за ним увяжется сквознячно-лауреатская юность, и молодость невзначай спросит: "Да была ли я?.." Но ее убедительно попросят заткнуться.

Эти стареющие одиннадцатилетние комарино-мушинные тела. Этот вслепую выгоняемый волей искусственный, да, *денежный* цветок. Эта освобожденная от труда рабская вера в наказание.

- Наша педагогика, - резанув напоследок перепуганное насмерть "ре", удовлетворенно заключает Изя, - потому так успешна, что мы учим только *понятным* вещам: понял, усвоил, исполнил. Никаких недосказанностей, никаких намеков, ничего "на потом" или "на вырост", но только здесь и теперь! Только так и *делают* лауреатов! Один раз на всю жизнь! Играем дальше: раз-два-три-четыре...

Дальше всхлипы и вздохи, знобящий, ломающий суставы и кости соль минор. И все это в связи с покинутой, обманутой и к тому же беременной Дидоной. Эта невинная блудница вот-вот поднимется на эшафот, веля себя на берегу синего греческого моря сжечь. Сколько от нее дыму!

Покинутая, она же гневная Дидона не желает, чтобы ее на "раз-два-три-четыре" сдавали внаймы писклявому, кисленькому ученическому послушанию. Ей нужен взметнувшийся пламя костер, нужен врезавшийся в горизонт корабль. Ей нужно, чтобы ее смерть принимали всерьез. Чтобы кто-то, ну хотя бы один человек в мире, увидел красоту ее телесной жертвы, высвобождающей для свободных по морю странствий догоняющую корабль любовь... Ах, эта боль, эти стоны!

Высунувшись из-под рояля, Моцарт снова надевает парик, оправляет мятое кружево манжет, смахивает посплоявленным пальцем пыль с золоченного башмака: наконец-то

тут что-то происходит. Тут, оказывается, есть наглухо заколоченное окно, есть к тому же ветер. И кто-то среди руин и неразберихи всякого строительства, на коротком жизненном привале, это окно вышибает и высовывается, а оттуда... запах белых акаций! Запах вдохновения, запах божества. Ветер развеет над морем пепел, унесет вдаль сторевшие имена, и где-то на горе брякнет и зальется солнечным перезвоном подвешенный к облакам колокол: "Ди-дона-ди-дона-ди-дона..."

Изя растерян и напуган: перемноженные на деньги минуты вот-вот грянут светопреставлением. Комарино-мушиное, на спичечных ножках, тело... горит! Горит вместе со скрипкой, вместе с блеклыми на лбу кудряшками. И жар от него такой, что тлеют даже нетленные методические указания, словно сырой навоз... Откуда это? Кто этому учил? Кто позволил? Эти глубокие, сочно вибрирующие тона, эта обнимающая космос страсть! Откуда такое у одиннадцатилетнего ребенка?

Нервно теребя в сумке кошелек и банковскую карту, мать беспомощно смотрит на Изю: ей нечем за *такое* платить. Сколько это могло бы стоить? Откуда это вообще берется?

- Оно приходит само по себе, - подсказывает из-под рояля Моцарт, - надо только бодрствовать...

- Но это... неприлично! - заглушает Изя криком страшную догадку: тут есть что-то, кроме *техники*. Что-то, засталяющее о технике забыть. Мягкие, тихо дышащие в глубину воспоминаний аккорды протаптывают тропинку к синему греческому морю, а там... воля! И никаких "раз-два-три-четыре", - Замечательно! Великолепно! Удивительно! Так нельзя! Так не положено играть!

В классе Изи Шулера так можно сыграть только *один* раз. Только один, сворованный у "раз-два-три-четыре", раз. Изя не дурак и сам всё это послушать, по спине у него бегут капустные мурашки, седенькие кудряшки вокруг заглатывающей затылок лысины электризуются, между ног, в коротких штанах, всякие неудобства... Короче, нравится. Но нравится совершенно незаконным образом. Ведь кто посмеет, раз-два-три-четыре, утверждать, что кроме чувств есть что-то еще... что-то *сверхчувственное*?! Это что же такое творится! Это же конец ума! Конец сбившегося со счета рассудка!

- Достаточно... хватит! - нетерпеливо перебивает Изя поющий о скорби рояль, - Дальше не надо! Не надо!!!

Он стучит ногой по паркету, стучит ногтем по пюпитру, он перестучит еще и не такое беззаконие. Он, Изя Шулер, профессор Высшей Школы Музыки, призван стоять на страже: чтобы спящий с разинутым ртом никогда, никогда не проснулся! Слышишь, как тот храпит? Храпит в знак согласия.

- Вы не умеете работать, - мрачно сообщает он покинутой Дидоне.

Она всё еще возле синего моря, на покинутом любовью берегу, всё еще в пламени костра... Она позволяет себе смотреть туда! .. видеть!.. позволяет себе жить увиденным! Вопиющая, злобнейшая неакадемичность. Что станет с "раз-два-три-четыре" методикой, окажись ученики, все как один, такими вот... ясновидящими? Какое, кстати, омерзительное слово. Изю передергивает под антикварной, от Ростроповичей, майкой.

- Вы не годны! Не годны!!!

22

Играть роль в спектакле, нисколько того не желая, удел работающего, а также *заклученного*, и разница между ними лишь в характере роли. Ты не хочешь, но тебя *ставят* в известность: будешь! И те, что толкают тебя на сцену, сами никогда не видимы, режиссеры-суфлеры-декораторы, и нет пока такого ума, которому хотелось бы разгадать также и их роль.

В школе имени Доктора всех поголовно тянет на сцену, и ролей пока хватает. Эти общешкольные спектакли! Ими завершается каждое полугодие и каждый проклятый

учебный год, и все, ученики и учителя, сваливаются, как пепел из ненужных никому урн, на клумбу-сцену, где торчит вечнозеленым подсолнухом довольно уже старенький, в свои сорок с чем-то, эвритмист Ярл Тригве. Обычно Ярл Тригве заезжает на сцену на велосипеде, перед этим продравшись сквозь дождь, снег и метель, встречный ветер и бестолковость пешеходных дорожек. Он весь, Ярл Тригве, в рабочем поту, он плавится, разжижается под толстым зимним пуховиком, он лезет, не раздеваясь, под душ, и окружающие сцену декорации делают вид, что им это впервые: окружать собой мыльную пену. Декорации, это не просто как попало размалеванный учениками картон, они есть подлинная реальность полубодрствования и полусна, полузабоченности и полунаплевательства, да, полужизни, с которой жизнь не может и не хочет знаться. Попробуй она, жизнь, выйти на эту сцену, ей тут же укажут место... то есть нет ей тут никакого места. Нет места ей и на зрительских скамейках, куда усаживается удовлетворенность и гордость родителей наравне с их уверенностью в том, что частная, имени Доктора, школа все-таки не так плоха, все-таки не *так*... Сами они забыли уже, *как* в школе плохо, и никто из них уже больше не спрашивает, зачем вообще школы нужны. Ах, не спрашивайте...

На клумбе-сцене вечное лето, Ярл Тригве в венке из ромашек и белой, выше колен, тунике отправляется пешком в Древнюю Грецию, и все, какие есть в школе, девственницы, дистрофичные и ожиревшие, с кольцами в носах и пупках и без, с петушиными гребешками на лысых макушках, с красногвардейскими звездами на брезентовых задах, с парфюмерным загаром и шарфами с портретом Бен Ладена, беременные и налегке, все они, девственницы, валят следом за Ярлом Тригве на освещенный неоном Олимп. Тут, на самом верху, публично благоденствует *культура*, и ничего, что лежит она... в гробу. Ради ее, культуры, благоденствия сюда, на Олимп, втаскивают за рога все еще круторогих баранов, не говоря уже о более сговорчивых овцах, бляющих в такт о равноправии и повышении зарплаты. Овца, какой бы демократичной она не уродилась, всегда мечтает о колючей проволоке с током и мочится в воздух при малейшем напоминании о свободе. Овца достаточно культурна, чтобы знать свое стадо, и это позволяет ей презрительно отзываться о других овцах: "Овцы!" Но вот уже девственницы, кто в муслимском шарфе, кто в венке из ромашек, залезли вместе с Ярлом Тригве на смотровую, на Олимпе, площадку: отсюда чего только не видать! Видны, например, перспективы на будущее: накопление-накопление-накопление. Видна новейшая история: история разбитого корыта... история уплывшей куда-то трески... а уж виды, виды... К видам привыкаешь, на них при случае ссылаешься. Как ссылается ассистент Симен на шаровидность своей макушки, в точности повторяющей форму вселенной. Симен обнаружил это ночью, сидя под звездами на палубе деревянной лодки. Он просто сидел и слушал ночное бормотание волн, и лодка, будучи его единственным жильем, скрипела старыми шпангоутами об отсутствии элементарных удобств: о выплеснутых в море остатках кофе, о нестиранных носках и простынях... скрипела и жаловалась на хроническое одиночество. Каково ей, деревянной и к тому же парусной, болтаться консервной банкой возле причала год и второй и третий, постепенно становясь чем-то вроде квартиры, сырой крысиной ночлежки. Внутри в самом деле живет крыса и редко отлучается на берег, преданно ценя кусочки сыра, которые Симен кладет себе на колено или подвешивает к потолку на нитке. Крыса карабкается вверх по штанине, оглядывается сверху по сторонам, неспеша поедает сыр, и ее доверие к Симену с годами только растет: он может носить ее, как рыбу на удочке, на нитке с приманкой, может даже бросить в море... И вот ночью, под звездами, Симен обнаружил, что весь окружающий лодку мир компактно уместается под куполом его черепа: тонкие лунные запахи, выдыхаемая городом углекислота, настойчивый ветер с фьорда, крыса... Правда, никаких петушиных гребешков и красногвардейских звезд Симен в голове своей не обнаружил, равно как и колючей, с зацепившимися за нее муслимиками шарфами, проволоки: он был в некотором смысле пуст. Пуст! И Симен подумал тогда о солнце: оно ведь тоже... пустое! Так, дыра.

Пустое, полое пространство. Глотка, куда влетают кометы. И Симен подумал, что сама эта пустота должна быть чем-то... наполнена, у него аж перехватил о дух от этой мысли: нет и не может быть никакой пустоты! И он сказал висящей на нитке с сыром крысе: " Пора нам отсюда отчаливать". Первое, как брачная ночь, путешествие, скрип старых, разошедшихся шпангоутов...

Среди собравшихся на Олимпе девственниц, среди белой, зеленой и розовой невинности, паклевых, свитых проволокой волос и прилипшей к носам штукатурки, лошадиного дезодоранта и свиного пота, раскрученных ржавым роком задов и мечтающих о силиконе груди, среди самой этой *приподнятости* над землей, да ну ее, землю, Симен улавливает обращенный к нему интерес: вся эта орава готова ломануться на его старую парусную лодку, в первое, девственное, с крысой на борту, плавание. И хотя у Симена есть своя в школьном спектакле роль, он послушно повторяет за Ярлом Тригве знакомые цифры... Да это же его номер телефона! Он шарит в кармане штанов, роняет на пол мобильник, вздрагивает, как ушибленный, от нетерпеливого писка: ему звонит вся эта бело-розово-зеленая невинность. Звонят родители девственниц, и кое-кто звонит уже в полицию: девственность уплывает! Звонит, от имени увольнения, ректор Тина. Нетерпеливый, требовательный, властный писк. Так пищит, бывает, от жадности голодная крыса. Симен думает, что все это часть спектакля, что Ярл Тригве попросту разгласил тайну его телефонного номера, да что там, разгласил его, Симена, мечту: уплыть, стать рыбой, считающей волны, сколько волн было, сколько осталось... И Симен прикидывает, не его ли это в спектакле главная роль?

Нет, не его. Обычно Ярл Тригве оставляет главную роль Суфлеру, и эта роль почетна и завидна. Настолько завидна, что завидует даже Методист, присматривающий за ходом действия из учительской: он смотрит в оба. То есть смотрит специально приехавшая на спектакль Астри, а Методист только гадает на таро: казенный дом, дальняя дорога, большая постель... Астри напишет потом рецензию в школьном журнале "Школа", напишет от имени школы, школьно окуная перо в зашколяренные методикой чернила. Она носит эти чернила с собой, в шкалике из-под водки, и даже ректор Тина не сразу определит, в каком сегодня Астри градусе.

Взвалив девяносто с лишним вегетарианских колограммов на услужливо скрипнувший стул, Астри выпускает наружу, из наглухо запертого лица, универсально приспособленную ко *всем* обстоятельствам улыбку. Такая улыбка вырабатывается раз и навсегда, безвозвратно глотая последнее на лице выражение: улыбка учительствующего. Такая улыбка действует как удобрение и навоз на готовое вот-вот улететь воображение: вообрази, что ты уже съеден, переварен и... высран. Ничего другого с тобой произойти в жизни не может, тем более, если ты хороший ученик. Достаточно ли ты, кстати, хорош?

На клумбу валится прямо с Олимпа Ярл Тригве, и увлекаемая им вниз бело-розовая невинность хватает, как может, сбивчивый такт специально для спектакля сочиненного Аластером галопа: топ-хлоп-стоп. Галоп гонит девственниц мимо нервного пламени поставленных на пол свечей, мимо картонных греческих ваз с пыльными позапрошлогодними розами, мимо обнадеживающих аплодисментов зрителей: гонит прямо к воротам ада. В аду, само собой, темно, и как-то... тесновато. И хотя темнота, согласно сценарию, вечна, ей приходится по мере сил подсоблять: вымораживать, душить... да просто затаптывать свет ногами, согласно ритму галопа. И ничего, что в аду так дьявольски тесно, ну прямо как на коммунальной кухне, главное, там сидит Суфлер, он же Бескорыстный... да вот он! Знакомый такой *параллелепипед*. Ярл Тригве не зря придал Бескорыстному такую *правильную* форму: бескорыстие Бескорыстного не должно вызывать ни у кого сомнений.

Зато сколько сомнений по поводу самой незначительной в спектакле роли: роли сторожа, *говорящего по-русски*. Зачем сторожу говорить именно по-русски? Хотя так оно, вроде, натуральнее... Сторож ходит туда-сюда, с ружьем и в эковской телогрейке, в ушанке и кирзовых сапогах, и цитирует наизусть толковый, от Троцкого, словарь.

Толковый такой сторож. Ему поручено сторожить первый в истории концлагерь: великую сталинскую новостройку с видом на братское кладбище. На кладбище никакого порядка, никакого соблюдения очереди, хотя начальство рекомендует трехмесячный рабочий стаж: поработал - отдыхай. За одну только зиму 1932 года на новостройке отдохнуло сто тысяч трудящихся. Это, конечно, пустяки в сравнение с массовыми отгулами на хлебной Украине, но все-таки... Сторож ходит туда-сюда, заглядывает в наспех засыпанные карьеры, заглядывает в толковый, от Троцкого, словарь, зевает. В толковом словаре эта братская могила называется социалистическим общежитием, и сторож находит это остроумным. И кто только Троцкому его никчемный ум так заострил? Сторож вовсе не критик режима, он только "за": за карьеры, за телогрейки, за, может быть, социализм. Он будет все это и впредь сторожить, сторожить до последнего своего сторожевого вздоха, сторожить и надеяться на самый счастливый конец. В конце концов найдется ведь кэгэбэшнo-энкэвэдэшная... проклятые нерусские э-э-э-э-э!!!.. лопата: ах, Лёва, поддержи мой ледоруб!

Примерив кирзовые сапоги, засаленный ватник и серую цигейковую ушанку, Серафима справляется у Ярла Тригве насчет текста, и оказывается, что нет ничего проще: родная административная матершина. При этом допускается, конечно, импровизация, твою-то мать. Вот бы сейчас, при всех, в присутствии Методиста, на виду у зефирной бело-розовой невинности, на фоне довоенно-доверолоуционно-доисторических декораций, в унисон с топ-хлоп-стопом извергнутой кейбордом блевотины, гаркнуть... нет, еле слышно, интимно пропищать: "... и-и-и ёб твою, зараза, мать..."

Ярл Тригве тоже занят в спектакле, в эпизодах, и там же, в эпизодах, к нему приходят неожиданные решения. Неожиданность есть основа стратегии Ярла Тригве: застать врасплох, ввалиться, пока другие спят. Он стоит посреди клумбы, фюрер и режиссер, в перехваченных носками серых брюках и серой рубашке навыпуск, с застекленным серыми очками взглядом *подающего надежды*. Сколько надежд он так уже подал! За этим от него подаянием выстраиваются в очередь блошинные рыночные субботы, марципановые рождественские понедельники, глазированные пасхальные воскресенья... очередь доходит аж до Михайлова дня, и пробный метеоритный камень стучает Ярла Тригве по режиссерско-фюрерской макушке: "Железо!" Вот оно откуда, значит, берется: валится на голову с неба. Железо ломится в гемоглобин, хотя в крови по-прежнему воняет серой, и хочется Ярлу Тригве поскорее убрать куда-нибудь хвост... бурый, серо-бурый, серо-буро-зеленый. Затолкать этот вертлявый, об-серенный хвост хотя бы в параграф закона, хотя бы в пункт школьной методики, наступить на него, в конце концов, ногой. Но лучше всего, а главное, дешевле, спрятать драконий хвост в поток *встречных инициатив*: делай, как мы!

- А теперь, ребята, теперь все разом ухнем! Эй, ты, дубина!

Роль дубины добровольно берет во всех спектаклях Симен, и эта роль немая. Немому ведь всегда есть что сказать, в отличие от непрерывно говорящих. Немой копит и бережет, и он не проболтается, не выдаст. Только глаза, только нюх, только чуткие кончики пальцев. Верхом на Симене на клумбу въезжает школьный советник Трулс, и в воздухе начинает так разить бескорыстием, что у многих слезятся глаза. Родители утираются, кто не оплаченным еще счетом, кто просто тысячной, в дар школе, купюрой, кто-то экономно слизывает экологически чистую, из глаза, соль... Обскакав сцену несколько раз, Трулс падает на надувной матрас: у-у-у-уххх! Ребята, только что все разом ухнувшие, изображают, как могут, кто скорбь, кто злорадство, поскольку в спектакле это падение начальника в карьер. На социалистической то есть новостройке. Лежа на надувном матрасе, Трулс, он же Бескорыстный, он же Суфлер, он же Фирин-Берман-Френкель-Каганович-Раппопорт, строит с помощью красноречивых жестов планы на будущее: охватить, нет, *объять* необъятную даль формулой единого лагерного счастья. Объять раз и навсегда. Объять так, чтобы не осталось ни одного несчастного. И мы, наши, немедленно за это проголосуем.

Роль надувного матраса приоритетна и эксклюзивна: не всякий даст так на себя лечь. Одна только, может, Линдси и даст. Ее надувают всегда одним и тем же: уважением и честью, этим веселящим кладбищенским газом. Оно, конечно, англичанин, а тем более, если это не мужчина, не подаст виду, что изнасилован. Англия вынырнет из воды и снова уйдет на дно, но *надутому* эти штучки ни о чем не говорят. Лед двинется из Антарктиды в Ниццу, перешибет у негров аппетит к бананам, а у обезьян - аппетит к человечине, но *уважение-и-честь* останется мамонтом в замерзшей, до неба, волне. Это надутое, раскормленное ископаемое.

Действие происходит в сумерках, над карьером висит марлевая луна, сторожу не спится. Он, то есть переодетая им Серафима, ходит туда-сюда, от одной колючей проволоки до другой, ходит и мнит себя чуть ли не Кагановичем... по крайней мере, Френкелем. И марлевая луна, этот полуночный кэргэбэшный советник, озаряет мысли сторожа счастливой догадкой: ничего, кроме ночи и высохшего на дне карьера русла реки, от этого великого строительства не останется! Ну, еще трупы. Сторож ведет, от нечего делать, подсчеты, и единственное, что сбивает его, так это мысль о... самом себе. Он-то тут кто? То есть переодетая им Серафима. Эта роль ей явно нравится, и кирзовые сапоги с телогрейкой как раз ее размера. Она, похоже, прирожденный сторож: ходи себе вдоль колючей проволоки, от одного карьера к другому... Трупы брошены как попало, кому они тут нужны, разутые и раздетые. Пойдут дожди, песок осядет на дно... вот и нет ничего. У самого края, где вырос как назло чертополох, сидит с пробитой башкой бывший коммунист, и отлетевшая от него на порядочное расстояние жизнь назойливо требует у марлевой луны *признания заслуг*: "Признай, что меня как таковой, жизни, и не было! Всё было *во имя* и *ради*, и все, кто пока еще жив, пусть *делает жизнь* с моего, жизни, отсутствия!" В башке у бывшего коммуниста несколько дыр, грязное тряпье на груди залито кровью, во рту земля. Пройдя было мимо, сторож возвращается, щурит на коммуниста подозрительный взгляд... и у того глаза открыты, забыл перед смертью зажмуриться... "Ах, да это же я!.. Как я сюда попал?.." Признав в убитом самого себя, и притом еще живого, сторож вскидывает по привычке ружье, целится в набитый землей рот... если бы не эта проклятая луна... этот мутный марлевый свет... Что, если потихоньку позвать?.. разбудить?.. "Вставайте, люди!!!" Испугавшись собственного шепота, сторож припадает к земле, ползет под колючей проволокой на самый край карьера, а там... Люди и в самом деле встают! Они поняли это буквально! Идиоты! Разрывая песок, толкаясь и отпихивая друг друга в глинистую жижу, они лезут по склону вверх... они готовы содрать эту марлевую луну с ее социалистического неба...

В этом эпизоде к Ярлу Тригве приходит неожиданное решение: он сам, фюрер и режиссер, вмешивается в действие! Остановив зауценным эвритмическим жестом медитирующих в полумраке старшеклассников, Ярл Тригве орет, стоя посреди сцены-клумбы, в мегафон:

- Хватайте сторожа! Ловите! Душите! Бейте! Это же русский! Русский!! Русский!!!

Старшеклассники понимают, что это импровизация, запоздалое авторское вдохновение, но многие, тем не менее, смущены: таких прямых указаний им никто в школе имени Доктора пока еще не давал. Кое-кто, правда, тут же и увязывается вдогонку за Серафимой, хотя больше отстает, чем нагоняет, и наконец двое удачливых гончих рвут с ее головы цигейковую ушанку, рвут вместе с ушанкой собранные в тощий пучок волосы.

- Хватайте русского! Забейте его насмерть!! Насмерть!!!

Это кричит Аластер, кричит с места, как зритель, и другие зрители принимаются вяло аплодировать, скорее из вежливости, они ведь тут не просто чурбаны и чушки. Аплодирует ректор Тина и теснящая ее на узкой скамейке Астри, аплодирует, зачерняя взглядом сценический сумрак, Цикута... аплодируют полугодовой итоговой оценке, которую нужно ведь *заработать*.

- Насмерть! Насмерть!! Насмерть!!!

На самом краю сцены-клумбы Серафима врубается в товарища Бекштейна, в распахнутую настешь клавиатуру, в мерзнущую на пюпитре до-минорную "Фантазию" Моцарта, и громоздкий рояль, издав раздраженное "блямм", нехотя подвигается, наезжая на провода от прожекторов и микрофонов... Зря что ли Моцарт всё это нафантазировал, переплетая мажор с минором, свет с темнотой? Зря что ли ему во всё это *игралось*? Он тоже зажат, впрочем, в угол, и бежать дальше нет никакого смысла, дальше стена, за стеной учительская с дежурной кофеваркой. Еще дальше - раскладывающий пасьянсы Методист.

Подняв с пола цигейковую ушанку, Серафима неспеша нахлобучивает ее на затылок, неспеша запахивает расстегнутый, с оторванными пуговицами, зэковский ватник, и эта ее неспешность отзывается холодком паники среди живых пока еще зрителей. Те из них, что читают газету "Бляд", знают наверняка: русские идут. Те, кто ничего не читают, знают сами: русские придут. Куда они, русские, идут и куда придут, знает один только Доктор, но его сюда, на спектакль, не звали, на эту *методическую мистерию*. И пока русские идут, напрасно надеясь куда-то придти, их становится, русских, все меньше и меньше... да их всего-то, раз-два... ну, три. И это им, троим-семерым-сотне, и тащить в гору поставленный на будущее будильник *самодуха*... Тащить или не тащить?

Неспеша развернувшись к почти уже заработавшим полугодовую итоговую оценку старшеклассникам, Серафима ждет, и те, стоя плотной кучей, тоже ждут. Им нетрудно заучить любую в спектакле роль, они вполне для этого сообразительны и остроумны, а если что не так, Суфлер тут же и подскажет. Им хочется уже теперь, в этой массовке, сверкнуть изысканностью понятий, выросших на грибнице их мозга, этого паразитирующего под черепом животного: сверкнуть, чтоб аж искры из глаз! Еще умнее, еще остроумнее! В майках от Че Гевары, с голыми, проткнутыми железом пупками, в растянутых до колен свитерах, в распоротых от колен до самого паха джинсах, в свалявшихся, как у овчарки пули, остатках собственных волос, они и есть те самые декорации, без которых спектакль недействителен. Они стоят плотной кучей и ждут сигнала, они теперь *коллектив*. И вот из-под ковбойской кожаной шляпы, затеняющей хлипкие подростковые плечи, из-под похоронного, на голой компьютерной груди, пиджака рвется навстречу до-минорной фантазии Моцарта простая, как простота самой истории, песня:

- Красный командир на гражданской войне... алый бант горит на груди...

Ковбою полагается петь эту песню в следующем действии, и оно, следующее, уже начинается... начинается с того, что Серафима, то есть вмятый в товарища Бекштейна ватник-сапоги-ушанка-ружье перестает говорить по-русски.

- Я вижу тебя насквозь, *Ярл Тригве*, ты убил моего отца, взял силой мою мать, и теперь хочешь утопить меня живьем, хотя я вовсе и не слепой котенок!

Зрители вертят головами, толкают друг друга локтями, это интересно, это *оживляет*. Сторож, оказывается, разговорчив, да, предприимчив, вот он перезаряжает ружье... сейчай, сейчас что-то будет!

Той самой рукой, что здоровается каждый день с товарищем Бекштейном, Серафима хватается Ярла Тригве за ворот серой рубашки, рвет напрочь серую пуговицу... серьезно!.. серьезно! Серые стекла его очков запотевают вмиг от ее придиричьего шепота:

- Я не стану помогать тебе в твоей смерти, Ярл Тригве, ты сам себе поможешь!

Ярл Тригве пятится, фюрер и режиссер, к жарящему его спину прожектору, хватается за готовый упасть в обморок микрофон... Он понимает, что сторож слишком вошел в роль, что это бред переходного дамского возраста, что надо бы прекратить этот спектакль... Но как прекратить, если зрители аплодируют? Аплодируют, черт бы их побрал, в такт! И протравленный антимолю зэковский ватник таранит Ярла Тригве дальше, вминая его в *оживленную*, с красным флагом и Че, железом и продырявленными носами, толпу. И рука, здоровающаяся по утрам с товарищем Бекштейном, отвечает Ярлу Тригве оплеуху: хххх...ййй!

Зрители уверены, что так оно и задумано и что оплеуха не настоящая, декоративная такая пощечина. Сам же Ярл Тригве другого мнения, он почти убит. Придется взять на пару дней больничный, нет, на неделю... А зрители аплодируют, аплодируют... Аластер вскакивает с места и аплодирует стоя: слава товарищу Бекштейну! И Астри орет, окая, по-русски:

- Мо-ло-дец!

Теперь всем ясно: сторожа завтра уволят и расстреляют, и никто даже не вспомнит, глаза на красный кладбищенский флаг, о причине такого глупого, с точки зрения, ума, поведения. В карьере, впрочем, достаточно места еще и не для такой глупости.

Один только товарищ Бекштейн, он, похоже, расстроен, крышка съехала с петель, педаль отчаянно скрипит: завтра Серафиму уволят. Завтра придет настройщик Аластер и скажет: "Готовься в доноры". И всё, что есть у рояля внутри, бронза, дерево, фетр и медь, трансплантируется в сколоченный на скорую руку зимбабвийский гроб, и никто о товарище Бекштейне даже и не вспомнит.

На самом верху, под скатом библиотечной часовни, праздник: одни только званые гости. Их созывают сюда раз в год, и никому от этой встречи не отвертеться: сюда приходят отдавать долги. Сколько тут черт знает откуда понаехавших должников! Их всех объединяет ни разу еще не высказанная вслух тайна: тайна их собственной *неплатежеспособности*. Но это, тсс... между нами. Главное, они все теперь тут.

Вчасовне тесно и душно, каждый дышит другому в затылок, и по рядам наспех расставленных стульев гуляет *общее мнение*: это и есть действительность. Обсуждающая, заседающая, решающая. Тут никто не пискнет в одиночку, и даже, бывает, отрыжка, и та одна на всех, демократическая.

На белой скатерти белый торт с белыми розами, белые, в белых подсвечниках, свечи. Белизна не просто напрашивается тут в сезонное, вроде снега, мероприятие, она тут... производственная необходимость. С учетом новых, при нынешних умных временах, возможностей, с переучетом старых невозможностей, белизна выступает здесь стратегией отбеливания и тактикой пятновыводения: кто сказал, что что-то *антропософское* было? Были написаны книги, вон их сколько, но *был ли Доктор?* Ведь даже и праха-то его не сыщешь, и нет такого путеводителя, в котором упоминалось бы о доме, улице и месте его рождения. И мы, сидящие тут, не склонны уступать нашу действительность разным докторским неудобствам: мы не спутаем самих себя, здесь сидящих, с отсутствующим. Мы, званые. Наша безупречная белизна есть наша *мистерия наступления*, и сам Методист, в белой раме с белыми лилиями, благосклонно на эту мистерию, на это белейшее в мире наступление, из-за последней черты взирает: белизна замажет и затрет разноцветность Софии-Изиды-Марии. И мы напишем черным по белому: здесь был когда-то человек.

Собственно, ради него-то, человека, сюда и съезжаются, кто откуда, *учителя*. Они желают, учителя, видеть человека здоровым и умным, и нет такого среди людей идиота, который не годился бы для профилактических прививок от *склонности к духу*... страшно произносить название этой болезни! Учитель должен врачевать этот ужасный недуг, врачевать любыми средствами, иначе без него, учителя, смогут и обойтись... без его рассудочной, мозговой, зубрящей педагогики. И хотя от школы имени Доктора до ближайшего чушка пока еще не рукой подать, учитель втайне мечтает об *очувствлении* все еще напоминающего Гетеанум мастер-класса, в котором только Доктор и ты сам.

Съезжаясь раз в год на званое собрание, учителя ташут с собой, кто что: рецепты омолаживания, туристские шестизвездчатые маршруты по горячим кавказским точкам, образцы выделанных из чьей-то кожи перчаток, бриллианты в составе соль из Мертвого моря, кое-какой компромат, кое-какую *в кругах* известность, но главное, готовность всегда, везде и при любых обстоятельствах болтать о педагогике.

Окажись педагогика дееспособной, она не потерпела бы этой о себе болтовни: этого кудахчущего, каркающего, шипящего "*ничего-меняться-не-будет*". Речь идет ведь о *голове*, ученической и учительской, и только ее, голову, и берут в расчет. Вон сколько ей, кочерыжке, приходится всего запоминать! И ничего, что тут же все забывается, главное, сноровка: не отвечать невпопад. За это ведь и ставят отметку. И самый высокий балл получает тот, кто дословно цитирует учителя. Подражай! Следуй авторитету! И пусть твоя неумелая рука никогда не рисует никаких на свою же голову карикатур. И пусть твоя нога не нащупывает скользких ступеней, по которым взбираются к небу... да, на эшафот. И не было еще среди наших лучших учеников такого, кому было бы наплевать на мнение о нем товарищей по партии, но был зато Ари Бен, выдающийся на королевском птичьем дворе писатель.

Педагогика начинает о себе болтать именно тогда, когда... сказать ей оказывается нечего. Она, правда, криклива и охотно напомним о своей вальдорфской родне: была ведь, была такая школа! И ничего, что такое случилось *один только раз*, пока за делом присматривал Доктор. Главное, название это пущено в ход: вальдорфская, хоть ты тресни, педагогика! Ей хочется в тайне, вальдорфской, стать такой как все: приказывать, мучить, запрещать, и есть у нее для этого более тонкие инструменты, похищенные из мастерской Доктора. Не дать ни одной овце возможности стать волком: стать одинокой, воющей в темноту реальностью. На волков нет, не было и не будет спроса, разве что на волчью шкуру. И с точки зрения наряженной волком овцы шкурный интерес пора уже признать общечеловеческим, *нашим*.

Но вот наконец все расселись, всем удобно, хотя и тесновато. Из белой, с белыми лилиями, рамы строго посматривает, следя за порядком, Методист, знающий наперед, о чем тут будут на этот раз болтать. И хотя поголовье присутствующих из года в год растет, их *коллективный разум* стареет и усыхает, просясь в санаторий, в отгул, в турпоход... в какое-нибудь заранее запланированное мероприятие. И вот оно.

Среди белых, на белой скатерти, роз видна увязшая в креме изюминка... ее сунули сюда не случайно! В пене взбитых сливок, в парфюме корицы, кокоса, кардамона и шафрана, в зыбкости малиново-брусничного желе, изюминка никакой не сушеный виноград, но... лучший представитель своего народа. И если это не ваш народ и не соседский, а, скажем так, *мировой*, народ-раса, народ-космополит, считайте, что вам не повезло: вы, увы, не изюм.

- Майя... - шепчет один в затылок другому, - ... это же она!

В самом конце стола, возле белого, с голубой гексаграммой, флага, врезается в полумрак ветхозаветный, в полоборота, профиль: мужское, хотя и без бороды, лицо под стриженной "*канадкой*" сединой. Эту седину Майя носит на себе уже лет тридцать, и никто еще не усомнился в том, что седина эта натуральная, от бабушки. Так, от одного бабушки к другому, и передается по наследству загустевающий со временем, клейкий и пристающий ум, и наполняемые им ветхозаветные головы по-прежнему кипят библейской озабоченностью: даешь еврея или не даешь?

Давать миру еврея, задача вовсе не арифметическая, и решать ее призваны *все*. Размежевать, раздробить, рассортировать, довести *каждого* до состояния войны с другим, до войны *всех против всех*, войны, кричащей о вечном, как Вечный еврей, мире. К этой великой задаче подступаются уже *передовые* нации, блюдя среди своих законов *запрет на сомнение* в том, что так уж еврейский ум остёр. Случись кому-то в этом усомниться, с ним не станут спорить, просто пришлют повестку в суд. В этом состоит *фокус практической мудрости* адвоката-банкира-ученого: рассуждать, презирая суть дела. С сутью дела знается лишь тот, кому терять уже нечего, и сам он в конце концов где-то теряется... да вот его уже и нет.

Майя уверена в своей любви к мудрости не меньше, чем в любви к родине: и то и другое насажено на острие ее *комментирующего* ума. Никто лучше еврея не приспособлен давать комментарии, спроси любого двадцатилетнего талмудиста. Даже

шляпа его, и та никоим образом не шляпа, но... абстракция, не говоря уже о холеной пейсо-борде... ах, эти дедушкины абстракции! И даже брызнувшая на пол борделя еврейская сперма, и та состоит сплошь из *представлений о своей избранности*. И если еврей, случись, грешен, ах, этот абстрактный грех, он хватается первую попавшуюся курицу, и та, вот уж куриные мозги, немедленно берет его грех на себя. На каждого еврея - по курице.

Но как же любовь к мудрости? Любовь, увы, рано или поздно проходит, уступая место смертельной скуке, которую и несут, как бремя, до гроба. Главное, вовремя заключить с любовью торговое соглашение: выбрать жар из печи, сунуть вместо дров... сухие абстракции. И как они горят! Сионизм, авангардизм, фрейдизм... а также недостроенный пока что коммунизм. Тут главное, не любить, но *пользоваться*. Пользоваться равнодушно. И в этой *равнодушной любви* еврей становится рыбой, суевающейся в мировом океане в связи с *идеями* наживки. Мировой океан этого, впрочем, и не замечает, у него хватается рачков, каракатиц, кальмаров и спрутов. Что ему, мировому, эти осевшие на дно сломанные мачты, ржавые винты, дырявые корпуса судов... эти мертвые абстракции! Их вылавливает без усталости рассудок, сколько всякого хлама в его сетях! Рассудок строит *величественное здание* не желающей ничего о себе знать науки, и он же, рассудок, прикрывает ее плешь античным лавром, рукоплещая при этом диалектике, материализму и атомизму. И от имени той же науки, от имени ее *незнания причин*, рассудок изобретает историю и социологию, изобретает *демократическое государство*, изобретает концлагерь. Но главное, рассудок считает, считает... и результатом счета неизменно оказывается агитационный плакат: "Вставай! Голосуй! Долой!" Не зря же у нас были Маркс, Ленин, Троцкий и много других путевых товарищей: они даже не замарали рук, *подняв на борьбу* полмира, и они, если надо, поднимут весь мир на крючок *идеи*. Они *рассуждают*, да.

Для своего оправдания рассудку не требуется *никаких* чувств. И самое для рассудка неудобное, это признать свою, рассудочную, ограниченность... это *выше* всякого рассудка! Признать свою беспомощность перед наплывом *извращенных понятий*, этих заселенных *головоногостью* пустых раковин, в каждой из которых жило когда-то нечто... ах, о чем вы говорите! Рассудок не желает и не может слышать затаившийся в перламутре шум моря. Он только считает, считает...

Майя могла бы поклясться голубой на белом флаге гексаграммой, что ее привело сюда, в школу имени Доктора, *желание перемен*. Эти перемены нисколько не касаются сбитой из двух треугольников звезды, хотя прошло уже немало времени с тех пор, как Яхве, оставив свой народ *ни с чем*, дал деру на луну. Перемены касаются заблудившегося в трех соснах соседа, то есть в общем-то близкого родственника, застрявшего на проходе, толкающегося, наступающего на ноги, желающего, как ни странно, пить и есть. Этому родственнику по дедушкиной линии следует как можно рассудительнее растолковать хитросплетения истории: дедушка изнасиловал когда-то свою рабыню, и пошло... Сосед моргает и хлопает, отгоняя мух, ушами: эти сказки о *мультикультурном* общежитии! Эта взаимно рассудочная толкотня на затараканенной столетиями коммуналке! Главное, не вникать в отсутствие в *мультикультурности* жизненного смысла, главное, привыкнуть к той *норме бессмысленности*, с короткой научно обустроенный ум подступает к истории. Ум подступает к ней так уже вторую сотню лет, он сам ее, историю, и изобрел, посоветовавшись с Марксом. Как она, однако, история, молода. Ветрена. Глупа.

- Исторический метод! - ослепляя сидящих за столом курортно-лечебным плюсом израильские бриллианты, энтузиазмом, вскрикивает Майя, - Метод историзма! Методология!

Больше говорить ничего и не нужно, все кивают, кто-то давит в темноте зевок: история, она учит. Учит нащупывать давно знакомое в повторяемости *одного и того же*.

- Ничему она на самом деле не учит, - бормочет Симен, - эта *внешняя* история! Предлагая все новые и новые комбинации, история *никогда* на повторяется. В истории

неприменимо арифметическое сложение и вычитание, неприменимы законы природы. Да и самой истории, пожалуй, еще и нет... ей только еще предстоит чем-то стать...

Симена никто сюда не звал, и его не выпроваживают только потому, что никто не сомневается в его, ассистента учителя математики, зависимости от логарифмов и парабол: этот неизлечимый наркоман. Он нужен, Симен, школе, нужен, пожалуй, науке... и не надо путать эту науку с той, не имеющей права на проживание, наукой Доктора... да никто и не путает. Путает только сам Симен, заманивая естествознание в опасное девственное плавание... караул!

- Наука! - решительно заглушает бормотание Симена школьный советник Трулс, - Давайте же мыслить научно! Давайте уже теперь, не сходя со своих мест, не вставая с этих стульев, будем верны действительности...

- Но если эта действительность становится *нереальной*? - нетерпеливо перебивает его Симен, - Если мы сами набиваем действительность до отказа *пустыми* понятиями? Это же кладбище абстракций: прогресс, правовое государство, права человека, светлое будущее...

- Друзья! - не слушая Симена, с энтузиазмом продолжает Майя, - Давайте не будем... давайте будем...

И все разом кивают: давайте!.. давайте!.. давайте!

- История делает на этом месте решительный поворот, - встряхивая дедушкиной сединой, наступая на собравшихся Майя, - история убеждает наших соседей, а также соседей их соседей, в том, что это не мы, а они наши соседи! Это они, соседи, к нам присоседились! И это не их, а наша история взывает теперь к нашей, да к *нашей*, справедливости! Их же история... то есть нет у них никакой истории! Соседа нужно поэтому просветить, соседу нужно доказать... - в голосе у Майи пробулькивают слезы, - ... доказать его перед нами виновность... то есть нашу перед ним невиновность... то есть... - дальше следуют неразборчивые комплименты в адрес друзей и их друзей, а также друзей их друзей, и дедушка, потеряв терпение, вынимает изо рта порядком уже обсосанный зачерствелый пряник и сует его в зубы Майе: - Мы готовы простить соседа, мы дадим ему *роль* в нашем новом спектакле, и роль эта не так уж и мала: роль *стоящего без дела*. Признаюсь, мы долго обсуждали, стоять соседу или сидеть, была даже такая мысль: положить соседа. Но именно в стоячем виде сосед занимает меньше места: гляньте на эту, уставленную соседями карту!

Все разом вытягивают, у кого какая есть, шеи: что это еще за география? Кто-то узнает, щипнув самого себя за нос, родные просторы, кому-то мерещится тещин огород, и все вместе кивают, и всем смертельно скучно.

- Наш новый *антропософский* спектакль, "Тринадцатый знак", - с гордостью сообщает Майя, - является методически обоснованным, педагогически выверенным *уроком*. Соседям вход бесплатный, гости заранее высылают 350 евро. Деньги можно сдавать прямо сейчас.

Все кивают, лезут в карманы и сумки, звенят мелочью. Один только школьный советник Трулс морщит в полумраке лоб, и оттуда же, из полумрака, к нему подбирается коварный, как на экзамене, вопрос:

- Тринадцатый знак, это... последний?

Вопрос этот кажется всем провокационным, многие прячут обратно бумажники и кошельки, и одна на всех смутная догадка топорщит задремавшее было воображение: перед этим, тринадцатым, было еще двенадцать!

- Двенадцать авторских поэм в прозе, в классическом *новоязе*... - тут Майя запинается, - Это ежегодный авторский отчет, и автор намерен так отчитываться...

- Но кто же автор? - коварно допытывается Трулс, и Методист переворачивает набок овальную раму, расширяя тем самым перспективу обзора, - Кто он?

Вот тут-то Майя и ловит слишком уж настырных простаков, тут-то она и сажает их, как букашек, на булавку. Налив себе полстакана воды, в Мертвом море вкуснее, Майя дает старозаветному носу стать вровень с новозаветной губой в терпеливой

талмудической улыбке, дает нафаршированной парфюмом рыбе шлепнуться на белые бумажные тарелки:

- Автор, он среди нас!

Вот она, новость, никто к ней в общем-то не готов: все разом опускают глаза, не выдавать же себя за соседа. И недосчитанная мелочь робко звякает, оброненная на пол: "Автора..! Автора!.." Только Трулс, на то он и школьный советник, он один и может придраться теперь к отсутствию у автора имени: кто этот писака?

- Генрих Фауст!

Всех бьет одновременно током: имя-то какое, не каждый себе такое присвоит, забавный в общем-то плагиат, то есть, псевдоним...

- И никакой это не псевдоним, - строго уточняет Майя.

Многие находчиво кивают: бывали же ходячие на двух ногах Трактора, Индустриализации, Коминтерны и Аскариды. Тут как ни назови, все одно: большевизация зябнущего воображения. Тут главное, подальше от человека, так ему и надо.

- Так где же он? - придиричливо наступает школьный советник Трулс, - Где этот Генрих, то есть Фауст?

Никто не дышит, не шевелится, не глотает слюны, все напряженно ждут. Одно лишь воображение, оно теперь на грани взрыва: сейчас, вот сейчас... а что, собственно, сейчас... сейчас!

Из-под локтя Майи, упершегося в сценарий "Тринадцатого знака", поднимается облачко дыма, виснет над столом и, обдав сидящих вонью гриба-фаллоса, втягивается со свистом в подушку незанятого никем стула: вот оно! На стуле сидит, скрючившись и втянув голову в узкие плечи, подростково-старческая фигура, в тесном черном пиджачке и синей рубашке в горошек, с вяло никнувшими на оттопыренные уши блеклыми волосами и вспученными, ввиду отсутствия бровей, бесцветными глазами. И хотя вонь гриба-фаллоса еще держится в воздухе, умеряя потребность собравшихся в выдохе-вдохе, кто-то шумно в полумраке зеваает... и все разом поворачиваются к Симену: дубина!

Но пора уже автору встать и раскланяться, на все тринадцать авторских знаков, пора что-нибудь авторское такое сказать, чтобы не было даже у Симена сомнений: автор всамделишный. И ничего, что пахучий дымок все еще висит в полумраке, все еще щекочет носы справедливым подозрением: не фокус ли это покус? Кто-то оглядывается на Методиста, но тот, упершись локтями в овальную раму, только рассеянно кивает: дальше, ребята, дальше!

- Это мое настоящее, Генрих Фауст, имя, - со всей, какую допускает полумрак, торжественностью начинает вновь прибывший, - Генрих Фауст! Так звали меня в моей прошлой жизни... о, что это была за жизнь! Деньги, известность, власть! И вот теперь, заново родившись... - вновь прибывший шумно, насколько позволяют узкие плечи, вздыхает, - ... заново, так сказать, состоявшись... то есть не совсем еще состоявшись... то есть...

- Сколько же Вам, извините, лет? - ехидно интересуется школьный советник Трулс, явно метя в скрываемое вновь прибывшим несовершеннолетие. Не посадить ли гостя за парту, в четвертый, к примеру, класс?

- ... и возраст мой не так уж и велик, - сознается вновь прибывший, - если считать от "Первого знака", всего-то тринадцать лет...

Собравшиеся ерзают, кто как может, на стульях: гений, акселерат! Вочеловечившийся наконец-таки гомункулус подмастерья Вагнера! Росточком невелик, сложением хрупок, ну прямо стекляшка! Башка, правда, великовата, но зато ведь и ум! Ум прямо-таки... кто-то чуть было не подумал: *гёттенистический*, но вовремя пнул себя подозрением: уж больно все это красиво. Красиво вопреки очевидному уродству: голос стерт и беспол, одна нога длиннее другой, под лопаткой горб. Но это красиво. Красиво хотя бы уже потому, что все тринадцать знаков посвящаются... моим братьям посвященным, братьям то есть

гомункулуса. И поскольку среди этих братьев нет ни одной, даже самой никудышной сестры, автор и себя считает... ну что ли не-бабой.

- ... меня звали в быту Генрихом Круппом, - с воодушевлением продолжает Генрих Фауст, - и это тот самый, заметьте, Крупп! Владелец заводов, богач и скряга!

Стулья под ерзающими на них задами отчаянно скрипят, Линдси щелкает кнопкой мобильного: снимок на память, еще снимок... И даже Методист, даже он теперь в некотором шоке: вот и пожаловал наконец в школу имени Доктора ясновидец! Придется, видно, уступить этому Генриху белую овальную раму.

- Как раз по причине моей прошлой жадности и скупости, - продолжает Генрих Фауст, - мне и достались мои нынешние болезни: церебральный паралич, стенокардия, туберкулез, колит, цирроз, рак...

Перечисление болезней, а это заняло четверть часа, привело многих в легкое расстройство, кто-то даже всплакнул, у кого-то начался аллергический насморк. Так расхваливать собственные недуги может только истинный поэт! Только поэту идут на пользу разного рода недомогания. Это ведь профессиональное поэтическое качество: болеть. Болеть смертельно, неизлечимо. И если ты часом здоров, как, к примеру, Симен, тебе незачем всякое со всяким рифмовать.

- ... а еще раньше, в моей позапрошлой жизни, - метя косящим взглядом в школьного советника Трулса, продолжает Генрих Фауст, - мне довелось написать "Алхимический трактат о радуге"... Вы случайно не читали?

Школьный советник Трулс поправляет на переносице колеса-очки, поправляет посадку на стуле, поправляет еще не оброненные им замечания... и никак не отвернется ему от досадного, как алхимия, факта: ни о какой такой радуге он сроду не слышал. Пусть этот Генрих, этот незванный Фауст разбирается сам в своих прошло-позапрошлых жизнях, начиная со следующего понедельника, пусть, в конце концов, лечится... И тут школьному советнику Трулсу стучает в лысеющий лоб великолепный, прямо-таки академический вопрос:

- А у тебя случайно нет женских болезней?

Над белым столом поднимается шуршащий подозрениями вихрь, пламя свечей сбивается набок, вода в стаканах мутнеет, из овальной рамы вываливается пережеванное вставными зубами, размоченное пенсионной слюной "дорогой-неизвестный-друг" и врезается прямо в "Тринадцатый знак"... Женские болезни!

- Я одолел их, - со скромным достоинством посвященного отвечает Генрих Фауст, - одолел еще и... - тут скромность отступает перед гордостью, - ... навязанное мне обстоятельствами имя, так что я больше никакая не Дуся Мочалова!

"Дуся! - трепещет в зыбком пламени свечей счастливая догадка, - Это же московский психолог Дуся! *Та самая Дуся!*" И поскольку Москва понятие относительное, и местонахождение Москвы никому пока не известно, Дусю обнаруживают то в Киеве, то в Тель-Авиве... теперь вот и тут, в Харпестаде... обнаруживают этот запах гриба-фаллоса: вот тебе Эрос, вот тебе Танатос, вот тебе к тому же рифма.

- Позвольте мне, - выныривая из полумрака и снова в него ныряя, скромно уточняет приглашенный на сходку *свободный консультант*, - заострить ваше и без того острое в данный момент внимание, заострить его постулатом, ну что ли аксиомой... - свободный консультант выжидающе смотрит на Розу, и та одобрительно кивает, - ... допущением, принимаемым без всякого доказательства: *не надо бороться со злом!* Зло, оно ведь только всем на благо, оно... - он снова выжидающе смотрит на Розу, - ... приведет нас всех к еще большему благоденствию! Зло, что это в самом деле такое? Это не на месте оказавшееся добро!

Сказав это, свободный консультант промокает салфеткой пот на лбу и толстой шее, это его трудовой пот. И хотя он тут впервые и немного смущен торжественностью обстановки, это ведь никакая тебе не Одесса, где юмористам ставят памятники при жизни, он намерен потеть всерьез, нет, не на шутку. Да он и в самом деле не шутит, *свободно*

консультируя любого, кому есть дело до *индивидуальных жизненных траекторий*, а также *рекреации* и, разумеется, финансов. О финансах, впрочем, свободный консультант говорит неохотно, да и как говорить, если сам ты весь тут, с гаражом, хрущевкой и тещей. И финансы, вот ведь какое зло, не обходят свободного консультанта стороной, и это, разумеется, к добру.

- Не надо без толку махать саблей, дразня дракона, - уже осваиваясь в полумраке собрания, наставительно продолжает свободный консультант, - не надо рубить ему голову! Ведь, окажись дракон безголовым, он тут же и смекнет, что его драконьим затеям поставлен предел, и... скок через барьер! И пусть этим барьером будет наша по отношению к дракону лояльность... давайте жить с ним в мире!

Все охотно аплодируют. Никто не царапнул бы дракона ногтем, не чиркнул бы спичкой по задубевшей шкуре, окажись это во вред *карьере*. И сама она, карьера, змеино извиваясь в лучах надбавок и премий, хочет и дальше так жрать тебя живьем, тебя, кричащего "Халва!"

- Ведь, спрашивается, почему человек вообще оказался сотворенным Им?

Все разом затихают, даже школьный советник Трулс не осмеливается моргнуть увеличенным колесами-очками глазом, и если бы не урчание в чьем-то животе, тишина рискнула бы оказаться посмертной.

- Почему? - неприлично громко спрашивает Симен.

Свободный консультант вовсе не рассчитывал на этот вопрос: надо быть слишком наивным, чтобы принимать риторику за вопрошание. Но вопрос тем не менее задан, и надо немедленно нейтрализовать содержащееся в нем... ах, это содержание... Немедленно его погасить! Пустить в прорыв штрафной батальон *моральной техники*, этой переобутой-переодетой, наизусть цитирующей Доктора маркитантки! Вперед, под знаменем *философии свободы!*

- Возможности пребывания в вечности оказались *полностью* для Него исчерпанными, - терпеливо поясняет свободный консультант, - и надо было хотя бы какой-то своей частью из вечности выйти, войти в мир эволюции, в человеческий мир, приобщиться к разного рода несовершенствам... Понимаете?

Симен охотно кивает: он понял, понял! Он, ассистент учителя математики, наконец-то понял, в чем дело. Понял, куда подалась, нищенствуя и побираясь, моральная техника, где вьет себе гнезда бездомная философия свободы. И теперь, когда он это понял, нет больше никакого смысла кричать вместе с остальными "Халва!"

- Я понимаю, что ты, с твоими жизненными траекториями и рекреацией, просто одесский жулик! И было бы, согласишься, явным злом отрубить тебе голову, хотя, с твоей же точки зрения, это неминуемо привело бы к добру!

Со злом ведь нет смысла бороться, оно гораздо *выше* человека, но человеку почему-то кажется, что капля-другая добра высекается крутолобостью борющегося со злом, высекается из его же, человека, основы! Из его *вечной* основы. Или тебе так не кажется? Или Он создал тебя в качестве той потешной клоаки, куда забавно время от времени совать изнеженный палец? Он создал тебя в силу своей неисчерпаемости, Он поставил тебе препятствием Зло на твоём пути к Нему, и только лишь в этой смертельной схватке ты и завоевываешь свободу...

- Симен, заткнись сейчас же, - яростно обрывает его Линдси, - Твое дело молчать и слушать. Ты можешь, кстати, идти уже домой.

- Э-э-э-э, - бормочет Симен, - я ведь ничего еще не сказал... ничего не сказал о тотальной ягвезизации всей нашей культуры... э-э-э-э... годящейся разве что на слом...

- Антисемит, - шепчет Изя Шулер на ухо свободному консультанту, - нацист, расист... зачем только его держат в школе! Я поговорю с ректором.

Из полумрака крадучись подступает к собравшимся настойчиво сладкий, из незабываемых большевистских песен, мотив... ну, скажем так, мотивчик, нечто вполне классическое и совершенно обязательное в *больших* делах: "Нам нет преград ни в море, ни

на суше..." Даже вялому учительскому воображению тут есть где разгуляться: это тебе не *энтузиазм и ярость* Ари Бена.

- Давайте попробуем все вместе! - проворно раздавая копии "Тринадцатого знака", воодушевляет собравшихся Майя, - Стали в круг, так, плотнее, взяли за руки! Декламируем! Раз-два-три-четыре! Громче! Еще громче!!

"У нее это получается, - не без зависти думает Изя Шулер, щупая пальцем гриф скрипки, - у этой козлоногой... - он мысленно раздевает Розу, - ... шуки! Вот чему надо учиться: *искусству очковтирания*, этому великому на все времена ремеслу! Никто ведь толком не знает, зачем нужно декламировать хором эти дилетантские московские вирши, все делают это во сне, качаясь в такт... да это, похоже, молитва! Мистерия... истерия!"

Изя даже не подозревал, что зависть может быть такой... творческой: за спиной у него хлопают громоздкие, цепляющие соседей, крылья, они же крылья вдохновенья, левая рука шарит в скрипичном футляре, правая уже хватает смычок и... пропадай "ми" струна! Стулья едут назад, давая проход каблукам и штанинам, стол вминается вместе с белым тортом в стену, дразня ознобом свечей парадный портрет Методиста, и... чудо!.. на стол карабкается, хотя это и высокогато, Генрих Фауст. Вот они, решительность и бесстрашие! Вот так, по пластмассовым тарелкам и скрученным в бутоны бумажным розам! Чем больше на столе беспорядка и безобразия, тем убедительнее *успех дела*. И пусть тот, кто еще не проникся *социальностью* происходящего, немедленно ею приникнется! Никаких отщепенцев и маргиналов! Всё, что должно быть, уже есть на этом белом столе!

- Громче! Дружнее! Становись по росту! Па-а-а-ашли! Па-а-а-а кругу! Взались за руки! Не отставать! Не наступать на пятки!

Майя машет, как спятившая мельница, руками, машет экземпляром "Тринадцатого", она и есть теперь та самая социальность... то есть *групповой интерес*, ради которого и затевается *большое дело*.

В самом центре круга, в воронке, вихре, водовороте, стоит с указкой в руке свободный консультант, стоит и скучает и думает о *пользе страдания*: только оно-то, страдание, и может растолкать спящего, и не было такого еще ни разу, чтобы кто-то просыпался *от радости*. Это самое на свете неприличное, радость, и *наша* мудрость подсказывает нам, что радость должна уступить место счастью: *нашему* безрадостному счастью.

Указка нужна свободному консультанту не для того, чтобы тыкать в формулы и обводить на карте острова: ею он *ставит на место* зазнавшееся и зарвавшееся. Крепкая, не на одно поколение сработанная указка. Вот так, *страдающая от скуки*, свободный консультант и управляется с индивидуальными жизненными траекториями, рекреацией и финансами. А то, с чем он никак не управится, буравит его из полумрака настырным взглядом Симена, примеряется в львином прыжке, норовя вцепиться в загривок, взять за холку, встряхнуть... Вот оно, вопиюще индивидуальное, не служебное и даже не профессиональное, это лезущее за рамки, выпирающее из накатанных путей "Я"! Мы, наши, вычеркиваем это "Я" из наших премиальных списков, внося его в списки уволенных, и если где-то раскатисто взруг громыхнет, мы тут же заштампеем происходящее *законами природы*: вечной и неизменной механикой Отца. Мы не склонны давать Сыну те же права, хотя охотно толчем Его имя в ступе ученых споров, и мы никогда, даже если Луна вернется обратно на Землю, никогда не признаем право Духа на самоопределение! Право на самоопределение есть только у наций.

- Антропософия! - втыкая указку в эпицентр ходящего по кругу "Тринадцатого знака", поет свободный консультант, - Конечно же она! Только она и дает выход из тупиков! И ею надо правильно пользоваться, а главное, *перехватить инициативу*!

- Перехватить инициативу! - поет на октаву ниже Майя, ведя за собой послушно топчущуюся учительскую ораву, - Перехватить!

- Хватай! - басит Генрих Фауст, - Хватай! Вяжи! Сажай!

И если бы не порвавшаяся на скрипке "ми" струна, инициатива тут же кому-то и досталась бы, как кажется школьному советнику Трулсу, ему самому, но вместо этого

теперь неразбериха и хаос: то, что было сзади, теперь спереди, а впереди... ничего нет! Только хромой трехструнный мотивчик и жужжит пока еще в ухо свободному консультанту: "Заткни пробел *собой!*" Как тут не вспомнить плюющуюся огнем амбразуру, жерло танковой пушки! И хотя под мышкой у свободного консультанта теперь минус сорок пять, а в штанине сквозняк, он все же готов... почти готов... только бы найти *себя*... нет, не нашел. И надо поэтому кричать еще громче:

- Перехватить инициативу!!!

Протерев потными пальцами колеса-очки, школьный советник Трулс смотрит на свободного консультанта в упор, смотрит и видит добродушного толстого дядьку в домашнем свитере и спортивных штанах, с бледной гастритно-поджелудочной улыбкой и озабоченно-предынсультажной стертой профилем... хотя профиль, бесспорно, одесский. "Такие любят какао и мягкие диваны, - думает Трулс, - любят толстых и глупых баб, любят писать о себе мемуары... Такие не пролезают через игольное ушко, не проходят сквозь узел урагана... И черт с ними!"

- У кого будем инициативу перехватывать? - деловито осведомляется Трулс и незаметно отпихивает в полумрак готового что-то сболтнуть Ярла Тригве.

- Да мы ее уже перехватили! - кричит Ярл Тригве у него из-за спины, - Наше мировое сообщество! Наш возведенный на Дорнахском холме олимп!

- Это еще не всё, - пугающе тихо отвечает свободный консультант, - это всего лишь начало... - он мечтательно закрывает глаза, - ... начало тотального вживления *нашей* методологии, да, Методологии, в человеческий организм!

- Э-э-э-э... - собравшись было уже уходить, мямлит из полумрака Симен, - ... методологии упрощения антропософии до *теории*? Достаточно ведь только поставить антропософию *в ряд*, уравнивать ее в правах с другими "софиями", и вот уже ничего и нет... вот уже рассудок правит дальше, уверенно и слепо. Разлучить Отца с Сыном, вот та непосильная задача, которую упорно пытается решить материалистическая культура, приравнивающая человека к его телу, родине, нации, погоняющая его кнутом идеологии от колыбели до кладбища. Имея в виду этого, *управляемого* человека, только и можно *перехватить инициативу*, взнуздав рассудок оторванными от души абстракциями и гнать его дальше, до неизбежной встречи с самим чертом... гнать по ухабам *бездушного ума!* Ягвеизированная культура, она же абстрактно-рассудочная, потому так и победоносна, в своем, разумеется, смысле, что принцип Сына в ней заведомо исключен: победителем оказывается старый, немый, мотающийся по свету Агасфер. И вы, дети Агасфера, теперь у власти, вы правите миром. И на короткой, от Отца, дистанции вы, разумеется, правы: от колыбели до могилы. Но дальше... дальше-то для вас что? Дальше есть только одна-единственная возможность, только одна: перестать *приспосабливаться*, перестать занимать ведущие посты и *перехватывать инициативу*. Перестать, заправляя делами мира, *ничего не делать*. Перестать отравлять исторической мертвечиной живое. Перестать, в конце концов, быть евреями!

Никогда еще в библиотеке не было *так* тихо. Даже книги, и те прикусили языки закладок: "Ничего такого не знаем и не имеем в виду..." Книги могут усомниться в непогрешимости римского папы, назвать болваном американского президента, объявить аморальным всякое упоминание о погоде... Но чтобы назвать еврея евреем? Таких книг никто еще не писал.

- Мы обсудим это позже, - мрачно роняет в похоронную тишину ректор Тина, - мы это обсудим. А пока... продолжим наш праздник!

Стол едет обратно на середину, с бумажными розами, перевернутыми тарелками и увязшей в торте ногой Генриха Фауста, едет прямо на... *стоящего без дела*. Даже в полумраке видно, что это тот самый *сосед*, по отношению к которому сами мы никакие не соседи: беженец, ловец гуманитарной помощи, искатель убежищ. Он стоит тут с протянутой рукой, в руке не шиша, и ему все равно, что с ним будет, лишь бы выплатили компенсацию за причиненные неудобства, и ректор Тина сует ему не глядя сто крон... У

соседа при себе ножницы, обыкновенные "сделай сам", и все бумажные на столе розы разом бледнеют перед свежей, только что вырезанной из "Тринадцатого знака" магнолией: могу ли я?... хочу ли я?... давно ли я?... И хотя сосед сроду на Кавказе не был и не слышал, что растет в саду у Гамсахурдии, он готов сообщить новость: Доктор больше уже не Доктор, но *святой отец*, и *такой* Доктор удобен и безопасен.

- Дальше! Дальше! Па-а-а -ашли! Па-а-а кругу! - командует Майя, - Крепче взялись за руки! Еще крепче!

Сев на край стола, Симен тушит ладонью свечу, и хочется ему, ассистенту учителя математики, плакать: вот так и проходит, в энтузиазме полумрака, жизнь, проходят *жизни*. Сосед скажет: "Подвинься!", и какой-нибудь дальний родственник обязательно уточнит: "Сваливай!" То есть никому ты в общем-то и не нужен, от рождения до самой смерти, и только алфавитный порядок, только он еще и терпит тебя: альфа... омега... Тебя, пронумерованного. И Симен поэтому втихомолку, насколько позволяет математика, плачет. И сдается ему, плачущему, что сам он и есть проклятый, от альфы до омеги, алфавит: усохший до абстракций *смысл всего*.

- Остановились! Стоим! Руки по швам! Выдохнули! Смотрим сюда! Смотрим на Генриха Фауста! Таким вы должны его, то есть нашу Дусю, запомнить: в апофеозе поэтичности! Запоминаем! Запомнили? А теперь дальше, па-а-ашли! Па-а-а кругу!

Но вот наконец все рухнули на заждавшиеся стулья. Ни у кого нет сомнения в том, что это всамделишная мистерия: так людей умотать. Ректор Тина даже разулась, рискуя сделаться ниже ростом. И Аластер... о, Музы!.. пьет воду из ее пропотевшей лодочки-шпильки! И это ведь не просто вода, не просто бытовая аш-два-о, но... *гостия в дароносице* тридцать восьмого размера. Пусть думают, что подхалим, пусть завидуют. Пусть к тому же имеют в виду, что Настройщиком просто так не становятся. Блям-блям-блям.

Теперь, пробежавшись по "Тринадцатому знаку", многие не прочь отойти ко сну, кое-кто уже всхрапывает... так приятно *понижено* теперь сознание. Оно, конечно, и раньше не уползало далеко от *нашего*, от коллективного, но чтобы вот так напрочь влипнуть... чтобы грохнутья всеми своими представлениями! Не упустить, не проворонить этот *бессознательный* миг! Влить в него, да просто слить *самое актуальное*: таинство человекопроизводства.

- В наш регулярно работающий круг, - многозначительно объявляет школьный советник Трулс, - входит на добровольных началах секция *антропософского гомосексуализма*, и мы, собравшиеся, должны приветствовать эту смелую инициативу. Поприветствуем стоя! Спасибо! - Трулс аплодирует самому себе, - Есть ли среди нас в данный момент гомосексуалисты?

Все разом отворачиваются друг от друга, не смотреть же в рыло скотам, то есть гей-гей-геям, этим голубым в розовую крапинку червям, скорпионам и тараканам. Один только старенький учитель новейшей истории, поющий в хоре Цикуты пророческим басом, он один и отвечает за всех:

- В данный момент нет.

Все с облегчением кивают, и старичок, рискуя угодить в субконтроктаву, басит что-то о пользе исторической необходимости, этой железной на все времена леди, плюющей на нехватку сообразительности и фантазии. Новейшая, от данного момента, история читается сзади наперед, угождая событию подогнанным под него ответом. И не надо ей, новейшей, указывать на *источник* ее же поразительной ловкости, это неприлично. Старичку сдержанно аплодируют, ему скоро на пенсию.

- Наука долго боролась за овладение *механикой размножения*, - с подъемом продолжает Трулс, - и вот наконец мы можем отрезать у себя кое-что и сунуть эту ерунду в пробирку, можем присобачить себе какой хочешь пол... гм-гм. И мы готовы, да, мы достаточно для этого умны, считать мужество мужеложеством, почему бы и нет!

- Это так демократично, - кивает Линдси, - Кто-нибудь хочет возразить?

- Э-э-э... - неуверенно подает голос Симен.

- Нет возражений? Тогда запишем в протоколе... - Линдси стучит по клавиатуре компьютера, - ... не ждуть... милостей... от природы! С нашей уживчивостью и терпимостью, с нашим чувством солидарности, с нашими навыками *соучастия*...

- Э-э-это же болезнь... - вставляет наконец Симен, - ... заразная болезнь!

Все понимают, что Симен дубина, и в качестве дубины не дорос еще до уразумения *гомосексуальной революционности*, этого новейшего Интернационала, сулящего в перспективе, ну что ли всеобщую... жопу.

- Давайте примем за норму еще и скотоложество, - не унимается Симен, - Чем животное хуже гомофила? Слон, кенгуру, осел!

- Симен, - строго одергивает его ректор Тина, - сходи вниз и принеси... принеси что-нибудь...

И Симен идет, понуро считая собственные шаги, идет, не оглядываясь и не перечая судьбе, не смея с нее, индейки, спросить: права или не права. Он дойдет, пожалуй, до учительской, допьет оставленный кем-то кофе, сунет чашку в моечную машину, сядет за стол старичка-историка... дальше ничего пока не ясно. На столе полный порядок, все карандаши, ручки и стирательные резинки на месте, и нет ничего такого, что можно было бы, не включая свет, украсть... разве что эту брошюрку о лемурах... ага, о лемурийско-человеческой расе. Ну и времена, ну и нравы! Эти лемуры, похоже, играли с огнем! И доигрались до мировой катастрофы. И те, что чудом спаслись, они-то как раз тут, глазастые, на картинке. Кстати, чудо и есть та самая историческая необходимость... чудеса!

Запомнив главное, Симен бежит обратно, и его торопливый топот на лестнице едва поспекает за принесенной из учительской вестью:

- До середины лемурийского периода человек был двуполом!

- То есть..? - хмуро осаживает его школьный советник Трулс.

- То есть Дусей и одновременно Генрихом Фаустом!

Все потягиваются и зевают: занятно-занятно. Только зачем было Дусю и Генрихом разлучать?

- Разделение полов обеспечило человеку ресурс развития личности, каждый получил возможность трудиться над собой, - вздохнул Симен, - и внутренняя перемена пола, как, например, у мужеложного мужа, есть попросту стирание личности, насилие над собственной эволюцией. Гомосексуализм есть ступор и паралич духа!

- Гм, - натянуто улыбается Трулс, - Ты не можешь судить о том, чего ты сам не испытал.

- Если я никогда не был преступником, это не значит, что я не могу судить о преступлении.

- Согласно новейшим научным данным, - не сморгнув, парирует Трулс, - гомосексуальные наклонности наследуются. А то, что наследуется, юридическому запрету не подлежит!

- Э-э-э-э...

- Это ведь, согласись, природная необходимость, инстинкт, - набирая голосом мощь и высоту, продолжает Трулс, - Переиначенный сексуальный инстинкт есть высокое достижение сегодняшней культуры, преодоление предрассудков, непредвзятость...

- ... сверхчеловечность, - подсказывает из овальной рамы Методист.

- Э-э-э-это же смертный грех! Грех против человеческой эволюции! Это и есть самовыврождение!

- Симен, сходи и принеси... - вставляет ректор Тина.

- Ужасное, - кричит, пятясь к книжным полкам, Симен, - это и есть прекрасное для мужеложного сверхчеловека! Ложь и есть истина!

Сейчас бы сесть в старую лодку, поставить парус и гнать, сколько позволяет ветер, к заселенным чайками островам, где ты наравне с камнями, солью и вереском, наравне с

собой... Прижавшись спиной к потрепанным обрезам никому не нужных тут книг, Симен мысленно зовет на подмогу авторов, и те, всеми забытые, наперебой советуют ему так тут и стоять, не сходя с этого места. Эх, книги! Их не выкинешь, как балласт, за борт.

- А тепе-е-ерь... - поднимая со стула девяносто девять вегетарианских кило, многообещающе объявляет Астри, - ... художественная пауза! Маэстро Стефания Ибсен! Просим! Аплодируем!

На середину, где только что ходил кругами "Тринадцатый знак", выплывает, вся в черном, Цикута. Черый глаз, черный каблук, черные, на черном бархате, блески. "Как элегантна, - думает Изя, - зараза!" Он думает еще о привлеченном к ответу Моцарте, посмевавшем тут, в школе имени Доктора, жить. И хотя натренированный счетом рассудок Изя отказывается признать, что жить можно и посмертно, в неуловимости струящегося от нотных знаков *духа*, Изя готов разминуться с собственным рассудком в пользу страшной догадки: жизнь после смерти не кончается! Сколько не устраивай поминок, сколько не загромождай кладбище разными знаками внимания, жизнь норовит улизнуть прочь... но куда? Норовит к тому же освободиться от лишнего... да, *освободиться!* И что же останется от Изя в этой, *свободной*, жизни? Изя щупает выпирающий из кармана бумажник, и это возвращает ему уверенность в правильности прожитого... то есть нажитого, возвращает самоуважение: он, Изя Шулер, и есть *венец творения!* Ради него-то и задуман весь этот мировой хаос, в котором и есть-то всего одна великая задача: управлять. Великая на все времена роль вожака-барана.

Сверкнув в полумраке облепившими черным бархат блесками и наведя зачерненный глаз на школьного советника Трулса, Цикута приступает к ученым, насчет Моцарта, пояснениям: чем он, собственно, Моцарт, хорош.

- А, собственно, своей... простотой! Ну прямо детсад для профессионала: тоника, субдоминанта, доминанта. В этих трех соснах захочешь, не заблудишься. А кто-то ведь блуждает! Кому-то мнится за деревьями дремучий лес! Ничего подобного Моцарт в виду не имел, этот резвый малыш, он просто играл всю жизнь напролет... в карты! Вот она, тайна маленьких и больших трагедий: тайна доминанты, субдоминанты и тоники. Главное, выбрать покруче темп, остальное приложится. И если сегодня мы говорим, что Моцарт жив, мы имеем в виду нечто сценически зримое: того самого *исполнителя*, который *доносит...* - тут Цикута неожиданно икает, - ... который уполномочен донести... - она снова икает, - ... донести до ушей...

Все удовлетворенно аплодируют, Аластер кричит "Браво!". И вот наконец тот самый ре-мажор, и опередившая доминанту двойная доминанта норовит врезаться в ухо скандальным доносом:

- Впускаем в помещение Моцарта!

На лестнице топот, визг и хрюканье, и всем интересно, каков он, в самом деле, Моцарт: красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах... И в распахнутую сквозняком дверь врывается, сбив с ног школьного советника Трулса, крупный черный боров.

- Моцарт! Моцарт!! Моцарт!!!

Все, кто до этого спал, вмиг оказываются верхом на стульях, и безопаснее всех, конечно, Методисту, в овальной раме, и в этом преимущество высоты. Никто не узнает в свинье прошлогоднего Лютера, его тоже впускали сюда побегать, все видят только клыки, капустные уши и черную щетину. Все видят к тому же, что боров прет прямо на Изю Шулера, и у того при себе только скрипка... ах! Боров раздвигает профессорские ноги, тараня двумя сотнями кило представления о приличии, и дальше Изя едет на нем верхом, едет по кругу... круг за кругом... и это совершенно, увы, бесплатно! Но вот наконец... приехали! Дальше стена с книжными стеллажами, с прижавшимся к полкам Сименом. Разве это справедливо, врубиться вот так, нисколько об этом не мечтая, в сочинения Доктора? Да тут одна сплошная вертикаль, одна только крутизна... и нет у Изя при себе никакого снаряжения, даже ледоруба и того нет, одни только отшлифованные купюрами

пальцы, ими не вцепишься в неровность скального выступа. Остается только одно: доверить свою жизнь свинье, крепче сидеть на ней верхом.

Черный боров, однако, другого мнения: ему ли, Лютеру-Моцарту, таскать на себе лысо-жирно-коротконогих диабетических прохвостов? И боров валится вместе с Изей набок, в какую-то свою, свинскую, по колено, грязищу...

- Какой пассаж! - восхищенно констатирует Цикута, - Смелость! Вируозность! Гениальность!

Все аплодируют. Покинутый свиньей Изя раскланивается направо-налево, он к счастью цел и невредим, он даже не зол на Цикуту, хотя эти аплодисменты... ей.

Изя зол только на Симена: тот помог ему у всех на виду встать на ноги. Как он посмел! Посмел протянуть ему свою антисемитскую руку! Посмел даже стряхнуть с профессорских штанов въедливую библиотечную пыль! За это Симена, бесспорно, следует наказать!

Подумав о наказании, Изя заметно приободрился, словно под ногами у него зашуршала беговая дорожка: вот они, перспективы! Перспективы безостановочного бега к еще более *профессиональной мертвой хватке*. Куда бы Симен в своей незаметной жизни ни ткнулся, обо что бы не ушиб свою, ломящуюся от логарифмов и парабол голову, ему не улизнуть от пожизненной и даже посмертной *вины* перед задетым им евреем. Каково это, согласитесь, быть *задетым*! Даже свинья, и та согласится: ее лучше не задевать.

- Пойдем что ли отсюда, - говорит Симен разлегшемся возле книжных полок Лютеру-Моцарту, и тот доверительно в ответ хрюкает, - а то нас тут живьем съедят!

Побрызгав ради приличия библиотечные углы, боров лезет под стол, явно намереваясь досидеть там до своего следующего, в качестве Наполеона, выхода. Вот ведь, свинья.

- Вернемся, друзья, к нашим актуальным рабочим темам, - рассаживая всех взглядом по местам, объявляет Астри, - Антропософия на мировом рынке, антропософия, деньги и власть, антропософская... - тут Астри прикусывает себе до крови язык, - ... некрофилия. Есть еще вопросы?

- Есть, - брякает кто-то из полумрака, - Причем тут антропософия?

- Прошу задавать только относящиеся к делу вопросы.

- Вопросы должны соответствовать *моральной технике нашего форума*, - деловито добавляет свободный консультант, - а это ведь, согласитесь, *технология диалектики*! Никакого вне регламента *содержания*, вот наш золотой принцип!

Кто-то осторожно аплодирует, на всякий случай.

- Вопрос по делу, - нетерпеливо перебивает аплодисменты Ярл Тригве, - о повторной рассылке ранее оплаченных родителями счетов за обучение. Разослать еще и еще раз, и еще... Разослать счета тем, кто со школой давно уже рассчитался! Родители ведь не помнят даже вчерашний день, они заплатят в третий и в четвертый раз...

- Разослать счета за неотработанную родителями *трудовую повинность*, - поддерживает Ярла Тригве ректор Тина, - каждому родителю в отдельности. Разослать счета за уборку туалетов и школьной территории, мытье и покраску окон, дверей и полов, ремонт канализации, душа и вентиляции...

- ... а также настройку рояля! - успевает вовремя вставить Аластер.

И Методисту остается только сболтнуть из-за последней черты самую последнюю новость:

- Наша карта, нами же битая, разыгрывается нами снова!

Хлюпя талым снегом, Серафима идет через двор к школьной столовой: там, в неоттапливаемом отсеке раздевалки, заперт до каких-то лучших времен куцый кабинетный рояль. Он, правда, не Бекштейн, и Аластер не раз копался уже под затертой, с облезлыми краями, крышкой, но все-таки это рояль. Бесхвостый, с криво подставленным под сломанную ногу стулом, рояль этот прибыл в школу имени Доктора в качестве подарка от "Друзей музыки в Харпестеде", и один из друзей предупредил: это не дрова. То есть не то,

что суют время от времени в экономно питаемую картоном и макулатурой, у входа в столовую, печку. Повариха Оксана запирает рояль на ключ, так ей меньше мешают *о чем-то* мечтать, и рояль тем и жив, что к нему изредка притрагивается Серафима.

- Тебе пиццу или рисовую кашу? - лениво кивнув Серафиме, хлюпает чаем Оксана, - Или чай?

- Ключ.

На густо запудренном лице Оксаны задерживается на миг сомнение: давать?.. не давать?.. Если дать, придется уступить отведенные для мечтаний часы придирчивому Иоганну Себастьяну, если не дать...

- Может, все-таки кашу?

Оксана варит кашу два раза в неделю, в остальные дни приходится грызть коровью лепешку с обрезками сыра и дешевой ветчины, грызть и думать о том, что нет такой плохой еды, хуже которой ничего уже нет.

- Или пиццу?

Сама Оксана пьет только грузинский, из веников, чай, пьет и уносится в мечтах прочь. Уносится в родное Запорожье, откуда ее выудил десять лет назад владелец дома, машины, лодки и дачи. Мечты Оксаны враз и на несколько поколений вперед сбылись, никакого хода им больше нет, разве что назад... Назад, в перестроечную шизофрению. Назад, в родительскую, пропахшую постными шами хрущевку. Назад, к высшему, скажем так, юридическому образованию. Зачем оно тут, высшее юридическое? Им не нагреешь, например, постель. Спроси любого в этой богатой стране слизняка, любую жабу, спроси хотя бы *необразованную* принцессу, и тебе скажут, что ты счастливчик. И счастье твое заключается именно в том, чтобы не беспокоить самого себя вопросом: где я? Вот так, счастливо, Оксана и коротает вместе с жизнью свои представления о счастье... счастливо, счастливо! Нехотя приподнявшись с примятой к стулу подушке, она тянется к холодильнику, вписывая в казенный интерьер кухни округлость обтянутого велюром зада. Этот зад мог бы заверить не хуже всякой круглой печати бесполезность иного для себя времяпровождения: сиди и складывай в *уме* нули зарплаты, эти большие, в сравнение с запорожскими нулями, нули. Ради этого обнуления судьба и зазвала Оксану сюда, приплюсовав в виде премии казенную, два раза в неделю, рисовую кашу.

Протянув Серафиме ключ, Оксана привычно напудренно улыбается, привычно моргает густо покрашенными ресницами, привычно сглатывает зевок.

- Может, чай?

Взяв кружку с чаем, Серафима идет в раздевалку. В тесном отсеке прохладно, окна занавешены плотными фланелевыми гардинами, на полу забытые кем-то эвритмические тапочки. Сюда впускают каждое утро шумливых малолеток, в строгом строевом порядке и под музыку Гайдна. С ними вместе в помещение проникает длинноволосая шестидесятипятилетняя мумия, копирующая с поразительным обезьяньим рвением игривые детские ужимки: руки в бока, голова запрокинута, колени бьют в подбородок... Мумия водит малолеток по кругу и наискось, туда, обратно и снова туда, она делает это уже лет сорок, и ни разу не было еще такого, чтобы она сама это замечала: она видит только заводную, скалящую два передних зуба, готовую свалиться набок, *опьяненную делом* крысу. Мумия уверена, что никакого Иоганна Себастьяна никогда не существовало и что пригодная для скакания, верчения и ползанья по полу до-мажорная прелюдия придумана Методистом. Аве, короче, Мария. И хотя в однообразном перетекании прозрачных, как в речке волны, терций, в округлости насаженных на ноту "до" лемнискат нет ничего такого, что согласилось бы немедленно следовать за мумией в ее склеротически-ревматический ад, именно эту прелюдию так охотно насилует год за годом школьная эвритмия. И только, может, один Иоганн Себастьян и знает, что никакая это не эвритмия... а что? Но его никто об этом не спрашивает. Руки в бока, локти в стороны, левой-правой-левой-правой... Волосы мумии метут пол, в просторной эвритмической пижаме гремят пенсионные кости, рот хватает вместе с задыхающимися "раз-два-три-

четыре" обрывки заоблачных декламаций: "... и ветер!.. и море!.. и горы!.. и судьба!.." Мумия декламирует это уже сорок лет подряд, но не случилось еще ни разу такого, чтобы выплюнутые ею слова хотел унести куда-то ветер, не говоря уже о море, горах и судьбе. А ведь плескалось когда-то в этих словах море, выл северный ветер, скрипели приросшие к скалам сосны, высматривая туго надутые паруса... Когда-то. Эти слова были когда-то действием. Сегодня об этом спрашивать мумию неприлично: есть ли во всем этом жизнь? Мумия подождет только сухонький рот, бесцветные глаза затянутся льдом. Она здесь не для того, чтобы *жить*, она тут работает. Взмах плоских, как совок в песочнице, ладоней, поворот цыплячьей шеи с проволочным рельефом гортани, проколота ноющей болью спина, все это одна сплошная мука. Эвритмию ведь тоже можно, как и все остальное, *пытать*. Можно забить ее насмерть.

Иногда сюда заходит Ярл Тригве, поиграть в кошки-мышки: малолетки стоят, как борцы за демократию, рядами, крепко держась за руки, и мышья угорело носится по узким проходам, хитря и запутывая след, под визги, вопли и крики, и сам Ярл Тригве кричит громче других: "Не уйдешь!.." Ни Моцарт, ни Гайдн, ни Бах этого вынести не могут, они сиротливо жмутся к роялю, оседающему на подставленный взамен ампутированной ноги стул. И когда наконец мышья оказывается пойманной, ее ритуально съедают под декламируемые нараспев куплеты: "... и ветер!.. и море!.. и горы!.. и судьба!.."

Бесхвостый рояль отодвигается вместе с Серафимой к окну, отгораживаясь от самоистязующего усердия мумии своим еще не совсем охрипшим звуком. И то, что он с Серафимой заодно, видят одни только малолетки, хотя у многих из них глаза уже наполовину зашиты. Они замечают, проносясь в общем галопе в опасной от клавиатуры близости, как Серафима открывает потайную дверь в прозрачный, как волны речки, домажор, переправляется на другой берег... и там, среди вписанных друг в друга серебристых овалов, среди сияющих двойных спиралей оживают любовь и свобода... Любовь! Свобода! *Так* можно сыграть только один раз. И этим *одним* разом сказать *всё*. И ветер, и море, и горы, и судьба узнают себя в этой до-мажорной прелюдии, узнают свой на земле смысл.

"А теперь сначала... еще раз... еще раз... еще раз..." Еще шестнадцать раз. Снова и снова, до полного автоматизма и одурения, до полного разрыва с любовью, до полной противоположности свободе. "А теперь сначала..." Скрипящие суставы, склеротизированный, высыхающий, испаряющийся мозг. Серафима знает, что дело пока еще поправимо, достаточно только *довериться* Иоганну Себастьяну. Но вместо него здесь Методист. Здесь закладываются будущие могилы: эй, мумии!

Открыв крышку рояля, Серафима видит на клавиатуре записку: "Мы наверху". Кому эта записка и от кого, и что может быть, в самом деле, наверху? Жизнь разбрасывает повсюду такие вот лаконичные указатели: туда, сюда, верх, низ... ими замусорено не одно *движение*, не говоря уже о бесчисленных *направлениях*. И все это для того, чтобы ты никуда бесконтрольно не улизнул. Смотри на указатели, пьялся!

Как здесь все же холодно. Отхлебнув остывающий чай, Серафима ставит кружку на подоконник, смотрит, как Оксана идет через двор к своей машине. Завтра будет рисовая каша, послезавтра пицца. И много-много лет еще впереди, и не нужно никакого снотворного, никаких на ночь сказок. Счастлив тот, кто довольствуется малым.

Остывшая, онемевшая клавиатура, безнадежность, скука и пыль. Мебель, инструмент, предмет. Кладбище так и не исполненных ролей. Рутинная тоска. Поставив палец на си-бемоль, Серафима слушает... слушает отголоски давно уже умершего летнего вечера: стрекотанье сверчков, запах маттиолы и роз... И прямо тут, на границе с этой обледенелостью, к ней подступает жар такой силы, что нет уже больше сомнений: это и есть *душа*, душа *сознательная*, берущая на себя отвагу и смелость, ярость и мужество, выплавляющая из своего жара *любовь*. Эта любовь не оглянется уже на оставленную позади чувственность, она следует только за духом, она восходит к его вершинам. Любовь, обнимающая вместе с землей далекие звезды.

Тут доцветает теперь бабье лето, и никто уже не тронет оставленную среди вереска мечту, никто не погонит ее дальше, в зиму. А дальше зимы... что? Снова прекрасный месяц май. Эти вписанные в природу круги и овалы, эти вечные возвращения. Округлость мысли, округлость движения руки, округлость и завершенность на тебе самом всех твоих путей...

Но что же все-таки там, наверху?

Уже седьмой час, школа пуста. Заступившему на дежурство вахтеру лень считать крутые библиотечные ступени, ему и так ясно: там у них *методическая мистерия*. Иначе зачем бы сюда принесло Астри с другого конца фьорда. Одно уже имя Астри звучит в школе имени Доктора как заклинание, его произносят как клятву, как присягу, как пароль. Только скажи "Ас...", и все головы тут же поворачиваются к тебе: "Ты знаешь Астри? Ты с ней знаком? Ты с ней дружишь?" Ни один человек не верит, что с Астри можно дружить, да никто и не пробовал. И просто так с ней, кстати, не познакомишься, на это нужно иметь серьезные основания. Скажем, если ты борец за права человека, диссидент или хотя бы террорист. На своей лучшей методической фотографии, на фоне собирающегося что-то сказать академика Сахарова, Астри улыбается будущему, и оно теперь, будущее, в настоящем: в ее *работающем* на честь-уважение-известность авторитете. Как раз то, над чем Сахаров ломал свою радиоактивную голову и, *захлопываемый* переполнившей залы заседаний *серой элитой*, скорбел и изнурялся сердцем, как раз этому теперь везде рады: *авторитетности безмыслия*. Пустить в оборот *авторитетное мнение*, выловленное из клоаки *авторитетного источника*, это ли не *наша*, а вас не спрашивают, задача? Задача своевременного *растления* никак не желающего тлеть: этой *твоей* ответственности перед твоей же судьбой. Хватит размышлять, пора жить. И не забудь, что жить надо *так*: один раз. Но что это у тебя такое? Запрещеннейшая из всех запрещенок! Обращенный *к тебе*, нисколько не бьющий мимо, призыв: собирайся! Впереди другие, следующие жизни.

Нет ничего более ненавистного для *нормы*, более сотрясающего *устои*, чем чья-то пасмурная решимость продраться к солнцу. Сегодня пасмурно, сегодня зима, сегодня, может, самый последний в этой жизни день. Тебе не надоело еще куда-то *стремиться*? Не надоело ткать из самого себя двойную, с видом на Юпитер, спираль? Не надоело полагать принципом причинности свое, застрявшее между прошлым и будущим *Я*?

У демократии нет времени интересоваться твоей отдельностью: время катится уже под гору, попутно считая пятна на солнце. И ты, пока не поздно, усвой: чтобы стать усвоенной демократией, личность должна как следует *разложиться*. С точки зрения грифа, взирающегося на падаль с *высоты*, разложение есть победа справедливости: теперь-то ты, стерва, сыт. Ты не перевариваешь живое, ты даже его и не пробуешь, ты только ждешь. Ждешь, когда выброшенный на мусорку младенец наконец околеет. Этот, завернутый во вчерашнюю газету. Никто, конечно, не посмеет назвать тебя хищником, ты ведь никого не убиваешь, ты только демократично утоляешь свой голод. И если тебе недостает порой *здорового аппетита*, его вполне компенсирует вкус к сенсации: паника!.. страх!.. ужас!..

Улыбаясь будущему, Астри советуется с Бу Кварком: на какой козе к нему, будущему, лучше подъехать. И выходит, что коза эта - сидорова. Драть с нее последнюю шкуру! Сдирать, если надо, заживо. Так, чтобы Дарвин в который уже раз оказался прав: Дарвин произошел от обезьяны. Такое оно, это обезьянье будущее: в *гениальности компьютера*, перевирающего человеческие чувства-поступки-мысли. Не надо, друзья, напрягаться. Расслабьтесь, устраивайтесь поудобнее, представьте себе, что вы в Америке, закройте глаза... не шурьтесь, не подсматривайте! Приятная, *комфортная* темнота, всесторонняя защищенность от сквозняков, нагретость инстинкта, взбитость самолюбия, уверенность в соответствии будущего с текущим моментом. Бу Кварк уверен еще и в том, что будущее не только явится из Америки, где оно без особых мук вот-вот родится, но еще и перекрутит с востока на запад упрямый виток спирали, метящий из Германии в Россию... никакой русско-германской любви! Будущее не допустит обручения Я и Самодуха. Оно явится, будущее, на заранее обустроенную сцену, явится *умопомрачительным*

спектаклем, разбрасывающим в зрительный зал скрученные выигрышные билетки: лови!.. хватай!.. наслаждайся!.. Ради этого стоит уже теперь стереть последние следы безуспешных *человеческих мук: мук восхождения*. Не надо, друзья, никакой Голгофы, это мы уже проехали!

Будущее любит спектакли. И надо уже теперь понемногу заучивать грядущие роли: они написаны *великими* словами. И пусть само величие этих слов затмит и ослепит, и где надо приворожит все еще строптивное воображение: на сцене *действует* только суфлер. И это ему, Великому Специалисту, будущее уже теперь возводит монументы. Слушай и повторяй без запинки: тебя ждет еще более сверкающее и ослепительное будущее!

Не будь во время школьного спектакля так темно, при марлевой-то луне, Астри не удалось бы незаметно смахнуть слезу. Слеза выкатилась навстречу историческому призыву: "Бейте русского!!!" Мутная такая, *сладкая* слеза. И глаз, будучи наметанным, немедленно оценил расстояние, отделяющее благополучие самой Астри от *неблагополучия* русского. В чем его, русского *неблагополучия*, тайна? Не в нефтяных же запасах, и не в матрешках. Ярл Тригве, к примеру, ни разу не был на русской мусорке, но от бывалых слышал: продано всё. Продан академик Сахаров, продана сама продажа проданного. Так почему же Серафима что-то *имеет*? Что может иметь потерявший всё? Только дубина Симен, пожалуй, и скажет, что можно иметь *интуиции*, но дубину никто ведь не спрашивает. Никто, кстати, и не поверит в *силу созерцания*, мы ведь в своем пока уме. Даже последний среди нас дурак, и тот ведь не безмозглый, и он не склонен слушать сказки о *мышлении вне мозга...* о жизни вне тела... даже дурак в это не верит! А уж умный! Умному подсказывает сама Америка: углубляйся в материю!.. щупай атом!.. насилуй ген!.. Умный не для того так умен, чтобы объяснять, но чтобы *скрывать* необъяснимое. И весь, какой только есть у умного, ум немедленно станет на дыбы перед *объясняющей всё* интуицией: захлопнуть это окно!

Но как отнять у Серафимы этот пейзаж, этот солнечный, от прошлого до будущего, вид? И ум подсказывает умному: втиснуть этот пейзаж в *норму*. В этом и состоит гениальность настоящего: в покровительстве нормой *всего*. Норма берет тебя на содержание.

Норма русского *неблагополучия* питается готовностью терпеть *еще и не такое*. Какое оно, еще и не такое, никто знать не желает, да и попробуй узнай... только попробуй! История деликатно молчит о тех, кто делает это *ради себя* и к тому же *своими* средствами, история таких не любит. История проламывается своими медвежьими путями в будущее, а там... пусто. И если бы не ожидание чего-то такого, чего сроду нигде не было, история тут же повернула бы вспять... то есть вперед, к компьютерному большевизму... если бы не это ожидание! И сколько же еще так ждать! Так можно ведь усохнуть, стать воспоминанием, сделаться напрасной мечтой, да просто отказаться от своего же тела, неоднократно расстрелянного *работающей идеологией*... да ну его совсем! Не ложиться больше в родной чернозем, не справлять пьяных поминок, не выставлять под железным крестом похожий на себя портрет. И сам-то ты, куда-то подевавшийся, уже не просто сам, но *сам дух*, повитуха и акушерка собственных родов. Вот оно, *неблагополучие* русского!

Смахивая в полумраке слезу, Астри думает о бедных, беднее самого Достоевского, людях: никогда, никогда им в люди не выбиться! Замерзшие русские улицы, слякоть куцых диссидентских утех, удовлетворяющих разве что воображение кэзэбэшника, страх. Страх по-прежнему примеряет эковские ватники, хотя гораздо проще и дешевле подлечь под самосвал или легковушку, сославшись на шутки чеченцев, да, так оно гражданственнее.

Но теперь уже вечер, день прожит, впереди ночь. Астри думает о напрасности бунта академика Сахарова: ничего, кроме атомной бомбы, от него ведь не осталось... ничего! Ислам перехватит профессиональные навыки, *наши* подсобят с сырьем, тут нет ничего ненормального. Но Серафима...

Она идет мимо жмущихся к скале сосен, мимо припаркованных возле главного здания машин, мимо уснувших в снегу фонарей и зеленых в их свете рододендронов, идет к запертой входной двери. На первом этаже в учительской темно, наверху празднично горят свечи. И гуляющий по скату крыши декабрьский ветер доносит до Серафимы тихое, сосредоточенное пение: там, наверху, рождественская мистерия.

Обойдя здание со стороны заросшей можжевельником отвесной скалы, Серафима натывается в темноте на деревянные ступени: они ведут на галерею, где в теплое время учителя пьют кофе, прогуливаются и курят. Здесь все теперь в снегу, в забытых цветочных горшках топорщатся сухие ветки бегоний, и растрепанные белками шишки, падающие с макушки громоздящейся на скале сосны, свидетельствуют о ненасытности холодов, о прожорливости стужи: зима..! Держась за обледенелые перила, Серафима пробирается по смерзшимся, наметенным вдоль стены сугробам, заглядывает в темные окна классов, смотрит вниз, на торчащие среди снега валуны. Ветви разросшегося можжевельника загораживают проход, и она пролезает под ними, елозя коленями по льду, натывается на ступень пожарной лестницы. Узкая, как трап подлодки, взмывающая вертикалью на самый верх, эта лестница нужна тут скорее в качестве декорации: по ней рискнет пройти разве что привидение, да и то в случае крайней нужды. Поставив ногу на лед, Серафима подтягивается, держась за перила, к следующей ступени, и так до самой двери, глазающей заледенелым стеклом на вершину скалы. Эта дверь тоже заперта.

Стоя на узком железном крыльце, Серафима прислушивается к доносящемуся из библиотеки пению: так сладко, опьяняюще-удушливо-сладко... Ананасный сок со снотворным и цианом. Так поет самое благое из всех благих намерений: поет об им же протоптанной в ад тропе. Хотя в общем-то хорошо поют. Методически корректно.

Став вплотную к замерзшему стеклу, Серафима всматривается в полумрак библиотеки, и навстречу ей из темноты подкрадывается чья-то фигура, и тоже припадает к стеклу... Отпрянув назад и едва не скатившись с обледенелых ступеней, Серафима присматривается, и тот, с другой стороны стекла, тоже присматривается... Нет, это вовсе не ее отражение!

Молодой, лет двадцати пяти, мужчина в строгом, старомодном костюме. Он смотрит на нее в упор, но без всякого напряжения, словно смотрит сквозь... и она не находит в этом его пристальном смотре ничего для себя тягостного или опасного, она ведь и сама на него смотрит... и она узнает его.

Доктор.

Так смотрят на северное сияние: с изумлением и благодарностью. Вовсю светят звезды и полная луна висит над полукругом фьорда, и полярная ночь светла, как день, в зеленых, фиолетовых, золотых волнах, прозрачно нанизываемых на диаманты созвездий. О, этот таинственный мир!

Главное теперь, не отвести глаз, не сморгнуть, не зажмуриться... не скатиться по обледенелым ступеням вниз. Главное, выдержать. Выдержать вопрошание этого вывернутого наизнанку взгляда.

Эту стеклянную дверь никто никогда не открывает, она тут *запасная*. На ней нет ручек, и ржавые шляпки наискось забитых гвоздей предупреждают лучше всяких слов: "Прохода нет". Так что в случае пожара надо просто вышибать стекло. Эта примерзшая к наметенному сугробу дверь. Серафима трогает пальцами ледяной узор, и тот, что за дверью, повторяет ее движение... он с ней теперь заодно! Он тут ее, может, и дожидался, и сколько он уже ждет, не важно, главное, она сюда добралась, без постороннего совета или помощи. Если бы не это стекло, это проницаемое взглядом препятствие, это прозрачное, замерзшее *никогда*... Ночь приморозит руки к перилам, выхолодит до самых ребер самоуверенность: зачем тебе сюда? Ночь напомнит о последнем автобусе и жарко натопленной печке, ночь даст *совет*. Слышишь это требовательное во мраке пение? Это они о тебе. О твоей, от рождения до смерти, *единственной* жизни.

Оглянувшись на кругую вертикаль лестницы, Серафима мысленно считает ступени... считает между ними зияющие провалы... так легко соскользнуть с этой, самой последней, сорваться... Но с той, другой стороны ее держит, как на страховке, пристальный, в упор, взгляд. И Серафима вламывается в темноту библиотеки.

Никто ее сюда не звал, ей вряд ли будут рады. Ночной странник, взломщик, вор. Она идет наощупь мимо книжных полок, мимо заваленного школьными брошюрами стола, мимо мягких диванов... И кто-то наступает ей в темноте на ногу, толкает всем весом к стене... Кто тут? Серафима хватается за край книжной полки, и на нее сыплются сверху пыльные книги... и кто-то сзади чихает и подает из темноты голос:

- Э-э-э-э-э...

- Симен?!

Серафима не видит его в темноте, и сдаётся ей, что он тут не один.

- Осторожно, - шепотом предупреждает он, - не наступи на Лютера... то есть на Моцарта... в общем, на эту свинью...

Сев на кучу книг, Серафима слушает: поют! И хотя это вовсе не музыка Моцарта и не слова Лютера, поют складно и рьяно, и как бы даже впрок, на будущее. Вот бы этому будущему сюда теперь нагряться! Распорядиться насчет *экономии света*, придраться к растратам восторга, призвать в свидетели колышущийся в пламени свечей *лик* Методиста.

В белой раме с белыми лилиями, Методист скучен и вял, избалован и пресыщен. Его кормят тут одними деликатесами: интеллектуальной открытостью, спонтанной адекватностью, коллективной познавательной плодотворностью, многократно помноженными на мнение политика-террориста-попа. И если, случись, деликатес не лезет в горло, Методист запивает его кровью.

Все поют стоя, у каждого в руке белая свеча, и пламя послушно следует за вздохами-выдохами сочиненного Аластером канона: "Под скрип душевных коромысл..." Незабываемые, великие слова! Слова, между прочим, Генриха Фауста. Тому, кто пока не заучил их наизусть, приходится лезть в "Живой журнал", копошащийся мухами, червяками, тараканами и клопами, и многие добровольно садятся на липучки тех самых *произведений*, в которых узнает себя *литературная Москва*: в культе китча. Этот прожорливый, вечно голодный культ! Ему сооружают поклонные памятники, возводя их непременно на какой-нибудь горе... в Москве ведь хватает гор. Даже Сам Вова, и тот недавно сочинил "*Дифирамб побеждающей полуправду правде*". И уличенная в родстве с правдой полуправда немедленно рванула на себе одежку и обнажила махо-культурную грудь с двумя дарвиновскими сосками: есть возражения? Есть?! В том-то и дело, что нет.

Китч, он же *говнопись*, имеет свойство выглядеть захватывающе натурально: это же твое!.. твое!.. Не веришь, спроси товарища Сталина: в чем эстетика массовых убийств? "Она, - скажет товарищ Сталин, - в красоте статистики: столько-то миллионов туда, столько-то сюда". В красоте *безымянности* жертвы. В красоте пустых литературных псевдонимов, прикрывающих срам. Срам товарища, например, Сталина.

- Свобода воли - высшее искусство! - сообщает собравшимся Генрих Фауст, - Хоть по Юнгу трактуй....у-у-у-уй! Психология! Сексология! Астрология!

Все аплодируют, не переставая петь, и маэстро Цикута бубнит в такт: "Что ты, милая, зенки косишь?" Не выкидывать же слова из песни.

Но вот наконец пропели, отдышались, теперь по плану медитация. Ярл Тригве снимает со стены портрет Методиста, ставит его на середину стола, пусть будет ближе к людям.

- Левее, - советует школьный советник Трулс.

- Правее, - поправляет его ректор Тина.

- А тепе-е-ерь... - таинственно начинает Астри, - ... закрываем глаза, не подсматриваем... задуваем свечи...

В полной темноте к Методисту подсаживается на стол Генрих Фауст. Не так-то это удобно психологу, вмазывать брючный зад в белый, со взбитыми сливками, клубникой и шоколадом, торт, но дело выше всяких неудобств.

- Это несколько математичное, но посему точное в выражении Мысли с Большой Буквы *произведение*, - торжественно вступает в медитацию Генрих Фауст, - Это абсолютно *фаустовское* стихотворение! Папа Гёте будет доволен! Кто узнает себя в этом *стихе*, далеко пойдет!

- Папочка! - восторженно шепчет седенький учитель истории, - Папуля!

Никто не смеет, разумеется, открывать в данный момент глаза, продрать хотя бы маленькую щель, никто к тому же и не дышит. Всем хочется узнать в *стихе*, то есть в *произведении*, узнать хоть что-нибудь, а главное, не спутать себя с Дусей Мочаловой. Кто-то унесся, медитируя, на дачу, кто-то забылся в полугодовом отчете, кто-то перемножает в уме, делит и вычитает... И все, какие у кого есть душевные коромысла скрипят как могут в пользу окружающей темноты.

- Сейчас покажут фильм, - шепотом предупреждает Симен, - о пропавших без вести родственниках Изи. Фильм документальный: все до одного пропавшие снимались в нем, они же сами его и сняли...

- И куда же они... пропали? - так же шепотом спрашивает Серафима.

- А кто куда... кто в Америке, кто в Мюнхене... Главное, за каждого пропавшего выплачена компенсация.

- И можно так... дважды пропасть? Трижды?

- Вполне, - подумав, отвечает Симен, - если к тому же падает курс английского фунта, в этом все дело. Выгодно пропасть, приплюсовав себя к шести, например, миллионам избранных... нет, я не имею в виду голодающих украинцев... да что там, к одиннадцати миллионам!

- Занятно, - теребя в темноте щетинистую холку Лютера-Моцарта, соглашается Серафима, - Но как... как это возможно?

Симен молчит, как перед неразрешимой задачей, и только сопение и выдает его перед этим вопросом растерянность.

- Надо уметь *жаловаться*, - наконец отвечает он, - жаловаться перед всем миром на этот самый мир, задолжавший потомкам и предкам обиженного, надо плакать и ныть, возмущаться и прокисать в сытости самого этого возмущения, надо в конце концов вытеснять этот мир с мировой арены... Надо быть, короче, евреем. Между прочим... - тут Симен по-детски хмыкает, - я их люблю за их... невменяемость! Они не видят самих себя!

Один за другим, присутствующие очухиваются от медитации. Глаз постепенно привыкает к размазанной по экрану компьютера надписи: "Пропавшие", кто-то лезет по привычке в карман... нет, деньги пока на месте. На экране вовсю уже разворачивается действие: чьи-то по голой земле шаги, чьи-то, голосом Изи Шулера, указания насчет пользования однокорейкой, по которой уже прет *наш паровоз*. Остановка у паровоза, само собой, за лагерными воротами, туда-то всем и надо. И чтобы не спутать лагерь с "Орленком" или "Артеком", а самих себя с отдыхающими, приезжие взгромоздили над воротами великое на все времена "Arbeid macht frae", что надо понимать буквально, как раз-два-три-четыре. Герой фильма идет по голой земле неспеша, тормозя то возле новенькой колючей проволоки, то напротив свежевыкрашенной сторожевой вышки, и сдается ему, герою, что эти *муляжи* слишком уж на всамделишное похожи... чтобы ему, всамделишному, и в самом деле быть! Сюду возят со всего мира туристов, всего-то за тысячу долларов, и многие рискуют даже попробовать подышать отравляющим газом... вот ведь отравляющая! Что касается лично героя фильма, то в раннем детстве он пережил кошмар похлеще бабушкиных о дедушке сказок: его затолкали вместе с другими детьми в душегубку, и все как один дети, кроме него самого, попадали замертво... вот ведь чудеса! Но самое при этом чудесное, что в душегубке он побывал... аж четырнадцать раз! И

всякий раз при этом он вспоминал родную тетю: замученная, расстрелянная и заживо сожженная, она председательствует в данный момент в европарламенте.

На фоне муляжей и правдоподобных *поддельных* фотографий ничто так не дерет воображение, как настырная, кислая, требовательная песня *про то, как*. Эта песня давно уже стала интернациональным гимном *отдельно взятой* нации, взятой к тому же за национальные яйца: песня о *чистоте крови*. Если ты, к примеру, идешь в синагогу и хочешь немедленно, не откладывая дело до следующей жизни, сделаться евреем, то есть, *принять веру*, тебе вежливо возразят: так евреем не становятся. Ну-ка показывай, что у тебя там в крови! Но даже если... ах, это невозможное!.. даже если тебе удастся счастливо преобразиться в Сруля, тебе не выдадут к призднику пшеничную крупу и кильку в томатном соусе: не примазывайся!

Пропавший родственник - дело наживное, и нет таких в мире стен плача, в которые не вмазался бы лбом вопрос: а сколько мы с этого имеем? Мы, считающие, раз-два-три-четыре. Но пока... слушайте эту *про это* песню, пока у вас не отмерзли уши...

- Уши, - наставительно поясняет свободный консультант, - есть нечто символическое, да, интимно- сущностное... - он смотрит на внимающего ему Методиста, - ... уши! У каждого из нас есть уши, но уши *консультирующего*... - он многозначительно умолкает, - ... это нечто особенное, да! В ходе медитации ко мне снизошел... кто бы вы думали? Один очень симпатичный *элохим*, которого я тут же и схватил за крыло. И я спросил этого элохима напрямик: не я ли истинный философ? Я попросил его дать мне знак, символ, чтобы не было больше никаких сомнений, и он, элохим, дал мне этот знак: я есть истинный философ!

- Постой-постой... - суетливо перебивает его школьный советник Трулс, - Как же он тебе это доказал? Неужто и в самом деле? Ты... истинный философ?

Небрежно, чуть даже брезгливо кивнув Трулсу, свободный консультант приглаживает возле ушей пейсы-вихры и лаконично поясняет:

- Элохим послал мне образ истинного философа: натуральный, с серыми ушами, осел. Эти *специфические* уши! Теперь-то у меня нет никаких сомнений: я истинный, истинный, истинный философ!

- Поздравляю... - растерянно бормочет школьный советник Трулс, - ... я ведь не знал... то есть так я и думал!

Все аплодируют, и только Методист пялится на затаившуюся в полумраке тень, и сдается ему, что тень эта... настоящая. Незначительная в общем-то, неброская такая тень, но... кто ее, эту тень, знает... Бывает, ты пугаешься собственной тени. Может, это *дорогой неизвестный друг*? Сморгнув для верности глаза, Методист щурится и даже роняет из овальной рамы скупую, на случай узнавания, слезу... но нет, не узнает. Здесь явно какой-то фокус, здесь что-то не так. Он успевает только подмигнуть Астри, заметив, что и она чем-то *задета*, каким-то выпирающим из полумрака углом... нет, *представлением* об остроте. Астри открывает в связи с этим глаза и видит... Закрывать немедленно глаза! Не подсматривать. Переждать. Взяв наощупь со стола стакан с водой, Астри торопливо пьет... скорее все это проглотить! Да что, она собственно, увидела? Она никому об этом не расскажет, никогда. Уж лучше не верить своим глазам, чем такое признать: тут что-то светит... Закрывать немедленно глаза!

Другие тоже начинают продирать запечатанные медитацией щели, моргают, зевают, щурятся: кто тут?... откуда?... зачем?... Вылив себе на лысину стакан воды, Аластер толкает ректора Тину, и та толкает Линдси, забыв, что это английская королева, и Линдси наступает своим сорок вторым на ногу Ярла Тригве: что там за безобразие? Не предусмотренное ходом мистерии обстоятельство: то ли фонарь, то ли чиркнувшая спичка... молния! Так приходит, не считаясь с приличиями темноты, незванное. И кто это незванное сюда зазвал?

Даже предпенсионно похрапывающему учителю истории, даже ему начинает казаться, что из полумрака подбирается к столу... враг! Такое сладкое историческое чувство: сейчас

мы эту гадину раздавим! По крайней мере, не дадим слизнуть с белой скатерти клубнично-кровоочащие остатки торта. Не дадим раздуть усталое пламя свечей. Окажись этот враг *предателем родины*, как Кнут, к примеру, Хамсун, его надо немедленно *выдать*, вместе с прилегающей к нему униформой, включая шнурки от старых ботинок. Выдать общественному мнению, ради которого и тужится, что-то такое *высирая*, старушка-история. Поймав себя на этом, "высирая", слове, старенький учитель истории сам же и похвалил себя за дерзость выражений: не напрасно же он столько проклятых лет мотал в по школам срок.

- Что-то горит... - вопросительно глянув на Майю, заключает Генрих Фауст, - Пойду-ка на разведку!

- Постой, - строго шепчет Майя, - сначала мы выясним обстоятельства темноты, а потом уж...

- Да что там выяснять! - нетерпеливо перебивает ее Генрих Фауст, - Пойду и возьму гостя живьем! Я уже иду! *Я пошел!*

Все, кто продрал уже глаза, с напряжением смотрят в полумрак. Пусть этот Генрих, *оно же Фауст*, хотя бы и застрянет в неизвестности обстоятельств, главное теперь, не зажигать света, не доискиваться. Ведь стоит однажды *доискаться* хотя бы даже до пустяковой истины, и вся, какая есть над головой крыша, тут же и рухнет, и ты окажешься один под звездами... совершенно один.

- Пойду-как и я... - бормочет свободный консультант и торопливо, боком, пробирается к запасной двери. Он не прочь, пока еще не поздно, сделать правильные выводы. Однако выводы сами уже спешат ему навстречу: раздетая догола Дуся Мочалова. Каково это психологу, оказаться вдруг голым! Даже самый доверчивый пациент, и тот заметит, что одна нога психолога короче другой, а сзади горб, заметит еще и всякие мелочи: велеречивость, косноязычие... *наукоблудие*. Вот где нужна *поддержка товарищей*: окажись ты хоть голым манекеном, тебя правильным образом *установят*.

Сделав несколько в темноту шагов, свободный консультант обо что-то обжигается, дает задний ход, тормозит. Он не может принять это всерьез, он не настолько прост: это *горячее* к нему расположение. И его, свободного консультанта, язык никогда не сболтнет это имя: Серафима. Никогда! Это она стащила с Дуси пиджак и рубашку в горошек, эти милые, располагающие к доверию атрибуты социальности, она посмела в этой социальности усомниться. Она обустроилась в такой дали от путей и дорог, где не слышно даже напоминаний о смерти, и можно ведь ей об этом напомнить. Напомнить о тех, кто *затерялся в степях*, на просторах демократии. И уж точно не позволить ей, *раздевающей догола*, сидеть наравне со всеми за длинным столом. Пусть убирается. Куда-нибудь.

Свободный консультант мог бы, изловчившись, поймать самого себя за гребень налившегося кровью раздражения: хватя, и ты весь тут! То есть в *справедливости* отпора врагу. И отпор этот должен быть *технически моральным*, инженерно проработанным: "Ппппшшшёл!"

Но поздно... поздно! Серафима уже возле стола, уже присматривает себе кусочек... уже присмотрела, уже считает его своим...

- Садись, раз уж ты здесь, - мрачно замечает ректор Тина, - Сядь сюда!

На бумажную тарелку шлепается разрезанная пополам роза.

- Ешь.

Все напряженно смотрят, как Серафима втыкает в марципан пластмассовую ложку, еще немного, и она начнет это есть... Кокосовый жир, сахар, ваниль, кровоочащее под белой глазурью клубничное варенье, трясущееся поверх глазури малиновое желе...

- Как ты сюда вошла?

Перебирая глазами заспанные лица, ректор Тина не находит никакого, даже приблизительного ответа: все только моргают, только мямлют вялыми ртами: "Как?.. как?.. как?.."

- Как???

- Через стекло.

Когда тебе не верит ни один зимующий в библиотеке паук и даже половина трещит в знак протеста под твоим осторожным шагом, ты и решаешься наконец сказать правду. И ты говоришь это исключительно для себя.

- Сейчас проверим, - находчиво замечает школьный советник Трулс, - Я сам и проверю!

Он идет, не дожидаясь указаний ректора Тины, через библиотеку к запасной двери, щупает замок, трогает пустое, на месте ручки, место, приставляет ладонь к запотевшему стеклу... Стекло запотело с обеих сторон! Сверхъестественно! Ненатурально! По матовой поверхности ползут, заплетая раму, снежные узоры, подозрительно смахивающие на замерзающую мысль самого Трулса: "Здесь только что был... Доктор! Он был здесь! Незаконно, незванно!"

Мысль эта, впрочем, тут же и замерзает, звякнув в темноте отколовшимся от рамы куском льда, Трулс только ежится, передернув плечами. Но, как школьный советник, он должен, обязан сказать что-то определенное, что-то очень убедительное.

- Этого не может быть!

Он бросает эти слова в темноту, в огороженное головами пространство, и головы только кивают: "Не может, не може, не может быть!"

- Антропософия, пусть даже это сам Доктор, не может существовать вне антропософского общества! - кричит Ярл Тригве, - Вне членства, взаимозависимости, взаимозаменяемости. Нет такого члена, который не был бы незаменим... - тут Ярл Тригве вспоминает о прахе Доктора, кое-как засыпанном мусорной на безымянном пригорке землицей, - Это наше общее, коллективное, демократическое дело... антропософия!

Кто-то начинает аплодировать, но тут же прекращает, услышав слова Серафимы:

- Это сугубо частное предприятие. Антропософия существует только благодаря отдельному Я и силами этого Я. Существование антропософии оправдано потребностью души и ничем иным, и антропософия удовлетворяет только эту потребность.

- Что это еще за потребность? - подозрительно вставляет Аластер, - Что за мистическая нужда?

На стороне Аластера завтрашний аванс и рождественские каникулы с английским пудингом, и нет такой в свинарнике английской королевы твари, которой не хотелось бы избежать казни по случаю легкого насморка... короче, все идет как обычно.

- Нужда в том, - терпеливо поясняет Серафима, - чтобы осознать сущность свободы: парение в любви над самим собою, без всякого эгоизма, без всякого страха...

- У нас тут школа, а не дискуссионный клуб, - хмуря нарисованную бровь, жестко обрывает ее ректор Тина, - Кто тебя сюда привел?

- Кто? - перегланувшись с Генрихом Фаустом, возмущенно повторяет Майя.

- Кто?? - окает по-русски Астри.

- Кто??? - орет из королевской конюшни Аластер.

Вянущие от жара свечей белые лилии, готовность сказать правду, неготовность...

23

Свежая, не старая еще дама с кротким, миловидным лицом и мечтательными синими глазами, она узнает Хельге, кивает ему, зовет его, она, может быть, одна в этом муравейнике-магазине, кто мог бы что-то хорошее ему сказать. Сказать, например, что она не прочь связать ему носки. Монтсеррат ведь по-прежнему ее дочь, и трудно, нет, невозможно расстаться с вечно запаздывающим утешением, с оправданием приготавливаемой старостью надежды на... конец этой безнадежности: они должны сойтись! Сойтись окончательно. Сойтись так, чтобы дальше всё ехало гладко и складно: у Хельге нет *ничего*, у Монтсеррат есть *всё*. Ведь только перемножив всё и ничего и можно придти

к чему-то средне-счастливному, что и есть норма. Окажись Гейр Сивертсен сейчас в живых, он бы наверняка уточнил, что средне-счастливое не предполагает для *средне-счастливого* никакой свободы, это всего лишь вялое рабство, мотающее жилы и грызущее печенки, размеренно и регулярно. Гейр, возможно, не посоветовал бы Хельге связываться с Монтсеррат, но теперь ему остается только глазеть на всё это с Луны.

- У меня для тебя приятная новость...

Хельге давно уже перестал интересоваться новостями: что может быть в мире новым, кроме смерти? Кроме собственных похорон, оплаченных конторой социальной помощи. Он смотрит поэтому на старую даму, на эту все еще рыжеволосую Герд, с сожалением и грустью: всё в этой жизни куда-то утекает. Озера, реки, моря, всё становится в конце концов плоской, досадно скучной сушей. И сам ты, будучи рыбой, зимуешь, зарывшись в грязь.

Хельге слушает ее, опустив голову, скорее бы она ушла. Хотя отчасти ему это приятно: у этой маленькой крепкой женщины есть кое-какие представления о свободе. Гейр Сивертсен достался ей не просто так: если не на край света, то на край протянувшейся через фьорд гряды островов ей пришлось самостоятельно добираться. Гейр жил летом на острове, где впоследствии родилась Монтсеррат, и добраться туда можно было только на лодке. Но какая, к черту, лодка, когда тебе восемнадцать, а твоей влюбленности - две недели? От пляжа до острова несколько километров, там маячит на скале одинокая сосна, на нее-то и надо держать курс. И Герд, оставив на берегу платье и туфли, поплыла! Сначала брасом, потом на спине, она добралась до первого, совершенно голого скалистого острова, и колючий ветер загнал ее снова в воду, и она поплыла дальше, к следующему острову, браня обжигающих ее ноги оранжевых медуз... она плыла и плыла, к пятому по счету острову с приплюснутой ветром сосной. Выйдя на берег с мелководной, песчаной стороны, она увидела мольберт и раскладной стул Гейра, и ветер, подбираясь под крылья рассеявшихся на камнях чаек, подхватил ее, словно парус, вместе с мокрыми рыжими волосами и просвечивающим на солнце бикини...

Этим воспоминанием Герд живет почти уже пятьдесят лет, и она по-прежнему там, на птичьем острове с кряжистой, вцепившейся в скалу сосной. Она там, среди неспешных солнечных круговоротов, повисших над морем радуг, разорванных ветром облаков, и Гейр, должно быть, тоже там, со своим пристрастием к морскому пейзажу, со своей пылкой, необъяснимой никакими вещами преданностью одиночеству.

Она смотрит на Хельге с тем особым сиянием во взгляде, в котором угадывается томление: ну когда же?... когда?... Монтсеррат по-прежнему влюблена, никто лучше матери это не видит. И никого, конечно, не смутит это мелкое недоразумение, это глупое в общем-то обстоятельство: брак Хельге с этой... с этой должно быть нищей беженкой из нищей медвежьей страны. От этого с позволенья сказать брака не останется и следа! Такие браки благословляет тоска и депрессия, и нет в них ничего от, собственно, счастья. Герд могла бы, впрочем, и посочувствовать Серафиме, почему нет, сочувствие украшает интеллигентность. Могла бы, пожалуй, дать Серафиме совет, куда следует обратиться в случае... в случае несчастного случая. И теперь, заглядывая в холодновато-голубые глаза Хельге, Герд выбирает самые из известных ей слов полезные и питательные, да, самые аппетитные:

- Ты можешь жить в лесу на моей даче, жить сколько хочешь, бесплатно, дом пустует уже десять лет. Переезжай прямо сейчас!

Хельге выжидающе на нее смотрит, он не раз об этом думал, об этой заброшенной, заросшей малиной, крапивой и еловой порослью, избёнке. Он даже специально туда ходил, смотрел, цела ли крыша, нет ли в погребе воды... Да, он не прочь.

- Ну, не бесплатно... - весело сверкнув на нее глазами, соглашается он, - Контракт на двадцать пять лет с выплатой на год вперед?

Герд кивает, она так рада, она ценит Хельге, таких, как он, мало. Он может пожить месяц-другой на ее даче в Испании, бесплатно... Бесплатно! Она свяжет ему носки!

Хельге смеется, показывая белые крепкие зубы, его веселит это ребячество, эта редкая среди пожилых дам доверительность. В Испанию ему не надо, но контракт он подпишет хоть сейчас.

- Прямо сейчас? - она берет его за руку, - Сейчас!

Бросив пакет с продуктами на сиденье старого "грузовика", Хельге едет следом за Герд к отелю, стараясь держаться на нейтральном расстоянии от ее дорогого мерседеса. Вот так должно быть судьбе и удается держать между людьми дистанцию, нисколько в самих людях при этом не нуждаясь: просто давать им на чем-нибудь ехать, и неважно, куда. Все, да, многие, становятся в жизни шоферами, различают красный и зеленый цвет, тренируют педалью ногу. Но кому из них удастся *сдвинуться с места*? Кто рискнет взвиться без тормозов спиралью к небу?.. раскрутиться часовой стрелкой с запада на восток?.. стать *светом с запада*?.. Кто? Вот ведь, оказывается, как их мало, и те, что есть, давно потеряли друг друга из виду. Таких не найдешь, сколько не ищи, на дорогах, там им не место. И если бы судьба отказала Серафиме в самом последнем ее приюте, Хельге охотно бы им стал... Разве он для нее не приют?

Неспеша, по-хозяйски, руки в карманы, Хельге осматривает недавно отреставрированный вестибюль отеля с зеркалами и кожаными диванами, небрежно, как завсегдатай, заказывает пару кофе с вафлями, сметаной и клубничным вареньем. Ему наконец-то повезло, и он не намерен прощляпить удачу. Лесная избушка, хоть и не дом, хоть через кухонное окно и проросла осина, а по углам муравьиные кучи, зато поблизости нет соседей. Разве что трактор с возом дров заедет на опушку леса, разве что лось... Двадцать пять лет достаточный для него срок, он и не собирается жить дольше. Что же касается Серафимы, то... кто знает... Хельге не привык думать о будущем, он ведь тут только гость. Гораздо полезнее прикинуть, во что обойдется ремонт: прорыть новую канаву, положить трубы, присыпать щебнем водонапорную скважину, поменять ветхие оконные рамы, поставить новую дверь... И еще заплатить за год вперед.

На лесоповале цветет черешня, белое облако в белой ночи, и нет более невинной, чем рассказ черного дрозда, любовной песни, и она всегда об одном и том же: о расцветании. Придется выкопать молодые деревья, посадить их на новом месте. Эти бесконечные переезды, эта перелетность, изгнанничество. Но что-то, хотя бы что-то должно ведь быть неизменным, всегда тебе навстречу распахнутым, родным. Что-то должно тебя, несмотря ни на какие перемены, ждать. Что-то, являющееся сердцевиной и точкой отсчета, да, началом.

Белое в белой ночи облако.

В этой белой, дышащей морозцем ночи неспешно расцветает черемуха. Расцветает сотни и тысячи лет, в прохладной невинности белых грез о любви. Они-то, эти грезы, и останутся. Достанутся кому-то.

Несмотря на близость выселения Хельге в веселом настроении, ему не жаль ни нагретых им стен, ни заселенного молодыми деревцами лесоповала. Он тут уже пятнадцать лет... пятнадцать одиноких, смотрящих на него самого, зим. Эта накатанная "грузовиком" дорога, эта спрятанная под столетней елью уборная-сруб, эти высыхающие на солнце дрова... Их хватит лет на десять, если топить экономно. Но Хельге никогда ничего не экономит, в печи у него ад. Можно сжечь эти дрова вместе с домом, гаражом и сараем, вместе с бревенчатой уборной, черт бы побрал Монтсеррат! Пусть смотрит на это пепелище, на поднимающийся среди обгорелых стропил молодой ельник. Хотя все это разрушится и так, своим ходом... всё. Хельге переселится еще дальше в лес, где его не достанут даже воспоминания. Серафима научится водить трактор, расчищать зимой дорогу. Научится обходиться полным одиночеством. В последний раз эту лесную дачу снимал одинокий старик, он умер десять лет назад, и от него остались кое-какие занятные вещи: начиненная легкомысленным вальсом музыкальная шкатулка, судовой барометр в

виде старинного штурвала, показывающий всегда "солнечно", телескоп на треноге, покрытые наростами и редкими уродствами стволы и пни... В сарае до сих пор стоит токарный станок, на полу не убраны стружки, в отключенном десять лет назад холодильнике тлеет заплесневелая пицца. Никому нет до этого дела, никто не выбросил испачканное лекарствами одеяло, изъеденные молью свитера и кальсоны... Великолепное, несравненное запустение! Это и есть последний в жизни приют, тут никто ничего уже у тебя не отнимет. Никто не станет тебе завидовать, никто сюда, кстати, и не придет.

Хельге мысленно уже там, на новом, так удачно обретенном месте. За домом начинается поле, вклиниваясь полукругом в заброшенный сад с кряжистыми яблонями и кустами сирени, на это поле можно смотреть из окна, отыскивая в различном освещении тихие настроения природы. Сидеть у окна и смотреть, не считая прожитых лет. Всё, что должно было в этой жизни быть Хельге пережито, уже им пережито, и нет ничего такого, ради чего стоило бы эту жизнь продолжать. Но Хельге не самоубийца, он подождет еще... подождет.

На новом месте первыми поселяются сожаления. Ты еще не успел собрать вещи, не успел еще сменить адрес, а тебя уже одолевают предчувствия: дальше ничего нет. Разве не странно, вот так, при своей еще жизни, *оборваться*? Перестать быть нанизанным на пробивающее воздух копьё. Отказаться от опоры в пользу самого этого воздуха. Отказаться себе в предметности, весомости. Разжаловать себя в птицы.

Память запустит тебе в карман руку, примется шарить, выгребать мелочь... ах, одна только мелочь! Ни одной о прожитой жизни расписки, ни одного о настоящем ходатайства. И с этой мелочью ты становишься в очередь, состоящую из тебя одного, в очередь за смыслом происходящего. Почему он теперь? Говорят, что его вообще нет, да, *нету*. Но ты упрямо в очереди стоишь. На закате раскритичится сойка: "Хлеба! Хлеба!", а ты ей про оранжевые полосы заката. Их не выпьешь, не съешь, эти размазанные по небу краски, но из них можно выкроить себе крылья. Одно крыло фиолетовое, другое алое. И ты подсовываешь закату вместо себя, окрыленного, вид издали: вид на улетевшую в ночь жизнь.

Из расколотов на две неравные части жизни на Хельге по-прежнему смотрит Монтсеррат: "Твоя!" Она не умеет, как и он, ждать, ей не известны пути терпения. Она ляжет с каждым, она ненасытна, но никому, кроме него, она не скажет: "Твоя!" Это и есть, собственно, настоящее: прощание-разлука-встреча. Настоящее, обороняющее тебя от будущего, отсекающее тебя от прошлого. Настоящее одного-единственного вздоха: "Твоя!" Оно, настоящее, насквозь промерзло, оно сдалось уже небытию, побелённое инеем невозможности. Оно не что иное, как скорбь, взламывающая трехмерность обыкновенных, с точки зрения пространства, перспектив.

Долгие зимы... Хельге будет топить в избушке печь, и на языке огня это означает, что жизнь никуда ни от кого не уходит. Жизнь спросит, пылая искрами, не о ней ли тут, среди зимы, речь... нет, не о горячем, не о пепле, не о серости золы... Речь о ярости преодоления этих излишков материи. О радости горения.

Серафиме этот дом не нравится, эти чужие, остывшие руины. Старик ткал тут из одиночества паутину, ткал против хода самого времени. На книжной полке валяются его дневники, эти скучнейшие свидетельства замерзающей на ходу повседневности, на диске проигрывателя застыла, загипнотизированная бездействием, старая пластинка. Старик слушал Малера, погружая свои несбывшиеся мечты в бурлящую пучину, в эту безнадежную прорву скорби и сожалений, обещающую разве что растерянность и хаос. Его должно быть радовала такая перспектива: никакой за всю эту *бессознательность* ответственности. Упрись чувственность Малера в один-единственный проникнутый сознанием миг, она упала бы, эта чувственность, без чувств: так мало в ней жизни! Так много в ней лобызавшего смерть *страха потери*: сначала дать своим детям погибнуть, потом сочинить о погибших песнь. Старик записал в своем дневнике: "Маркс тоже

заморил своих детей, едва не заморив свою вечно беременную жену. Он их, впрочем, любил, одновременно питая страсть ко всеобщим переменам". Старик был большим скептиком и в паутине своего одиночества посмеивался над *окружающим* миром. Да что этот мир в сущности *окружает*? Твою к нему неприиспособленность. Старик был лесорубом в Америке, потом в Канаде, потом вернулся в этот лес. Лес везде один и тот же. Лес милостив и терпелив, лес любит время. Старик курил самокрутки и стряхивал пепел на деревянное блюдо, местами прожигая его, к полному удовлетворению склонившегося над блюдцем человеко-пресмыкающегося, тоже из дерева, с вросшей в бесплечное туловище головой и когтистыми, разной длины, лапами. Старик курил и посмеивался, кормя своего Аримана пеплом, этого ручного морального выродка, готового в любой момент откусить неосторожно ткнувший его палец. "Ну, ну, - думал старик, запуская на всю громкость нытье Малера, - Старый вонючий хрыч!"

Это совершенно особое чувство, оказаться на руинах чьей-то, уже прожитой, жизни. Оказаться в некотором смысле наследником, ну что ли свидетелем частностей. Свидетелем пережившего эту жизнь отчаяния. Проветрить смежные, с чугуновой печкой, комнаты? Побелить эти стены? Посадить на подоконнике балдеющую от безветрия герань? Сжечь в печке Хемингуэя? На кухонном столе выцветшая от времени записка: "Взять зонт и смену носков". Это он, старик, себе, на случай провала памяти... на случай провала... Хорошо бы что-нибудь украсть, тем самым возмутив застоявшееся здесь небытие: треснувшую тарелку, коробку отсыревших спичек... Украсть замороженную в этой покинутости волю к переменам.

Эта требующая, чтобы что-то сбывалось, воля: "Вставай! Пошли!" Рвущая на себя одеяло времени. Мозолящая глаз пространству. "Не встанешь, умрешь!" Она не выпытывает, не сует в руку пряник или кнут, не прельщает. Ей нечего от мира скрывать, хотя в ней его корни. Воля, противоречащая наползающему на грелки, костры и печные заслонки оледенению. "Вставай, замерзнешь!"

- Поезжай что ли в Данию... - зевая, говорит Хельге, - Хотя и там тоже скука. Там, кстати, полно самоубийц... - он снова зевает, - ... как мух в свинарнике.

Сесть на корабль, забиться в треугольно оттяпанную от коридора каюту, врыться в кисельный матрас, окуклиться, подмяв под ребро паутинное одеяло, и слушать ворчливые басни мотора про то, как хорошо куда-нибудь ехать... ехать, ехать... Под тощей подушкой вибрирует винт, схлестываются разрезанные надвое волны, и вместо окна тут морской, подсвеченный лампочкой вид: водоросли, рыбы... Ты находишься, собственно, под водой, как крыса в трюме, ты едешь, как крыса, почти бесплатно. Едешь туда, куда тебя везут. Так, чтобы от чего-то подальше, к чему-то поближе. Чтобы никто не засек в пути твое между чем-то и чем-то отсутствие.

Хельге не даст и ломаного гроша за старую влюбленность, пусть даже и не ржавеющую. Вечное детство. Сосущая собственный палец несостоятельность. Сонность, осеннее недомогание, злополучие отцветших красок: серое, бурое, серое... Безнадежная слепота в отношении той липы, которая подсовывается тебе твоим вялым, с проваленными боками, воображением. Оно, воображение, толкует о причинах и следствиях, выводя старость из молодости, вода, где только можно, за нос время. А время тем временем показывает воображению нос: причины ушли в безвременье, остались одни только следствия. Лови их сачком! Накалывай на булавки! Эти бабочки-однодневки, эти сорванные ветром лепестки.

Хельге сам относит на почту письма Серафимы к Кристиану, какое ему до них дело. "Этот, - говорит он, - датский идиот". Хотя существовать ведь можно и без всякого смысла, просто туда-сюда ходить, ползать, жужжать. Так, может, даже лучше: быть в предложении лишней запятой, смущающей другие знаки препинания своей неуместностью. Так только и можно напомнить жизни о спрятанных под подкладкой, с изнанки, платежках: тут просрочено, там переплачено... Кристиан моложе Хельге лет на

десять, но жизнь его, как кажется Хельге, слишком затянулась: чему в ней еще происходить? Скучнейший датский пейзаж, равнина... разве что ветер, да, ветряки...

- Поезжай, - говорит он, надевая рабочий комбинезон и вытряхивая на пол песок из ботинок, - сходи с ним в ресторан, в планетарий... С этим идиотом.

В самом деле, идиот, он видит повсюду только кончину: кончину дня и ночи, кончину, например, зимы... про лето он вообще ничего не слышал, и если ему что-то еще нравится в осени, так это невозможность для нее стать весной. В мозгу у него сплошь одни квадраты, их правильность спешит возвысить однажды униженное: веру в то, что жизнь - это не только смотрящая на тебя в упор вещь. Кристиан верит, да, он почти уверен в этом, почти... но вещи смотрят на него в упор, эти прожорливые удавы, и в черной глотке клокочет слюна, и смоченный ядом зуб застревает в сорвавшемся пульсе... Ах, эта правильность квадрата, на пустом в общем-то месте, это ведь даже и не колодец, не чердачное, в паутине, окно. От этой правильности не рождаются дети. Сунь туда голову, крикни "ау", дозовись до словоохотливого эха, вникни. Слышишь? Этого нет в природе! Нет! Нет! Вместо этого в природе дыра. Гнилой, может быть, сруб. Темнота. И голова, оторванная от всего остального, застревает между двумя перепедникулярами, прищемленная точкой их схождения.

Кристиану не лень писать длинные письма, и Серафима их не читает, она их просто получает. Получает и складывает в большой, из грубой бумаги, конверт. Складывает как попало, не считаясь с датами, и не было еще такого, чтобы ей хотелось старое письмо достать. Эти письма рано или поздно потеряются, куда-нибудь завалятся, растрясутся, и черт с ними. Но Серафиме нравится, что кто-то пишет ей из города улыбки. Кто-то... ах, кто? Разве был кто-то для нее более недоступно-желанным, чем Кристиан? К этой недоступности-желанности притекали не названные еще никак реки, срывая по ходу дела мосты и плотины. И сколько тащилось песка и камней по их непредсказуемым руслам! Реки, смывающие с почвы слежавшиеся пласты, разве их повернешь теперь вспять? Теперь, когда даже осевший на дно камень кричит о боли, кричит проплывающим мимо рыбам. И рыбы молчат, думая о погоде и наживке. И ветер, этот расторопный почтальон, наполняет город улыбки вестью: вот и прошло, вот и прошло всё!

Серафима поселилась бы, может, там. Другое дело, зачем. Зачем продлевать в темноте то, что оборвалось при свете? Темнота напридумывает интересные сны, прыгай в эту реку, плыви! Но река бежит всегда мимо, не впадая при этом от тебя в зависимость... да кто ты ей! И ты, стоя во сне на берегу, знаешь, что сон означает только одно: близость пробуждения.

У пробуждения есть свои законы, они сидят, как страх, в пятках. Страх ползет дальше, выше, подбирается к голове, и тебя уже снова клонит ко сну. Пробудиться, это в общем-то, придти в себя. Придти откуда-то издалека. Возможно, ниоткуда. Но вот ты наконец на месте, распугиваешь одним своим видом как попало втиснутые в тебя сомнения, разгребаешь сор сновидений. Никто ведь не скажет, что сны состоят из одной только манной вкупе с небесным крахмалом облаков. Ты сметаешь остатки снов сбитой на сторону метлой, найденной в темном углу, возле мусорного ведра, сметаешь в расцарапанный шарканьем по полу совок, смотришь, не завалилось ли в мусоре бисера. На тонкой нитке, которой давно пора уже порваться, висит пара бусинок... ах, эта скупость слез! Слеза должна быть непременно скупой, чтобы ей поверили. Щедрость всегда подозрительна, даже при сниженном аппетите. В щедрость верят одни только деревья, у них есть для этого стволы, опоры. Воображению же больше нравятся рельсы, оттуда и досюда, желательно без остановок. Воображению только бы успеть сесть, устроиться у окна. Ехать.

Вовсе не обязательно помнить, как Кристиана когда-то звали, это имя давно стерто. И то, что он все еще отзывается на него, говорит только об инерции разогнавшегося на рельсах "там": там, среди высоких рябин, в сданной на хранение зимам русской осени. Не будь этого, почти тридцатилетней давности, "там", стала бы Серафима теперь собираться.

Стала бы присматриваться, словно слепец перед зеркалом, к зимней своей одежке: тут иней, там лед. И хотя нет ни малейшей причины выворачивать зиму наизнанку, доискиваясь в ней обоснований холода, следует все же нащупать запущенной за воротник рукой, где тут этикетка дружбы. Этот фирменный знак похолодания и обледенения.

В отличие от засыпания, воруемого нечто у головы и отсылающего краденое черт знает куда, пробуждению свойственны ремонтные, так сказать, услуги: сюда залить бензин, мазут, масло, там заштопать дыру... У этой благотворительности одна цель: поставить тебя на ноги, в вертикальное положение, сдвинуть с места. Эти благие развязки снов! Эти счастливые концы кошмаров!

Хельге не уверен, что Серафиме настала пора проснуться, она все еще помнит старые адреса. Она еще не решается на полную безадресность, на беспредельность своего в мире со-стояния. Она все еще там... не глупо ли? Среди высоких, в коралловых бусах, рябин. "Пошли его к черту!"

В будущем ведь предстоит только зимовать, только замерзнуть и чем-то помещения отапливать, экономя на спичках. Будущее, этот мертвый сезон, готово настать хоть сейчас, только дай ему повод. Пляжи пусты, лодки закрыты в сараях, только помёт чаек, смахивающий на ракушечное ожерелье. Только рокот волн, он все еще напоминает о долговых, на песке, обязательствах: "Дорого! Дорого!.." Но не надо понимать это буквально, всё уходит в будущем из-под надзора. Всё становится потерявшим птицу пером.

- Пошли его к черту.

Это не ревность, а... досада. Досада на непонятливость. Досада на ненужную трату времени. Ходить с Кристианом по улицам, смотреть на светофоры, изучать расписания автобусов, сидеть в итальянском-китайском-индийском ресторане с одним и тем же, перечно-рисовым меню, считать мелочь, жевать, совать в карман про запас салфетку, шаркать под столом ногой, в смертельном страхе не задеть ногу сидящего напротив...

Высыпав из ботинка песок и дровяную труху, Хельге нехотя слушает историю города улыбки. Что ему эти человеческие истории! Истории лобызанья тьмы в отсутствие света. Остановить таяние арктических льдов, придумать универсальный брачный закон, уравнивающий в правах многодетную мать с гомосексуальной обезьяной, ввести всеобщий *мыльный* контроль над электронной почтой... Эти истории заранее свалены на историческую мусорку *голового факта*, обживающего чужие широты как свои, факта отсутствия смысла в повторяемых гортанью и ртом историй. Все они имеют один конец: врезавшуюся в рыбий глаз вещь. Этот глаз никогда не закроется, чтобы прозреть.

Но можно ехать дальше города улыбки, уцепившись за крыло весны, в те безымянные дали, где случаются еще рахманиновские половодья. Кто их, впрочем, видит. Зажмурившись, апрель водит круги по черным, ветреным полям, рвет с веток сережки, заглядывает в голубые, как небо, лужи. И если не старый адрес, то язык наверняка приведет Серафиму туда. Язык, кромсающий себя лезвием пробудившейся мысли.

Язык охотно прикусил бы свою говорливость универсальным на все времена "Дай!" Дай, потому что дать кроме тебя некому. Ты единственный, последний в мире дающий: ты ведь берешь из себя. Ты даешь хлестать в открытую дверь взятому с потолка, с этого утыканного звездами следующего твоего этажа... Так дай же наконец происходящему смысл!

От этого "Дай!" пахнет сеном и молоком, пахнет вечным детством. Оно встречает Серафиму на вокзале, хватается пыльный чемодан, взваливает на плечо рюкзак, останавливает такси... Наконец-то домой! Домой! Туда, откуда начиналось, собственно, бегство.

Это редкая в жизни привилегия, быть связанным с началом. Тот, кто навсегда куда-то уезжает, больше уже не возвращается: ни адреса, ни ключей. Невозвращенец увозит с собой *всё*. Но если там, в рахманиновской весне, дети? Если они еще тебя помнят? Даже

будучи приглашением к разлуке, свидание есть любовь, и торопящая его прочь пустота не насытится собственным зиянием. Пустота уступает в конце концов, сдаваясь жару мечты... ну кто же не мечтает о прошлом! О собственных, вмятых в песок следах. О грусти.

Никто не приценивается к, собственно, потерям, речь только о приобретениях, и ради них-то и затевается разбой и грабеж у себя дома. И самое, может, значительное твое приобретение обозначено словом "выбыл".

Серафиме некуда по старым следам ходить, их больше нет. Зато есть бодрящая новость: новый учебник истории наконец-то написан! Точку, правда, в конце поставить забыли, увлеклись буквой, зато начало стартует с двоеточия: с раздвинувшего конечности циркуля. Остро, заковыристо, по-нашему. История начинается с целевой засылки в Сибирь *лишнего человека*. Откуда он такой, лишний, взялся, вопрос не исторический и, с нашей точки зрения, праздный. С нашей-то точки зрения! С позиции наших дозорных вышек. С наших, скажем так, высот. Лишний на все времена человек, это ведь только навоз, перегной. Удобренная таким способом Сибирь не стала, правда, цветущим садом, но никто ведь и не скажет, что там не растет лес. Ёлки-палки. Лес там растет. Под лесом нефтепровод, над лесом газопровод. И никто не докажет, что наоборот, это недоказуемо. Недоказуемость есть новая историческая категория, и с нею мы сильны, мы, воистину, наши. На-а-а-а-ши! И хотя кому-то всё еще слышится "Ка-а-а-а-ши!" или "Кры-ы-ы-ши!", мы всё равно наши. По-нашему, это значит, не суй к нам свое-чужое рыло. Это значит, будешь ты нас учить. Это значит, мы тебя. Того. Понял?

Серафиме пишет студентка, умная. Умные спрашивают тебя на улице: "Есть ли Бог?" А ты им про скорую помощь, даже помнишь наизусть телефон. "Ну а Бог-то?" - спрашивают они. Они не верят в скорую помощь. Не верят даже в бесплатный телефон. Они хотят знать прямо тут, посреди улицы, прямо сейчас: есть Бог или нет. Но что, если и то и другое, и есть и нет? Что, если всё зависит от ракурса? От угла между циркульными ногами?

Умная студентка пишет крупным, понятным даже дураку, почерком. Почерком газеты "Ё моё". Забыли подписаться? На случай вашей внезапной кончины советуем распорядиться уже сейчас: вложите себя в газету. Не пожалеете, потому что будет ведь *еще хуже*.

В "Ё моё" разыгрывается премиальная головоломка: "Кто такой этот ихний Хамсун?" Цель головоломки проста: сломать как можно больше капустных, на тонкой шее, кочанов. Наиболее твердые, зимние, с закрученными вовнутрь извилинами, обнаруживают в своем капустном соке простой, как "Ё моё", ответ: ихний Хамсун был всемирно известным, извините, ёбарем. Однако "Ё моё", утянувшись в одно сплошное "Ё", премию так просто не отдает: газете нужен серьезный розыгрыш. Так, чтобы *никому и ничего*.

С точки зрения срезаемой напрочь капусты, головоломка - явление культурологическое. Кочан не сгниет до тех пор, пока его не продырявят шустрые даже в темноте погреба побегии: старое-новое. Старая гниль, новые, вознесшиеся над гнилью, бесплодные цветы. Разломанная непосильной задачей голова: цвести или разлагаться? И то, скажет культурология, и другое. Скажет умной студентке, скажет ее *научному* руководителю.

Он, научный, готов вовремя студентке подсказать, на каком боку рыбе лучше плавать. Его собственная научная плавучесть, надутый академическим воздухом пузырь, и есть гарант студенческого правдолюбия. Его никем еще не осознанная научная честность не уступит его же профессорской сноровке: хватай! Хватай судьбу за жабры! На то умной студентке и дан ум, чтобы дохлую рыбу подцепить наконец, вытащить. Скажут: удачлива, скажут: ловка. Скажут еще, что наука, да, *наша* наука, от имени которой ест, пьет и спит Леонид Макарович Мулярчик, тем и научна, что гонит прочь *лишнее*. То есть то, что не вызвано необходимостью простого, как "Ё моё", наблюдения. Смотришь, бывает, в потолок, и видишь размазанного по нему испытателя терпения. Сколько его, терпения,

еще у вас осталось? Не осталось? Не было? Терпите! Терпите, пока этот потолок не придавит вас тяжестью своего небожительства. Пока у вас не отсохнут остатки мысли, не треснет поперек спины позвоночная вертикаль, не вывалится из мозгов каша... Много умных и не очень умных студенток и проскальзывающего между ними мужского пола, тоже умного и не очень, с потолком желает сравняться, с этим культурологическим в общем-то пейзажем: со всеми его неровностями и трещинами, забеленными чем попало местами и подозрительными подтеками. Потолок подпирают стены, из углов несет размороженной селедкой, ее желанием поскорее сгнить. Гниет концепция будущего, гниют заквашенные в вялых спорах взаимобязательства наших и еще каких-то *наших* дней, гниет вчерашнее сегодня... гниет всё! Ё, короче, моё.

Науке, впрочем, не лень заглянуть в заранее составленный список умерших: там нет только Серафимы. Эта самоубийственная практика отсутствия! Одна ночь сменяет другую, зацепив крючковатым ногтем бьющийся в паутине день, и нет ей, ночи, дела до дневных, скажем так, мук. С точки зрения ночи день заранее обречен, заранее продырявлен и высосан, он всего лишь досадный, от ночи до ночи, промежуток. Науке не лень поставить день в скобки, зажать его в кавычки, предъявить ему, дню, обвинение в измене: он покоится, день, никуда больше не торопясь, в солнечном коконе свободы, этот *человеческий день*. Этот дезертировавший из ночи, из всех учебников истории день! Этот, с точки зрения нашей науки, предатель. С точки зрения ее, науки, основополагающего умопомешательства.

Леонид Макарович Мулярчик, не будь он, небожитель, по потолку размазанным, сам бы за Серафимой погнался, хлестанул бы себя впрок и на все времена заготовленным вопросом: "За чей счет?" За счет ли чьих-то не проверенных почтой писем, забытых в зеркалах отражений, стучащихся в двери памяти снов, за счет, наконец, хлопающих от ветра дверей и незатворенных окон... За счет каких-то ни к чему не подходящих ключей, отмычек, вспарывающих швы чердаков и подвалов, где одни только домыслы... за счет, наконец, полного на этот счет неведения. Серафима незаконно улизнула: из разоренных ветром гнезд и родственного соучастия в скучнейшей на все времена краже времени, улизнула от второсортности того вымученного писка, которому охота выглядеть пророчеством и протестом, улизнула от той повседневной пыли, которая ложится каменной плитой на согнувшиеся от засухи головы. Улизнула от самой способности выносить это дальше. Пусть даже она была здесь счастлива: вон она тащит на четвертый этаж детскую коляску, стоит в двухчасовой очереди за молоком, моет в ледяной воде посуду, спит с каким-то болваном, сдает на анализ туберкулезную мокроту... Пусть даже она нигде так счастлива уже не будет, а будет только смотреть сюда, в отставший от нее Хронос, в откатившуюся от нее даль, она не полезет обратно в свое же семя, в отметившую ее отсутствие точку. Нет.

Но умная студентка пишет и пишет, она ведь умнее многих других, и это для ее головы изобретаются головоломки. Ё моё. Она пишет, что ихний Хамсун многим ей, умной студентке, обязан. Ну кто его, ихнего, знает? Кто его знает, был ли он вообще ихним. Скорее всего, он просто наш, нашенький, из наших родных лагерей. И пусть "Ё моё" имеет в виду: наши, если надо, *хамсунствуют*, извините за абракадабру. И не ваше дело знать, что это значит. Ваше дело слушать наших. Слушать, как наши стучат на морозе зубами вслед завернутый в конституционный флаг голой манекенщице: "Власть располагает более вескими, чем мораль, доводами!" Доводами *партийного патриарха*: "Хватай! Гнись! Жми!" Рабочей скотине, конечно, ясно, что родная конкурентоспособность питается нефтью, и есть у скотины, конечно, надежда на истощение *всех запасов*: вот тогда-то дело и пойдет! Но кто скотину об этом спрашивает. Поп подправляет, от имени *веры*, закон, и не задавай лишних вопросов, лишний! Не приставай к вере со сватовством *самопознания*: хочешь в спину топор? Топор бросят на дорогу, даже не стерев с него твоей крови. Хочешь? О какой морали ты, лишний, плачешься? Есть только одна мораль, наша.

Ё моё.

Будучи руководителем умной студентки, и к тому же руководителем научным, Леонид Макарович Мулярчик не склонен считать воздух частью выдыхаемого им самим углекислого коктейля, а окружающий пейзаж - застрявшей в его глазу соринкой. И хотя *деятели науки* тоже свойственно, как и всем, ошибаться, он свое, деятельно-научное, вам вряд ли уступит, скорее уж соврет. Деятели науки не скажет, что Серафима обошла его, деятеля, на полколена в беге, не скажет, что на финише уже машет флажком заждавшаяся смерть. Смерть не должна, не может, не имеет права претендовать на пожизненную с тобой дружбу! А ведь она, чужестранка, домогается, чтобы ее присутствие *выносили!* Выносили саму эту невыносимость! Смерть провоцирует *наше* представление о жизни стать *всепоглощающим сознанием смерти*. И каждый в отдельности, хоть это и не по-нашему, прорастает сам в себе засухостойкой, морозоустойчивой моралью: "Я есть тридцать две алфавитные буквы!"

Смерть устала без конца перед Леонидом Макаровичем Мулярчиком извиняться: то, видите ли, еще рано, то прошляпил очередь. Она пришла и упрямо сидит на его стуле, она тут теперь *заведует делами*. И все, кто сидит напротив... ах, это "напротив шефа"... хвалят, как могут, смертельную скуку: вот и еще год и еще... вот наконец и вынос... нет, тело пока еще тут, и ему выносят при всех благодарности... Леонид Макарович Мулярчик уверен, что скучать можно и после смерти, оставив тело где-то внизу, вместе с бренчащими на нем медалями. Скучаешь и думаешь при этом об отпуске без содержания, а там уж, глядишь, и Сочи, и Ницца... и тебя везут, с мигалкой на бронированном кузове, по разным другим курортам... где, кстати, Серафима еще не была. Пусть скучает у себя на лесоповале, даже с учетом собираемой там малины. Малина... что? Собрал, съел. Забыл. Одна только скука, она незабываема. За скукой потянутся сожаления, за ними тоска, за нею... все та же скука. Разве что дождь, навязчиво бормочущий о конце то ли лета, то ли зимы, разгласит однажды условия бегства: "Не останавливайся!.." Разве что ветер сорвет в проводах хриплый голос: "Уходи-и-и..." Потерять на лесоповале всё и не скучать? Не стать от скуки даже домохозяйкой? Даже самоубийцей? Не будь Леонид Макарович Мулярчик деятелем науки, он бы, пожалуй, поверил, что деревья в лесу для того и стоят, чтобы всё, начиная от прошлогодней шишки и кончая экономно сбитым в шарики пометом косуль, кричало о благоденствии. Нет, и научное чутье подсказывает Леониду Макаровичу Мулярчику, что он прав, лес рано или поздно вырубают. Лес, это всего лишь дрова. Ну, доски, шпалы. Гробы. Рано или поздно, и это будет, конечно, поздно, Серафима вернется и скажет: "Ну вот, теперь уже всё", тем самым признав перед лицом промерзшей насквозь культурологии, что быть в этом мире сильным есть повод к самоубийству. Некуда ей больше возвращаться! Один и тот же дом два раза не построишь, вышибленную напроочь дверь не приклеишь к петле. Она вернется с вестью о трагедии, с вестью о несостоявшемся путешествии, с вестью о наказании. И деятелю науки не лень указать ей на стул, тот самый, на котором она так долго перед этим сидела. Стул подпирает, конечно, другие зады, обивка треснула, ножки шатаются. Стул, каких полно на университетской свалке. И хотя Леонид Макарович Мулярчик не склонен собирать, а тем более, хранить предметы чужой роскоши, ведь стул был, конечно, роскошью для Серафимы, именно на этот расшатанный стул он ей, случись ей до этого дожить, и укажет: "Сядь, вникни в суть твоего здесь отсутствия. Вникни и согласись, что не было никакого, ни малейшего смысла давать отсюда деру. Тем более, на лесоповале. Вместо тебя на стуле теперь умная студентка, и у нее хватит ума, чтобы досидеть тут до самой смерти. Чего не произошло с тобой. И теперь она, умная, пишет тебе: "Вы ведь ничем не заняты, Вы не знаете, кто такой Хамсун?" Ё моё!

Ехать, ехать... ехать в надвигающуюся на тебя весну, спасая от слабости сильные пока еще чувства. Ехать домой, где друг с досадой спросит: "Ты снова здесь?" И нет у тебя перед другом никаких оправданий.

Эту оконную раму Хельге делает уже два месяца и теперь подбирает стекла: зеленоватые, от старых окон, манящие издали своей неровностью. Он красит раму в голубой цвет, окно ведь, это продолжение неба, в нем должно быть приятно находиться снегу и облакам. На крыше дома дежурит вырезанный из дерева дракон, с разинутой пастью и торчащим из нее красным языком, с рыскающими - нет ли тут поблизости моря? - глазами. Бьёрн приценивается к дракону, он не прочь купить и эту оконную раму с упирающимися в подоконник точеными башенками, и этот выдолбленный из соснового ствола кухонный стул. Хельге чертовски повезло с лесной дачей: рай, одни только птицы. Арендуя у Герд вклинивающееся в дачный двор поле, Бьёрн и сам не прочь купить землю вместе с избушкой, купить обрамленную старинной каменной кладкой дорогу, теряющуюся в лесу, купить и сам лес... Потом, придет время, всё это поделится на участки, застроится одинаковыми белыми "икеями". Что будет дальше, Бьёрна не интересует, он ведь только сажает картошку. Бывает, ему становится жаль Хельге, у того ведь, кроме долгов, какие еще радости. И очень бы Бьёрна удивило, узнай он, что Хельге... жалеет его!

Ну, не жалеет, конечно, Бьёрн ведь не голодающая зимой лиса, не затравленная охотниками косуля. Жалеть человека, нет ничего безнадежнее: это ведь не любовь, нет, и это никакая не помощь. Куда лучше ругать его последними словами.

- Поезжай в ад и больше не возвращайся!

Это узкое, только просунуть голову, окошко годится для кухни: сидишь за столом и смотришь на куст сирени, а за стеклом на тебя пялится синица. Птицы тоже переедут, им всего-то минута лёту, прельщенные своими же давно обжитыми, березовыми под толевой крышей, квартирами. Эх, птичьи права!

Старые люди, доверяющие жизни больше, чем деньгам, один за другим уходят, им незачем в мире задерживаться. Они помнят еще запах камней и мха, им есть что сказать тишине. Старая Герд, к примеру, все еще плывет, переворачиваясь со спины на живот, от острова к острову, держа курс на застрявший среди камней мольберт Гейра... плывет и уже мнит себя беременной. Ей проще простого вообразить, как Монтсеррат пробирается к Хельге в избушку... Старые люди копят сажу и пыль, от многих разит гарью. Но у кого, спросите, есть хотя бы сожаления по поводу выгорающего напрочь топлива? По поводу задохшегося в печи огня, которому некого и незачем больше греть.

Выйдя на террасу, Хельге ловит тонким слухом свистящие высоко в воздухе звуки: "фршшш... фршшш...", запрокидывает голову. Лебеди. Двенадцать сверкающих на солнце сгустков воздуха. Они летят в сторону фьорда, где у берега пока еще лед, где стынут на заиндевелом песке посаженные на цепь лодки. Шесть навсегда повенчанных пар. Фршшш!

Он не уверен, что Серафим захочет жить с ним в лесу. Ей, может, лучше в городе улыбки. Он справится и один. В лесу можно умереть, в мире и тишине, такой вот, с приходом зимы, лебединой смертью: снежно-белое, на снегу, облако, в снежной вьюге. Рядом, правда, другой лебедь, ждет, когда кроме снега ничего уже больше не останется. Лиса тоже ждет, когда этот, живой, улетит.

Но можно ли смириться с отсутствием того, кого ты всю жизнь ждал?

Остаться наедине с этими голубыми окнами, дышать в холоде на эти старые стекла, в надежде вывести наконец пальцем улетевшее имя... Серафима? Разве может, каким бы густым ни был туман, зацепленный мостом берег от реки отделиться? И хотя мост висит в тумане без опор, как сон и как мираж, его формы кем-то ведь придуманы. Мост, соединяющий левое и правое, до и после. Увидев Серафиму в первый раз в аэропорту, Хельге подумал: "Мы ведь не чужие". Так оглядываются самому себе вслед, так выявляют в концентричности кругов точку. Так приходят к началу.

Хельге знает, что ехать ему больше некуда: дальше одни тупики. Сколько не тяни за собой разноцветные нити, сколько не перепутывай их цвета, в результате получается только серость, ничто. В разлуке теряется тело, пропадает, как горизонт, из виду. Но верность, она больше, чем тело, она безупречна в своем к телу равнодушию. Верности нужна куда более крепкая материя, она и есть горизонту опора. Верность приучает к дальновзоркости, глазу уже не ухватиться за мелочи, не впитаться в петит послесловий.

Люби меня совсем чуть-чуть, но долго.

Монтсеррат едет неспеша, покачиваясь в седле, давая своему гибкому телу упруго следовать движениям коня. Она проедет так мимо террасы, дразня наблюдающий за ней глаз невозможностью до конца все это постичь: эту шантажирующую воображение грацию, эту неразделенность лучших намерений. Что ей тут надо?

Хельге смотрит на нее, приоткрыв стеклянную дверь, он не видел ее уже несколько месяцев.

Привязав коня к старой березе, Монтсеррат смотрит в сторону дома, и Хельге кажется, что она его видит. Он не спешит уйти с террасы, не спешит придумать, на случай встречи, слова. Слова, сколько их не шлифуй, все равно искривятся в пользу той или иной *пользы*, таков удел языка, и в этом смысле лёд намного лучше, он тверд и прозрачен.

Конь чует его, топчется на месте, мотает головой, ржет. В прохладном воздухе легкость и пар, шаги по стылým камням беззвучны. Монтсеррат останавливается, не доходя до террасы, молча на него смотрит. Она пришла что-то сказать. И расстояние между ними, выверенное врытыми в землю камнями и расползшейся по ним молодой травкой, противится напрягающему гортань усилию.

- Окей... - наконец торопливо произносит она, глядя на него исподлобья, - У меня для тебя новость.

Хельге фыркает, сметает со стола в ладонь рассыпавшиеся гвозди. Будто ему есть дело до ее новостей!

- Ну? - неохотно спрашивает он.

- Из Осло приехал адвокат, он готов сообщить тебе некоторые детали. Сегодня в шесть, в доме у моей матери... Ты ведь подписал с ней контракт?

Хельге пылливо на нее смотрит, дальше она может не продолжать. Дальше одно и то же на все проклятые времена: расчет рассудка. Послать ее прямо сейчас или..

- Иначе дело будет решено без тебя.

- Но я же заплатил за год вперед! - швыряя на пол пригоршню гвоздей, кричит он, - За год вперед!

- Мне это известно, - холодно отрезает она, холодно кивает, поворачивается, неспеша идет к лошади.

- Проклятая! - кричит Хельге, в ярости швыряя ей вслед пустое ведро. Он в ярости еще и потому, что глаз его опьянен и обольщен: в природе нет более совершенных линий. Будь он хоть трижды стариком, хоть четырежды импотентом, ему не уберечь взгляд от растаявшего в воздухе портрета... Да не сам ли он его нарисовал? Эти живущие в нем самом формы, им свойственно время от времени бунтовать, проситься наружу и, круша равновесие середины, устремляться прочь от земли... эти синие птицы!.. эти пламенеющие закаты!

Хлопнув дверью, так что зазвенело стекло, Хельге садится в продавленное кресло, сидит, нахохлившись, не шевелясь, не глядя ни на что, свесив голову с края затертой подушки. И время течет мимо него, не справляясь о смысле, называя старческой болтовней всё еще готовые улететь следом за Монтсеррат слова: "... решено без тебя!"

Он явился к шести часам, как на похороны. Жизнь пустеет, с этим надо мириться. И каждое новое похолодание, это почти обледенение. Тронув незапертую дверь, он заходит в просторную прихожую, снимает рабочие ботинки, идет по ковру в заштопанных носках.

В прихожей прохладно, пахнет дорогими духами, и Хельге знаком этот запах, он улавливал его даже в лесу, задевая щекой шарф Монтсеррат. Запах так и не состоявшейся весны, не продолженного в завтра прошлого.

В гостиной хрустальные люстры и зажженные свечи, массивная английская мебель. Гейр Сивертсен ценит эту тяжеловесность и неподъемность, громоздкость и неуклюжесть форм, это красноречивое напоминание о гравитации. Тут много его картин, они как окна на обтянутых шелковыми обоями стенах, в них царствует никуда не уходящее лето. И некому задать этим картинам вопрос: "Зачем?.." К ним тут привыкли как к невыводимым на кремовой белизне пятнам. Разве что гость обратит внимание, присмотрится. Гость, пожалуй, еще и принюхается: от этих картин исходит тонкий, едва уловимый запах то ли поцелуя, то ли тлена. Медлительное цветение, ворующее у времени сонный вздох. Орхидеи ночных фантазий. Неприспособленность и хрупкость, безнадежность и тоска. Этим цветам не нужна земля.

В камине веселится березовый огонь, и подотчетный цифре ум отмечает, что витая чугунная решетка и есть та самая роскошь, которая одна только и спасала Гейра Сивертсена от скуки. И зеркало в бронзе мигает из своего овала признательностью совершенной формы: "Нет на мне царапин!" Зеркало ловит краем своего глаза забытую на громоздких клавикордах пыль, которой уже не увиться за музыкой. Инструмент никто не настраивает, навыки утеряны, но смысл просто стоять есть всегда, смысл бездействия. Хотя звук у клавикордов праздничный, в блестках, серпантине и конфетти. На шелковой стене, потеснив картины Гейра, устроилась скрипка: для нее тут вбит гвоздь. Старая, глухонемая, спустившая, как изношенные чулки, струны. Хельге помнит, как Гейр на ней играл, вдавив, как феле, себе под дых, играл заученную вестландским водопадом песню: сплошной грохот и брызги.

Взгляд Хельге натывается на встречный, с белого дивана, взгляд: ход воспрещен! Адвокат из Осло знает толк в охоте, и это у него, а не у дичи, есть право убивать.

- Я вижу, - усмехается Хельге, - ты тут заждался?

Этот тон адвокату незнаком, он ведь *хорошо* воспитан. Рука привычно листает лежащие на столе бумаги: вот тут... и здесь... и там...

- Я заплатил за год вперед, - Хельге швырит на стол контракт, - Я уже заплатил!

Тонкие губы адвоката укалываются еле заметной улыбкой, в голосе разбиваются цветные стекляшки: закон это предусматривает. Закон предусматривает сопутствующие закону беззакония. Закон, если надо, поставит тебе ногу на горло.

- Единственным собственником становится, вступив в наследство, Монтсеррат, - адвокат задерживает на миг взгляд на сжатых кулаках Хельге, - и она не желает сдавать этот дом. Что же касается Герд... - тонкие губы снова укалываются улыбкой, - ... она переселилась в Испанию.

- Так я и знал, - бормочет Хельге, - так и знал...

Он едва замечает только что вошедшую Монтсеррат: в длинном темнозеленом платье, с болтающейся по спине рыжей косой, с серебряным подносом в руках. Не глядя на Хельге, она ставит поднос на стол: кофе, сливки, печенье. Она стала еще тоньше, бледнее, грустнее. Стала еще красивее. На подносе конверт, обклеенный марками и картинками.

- Это тебе... от нее... от этой американки...

Монстеррат не хочет называть Хиллари по имени, и она не из тех, кто тайком распечатывает чужие письма. Хиллари послала это письмо ей, наверняка задумав что-то особенное... это миссионерское воображение! Хельге берет письмо, сует, комкая, в задний карман.

- ... параграф четыре, пункт шесть... - бубнит, зарывшись в бумаги, адвокат, - ... параграф...

Хельге неспеша встает, глаза сжаты в рысьи щелки, неспеша делает шаг к столу и... со всей силы пинает стол ногой, вместе с бумагами, параграфами, нудным голосом адвоката. Какие будут еще вопросы? Мебель тут не причем, добротная английская мебель.

- Ты никогда меня больше не увидишь, - холодно бросает он Монтсеррат, - Никогда. Я не желаю ничего о тебе знать.

Она замирает, тербит свесившуюся с плеча косу, и подсолнухи на картине Гейра поворачивают к Хельге свои золотые головы, лепеча свое солнечное: "Твоя!"

Он не поехал, как собирался, домой.

Он слишком зол, чтобы сидеть, провалившись в кресло, перед телевизором, чтобы ужинать, чтобы хоть как-то потакать жизни... разве что рухнуть, не раздеваясь, в постель. Только спать, прогоняя невнятным криком наезжающий на тебя самосвал... спать посреди дороги. Но Хельге слишком зол, чтобы позволить обстоятельствам себя украсть.

Черт, дьявол, сатана.

Он едет, то и дело превышая скорость, в "ад", там на автомобильном прицепе стоит бочка с отработанным машинным маслом. Эти дьявольские отбросы! Плотно закрутив облитую маслом крышку, он едет с прицепом обратно, но нет, не домой.

Он едет в лес.

Теперь почти уже темно, фары перебирают теснящиеся у дороги ели, под колесами размытые дождем канавы, выступающие из земли корни. Никому нет дела до этой лесной дороги, и Монтсеррат, это ведь теперь ее собственность, вряд ли сюда когда-нибудь зайвится. Но вот наконец и дом. Он стоит на поляне без света, как отчаявшийся, без компаса, путник. Не последняя ли это в жизни Хельге надежда? Сесть на ступени, еще раз всё обдумать. Он достает из заднего кармана конверт, присматривается в сумерках к знакомому почерку Хиллари, отрывает сбоку тонкую полоску... черт! Письмо надушено какой-то дрянью... он нюхает снова: такой тягучий, сладкий, почти тошнотворный запах. Так пахнут старые больные женщины, перезревшие, выброшенные на свалку самки. Но что она там пишет? Хельге читает, и на его хмуром, небритом лице задерживается на миг жалость и сожаление... она опять о своем! Все те же, давно уже изношенные, протертые до дыр и до самых ребер ангельские кружева, эти проплетенные *любовным инстинктом* паучьи сети. Хиллари обещает снова приехать! Миссионеру ведь свойственно наполнять свою жизнь разными неудобствами. Миссионер тем и стоит, что ни себе, ни другим не дает передышку. Миссионер к тому же привыкает ко всякой, от себя самого, вони, даже если другие чуют мертвечину.

- Сука... - бормочет, комкая письмо, Хельге, - ... она еще цитирует Библию!

Он подкатывает прицеп с машинным маслом, опрокидывает бочку прямо на деревянные ступени, чиркает спичкой возле плавающей в черной жиже бумаги. Как сразу взялось! Как загудело жадное до дерева пламя! Жаль, что дверь тоже сгорит, массивная, дубовая, он купил ее на свалке, хорошая дверь. Он оглядывается на стоящие позади дома столетние ели: нет, огонь их не тронет. От дома останется каменный фундамент, останется чугунная печь с трубой, черепица... Черт бы побрал этот проклятый, от Хиллари, запах, он сидит в глотке, поднимается в голову. Средство от тараканов.

Сев в машину, он неспеша вместе с прицепом разворачивается, смотрит, как пламя охватывает стены, ползет на крышу, наступает на окна и дверь... вот наконец все и рухнуло, вот уж и нечему больше гореть... Теперь домой.

Его злость по дороге проходит, уступая усталости. Завтра придет полиция, составит акт... но ему-то терять нечего, ни жилья, ни постоянного дохода. Серафиму поселят в блочной многоэтажке со всяким сбродом... От этой мысли он снова злится: эти вечно преследующие его обстоятельства! Сжечь весь этот проклятый мир!

Он вернулся домой за полночь, съел, не включая свет, остывший ужин, запил водой таблетки, лёг. Он знает, что Серафима не спит, но говорить ему неохота. Он думает о пожаре, теперь-то уже всё... да, дома больше нет. Мелкий дождь за окном нудно бормочет о холодном, затянувшемся апреле, и ночь натягивает на себя похоронное покрывало, не желая о жизни ничего, кроме ее недолговечности, знать. Жизнь, у которой есть разве что

эта ночь. Хельге чувствует сердцебиение, тяжелые удары, разносящие по всему телу весть об ошибке. Что-то с ним не так, это ясно. Он ложится на бок, лицом к окну, он готов к этой встрече с темнотой, она справедлива. Справедлива потому, что время рано или поздно кончается. Кончается в связи с этим и пространство. И, перехлестнув через границу следствий, причина рвется вперед... Хельге к этому готов.

Серафима трогает его за плечо и, обжегшись, отдергивает руку: он весь в огне. Это тяжелое, уставшее уже от жизни тело. Его ладони подсунуты, как в детстве, под голову, но в голове теперь черт знает что, и нет никакой в крови заинтересованности жить дальше.

- Хельге..?

Только шуршанье дождя за окном. Вот так, в ночи, в неизвестности, в непротивлении натиску судьбы. Так приходит весть о конце.

- Я позвоню в скорую.

- Проклятые таблетки... - с другой уже стороны отзывается он.

- Сколько?

- Я не считал...

От пульса почти ничего уже не осталось, тело покрыто льдом, и только глаз, он еще высматривает что-то в темноте... Глаз зрит в темноте лишь тупики и населяющие их вещи, глаз распознает лишь пространство. В данном случае, воткнувшееся в перину плечо, остроту скулы... Глаз тоскует по солнцу.

- Там, в гараже... - еле слышно мямлит он, - ... на дне сундука... у меня больше ничего нет...

Он лежит на спине, весь в поту, руки сложены на груди, глаза закрыты. Он знает, что солнце рядом, в этой крошечной тьме: оно светит и жжет, оно изливается из мыслей Серафимы. Солнце вплетается в еле заметную паутину пульса, достает до окоченевших пальцев, вонзает тысячу игл в заледеневшие ступни...

- Там...

Он открывает на миг глаза и тут же проваливается в жадную западню сна: прочь отсюда, прочь, прочь... Туда, где запах снега и крови, где последняя в его жизни тоска, тоска о ребенке, зовет дальше смерти, зовет к новому в этот мир рождению.

- Кнотт... ты!

- Это я!

Сняв ночную рубашку, Серафима ложится к нему на живот, и всё, что когда-то несло ее против течения и волн, что давало ей вырастать из сора и цвести навстречу одиночеству, все теперь здесь, в проникающем сквозь кожу свете.

Теперь ночь, звездам не хватает на небе места, этим мерцающим свидетельствам вышедшей из-под контроля времени-пространства любви. Тихо, торжественно, вечно. Разве мы сами не оттуда? Мы упали довольно низко, на дно рогатящейся в небо параболы, и карабкаться вверх дело утомительное. Проще оставаться на нуле, считая за начало возможность дальнейшего спуска: *под* эту самую *историю*, под это самое, пока еще твое, "я"... или "ё"?.. Эта тяжесть подъема, этот холод высоты.

Но что же там, в гараже? Взяв фонарь, Серафима выходит в пахнущую заморозками ночь. Там, на дне сундука... В гараже хаос: ящики с инструментами, запчасти машин, старые велосипеды, мешки с цементом, рулоны толя и каменной ваты... Обитый железом сундук стоит возле стены, заваленный грязной рабочей одеждой: старый, с проточенными крысами дырами. Свалив тряпье на пол, Серафима дергает ржавое ушко замка, поднимает тяжелую крышку, светит вовнутрь фонарем. Ничего, кроме трех перевязанных ниткой пачек писем. Это ее письма: ее нетерпение, ее к тому же *сбывшиеся* надежды. Они лежат на дне сундука как неразделяемое ни с кем наследство, как аварийный, на случай оледенения или потопа, фонд. Эти брачные свидетельства, их не съели еще мыши. Под письмами старая газета с объявлениями: "Тот, кто подходит мне..." И, не смея даже шуршать, из газеты высыпаются на земляной пол деньги... собрать все это, перевязать

ниткой! Пошарив рукой на дне сундука, Серафима натывается на какую-то железку, выбрасывает ее на земляной пол, больше ничего тут нет... она светит для верности фонарем... Ничего. И в желтоватом свете на нее смотрит с земляного пола злое, искривившее рот, лицо. На редкость отталкивающая маска! Кто-то прикрывал ею, может, проказу, пряча в узких щелях расчетливый прищур. Старая, старее чем ненависть, ревность и месть, образина. Эта золотая маска! Золото не спутаешь с чем-то другим: оно так к себе располагает, оно всем, бесспорно, нравится. Подняв маску с земляного пола, Серафима долго на нее смотрит: сокровище, находка, неприкосновенный, на случай самой последней нужды, запас. А может, икона? Может, ночной, с дырами, горшок? Она смотрит и... узнает прятавшееся под ней лицо.

... Старый Амунд привык видеть у себя в доме кровь. Кровь оказавшегося врагом гостя или кровь дружинника, кровь одного у всех цвета. Хотя пахнет она по-разному: кровь берсерка или кровь труса. Амунд считает только мечи, ему нет дела до заваливших горницу трупов и раненых тел, до стонов и хрипов. Гюннульф Скальду и на этот раз повезло, этому бесстыдному сочинителю любовных вис, он бьется уже возле самой двери, прикрывая щитом украденного ребенка, и ни один раб не посмеет всадить ему в спину топор, разве что Гриф... Этот выродок метко стреляет из лука, этот темнокожий полужверь, этот пропахший собачатиной колдун, и он смазывает ядом наконечники стрел. Амунд косится на Грифа, и ему, несмотря на привычку к крови, становится тошно: стоя на четвереньках, Гриф выедаёт мозг из раскромсанного надвое черепа. Это его обычная, впрочем, еда: перемешанный с кровью мозг. Необычно только то, что Гриф теперь в маске... Уж не золото ли это? Амунд пристально щурится, и ему кажется, что ребенок, волчий подмыш, тоже это видит: жадный до пролитой крови блеск. Пусть видит, пусть запомнит того, кто скоро заберет у него жизнь...

Оставив письма и деньги в сундуке, Серафима берет только маску: вот она, пойманная с поличным история! Эта вечная, *американская* на все времена, маска! Золоту, впрочем, все равно, оно годится на обручальные кольца и вставные зубы, оно *облагораживает*. Золото обеспечит вам служебный к Богу вход, только молитесь!

В чугунной печи тлеют угли, и можно плеснуть туда бензина, сунуть скомканную газету, подложить дров. Плавься, Хиллари! Растекающийся в разные стороны рот, слипшиеся глазницы...

Хельге лежит на спине, руки сложены поверх одеяла. Ему не надо специально готовиться к смерти, она для него мало что значит: пришел-ушел-пришел... В этом нет ничего плохого, рвануть прочь с земли, взглянуть на новые места, подучиться. Собственно, такой возможности следовало бы только радоваться. Земля, конечно, хороша, но родина, та, что среди звезд, милее. И время может поклясться, что это именно так: семьдесят лет ты на земле, семьсот лет среди звезд. Ты тут всего лишь гость. Нерадивый, быть может, ученик. Однако тебе больше некуда, отбив звездные каникулы, возвращаться.

Дождь шуршит за окном то ли благодаря инерции ночи, то ли от равнодушия к пролитой воде. Под дождем расцветают крокусы, набухают бутоны тюльпанов. Дождь угождает безмятежности травы, ее вечному намерению зеленеть, и нет такой среди гравия канавки, такой лужи, где не пела бы вода: дождь-дождь-дождь...

Эта ночь не слишком жадна на темноту, вот уже и светает. То есть слегка сереет. Серые бессонные тени приваливаются к стене, им невмочь уже куда-то ползти, невмочь становиться фигурами. Тени несостоявшихся или отвергнутых трагедий. Не все ли равно серому цвету, с каким знаком, минусом или плюсом, берется этот кусок ночи, кусок уже наступившего сегодня. В ванной, в узком стенном шкафу по-прежнему висит на деревянных плечиках атласное подобие ангела: гипюр, белизна, невесомость. Ангел прижился в этом шкафу, он тут давно и вряд ли теперь уйдет. О нем, конечно, забыли, как забывают о вещи, хотя вещь, это тоже проявление духа. Что скажешь, к примеру, о свадебном платье? Оно висит на заборе, возле мусорных баков, кто-то расправил складки,

уберег от грязи подол. Оно посрамляет своей нездешней белизной самые чистые представления прохожих о мусоре, оно обещает если не невинность, то по крайней мере благодарность за проявленную к гипюру благосклонность. Оно выкрикивает своей белизной нечто совершенно ангельское, некое обещание обходиться впредь одними только, до локтей, гипюровыми рукавами и атласной, до земли, юбкой, при этом не имея в виду ни рук, ни ног, ни стиснутой молнией спины, ни вписанной в крутой вырез шеи. Дразня мусорные баки своей бестелесностью, атласно-гипюровый ангел не прочь вписаться в окружающий асфальт, дома и киоски пейзаж. Чем он не облако?.. чем не напрасная надежда?.. Сорвать с забора этот атлас, скомкать подмышкой гипюр. Вдруг... а вдруг?.. это и в самом деле свадебное платье? Угодившее на мусорку из какой-то чужой, неизвестной жизни, оно нисколько не виновато в том, что с ним так, скажем, по-человечески, обошлись. Затолкать этого ангела в чемодан, взять с собой в самолет. У него, впрочем, есть и своя, атласно-гипюровая скорость, позволяющая ему быть одновременно везде, одновременно "до" и "после". И даже забытый на вешалке в шкафу, ангел остается при деле: присматривает, как может, за шальной судьбой. До имен ему нет никакого дела, столько вокруг не соответствующих происходящему имен! Он любит одни только глаголы, они выдают сущность намерений. В глаголе не перепутаешь ярость с беспомощностью. Глаголом накормишь, бывает, орущую жадность чаек. Глагол - это узнавание себя в окаменелости действия. Глагол - это ориентир в неизвестном тебе городе, где ты так и не родился, но не прочь умереть.

Открыв печную дверцу, Серафима разгребает совком угли: кто скажет, что это не золото? Вынуть его, остудить, приплюсовать к нему жизненные обстоятельства, ужаснуться: теперь это твое золото. Побывавшее в огне, оно лишено теперь обратного, в прошлое, адреса. И будущее, которому непременно хочется стать золотым, присматривается к нему своей необитаемостью, стуча в незапертую дверь отколотой от тела головой.

25

Дом, в котором не обитает даже тоска, который стоит на месте только потому, что пространству не к чему тут присмотреться, нечего своими четырьмя углами задеть, этот дом в конце концов становится твоим, то есть никому, кроме тебя, не нужным. Становится твоим временным панцирем, в который ты норовишь втянуть руки-ноги-голову и вдобавок свои представления о движении. Помножь скорости мира на "до" и "после", и пройденный путь, вопя о потерянном времени, выдавит из своих расстояний скупую догадку о своей от скорости зависимости. Скорость, праматерь времен и путей. Скорость заселяющей этот дом тоски.

Будучи уже который год тут жильцом, Серафима перенимает у пауков их искусство прясть: оплетать углы, занавешивать дыры. Выпрядать *из себя* невесомую нить, которая при случае удержит тебя от падения. И при этом иметь в виду одно только правило: прясть в направление солнца.

Можно привыкнуть в конце концов к собственному, от стены до стены, отсутствию. Можно, насытившись пустотой, охватить эти стены снаружи, став в позу дерева, царапающего когтями ветвей белесое небо. Дереву присуща прямота взгляда: вверх, и ради этого ему приходится стоять на месте. Пройдет полвека, пройдет еще сто лет... что будет потом, дереву безразлично.

Затопить печь, хотя уже середина мая. Дрова сухие, но гореть не хотят, даже газета, и та только тлеет, утешая печную трубу дымом. Цветут яблони.

Оставаясь прекрасным месяцем, май, похоже, сдает. Много напоминает в нем о снеге: застенчивый холод ландышей, простылость черемухи, не говоря уже о забеливших лесоповал черешнях. Пытаясь просочиться сквозь белый цвет, многоликость спектра мелькнет разве что забытым на полюсе флагом, и не разберешь, туда лыжня или обратно.

Скорее всего, обратно, в неоттапливаемую больше зиму. Кто-то спросит, почем дрова, а ты ему про деревья...

В прекрасный месяц май приходят, одно за другим, письма, в них история болезни порядком осточертевшего уже прошлого. Прошлому не свести с настоящим счет, этому куцему напоминанию о застрявшей в каких-то своих зимах любви, оно все, прошлое, в прошлом. Оно заботилось, как могло, о себе, о своей жадной сиюминутности, не давая при этом и ломаного гроша за свое в будущем продолжения, и никакого смысла из будущего к нему не притекает. Теперь это только руины: холод и крики ворон. Одно лишь имя, Кристиан, оно еще намекает на то, что когда-то здесь была жизнь, была, по крайней мере, тоска по жизни. Но даже и тоска, она остывает. Только, может быть, голос, он тонет в снегу, голос зимней влюбленности: "Я еще здесь... здесь..."

Никто не распознает теперь никакого родства между этим "здесь" и тем кропотливым, настойчивым, многосторонним, многообещающим приготовлением к самоубийству, которое ведь и было для Кристиана жизнью. Он начал готовиться к этому, сидя на скамейке в парке и слушая шуршанье мертвых кленовых листьев: "Такие, как ты, мало живут..." В круглом бассейне еще плавали красноперые караси, ходя всей стаей против часовой стрелки, словно намереваясь общими усилиями притормозить время. А время шло напрямик в зиму. "Такие, как я..." - подумал тогда Кристиан. Никто его об этом не спрашивал, разве что мертво шуршащие листья. Прохожие давили на асфальте мерзлые рябиновые ягоды, сброшенные с деревьев птицами, и красный сок напоминал кровь. "Кровь..." - подумал тогда Кристиан. Не желая, чтобы Серафима поймала его на этой мысли, он тут же подумал о птицах, зимующих в парке: "Купить хлеба..." Вот так должно быть к нему и подберется весть о конце: с высоты птичьих полетов. Кристиан еще не решил, кто ему ближе, забывшийся в воздухе орел или обреченный жить среди рыб кит: и тому, и другому светит мудрость... спрашивается, откуда... Нет, лучше об этом не спрашивать, тем более, что и некого, лучше вынести мудрость за скобки выпирающего из повседневности здравого смысла. Лучше признать следом за ближайшим к тебе соседом, что всякая в твоей жизни ошибка имеет отношение лишь к статистике, но не к тебе самому, и пусть статистика за это и отвечает. Она и есть главный, да что там, единственный аргумент справедливости. И не так, чтобы на каждого умного по дураку, далеко не поровну, ибо с глупостью что же может сравниться... Если бы Серафима не сидела тогда на этой промерзшей скамейке, то и дело подсматривая сбоку за Кристианом, он вряд ли поверил бы, что вот он, его в этой жизни приговор: приговор к *жизни*. Кристиан предпочел бы наблюдать жизнь лишь во сне, да и то в виде карикатуры: компьютерный, в пустой башке, мозг, насилующий зеркало эгоизм, нечто мужское в квадрате, оно же бабское... Только так, мысля карикатурно, и можно ехать по этой жизни дальше, по ее замусоренным ухабам. Главное при этом, не позволять себе от карикатуры отвлекаться, иначе на тебя уставится, не моргая, прокаженный, сифилизированный, склеротизированный, маразматический и в целом совершенно нормальный, вполне демократический зомби. Тот, кому не надо уже заботиться о будущем.

Если бы Серафима не сидела рядом на этой скамейке... Кровь раздавленных на асфальте ягод, простуженные крики ворон. Впрочем, это было красиво, всё вместе, учитывая скупость поздней осени.

Окажись Серафима автором нового учебника истории, она бы обязательно уточнила: "Новый ледниковый период, начавшийся в год обильного рябинового плодоношения..." и так далее. Далее следовали бы, раздел за разделом, главы нескончаемого домостроительства в перспективе вечной недостройки. Собственно, вся история компактно уместилась бы в одной-единственной "Оде к недостроенным домам". И всякий читающий согласился бы: это как раз о нем. Но читающих становится всё меньше и меньше, а домов, наоборот, больше.

От этих воспоминаний пахнет сыроватым листовным дымом, словно обреченное сгореть долго еще собирается тлеть. Тлеть и укорять осень за быстротечность. "Я еще здесь... здесь..."

Возвращение к отлынивающим от дела обстоятельствам само по себе бесцельно, и его могут оправдать только предчувствия. То есть как раз то, чему меньше всего склонны доверять. Предчувствие редко укоряет разум за его правоту, да он, глухой, и не услышит укора. Разум кричит в громкоговоритель: "Так оно и есть!" Предчувствие потаенно вздыхает: "Так ли это?.." Но разум не хочет иметь дело с бедными родственниками.

Рябины в парке стали выше, но красноперых карасей в круглом бассейне больше не разводят, дорого. Так же и с прохожими: кто-то разучился ходить, кто-то просто ушел. История спешит поправить: не все наши парки отдыха - кладбища. В парках у нас аттракционы. Идет по парку двухметровый датчанин, курит.

Перекладыны застывшей в той осени скамейки оказались потом много раз покрашены, и каждый раз цвет не совпадал с оригиналом: настоящее по отношению к прошлому бесцветно, ему еще только предстоит умереть. Да, цвет получался как правило серым. Цвет покидаемого навсегда. У этого цвета нет больше никаких обязательств перед прекрасным месяцем маем.

Сесть на корабль, свести счет с короткой белой ночью. В рюкзаке кое-какие подарки, кое-что на память... ах, память уже переполненна! Тем не менее, банка смородинового варенья, вязаная шапочка, фланелевая рубашка. Кристиану ничего теперь не нужно, но он не прочь был всё это иметь в той рябиновой осени, как дополнение к своим единственным, развалившимся еще в Дании, ботинкам. Эти, оставшиеся без присмотра истории обстоятельства.

Новый учебник истории мог бы, с оглядкой на старое подслушивающее устройство, намекнуть на бедность проморгавшей Россию Европы: пролетарии всех стран наконец-то соединились... соединились со своей же ко всякой *частности* ненавистью. Ах, это частное, кто его в хаосе общего благоденствия разглядит! Оно не брякнется рассудком в унавоженное культурой меню, оно всё в ожидании: там, в будущем... там к тебе присматривается *твое неизвестное*. Присматривается из России, тем самым подавая Европе на бедность.

В России зима, чумная новорусская скука. В воде находят холерную палочку, автобусные ручки краплены туберкулезом, наркотики можно купить прямо у мента. И ветер истории воет над черным русским полем о свободе вороньего карканья. История, кстати, не терпит пустых мест. И хочется поэтому оставаться деревом. Стоять и смотреть вверх. Расстояния сплющиваются в полоску засунутого в кошелек билета, юг наезжает на север, парадная каюта глотает твою наготу вместе со скинутой на пол одеждой, и нет в окружающей воде ничего, к чему хотелось бы причалить. Но ты стоишь, нагой, и ждешь будущего. Так хочет твоя вертикаль.

Сунув в рюкзак еще одну банку смородинового варенья, Серафима распечатывает свежее из Дании письмо. Свежие, быть может, новости из психушки, затмевающие собой вчерашнее и позавчерашнее... четко прочерченные параллели строк, многоточия. Почерк отчасти самоуверен, отчасти сбит на сторону, потерянный такой почерк... Кристиан? Есть много способов стать сумасшедшим, и самый верный из них - доверять только своим ощущениям. В данном случае, ощущению черного цвета. Черное "дорогая", черное "Серафима", и в самом конце, как неудачный оборот речи, куцее, ничего не обещающее: "Кристиан умер".

Никто не бывает готов к такой вести, даже тот, кто сам заказал убийство. Поскольку весть эта приходит ниоткуда, и в ней налицо явное противоречие: нечто, позволяющее назвать себя по имени, больше уже не существует. Куда честнее было бы признать, что улизнувшее из-под руки и с глаз долой *нечто* норовит улизнуть так же и из пространства-времени, намереваясь излиться, как есть, со всем своим жизненным хламом, в новую

экспериментальную пробирку. Из чего ты, собственно, сделан? Об этом ты ничего на земле не знал, несмотря на обилие презервативов и испачканных простыней. И вот теперь ты наконец-то это выяснишь. За этим тебе и надо туда... то есть прочь отсюда. Но сначала ты теряешь свое имя.

Кристиан.

Он мог бы, положим, и повременить. Или: он не мог больше ждать. Он не оставил ни одного неоплаченного кредита, не задолжал домовладельцу. Ему просто надоело. Ничто так не надоедает самоубийце, как безответность окружающих его человеко-тел. Тела, тела, и ни одной души. Снег, айсберги, обледенение. Вид с балкона: дома-двойники, профиль летящей чайки, катящийся по газону футбольный мяч. Поднявшись еще на один этаж, можно разглядеть море: оно зеленеет, радуясь плохой погоде. И где-то совсем вдали, сливаясь с пеной облаков, стоят ветряки. К виду с балкона пристраивается вид на ближайшее будущее: тепличный эффект удвоен, торговля идет бойко, человек уменьшается до размеров тела. До размеров гипсового, с капустный кочан, бюста. От имени этих бюстов, присягающих больше горизонтали, чем вертикали, будущее стирает профили и фасы, сводя шероховатость к гладкости ландшафта и попутно изгоняя из него недостижимость перспектив. Лозунг будущего, это как раз достижимость. Доступность. Разделимость достигнутого с другими. Самое лучшее, что может с тобой в будущем случиться, это стать пылью. Чтобы никто уже не смог отличить тебя от другого. Чтобы любой, втыкая в тебя указательный палец, протыкал им растрепанный ветром кочан капусты. Капуста стоит рядами в поле, ждет заморозков.

Будущее чует должно быть спиной этот раздевающий его догола взгляд. Взгляд из точки замерзания. Взгляд отступившего на шаг от капустной одинаковости портретов, в сторону, быть может, автопортрета. Но разве есть у автопортрета будущее? Даже ближайшее, оно не видит автопортрет в упор. Оно, ближайшее, не выносит весть о несхожести.

Восьмиэтажная "Изабелла" гремит у причала военным маршем, словно беря займы у разлегшегося впереди моря. Впереди острова, изрезанные моторками проливы, горизонты. То ли вода скользит вдоль борта, то ли громадину тащит, еле-еле переставляя ноги, закованный в цепи бурлак. Да надо ли вообще ехать? Делить с бубнящим одно и то же мотором застенчивое, доверительное безумие: "Кристиан ждет, он встретит тебя завтра..."

Теперь почти уже полночь, на верхней палубе никого. Торчащему сбоку прожектору все равно, прыгнет кто-нибудь в воду или нет, его дело освещать. И камера наблюдения, моргнув глазом, запомнит: справа по борту. Зеленые, загустевшие до черноты волны, пена. Пена, это, возможно, последнее, за что еще уцепится любопытство: удержит или не удержит? Пена, этот выдох уставшей волны.

"Изабелла" поперет дальше, с урчащими у нее в брюхе дискотеками и казино, и спяну кто-то хватится самого себя, но будет уже поздно. Вот так, без свидетелей. Двое говорят по-русски, не подозревая о шпионаже, и Серафима пугает их вопросом: "Который час?" Страшный, родной такой вопрос, он сродни "Дай прикурить!" Бывалый, конечно, не сдрейфит, у него с собой "на троих". Упасть вместе с лифтом в каюту, разрезать на газете селедку, лечь. Селедке не жаль отрезанной головы, копченый глаз не сморгнет в сторону пока еще не снятых ботинок, но в жабрах свербит соленая рыба правда: "Не наша, не наша!.." Бывалый прячет "на троих" за пазуху, там у него представления о родине, переходит на английский. Мелкий дождь, извиняясь, строчит донос.

"Изабелла" тащится следом за бурлаком вдоль берега, и редких огней хватается, чтобы узнать привалившийся к скалам, опустивший в воду каменный язык Харпестад. Там, в лесу, в темноте, храпит теперь Хельге. Он спит один в этой светлой майской ночи, закутавшись в пуховое одеяло. И Серафима плывет на корабле мимо. Она думает: "Там, под пуховым одеялом..." В сиротстве этой прохладной ночи к ней обращена возможность возвращения. Там, под пуховым одеялом, под щитом мышц и крепких костей, неспеша

стукает сердце Хельге: "Люби меня совсем чуть-чуть, но долго". В конце концов в воде растворятся эти камни, камень не так надежен. Куда надежнее это "чуть-чуть".

Продолжая в Харпестаде свой суточный круг, время останавливается по ту сторону моря, вблизи датских ветряков. Плоский, источенный ветром берег, нагое пространство забредшей сюда географии. Кто-то живет всю жизнь на маяке, становится дальноразведчиком и уже не жалуется на тесноту. Тело привыкает быть часовым маятником, туда и обратно, по волнорезу, глаз мечтает о перехлестывающей башню волне. На волнорезе спит, носом к берегу, старая собака.

Продрогшая, ветренная судьба.

"Изабелла" ползет под грохот военного марша к датскому причалу, матрос держит наготове петлю каната. И ветер урывает для себя домыслы розовеющих облаков: "Кристиан встретит... он уже ждет..."

От этих равнинных мест пахнет вересковым медом. И неважно, в порядке ли твой нос, медовый запах просачивается изнутри, он и есть суть этой географии. К причалу подъезжает поезд, и пока белобрысый кондуктор пьет неспеша кофе, стрелки станционных часов ползут к восьми, висят над ничем не обещающим перроном: "Кристиан встретит..." Поезд отбрасывает, как вымокшую под дождем вещь, блеклый пейзаж, и море швыряет вслед розовую пену восхода, сочетаясь всплесками волн с придавленностью спрессованных ветром облаков. Состоящему из этих облаков небу остается только нестись с бешеной скоростью навстречу застиранному дождями горизонту, чтобы повиснуть там, как простыня на веревке, на розово-алой, прорезавшей надвое пейзаж нитке. В этой нанизанности пейзажа на ветер есть своя безысходная грусть: ничто тут не удержится, не укоренится. Грусть, располагающая к счету в обратном порядке: шпал, километров, лет. В ее сетях сверкнет переливчатым рыбьим перламутром то догадка о слишком затянувшейся жизни, то ненужный уже телефонный номер. И много, конечно, тины, песка, всякого мусора. В сетях этой, смахивающей на болезнь, грусти. Ты едешь вперед, но оказывается, что назад. Ты приходишь туда же, только с другой стороны. Свидание, оно же прощание.

Окажись Кристиан только этим, вышедшим из употребления телом, мерзнувшим теперь в морге, к нему можно было бы применить удобную в употреблении формулу: ушел навсегда. Ушел, и черт с тобой. Так было бы, конечно, проще, не говоря уже о том, что дешевле. Но человека приходится хоронить много раз, одного и того же. Вопрос только в том, хватит ли у него на возвращение средств. Жизнь дорожает, всюду инфляция. Инфляция, скажем так, представлений о жизни. И по количеству задрочивших небо задов можно судить о могуществе совместного духоиспускания. По рельсам, обгоняя ветер, шуршит карикатурами "Ютландская почта"

Душа Кристиана, вырвавшись в просторы этого пейзажа, наверняка присматривается теперь к оставленной где-то внизу бесцельности ничего уже к себе не прибавляющей повседневности. Птица заденет облако, упадет в море за рыбой, поднимет в воздух тяжесть. Птица уносит с земли ненужное, душевный человеческий отброс, но никто ей не ставит за это памятник. Некому. Умирая в свой срок, птицы растащат, как смогут, содержимое оставленного Кристианом пустыря: ржавые страхи, продрогшие беспокойства, дырявую тоску. Птица возьмет, пожалуй, в воздух и эту, охлаждающую душу до температуры морга, догадку: "Смерть любила тебя!"

С этой догадкой Кристиан появился полвека назад на свет, возмущив глаголы настоящего времени перспективой борьбы с временем отступающим, заранее проигравшим. Чья-то рука гладила его солнечные локоны, море заглядывало в зелено-голубые глаза, обещая что-то русалочье, что-то вроде хвоста вместо ног, не являющегося признаком пола. Потом, когда жизнь съехала уже на запасные пути и стало в ней тесно и скучно, как в маленьком дворике с цветочными, стоящими впритык друг к другу, кадками, Кристиан подсел к играющему в шахматы, со всей, какая у него была, серьезностью желающего проиграть, и партия, будучи заранее отложенной, проглотила почти все

фигуры, вынудив нищего короля к перемене пола... Ах, эти проблемы Девы! Из них можно составить энциклопедию разумного самонадувательства, учебник семейной психопатии, справочник параноика. И хотя за вторником обычно наступает среда, для Девы самоочевидно другое: пустота, она же Ничто, поглощает время на тех же, что и шахматная доска, основаниях. Разум не считает для себя неприличным вожделеть к пустоте, заводить с ней шашни и даже в нее, бывает, изливаться. Абстракция, этот универсальный тупик. Чем становится стеклянный, с искусственными хризантемами, подъезд, когда в него входит в самый последний раз самоубийца? Стекло, коврик у лифта, сюрреалистическая мазня на похолодевшей от страха стене, всё становится знаком вакуума. Стоит кому-то закрыть глаза, и он видит пустую, без весел, лодку. Она качается в серой ряби, подвергая, ввиду отдаляющегося берега, сомнению способность доски быть просто доской. Способность дерева куда-то плыть.

Ничто так не замораживает прекрасный месяц май, как прошедшая уже через смерть зимняя влюбленность. Возле домов роскошествует белая сирень, и даже не будучи здесь рахманиновской, она имитирует стаю бабочек, зачем-то оказавшихся вместе, хотя лететь им в общем-то некуда. Этот воздушный белый танец сродни смятому ветром парусу, которому все еще надо вперед. Парус, вмятый в тупик стены.

Ни к одному из этих домов никогда уже не подступится вопросительный, ростом с Кристиана, знак: в них живут другие. Живут по-другому. Живут, не считая синь за воздух, просто раскрашивая чем-то небо. И поскольку в этой сини отсутствуют вещи, ею никто и не дорожит. Мнение птиц не в счет.

У поезда есть еще время на опоздание, глаз цепляет зрчком названия станций, пульс учащается. Нет смысла больше что-то перемножать и складывать, а тем более, делить на одного. Остается только вычитать. Вычитать из уже полученного несостоявшееся. Под знаком этого вычитания, таранящего минусом отможенные побег времени, несется за поездом вдогонку брошенная весть: "У нас всё это еще будет!.. будет!.."

В том-то всё и дело, что так оно и будет, но перед этим придется умереть и снова родиться. На этой, достаточно уже помутившейся разумом земле. Каким он будет, прекрасный месяц май?

Ветер рвет на себя одеяло вечера. Тот, кто не успел еще попасть домой, прячет в поднятый воротник голую шею, а у кого нет даже воротника, тот просто нахохливается и ждет. На просторном, слившемся с супермаркетом, вокзале. Стеклянные двери выдают правду о ценах; торговец фруктами, он же шпион собственного предприятия, зорко посматривается: не украдет ли кто среди ночи яблоко. Ночной вор как правило незрим, его распознаешь только по отражению в стекле. Стеклам нет дела до голода.

Другие вокзалы, не схожие с этим, в серых, незаметных городах, улыбающихся разве что неизвестности собственных адресов, другие вокзалы тоже теперь тут: им любопытно, дождется Серафима или не дождется. Вокзал тем и стоит, что кто-то чего-то ждет. Ждет, может быть, напрасно. "Кристиан встретит..."

Торговец фруктами не дал бы и гнилого яблока за такую вот скучнейшую в мире верность: стоять и смотреть, как ползут навстречу ночи стрелки вокзальных часов. Никто в такое время не покупает ни апельсинов, ни даже капусты, и ровно в десять брякнет за железной решеткой навесной замок.

Ветер прибывает к вокзалу чью-то тоску и веселье, кто-то еще думает, что можно уехать, считает возле автомата мелочь. И некому тут догадываться, что все давно уже приехали, да, прибыли. По гладкому, в коричневую и желтую клетку, полу катится, не натываясь ни на какие препятствия, позолоченное с одной стороны яблоко.

Достав из рюкзака письмо, Серафима читает его с конца: с самой последней, после имени, точки. В эту точку и стягиваются теперь ее о городе улыбки мысли: пересидеть ночь на лавочке, на ветру, а завтра... Завтра четверг, завтра похороны. По крайней мере,

она не опоздала. Улизнув из-под земного контроля, жизнь оставляет после себя эту бессмыслицу, труп. Но именно это так всех и занимает.

Важно не создавать другим неудобств. Этому учит культура. Учит, надрываясь на крике о насущном. Стой в стороне, не толкайся. А если тебя вместе с остальными подмыло, не допытывайся, куда всех несет. Неудобства начинаются там, где твоя вертикаль дает себе свободу прямого угла.

Прошлого в городе улыбки гораздо больше, чем настоящего: прошлое становится здесь воздухом. Хочешь, дыши, хочешь, не дыши. Или: дыши глубже. Прошлому уже не интересно, зачем ты тут.

Но вот ведь и настоящее, оно подкатывает к вокзалу на шестиместном "Фиате", и в свете двойных фар Серафима узнает смешанный с неуверенностью порыв... Кристиан?!

Нет, это всего лишь настоящее: дом-деньги-дети. Настоящее всё еще рождает детей, и они всё еще похожи на веснушчатую мечту сказочника, эти застенчивые, прохладно смотрящие в морскую даль побеги ветра. Ветер будет гнать их дальше, до самого конца, до вершины, тупика или обрыва. В настоящем же они - искусство подражания, невинная мимикрия губ и ресниц, мастерство овладения счастьем. Счастье для ребенка, как и для всякого другого божества, не опасно. Счастье не задает безответных вопросов, им наполняются поэтому ветреные дали. Его легко поэтому поднять и на себе нести.

Вблизи это счастье выглядит еще более натуральным: сто пятьдесят жилых квадратных метров плюс застекленная терраса с розами, лавандой и юккой, плюс птичья кормушка, клубничные грядки, яблони. Здесь налицо все признаки маленького, самодостаточного государства, границы которого имеют свойство наглухо закрываться. Внутри порядок, гражданственность. И хотя нормальную семью не срисуешь с природы, а тем более, не решишься предсказать, есть ли что дальше, после, всё же и такая она, нормальная, может вызвать довольство правилом, хотя правило чаще всего припоминается неверно и не к месту.

Всем им, братьям-сестрам-племянникам, некогда было предполагать, что с Кристианом всё произойдет так поспешно и так некрасиво. Все были уверены, что он просто ходит на работу. Даже с насморком. Ходит туда-сюда. С нормальной точки зрения это "туда-сюда" и есть ведь... счастье! И Кристиан был поэтому счастлив, и никто ему особенно не мешал... разве что Серафима. И она хочет присвоить себе его самый последний, такой в общем-то нормальный день.

В тот день среди облаков произошла перестановка: образовался длинный, в полнеба, коридор. Хельге пилит возле леса дрова, слушая сквозь визг пилы ленивую болтовню Лестничного Франка: о старых американских машинах, о Монтсеррат. Франку нравится вот так досажать Хельге, видеть, с какой яростью тот всаживает электропилу в сосновый ствол: ему это теперь не по карману. Хельге еще так крепок, у него нет ни одного седого волоса, и Монтсеррат, эта блудливая сука, будет исходить по нему соком до самой своей проклятой смерти. Подумав так, Франк усмехается, отходит к кусту, мочится. Он слышит, как Хельге бранится, снова запуская пилу, слышит шуршание падающего дерева, но для него куда важнее смотреть на дугообразную струю, бьющую в трухлявый березовый пенёк. "Эй, ты, - кричит ему Хельге, - Ты это видел? Черт знает, как красиво!" Нет, Хельге не подсматривает за Франком, задрав голову к облакам: "Ты это видел... видел?.." Застегнув штаны, Франк нехотя оборачивается: "Что?.." Он видел только струю собственной мочи. И то, что только что видел Хельге, вряд ли Франку интересно. Хельге все еще полон этим зрелищем: вспарывая серебристую белизну перистых облаков, по небу прошла прямо над лесом здоровенная комета, таща за собой алый, сверкающий золотом хвост. Комета прошла неспеша, словно давая собой полюбоваться, прошла с северо-востока на юго-запад, как раз в сторону города улыбки, и оставшийся после нее облачный коридор все еще сверкает, сияет, переполняясь светом и золотом. Золотой, пронизанный необычайной легкостью воздух! Хельге не помнит, когда в последний раз он был так счастлив... гм. Он даже не подозревал, что счастье, такое вот, как теперь, существует: пронзительное, сродни

ожиданию любви, томление. В самом деле, он так счастлив! Бросив пилу, он стоит среди кучи дров, в испачканном мазутом свитере и обсыпанными опилками кирзовых сапогах, и что-то возвращается к нему из детства, дразня мысли вертлявым хвостом хульдры... "Ты видел?.." Нет, Лестничный Франк видел только струю мочи, указующую, впрочем, в том же направлении, с северо-востока на юго-запад.

Золотой среди перистых облаков коридор оставался на небе до самого вечера, но никто так и не воспользовался этой распахнутой в город улыбкой дорогой. У самолетов и поездов есть ведь свое расписание.

В этот день Кристиан отпросился с работы в обеденный перерыв: ему хотелось взглянуть на комету. Астрономы знали, конечно, заранее, когда и куда она прибудет, и не было поэтому никакой необходимости вникать самому в причины ее появления. "Мы ничего о кометах не знаем... - подумал Кристиан, спускаясь на лифте в вестибюль редакции, - ... знаем только, что они очень большие..." Не окажись в "Ютландской почте" штатного астролога, никто не обратил бы на это внимания: так, прихвати погоды. С этим астрологом Кристиан как раз и договорился встретиться: пойти в королевский парк на берегу моря, выбрать открытое место, стать с биноклем на скамейку. Астролог горазд был пугать попутчика сказками о содержащемся в комете циане и о *живом* железе, и хотя Кристиан во все это не верил, он охотно давал себе все это вообразить... и воображение тут же набрасывало рыскающие в космосе кометы на мягкие еще, податливые тела юных планет, наподобие цемента или бетона, и солнце глотало кометы, утоляя свой голод. Кристиан и сам порой чувствовал себя такой вот малокровной планетой: то ли что-то не так с гемоглобином, то ли некуда девать циан... Эта комета нужна ему позарез!

В королевском парке цветут яблони, задымив розово-белыми облаками мягко круглящиеся над морем холмы, и само море не жалеет ни агатовых волн, ни срываеваемой ветром пены, чтобы разбить о валуны представление о границе: оно не желает, море, никаких для себя границ. И чайки, заняв места на королевских скамейках, терпеливо ждут этой безграничности, этой для себя воли. Они бросаются, тараня друг друга крыльями, на остатки черствого хлеба, и Кристиан, видя это в тысячный должно быть раз, замечает на своем покрасневшем от ветра лице полузамерзшую улыбку... он замечает это, отступив от самого себя на шаг... он не совсем, надо сказать, в себе. Только так должно быть и можно что-то с чем-то сравнить, присмотреться к самому главному: к уносящейся за горизонт, в агатовых волнах и пене, Деве... "Это и есть, между прочим, ты... - подумал Кристиан, отступая от себя еще на шаг, - ... это твоя походка, твой *стиль отсутствия*". Он подумал еще об отсутствии у Девы имени, подумал и усмехнулся: он-то знает, как ее зовут. Дева спускается на землю под Рождество, присмотрев себе пару родителей, и с первым попутным сентябрьским звездопадом оказывается в колыбели: она предприимчива, Дева, расчетлива. Она должно быть спешит теперь навстречу комете, ей не терпится утолить голод, освежиться... да вот он, сияющий коридор! Кристиан увидел его первым, хотя это не у него, а у астролога был с собой бинокль. Медленно ползущее с северо-востока на юго-запад сверкающее пятно! Астролог суетится, фотографирует, это тебе не газетная карикатура. Так, призывно сверкая и недоступно маня, неизвестно откуда и неизвестно куда мимо тебя проносится истина... стой!.. постой!.. Астролог бежит вверх по холму, топчя королевские маргаритки, и Кристиан, то и дело останавливаясь и прикладывая ладонь козырьком ко лбу, бормочет известное лишь ему одному имя Девы. На самом верху каменные ступени, выложенная камнем тропинка, и можно забраться еще выше, на круглую смотровую площадку, где проводят время чайки и вороны. "Давай, давай, - кричит астролог, - время еще есть!" Каменная тропинка дробится, путается, теряется, ускользая в заросший сиренью лабиринт, в котором можно ведь случайно встретиться... нет, Кристиан не желает больше никаких встреч. "Мне надо спешить, - бормочет он в ответ астрологу, - это срочно..." И пока астролог одолевает извивы лабиринта, Кристиан несется вниз по каменным ступеням, по сочной майской траве, снося головы королевским маргариткам и одуванчикам, мимо цветущих яблонь... скорее! Съехавшая с плеча куртка,

украденный ветром носовой платок... но вот наконец асфальт, велосипедная дорожка, мигающий красным глазом светофор. Красный свет, к черту, он тоже годится, и пусть полицейский автомобиль пока подождет, пока Кристиан вежливо пропускает мимо не желающие тормозить машины. Дальше, на другой стороне, можно уже без спешки, до дома всего сотня метров, до этой скучной, давно уже осточертевшей Кристиану квартиры. Бетонный двор с бетонной, посередине, клумбой, несколько припаркованных машин, велосипеды... на всякий случай Кристиан проверяет пристегнутый к заднему колесу замок: к нему не подберешь просто так отмычку. У входа в подъезд взгляд его натывается на знакомое имя: *Кристиан Хённеруп*, и это вызывает у него усмешку, он-то знает, как на самом деле зовут Дева. Пальцы вслепую надавливают код, стеклянная дверь неспеша отъезжает в сторону. Лифт, кокетливый вестибюль с картинами и искусственными лилиями в высокой вазе, свежая газета под дверью, счет за телефон. Дома никого, разумеется, нет, Дева теперь на работе... Кристиан усмехается, подумав о напрасности всякого не имеющего к тебе отношения труда: глупость, добровольное рабство. Один лишь рассудок и может это вынести, но к черту рассудок... На плите стынет, как залежавшаяся коммунальная жалоба, накануне сваренная картошка, вывалить все это в сортир. Этот ненужный мозгу крахмал, пищеварительная, в мозгу, провокация. Мозгу необходимо в данный момент... что? Кристиан подходит к балкону, дергает тяжело тронувшуюся с места дверь, теперь не дует. Так что же?.. И Дева из-за двери, из налетевшего внезапно дождя подсказывает: "Нужна кувалда". Она всегда, Дева, опережает его с ответом, и нет ни одной шахматной партии, которую бы она Кристиану проиграла. "Кувалда!" - хохочет она в мелко морозящем дожде.

Ничего такого, чем можно было бы заткнуть зияющую в башке дыру. В дыре тикает будильник, он поставлен на полчетвертого, и теперь почти уже три. Времени, надо сказать, много. Комфортное, от соседа, кресло готово уступить его *живому* весу, сложенному с весом еще не выпитого, в зеленой бутылке, пива. Бутылка стоит, не откупоренная, на полу, укоряя мысль Кристиана безупречностью своего содержимого: самое лучшее в мире, датское пиво! Если не считать нарисованных им самим карикатур, одно только пиво и вносит в окружающую бессмыслицу некое подобие порядка. Присев на диван возле скатанного вместе с одеялом матраса, Кристиан тут же вскакивает и, задев что-то на электронной "Ямахе", бросается снова на кухню, но тут же возвращается, поднимает с пола разбившийся стеклянный подсвечник, ставит, подумав, обратно на уцелевшую витую ножку, расправляет под ней кружевную салфетку. "Порядок..." - думает он, косясь на балконную дверь. Рядом, на компьютерном столе, взрывается требовательным треском телефон. Этот захавший в чужие широты айсберг! Кристиан стал с некоторых пор примечать, что телефон звонит без всякой на то причины... прямо-таки чудовищная беспричинность! И эти голоса, эти доискивающиеся до его имени, сосущие мозг пиявки: "Кристиан!.. Кристиан?.." Единственное, что в таких случаях помогает, это быстро рвануть на себя телефонную трубку и тут же ее опустить, тем самым придавив отвратительный писк и треск. Как дрожит однако рука... так дрожат готовые свалиться с дерева листья... Взглянув на свою ладонь, Кристиан отворачивается: он давно не стриг ногти, под ними грязь. Найти ножницы, они валяются вместе с отвертками и гвоздями в коробке из-под печенья. "Нало спешить", - подсказывает из-за балконной двери Дева. Навернув на ладонь рукав свитера, чтобы не замарать руку, Кристиан поднимает рывком и тут же бросает телефонную трубку. Эта вечно домогающаяся его гадина! И его тонкие губы кривятся при мысли о неоплаченном телефонном счете. Теперь-то... Кристиан знает, что это уже *теперь*. Будильник в мозгу отсчитывает подбирающиеся к половине четвертого минуты, мозг холодеет, загустевает, как простывшая еще в детстве овсяная каша. "Кристиан!.. Кристиан!.. Кристиан!.." Плаксивые, крикливые, рвущие его имя в клочья бабьи голоса. Откуда все они его знают? Они разнюхали его тайны, завладели ими. "Я! Я! Я! Я - это и есть ты! Ты - это Я! Я - это женщина!" Они ломаются все разом в его продырявленную башку, толкаясь и отпихивая

друг друга, им нужно успеть до половины четвертого, успеть соскрести остатки стылой овсянки... Эту тайну не смог выведать у Кристиана даже пронырливый ютландский ветер. Ветер только обтачивает каменный профиль Кристиана, только заостряет рассудительность Девы, вгоняя всё глубже и глубже в камень острие своего резца. "Но я знаю, что я мужчина! - кричит ветру Кристиан, - Я мужчина!" На что ветер отвечает только хохотом. Белое, в веснушках, тело Кристиана, широкая спина, длинные ноги, крепкая шея, не является для ветра доказательством мужественности. Доказательством является изнанка его устремлений. И ветер, конечно, за то, чтобы изнанку не выворачивать налицо. Потому что и так слишком много кругом мусора. Ха-ха-ха-хо-хо-хо-хо-хо!

Кристиану вдруг становится жарко, хотя с балкона по-прежнему дует. Сняв свитер, он аккуратно складывает его, как привык всегда делать, берет с кресла затертую кепку, натягивает ее на лысеющую макушку, но тут же снимает и кладет обратно, при этом с досадой подумав, что давно уже эта дрянь не стирана. Он долго смотрит на пыльные, в тесных горшках, кактусы, он обещает им уже который год пересадку, этим ни на что не жалующимся сонливцам. Он часто завидовал им, их сновидческому счастью в соседстве с безделушками и книгами, и те, как могли, зеленели и цвели. В его, надо сказать, пустыне. Не полить ли их? На дне фарфорового кофейника почти не осталось воды, последние капли нехотя бегут по желтоватой стенке, нехотя срываются в цветочный горшок... Когда-нибудь жажда останется ведь неутоленной. Он вспоминает, что не сдал в библиотеку книги, хотя срок еще не вышел, их то есть срок... и лучше, пожалуй, их не трогать. Не трогать! В этих книгах еще есть добирающиеся до Кристиана слова: "Пойдем! Ты теперь не один!" И Кристиан пытается вспомнить, чей это голос.

... Варяжский корабль ставит уже паруса, оскаливший зубы дракон выкатывает девичью грудь над зеленоватыми, с пеной, волнами. Возле берега лодка с веслами, на снегу сваленные в кучу медвежьих шкуры и бочки с тюленьим жиром. Добро стерегут двое, в кольчугах и шлемах, и один из них, рослый краснолицый старик, присматривается к подоспевшему на лыжах Йостайну. Он не прочь, старик, одолжить Йостайну лодку, еще не поздно догнать корабль, и он гребет сам, хмуро поглядывая на закутанного в меховой плащ ребенка. Ребенок, ясное дело, краденый. На корабле варяги, они доvezут, если им хорошо заплатить, до греческого моря. Старик не спрашивает, зачем Йостайну туда, только молча гребет. Он сам бывал в нужде и знает, что нет нужды сильнее, чем нужда сердца. Варяги смотрят на них с корабля, и никто не думает убирать паруса. Теперь они гребут вдвоем, и вот уже лодка поровнялась с рассекающим зеленые волны драконьим телом. Варяг в темной монашеской одежде смотрит из-под руки на Йостайна, и тот отстегивает от пояса меч, снимает с себя кольчугу, швыряет все это на корабль. Он хочет, чтобы монах взял ребенка. К югу за Днепром есть монастыри, где женщины забывают свой возраст, помня только о рождении и смерти. Но забывают ли женщины свои обещания? "Я возьму тебя в мужья!" Кнотт... Когда она станет женщиной, Йостайна не будет уже в живых. И она унесет свое обещание дальше, за горизонт, сев на горящий в море корабль...

Кристиан всегда неохотно расстаётся с книгами, относя их в библиотеку, но украсть их он тоже не может. Украсть можно бумагу, буквы, но не упрятанную в слова жизнь. Жизнь устремляется только к жизни, как бы ее не совращала смерть. "Это не ты, - играя на золотых струнах, чувственно шепчет смерть, - это я причина всего!" Смерть не прочь пообещать при этом мягкость, лиричность, пообещать если не колыбельную Шопена, то что-нибудь из Мендельсона, приторное "Ну давай же, давай!" Пообещать сталинский похоронный марш на смерть подлеца и мерзавца. Смерть лижет подслащенным языком лицо трупа, ей мил этот вкус. Из книги, бывает, выдирают листы, перечеркивают имя автора, но чтобы стать вровень с *сутью дела*..? Эта суть так придиричива, так требовательна, так обжигающе горяча. Даже запихнув ее себе в пасть, давясь ею, ты едва ли ее, живую, проглотить. Ты способен глотать только мертвое.

"Но я не хочу! Не хочу! Не хочу!"

Паутина этого шепота липнет к мочкам ушей, задевает белесые ресницы, виснет нечесаными клочьями на затылке. Сорвать ее с себя, сбросить на пол! "Но это ведь не *ты*, это *я* не хочу! Это не ты, а я!" Кристиан торопливо идет на кухню, открывает дверцу стенного шкафа, берет хлебный, с зазубринами, нож. "Надо спешить!" - ввинчивается ему в ухо хрипловатый бабий голос. Нож, впрочем, никуда не годится: мнет свежие булочки, крошит черствые. У Кристиана есть новые бритвенные лезвия. Кто-то говорил ему, что надо сесть в ванну, в теплую воду, расслабиться. Или сесть на пол в ванной, под душ... ха-ха. Кто это, кстати, смеется? Кто-то насмеяется над ним именно сейчас, принимает его за идиота. За А-четыре! "Кристиан!.. Кристиан!.. Надо спешить!"

В ванной грохочет в трубе вода, и можно пустить по трубе обратную весть, включив одновременно душ и краны. Тут все еще пахнет торопящейся куда-то жизнью: мылом, дезодорантом, нестиранным, в плетеной корзине, бельем. На полке в угловом шкафу лежат новые лезвия. Бросив в унитаз легкую, как крыло бабочки, бумажку, Кристиан торопливо чиркает лезвием по внутренней стороне запястья, смотрит, как с крышки унитаза стекает на пол кровь... его, между прочим, кровь. Он никогда ее раньше не видел. Кто-нибудь вытрет потом все это с пола, наведет в ванной порядок. В этой сверкающей ледяными стенами арктике. Он замечает какое-то сбоку от себя движение... зеркало! Шпионское окно в несвоевременность. Он давно уже привык обходиться без него, и зеркало потихоньку копит всякого рода компромат, намереваясь однажды привлечь Кристиана к ответу. Поставить его перед фактом этой мгновенной, наподобие чиркнувшей спички, встречи. Не оборачиваться, не смотреть! Но он успевает кое-что разглядеть: хаос, развалины, безнадежность. Таков его, на вершине его понятливости, портрет. И не надо путать это с карикатурой. С этим портретом уже ни о чем не договоришься, к нему невозможно привыкнуть, и самое лучшее, его уничтожить. Прямо сейчас! Разбить кулаком это зеркало! Осколки падают в раковину, словно рухнувший со скалы ледопад, и только кровь, только она и оправдывает режущее острие угла... и самый большой из осколков упрямо корчит Кристиану рожу: "Ты!.. ты!.. ты!.." Зеркало может, конечно, приврать, что-то приувеличить, лгать при этом гневу, но чтобы вот так, правдиво... "Откуда ты знаешь, - в ярости думает Кристиан, - что это правда? Откуда? Откуда ты знаешь?" Его левая рука в крови, но пальцы еще слушаются, ими можно поднять с пола лезвие, чиркнуть им вены на правой руке... вот так! Вмазать заодно кулаком в издевательски глазающий на все это осколок! "Но почему ты сам об этом не знаешь?"

Кристиан слышит это совершенно явственно, и нет в этой безупречно белой, стерильно дезинфицированной арктике ничего такого, что могло бы теперь за него вступить. Он тут, среди льда, один. "Серафима, - думает он, - я тут совсем один..."

Она должно быть смотрит теперь на медленно ползущую по облачному коридору комету. Серафима, ей никак не добраться сюда. Она и так подобралась к нему слишком близко, ступив на запретную, тщательно охраняемую территорию. Она захватила половину того, что приспособилось уже обходиться безнадежностью однополого интереса, она внесла в эту безнадежность *разлад* надежды. "У нас это будет!.. будет!.."

Кое-как засунув в карман джинсов окровавленную руку, Кристиан достает ключи от квартиры, кладет их, подумав, на холодильник. Серафима часто давала ему советы, давала совершенно бескорыстно. Они поднялись как-то на второй этаж, оттуда с балкона видно море, и Кристиан признался, что завидует воронам: им всего минута лёту до зеленовато-серых, с пенными гребнями, волн. "Ты вряд ли, прыгнув вниз, разобьешься, - сказала она тогда, - надо подняться выше..." Она смотрела тогда ему прямо в глаза, она была влюблена в его зелено-голубые русалочки дали. И она поднялась на пятый этаж, там в маленькой квартире с балконом жила одинокая седая дама, угощавшая Кристиана по праздникам домашними овсяными печеньями. В лисьем, мехом наружу, жилете, с пивом и Битлзлами, она давно уже считала свой пятый этаж небом. "Жизнь так прекрасна!" Они

вышли втроем на ее тесный балкон, и мягкое сентябрьское солнце золотило прозрачное, в фужерах, пиво. "Мне хочется прыгнуть, когда я смотрю вниз..." - подавшись к стене, призналась Серафима. "И мне..." - тихо заметил Кристиан. Они пили, глядя друг на друга, наводя седую даму на подозрение о конце осени, о конце, может быть, Биттлзов.

Тронув оставленные на холодильнике ключи, Кристиан быстро отдергивает руку, торопливо выходит в вестибюль, хлопает дверью. Надо спешить! Лифт с его услужливым "вверх" и "вниз". Сначала вверх, а потом... вниз. Лифт, кстати, занят. Кристиан смотрит на часы: половина четвертого. Можно подняться наверх и своим ходом, выйдя сначала на опоясывающий здание пожарный балкон. Открыв стеклянную дверь, Кристиан жадно

глотает крепкий, с моря, ветер. Должно быть, ветер дожидался его тут, за дверью, этот подсовывающий ему карикатуры ютландский насмешник. Ветер гонит его мимо чужих балконных дверей и окон, мимо цветочных горшков и клетчатых занавесок, мимо мягких диванов в перспективе гостиной, мимо картин в громоздких золоченых рамах, столов с остатками обеда, брошенных в кресла пледов, мимо всей этой досадной озабоченности приобретением и потреблением. И сбиваемая с курса ворона, которой не срамно показать свой растрепанный профиль, каркает налету что-то о свойствах воздуха. Ворона знает кое-что о ближайшем будущем, она в этом смысле божество. В этом смысле ей виднее.

Выйдя на пожарную лестницу, Кристиан замечает опередившую его на несколько ступеней Деву. Она и тут выследила его! Она должно быть долго к этому готовилась и тщательно собиралась: темно-синий, струящийся складками шёлк, голубая вуаль на золотых, чудесно вьющихся волосах, венок из голубых, тонко пахнущих анемонов... и эта распахнутая в светлую майскую ночь синева глаз! Он позволяет ей считать этажи: восьмой... тринадцатый, четырнадцатый... "Достаточно, - запыхавшись, шепчет он, и ему кажется, что он кричит, - Достаточно!!!" В запасе есть еще один, пятнадцатый, но и тут достаточно высоко. Ветер, рваные облака. Внизу, на футбольном поле, каркает, зовя ближайшее будущее, ворона.

Кровь капает на бетонный пол, стекает в рукав рубашки. Наверняка в нем этой крови много, хватит, может, на несколько часов... Нет, у него нет времени ждать!

Сев, ногами вниз, на бетонный парапет балкона, он успевает только подумать: "Ветер..."

Ветер прячется на миг в кустах белой сирени и тут же несется дальше, мимо черных гранитных надгробий с ничего уже не значащими именами. Это не его, ветра, дело, что предается тут земле.

"Теперь ты знаешь, что ты мертв. Пройдя сквозь карикатуру зеркала, ты не слишком, пожалуй, рад случившемуся. И где-то вдали, под тобой, блекнет, не способная удержать себя от распада, панорама твоей прожитой жизни. От твоего самого последнего, на четырнадцатом этаже, до твоего первого, в родильном отделении, мига. Потом, когда улетят вслед за этой панорамой твои последние о жизни мысли, тебе станет по-настоящему страшно. Потом воцарится тьма. То есть не просто темнота в отсутствие электричества, но невозможность что-либо иметь. Много ли ты, в самом деле, имел? Ты бил по рукам несущуюся тебе навстречу с дарами жизнь, ты бил ее наотмашь Ты не хотел принимать ее всерьез. Не хотел слышать обращенные к тебе вопросы. Не хотел ничего об этом вопрошании знать. Теперь ты видишь, что ты был преступником. Видишь? Видишь в этой крошечной, воющей от ужаса тьме? Жизнь все-таки любила тебя. Она плела втайне от твоей рассудительности и разумности, втайне от твоей будничной правоты, плела сетчатку твоего будущего глаза. Плела из тонких паутин той рябиновой осени, где ты навсегда остался. Из нитей безответных писем. Из белых вьюг безнадежности. Твой будущий, смотрящий за оком времени глаз. Твой новый угол зрения. Видишь? Где-то вдали, куда тебе предстоит еще добраться, если, конечно, хватит топлива, там светит солнце. И пусть ты сэкономил, не желая тратиться на сводящие один берег к другому мосты, сэкономил даже на двоеточиях, поскольку за ними всегда что-то следует, сэкономил

даже на прорезающих лоб морщинах, всё улизнуло теперь к черту. Теперь-то ты видишь: черт высосал тебя до этой пустой, в заколоченном гробу, оболочки".

Шесть человек разом возьмутся за белые ручки гроба, разом поднимут и, пронеся несколько метров, разом опустят гроб на катафалк, и пастор скажет "аминь" у открытой могилы, и дети бросят цветы... И ветер, проносясь мимо белой сирени, напомнит спешающему куда-то времени о еще не готовой в него вернуться любви.

26

В белые ночи приходят, украдкой обогнув полночь, вести с невидимых берегов. С той стороны, откуда были пущены когда-то стрелы. И пусть нет уже тех тел, а тем более, намерений, в которые эти стрелы метили, и о разлуке кричать можно лишь в связи с тетивой и прищуренным глазом, стрелы продолжают дырявить пространство, оставляя позади себя ничем не освещенный туннель. Но много ли значит стрела, когда нет перед ней никакой цели?

На письменном столе, в хаосе квитанций, счетов и сломанных карандашей, застыло в позе расстрелянного в упор письмо Хиллари. Наполовину вылезшее из конверта, с завернутым, словно заломленная рука, углом, смятое посредине. Нечто унизительно среднее между белым флагом и нестиранными трусами. Нечто, пожалуй, несъедобное. Пожалуй, даже и не утоляющее жажды.

Отбывающею пожизненный срок в тюрьме хочется порой пустить в форточку бумажную галку. Начинить ее легко запоминающимися лозунгами прошлого, хотя бы оно даже и было преступным, привязать к бумажному хвосту красноречиво напоминающую о чем-то цветную нитку, пучок крашенных волос... Меняются комнаты и расставленные в них стулья, не говоря уже об адресах, и многие двери, за которыми кто-то раньше был, стоят незапертыми, поскольку всё ценное уже украли. Среди вещей есть, конечно, и такие, чья незримая привлекательность сгущается со временем если не в слезу, то в скучающее без дождя облако. Вещь существует, пока существует взгляд на вещи. Кто-то падает в обморок на другом берегу Атлантики, кому-то и здесь, может, плохо. И это говорит в пользу той овеществленности жизни, с которой приходится мириться Богу, в его-то далях. Хиллари пишет, что с ее Богом что-то случилось: он стал неподъемным, нетранспортабельным, стал остывшим куском шлака, сплавом асфальта и металла.. В такого, кто в него поверит? Короче, Бог серьезно болен. Можно справиться, конечно, у врача, тот пошлет в аптеку, там найдут что-нибудь на полке. Никто не гарантирует Богу выздоровление, и врач втайне уверен, что тот сам во всем виноват, как, впрочем, и все больные. И если бы Бога об этом спросили, он сказал бы, собрав всю свою божественную честность: "Дальше, ребята, хода нету". Дальше начинается засиженное учеными мухами абстрактное небо, энциклопедический словарь скуки и нищеты. Хиллари пишет, что через месяц, через две, может, недели... ах, кто знает... короче, уже скоро Бог переедет в новые места. Они, конечно, для него везде одинаковые, везде та же крошечная тьма и низкий градус вечной мерзлоты, те же насчет жизни лозунги. Лозунги, обещающие перемены в пейзаже, в котором и так ничего не узнать: где горы, где болото. Бог копит картинки, виды, делает копии. Он скопировал уже почти всё, и не отличить копию от оригинала, и сам оригинал потихоньку переводится в разряд копии... Короче, божественный тираж. Венки, некрологи, гимны. Зависимость от пищеварительных проблем соседа. Богу нужен красный цвет, для разнообразия серый. Кончится красный, останется серость. И от ее, серости, имени Бог двинет пехоту в глубь оставшихся от прошлого катакомб. Не все еще там сведены с солнцем счеты. "Ты тоже, Хельге, будешь иметь такую возможность, возможность умереть! Ты уйдешь следом за мной. Ты узнаешь наконец, что такое брак".

Вот оно, будущее, требующее уже сейчас достойного для себя места. Будущее, расплывающееся серым пятном по шифону и мешковине, комкающее складки еще не

истекшего сегодня. Будущее, в котором не изживается даже чувство вины, даже ощущение отсутствия.

Это письмо не встретилося еще с адресатом, застряв на не знакомом почте полустанке. Здесь-то и решается его судьба: ехать дальше или угодить в мусорную корзину. Письмо это весит гораздо больше, чем просто конверт и бумага, его вес определяется цифрой: "Мы жили вместе целый год, четыре сотни дней плюс четыре сотни ночей. Четыре сотни ужинов, завтраков и обедов плюс тысяча и одно совокупление на сотне с лишним выстиранных в старом "Самсунге" простыней... "Самсунг", кстати, менялся дважды, спасибо городской мусорной свалке. И еще: сотни переправившихся за тридцать лет через Атлантику писем!"

Цифры вгрызаются в затылок, буравят чувство справедливости. И поскольку это всего лишь чувство, из-за которого воровски выглядывает чувственность, справедливость оказывается в угоду пространству плоской, сплюсненной до размеров тела. До размеров, скажем так, нынешнего тела Хиллари. От имени этого тела кричит на весь мир великий, крупный, да, большой поэт: "Мой милый, что тебе я сделала?" К любви этот вопрос не имеет никакого отношения, тогда как чувство собственности, цифры-цифры-цифры, бывает им сыто. Чувство незаконного присвоения чужого. Большой, крупный, великий поэт, он же вор, не прочь сделаться еще более великим: "Благословляю Вас на все четыре стороны". Хотя честный человек сказал бы: "Пошел ты к черту".

Письмо Хиллари пахнет радостью побед, непоколебимой, как доводы психопата, уверенностью в успехе предприятия. Стойкий, сладкий, удушающий запах... запах *отсутствия истины*. Долго держать в руках это письмо нельзя, с ним надо что-то делать... не станешь же понапрасну мять в руках скорпиона. Изжарить его вместе с повисшей в пространстве каплей яда? Съесть живьем?

Бросив письмо в остывающую золу, Серафима идет за дровами. Никто не просит ее становиться препятствием лжи, никто не дает ей на это право. Никто, кроме нее самой, не видит в этом никакой необходимости. Побольше сухих березовых дров! Печная труба гудит от дыма, пламя разворачивает на миг конверт, и уже из огня пыхает

на Серафиму последняя строка: " Победа за мной!" Взяв с пола кочергу, Серафима заталкивает конверт в веселое пламя.

Поезжай, Хиллари, в ад.

Хельге не помнит, когда в последний раз думал о Хиллари.

Он помнит разве что снег. Никогда не тающий, вечный. Снег, ставший представлением о жизни. Состояние медленного замерзания, метаморфоза воды. Белизна. Ненужность других красок. Сначала надо научиться различать на снегу следы: одни ведут вперед, другие назад. Сначала надо научиться выбирать направление. Это вовсе не означает, что тебе всё равно, куда. Тебе надо по курсу твоей судьбы. То есть в направление к себе. Потом, когда становится очевидным, что это и есть истина, у нее спрашивают задним числом, есть ли тут вообще взаимность, то есть между тобою и ею. И оказывается, что это никакой не брак и даже не производственное соглашение, и даже не вложение денег под процент. Это всего лишь *устремленность*. Притяжение снежинки к белому пейзажу. Или: ощупывание снежными крыльями немислимых далей. И в этой белой мудрости есть прихотливость твоего узора.

Хельге ничего не помнит, но знает, что так оно и было: он шел один по снежной пустыне, и только волчий вой убеждал его, что он пока еще жив. С ним был ребенок: тот, которого он хотел иметь. Оба могли быть уже убиты, но вместо них оказались убитыми другие. И путь впереди был слишком коротким, чтобы жаловаться на недостаток любви. Ее всегда, кстати, мало. Но даже и того, что есть, хватит для обогрева пространства. Но чтобы ощутить в этом потребность, необходим холод. Холод вовсе не зло, но командированное в мир добро. Предпосылка неизбежного выбора между обледенением и самообогревом. Не окажись в мире холода, всё стало бы африканским черноземом,

жадной до всякого гниения почвой, массовым слабоумием. Тепло обретает смысл лишь для преодолевшего зиму.

Он мог бы поблагодарить Хиллари за планируемую ею кражу: ей позарез хотелось получить от него наследство. Хотя бы монетку, хотя бы вытщенный стоматологом зуб. Не говоря уже о письмах. Сколько раз, догоняя его на лыжах, Хиллари звала на помощь превосходящую вожделение тягу к убийству: она видела перед собой добычу. Она могла бы скинуть комбинезон и лечь с ним прямо на снег, назло нагой одноногости елей, но Хельге никогда не позволял ей себя догнать. Он подпускал ее совсем близко, чуя за спиной ее возбуждение и жар, и тут же уносился вперед, он только играл с ней. Потом, дома, они сидели в ванной, сплетя в горячей воде ноги, и разделяющий их столик с апельсинами и ананасом мог бы поклясться своей плавучестью, что вода в ванной нагрета всё той же тягой к убийству, подступающей, словно смертельный страх, к желудку. Этот страх допускал вымогательство и нищету полуночных слез, и мстящие пустотой подачки-соития, допускал даже отказ, даже разезд. Одного этому страху было не пережить: появления у Хельге наследника. Дело было, конечно, не в детях, не в дальних или близких родственниках, но в существовании гораздо более прочных, чем родная кровь, материй. Кто-то мог ведь и унаследовать дух Хельге. А это означало бы полный провал предприятия: поезжай, Хиллари, в ад!

Веселый в печи огонь.

На языке огня это может означать только одно: много еще у зимы холода. Овсяные волосы на подушке, воткнувшееся в светлую июньскую полночь плечо, острота скулы. Хельге слышит во сне, как кричит возле леса фазан, как крадется к дому, нюхая на тропинке следы, старая медведица. Грузная, медлительная, она вряд ли уже принесет потомство, она доживает жизнь для себя. Она входит, покачивая мордой, в дом, идет в спальню. И Хельге знает во сне, что он лежит теперь в постели и что справа от него Серафима, знает, что ему сразу не проснуться. И медведица, грузная и неповоротливая, лезет, как может, на нары, чтобы тут же по-собачьи рухнуть на одеяло у него в ногах... вот так! Он был прав, не став ее убивать. Он не хочет никого убивать.

В Харпестаде нет ни одного пустого дома, ни одной развалюхи-дачи, куда можно было бы перетащить вместе с чугунной печкой и роялем эти легко запоминающиеся, насквозь пронизанные сознанием сны. Такие сны снятся далеко не на всяком месте. Сны, переправляющие тебя на *твою* планету.

Лето уже на исходе, и Бьёрн посматривает, проезжая мимо на тракторе, не начались ли приготовления к отъезду. То есть не собирается ли Хельге и эту дачу сжечь. Все знают, конечно, что Хельге натворил в лесу, но Монтсеррат не хочет заявлять в полицию. У нее есть представление о справедливости. Ее спрашивают об этом в магазине, в аптеке, но это влияет только на цвет ее глаз: в них теперь куда больше льда, чем синевы. Зимние, замерзшие глаза.

В конце лета, когда на сером лишайнике краснеет, как на подушке, морошка, когда цветет, делая лиловыми скалы, вереск, к холоду примеряешься с точки зрения не желающего никуда уходить тепла. Оно тут, тепло, в этих камнях, под этим сухим мхом, и оно медлит, потому что не всё еще сказано. В конце лета дыхание становится глубже, а поцелуи реже, и если заходит речь об общей пользе, то лишь в связи с приближением мороза. Тепло, впрочем, нет до общей пользы никакого дела, оно самодостаточно. Закрываются окна, ставятся вторые рамы, складываются штабелями дрова, и все эти приготовления говорят об одном: о невозможности удержать тепло как-то иначе.

Расстояния тоже становятся в конце лета длиннее. В них поселяется неопределенность пути. Идешь по лесу и вздрагиваешь: тут кто-то уже прошел. И лес, не будучи гарантией безлюдья, шепотом напоминает: "Это ты... ты..." На пепелище, где недавно стояла дача, торчит над бетонной площадкой печная труба: привычная к огню и дыму, она устояла. Приедет бульдозер, снесет и это, последнее. Потом наступит царство крапивы.

Взгляд придирается, конечно, к шероховатостям совести, и его, бывает, насильно, с кровью, не отдерешь от примороженного к нему предмета. Взгляд пытается собрать ускользнувшую из термометра ртуть, придать ей вид металла. И для этого ему нужен холод.

Холод приходит с бабьим летом, с этой второй по счету молодостью. Ему знаком этот мотив: "Твоя песенка спета", и это воодушевляет. То есть попросту холод назначает тебе контрольный срок: не успел, значит, выбыл. Боярышник, краснея, подскажет: сгинул. Но пока ты еще тут, день опутывает тебя солнечной паутиной, и есть еще у времени выси и колокола. Вода становится холоднее, дно чище. И на тебя смотрит глазом этой воды одиночество.

Харпестад кончается или, с другой стороны, начинается с соединенных рекою озер. Гранитные чаши с вековыми соснами, прочность, тяжеловесность, серьезность. Никто не усомнится в вечности этих намерений: быть именно этой водой и этим камнем, этим неподвижным отражением серого, черного, темно-зеленого. Время, оно же предел зрения, заывает этот пейзаж за границу сна, где нет уже различий между живым телом и скульптурой, время возвращает здесь контуры холода. И к нему не пристанешь с вопросом, зачем, поскольку это могло бы означать путаницу рассвета и заката: становится светлее или еще не совсем стемнело. Время припадает каменным языком к безразличию воды, не утоляя своей вечной жажды.

По ту сторону, за озерами, цветет тишиной лесное безлюдье. Даже дорога, и та сомневается в своем предназначении, тут чаще встретишь лося, чем машину. Тут слишком много камней, чтобы крестьянина интересовала эта земля, и лес вырубается тут раз в сто лет. Сюда и охотник забредет не всякий. Но было бы легкомысленно и поспешно благодарить за это природу, эту пленницу необходимости, тогда как разглядеть среди деревьев металлическую сетку было бы очень кстати, а тем более, оснащенное восклицательным знаком предупреждение: "Вход воспрещен!"

Вот где, должно быть, есть для жизни возможности: в зоне. Надо только пройти вдоль сетки и найти лазейку, проделанную с помощью плоскогубцев и кусачек дыру. Есть, конечно, ворота, но они под замком. Впрочем, тут нечего уже сторожить, всё давно эвакуировано: радары, спутниковые тарелки, всякое железо. Остались одни здания, добротные натовские образцы то ли обороны, то ли готовящегося наступления. Никто, понятно, не строит поблизости домов, кому охота стать при случае живой мишенью, не говоря уже о радиации. Радары перетащили в другое место, но постройки сносить не стали, это стоит денег.

Ах, что это за постройки! Они свалились, должно быть, с другой планеты. Сошли, как пророки неизвестных глазу форм, как очевидцы похищенных у пространства откровений, эти угнездившиеся на скальных площадках солярисы. Глазное яблоко узнает, впрочем, себя: свою помноженную на размер шаровидность. Кто-то вынул, быть может, свой глаз и, будучи патриотом, вписал в оборонный пейзаж, приставив глаз к уху радара. Вороны, правда, не верят в патриотизм, а тем более, в радары. Но птиц никто не спрашивает. И они кладут на макушку солярисов свои вороньи яйца.

Мертвая зона. Вот он, тупик судьбы. Судьба не просто пролезает в лазейку и осматривается, она совпадает тут со всеми своими отклонениями, становится одной сплошной каменной глыбой. Ни одно дерево не зацепится корнями за эту твердость, дерево ценит почву. Даже можжевельнику, и тому не зайти с тыла, подобравшись к трещине, влага тут не держится. Нога сминает сухой лишайник, вдавливая в камень мох.

Тут живет только вереск.

Его лиловость видна с птичьего полета, и забредший сюда глаз волей-неволей свыкается с собственным в этих густых красках ослеплением: глазу не видна деталь, но мил цвет. Сумей глаз пересчитать миллионы фиолетовых крупинок, каждая из которых есть по меньшей мере строка гениального стихотворения, глаз вылез бы из насиженной орбиты и, отделившись от головы и всего остального, немедленно улетел бы в

пространство. Благодаря большой от глаза отдаленности звезды сидят на небе теснее, и темнота готова признать свою условность: она всего лишь фон. Окраска цветка, как и всякой вещи, есть только выражение скорости, иначе, устремленности. Стоит только приблизить глаз к нанизанному на жесткий стебель лиловому бисеру, и ты узнаешь преломляющую свет границу, итог и результат, да, предел своих о звезде представлений. Вереск не любит людных мест. Так же как не любит пересадки. Можно взять вилы, лопату, совок, даже лом, можно, дурача себя, доковыряться до забившегося в трещины песка, в надежде найти наконец корни. В надежде на ревизию, облаву, принудительное выселение, арест. В надежде схватить жильца если не грудки, то за волосы, вытащить из постели, из шкафа, из погреба. Предъявить жильцу ордер на обыск или просто устроить погром. И пусть сосны, что держатся поодаль, щетинистый можжевельник и мучимые жаждой березы предложат себя в свидетели: никогда еще при них не происходило такого, чтобы жильца брали живьем. Брали, бывало, по частям, отрывая то голову, то руки, назло лопающейся жесткости скелета. Да просто брали ножницы и - чирк!

Никто не знает, где на самом деле у вереска корни. Разве что камень. Но он молчит.

Хельге ушел вперед, руки в карманах, ступни под углом на подъем. Чуть выше, на выкаченной крутым лбом каменной площадке, замерли в своих натовских снах пустые жилища радаров. Три... пять... восемь... сколько их тут? Эти окаменевшие туловища раздувшихся от корма жуков, эти списанные обратно на землю аэростаты. Их выкатило сюда, на гору, авангардное ура-воображение времени, проигрывающего будильнику. Время сотворило, вслепую ощупывая свои члены, этих чудовищ. Назло пространству, оказавшемуся загнанным внутрь, под металлический свод. Туда можно войти, дверь открыта, тяжелая натовская дверь, но теперь уже без замка. В соседнем, похожем на гараж строении дверь тоже настезь, там стоит несколько коек, железных, походных, болотного цвета, без матрасов и одеял, несколько телефонов с обрезанными проводами, болотного цвета сейф, на полу мышиный помет. Вот так, наигравшись в прятки, натовский солдат отсюда уходит, в скуке безразличия к попираемому ботинком камню. И ни одному из этих солярисов уже не дожидаться знакомой команды, уверенного шага, осмотрительной деловитости, всего того, ради чего солдату не надоело еще жить.

Но тут... тут что-то не так, тут налицо предательство, шпионаж и измена: тут находит себе опору воображение. Незванное, оно примеряется к масштабам спящей тут скуки, к протяженности безразличия и серости, и выходит, что достаточно лишь вообразить... и вот уже солярис мигает занавешенными тюлем окнами, с настурциями и геранью на подоконниках, вот уже и запах малинового варенья, и ужин на террасе под чугунной, с толстыми свечами, люстрой, и тишина во всех ее вариантах... С такими мыслями к солярисам никто еще не подступался. И дверь неохотно, с ревматическим натовским скрипом, подается наружу, давая дыхнуть изнутри застоявшемуся холоду. Туда, вовнутрь, никогда не заглядывало солнце. И хотя это не склеп, не мавзолей и не современный оперный театр, жизнь и тут одолевают сомнения в том, есть ли она вообще.

- Кристиан...

Со всех сторон на Серафиму обрушивается шквал эха: "Кристиан! Кристиан! Кристиан!..." Эхо ввинчивается ей в уши, забивается в гортань, привешивается за спиной гигантскими крыльями: "Кристиа-а-а-ан!!!" Под этим натовским куполом судьбе удобно выносить свои приговоры. Пройдя по бетонному полу до середины соляриса, Серафима разводит в стороны руки, давая себя ощупать со всех сторон холоду, как певец перед началом большой арии, как солирующий на фоне оркестра дирижер, и ее голос взрывает солярис вместе с застоявшейся в нем пустотой.

- Кристиан!!!!

Эхо несется по кругу, колышется полярным сиянием от стены до стены, нагоняет свой отставший от туловища хвост... бормочет о невозможности, о бессилии... И еле слышно, только самой себе, Серафима шепчет: "Кристиан...", и всё начинает вокруг шуршать, шелестеть, томиться и мямлить, жалуясь на нищету повторения и подражания. Так

обменивается на ничто нечто, когда-то бывшее всем. А то, что не подлежит никакому обмену, никакому приходу и расходу, никаким наценкам или уценкам, оно не цепляется больше за это имя: Кристиан.

- Датчанин играет теперь в шахматы, - с усмешкой подбадривает Хельге затихающее эхо, - с Сатаной! Или со своим прадедушкой.

Он поднимается по железной лестнице на опоясывающую шар галерею, и с этого второго этажа, как проповедник с кафедры, излагает навязчивому эху инженерный план: распилить солярис пополам, пригнать подъемный кран, перевезти обе половины в другое место, поставить на круглый бетонный цоколь, разделить шар горизонтальными перегородками, настелить полы, прорезать окна, покрыть макушку натуральным шифером. Самая экономная, какая только может быть, конструкция, самая прочная. Натовская. Хе-хе. "Хе-хе-хе..." - добавляет эхо.

Но Серафима не верит больше в дома. Все они так и о стаются недостроенными. Эти, так и не увидевшие берега лодки, эти сникшие, разорванные паруса. И если судьба планирует еще одно покушение на зазевавшееся "здесь", то надо просто уползти назад и отсидеться в каком-нибудь тупике, обогретом коптящими представлениями о невозможности. В этом есть своя растлевающая сладость: ничего больше не делать. Не делать даже самого необходимого. Ничего.

- Пойдем отсюда, - устало выдыхает она в мерзлое нутро соляриса.

Она идет, не оглядываясь, обратно к дыре в металлической сетке, погружая ступни в мягкие вересковые подушки. Пусть Хельге ходит с рулеткой вокруг соляриса, записывает цифры в блокнот, ругая Сатану или прадедушку... И Люцифер ему в этом поможет, даруя вместе с воображаемыми формами еще и прыть строительства. Надолго ли ее хватит!

Оказавшись снова за сеткой, Серафима видит: по другую сторону дороги на зеленеющем озимыми пригорке сверкает медью на солнце статуя животного. Волк? Косуля? Кто-то поставил скульптуру здесь, должно быть, угождая своему одиночеству. Хельге тоже видит сверкающую на солнце медь:

- Совсем как живая.

- Но это скульптура.

Они спускаются по склону, хватаясь за ветки можжевельника и берез. Теперь видно, что это собака: тонконогая, с большими, как у гиены, ушами. Замечательная в своем роде скульптура: животное вписывается в плавно очерченный холмистый пейзаж, замерев в сторожевой позе под старой плакучей березой. Смотришь, не отрываясь, и тебе начинает казаться, что собака слегка поводит ушами. Они подходят ближе, и оба одновременно замечают, что собака поворачивает к ним голову и, презрев всякую конспирацию, срывается с места и несется им навстречу...

Фараонова собака. Медное тело, латунные глаза. Обреченность погони, молниеносность расправы.

И снова неподвижность статуи, только слабое шевеление ноздрей, только красноватый отсвет охотничьего взгляда. Эти, фараоновы, не слишком еще ручные: прикованный к земле своей мумией, фараон командует им "Ждать!", и ждать приходится тысячелетия. Пока мумия не распадется в прах, пока свежий, только что свалившийся с неба фараон не скамандует: "На место!"

Куснув Серафиму за руку, собака снова замирает медной статуей, чуть повернув ушастую голову в сторону дороги. С пригорка по тропинке спускается женщина. Она хромает и явно не молода, но шаг у нее широкий, крестьянский. Тут был когда-то большой двор: амбары, коровники, кладовые, и земли тут вдоволь: пашня, лес, пастбище. Оно и теперь кое-что осталось: десяток подрощенных бычков, штук тридцать овец, несколько лошадей и коров. Дом стоит чуть поодаль, на другом пригорке, и почти скрыт за старыми липами. Судя по этим могучим деревьям, здесь живут давно.

- Да, их посадил мой прадед.

Женщина словоохотлива, с такими, как она, есть о чем поговорить. Хельге идет к машине, там у него папка с рисунками, он не прочь похвастаться: никто не додумался еще сделать из натовского соляриса дом. Шар с балконами и окнами и расплзающейся веером, как в парижской библиотеке, лестницей... Язык Хельге превращается в марципан и леденец, по небритому подбородку течет мёд, он может болтать так до вечера.

Снова став медной статуей, собака не сводит с него красноватых глаз, и женщина, не перебивая его, слушает, думает, кивает. Она думает, может, что Хельге просто трепло. У него и есть-то всего только эти рисунки, Люфицер ему в помощь. Однако женщина слушает, и собака, замерев, на нее смотрит, только красновато-янтарные глаза блестят на солнце. У женщины рыжие, с проседью, волосы и такие же, как у собаки, "фараоновы" глаза. Она была когда-то красива... то есть она достаточно красива и в старости. Она внимательно смотрит на рисунки, потом на Хельге и снова на рисунки, и в ее желтых глазах вспыхивает что-то, похожее на узнавание.

- Пойдем, - говорит она наконец, и собака взлетает, едва касаясь лапами травы, на пригорок, замирает наверху в позе статуи. Многозначительно глянув на Серафиму, словно им обоим вот-вот что-то обломится, Хельге быстро идет следом.

Дом и вправду старый, ему лет двести, с каменным подвалом, резным крыльцом и балконом. За домом аллея, десятка два плакучих берез с отбеленными солнцем стволами. Дальше снова пригорок. Прихрамывая, женщина поднимается по моховой, среди камней и черники, тропинке, и собака, обогнав ее, замирает наверху. Там, наверху, что-то важное... Хельге первый видит это, и его словно толкает волной в грудь: его собственный осуществленный проект!

Ворвавшийся в дикость нетронутой столетиями природы, оставивший позади рисунки и расчеты. На самом верху, на открытом солнечном месте, среди лишайников, вереска и мха. Шар семиметрового диаметра под зеленой, как чашечка желудя, черепичной крышей, с множеством окон, полукруглым балконом над расплзающейся перед входом лестницей, толстой дверью с глазком-полумесяцем и круглым солнечным окошком.

Кто осуществил его проект?!

Хельге молча обходит вокруг дома-шара, задирает голову, прикидывает на глаз пропорции. Всё так как надо, всё правильно. Кто-то подсмотрел его сны, подслушал его мысли.

Кто???

Поднявшись по выложенным камнем ступеням, женщина оборачивается к ним:

- Добро пожаловать!

Тут всё как в старой избе: каменная дровяная печь, длинный струганный стол со скамейками, домотканые половики. В смежной, без двери, комнате толстоногий, с выгнутой спинкой, диван, резной дубовый шкаф, старинное бюро, за двустворчатыми узкими дверями прячется комнатуха-спальня. В подвале мастерская: токарные станки, полки с аккуратно разложенными инструментами, образцы дерева. Вдоль стены, освещенной висящими на цепях лампами из оникса, расставлены деревянные скульптуры: выдолбленные из сосновых стволов грубые лица и головы, профили животных. Поймав вопросительный взгляд Хельге, женщина поясняет:

- Гейр умер три года назад, это его дом.

- Гейр?!

- Гейр Сивертсен.

- Но ты...

- Я только подруга... - женщина спокойно улыбается, - Я Эльза. Он доверял мне.

Она идет вдоль бревенчатой стены, останавливается перед массивным, от старой сосны, стволом, с улыбкой оборачивается к Хельге:

- Это я.

Из-под толстого слоя коры, все еще покрытого серым лишайником, высвобождается грациозный изгиб бедра, угловатость плеча, решительность профиля. Дерево присвоило

себе эти изысканные линии, это его, дерева, столетняя мечта, его янтарные соки. Тут ничего не скажешь о возрасте, тут есть только предмет любви. И мысль домогается тут соответствия между предметом любви и самой любовью: мысль следует формам дерева.

- Я бы купил этот дом... - бормочет Хельге, и все какие у него есть долги тут же выстраиваются в очередь: "Купи!.. Купи!.."

- Этот дом не продается.

Хельге смотрит на нее исподлобья, он мог бы без труда доказать, что это *его* дом. Он оставил у Гейра свои рисунки, просто забыл и никогда не вспоминал о них, и Гейр, ничего ему не сказав, присвоил их. Но теперь Гейр Сивертсен мертв, теперь остается только его простить... то есть вторично себя обмануть.

- Я бы снял этот дом...

- Нет.

Они поднимаются по деревянной лестнице на второй этаж, в круглую, солнечную библиотеку. Двенадцать узких окон, каждое со своим знаком зодиака, вытравленным золотом на стекле, большой овальный стол, полки и шкафы с книгами, фисгармония. Солнце гуляет целый день от окна к окну, заставляя блестеть по очереди знаки созвездий, вписывая время одного дня в круговращение вечности. Сюда не приходит тоска о так и не сбывшемся, здесь нет для этого ни пыли, ни паутины. Одно только солнце. Оно заставляет здесь о себе думать: как о чем-то близком, интимном, своем. Солнце несется с безумной, с точки зрения умного, скоростью к далекому Геркулесу, и ты едва успеваешь за ним вместе с землею, которой скоро уже на пенсию, тебе бы не отстать... Ты ведь в родстве с Солнцем, ты.

Прыгнув на кожаный диван, собака шевелит локаторами-ушами: она слышала об этом в свои фараоновы времена... Несколько тысяч лет для памяти пустяк. Тогда у нее были точно такие же уши, и в них чаще влетали мудрые замечания. Сколько же потребовалось человеку ума, чтобы вывести эту фараонову мудрость из обращения!

Солнце стоит теперь в золотом знаке Козерога, на стекле бьется запоздалая бабочка-крапивница, принявшая, должно быть, золото за свою прозрачную материальность. Бабочка умрет, с восторгом отдав свои краски свету, отдав свою суть космосу. И о ней можно будет сказать, что "не пожила", что всего-то было у нее дней... сказать, что напрасно даны ей все эти прожилки и линии, пятна и разводы, не говоря уже о напрасности красок, нанесенных на столь непрочный холст... Эта необеспеченность временем, эта совмещенность прихода и ухода. Бабочка не знает, что в мире существуют стекла.

Время течет сквозь золотые знаки, обнаруживая в сосредоточенности осени скрытое весеннее беспокойство: "Разве ты умер?.. Умерла природа, посыпав себя снегом, сорвав с себя последнее. Но ты есть нечто большее, чем природа, ты никогда не кончаешься, и начало твое не здесь. Не природа выдохнула тебя однажды в мир, не она поставила тебя на ноги. Твой дом и твоя родня, да, твоя родина не видны очерчивающему природу глазу. Они за пределами осени и весны".

Разбиться насмерть об это стекло. Стать просто количеством, хрупкостью, ломкостью, прахом. Помноженным на цвет небытием. Зимней утехой паука, добычей огня. Невозможностью. Даже белый лист, даже снег не удержит твоей во времени невесомости: её не приколешь ни к какой белизне, не насытишь ею представление о гравитации. И это стекло тебя не запомнит, даже позволив прилипнуть к себе оторванной лапке, усику. Стекло есть твой приговор.

- Пойдем домой... - говорит Серафима и, больше ни на что уже не глядя, выходит из солнечной библиотеки. Домой означает теперь просто "прочь". Бьёрн продлил их сидение на даче до конца октября, он рискует потерять покупателя: Монтсеррат может ведь и передумать... Нет, она не уступит Хельге эту возможность, она будет гнать его до самого края, обрыва, за которым разве что бесполезное сожаление: она оторвет его в конце концов от этой проклятой земли!

Однако придется ведь где-то зимовать, к примеру, в тесном рабочем вагончике, где в кране замерзает вода, а под нарами скребуются мышцы. Где будет зимовать рояль? Хроническая безадресность дает осложнение на всю жизнь: к ней привыкаешь. Привыкаешь нигде никем не числиться, дурачить почту. И только когда все краски сотрутся и с крыльев слетит последняя пыльца, тело обретет наконец прописку. И тело не выразит при этом никакой благодарности, никакой даже заинтересованности в удобствах, тело ничего не скажет. Тело снимет, как тяжесть с плеч, снимет с себя ответственность за дальнейшие перемены, свалив всё на физические законы. И тогда уже не дознаешься, был ли... не был... Тогда станет ясно, что просто сгинул, безадресно.

Фараонова собака прыгает на овальный, посреди библиотеки, стол, замирает, становится статуей, только худые бока под сверкающей гладкой шерстью выдают дыхание. Она могла бы дожидаться так хозяина или вора, могла бы так тут и окаменеть. Кто-нибудь вынул бы потом глаза, вставил прозрачный янтарь.

Эльза идет по лестнице следом за Хельге, и он чувствует спиной, затылком, лопатками, ребрами, что с нею не всё в порядке. То есть, она не просто прихрамывает. В прихожей с двумя овальными окнами по обе стороны двери слепит глаза закат: идешь напролом сквозь разорванное рамой на восемь частей осеннее пламя. И тебя греет мысль о том, что ты пока еще здесь... Эльза одалживает закату свои рыжие волосы, свою забрызганную золотом седину, свою легкость и сухость, свою похожесть на редкого, большей частью истребленного зверя, свой янтарный, как у фараоновой собаки, взгляд: она закрывает собой выход.

- Оставайтесь здесь!

Она говорит это с радостью. Даже обнаруженному на другом краю земли без вести пропавшему, даже ему это оказалось бы в новость: эта готовность немедленно тебя признать. Признать тебя... ну кем ты хочешь, чтобы тебя признали?

- Переселяйтесь прямо сегодня!

Это не просто так, когда тебя куда-то зовут, что-то дают... от тебя ведь хотят еще большего! Хотят *всего*! Тут речь не о королевском "ты мне, я тебе", да и само оно, королевское, что... Успел вовремя продаться, считай, повезло, вписался. Осторожно, конечно, осмотрительно. Так, чтобы потом о тебе сказали: "Ну, этот..." Дальше можно добавить: мерзавец, премьер-министр, сволочь, нобелевский лауреат, мусульманин, водопроводчик... Главное, чтобы никто не успел назвать тебя дураком, поскольку быть дураком - единственное извинительное сегодня обстоятельство. "Он же просто, - хотелось бы услышать дураку о себе, - дурак!" Но вместо этого ему приходится быть водопроводчиком, премьер-министром, сволочью.

- Ты в своем уме? - выжидающе глядя на Эльзу, тихо спрашивает Хельге. Она тоже на него смотрит, долго, в упор, и в конце концов кивает: в своем. Она застенчиво, словно подросток, улыбается, сухая кожа щек собирается в тонкие морщины, желтые глаза светятся медью и золотом: она признала в Хельге своего... как это лучше сказать... да, своего. Солнце тщательно вырисовывает на ее бледном лице рыжие веснушки, не тяготясь преобладанием в палитре золотого... да тут одно сплошное золото!

Овальные окна с зелеными и желтыми стеклами в средних квадратах рамы готовы немедленно сдать в качестве свидетелей: сдать закату и стать просто глазами. Разглядеть в своем золотом тыле: сколько еще впереди дней, ночей, лет. Разглядеть знаки заранее вынесенного приговора: ты еще там, но твое будущее здесь. Здесь!

Нет, эта женщина не в своем уме. Ум тут вообще не причем. Ум бы посоветовал схватить себя же за руку и уличить в воровстве. Уму такое не переварить: чтобы его самого отгеснили на второй план. А что, спрашивается, на первом? Эти залитые солнечным золотом окна.

Собака бежит впереди, по зеленому, с неприбранной липовой листвой, пригорку, она теперь гид и экскурсовод: тут, за проволокой, свиньи, там овцы, тут коровы, там, извольте посмотреть направо, ламы. Из-под крыльца кладовой на лужайку вываливает фазанье

семейство, восемь взрослых птиц, они неспеша переходят дорогу. И фараоновой собаке остается только медно блестеть на солнце, выдавая присутствие жизни янтарностью глаз. Остается только быть статуей.

27

Один переезд стоит трех пожаров. Эту простую истину узнаешь только на практике и всегда только сам. С королевскими почестями переезжает рояль, переезжает чугунная печка, дрова, письменный стол с ногами четырехсотлетней давности и столь же пожилые крестьянские шкафы, переезжает всё. Деревья, правда, останутся на лесоповале до весны, но скворечники и синичники Хельге забирает: птицы доберутся до них кратчайшим путем, не дожидаясь зимы. На всякий случай он прикалывает к дереву записку с новым адресом.

Переезжает и недописанный Серафимой учебник истории, примеряясь существующими уже главами к новым, солнечным обстоятельствам. Теперь-то история наконец двинется в путь! Обойдет наконец детсадовские кошки-мышки и подростковые прятки, повзрослеет. Никто пока не обучал ее этому взрослению: узнаванию истины при любых, даже самых замусоренных обстоятельствах. Обычно история интересуется именно мусором: почему и сколько. Этому не препятствует ни удлинившийся срок жизни историка, ни напалзающая на его ученый лоб тень если не трансцендентной, то просто эстетики: ах, как это красиво! Красиво, например, средне-сверкать и средне-выдаваться, средне-убеждать и самому оказываться средне-убежденным. Короче, иметь прямое отношение к тому пушкинскому "полу-", которое, есть надежда, станет наконец всем чем угодно.

Станет хотя бы Заслуженным Деятелем Высшей Школы, как Леонид Макарович Мулярчик. История переварила уже миллионы Леонидов и всяких Макаровичей, и нет среди них такого Мулярчика, который не хотел бы истребить самого себя: такова высшая в этой высшей школе квалификация. Само это истребление, впрочем, дело настолько будничное и скучное, что ему не уделяется в истории даже сноски. Рутинность самоистребления тем и отличается от заурядного предательства, что Леонид, истребляя Макаровича и вместе с ним истребляя Мулярчика, предан до гроба своему начальству. Да что там, до гроба! Преданность начальству простирается гораздо дальше кладбищенской ограды, дальше мямлющего о заслугах некролога, дальше самого факта смерти. Смерть, кстати, это не только *конец тела*, как думают воспитанники детских садов. Это изъятие из оборота самой причины твоего, туда-сюда, хождения: подавшись туда, ты уже не вернешься обратно, нанизывая одну смерть на другую. Смерть, это вечное застревание на тупиковых путях, где только огни, огни... но нет света. Смерть любит ордена и звания, эти доказательства своей значимости. И если, скажем, кого-то зовут

Заслуженный Деятель Высшей Школы, то зовут его непременно на кладбище.

Заслуженный деятель обязан помнить тех, кто смел хотя бы мало-мальски в его присутствии жить. "Вот, - услужливо доносит память, - этот". Этот, как ни странно, уцелел... и этот... и этот дал к тому же деру... Уцелевших обычно не называют по имени, кто они такие. Да и много ли значит имя без должности-звания? Посмел уцелеть, посмел жить! Жить волком за красными флажками! Жить, будучи взятым в кольцо, будучи отрезанным, несъедобным ломтем.

Леонид Макарович Мулярчик знает, что проморгал Серафиму, прошляпил, дав вырасти в соседстве со своим *вечным стулом* чему-то, растущему и дальше... дальше всякой мебели, потолков и стен, дальше подслушивающих устройств и приросших к ним интернетов, дальше самой далеко идущей "мечты о хорошем". Разве хорошее увяжется следом за Серафимой? Хорошему возле нее слишком жарко, хорошее бросает в ледяной пот... Оно, бывает, смекнет, взяв взаймы у Леонида Макаровича ум, что отсутствие Серафимы в Высшей Школе есть знак какой-то уж слишком большой *сытости*,

переедания и в целом отвращения к пище. Можно вырвать из глотки язык, освободив тем самым место для более продуктивной, чем болтовня, занятости, можно пересадить в гортань прямую кишку... какая, к черту, разница, где теперь экскременты, при новых-то, новейших, технологиях. Если бы не эта *непереносимость* одного только вида Серафимы! Врач усмотрит в этом идиосинкразию, врач пропишет расторжение с Серафимой всех трудовых договоров: в настоящем, прошлом и будущем. Врач добавит еще, от себя, проверенное психушечное средство: не видеть в упор *большое*.

Когда-нибудь, когда пройденные пути ринутся вспять, в надежде застать с поличным время, отрывающее кусок за куском от вечности, Леонид Макарович Мулярчик строго глянет на часы: который теперь..? И часы услужливо брякнут что-то насчет стрелки: в ней-то всё и дело. Стрелка часов будет *со временем* значить еще больше, чем она значит сегодня: она и будет критерием истины. И все, какие есть в подстрелочном мире, заводные кукушки и взгромоздившиеся на броневики ленины, все они разом ухнут спасительное, усыпляющее, приспособительное, слабительное "ку-ку". Обведенное вокруг указательного пальца время! Оно норовит придраться к своему началу, к райскому, с видом на адский пейзаж, нулю: и где же вы все тогда были?! История захлопывает пыльные книги, пыль повисает в безветренном месте наподобие картины: автопортрета очень высоко о себя мнящего. Его-то, назовем его просто человеком, и надо из истории исключить.

Леонид Макарович Мулярчик готов, хоть и с досадой, признать, что дыра в стене, через которую Серафима вышла наружу, все еще зияет. И кому только не лень теперь в эту дыру соваться! Суются в основном умные. Ума столько, что впору от него бежать. Бежать к еще более ненасытному, чем этот, уму. Бежать, спотыкаясь о болтающийся до земли язык. "Покоя нет, хожу, брожу, ишу, смотрю, тону, ловлю, хватаю... С вами можно? Можно?? Можно??? Не-е-е-ет!!!" Это кричит самый из умных умный, и крик его - культурологический. На этот крик отзываются порой вороны, они уверены, что речь идет о падали. Вороны кружат над мусоркой, соблюдая субординацию: самый жирный, с червями, кусок хватает обыкновенно черный ворон. Он же Национальный Лидер. Умный при этом подумает: "Серый, серенький... родной!" Подумает и тут же наступит на свой, болтающийся между, ног язык: "Ц-ы-ы-ы-ццензура!"

Ум домогается порой невозможного: своей, с видом на приятное времяпровождение, отставки. Уму не постичь примечательность собственного отсутствия, не споткнуться о придорожный указатель "Дальше некуда!" Ум крутит вхолостую колеса, изнашивает до дыр униформу, скучает. Ему бы, уму, еще больше ума! Он не прочь, ум, прихватить с собой какую ни есть дурь, становясь тем самым весомее, пестрее, и нет такого навоза, дерьма или блевотины, которые не сгодились бы уму для подтверждения его, ума, исключительности.

Ум помогает выбиваться в люди, не говоря при этом "из чего", но только "куда". Вот и умную студентку тоже выбило: вышибло! Студентка застряла в дверях, ее толкают, жмут к стене, наступают на ее лучшие намерения, и все это ради того, чтобы и с нею произошло то же самое, что и с остальными: растворение в *среде*.

В среде, будь ты соленым огурцом или уроненным в банку денежным знаком, непременно надо сойти на нет, принять тот же, что и окружающий рассол, вкус, цвет и запах. Главное, чтобы тебя не выплеснули. Чтобы не заподозрили твою огуречность-денежность в намерении улизнуть из банки.

Огуречное счастье, оно же денежное, завидно. На него засматриваются с пеленок, на эту болтающуюся перед носом погремушку, и нет такого родителя, который не дал бы тебе в направление этого счастья пинка. Умная студентка знает, например, еще из детсадовского опыта: в людях ты виднее, ты торчишь, тебя приходится объезжать. И пахнет от тебя в людях чем-то полезным. Ты становишься, короче, нашим. Становишься фотогеничной групповухой на фоне церкви и нефтяных скважен, олимпийских деревень и кремлей.

На-а-а-а-а-а-а-а-ашшшшшшш!!!

Наши, как правило, побеждают. И нет никакой разницы в том, побеждают ли они соседа или самих себя: их победа абсолютна и однозначна. Их победа есть раз и навсегда вынесенный смертью приговор: приговор жизни. "Ах, что это за жизнь, - интеллигентно заметит смерть, - стоит ли она того..." И нет у жизни духа, чтобы ответить.

Но что же с умной студенткой? Она победила другую умную студентку в умнейшей, на которую только способна культурология, дискуссии: "Моменты власти, более важные, чем мораль". Пафос этой дискуссии хотели поначалу определить как кэгэбэшный, классически настукательный, но тут же опомнились, теперь ведь какая-никакая демократия, и дали деру в " здравомыслие и разумность", чем немедленно угодили олимпийской деревне и нефтяной кремлевской скважине.

В дискуссии сошлись, вопреки культурологическим представлениям о географии, два берега одной и той же реки, защемив при этом течение: много возмущенной рыбы оказалось на суше, а та, что успела зарыться в грязь, молчит. Рыбий интерес, то есть, собственно, вода, она же стихия, она же, в конце концов, жизнь, в дискуссию не был допущен: вода есть тавтология состояния текучести, безвластия. Вода - это то, что норовит проскользнуть между ног. Ее не удержишь, как, например, валюту. И если застрявшей на суше рыбе хочется обратно в воду, пусть выбирает одно из двух: либо лёд, либо рассол. Та рыба, что молчит, зарывшись в грязь, делает вид, что мертва, иначе ее сочтут аморальной. Вообще-то быть мертвым - идеальное, с точки зрения власти, времяпровождение. И власть думает при этом о себе: что-то громоздкое, тухлое. Ее можно было бы назвать трупом, если бы до того как им стать она была бы чем-то иным: она есть перманентный акт смерти. И если труп еще на что-то годится, кормя собой червей и жуков, то власть, в лучшем случае, бесполезна. В худшем же случае, а это как раз наш с вами случай, власть перекрывает реки лозунгом: "Теперь у нас есть на это *моральное* право!" А раньше как будто не было. Как будто всё катилось к черту само собой, а мы только стояли на подхвате. Как будто мало было подходящих для увековечивания *нахрапа* абстракций. Нахрап есть момент истины власти, ее курантность и звездность. И пусть мораль еще кое-где попискивает, тшась припомнить свое подлинное имя... ах, не вода ли?... не жизнь ли?... мы хотим только одного: натаскать побольше рыбы. Мы, умные, хотим именно этого.

Труднее всего приходиться к выводам о самом себе. И мы охотно спросим: да и зачем? Что обнаружишь ты в себе, кроме пустоты?... еще что-то?... что? Выброшенного из дома ребенка, безмянного, забытого. Мы не хотим знать, кто его отец, а мать, как нам сдается, давно мертва. И мы гоним его прочь, нам претит вид голодающего, мы ведь люди культурные. Мы гоним его прочь. Мы, наши.

Переезжать поздней осенью, это своего рода недуг, рецидив весенней неопределенности места, да просто крик против ветра: "Твои выводы не верны!" Ветру-то что, он несется дальше, распространяя новость о том, что жить тут еще можно, даже когда придут тебя убивать. Ветру дороже всего, конечно, преграды, иначе бы он ничего о себе не узнал, просто дуя. Ветер не враг затишья, он в тайне любит эту свою усталость, хотя про него и говорят: сник. Следом за ветром тащится по равнине туман, занавешивая каменные, среди полей, островки, добираясь до моховых и вересковых подушек на скалах. Туман течет, как разлитое на рассвете молоко, пытаюсь доказать воздуху, что тот недостаточно еще тяжел, чтобы им отказывались дышать, и воздух, не имея других оправданий, ссылается на птицу. Все они, перед тем как отбыть в лучшие для зимовья места, считают своим птичьим долгом напоследок что-то чирикнуть, долбануть стеклянную дверь, а то и просто залететь в комнату, добровольно давая себя поймать, становясь синицей в руке. Они-то ведь все сюда вернуться, кто из Англии, кто из Испании, найдут на дереве записку с новым адресом... Птицы.

Туман доползает до самой дороги, ложится в борозду от проехавшего трактора, замирает, как вор, как разведчик. Он готов прямо так, лежа, породниться с облаком, нанизанным на верхушку ели, сойтись с ним на предмет обоюдного похолодания в угоду третьему, снегу. В небе хаос неприбранной постели, сбитые на сторону одеяла, мягкие простыни, безголовость подушек. Еще немного, и небо себя, пожалуй, уронит, растрясет куда попало пролезшие в швы перины пушинки... снега!.. снега!.. снега!

От старых обжитых мест остается лишь скомканная квитанция, засунутое в печку извещение: "Вернись!" Старое не охватит собою новое-неизвестное, не вынуждает у будущего его карты и расписания. Другое дело, смотреть сверху вниз на пройденные уже маршруты, смотреть и удивляться собственной настырности: вот ведь куда занесло!

Избыток темноты в конце ноября сродни напоминанию об экономии: довольствуйся тем, что есть, не возмущайся, не требуй и, самое главное, не надейся. Надеяться можно на почтальона, на мусорщика по вторникам, но чтобы донимать надеждой тьму... чтобы выцарапывать из нее, глухой и незрячей, полоску-другую света... Одна только дорога, она по-прежнему куда-то ведет, не будучи при этом обеспеченной ни асфальтом, ни фонарями. Она ведет, быть может, к встрече с другой дорогой. Мимо зеленеющего в холодной сырости мха и перистых папоротников, мимо растерзанного ветром поля...

Дорога не готова еще по-настоящему овдоветь, ей все еще мил прохожий, шастающий туда-сюда фонарщик.

Пять светящихся точек, голова и копыта, съеденный темнотой всадник. Лошадь не знает, что видна на дороге издали, хотя люминисцирующие на ногах полоски и вызывают у нее недоверие как к намерениям всадника, так и к намерениям первого встречного. Зачем в темноте с кем-то встречаться?

Темнота примеряется своей безразмерностью к остаткам серого над лесом неба, норовя прищемить на горизонте запоздалое оранжевое пятно, и если даже и есть на нее какая-то в мире управа, поздняя осень об этом молчит. "Вот, - сознается она со вздохом, - стало еще темнее..."

В темноте фыркает лошадь, всадник поворачивает вспять, только пять светящихся точек виснут новогодней, с расшатанными вершинами, звездой над мерзлой дорогой.

- Монтсеррат... - зябко выдыхает в темноту Серафима.

Она идет к дому мимо дровяного сарая и накрытых брезентом распиленных стволов, и если у кого-то есть теперь в темноте укрытие, да, капля-другая света, так это очевидно у нее: ей есть куда вернуться. Вернуться в свое же одиночество. Другие глазают по сторонам, впутываются в союзы и браки, сбиваются в партии и стада, и все это только для того, чтобы при случае призвать другого к ответу. Опереться на другого, подпереть им свои руины. И другой, конечно, делает то же самое. И все это вместе едет к черту.

Если бы в мире нашлись подходящие для брака брачные одежды, их следовало бы шить из одиночества.

Одиночество само ставит перед собой вопрос и ищет ответ в себе, оно не нуждается в консультациях или аплодисментах. Оно довольствуется пространством "я сам", в нем оно наполняется радостью. Оно втайне посмеивается над старческими замашками эгоизма, оно не склонно принимать старость на свой счет. И хотя поэты любят петь о его, одиночества, черных цветах, само оно от этого нисколько не чернеет. Потому что оно, одиночество, есть ожидание общности, ожидание любви, ожидание брака.

Лестничный Франк первый пронюхал о переезде Хельге. У него с собой пачка кофе, ему не жалко, он таскает кофе у Монтсеррат. Таскает бумажные тарелки, свечи, забытые в морозильнике котлеты, таскает всё. И это спасает Франка от бедности. Бывает, он моет полы, пылесосит ковры и мебель, стрижет в саду кусты, и тогда Монтсеррат платит... она оплачивает его счета за электричество, воду и телефон.

- Бабы, - хихикает Франк, - они все норовят сесть тебе на шею! А шея-то, она одна!

Франк долго смеется, и Хельге тоже похохатывает: какой дурак! И Франк смеется над Хельге, поскольку тот, очевидно, такой вот дурак, что ведется на его смех... Они хохочут так весь вечер, пока не оплывают на комоды свечи и в печке не догорает последнее полено. Но кофе еще есть, есть к тому же украденный у Монтсеррат шоколад. Франк предлагает Хельге купить лодочный мотор, он валяется в сарае у Монтсеррат... купить, короче, краденое. Может, Хельге купит у него гаш?.. Хельге смеется: нет, гаш ему не нужен. Когда-то, в Марокко, где все поголовно курят гаш на улицах, ему предлагали травку бесплатно, как, впрочем, и все остальное: персики, сыр, виноград, хлеб. Хельге принимали там, в Марокко, за святого: только святой ведь и мог проехать в одних трусах и на велосипеде от Осло до Сахары. Но Хельге и тогда не хотел пробовать гашиш, как не хочет и теперь: ничего ведь, скажем так, нового в этой дьявольщине нет. На это Франк только хихикает и тут же сворачивает себе самокрутку, и сладкий дымок виснет над чашкой свежесваренного кофе. Хи-ха-хо.

- Я знаю, - бормочет Франк навстречу приятному в голове туману, - Монтсеррат хочет вывести тебя в люди. В люди!!! Ха-ха-ха! В людях ты станешь, пожалуй, королем! Станешь наконец известным, уважаемым...

- Плевать мне на уважение и известность, - без всякой охоты замечает Хельге и громко зевает. Франк может болтать все, что хочет, может взять из сарая пустые пивные банки, сдать их в магазине.

- Мы могли бы заработать вместе сто тысяч... - бормочет, хихикая, Франк, - ... ты и я. То есть, собственно, ты, с твоим песком и твоим чертовым аппаратом... Сто тысяч!

Хельге вопросительно, в упор, на него смотрит:

- Ну?

- На ремонтной верфи стоит корабль, старое пожарное корыто, с него надо смыть краску.

- Смыть в море?

- Именно.

Хельге молчит, за это можно взять и двести тысяч. Можно в море все это и не смывать, но это будет стоить еще дороже. Франк, разумеется, половину возьмет себе, по бедности, но и того, что останется, хватило бы на... на выплату долгов, умело подsunуных ему Франком. Освободиться наконец от проклятого долга!

- Сто пятьдесят тысяч, - хмуро предлагает Хельге.

Франк удовлетворенно хихикает, наливает себе еще кофе, всасывается в размочаленный зубами окуроч. Он знает, что Хельге не самый последний дурак.

- Хи-хи-хи! Хо!! Ха!!!

Серафима слышит это из ванной, и запотевшее зеркало корчит гримасы, съедая расплющенный о стекло нос. "Еще раз... - в ярости думает она, - ... ну, еще раз!"

- Хи-хи-хи-хи-хи!!!

Ее вышибает из ванной взрывной волной проясняющего мысль веселья: скорее, пока жива эта радость! Радость установки *всего* на свои места. Радость меткого, в суть дела, попадания. Скорее!

Кофейная чашка взлетает, догоняя пар, к самому носу Франка, опрокидывается ему на плечо, заливая кофейной гущей грязный ворот свитера, и следом за нею в воздух взмывает дымящийся бычок, и Франку остается только рвануть из-под себя, от неожиданности и досады, стул.

- Сатана!!!

Он пока еще не уверен, что Серафима проделала все это сама, с помощью одной лишь сомнительно легкой оплеухи. Он пока еще ждет от Хельге разъяснений, да, извинений за столь явное пренебрежение к их долголетней дружбе. И пока он медлит и ждет, кто-то хватается облитый кофейной гущей ворот свитера, сдергивает свитер с края стула вместе с приятным туманом и размягчившимся в этом тумане телом, тащит кайфующее тело к двери, пинает тело ногой в зад... Франка никто еще не пинал в зад.

- Сатана!!! Дьявол!!!

Хельге глотает остывший во рту кофе, медленно встает со стула. Оно и вправду, женщина на корабле приносит беду. Ни денег, ни старой, проверенной *долгами* дружбы. Выйдя на террасу следом за Франком, он неуклюже отряхивает у него со спины кофейную гущу.

- Она ведь не убила тебя? - со всей, на которую он только способен, кротостью спрашивает Хельге, - Нет?

- Сатана!!! Дьявол!!! Сталин!!!

Темнота в ноябре не позволяет сравнивать себя даже с нулем, в котором свет пока еще жив: она зашкаливает за эту последнюю границу, уползая в подвал подьистории. Темно. Безнадежно. Руки, привычные что-то искать, все еще шарят наобум среди мертвых листьев, пытая порнографию нагих стволов напрасным, с точки зрения роста, вопросом: когда все это кончится? Когда наконец не надо будет уже умирать.

Умирает серое, подкрашенное дешевой лиловой помадой небо, умирают прилипшие к горизонту облака, умирает само желание примечать смерть. И смерть расторопно зачисляет себя в *авангард* кое-как ковыляющей во тьме жизни. Эти немые, черные дороги, эта бредущая по ним бездомность.

С трудом поднимая из ночи тяжелую голову, ноябрьский день устало роняет ее обратно, и только горящие свечи, только пламя в печи еще и может что-то о свете сказать, что-то припомнить или просто выдумать. Смотри на этот огонь: таким ты когда-то был сам, и должно быть в раю. Тебе, остывшему, не так-то легко теперь признать детство и переходный, к уму, возраст, и еще труднее свыкнуться с догадкой, что горение есть свойство духа. "Это ведь я... - с трудом кумекаешь ты в темноте, - ... горю!" И всё какое есть в мире топливо, включая макулатуру и березовые дрова, немедленно тебе на это возражает: "Горит *материя!*" Материя, она же потом и строит из пепла заманчивые исторические перспективы, не снимая при этом с *тебя* никаких мерок. С ее материальной точки зрения, с точки зрения политика, школьного учителя и пытающегося их обоих лечить врача, твои размеры есть не больше чем предрассудок не успевшего опохмелиться попа: размеры А4. И даже если в дело вмешивается ученый и от имени частицы Хиггса придирается к бесконечно малому, оно и тут материя ставит его на место: это все та же ее, материи, пыль. Поп, правда, опохмелившись, уточнит: " В году, помнится, восемьсот шестьдесят девятом, мы упразднили в человеке лишнее: не полагающийся ему по рангу дух. Человек есть поэтому... ну что ли скот. Да, зверь." И темнота услужливо подсказывает: "Упростили ситуацию, теперь не надо ни с каким духом считаться!" Она уступчива, темнота, услужлива, она охотно поставит на пустое, в отсутствие духа, место свое серенькое, темненькое... и ты узнаешь, конечно, *свой* страх. С ним-то ты и тащишься дальше по темной дороге, путая повороты с историческими этапами. Страх советует тебе припасть к хрустящей льдом колее, принять зимнее как неизбежное, как последнее из всех времен года. "Огня..." - выдыхаешь ты напоследок, и некому в окружающей тебя зиме чиркнуть спичкой.

На новых местах, куда только еще предстоит переселиться, есть кое-какие приметы будущего: удивление, узнавание. И хотя ты пока еще тут, оттуда уже шлют весть: это будет, будет... И невтерпеж узнать, что же все-таки будет.

Серафиме снится Черное море.

Оно в общем-то синее, но глаз видит в пейзаже одно только золото. Глаз напросившегося в греки. Красногрудый парус варяжского корабля спешит слиться с закатом, и солнце, узнавая себя в круглом лице деревянной морской девы, замирает на миг, готовое нырнуть за горизонт. Солнце водит по морю корабли, советуясь по ночам со звездами, слагая из песен ветра единственную, на все времена, мудрость. Оно, солнце, всегда в пути.

Старый монах смотрит из-под руки в сторону далекого пока еще берега, и по его рыжеватой-седой бороде катится слеза: он снова в этих краях! И кто-то, может, все еще ждет его на маленьком скалистом острове, высматривая в золоте восходов и закатов округленный ветром парус. Годы мучительного ученичества и опасных морских странствий, они обращены к этому единственному в мире клочку земли, где можно наконец принять в себя покой. Не потому ли так много соли в этой стариковской слезе? Соль невозможного, неосуществимого.

Он много видел, но никогда не был торговцем, как, впрочем, и воином: он только смотрел, смотрел... Солнце дойдет до золотой полосы горизонта, впереди у него ночь и звезды, и не в море оно ныряет, нет, ему даешь приют *ты*. И не может поэтому темнота глотать без разбора людские судьбы.

Монах не везет с собой золота, и никто не позарится на его ветхий, с капюшоном на глаза, плащ. Под плащом меч и кольчуга и обещание сберечь в пути чужого ребенка. Девочку должно быть охраняют как здешние южные, так и северные боги: ее не унес в морские волны мор, и дважды нападавшие на корабль варяги не заметили ее, зарывшуюся в овчарне в стог сена. Пусть и дальше боги заботятся о ней, монах попросит их об этом в своей тихой молитве, попросит солнце дать этой девочке имя. Солнце, оно одно и дает людям их подлинные имена. Солнце послало земле великую на все времена весть: пришел тот, кто носит имя, написанное на нем, которое знает только он сам. Понять это имя можно, лишь впустив пришедшего в свой дом, сказав: "Это же Я!" И пусть этот чужой ребенок узнает монахову тайну: города будут построены не от земли к небу, но с неба до земли.

Девочка помнит того, кто привез ее на корабль: она узнает его в золоте облаков, в золоте бегущих мимо корабля волн. Она знает, что ее жизнь, короткая или длинная, не принесет ей мужа или сына, жизнь в монастыре. Одно только солнце, сжигающее на закате корабли.

Берег, на который смотрит из-под руки старый монах, уплывает медленно прочь, над мачтой кружит буреветник, зовя пронзительным писком непогоду. И хотя это не первый для корабля шторм, мужчины просят бога о быстрой и безхлопотной смерти, кто-то считает тайком монеты, кто-то привязывает себя веревкой к мачте. Есть конечно и другие берега, есть другие к тому же намерения. Есть в конце концов смирение и покорность. Старый монах смотрит из-под капюшона на девочку: разве не так, играя, жизнь сжигает свой самый последний день? По палубе катятся, одна за другой, черные волны, смывая за борт бочки, скамейки, парусиновый навес, волны черного, как непогода, страха. Только монах, он один и печется теперь о канувшем за горизонт солнце: зовет его обратно. И девочка, вцепившись в его дырявый плащ, повторяет за ним уже становящиеся понятными ей слова.

Солнце застало корабль возле скалистого греческого берега. На белом песке сушатся опутанные водорослями сети, в лодке спит, укрывшись козьей шкурой, рыбак. Он должно быть устал и не слышит, как кто-то идет по песку, и только когда звякает, наткнувшись на камень, меч, рыбак поднимает голову. Этот старый монах слишком дряхл, чтобы быть вором, и вцепившаяся в его руку девчонка слишком мала. Остановившись чуть поодаль, старик снимает с себя кольчугу, отстегивает меч, зачем это ему, монаху. Он говорит на том же, что и рыбак, языке, и он хочет оставить здесь девочку. У рыбака самого девять детей, пусть будет и десятый. И этот варяжский меч с кольчугой, им нет цены. С девочкой остается приданое, берестяная карта и мешочек с корнями вереска, да еще благословение монаха. Остается еще имя, Кнотт.

Она стала гречанкой на этом скалистом острове, пропав навсегда под оливковым загаром, дав солнцу выбелить волосы, спалить воспоминания о севере. Она пытается вспомнить мать, но слышит только скрип снега... у нее нет больше матери. Она приставляет к уху ракушку, надеясь хоть что-то услышать, но к ней приходит только шум моря. Синее, синее море! Она смотрит с каменистого холма на рыбацкие паруса: так легко

им на ветру, так мало в них привязанности к прилепившимся к скалам домишкам. Она смотрит и ждет. Гюннульф Скальд был ее отцом, он оставил ей приданое, и кто-нибудь наверняка объяснит ей, для чего нужны берестяные карты. Йостайн?.. Может, он уже добирается к ней сюда? Он ведь согласен, чтобы она взяла его в мужа. И море шепчет в ракушку возле самого уха: "Потом... потом... потом..." Потом, когда проплывут мимо все парусники, когда блеющее стадо коз скатится со склона и поднимет пыль на дороге, когда из жара греческой пляски выплеснется грусть, когда расцветет миндаль, когда ... Она не знает, когда, она просто ждет.

Она прожила на острове семь лет, и тогда снова явился монах, совсем уже дряхлый старик. Он привез весть с севера: Амунда больше нет, нет Гюннульфа Скальда и нет Йостайна, и кто-то должен за них молиться. Кто-то должен молиться за потерянных и убитых, молиться за еще не родившихся. Кто-то должен возвращать солнце обратно.

Старик увез ее в монастырь, стоящий как крепость на соседнем скалистом острове. Там звонят над морем колокола, и нет других оттуда путей, кроме как пути в небо. "Тебе, Кнотт, дана эта радость молитвы. Тебе дана к тому же память, и с нею верность. Верность ожиданию. Пройдет эта жизнь, и ты догонишь их, давно о тебе тоскующих. Ты принесешь им весть о свете, который теперь в тебе, о котором ты говоришь "Я". Свет того, кто пришел, кто носит имя, написанное на нем, которое знает только он сам!"

Одиннадцать лет молилась она в маленькой келье, и только прибор за сложенной из валунов стеной слышал ее слова: "Отец, я здесь... здесь..."

Ее тоска расцвела в келье бессловесной грустью, и любовь подала ей наконец весть: "Я согласна вступить с тобой в брак, Йостайн". Одиннадцать лет смотрит она сквозь толстую решетку, ей видно только море, смотрит и молится. В келье есть тайный ход, узкий каменный лаз, населенный крысами, и если набраться смелости, можно выйти прямо на берег. Она ходит туда тайком, ночью, когда нет луны и вода не подступает к облепленным мелкими ракушками ступеням. Она знает, что там, за валунами, спрятана лодка, знает, что Бог с высоты своих колоколен видит ее воровскую мысль: уплыть! И она только молится, молится... и волны, привычные считать утраченные человеческие жизни, дарят ей свое вечное, целительное: "Потом... потом..." Они поют, разбиваясь о камни, о вечной перемене имен и судеб, о вечной жажде среди изобилия воды.

Потом, когда она в последний раз произнесет свое имя, больше уже не нуждаясь в нем, когда сядет в лодку и будет грести, пока берег не пропадет из виду, когда бросит в воду не нужные ей больше весла, она скажет Йостайну: "Ты ведь давно уже мой!" На дне лодки будет гореть масляная лампадка, и она развернет в последний раз варяжскую берестяную карту: туда!.. ей надо туда!.. Окунув в масло сухой вереск, она успеет сказать: "Отец, я возвращаюсь..." И когда огонь схватит подол ее черной туники, она проглотит подаренный старым монахом восковой катышек...

Серафиме снится захваченный морем город: под окнами плещутся волны и можно сесть на корабль прямо у входа в подъезд. Дома-причалы, они сами не прочь сняться с места, с этажами, балконами и лестницами, они жадно глазуют на скользящие мимо них парусники, и волны возле каменных стен глотают то матовую мшистость нефрита, то прозрачную зелень граната, то лед хрусталя... они живут, эти волны, обещанием растворения в себе всего. И стены должно быть тоже станут их добычей, как ни прочна их кладка, всё уйдет в воду. "Теперь я, - мягко нашептывает мох задремавшему на нем ангелу, - теперь я не камень, не гнейс, не гранит, теперь я растение!" И дышащая в лицо ветру сосна роняет в воду со своей высоты: "Поосторожнее с моими корнями, это же нервы!" И ставшие восклицательной вертикалью животные подтверждают, кто орлиностью, кто тигристой, отдельность своей к тебе устремленности: "Это я!.. я!.. я!.."

Все они придут к Серафиме, камни и листья, рыбы, орлы и волки... Вернутся к себе домой. Кто-то придет в темноте, надеясь только на свою преданность, кого-то приманит свеча.

Темнота не спрашивает на исходе ноября о каком-то для себя исходе: она воцаряется. Становится своей же навязчивой тавтологией, диагнозом неизлечимой болезни, приговором. Она, темнота, неутолимо жаждет, и самая последняя ее, самая первая надежда есть именно *ты*. Она не прочь выпить тебя до дна.

Над темной дорогой, сворачивающей от поля к лесу, завис в великолепии своего многозвездия Млечный Путь: брось эту застылую колею! У кого-то наверняка достаточно под крылом воли, чтобы вот так, с ровного места, взмыть. Но даже и тут, в темноте и промозглости, можно, присмотревшись, увидеть, как сходятся вдаль обе дороги: сходятся в тебе.

28

Каждый получает именно то, чего он больше всего на свете хочет. Хотя большинство не узнает своих подлинных намерений, да просто отворачивается от зеркала. Большинство, а это ведь всегда *решающее* большинство, смотрит, как делает сосед, и делает, как *лучше*. И хотя самое лучшее, что могло бы с большинством случиться, это как раз коллективное самоубийство, никто об этом не проговорится, *некому*. Кто-то рисует по привычке звезду, насаживает ее на указательный палец, и сразу становится ясным до этого неясный путь: от и до. От нашего "мы" до ихнего "не-мы".

Звезда, если она не свалилась с неба, интеллигентна и расторопна, с ней *считаются*. Считаются с ее положением, конstellляцией среди светил, и просто с ее размерами: толщиной и высотой. Звезда была, есть и будет плоской, как раздавленная самосвалом медуза. Специалистов это давно уже устраивает, и нечего тут мудрить, хотя бы даже спяну, о троящейся в глазу прямой линии: один равняется трем. Один человек равняется трем нелегально под его именем живущим? Легально?! Специалист загибает пальцы, считает, и выходит, что законных жильцов только двое: прописанное по знакомому адресу тело и слоняющаяся без прописки душа. С этой бомжующей души спроса никакого нет, да и польза от нее какая... Какая? Душа, положим, рассуждает, кумекает, ну, подгоняет под ответ, но чтобы за что-то *отвечать*? Чтобы сознавать?.. сознаваться?.. Специалист готов вытряхнуть душу из тела, только бы не наскочить на вертикаль духа... ага! Вот оно, неизвестное третье!

Об этом третьем-лишнем осторожно заводит речь Леонид Макарович Мулярчик, заводит на ученом к тому же совету, и умному ясно, что с умом тут что-то не так: "О чем это тут болтают?" Культурология, не будь она наукой, сошлась бы немедленно с "Ё моё" в своем профессиональном оптимизме: "Повышение цен! Повышение уровня!! Повышение всего!!!" Но культурология чуть-чуть, как и всякая наука, пессимистична, чего-то ей недостает, что-то, наоборот, кусается. А уж о застрявших в зобу рыбьих костях она, культурология, молчит: слишком уж все это некультурно. Ну как, к примеру, не подавиться проглоченной вместе с *либидо* промасленной этикеткой *изма*? Изм для культурологии все равно что соль для воблы: средство против гнили. "Против безвкусица", - подсказывает червяк. Он мог бы, червяк, окажись он однажды спрошенным, засвидетельствовать в пользу того *душка*, который ведь и есть дух разложения. Червяк расслоняливает рыбки кишки и жабры и, оставаясь патриотом, мечтает однажды стать бабочкой... другие же становятся: "Наемся гнили, вырасту, взлечу..."

Считая червяка насекомым, культурология уточняет при этом: "Низшее". То есть, не мы с вами. И если мы чем-то отличаемся от вас, так это видовой, *нашей*, самобытностью, нашим, ничуть не похожим на ваше, "ура". Случись нам всем, то есть и вам вместе с нами, разом гаркнуть: "Ура!", и оно, пожалуй, это "ура", отзовется простуженным голосом: "Я тут, не шумите..." В мире становится прохладно, отовсюду дует, и нет уже ни у кого никакой родины, хотя есть национальное самоопределение, суверенитет, независимость. Есть и другие культурологические удобства: национальный интерес и прилагающееся к нему рыночное обустройство мира. Делай как мы и будь нашим.

Культурология не слышит скрежета ура-вибраций, она к ним давно привыкла. Другое дело, если грянет вдруг тишина... Как тут не заткнуть уши! Как не броситься науток от собственного голоса: "Я-я-я-я-я!!!"

Леонид Макарович Мулярчик чуть было об этом не сболтнул: о своем накануне ученого совета странном сне. Сны хороши уже тем, что их никто не подсматривает. Никакие, представьте себе, службы безопасности. Тело храпит под одеялом, а ты в это время... и куда тебя только несет!

На ученом совете Леонида Макаровича осторожно спросили: это он к чему? И он, метя прямо в ректорское подслушивающее устройство, скромно сознался, что стал *умнее*. Это он к тому, что можно стать *еще умнее*. Можно оставить свой ум в наследство, можно положить ум на текущий счет, можно заранее сорвать с собственного ума проценты, дать под процент займы, заложить, перезаложить... Вот они, культурологические просторы! Едет по пашне Вова, едет уже лет сто, и некуда ему, пахарю, свернуть: эй, посторонись! Все думают, что Вова лежит в мавзолее, румяный и свежий, а он тут, и притом живет всех живых, он обустроивает *по-новью* престижные пустыри. Тому, кто недостаточно интеллигентен, понятие *вовость* говорит разве что о сладости власти: хрен слаще редьки. Интеллигентный же ум давно уже догадался, что слаще трупного запаха ничего в мире и нет: эй, вы, на кладбище! Интеллигентность созывает в полном составе *вечное политбюро*, и те, кому уже стреляли в затылок, могут поклясться вышибленными мозгами в преимуществе *вовизма* перед клинической паранойей: излечению не подлежит.

Зря всё это Леонид Макарович Мулярчик сболтнул, вот ведь до чего доводит ум. В конце концов даже и средний паршивый ум упирается в стену, считая бухающие по ней выстрелы: уму нужен выход. И некого уму, кроме себя самого, спросить: куда?.. где?.. как?.. Стена забрызгана кровью, штукатурка раскрошена пулями, кое-где видны следы долбивших стену лбов. "Не туда мне, - кумекает ум, - не здесь..." Были ведь и *великие умы*, и стена не пустила их дальше. Леонид Макарович Мулярчик смотрит на умную студентку, смотрит в протокол ученого совета, смотрит на собственный, от и до, портрет, смотрит сквозь свою же ученую улыбку... нет, это ему вовсе не надоело, это *облагораживает*. Смотреть вот так, с прищуром, орлино, хищно. Пожирать глазом материю. Так, чтобы ничего в ней, материи, кроме нее самой, не оставалось. Глаз доложит уму: пусто. Ум подскажет глазу: мертво. "Культурно", - подскажет культурология. Она-то, культурология, и заказывает модные в этом сезоне памятники: пентаграммы и гексаграммы. Звездная культурология! По кладбищу Красной площади едут на танках наши, вселяя в покойников уверенность в том, что не напрасно, товарищи, не напрасно... наши ведь еще придут. Придут, чтобы проверить нас на вшивость. Проверить на преданность нашей, от "Ё моё", идее. Углубляйся в материю! Рви на себя ресурсы! Благоденствуй! Смело шагай в темноту, тебе уже нечего терять!

Ученый совет тем и учен, что наш ум затмевает собою твой: "Не твоего, - уточняет наш ум, - ума дело". Ум, к примеру, умной студентки добывается из подслушивающего устройства, ум ученого секретаря - из найденного в мусорке прошлогоднего протокола. И если бы не странный накануне совета сон, Леонид Макарович Мулярчик охотно согласился бы с тем, что его собственный ум, это никакая не частная собственность и даже не малое предприятие, но *вовификация* рассудка. Откуда, кстати, приходят разоблачительные сны?

Леонид Макарович увидел себя во сне *отходящим ко сну*. То есть готовым уже куда-то провалиться, но все еще вмятым в рыхлость матраса и подушек. Постель была та же, на двоих, и жена была на матрасе та же, давнишняя. Только намерения у сна оказались иными: уложить в постель третьего. То есть лишнего. Да вот он и сам, подходит на цыпочках, оглядывается... Сразу видно, что вор. Хотя что-то есть в нем знакомое, приятное. Пытаясь вспомнить, где раньше он этого типа видел, Леонид Макарович чуть было не проснулся, толкнув давнишнюю жену под общим ватным одеялом. Но нет, так и

не вспомнил... черт! И тот, будучи лишним, скромно стал возле постели, укоризненно уставившись на Леонида Макаровича.

- Ведь ты меня не узнаешь, - сиплым, простуженным голосом начинает он и тут же кашляет, густо сплевывает прямо на коврик, утирается рукавом пиджака. Леонид Макарович замечает, что пиджак ему маловат, рукав еле доходит до костистой, волосатой ладони... "Ну и лапы, - сердито думает Леонид Макарович, - прямо как у черта!"

- А между тем, - продолжает тот, - мы с тобой одной крови!

Леонид Макарович и раньше встречал попрошайек, проникавших под видом дальних родственников на кухню и в спальню, и стал уже прикидывать, сколько этому негодяю дать. Или растолкать давнишнюю жену?

- Ты ведь, насколько мне известно, еврей?

Вот оно в чем дело. Леонид Макарович хотел было по привычке возразить, сославшись на облагороженное отчество и отсутствие в новом паспорте пятой графы, но вместо этого только буркнул:

- Какого черта...

На изможденном, щетинистом лице гостя дернулась слабая улыбка, отяжеленные мешками веки дрогнули над воспаленными, старческими глазами. "Старик, - подумал Леонид Макарович, - а шляется". Он подумал еще, кем мог бы быть этот тип по профессии, но так ничего и не придумал. Он встречал подобные, с тем же выражением *ума и скуки*, лица в разных местах: в зубоучебных поликлиниках, в жилищно-коммунальных отделах, на культурологических конференциях... Этот вертлявый, навеки прокисший, пребывающий *в курсе всего* тип. С ним не сведет счет ни одно мало-мальски серьезное предприятие, и даже там, где нет никакой серьезности, он подберет крошку-другую, он вечно голоден и всегда на ногах. Он не любит ни одной в мире женщины, но охотно живет со многими, и каждая из них ценит его *ум*. И дети, как правило, этот ум наследуют.

- Не надо фамильярничать, - бархатно осаживает гость Леонида Макаровича, - У черта тоже есть имя.

Он садится на стул, вытягивает на коврик ноги в стоптанных солдатских ботинках. Он, видно, много ходил пешком, ему бы разуться, переменить носки... Леонид Макарович вспомнил почему-то о древнем обычае мыть гостю ноги, вспомнил и поморщился. От солдатских ботинок разит свиной кожей, мятые брюки затерты возле ширинки, из кармана торчит грязный носовой платок. И тут Леонид Макарович наконец припоминает: это же Марек! Секретарь великого казачьего ученого совета, владелец собственного, с видом на реку Кубань, памятника.

- С видом на реку времени, - бархатно уточняет гость. Расшнуровав солдатский ботинок, он протирает его носовым платком, промокает платком слезящийся глаз, сморкается, - Я тут как дома, - доверительно добавляет он, - меня везде принимают.

- Как там... на Кубани? - ради вежливости спрашивает Леонид Макарович, - Аспирантура? Докторантура? Профессура?

Гость только бархатно улыбается: поток, поток... потоки аспирантов и докторов, да просто потоп! Всемирный, если хотите, потоп интеллигентности! И если вас сегодня еще не захлестнуло, завтра обязательно подмоет. И нет такой в мире рабочей скотины, которой было бы человеческое чужно: человеческое времяпровождение. Оно же времяотрицание, времясожжение.

- Время, - расшнуровывая второй ботинок, продолжает гость, - оно ведь не лишено интимности, частности, оно норовит стать личным, персональным... Знаешь, сколько мне лет?

Леонид Макарович только теперь замечает, что гость с ним на "ты", и это его коробит, он не настолько, гм, юморист. Сам он, конечно, тычет всем и тыкает, иначе разве будешь начальником. "Ты, - нередко напоминает он Достоевскому, - ты ведь, брат, не Толстой!"

- Мне, - сделав вежливую паузу и высыпая из ботинка песок, неторопливо продолжает гость, - скоро уже как две тысячи... Две тысячи проклятых лет!

Леонид Макарович орлино на него смотрит, сводит вместе кустистые брови, недоверчиво хмыкает. Он и сам про себя еще и не такое расскажет, было бы кому слушать. Бывает, несешь такое, что и самому хочется в это верить, и сам при этом думаешь: "Соври, ну соври еще!"

- И с точки зрения моего солидного возраста, - раздражающе неспешно продолжает гость, - еврей есть полная бессмыслица. И это я, - поставив оба ботинка на коврик и снимая носки, констатирует он, - это я даю еврею смысл. Например, тебе.

- Какой же, извините, смысл... то есть о какой бессмыслице Вы говорите?

Леонида Макаровича злит то, что он не может быть с этим чертом на "ты", злит скользкая недоступность самой этой чертовой интеллигентности. Не открыть ли глаза? Не растолкать ли давнишнюю жену?

- Вот ты, - нюхая снятый носок, удовлетворенно бормочет гость, - ты ведь наверняка уверен в том, что еврея по-прежнему ведет куда-то Яхве. Тогда как никакого Яхве у еврея больше нет! Не-е-е-ет!!! Никакого!!!

- С чего Вы это взяли? - хмуро интересуется Леонид Макарович и снова злится: повелся на эту отсебятину. При этом он вспоминает, что спит, и сон от этого начинает казаться ему интересным, так что просыпаться пока не стоит. Будильник на тумбочке догоняет, как может, улепетывающие в прошлое минуты, из минут склеиваются часы, из часов лепятся столетия... Страшно, хотя бы даже и во сне, подумать, что зачислен судьбою в специально для чего-то предназначенное стадо! Ну, для чего обычно держат стадо? Доить, ощипывать, резать. Овцы блеют, ножи-ножницы лязгают.

- Я всегда был самым среди евреев умным, - выворачивая носок наизнанку и ища дыры, охотно сознается гость, - и кому, как не мне, было понять, каков на самом деле замысел Яхве: оставить стадо с носом! Конечно, нос был особым, еврейским, *данным свыше*, и никто не рискнул бы сам себе такой нос приделать. К носу прилагалось чутье на всякого рода материю, и чем дальше, тем глубже втыкался а нее нос, так что оказалось в конце концов очень даже удобным стоять на носу и с высоты своего носа наблюдать за ходом дел. Все, конечно, были довольны: Яхве светит по ночам с луны, и причем только евреям, а те в это время спят. Умные запоминали сны, чтобы потом, проснувшись, *комментировать* увиденное, и я... - тут гость скромно отвернулся и незаметно почесал о коврик невымытую пятку, - ... подсказал им, что это ведь и есть *религия будущего*: не слово, но комментарий к нему. Эти мудраки... извините, мудрецы по сей день *толкуют* увиденные во сне законы!

Леонид Макарович мог бы и сам вот так отлупить еврея, выбирая, конечно, места помягче и не ломая при этом костей. Но чтобы *по сути?*.. По сути никто ничего никогда о еврею не говорит, при этом болтая всласть о чем угодно. И все это только потому, что еврей обижается, когда его называют евреем. Или: *что-то* в нем обижается, протестует, что-то не желает им больше быть. Что???

- Мудраки... то есть, извините, сами понимаете... - гость слюнит мятый носовой платок, трет пыльный, в морщинах, лоб, - ... берут за основу всего *принцип крови*, за основу брака, политики, государства: кровь должна быть *чистой*. Вот ты, к примеру, - гость устало смотрит на Леонида Макаровича, - не произошел ли ты от согрешившей с почтальоном бабушки? Не стирала ли твоя мать трусы в одолженном у соседа тазу?

"Откуда он все это знает?!" - с возмущением думает Леонид Макарович. Он слышал кое-что о своей бабушке: как семеро налетчиков в Одессе отобрали у нее честь, и поскольку честь была дедушкиной, он дал бабушке "за такие штучки"... и так далее. Никто не может поэтому исключить, что в крови Леонида Макаровича плавает всякий мусор: греческое, молдаванское, гуцульское...

- Мудраки, сами понимаете, - продолжает гость, - мудрили насчет окружающего их мусора не одну тысячу лет, и Яхве светил им все это время с луны, прожигал насквозь их

мозги: "Рассуждай, или ты не еврей!", выжигал всякое сомнение или неудовольствие: "Кровосмешение или смерть!" Яхве работал над евреем, принудительно загоняя его в абстракции, гнал кнутом целые поколения, без передышки и без поблажки, гнал прямо на Голгофу...

Темные глаза гостя мечтательно загорелись, на отвислой нижней губе собралась пена слюны. "Может, он просто антисемит?" - с разочарованием подумал Леонид Макарович и потянул за край подушки под головою храпящей жены. Он подумал еще, что антисемитизм есть одна из самых удачных выдумок культурологии, это не просто удочка, но ловчая сеть: достаточно сказать "еврей", и ты уже антисемит. Никто поэтому не называет швейцарские банки еврейскими: с процентов гитлеровского капитала выдали пособия бывшим концлагерным жертвам. "То есть?.." - интересуется история, и ее тут же бьют по рукам: "То и есть!"

- Да, - слизнув пену слюны, продолжает гость, - целый народ понадобился Яхве, чтобы подготовить одно-единственное тело, в котором смог бы три года пожить Бог! Три года! Иисус бродил тридцать лет по жизни, набирался еврейского ума, пока не был окрещен и не стал Христом, и многое ему, конечно, у евреев не нравилось. Этот народ, евреи, меньше всего ему подходили. Они ведь, все как один, за исключением, конечно, меня... - гость подмигнул Леониду Макаровичу, - ... все были слепцами! Они ничего вокруг себя не видели, а уж внутри себя и подавно. И если среди них и были хорошие врачи, то это ведь благодаря лишь *абстрактному понятию*, той тени, которую оставила в них подчиненность Яхве. Иисус же врачевал иначе: тут жизнь врачевала жизнь. Помнится, на закате дня... - прикрыв морщинистыми веками глаза, гость запрокинул голову, словно подставляя его солнцу, - ... на закате дня его собственные силы безмерно выросли, и кто только к нему не шел... Помнится, он вынул у меня из пятки занозу, сказав при этом, что другая заноза сидит в сердце, и чтобы избавиться от нее, надо сначала умереть... Он так тогда сказал! Мне!!! Чтобы я отказался от себя?! И *только* ради того, чтобы следовать за ним?

Гость даже закашлялся от возмущения, и Леонид Макарович подумал, что воспоминания, даже двухтысячелетней давности, это вовсе не шутка.

- Я ведь был, - откашлявшись, продолжает гость, - в самом деле очень умным, и к тому же я не был слеп, как другие. Я видел вожделеющего к материи брата, и я напоминал ему по-братски: чем глубже в материю, тем больше ума. Это и есть истинный закон еврея. И я, то есть самый из евреев умный, увидел наконец великого Аримана, увидел его в негодовании и растерянности: его "углубляйся в материю" принцип оказался опровергнут Христом! Ариман давно уже сжился с нами, умными, и это, кстати, его ум, но теперь... - гость пытливо глянул на Леонида Макаровича, - ... теперь что-то пошло в обход и совсем в другую сторону... теперь всем нам, умным, предстояло над умом... подняться! И теперь уже не к луне, нет: Христос указывал в направлении солнца. И я, будучи *чертовски* умным, подумал, что евреи все как один должны ломануться вверх за Христом, они ведь его-то и ждали так долго, эти ведомые Яхве овцы. Но за Христом они так и не пошли, и это притом, что он был одной с ними крови. Они даже и не заметили, что принцип крови уже не действует: не кровь, но *дух*, растворенный в крови. Дух, между прочим, Христа, не делающего никакого различия между евреем и остальными, дух *восходящего* человека.

- И Вы им... не подсказали? - не удержался Леонид Макарович и тут же пожалел о своей несдержанности. Может, это в самом деле Марек? Может, уже завтра этот неосторожно брошенный вопрос вынесут на ученый совет? На все имеющиеся ученые советы? Может, свалят вину на вопрошающего?

Заметив его беспокойство, гость хитро улыбнулся, показав крепкие еще, желтоватые зубы. Старики часто улыбаются так, и на уме у них при этом одно: привыкание к смерти. "Вот и ты, - улыбается тебе старик, - привыкнешь! Привыкнешь как к себе самому! Привыкнешь еще и потому, что ничего, кроме смерти, за смертью не следует!"

- Подсказывать этим мудракам? - выразительно скосив на Леонида Макаровича слезящийся глаз, удивился гость, - Чтобы они меня, как и Его, распяли? Был бы я тогда умнее их всех! Но я *был* умнее. Я, может, один тогда и понимал, что дело с избранностью еврея зашло в тупик. Собственно, меня *просветил* в этом Ариман, - тут гость высокомерно на Леонида Макаровича глянул, и тот узнал свое же ученое *презрение к самостоятельности*, - да, этот великий дух рассудка. С точки зрения Аримана, евреи совершили незаконный поступок: предоставили подходящее тело Иисусу, который ведь и сам есть, с точки зрения "углубляйся в материю" принципа, нечто незаконное, переворачивающее мир вверх дном. Не смерть на самом дне, но жизнь в высях! Только я один и мог в этот новый принцип врубиться, и я сделал правильный вывод: самому стать *их* богом! Мой ум призывал меня к этому, мой опыт жизни в стаде обязывал меня принять над овцами власть вожака. Кстати, Ариман и раньше подозрительно присматривался к евреям, к их комментаторской мудрости, но Яхве гнал его прочь. Другое дело теперь, когда Яхве достиг своей цели и больше не нуждается в евреях, *навсегда* покинув их. Крепость безоружна, и нет в ней ни капли воды, и вся комментирующая, рассуждающая, высчитывающая еврейская мудрость ни на что уже не годна. Остается либо перестать еврействовать и догонять впопыхах Христа, либо, как и раньше, ждать прихода... уже пришедшего. Второй вариант как нельзя лучше устраивал Аримана, и он, надо сказать, - гость с гордостью тряхнул небритым подбородком, - заметил меня! Да и как не заметить самого умного! Это был незабываемый в моей вечной жизни момент: Князь Смерти лично навестил меня. "Ты и будешь отныне, - сказал он торжественно и кратко, - вожаком этих баранов! Будешь водить их кругами по свету, связав всех единым принципом крови, их овечьей, блеющей крови, будешь к тому же впрыскивать этот принцип всем остальным: национальный суверенитет, национальный интерес, национальная идея. Пусть все в этом *моем* мире станут евреями!" И я, вечный на все времена, Вечный Еврей, я даю смысл бессмысленному, я вожу за нос *лучшие* умы!

"Это он про меня... - с негодованием думает Леонид Макарович, подтягивая к подбородку одеяло, - Не слишком ли этот Марек нагл?" Ему становится под одеялом жарко, из подмышек противно пахнет съеденной на ужин селедкой. И если бы не храп давнишней жены, он бы, пожалуй, уже проснулся.

- Послушайте, Марек, - брезгливо уставившись на босые, с нестриженными ногтями, ноги гостя, мямлит Леонид Макарович, - Вы ведь уже старик, а рассуждаете как первокурсник, кое-что слышавший о славистике, германистике, скандинавистике, но не имеющий никакого понятия об *иудаистике*. Это ведь вполне современно, а главное, научно, проращивать старое сквозь новое. Любой поп Вам без запинки ответит: ждем Мессию! Вы-то сами ждете?

- Конечно, - торопливо соглашается гость, - и он вот-вот явится, собственно, со дня на день. Но покамест я его тут замещаю. Кстати, я не Марек.

- Нет?

- Нет. Я Агасфер, - он протягивает Леониду Макаровичу костистую ладонь, и тот нехотя ее жмет. От старика воняет немытым телом, две тысячи все-таки лет, и к тому же несет таким холодом, что едва ли тут припомнишь Мертвое море, - С приходом Мессии я вступаю в новую должность: становлюсь его ликом, фейерверком его интеллигентности.

- Ликом... Христа?!

В темных, древних глазах гостя вспыхивает нечто вроде вождения, мучительной, невыносимой страсти, нетерпимой боли.

- *Все будут называть его Христом!*

Леонид Макарович понимает, что зашел в разговоре слишком далеко, гораздо дальше, чем позволяет культурология, и хочется ему назад, в привычное тепло давно насиженных понятий, в бомбоубежище категорий. Этот проклятый, наседающий на него старик! Дать ему в конце концов прикурить! Накинуть на шею петлю логики, затянуть до отказа, до хрипа...

- Что касается второго пришествия Христа... - строго начинает Леонид Макарович, но гость останавливает его

небрежным кивком:

- Оно уже имеет место.

- Но...

- Зачем ему являться в теле дважды? - взгляд гостя вбуравливается Леониду Макаровичу в лоб, - Он явился иначе, и только я один, может, его и вижу...

"Врешь! - в ярости думает Леонид Макарович, - Ни черта ты не видишь! И я не дам кончика своего носа за твои басни!"

- ... я вижу, что в данный момент он на нас с тобой смотрит, - невозмутимо продолжает гость, - Но не о нем теперь речь! Не его, незримого, назовут Христом, но *зримого* Аримана! Он и есть Мессия, которого так упорно и, между нами говоря, глупо... - гость подмигивает Леониду Макаровичу, - ... так глупо ждет объевреившееся человечество! Все эти овцы и бараны ждут... ну кого они, в самом деле, ждут? Сатану.

Сказав это, гость сделался скучным, вялым, несколько раз зевнул, поднял с пола грязные носки, стал обуваться.

- Пора мне, - устало бормочет он, - дела. Совсем замотался, заишачился, даже поговорить некогда, да и не с кем... Не хочешь со мной?

Хорошо, что в этот момент зашевелилась под ватным одеялом давнишняя жена, ей тоже, видно, что-то приснилось. Нога ее, в перетяжках жира и расширенных вен, пнула Леонида Макаровича в профессорский зад, тем самым вернув его в родное-привычное-семейное-групповое: как сладко бывает от сладкого сна проснуться! Будильник на тумбочке ковыляет в завтра, вслепую выстукивая время, и время дотрагивается рукой Леонида Макаровича до плюшевого, возле постели, коврика, а там песок... "Значит, он все-таки тут был... - с опаской, что жена подслушает, думает Леонид Макарович, - ... значит, я ему интересен! Он ценит меня! Он, может быть, намерен предложить мне штатную должность в ООН или хотя бы в Совете Европы... Он ведь там, - Леонид Макарович с удовлетворением усмехается, - за главного!" Набрав в ладонь горсть песка, он сыплет его себе на голову, так лучше запомнится замечательный сон.

Но даже и самые замечательные сны, самые, может, правдолюбые, готовы уступить напиранию на них яви. Приходит умная студентка со своими студенческими *тезисами*, приходит с мороза, с почти уже отколовшимся куском носа и обледенелым языком, и рыбий глаз у нее наполовину вытек, и сломанная рука привязана к жабре, и хвост, конечно, бьет первого встречного: видал?.. видал?.. видал??? Всё у нее, умной, явственно, всё *просит внимания*. И если другое может пока подождать, то гордость ждать не намерена: это ведь *национальная гордость*. Наша. Любой студенческий тезис начинается именно с нее: с выброшенного в окно презерватива. Прохожему любопытно, что там, и он поднимает, смотрит, нюхает... и сдается прохожему, что это и есть ресурс будущего. Мы сжеживаем это *наше* будущее в настоящее, зная наверняка, что после нас обязательно будет потоп. Знаем, но *не верим*. Наши ученические тезисы тем и хороши, что не мешают нам спать. Эй, ты, отморозок!

Леонид Макарович привычно шуршит тезисной бумагой, считает страницы, принохивается к студенческой "Шанели", давит золотыми зубами профессорский зевок. Скучно, но убедительно. Именно так и должна выходить навстречу яви прорастающая сквозь сон цель: сделать ум студенческим, а студенчество вечным.

Из-под сундука, стоящего на террасе, осторожно вылезла крыса и тут же метнулась обратно, и, введя в заблуждение наблюдательный глаз, вылезла из круглого отверстия в полу, оставленного Хельге для выросшего под террасой дуба. Эта крыса стара и мудра: она не дает волю жадности, лишь изредка приворовывая остатки хлеба. Она доживает тут

свою последнюю зиму, не имея никаких видов на социальную, что Бог пошлет, помощь. На ее крысином веку бывало всякое: привязанные веревкой к дереву капканы, зеленый, с крысидом, шоколад, многодетность. Бывало, под террасой устраивалось до тридцати крыс, и все, конечно, родственники, и у всех претензии на жилплощадь. Многие запросто ходили ночью на кухню, воровать оставленное на блюде овсяное печенье и просто развешаться, хотя старики не раз предупреждали: не блядствуй, не воруй, соблюдай строгую дисциплину труда. Но юность, увы, всегда одна и та же: забирается на куст сирени, а оттуда на крышу, лезет в печную трубу, в вентиляционное окошко, пробирается в ванную, а там... стыдно подумать: мышеловка! Вот ведь в какие игры склонна играть молодежь: доставать из мышеловки орешек! Чего, казалось бы, сытой крысе в жизни не хватает? Риска! Другой раз, заметив на террасе белку, крыса карабкается по стволу дуба и... бросается прямо на спину врагу, хватая зубами рыжий загривок, норовя перекусить шею, гонит белку, если та еще жива, вверх по дереву, на крышу... Риск нужен крысе для самоуважения, и даже объевшись зеленого шоколада крыса не прочь хватануть указующий на нее палец: этот палец ей не указ. Одно только и может быть для крысы несчастьем: оказаться в мышеловке. Мышь пробегает мимо, безопасно стаскивает с иголки орешек, благодарит благоволящий к ней самой несчастный случай. "Вот ведь, - думает мышь, - крыса положила голову ради моего благоденствия! Какая изящная поза, какой преданный взгляд!"

Высунувшись из круглого в полу отверстия, старая крыса хватается полбуханки черствого хлеба, тянет, тащит, грызет. Ей ведь надо совсем немного, ей только дожить до весны...

На террасу поднимается по каменным ступеням Лестничный Франк. С опаской оглядевшись по сторонам, он смотрит в окно: дома ли Серафима. Он, конечно, не верит в Сталина, но на всякий *несчастный* случай надо быть начеку. Надо иметь в виду худшее и при этом знать, что нет такого плохого, хуже которого уже ничего не может быть. Франк вычислил по дороге, пока ехал на мотоцикле, во что ему обойдется посредничество в важном для Монтсеррат деле: литр бензина плюс риск получить пинок в зад. И только уже возле двери, взявшись за ручку, Франк думает: "Разве она, как ее там, не баба?" Эта мысль настолько взбодряет его, что он, даже не постучав, проходит на кухню, садится, как обычно, на выдолбленный из сосны стул, достает коробку с табаком и бумагой, сворачивает, не глядя, самокрутку. Выпустив под железный абажур облако едкого дыма, Франк прислушивается: подозрительный в ванной шорох. Быстро затушив самокрутку, он вынимает из кармана конверт, разглаживает его, придавливая на столе сахарницей. В этом белом, как сама невинность, конверте запечатано счастливое будущее Хельге. Будущее, о котором он пока ничего не знает. А Франк уже знает! Он подсчитал уже, пока препирался с Монтсеррат, сколько он сможет с обоих взять, с этих, никак друг с другом не сойдущихся неразлучников. Франк уверен, что они в конце концов сойдутся, пусть даже на кладбище. "На кладбище!" - усмехается он про себя и снова прислушивается. Там, в ванной, кто-то есть. "Эта, как ее там..." - с презрением думает он. Будь он на месте Хельге, он бы нашел Серафиме разумное применение: две-три "черные" работы, кредиты на ее имя, проституция по выходным... Баба должна окупать расходы. Франк вспоминает, как жил когда-то с совершенно слепой бабенкой. Он подцепил ее на Гаити, выудил вместе с ее американской пенсией, и слепая, конечно, ничего не потеряла, не имея никакой возможности хотя бы разок на Франка взглянуть. Наощупь он, правда, ничего, небритый и с кольцом в ухе, наощупь она от него и залетела, и ей, в свою очередь, за это влетело: Франк пнул ее ногой в живот, тем самым избежав оплаты аборта. Ни разу так и не увидев Франка, слепая не увидела и своей американской, положенной на его счет, пенсии. Соседи, правда, скинулись на обратный на Гаити билет... Вспомнив это, Франк усмехается: его ум ни разу еще его не подвел. И ум подсказывает ему сейчас: уноси ноги. Сунув в карман не начатую пачку кофе и быстро метнувшись к двери, Франк

оглядывается: из ванной выползает, таща за собой прищемившую хвост мышеловку, перепуганная насмерть крыса.

Вскрыв вечером конверт, Хельге в первый момент не поверил, что это ему: приветствие от какого-то "Аума". Вежливость, вкрадчивость, доверительность. То, чему меньше всего он сам склонен доверять. Но он прочел письмо до конца и молча бросил его на стол перед Серафимой: глянь-ка! Построенный Гейром Сивертсенем круглый дом вовсе никакая не тайна для тех, кому небезразлична форма: этот дом приметили. Приметили те, у кого есть деньги: они предлагают Хельге рисовать не только дома, но также конторы и школы, церкви и детсады, магазины и больницы. Короче, целый поселок, этот смахивающий на рай "Аум". Они готовы заплатить несколько миллионов, они ценят свободу мысли, игру воображения, им нужен *свет*, ах, какая это теперь редкость!

- Воры, - заключает, отодвигая письмо, Серафима, - Ассоциация Умов Миллениума! Они рыщут с фонарями во тьме, надеясь привлечь доверчивых мотыльков: они спалют крылья, выжгут глаза. Бросить это письмо в печку?

Хельге кивает, но тут же снова перечитывает письмо: как тут все разумно и складно! Но главное, они готовы заплатить прямо сейчас. На днях приезжает их шеф, он готов встретиться с Хельге в доме у Монтсеррат, он был знаком с Гейром Сивертсенем. Шеф нового поколения *верующих*. И то, во что они веруют, и есть как раз Бог Всеобщего Благоденствия. Он и сам, этот шеф, наполовину уже Бог: он тебе, если надо, *покажет*. Он владеет любой, какая только ни есть, терминологией, и заткнутые им за пояс авторитеты годятся лишь в *узкие* специалисты, насилующие ум *правилом*. Он смеется над ними, этот великий учитель-архитектор-врач, и это ему, а не кому-то другому, известно, что кроме *тебя* самого никто не может дать *твоему* уму возможность удрать *за грань*. И он поэтому, шеф и полубог, стоит на страже.

- Сначала пусть они выполняют *мои* условия, - бормочет Хельге, - а нет, так пусть проваливаются!

Хельге и сам думал о застройке пустующих над Харпестадам скальных плато. Что там, наверху? Ветер, солнце, вереск. Сверху видны трубы стеклодувной фабрики, ряды черепичных крыш, потоки ползущих по шоссе машин, перекинутые через озера мосты, столетний лес, полоска моря... Это совсем иное состояние, жить наверху. Состояние облака, птицы.

Но туда, наверх, может ведь пробраться Икея: три дня и дом готов. Механическое кладбище так никогда и не живших форм. "Икея..." - вздохнёт, умирая, вереск. "Икея..." - ахнет ветер.

- Я все-таки пойду к Монтсеррат, - решительно и сухо заключает Хельге, сунув письмо в ящик стола, - Подпишу с ними контракт и потребую аванс. Я хочу выкупить у Эльзы дом!

Серафима исподлобья на него смотрит. Так, *роняя* в жадную материю капли росы, дух уступает чувству, в нем самом не нуждающемуся и потому коррумпированному. Чувство удачи, победы, успеха! Так строится на все времена Вавилон, и некому спросить умного: сколько у тебя еще в запасе ума. Такого вот, *развращенного* ума. Этот ум достает аж до звезд, и нет в мире такой инвалидной коляски, на которую не усаживалась бы его жадность. Жадность потребителя, пользователя. Жадность не отличающего потребление от пользы.

- Когда придешь обратно, - напоминает Серафима, - подложи в печку дров.

Он явился в дом Монтсеррат точно к шести, и первое, что он заметил, это стального цвета кадиллак, на каких ездят "эльвисы", эти безнадежно влюбленные в Америку жертвы дорогой показухи. "Должно быть, заказчик..." - думает Хельге и нажимает кнопку дверного звонка. Ему открывает Монтсеррат и, Боже мой, как она красива! Она вышла на мороз почти раздетая, в тонком сине-зеленом шелке, любовно облегающем ее

удивительные формы, с распущенными волосами. Ей невозможно дать тридцать семь или двадцать, невозможно приписать какой-то возраст. Она была, такая, всегда. Она смотрит на Хельге спокойно, но без улыбки: он пришел не напрасно.

В гостиной топится чугунная печка, лучшее приобретение Гейра Сивертсена, высокая, с ажурной башенкой-крышкой, и рядом, на каменной плите, горит множество свечей. Давно он не был здесь, и что-то вроде прежней тоски, тоски о невозможном, подбирается уже к его горлу... Напряженно глотнув, Хельге кивает остальным, и те встают с дивана, по очереди подходят к нему. Все трое американцы: свежесть гербалайфа, замечательные искусственные зубы, фотогеничная улыбка. Все к тому же одинаково одеты: белая рубашка, черный костюм. "Мормоны, - сразу определяет Хельге, - божьи коровки". Он не знал, что Монстеррат с ними дружит. Одному из них, самоуверенному красавцу-еврею, Хельге охотно дал бы пинка, так, ни за что, хотя именно он-то и есть, судя по поведению остальных, главный заказчик. Да и может ли *главный заказчик* не быть евреем?

Все трое достают из черных дипломатов одинаковые черные папки, кладут их на колени, разом одинаково улыбаются: они готовы. И Монсеррат, кружа возле них чудесной сине-зеленой бабочкой, как-то странно, как кажется Хельге, мстительно, улыбается: она ведь улыбается ему! Она ждет какой-то особой от него жертвы, чтобы тут же пустить пожертвованное в дело. Да что это, собственно, за дело?

- Таких, как ты, в мире осталось немного, - начинает декламировать Монсеррат, став возле огня, - и если у мира есть какое-то будущее, то оно явится лишь следом за тобой, Хельге!

Все трое мормонов улыбаются и кивают: они любят это будущее уже сейчас. Они готовы выйти на стадионы, наводнить своим громкоговорением панорамные кинотеатры, перекрыть своей многоголосьем площади и проспекты, лишь бы это будущее никуда от них не улизнуло.

- Ты тот, кому дано *видеть*, - продолжает Монсеррат, - ты улавливаешь в явлении суть вещи. И эта суть... - она пытливо смотрит на мормонов, - ... она ведь есть *дух*!

Мормоны снова кивают, правда, без улыбки, красавец-еврей смотрит на босые ступни Монсеррата, утонувшие в мягком ворсе ковра.

- Дух говорит в твоих рисунках, говорит о *движении к вечности*... - Монсеррат набирает побольше воздуха, ее не стянутые ничем груди сладко обнаруживают свою небесную округлость, вдавливаясь сосками в прозрачность шелка, - И это то, чего я больше всего хочу, Хельге: это путь прочь от земли! Я хочу... - она оборачивается к висящему на стене массивному зеркалу, давая сине-зеленому шелку всплеснуться волной вокруг ее колен, - ... хочу, чтобы эти формы... - она улыбается своему отражению, - ... напоминали мои!

Переглянувшись, мормоны дают лицам одинаково застыть в терпеливом, пресном выражении. Их Бог не напрасно учит их спать с невестой на одном боку, потом на другом боку, потом лежа на ней, потом лежа под ней, при этом невесты никоим образом не касаясь. Бог учит их *избегать неизвестного*.

- Ты предназначен для больших дел, и скоро в Харпестаде не останется ни одного, кто не знал бы твоего имени: Хельге Нордли! Да разве только в Харпестаде? Отец много раз говорил, что тебе впору быть архитектором в Осло...

- Плевать мне на все это, - раздраженно бормочет Хельге.

Он знает лучше кого бы то ни было, что его рисункам нет цены: он увидел их в наполненной жизнью эфире, в тонкой материи своего созерцания, своего, быть может, *отсутствия* среди вещей и предметов. Он смог покинуть осточертевшую ему планету *материального интереса*. И не надо звать его обратно.

Кто-то звонит, Монсеррат идет открывать и тут же возвращается, и Хельге видит в ее торопливости приметку чего-то важного, что вот-вот произойдет... Он сидит в старом, обитом свиной кожей кресле, сидит выше, чем остальные, как судья иди хёвдинг. Он

вспоминает, что сидел так в гостях у Гейра Сивертсена, когда тот получил от него рисунки. Гейр был ошарашен и восхищен, его собственные мечты не заходили так далеко, и если в нем и была какая-то зависть, то только к возрасту Хельге: эти великолепные сорок с лишним! Гейр знал, что впереди у Хельге не старость, но *прояснение зрения*, не истребление телом остатков духа, но противостояние духа руинам. На эти руины все еще зарится чей-то близорукий глаз, высматривая следы чувственности: что тут еще не остыло? Но огонь-то, огонь перекинулся выше, его легко спутать с зимним закатом, заливающим небо кровью. Одна только Серафима и знает, что кровь была когда-то огнем... Откуда она это знает?

Но вот оно, черт бы все это побрал! Хельге пытается смотреть на ковер с голубыми лилиями и розами, отводит взгляд на празднично горящие свечи... и смотрит во все глаза: в гостиную входит, подрумяненная с мороза, Хиллари.

Она заметно постарела, отяжелела, хотя по-прежнему носит узкие джинсы и красит волосы в пшеничный цвет, в *его* цвет. В красной флисовой кофте и на шпильках, прилично и недорого. Она кивает мормонам, кивает как бы мимоходом ему... Хельге знакомо это наигранное безразличие, эта рассчитанная до мелочей стратегия *обкуривания*. И он поэтому втягивает вовнутрь, в наглухо запираемые кладовые, то, что уже готово было выскочить наружу: он не даст ей себя взять. Монтсеррат ей тоже не слишком рада: прижалась к спинке дивана, загородилась подушкой... Хельге незаметно усмехается: бабы! Разве это не потеха, когда бабы из-за тебя дерутся? Он представил себе, как Хиллари таскает Монтсеррат за рыжие локоны, как трещит рвущийся в клочья шелк... Заметив, что он смеется, Хиллари рьяно ему кивает: она тоже ему так рада! Они ведь не виделись уже... сколько? Годы летят, жизнь проходит.

- Бог свел наконец нас! Удивительный, непостижимый Бог!

Хиллари бросается к нему, хватая его за обе руки, и ничего, что он только молча отстраняется, это пройдет, как и все остальное. Она садится на пол, смотрит на него снизу вверх, она готова обнять его ноги, колени... ее язык распухает от сладкой, такой сладкой слюны, в горле булькает, как кока-кола, счастливый смех. Мормоны напряженно смотрят в их сторону. Хиллари ведь не только *их* миссионер, она к тому же потомок инки, в крови у нее, представьте себе, жертвенный огонь. Мормоны не в курсе, куда потом деваются *человеческие жертвы*, то есть уже после кровавого спектакля, да им это и не важно, главное, что это *великий* огонь. Им втайне освящена Стена плача, им наливаются рубины кремлевских звезд. Идешь, бывает, по капищу Красной площади, и на тебя со всех сторон пляются добровольцы с простреленными затылками, а также угомонившие их жрецы. Все они теперь тут, все вместе, и цель у них одна, и притом великая: стать космической пылью. Пыль, разумеется, пойдет рано или поздно в дело: тут заделать дыры, там законопатить щели, присыпать ямки, сравнять бугорки... Но человек тут уже не причем, это не его мир. В пыльном же мире царит необычайный порядок, всему идет поштучный счет: душам, судьбам, трагедиям. Считает, само собой, жрец, он же вдохновитель всех побед. Он большой, кстати, артист и любит менять костюмы: то прикинет на себя клетчатый арафатовский шарфик, то сталинский френч... Он никогда не выходит на сцену голым.

Счастливый смех Хиллари вьется у ног Хельге обещанием каких-то очень больших предприятий: тут-то мы и начнем! Начнем и точка. В руке жреца сверкнет нож, рука вырвет из-под ребер кровавый комок. И все это, товарищи, *добровольно*.

Хиллари пододвигается еще ближе к стулу Хельге, прислоняется спиной к точеной ножке, разворачивается лицом к мормонам. Не всякий миссионер вот так, сидя на полу, готов *доказать* первенство своего, перед всеми остальными, Бога.

- Наше великое переходное время, - нараспев начинает она, - тем и уникально, что к нам вот-вот явится Он Сам! То есть в самом деле ОН! И Он рождается, конечно, в Америке! Этот абсолютный, безусловный гений! Этот... - Хиллари смотрит в потолок, ища подходящие слова, - ... технолог! Да, Великий Технолог!

- Но причем здесь я? - сердито перебивает ее Хельге, подперев кулаком небритую щеку.

Запрокинув голову, Хиллари недоуменно на него смотрит: что за банальный вопрос? Теперь, на пороге всеобщего благоденствия, совершенно неуместно вспоминать о *себе*. Теперь смысл в том, чтобы *отдаться*. Ведь, отдавшись, ты ничем уже не рискуешь, да тебя в общем-то уже и нет... Никаких голодных, бунтующих, недовольных "Я"! Это ли не вершина благоденствия?

- И я вовсе не жду твоего... как его... технолога, - угрюмо замечает Хельге, - будь он хоть самым Микрософтом!

Хиллари переглядывается с мормонами, те смотрят на Монтсеррат, все молчат, и вдруг начинают говорить разом: "Кризис!.. Экология!.. Инфляция!.."

Потом всем становится разом скучно, немного даже страшновато: с каких это пор *все* не могут уломать *одного*?

- Любое время является переходным, - поднявшись со стула, наступает на мормонов Хельге, - вопрос в том, куда все идет. А все идет к одной Большой Америке, поцелуй меня в жопу!

Мормоны заученно улыбаются: конечно, конечно, мы все хотим благоденствия, и оно одно на всех, американское. Больше сосисок и инвалидных колясок! Больше уверенности в общем благе! Больше, еще больше, еще и еще больше демократии!

- Вот ты, например, - насаждает Хельге на красавца-еврея, - ты многих наверняка успел уже убить, а? Ты считал? Считал???

Тот, конечно, кивает. Кивает как врач: случай клинический. Он мог бы выписать Хельге рецепт *успокоительного*, пожалуй, даже бесплатно. И нет ему нужды напоминать мормонским братьям, чтобы те его *собой* заслонили: они готовы и так отдать свои жизни, зачем они им, без вождя. "Жизнь без вождя", - так следовало бы назвать новый фильм ужасов.

- Ты убиваешь тонко, изысканно, интеллигентно, - усмехнувшись, продолжает Хельге, - тебе свойственно вникать в суть дела, да, добираться до главного, до самого *мышления* и запираешь его на ключ. Ты сажаешь в подвалы своих детей, ты приучаешь их к *мере* пролезшего сквозь решетку света, ты даешь им вместо Бога твой собственный *авторитет*! Они ни на что уже, твои дети, не годны, разве что умереть, они поэтому так и послушны. Так руби же их прямо в пеленках! Отравляй задолго до рождения!

Хельге зол, глаза сошлись в рысьи щелки, кулаки сжаты. Он разбивает кулаком грецкий орех с одного проклятого раза, и ему ничего не стоит перевернуть диван вместе с прижавшимися друг к другу американцами. И те, конечно, понимают: надо уносит ноги. Постепенно, не сразу...

- Я мог бы посоветовать тебе, как врач и просто как... - мормон многозначительно кивает Хельге, - ... просто как друг, да, посоветовать тебе прогрессивную терапию...

- Многие выздоравливают, - с энтузиазмом вставляет Хиллари, - и почти все становятся нашими братьями и сестрами! Мы поможем тебе стать здоровым! Мы приведем тебя к благоденствию!

- Поцелуй меня в самую... - Хельге подходит к дивану, останавливается и вдруг бьет со всей силы ногой в мягкую кожаную подушку, - ... в самую середину! Вам нужно ведь немного жизни, на вашем кладбище, не так ли? На вашем механическом, приличном, отвечающем стандарту кладбище! Вы кричите о традициях, и чем вы поэтому лучше верхожопых, с обезьяньими мозгами, мусульман? Алабалах! Поцелуй меня...

- Что же плохого в традициях? - строго перебивает его, *красиво побледнев*, мормон.

- Что плохого в смерти, перекрывающей собою русло жизни?

Один из мормонов достает из дипломата Библию, листает, перебирает закладки. Сейчас он докажет Хельге, докажет... это ведь не так уж и трудно, доказать.

Точно такую же, в дорогом кожаном переплете и с золотым обрезом, книгу Хельге получил в подарок в Марокко. Он нашел ее в лавке старьевщика, и тот, подумав было

взять какую-то мелочь, отдал книгу бесплатно, предложив за пару монет собственную двенадцатилетнюю дочь. Выглянув из лавки во двор, Хельге увидел занятых делом детей: они били по очереди палками умирающего котенка. Оставив старьевщику мелочь, чтобы тот не обижался, все-таки родная дочь, Хельге пошел по улице дальше, и вся эта улица *сочилась кровью*: возле домов, возле каждой ограды, лежали умирающие, с перерезанным горлом, овцы. Животные умирали медленно, наверняка *понимая*, что с ними стряслось, многие из них издавали хриплые, булькающие звуки. Это и был, собственно, *Аллах*, в его подлинной, не замазанной никакими традициями, сути: воруящий жизнь мертвец!

Хельге шел по этой проклятой улице, шел сквозь стоны и запах свежей крови, и ничего он так не хотел, как поскорее оказаться в пустыне... И вот наконец этот песок. Замечательный в своем роде, сухой, золотистый песок! Совершенно безразличный к преодолеваемым кем-то расстояниям, терпеливо засыпающий все. Сев на спальный мешок, Хельге долго смотрел на вертлявую черную змейку, вымеряющую своим телом сыпучесть и рыхлость: она кусает всего один раз, этого вполне достаточно. Но змейке было не до него, и он поэтому прикорнул возле рюкзака, лег на спину, подставив лицо солнцу. Он был при этом начеку, и шелест высохшей колючей травы напоминал ему о безнадежности собственного крика: никто сюда, сколько не зови, не придет. Одно только солнце, оно присматривается здесь к уставшему. Он лежал так час или больше, прикрыв лицо козырьком, он просто дал унести себя времени... Он видел на своем лице снег. На своем мертвом лице. Глаза были по-прежнему голубыми, и некому было их закрыть. "Значит, - подумал он, - меня уже нет..." На снегу было много крови, хотя метель уже наполовину спрятала обезглавленное тело. "Моя голова..." - подумал он, глядя откуда-то со стороны в свои застекленные глаза. И он подумал, что палач был опытным, снес башку с одного удара, не повредив длинных пшеничных волос. Он увидел кружащего над елями ворона. "Глаза..." - подумал он. И ему было не жаль уже этой застылой голубизны... И снова эти голубые глаза, хищные рысьи щелки: он смотрит в них с тем же рысьим прищуром, он узнает свою старость. Вот, оказывается, каким он когда-нибудь будет: укрепившимся в одиночестве. Старик не спешит уйти, он терпелив. Он смотрит на Хельге в упор, молча, без улыбки, он кое-что знает. Он свернул должно быть с дороги, чтобы оказаться здесь, переиначил маршрут, пожертвовал скоростью. Он стоит и ждет. И вся, какая есть в мире, безответность устремляется теперь к нему с тысячью вопросов, насыщается знанием. Нет нужды больше с кем-то спорить, кого-то превосходить: эта ясность и есть ответ. Ясность, проникающая до самых звезд.

- Ваше благоденствие, - не глядя на мормонов, продолжает Хельге, - есть не больше, чем омела на высокой березе: паразит сосет из дерева соки, при этом вроде бы *увенчивая* дерево собою. Веткой омелы был убит Бальдур! И вы, *исповедующие веру*, как бы эта вера себя не называла, вы паразитируете на достижениях духа, на его древе, вы просто сосете! И это на ваш звериный зов откликается лжепророк!

Переглянувшись, мормоны разом встают, разом окружают красавца-еврея, и тот торопливо мямлит из-за спин телохранителей:

- Мы видим, что ты гений, мы ценим твои уникальные способности, и мы полны надежды... - он подвигается вместе с телохранителями к двери, - ... надежды на то, что ты однажды найдешь Бога...

- Поцелуй меня прямо в...

Не будь Хельге так зол, он бы, пожалуй, удержал мормонов. Он бы заставил их с собой спорить. Он вытряс бы из них мусор их *убедительных доводов*.

- Топор, - врезаясь взглядом в испуганные лица мормонов, рычит он, - только топор вам и поможет! Все три головы одним махом! Езжайте в ад и не возвращайтесь обратно!

- Мы скоро вернемся!

Звук отъезжающего кадиллака возвращает Хельге обычное, настороженное спокойствие. Снова сев в кресло, он смотрит на празднично горящие свечи. Их ровно двенадцать, Монтсеррат придает этому значение, словно тут, в старомодно

меблированной гостиной, собралась дюжина розенкрейцеров. Хельге хмыкает. Она сидит, босая, на диване, прикрыв хрупкие колени сине-зеленой волной шелка, и на ее бледном, в отсветах пламени, лице цветет томительная, ведьмовская грусть. Ей жаль красавца-еврея? Он чуть было не съел ее босые ступни. Она переспит, пожалуй, со всеми тремя, будь они хоть трижды мормонами.

Глядя на мерцающий огонь свечей, Хельге думает, что судьба наконец-то столкнула его с обеими настырными бабами, и надо поэтому поторапливаться, правильно определить свое между ними положение. Одну следовало бы придержать за крыло, другой не следовало бы вообще давать крылья. Залезть, короче, в середину: пусть тянут, каждая на себя.

- Мы знаем друг друга уже тридцать лет, - многообещающе начинает Хиллари, садясь в кресло напротив, - Тридцать лет! И все это время я люблю тебя, Хельге! - она быстро оборачивается к Монтсеррат, и та грустно опускает голову, - И сейчас я люблю тебя, но, конечно, не так, как это было раньше... - она красноречиво умолкает, - Сейчас Бог любит во мне тебя!

- Гм... - еле сдерживает возмущение Хельге, заранее зная, что она скажет дальше.

- Бог привел меня сюда, указал мне путь в этот дом, и тебе тоже указан путь сюда! Удивительный, непостижимый Бог, он снова свел нас вместе! И Монтсеррат, конечно, не обидится, узнав, как велика моя к тебе, Хельге, любовь...

- Короче, что тебе надо? - перебивает ее Хельге.

Не ради же ее идиотского красноречия он пришел сюда. И Хиллари, словно спохватившись, без всякого перехода приступает к делу:

- Мы будем строить эти *центры духовного возрождения* по всей земле, от Америки до Филиппин, мы дадим человечеству новые ресурсы прогресса...

- Прогресса в аду, - уточняет, хмыкнув, Хельге.

- Мы возродим... - лицо Хиллари краснеет, взгляд черных глаз раскаляется, - ... возродим *породу жрецов*, ведущих человечество к единственно достойной цели...

- В сортир, - хмыкает снова Хельге.

Но Хиллари его не слышит, как не слышит повисающий в воздухе бой настенных часов, неспеша считающих до восьми и метящих октаву серебристым колокольчиком. Она слышит только золотые, звонкие слова, готовые отхлестать, если надо, солнце, и в каждом из этих слов орудует деятельный, предприимчивый демон. Вот она, сила будущего!

- В твоих рисунках, - она поднимает обе руки к хрустальной, в виде сверкающего водопада, люстре, - небо! Небо, которое мы в будущем завоюем. Небо нашей интеллигентности, нашей разумности. Ты нужен нам, Хельге, и Бог указал тебе путь к нам! Гармонии твоих линий, твои овалы и сферы, параболы и лемнискаты, спирали и пентаграммы, они ведь *служат* идее грядущего...

- Да что там у вас грядет? Смерть?! - рыкает Хельге, снова начиная терять терпение.

Он смотрит на Хиллари исподлобья, он пока никому не давал своих рисунков.

- Смерть... - сладко повторяет следом за ним Хиллари, - Смерть есть только *способ активации* творческой силы жреца: кто-то *должен* жертвовать свою жизнь в пользу бессмертия избранных, ведь это они, жрецы, и есть человеческая элита, одна, на все времена, власть. И ты, Хельге, мог бы стать одним из них!

Хельге скребет ногтем небритую щеку, потом вдруг хватается за точеный подлокотник кресла, рывком встает, двумя шагами преодолевает расстояние до Хиллари. Что с ней, с этой паскудой, делать? Взять в охапку эти рыхлые, водянистые килограммы и швырнуть на диван? Придавить подушкой? Стиснуть круглыми валиками?

- Ты, Хельге... - Хиллари хватается за руки, тянет к себе, - Ты создашь этот лучший в мире проект! Вот... - она тянется рукой к лежащей в кресле папке, - Договор уже составлен! Смотри, какие ты получишь гонорары! Это же успех, Хельге, настоящий успех!

Он молча отталкивает ее от себя. И Монтсеррат, до этого безмолвно грустившая на диване, наконец подает голос:

- Я принесу, пожалуй, кофе.

- Позволь это сделать мне, - услужливо предлагает Хиллари, - я вижу, вам есть что друг другу сказать... - она подмигивает Монтсеррат, деловито идет на кухню, смежную с гостиной, останавливается на миг, оглядывается. Стенные часы неуверенно брякают половину девятого.

- Соглашайся, Хельге, - полулежа на диване, в зелено-голубой невесомости шелка и тонком аромате "Минг Шу", мечтательно улыбается она, - Такое бывает раз в жизни! Мормоны заплатят, можешь быть уверен, заплатят еще больше. Ты в самом деле им нужен!

- Этому шефу-еврею? Кто он, собственно, такой?

Монтсеррат смотрит в сторону кухни, прислушивается к бульканью кипящей в чайнике воды, и говорит шепотом, явно не желая, чтобы это слышала Хиллари.

- Он тот, кто указывает самому римскому папе! Мормоны ведь, это только часть *организации*... - она еще больше понижает голос, - ... часть великого мирового сообщества! Они засылают в Европу миллионы мусульманских беженцев, они подготавливают для этого законы, открывают границы, придумывают международные обязательства, их цель - заменить европейское на общечеловеческое, минуя при этом естественный порядок вещей...

- Естественно было бы, - соглашается Хельге, - гнать мусульман в шею, и это отнюдь не в переносном смысле. Гнать в шею убогое, надоедливое, завшивевшее, провонявшее кораном материалистическое прошлое! Гнать до тех пор, пока задранные к небу зады не упрутся все как один в заколоченное наглухо аллахово небо! Они *сами* должны к этому придти, без посторонней помощи, да никто им в этом и не поможет!

- Мусульмане лучше всех остальных подходят для того, чтобы сжигать как можно больше ресурсов: они возьмут все, что смогут унести, они упорны и последовательны, их гонит страх, большой, великий страх! Эта обреченная на истребление пехота мирового сообщества! Больше недовольства! Больше крови! И знаешь, кто ими всеми правит? - Монтсеррат хитро сверкает на Хельге глазами, - Вечный Жид! Он ловко водит их за их мусульманский нос, этот обманувший само время выскочка! Он насаживает себя на крючок в виде наживки, дразнит воображение глупца, и сам при этом только считает деньги!

- Он чертовски способный, - соглашается, усмехнувшись, Хельге.

Монтсеррат снова смотрит в сторону кухни, догадываясь, что Хиллари подслушивает. Она манит Хельге рукой, и он подсаживается к ней на край дивана. Прозрачный шелк касается его ладони, дыхание то и дело прерывается от тонкого запаха лотоса, глаза едва выносят вид рыжего пламени.. Наклонившись к его уху, Монтсеррат порывисто шепчет:

- Великому мировому сообществу нужна *мечта*, обезоруживающая своей красотой любую попытку *думать*! "Кончай думать, начинай жить!" Будто бы жизнь возможна без мышления! - Монтсеррат впервые за весь вечер смеется, - Даже растение, даже камень полны замечательных, струящихся сквозь них мыслей! Ты наверняка слышишь эти мысли, Хельге!

- Гмммм... да!

Она горячо пожимает его руку, заглядывает ему в глаза, ее рыжие ресницы чудесно дрожат, на щеках проступает след нервного румянца.

- Я знаю, знаю... ты только один такой... ну, еще двое-трое...

Хельге молча на нее смотрит.

- Мормоны сжигают мысль заживо, - торопливо шепчет она, - а пепел продают: мертвые, пустые абстракции. К их бойкой торговле присматривается благотворительность, их *метод успеха* знаком даже постящемуся попу-ортодоксу. Они, со

своим благоденствием, везде. И если ты спросишь кого-то из них, где резиденция их Бога, тебе укажут на кладбище!

- Но ты сама? Ты позвала их сюда! - холодно режет в ответ Хельге.

- Да. Чтобы дать тебе возможность...

- Спасибо, - фыркает он.

Хиллари приносит на серебряном подносе кофе: две маленькие антикварные чашки, две позолоченные ложечки, два хрустальных бокала, зеленый и синий, с наколотыми на край дольками лимы. Поставив поднос на низкий, с точеными ножками, дубовый столик, она кивает по очереди Хельге и Монтсеррат, останавливая на каждом из них пристальный, пытливый взгляд, словно между ними тут что-то интимное происходит.

- Это текаль, - поясняет Хиллари, - лучший мексиканский текаль, "Замерзшая роза". Советую выпить сначала это, а потом уже кофе... - она улыбается, она готова сама раствориться в хрустальности зелени и синевы, стать прозрачным кубиком льда, крепостью алкоголя.

Пригубив "Замерзшую розу", Монтсеррат заметно оживляется, на ее бледных щеках вспыхивает полоска румянца. Ведь это она, а вовсе не Хиллари, так безумно собой хороша! Ее босые ступни попирают восхищение гостей, ее огненные волосы тянутся следом за горящими в ночи метеорами: желай меня!.. желай!.. желай! Разве теперь не ее время?

Выпив коктейль, Монтсеррат выпивает в несколько глотков кофе, ложится на спину, закрывает глаза. Соски ее груди выпячиваются под прозрачным шелком, дыхание становится жарким. "Бабы не умеют пить, - с брезгливостью думает Хельге, - им достаточно капли..." Не спуская с Монтсеррат глаз, он отхлебывает кофе: хороший, крепкий кофе. Обычно он пьет кофе большими кружками, он наркоман, он пьет кофе даже на ночь. Но только хороший кофе, не тот, что наливают на бензоколонках. Кофе Хиллари, бесспорно, хорош, в тонкой антикварной чашке, хотя... Хельге чувствует, как что-то в нем начинает... петь, звать... что-то внизу живота... Желание! Оно пришло незаконно, ворвавшись в пролом, в обход того, что должно быть. Эта выдернутая из прошлого перспектива... чего?.. Прошлое отцветает, закладывает семена, вянет, его не пересадишь в парник, не накроешь стеклом. И не надо поэтому о прошлом жалеть. Прогнать это дьявольское желание... Но что значит, прогнать? Не значит ли это понять? Объяснить? Если бы не вцепившиеся в подлокотники кресла руки, Хельге был бы уже на диване, рядом с Монтсеррат. Сердце колотится, в голове хаос. Но есть ведь что-то и посильнее этого зелья: его воля. Он смотрит исподлобья на Хиллари, и ее встречный взгляд говорит лишь о миссионерской невинности. Она ведь только выполняет задание своего Бога. И Хельге крепче хватается за подлокотники кресла: он не даст шевельнуться мизинцу, его руки надежны. Не спуская с него глаз, Хиллари ждет. Если бы не этот бардак в голове... Разжав наконец пальцы, Хельге берет со столика хрустальный бокал с "Замерзшей розой", подносит к носу... ставит обратно на столик, смотрит на Хиллари в упор: она ждет, она не спускает с него глаз. И он встает и идет к ней.

- Хельге... Наконец-то! - тяжеломерно подавшись к нему, она обхватывает его талию и ягодицы, - Наконец-то ты мой! Мой навсегда!

Он неспеша кладет ей на плечо руку, и все, что способно в нем петь, томиться и звать, горит теперь в его похотливом взгляде. Эти хищно прищуренные голубые глаза! Его рука съезжает по рыхлому плечу Хиллари к глубокому вырезу кофты, и вместе с розовыми пуговицами рвется податливая ткань: хр-р-р-р-ряххх!!! Он тащит Хиллари к своему креслу, швыряет на сиденье, придавливает ее живот коленом и, крепко держа одной рукой скомканную узлом кофту, дотягивается другой рукой до столика... Вот она, "Замерзшая роза"! Схватив Хиллари за подбородок, он смотрит ей в глаза, яростно, похотливо.

- Пей! - рычит он ей в лицо, - Ты ведь хочешь меня иметь! Пей, Сатана!

Стуча синим хрусталем об ее зубы, он насильно вливает ей в рот текаль. Сок голубой агавы, лед, экстази. Он зажимает рукой ее рот и нос, он мог бы без труда задушить ее. Но

хватит и того, что Хиллари глотает зелье. Сдавлив по краям двумя пальцами ее рот, он внимательно рассматривает дурацкую гримасу, словно перед ним редкое насекомое, потом отталкивает лицо в сторону. Хватит.

Если бы не этот в голове хаос... Выблевать проклятый кофе? Нет, теперь уже поздно. Теперь надо отсидеться, сосредоточиться... Он садится на пол, спиной к шкафу, перегибается пополам, смотрит на полу в одну точку. Он замечает, что Хиллари встает и шатко пробирается к дивану, она должно быть, паскуда, ничего теперь не видит... или видит только разморенную похотью Монтсеррат: обе теперь исходят соком. "Проклятые бабы!" - думает Хельге. Ему нечего тут больше делать, надо только отсидеться, придти в себя. Он смотрит, как Хиллари гладит живот Монтсеррат, как вздымается под ее рукой невесомый шелк... Сколько раз он сам проделывал это, щекоча небритой щекой восхитительный провал ее живота и паха! Он думал тогда о детях, и они подталкивали вместо себя ангелов, и те слетали к нему во сне, и каждый из них был Сыном Сумерек... Нет, не его сыном. Теперь ангелы вряд ли смотрят на Монтсеррат: она раздвигает ноги, она вся в огненном воображении. Достаточно ведь поймать образ похоти, куснуть, и ты уже сыт. И неважно, какого ты пола: ты змей и дракон, застрявший в теплом иле пожиратель электричества, огромная устрица, защемившая створкой раковины половину Франции... "Лемуры..." - презрительно думает Хельге. Обе теперь безобразно возятся на диване, охают, кричат, они просто сошли с ума. Кое-как поднявшись с пола, он идет в прихожую, там на вешалке его куртка, он сядет в машину, даст себе задремать... Открыв дверь, он натывается на Лестничного Франка. Тот, видно, спешил, взмок, пока шел пешком.

- Ты не опоздал... - бормочет Хельге, - ... теперь самое время...

Франк подозрительно прислушивается к возне в гостиной, подозрительно смотрит на Хельге. Он уверен, что Хельге влип и теперь уносит ноги.

- Что там такое? - взглядом прикалывая Хельге к стене, интересуется Франк.

- Бабы ебутся...

Оба молча смотрят друг на друга, потом разом принимаются хохотать. Свежевыбритое лицо Франка краснеет, глубоко сидящие синие глазки вспыхивают черными угольками: теперь самое время! Оттолкнув Хельге плечом, Франк торопливо идет в гостиную. Оно и в самом деле: обе едут на помеле прямо в Блоксберг. Они его, конечно, не видят, им не до этого, свиньям. А было бы полезно в назидание обеим дурам показать, кто тут в самом деле мужик. Франк стаскивает с дивана Хиллари, и та, хоть и видит его впервые, сразу же, на полу, и берет его, проклятая чертова старуха. Не успев опомниться, Франк оказывается лежащим навзничь, с едущей на нем Монтсеррат... и снова Хиллари... и снова Монтсеррат...

Часы неспешно отбивают десять, дразня время серебряным колокольчиком.

Однако Франк не потерял время зря: успел нашарить рукой кошелек в сумке Хиллари. Он хотел было снять у нее с толстого пальца золотое кольцо, но тогда пришлось бы оторвать и палец... Он подумал, что можно подняться в спальню Монтсеррат, открыть ящичек под зеркалом... Монтсеррат кладет туда, не считая, деньги. Кстати, с ней что-то такое... Она лежит на полу, закрыв глаза, на губах пена. "Совсем заебалась..." - думает Франк. Он теребит ее за плечо, толкает в бок, матерится. Потом, глянув на Хиллари, в панике мямлит:

- Это Хельге... Не я!.. Не я!.. Я ведь не думал никого убивать! Я только... Меня тут нет! Меня тут не было! Удаляюсь! Испаряюсь!

Хиллари машет ему рукой, шлет с пола воздушные поцелуи.

- Ты найдешь со мной Бога... эй! Эй, стой!

Она грузно поднимается и ковыляет следом за ним, догоняя его уже на крыльце. С отвращением глянув ей в лицо, Франк захлопывает за ее спиной входную дверь: пусть поторчит часок-другой на морозе. Хельге уже уехал, он бы эту дуру, может, подвез... Сплюнув на ступени, Франк быстро идет через двор к лесу.

В полнолуние наступила зима, и все утонуло в снегу: заборы, столетние сосны, берег моря. Белый цвет, не нуждаясь ни в каком подражании, становится единственным, и таким его запоминает природа в своем стремлении вернуться к началу. Дорога, она же повод к перемещению, тоже спешит насытиться белизной, пока по ней не проехал трактор, и только косуля метит сугроб своим капризным следом.

Луна не спешит растаять в морозной голубизне с появлением солнца, и оба шара, нисколько не мешая ходу часов, тянут время каждый на себя: солнечное!.. лунное!.. Бегущий по полю лыжник тоже кое-что о времени знает: оно для него *сверкает*. Он видит россомаху, узнает ее настороженную иноходь, и зверь должно быть смущен этим, на расстоянии, узнаванием: прочь с лыжни и в лес!

Холодно. Иначе разве узнаешь что-то о тепле. Серафима собирает последние вещи, в доме совсем пусто. Только чугунная печка, она одна и достоин до Рождества. Последние дрова... Выгребая в ведро золу, Серафима замечает блеснувшую крупинку золота, слюнит палец, ловит находку... бросает обратно в золу. Ведро опрокинется в снег, горячие угли достанут до спящей под снегом травы, капля золота станет одуванчиком, лютиком... Она видит, что за стеклянной дверью на террасе кто-то стоит, на расчищенном от снега пятачке, не решаясь постучать. Кто-то неслышно подъехал на машине, прокрался, увязая в сугробах, от гаража до крыльца. Она смотрит сквозь стекло, и тот, другой, приплясывая на морозе, смотрит из-под нахлобученной вязаной шапки на нее. Торговец рождественскими снопами? Заждавшийся кредитор? Вор? То ли мужик, то ли баба, не ясно: толстый пуховик, заправленные в сапоги широкие штаны. Лучше, конечно, не открывать, отмотаться головой и отмахаться руками, сказать, что никто тут давно уже не живет... некого тут искать. Но можно, назло своей же подозрительности, широко распахнуть дверь, стать у входа гостеприимным медведем.

- Входи, - говорит Серафима, - тут топится печка.

Неуверенно, стеснительно, осторожно, не слишком еще веря в доброжелательность хозяев, гость проходит прямо к печке, трет рукавицей замерзший нос, сморкается, протирает запотевшие очки.

- Чудесное тепло, - с благодарностью замечает гость и, стащив с коротко остриженных волос толстую вязаную шапку, встряхивает золотыми сережками, - Чудесно! Ничто так не согревает, как старая чугунная печка!

Теперь видно, что это все-таки баба, пожилая уже, с серым, прокуренным лицом, подвижная, несмотря на грузность тела. Она пришла, ясно, по делу.

- Мы вынуждены сделать опись имущества, - с наслаждением вдохнув теплый воздух, сообщает она, - Хельге Нордли? Это он здесь живет? Его долг слишком велик, и я понимаю... - она обводит взглядом пустую комнату, - ... что вы живете бедно, но... - она разводит руками, - Я ведь только выполняю свою работу. У вас есть машина?.. лодка?.. дача?.. другое имущество?

- Есть только эта чугунная печка и еще немного кофе...

Серафима наливает в чайник воду, снимает с печки узорную крышку, ставит чайник на раскаленный чугунный круг.

- В прошлый раз, - сев возле печки на единственный стул, признается женщина, - Хельге меня сюда не впустил! Он даже не открыл дверь, хотя тоже была зима, он сказал только, чтобы я грелась его долгами. Он ненавидит людей, Хельге Нордли!

Серафима кивает, сыплет кофе в кружку, наливает кипятка. Люди как правило хотят, чтобы им говорили комплименты, они считают это проявлением любви. И те немногие, которым это не нужно, которые алчут не комплимента, но истины, те молчат.

- Всякий чем-то обязан остальным, но ведь и остальные чем-то обязаны ему, - подбросив в печку дров, замечает Серафима, - И часто должник, он-то и есть дающий... дарящий! Еще кофе?

Дешева, с картинкой Гейра Сивертсена, кружка задерживается на миг в руке женщины: на блошином рынке не часто такое найдешь, ну прямо реликвия!

- Этот викинг на лыжах, - вертя кружку в руке, удивленно замечает она, - это же вылитый Хельге Нордли!

Не бойся, это не войдет в опись имущества, - добавляет она, - и... пожалуй, печка тоже. Остальное... - она рассеянно смотрит по сторонам, - ... остальное куда-нибудь припрятать! Машину, лодку, дачу, счет в банке...

- Можешь взять эту кружку себе.

Вот так, отдавая последнее, и начинаешь чувствовать себя богатым.

- Если Хельге умрет раньше тебя, - доверительно сообщает гостя, - и умрет должником, ты не получишь в наследство даже его стоптанных тапочек, имей это в виду!

Она уходит, с дымящимся в кружке кофе, и навстречу ей, теснясь на едва протоптанной в снегу дорожке, идут двое мормонов. Черные пиджаки, белые рубашки, одинаковые черные папки подмышкой. Мормон всегда на службе, без выходных и отпусков, и смена времен года ничего для мормона не значит. Может, Хельге и им что-то задолжал?

Они уверенно входят, по-хозяйски осматриваются, один из них трогает пальцем печку: горяча. И хотя смотреть в пустом доме не на что, глаз мормона привычно ищет если не свидетельство, то намек... хотя бы какую-то разоблачительную деталь... ищет и не находит.

- Странное жилище, - говорит один из них, - странный какой-то *покой*...

В этом пустом доме не пахнет нуждой, здесь нет недовольства, нет отчаяния, и это само по себе подозрительно: кто-то, минуя удивительного, непостижимого Бога, довольствуется здесь *собой*.

- Кто дал тебе это имя... Серафима?

Спросивший сам же испугался своего вопроса: к нему тут же слетелись с белесых снежных высот забытые в небе ласточки, слетелись, как безответные, самому себе, письма. И хотя многие из них давно разбились о стекла, приняв их за *вид сбоку*, высоте от этого ничего не сделалось.

- Совершенно неподходящее для женщины имя, - заметил другой мормон, пытливо глянув на Серафиму, - Мы могли бы тебя заново окрестить! С нами ты вступишь в достойную человека жизнь!

- Это хорошо, - кивает Серафима, - вот только моя бабушка против...

И бабушка, словно только и ждала, чтобы ее позвали, немедленно оказывается возле печки, в длинной ситцевой юбке и белой праздничной кофточке, с завязанным в чистый платочек куlichem. В церкви бормочет поп, но это несколько не мешает петь ангелам: их сияющие голоса летят в распахнутую настежь весну, нанизываясь, словно прозрачные бусы, на тонкие нити *любви*. Она тут, эта любовь, в половодье весеннего света, любовь настоящих, всамделишных Серафимов. И птица дышит этой любовью, как воздухом, птица становится в этой любви *словом*.

Переглянувшись, мормоны терпеливо молчат. Не зря их учили спать с невестой на одном боку и на другом, при этом не смея коснуться истины: они перетерпят еще и не это. Они слышали о *ненормальности* русских и теперь не прочь прицениться к сиюминутным обстоятельствам: зачем русский дает из России деру?

- Чтобы научиться о России *тосковать*, - вступает за Серафиму бабушка, - чтобы вернуться с этой тоской в следующую жизнь... вернуться в распахнутую настежь весну.

- Гм... твоя бабушка была, видно, весьма образованной дамой.

- Три класса начальной школы, - уточняет Серафима, - потом кошмарный сон о Ленине-Сталине, плюс две войны, плюс непролазная слякоть побед социализма... нет, она была *малограмотной*: она понимала Библию *буквально*.

- Буквально?!

- Буквально.

Оба мормона одновременно лезут в одинаковые черные папки. Они могли бы прямо тут, на месте, Серафиму и окрестить, снабдив новоявленную овцу гремучим колокольчиком. В папках у них полный порядок: инструкции, бланки, закладки.

- Мы пришли, - говорит один из них, - чтобы попросить Хельге об одном одолжении... - он исподлобья смотрит на Серафиму, - Ты ведь живешь с ним?

- Не твое дело об этом спрашивать, - глядя на него в упор, отрезает она.

Мормон улыбается, он терпелив. Другой мормон тоже улыбается, терпения у него еще больше. И Бог, он же Большой Мормонский Бог, тоже терпеливо улыбается у них за спиной.

- Хельге может помочь тяжелобольному, может спасти умирающего... - мормон достает из папки золоченую "Книгу мормонов", находит закладку, что-то мямлит скороговоркой, - У Хельге есть нужная нам *вещь*!

- Только что здесь была дама с описью имущества, - кивает на единственный стул Серафима, - Она выпила последний кофе и прихватила с собой кружку...

- Нет, нет, - торопливо перебивает ее мормон, - не об этом речь. Дело в том, что...

- У Хельге есть одна антикварная вещица, - подсказывает другой, - оккультная такая вещица, - он торопливо облизывает сухие губы, - она-то и может спасти умирающего! У больного сложный, очень сложный недуг, собственно... - он смотрит на другого мормона, - рак языка! Врачи предлагают вырезать язык, но ведь это... это же конец!

- Лучше сразу отрезать голову, - соглашается Серафима.

Мормоны без улыбки выдерживают траурную паузу.

- Ты наверняка слышала о Хиллари. Замечательная, редкая женщина! Настоящий товарищ, друг, соратник, сестра! Интеллигентная, талантливая, справедливая! И это она... - застыло поясняет мормон, - ... она и есть безнадежный больной, врачи обещают ей три-четыре недели... Она послала нас сюда за этим последним для нее спасением...

- И что она, - с вызовом перебивает его Серафима, - зараза, хочет? Получить обратно свои чертовы письма? Поставить возле дороги палатку? Развесить обмоченные трусы?

Переглянувшись, мормоны снова лезут в папки и одновременно вытаскивают оттиснутые золотым по черному визитки: один из них доктор, другой дважды доктор. С такой визиткой не стыдно хоть к самому Богу.

- Нам нужна одна золотая вещица, - вкрадчиво поясняет мормон, - золотая маска, которая хранится у Хельге. Это старинная культовая вещица, когда-то принадлежавшая жрецу-инке. И свойство ее таково, что металл... ну что ли *помнит* силу великих жертвоприношений, и сама форма маски хранит эту силу. Достаточно положить маску на лицо, разумеется, не на всякое лицо... достаточно сказать нужные слова...

- И Хиллари знает эти слова?

Мормоны молчат, потом один из них осторожно мямлит:

- Мы позволяем себе это предполагать.

Взяв с пола кочергу, Серафима шарит под печкой, вытаскивает обсыпанный золой слиток,

- Вот!

Мормоны недоверчиво на нее смотрят. Что может валяться в золе и в пыли, вместе с кочергой, печным совком и щипцами? Тем не менее, это ведь... золото! Один из мормонов трет пальцем бугристую поверхность металла, и золото невинно блестит, должно быть несколько не считаясь с собственной, о переплавке, памятью.

- Это, бесспорно, золото, - растерянно бормочет мормон, - чистое золото... Но форма... - он осматривает слиток со всех сторон, - Ну прямо вздутый, бугристый, распухший язык!

- Ее *золотой* язык, - уточняет Серафима, - Забирайте это золото и валите отсюда! Ну?! Она берет с пола кочергу.

Наконец переехала и чугунная печка.

В круглой библиотеке с двенадцатью, на все стороны, окнами расцветает светлая майская ночь. Жизни некуда возвращаться, кроме как к этим золотым знакам Зодиака, парящим вместе со старыми стеклами над цветущей в саду черемухой. Этот пронзительный, горьковатый запах. Серафима не зажигает ни лампы, ни свечи, так ей лучше слушать оставленную где-то в прошлом музыку... оставленную на каком-то перепутье, куда некому уже добираться. Прошлое так и не дождалось своего, дальше Рахманинова, продолжения, только горьковатый запах черемухи, только майские заморозки... Оно ушло невостребованным, незамеченным. "Сгинуло..." - вздыхает едва нажатой педалью старая фисгармония. "Отзвучало", - отзываются с шипением настенные часы.

С внутренней стороны окна, над золотом Козерога, живут ласточки, и им лучше других знать, каково это, без конца возвращаться и возвращаться... Возвращаются потерявшиеся имена, возвращается смысл имен.

Серафима спускается по деревянной лестнице, прислушивается: поблизости журчит ручей, лениво блеют овцы, нехотя, должно быть, во сне, подает голос собака. Ночь не приносит сюда ни страха, ни вождлений, только тоска, *тоска о свете*, только она и повисает здесь белым черемуховым облаком.

В белой ночи расцветает время, подступая к будущему запахами других планет: ландыша, фиалок, незабудок. Время просит займы, оно ведь вернет, обязательно вернет... оно просит займы у любви, просит займы у свободы. Оно как этот, в саду, ручей: бегущий, журчащий, прозрачный до дна. Вода несет мимо валунов и коряг строки придуманных кем-то стихотворений, и лунный свет уносит их дальше, туда, где отдыхают от жизни птицы, и хочется рифме стать на далекой звезде цветком...

Когда-нибудь сюда наверняка наведается Кристиан: ляжет на пригорке на спину, подложив под голову руки, уставится на звезды. На эту сияющую от избытка любви жизнь. "Неплохо, - скажет он, - неплохо бы снова родиться..." Он скажет это воде, сбегаящей с валуна водопадом, скажет пьющим из ручья корням черемухи. И луна, эта захватчица волн и приливов, предложит Кристиану на выбор одно из двух: либо ты мужчина, либо женщина.

Пройдя по мощеному камнем дворику, Серафима идет в поле. Ночная, лунная жизнь! Мириады существ незримо трудятся над созреванием и ростом, в ритме великой, единой и вечной мудрости, в этом растительном сне без сновидений, и надо бы уже сейчас, в эту майскую ночь, начать разбираться в подробностях... Надо начать! Начать!

Серафима идет по полю к старому, на каменном "островке", каштану: ветви согнулись под тяжестью цветов, хотя каждый отдельный цветок... невесомость. Она сядет под деревом на моховую подушку, и пусть те, кто незрим в этой ночи, потихоньку подберутся к ней, и время пусть выступит наружу тревожным ржанием косули, брыкающимися в воздухе копытами, тенью падающей в озимую рожь совы: "Все это ты возьмешь с собой, примешь в себя!" И само время тоже хочет быть принятым и унесенным тобою.

Фараоновой собаке не зря снилась погоня: пыль, песок, солнце, кровь. Она всматривается с самого утра в желтизну цветущей возле леса люцерны, втягивает розовыми ноздрями прохладный воздух. И запах все ближе и ближе, запах *страха*. Замерев на пригорке медной статуей, собака неотрывно смотрит на присыпанную гравием дорогу, и вот наконец эта машина...

Специальный, новейшей модели, автомобиль, с широкой боковой дверью-купе. Такие машины государство дает бесплатно, и только тем, кто это заслужил. Внутри уместится восемь, десять, двенадцать пассажиров, но едет только один. И это ему полагается

бесплатный шофер, бесплатный бензин, бесплатный маршрут. Что касается намерений едущего, то их чует разве что собака...

Автомобиль въезжает во двор, останавливается возле выложенной камнем площадки, и никто пока не выходит, будто заехав сюда по ошибке. Но вот наконец боковая дверь-купе медленно отползает в сторону, открывается на всю ширину до упора, и тогда выдвигается ступенька, вытягивается горизонтально двумя колесами, плавно опускается под углом на землю. И по этой узкоколейке медленно скатывается на землю инвалидная коляска.

На коляске женщина, в норковой, несмотря на майское тепло, короткой шубке и шляпе с широкими полями: лицо опущено, колени прикрыты пледом. Привычно нажимая на кнопки ручного пульта, она ловко управляет с коляской, разворачивается прямо к дому, неспеша катит по каменным плитам, останавливается. Широкополая шляпа по-прежнему закрывает ее лицо, но ветер ворует рыжую прядь, разматывает ее по плечу.

Монтсеррат.

Она давно перестала себя узнавать, с того самого вечера, когда мормоны отвезли ее в больницу. Они нашли ее на полу, едва живую, и красавец-еврей, будучи врачом, сразу определил инсульт. Прележав без сознания двенадцать часов, Монтсеррат очнулась под светящей ей прямо в лицо лампой, и первое, о чем она подумала, был именно свет. "Свет..." - сказала она кому-то и снова закрыла глаза. Лежать с закрытыми глазами было намного безопаснее, чем пытаться сосредоточить взгляд на спинке кровати или оконной раме, а тем более, на улыбчивом лице медсестры. Лежать и вспоминать подробности разборки с Хиллари. Американка прокатилась на ней верхом, загнав до кровавой пены, она оказалась сильнее. Да, Монтсеррат уступила ей. Уступила в самой своей, пульсирующей сполохами сердцеvine: в своих огненных, крылатых, взвивающихся ввысь мечтах. Чем стала ее одухотворенность?.. ее высота?.. Пошлейшей в мире лесбийской комедией. Попробуй сложи вместе одинаковые полюса магнита: они рожают лишь пыль, мертвое шуршание невозможности.

Хиллари приговорила ее к смерти.

И самое, быть может, худшее в этом приговоре то, что он приводится в исполнение постепенно, с какой только возможно в мире медлительностью, питая отчаяние и скуку многих поколений и оказываясь в конце концов одноглазостью недочеловеченного циклопа. И хотя один глаз воюет за *равноправие-равноценность* с двумя глазами, и пара глаз, все ближе и ближе сходясь возле заросшего шерстью носа, норовит влезть под одну бровь, дело ведь сводится только к ... смерти! К смерти той полярности, которая дает смысл магниту.

Монтсеррат помнит безмерную ярость своего вождения: жажда без малейшей возможности ее утоления, обладание без малейшего намека на тепло. Просто подчинить, просто взять, владеть. И неважно, Лестничный Франк это или Хиллари. Главное, она не могла остановиться...

Свет висящей у нее над головой лампы вбирает в себя черты материнского лица, и старая Герд, должно быть, уже наплакавшись, смотрит напряженно и сухо, почти безразлично. Она приносит еду, вяжет мохеровые носки, молчит. Носки едва согревают ослабевшие ноги, еда не имеет вкуса. Только молчание, только оно и дает времени смысл. И время, сгущаясь до грусти, припадает к холодной щеке морозцем вопроса: "Чему еще быть?" Монтсеррат ничего не ждет, она только прислушивается... ее уши распластываются крыльями в зимних холодных далях, слух становится *пониманием*. Так много, оказывается, она знает! Что думают о ней лошади, что приносит на землю снег... Ей никто ниоткуда не пишет, и если изредка и заходит Лестничный Франк, то только затем, чтобы напомнить: она обещала подарить ему племенную кобылу. "У людей, - думает Монтсеррат, - такие ребяческие интересы! Никто и не хочет поэтому стать ангелом, все предпочитают навоз". Она просит Франка поймать ей жука-навозника, и он, взяв стеклянную банку, идет в стоящий за сараями туалет, светит фонарем на земляной

пол. Уже почти весна, тает последний снег, в почве беспокойство и оживление. Жуки, должно быть, собрались на свой годовой тинг: их тут не меньше сотни. Блестя темно-синими спинками, они переползают с места на место, ощупывая друг друга усиками, и который из них лучше, трудно сказать. Схватив первую попавшуюся пару, Франк сажает жуков в банку, несет в дом, он попросит у Монтсеррат двести крон.

Глядя с террасы на первые, проткнувшие лед подснежники, Монтсеррат думает о Серафиме. Во льду оттаивают лунки, высвобождая белый, в зеленой чашечке, цветок. И хотя ночью будет минус десять, пока ведь еще март, цветку от этого ничего не делается: живая на морозе капля. Три белых лепестка-овала, дрожащие на тонкой зеленой нитке, триолет, триада... Почему Серафима не завидовала ей, не сводила с ней счеты? У самой-то у нее, что у нее есть? Хельге, с его мыслями о собственной планете? В сущности, ничего у Серафимы и нет. Она потеряла накопленное за полвека, и это ради сомнительного, в соседстве с Хельге, одиночества. Окажись он однажды мертвым... Монтсеррат представляет себе его спокойное, с закрытыми глазами, лицо: заострившиеся скулы, седая щетина, выступающий нос. Она думает, что он умрет тихо, в полном сознании, ну что ли *перейдет*... Оно наверное, всё туда переходит, вбирается в великую паузу.

Монтсеррат объезжает на коляске террасу, останавливается возле навалившегося на перила можжевельника. Ей хочется закурить, и у нее есть припрятанный в шкафу корень аконита. Что ей теперь эта жизнь! Продать дом и двор, уехать с матерью в Испанию, выйти замуж за Лестничного Франка? Или просто скатиться на коляске с обрыва? Последняя мысль неплоха: пережить напоследок что-то захватывающее. Только ведь, никто этого не увидит, никто не ужаснется, не восхитится! А ведь в этом все дело: нужен заинтересованный зритель.

Серафима?!

Монтсеррат все-таки закуривает, назло врачу. Назло, может быть, усевшемуся на инвалидную коляску уродству. Она смотрит на свое, в оконном стекле, отражение, смотрит пристально, скептически. Она готова отпугнуть собой доверие и надежду, готова въехать на этой проклятой коляске прямо в глазающее на нее зеркало. Каково будет осколкам все это отражать!

И вот теперь она здесь, в построенном ее отцом имении, построенном не для нее. Она видит порядок, видит обустроенность, и ей становится обидно: ее не позвали сюда, без нее тут обошлись. Отец построил все это в угоду своей тайной любви, он никогда не говорил никому об Эльзе. Он не хотел ни с кем делить свои приготовления к смерти. Он хотел, может, покоя.

Тут в самом деле спокойно: кругом одни леса. И вряд ли даже через сто лет сюда доберутся окраины Харпестада. Только кружащие в высях орлы, только сами эти выси. Сюда доходят, пожалуй, вести об инфляции и смене погоды, ценах на нефть и свином гриппе, и охотнее всего сюда добирается *весть о конце*. Весть о последней надежде, о последней жажде. О последнем в этой жизни предательстве. Сюда, на заброшенные натовские пустыри, на эти заросшие вереском и дикой малиной холмы, каменные плато и скальные обрывы с повисшими над ними корнями сосен, пробирается ничем уже больше не подавляемый страх: "Отдай!.. Отдай самое последнее!.. " Рядом шумит ручей, жужжат над белой сиренью пчелы, да, эта жизнь совсем рядом, и ее-то, может, и придется отдать... Но ведь это не самое последнее.

Нажав на кнопку пульта, Монтсеррат подъезжает к самому крыльцу, упирается колесом в каменные ступени. Ей не встать уже с этой коляски, не постучать в дверь, не заглянуть в окно. Она может только прислушиваться к голосам жизни, никуда ее больше не зовущим. И с точки зрения проигрыша, пора уже говорить о трагедии *несовпадения устремлений*: ее небо оказывается пустым для Хельге, искушение ее высоты - бессмысленным. Он скажет, пожалуй, "да" ее затопляющим горизонт закатам, всем краскам мира, разом полыхающим в разорванных ветром облаках. Он рад приблизиться к ее сияющим тайнам, к страстности ее мудрости. И даже его планета, в своей пока еще не

осознанной дали, даже она ищет свое сходство с совершенством неповторимого: с летящим, сорванным ветром цветком капризного профиля, с обнимающей звездные ночи хрупкостью наготы, с жаром вспыхнувших в тишине слов... Она зовет его не из этой, прошитой скукой и благоденствием, но из прежней жизни. Но ей не вернуть его туда, как не вернуться туда самой. И к этой ее устремленности, устремленности в прошлое, не подберешь никаких ключей, кроме как... любви. Той сияющей покоем, *бесстрастной любви*, облик которой угадываешь, приближаясь к Серафиме... она ведь не ждет ни вознаграждения, ни даже взаимности: она просто светит.

Может, теперь самое время признаться, что хочешь именно этого: проснуться и бодрствовать. "Там, - скажешь ты себе, - там впереди..." И оттуда, пока еще тебе не известного "там", немедленно приходит ответ: "Здесь!" И это значит, что судьба тебя любит.

- Серафима...?

Они долго смотрят друг на друга, и разделяющие их ступени обещают не то чтобы спуск или подъем, но... встречу. Еще ведь не поздно, еще не упали на землю все звезды.

- Не хочешь со мной прогуляться?

Так окликает судьбу невозможность и безнадежность, так заглядывает в несуществующее будущее навязчивое "сейчас". Придет ли оно, будущее, *сейчас*? Или ему некуда приходиться? Или оно останется мертвым во времени знаком, выпавшим из крыла птицы пером? Повзрослеет ли оно, отдавая себя играм в сиюминутность? И чтобы не дать ему, будущему, сойти с ума, надо уже теперь доискаться и дозваться: есть ли тут хотя бы один *человек*? Вопрос в том, хватит ли на это духа.

Приноравливая шаг к медлительности спрятанных под серебристым корпусом колес, можно дойти до конца сада, свернуть на тропинку, оказаться на вересковом пустыре. Бархатистая зелень вперемежку с набирающей бутоны черникой, буйство мхов. Здесь все растет на камне, пробиваясь сквозь трещины и щели, не зная как таковой почвы. По обе стороны тропинки топорщатся плотно сидящей хвоей молодые ели, они не спешат тут расти, только ищут корнями опоры. И вереск разделяет с ними тайну глубины: хорошо тому, кто затаился.

Тропинка идет вверх, вымеряя собою высоту каменистого обрыва, и вот наконец площадка с двумя, ростом с человека, валунами, прикрывающими от северного ветра пчелиный улей. Это дикие пчелы, и улей стоит тут уже лет двадцать, и никто не отбирает у них густой, темный, пахучий мед. Тут же, в улье, живут синицы, влетают в то же окошко, выводят птенцов, и никто ни на кого не жалуется. Тут, в безлюдьи, природа забывает о человеке.

Выехав на середину площадки, Монтсеррат неспеша снимает широкополую шляпу, роняет ее на камень, словно желая открыть наконец глазу съедающую золото несвоевременную седину. Ей пока только тридцать девять, и ее себялюбие еще не иссякло. Себялюбию чужд стыд, оно не знает скромности. Оно ведь и есть та подъемная сила, что отрывает от земли окрыленные мысли. И оно не желает, самолюбие, узды. "Серафима, - думает Монтсеррат, - я ведь вовсе не калека. Я гожусь еще на многое. И это я решаю, куда свернет моя судьба, ты только зритель". Она смотрит на убегающую в лес дорогу, на бурлящую после дождя речку с перекинутым через нее деревянным мостом, на засеянное яровой пшеницей поле, на тонкий шпиль каменной церкви, на старое кладбище... она смотрит и смотрит... Она слышит, как гудят в улье пчелы, как дятел долбит кору на прилепившейся к обрыву сосне, слышит собственный пульс: "Скорее... скорей!" Она тут уже давно, жизнь ее затянута. По всем приметам, а их глаз находит повсюду, жизни следовало бы уже улизнуть из этих телесных форм, из этой, на все времена, недосказанности. Стать просто воздухом, светом, росой... Она поворачивается к Серафиме, молча на нее смотрит: вот оно, в этой жизни последнее, упорно желающее стоять в середине, между бездной и облаками. И чем только эта середина держится? Монтсеррат закрывает на миг глаза, и когда ее рыжие ресницы снова вздрагивают,

коляска съезжает с места. Неспеша, как бы нехотя, но уже набирая скорость, коляска катится по зеленеющему вереску и влажному мху, мимо вцепившихся в камень кустов можжевельника и терна, и ветер хватает рыжую прядь и ставит ее торчком, ветру нравится это безумство...

- Монтсеррат!!!

Серафима не успевает ничего подумать, она теперь этот ветер, ее рука хватается взметнувшееся на солнце рыжее пламя... Удар о камень возвращает ей чувство пространства: ну вот, приехали. Она лежит вместе с Монтсеррат на земле, во рту песок и вкус моха, щека в крови.

- Отпусти мои волосы, - глухо, почти мертво шепчет Монтсеррат.

Она знает теперь, что такое середина: это и есть любовь. Любовь, не считающаяся с опытом ненависти. У этой любви вкус дикого меда, она горчит, она пахнет свободой. Ее собирают по каплям, и ее никогда не бывает в избытке.

К ним подбегает, запыхавшись, Хельге: он увидел сорвавшуюся с обрыва коляску. Руки в мазуте, на лице копоть, джинсы и клетчатая рубашка в пыли: он только что из "ада". Почему именно он, а не ближайший сосед, психиатр или ленсман, обречен спасти падающего? Ему, уставшему и к тому же гостю на этой проклятой земле, нет дела до чужих высот, а тем более, до чужих бездн, и тем не менее, что-то ведь заставило его выскочить из машины и бежать сюда вверх по тропинке... Что? Он слышит, как стучает сердце, он бьет кулаком по прикрывающим грудь мышцам, в самую середину... Да, эта середина, в ней-то все и дело. И тут он никакой не гость, тут он сам свой.

Он наклоняется к лежащей среди зеленеющего вереска Монтсеррат, с ней что-то... да это же ее останки! Он невольно подается назад: укутанные в норковый мех кости, высохшая на костях кожа, черные провалы когда-то синих глаз. Только рыжие, размотанные ветром волосы, только они и остаются опознавательным знаком ее рыщущей, алчной природы. Они ведь не потеряют свой цвет и после смерти, нет... Он смотрит ей в глаза, он давно не смотрел ей в глаза... он пытается улыбнуться, но разве теперь расколешь лед... только глубокие складки проступают на его небритых щеках. Только сожаление.

- Вставай... - говорит он, подсовывая руки под ее колени и спину, - Обними меня за шею... так, обними покрепче!

Он несет ее на руках вниз по тропинке, ее тело ничего уже не весит, словно тело ребенка, в обнимающей его руке нет больше силы. Он помнит, как впервые встретил ее, девочку-подростка, на берегу фьорда, так давно это было... Бледно-голубая майская ночь, полная над морем луна, безлюдье. Она приехала на велосипеде одна, почти в полночь, и тут же сбросила с себя майку и шорты и пошла босиком к берегу. Ее нагота была, как и ночь, бледно-голубой, закрывающие спину волосы отсвечивали золотом. Она шла по плоским камням-подушкам, и луна, серебрящая фьорд до самого берега, ласкала ее наготу тихим шуршанием прилива: так будет... так будет... так будет... Он слышал эти слова в себе, он внимал им со всей серьезностью. Он был валуном, громоздившимся у берега и просто считающим волны, серым в ночи камнем и препятствием ветру, он был незаметен. Она дошла до самого края деревянной пристани, где к привязанной канатом лодке круто спускалась стремянка, и волны бились о толстые сваи, хватая пенными ртами лунное томление: скорее!.. сюда!.. И она отдалась им, их полуночному бесстыдству, и только взмахи ее тонких рук и могли еще вернуть ее обратно... но она плыла прямо к луне. Хельге понял тогда, что это и есть таинство, и он не имел права выслеживать ее маршруты, он только слушал обещание прилива: так будет... Он видел, как она села, с мокрыми волосами, на велосипед и понеслась в ночь навстречу запахам поспевающей пшеницы... Это была ведь и его ночь.

Так будет... и будет снова... но сначала нужно умереть. Найти в саду аконит, вернуться в засыпанную снегом горную хижину, в раздираемую волчьим воем ночь...

- ... покрепче обними меня, Амундсдоттер!

Скучное лето, оно же неповторимое. Скука дает повод недовольству, недовольство будит тоску: "Ну сколько так еще?" И никто, конечно, на этот вопрос не ответит. В разлегшемся по обе стороны холма пейзаже дремлет неспешность и безразличие: пройдет и это, и это... и это тоже пройдет. Зацветут возле забора подсолнухи, поспеет малина, опустятся до земли ветви яблонь. Кто-то пришлет, может, письмо. И ничего, кроме погоды, тут не имеет значения.

Ну сколько так еще?

Хорошо, что поблизости живут лягушки. Они-то знают о погоде все. Не будь в космосе никаких перемен, стали бы они квакать! Они странствуют ночью по влажным тропинкам, они полны притворства и втягивают в себя лапы и голову даже от тени совы, они осторожны. Вода для них даже и летом холодна, и только каменное дно спасает их потомство: тысячи греющихся на отмели хвостатых троллей. Им не до лунного, на середине озера, серебра, и холод белых плавучих лилий для них не более чем сезонный спектакль. Станет еще холоднее, лилии нырнут на дно, камыш выставит в снегу коричневые пальцы... "Погода..." - подумает лягушка, засыпая.

Из скуки складываются мечты и фундаменты домов, складываются целые *направления*. Скука притягивает озабоченность, вызывает *жажду* деятельности, да просто *мучает*. Она ведь по-своему, скука, права: пройдет и это, и это... и это тоже пройдет. И если все-таки что-то останется, то это ведь... скука!

Под камнем сидит жаба, в прохладе, сырости, полумраке, и нет ничего под солнцем такого, что хотелось бы ей немедленно проглотить. Смысл ее глотательных движений только в подражании: как может глотать прямая кишка? Жаба не любит, когда на нее смотрят, и если дать ее терпению обратный ход, непременно упрешься в несговорчивость камня: пошел отсюда! Те, у кого нет никакого понятия о *жабьей красоте*, примут за чистую монету бугристую бородавчатость набитого тиной мешка, не видя при этом главного: верности камню. У жабы есть только один, *этот*, камень, хотя кругом полно круглых, плоских, продолговатых, засиженных лишайником и мохом камней. Жаба уходит куда-то ночью, дела-дела, но в половине четвертого она снова тут, и никто ничего о ее предприятии не знает. Частное предприятие, оно же стиль жизни. Лето подходит к концу, жаба стареет, так ни разу и не квакнув, и только камень, он по-прежнему, как и в прошлом году, юн и гостеприимен: сюда!.. ко мне!.. на часок!..

Когда до тебя не добирается ни одной хорошей вести, ни одной, соответственно, плохой, когда отсутствие становится изгнанием, а одиночество ссылкой, когда даже перемена погоды перестает быть новостью, а новость заикается на своем же досадном повторении, тогда самое время позволить себе наконец... радоваться! Потому что теперь только ты и есть *новость* и *весть*.

Зима торопливо вычеркивает в поблекшем пейзаже остатки осени: хватит уже чернеть этим взрытым у самой дороги полям. И если есть еще какой-то на березе лист, то и он, золотясь на холодном солнце, зазывает, как может, снег. Фараонова собака лежит возле печки, зубы Сета, уши Озириса, и огонь гладит своими красными языками ее медные бока. Огонь любит это свое изделие, свою от пламени *отсталость*: тут столько собачьего тепла! Комья снега на лапах тоже идут в дело: весь диван будет мокрым, и хорошо, если кто-то привалится к горячему медному боку. Больше ведь не на что рассчитывать тому, кто так, по-собачьи, стар... стар вместе со своим фараоновым родом: только бы огня... огня! Собака поводит ушами, слушает: это Хельге. Он едет по шоссе, под колесами лед, потом он свернет к амбару, протащится мимо жующих сено лам, притормозит возле коровника, заговорит с хозяйкой... Нет никакой мочи ждать, надо нестись, лететь навстречу! Надо успеть в этой короткой, как погоня, жизни сделать самое главное: сгореть!

Все, что способно зимой струиться и ткать из воздуха, сверкает теперь кристаллами инея, и собака лижет эту *мудрость*, хватая ее на бегу зубами, да просто валяется в ней. И мудрость подсказывает собаке стать в стойку при виде ныряющей под лед, скромно одетой птицы: вода, жизнь, забота. Птица, она же воздух, прошивает воду узорами своих полетов: прозрачно, холодно, радостно. Валуны обрастают льдом, перегораживая в ручье стремнины и водопады, и вода уносит ледяной звон под снег, вплетая его в мягкость сугробов. И птица снова ныряет под лед...

Лес прикрывает своей зимней тенью поворот дороги, солнце едва продирается сквозь заснеженные лапы елей, и там, куда оно проникает, тот час же вспыхивает густая, бархатная голубизна: синие, синие, синие сугробы. Съехав на обочину шоссе, Хельге смотрит, щурясь, на озеро: там, почти на середине, что-то происходит. Серафима тоже смотрит туда, и оба одновременно понимают: два примерзших лебедя. Две неподвижные ледяные скульптуры. Они должно быть примерзли ночью, во сне. И Хельге видит, что оба пока еще живы.

- Они умрут, - говорит он, - от жажды.

Оставив машину на обочине, он быстро спускается по откосу на берег, пробует ногой лед. Тут, на самом краю, лед прочный, можно смело на него ступить. У Хельге с собой молоток, вокруг пояса капроновый канат, он все предусмотрел. И он идет, осторожно пробуя ногой лед, дальше. Лебеди тоже его заметили, один из них приподнял уроненную на лед голову. Это, бесспорно, пара, и каждый обречен без другого на одиночество. Теперь Хельге видит: примерзли только крылья, под лапами пока еще вода. Он оглядывается на Серафиму, пробует натянувшийся канат: узел на березе надежен. Теперь надо лечь плашмя и ползти очень осторожно... вот так... еще ближе... ударить молотком по льду... Вот! Лебедь колотит крыльями, куски льда не дают ему взлететь, разбежаться, и Хельге вытаскивает птицу на лед, швыряет в направлении берега. Теперь надо добраться до второго, и лед тут совсем тонок... но можно еще добраться... локти уже в воде, и ноги... ноги... Тут должно быть стремнина: река проходит сквозь озеро и бежит подо льдом дальше, к фьорду. Лед крошится под грудью Хельге, трещина идет дальше, выламывая прорубь возле самого крыла птицы, и лебедь карабкается, помогая себе крыльями, лапами и шеей, прямо на Хельге. Если бы не это течение... Ноги затянуты под лед, локти упираются в край разлома, то и дело соскальзывая в воду, и если бы не канат... Хельге помнит, как тонула в проруби собака. Старая и грузная, она барахталась, пока были силы, но сердце ее постепенно остывало. Порой ей удавалось положить передние лапы на лед, но она тут же сползала обратно в воду. Кто-то разделся на морозе, оставив на снегу пуховик, свитер и все остальное, и пошел вброд к проруби, и собака приняла это как должное, она ведь и сама любила людей. "Хорошо, что собаку тогда спасли..." - подумал Хельге, чувствуя под ногами сильное течение. Тут, на самой стремнине, долго не продержаться... Хельге не видит, как по льду, толкая впереди себя кусок пенопласта, к нему ползет Серафима. Он не видит ее, но чувствует, знает наверняка: она где-то поблизости... он успеет сказать ей... Он давно собирался ей сказать, ну что ли, самое важное, и теперь это как нельзя кстати: его вот-вот затянет под лед. Давно он вот так, в полном обмундировании, не купался! В последний раз это было в открытом море, куда шторм загнал его ялик, со сломанной мачтой и разорванным парусом. Был конец октября, над морем кружился снег, и если бы не проходивший мимо немецкий траулер, никто бы и не нашел никакого от Хельге следа. Немцы взяли его вместе с лодкой на борт, и он ужинал вместе с капитаном, и было много хорошей еды... Голова торчит еще над водой, ноги едва шевелятся... И он подумал, что если нет уже никаких надежд, значит, помощь близка. Если бы не проклятое течение...

- Хватай меня за руку! - кричит Серафима, подъехав на пенопласте к самому краю проруби. Что из того, что вес обоих слишком велик для куска пенопласта, вес не имеет больше никакого веса, - Хватай! Держи! Держись!

Она сама хватается его за руку, тянет, упираясь, должно быть, рогом в небо. Золотое, козорожье упрямство! Кто дает ей, на морозе, эту силу?

- Ты можешь со мной наконец расквитаться... - не сводя с нее замерзающий взгляд, хрипит из проруби Хельге, - Я долго тебя мучал, терроризировал, создавал условия не для жизни, но для выживания, я был с тобою несправедлив... - он шарит рукой по льду, ища, за что ухватиться, - ... я не давал тебе денег, ни разу не возил тебя в Париж... - он колотит рукой по воде, теряя равновесие, - ... я не купил даже обручального кольца... я досаждал тебе скукой, пивом и матершиной... я выгонял тебя из дома... я ... то есть это совсем не я... И теперь тебе самое время со мной расквитаться! Отпусти мою руку! Отпусти!!!

- Берись за локоть! Выше! Крепче! Теперь хватай канат! Подтягивайся!

Кусок пенопласта оседает под тяжестью обоих, окоченевшие пальцы Хельге перебирают сантиметр за сантиметром канат... и наконец он ложится грудью на лед.

- Дальше... дальше... - горячо дышит ему в лицо Серафима, - ... не останавливайся! Вытягивай самого себя!

Хельге стонет, рычит, хрипит, воет, визжит и почти плачет, он изодрал в кровь ладони, его наполовину выскочившее из-под ребер сердце бьется рыбой об лед...

- Ты ведь еще не возил меня в Париж! - не унимается Серафима, - Не купил еще обручального кольца! Ты!

Хельге пытается закинуть на лед ногу в промокшем насквозь комбинезоне, таща за собой из проруби тонну воды.

- Сатана! Сатана!! Сатана!!! Сатана в этом проклятом аду!

Он яростно тянет на себя канат, рвет жилы и мускулы, рвет криком снежную тишину замерзшего озера... И вот наконец обе его ноги на льду. Отползая от проруби, Хельге ничего уже больше не слышит, он только чувствует: здесь, на этой стремнине, его окликает судьба. Ей безразличны, судьбе, его имена, сколько их у него, ей важно лишь напоминание: это всё ты! Ты и есть мера жизни, мера равновесия в равностороннем, на все времена, треугольнике: мера любви.

С трудом шевеля онемевшими пальцами, Хельге выбирает канат дальше, таща за собой тяжесть промокшей одежды. "Куда легче было бы ползти голым," - думает он, и эта мысль согревает его: вломиться голым под горячий душ и не экономить воду, напустить пара, стать вареной креветкой...

- Пингвины, - кричит ему Серафима, - терпят шестидесятиградусный, со штормовым ветром и полярной темнотой, мороз, они сидят к тому же на яйцах...

- На яйцах!!! - орет Хельге в ответ, - Черт бы эти яйца побрал!!!

Теперь он может на нее оглянуться: лежа животом на пенопласте, она работает руками и ногами, так можно, пожалуй, развить скорость... пингвина. За ними семенит к берегу лебедь, волоча на крыльях куски льда. Другой лебедь уже там, лежит на снегу.

- Птенцы сидят без пищи целых три месяца! - делая из рук плавники, кричит Серафима, - Сидят на лапах отца, как на печке!

Хельге на миг тормозит, переводит дух, слизывает со льда иней. "Надо растопить дома снег, - думет он, - сварить кофе". Он выйдет на террасу с большой кружкой в руке, свистнет собаке, даст ей печенью... Его руки снова впиваются в канат, на ногах виснет тяжесть комбинезона...

- Чтобы я когда-нибудь пингином стал!!! А-а-а-а-а!!! О-о-о-о-о-о!!!

Первой добравшись до берега, Серафима подсовывает под брюхо лебедя ладони, поднимает его, эту изысканно белоснежную легкость, и лебедь послушно подбирает под себя лапы, горячие черные перепонки. Она несет его к машине, и второй лебедь тащится следом.

Ночью остывает в печке зола, на стеклах вырастают узоры, и забытой в снегу луне остается только проступать матовым пятном над пиками столетних елей: холодно, одиноко... Сквозь одиночество ночи прорастают лишь упрямство и твердость, они-то и

есть зрелый от жизни плод. Жизнь хочет, конечно, тепла, тепла-тепла-тепла, при этом не слишком заботясь о топливе: жги все подряд. Ей бы вспомнить, жизни, о своем *после смерти* продолжении, ей бы узнать себя. Но она только прихорашивается перед зеркалами положений и статусов, только, бывает, одергивает себя же за несвоевременность: куда?.. зачем?.. Жизнь понимает лишь короткие расстояния, и все ее маршруты обязательно имеют конец. И не надо поэтому у жизни допытаться: "Ну разве это *жизнь*?"

Ночью нет ни у кого в темноте дома, как ни укутывайся в пуховое одеяло, как ни считай оставшихся до получки денег. Можно считать в ночи совершенные за день ошибки, и нет среди них такой, которая не повторяла бы вчерашнюю и позавчерашнюю... ах, скука! И хочется поэтому думать о чем-то хорошем... и откуда оно только, хорошее, берется... Оно приходит оттуда, где его меньше всего ждут: из самого безнадежного, какое только есть, одиночества. Из нежелания серости, из желания ясности. Оно, хорошее, бездомно и безродно, оно не откликается на зов гуманизма или национальной идеи, оно *несвоевременно*.

Из темноты, из нетопленной застылости воздуха опускается на постель снежная тень: лебедь садится на живот Серафимы, закрывает крылом ее лицо. "Птица... - думает она во сне, - ...снег!" И то и другое есть только воздух, есть только вертикаль. И темнота приценивается поэтому к недолговечности белизны и блеска: пройдет и это, и это пройдет... темнота, она же скука.

Только бы начало светать.

Rygge

14 августа 2007

25 октября 2009